

Вячеслав Морозов

РОССИЯ

# РОССИЯ & ДРУГИЕ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОЛИТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

идентичность  
и границы  
политического  
сообщества



**БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА**

**НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС**

# РОССИЯ И ДРУГИЕ

Идентичность и границы  
политического сообщества

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  
МОСКВА • 2009

УДК 32:316.722(470+571)

ББК 60.033.145.2

М80

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета  
факультета международных отношений  
Санкт-Петербургского государственного университета

*Рецензенты:*

д-р полит. наук, профессор А. Д. Богатуров  
(МГИМО(У) МИД России),  
д-р полит. наук В. Н. Конышев (СПбГУ).

**Морозов В.Е.**

**М 80 Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества.** — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 656 с.

Существование международных отношений как научной дисциплины решающим образом зависит от разделения политики на внутреннюю и внешнюю. Однако проблема учреждения границ между внутренним миром политического сообщества и сферой международной политики лишь относительно недавно стала предметом рефлексии ученых-международников. В книге петербургского исследователя Вячеслава Морозова эта проблема обсуждается и с теоретической точки зрения (теоретические главы работы могут служить введением в постструктуралистскую политическую теорию), и как вопрос актуальной политики. В ней раскрывается политический характер вечных дебатов о самобытности нашей страны, о ее принадлежности к европейской цивилизации и ее отношениях с Западом. Именно в ходе этих дискуссий происходит установление границ политического сообщества и, следовательно, определяется идентичность России.

УДК 32:316.722(470+571)

ББК 60.033.145.2

**ISBN 978-5-86793-584-9**

© В.Е. Морозов, 2009

© Новое литературное обозрение, 2009



# Оглавление

ВВЕДЕНИЕ .....	10
----------------	----

<b>Глава 1. Идентичность и границы политического сообщества: постструктуралистская интерпретация .....</b>	<b>24</b>
--	-----------

§ 1.1. Постструктуралистская теория дискурса Лаклау и Муф: истоки и своеобразие .....	28
---	----

§ 1.2. Теории дискурса: происхождение и типология. Специфика понятия дискурса в постструктурализме .....	47
--	----

§ 1.3. Теория гегемонии Лаклау и Муф: основные понятия ...	59
--	----

§ 1.4. Индивид и власть в постструктуралистской теории .....	80
--	----

§ 1.5. Субъект как структурная лакуна: седиментация, реактивация, дислокация .....	90
--	----

§ 1.6. Социальная формация или сообщество? К вопросу о природе дискурсивных границ .....	112
--	-----

§ 1.7. Проблематика идентичности в международных исследованиях .....	141
--	-----

<b>Глава 2. Методология дискурсного анализа: отбор источников, стратегия чтения, построение базовых моделей .....</b>	<b>177</b>
---	------------

§ 2.1. Как возможен дискурсный анализ? От онтологии к методологии .....	178
---	-----

§ 2.2. Источниковедение гегемонии .....	197
---	-----

§ 2.3. Понятие секьюритизации и его значение для исследования политических процессов .....	207
--	-----

§ 2.4. Россия и Европа как две идентичности: постструктуралистский подход .....	228
---	-----

§ 2.5. Форма противопоставления России Европе и Западу: дуальность или диалогизм? .....	237
§ 2.6. Соотношение понятий «Европа» и «Запад» в российском политическом дискурсе и их значение для национальной идентичности России .....	249
§ 2.7. Европа «истинная» и «ложная»: борьба за определение цивилизации .....	277
§ 2.8. Несовершенные альтернативы: Россия в противостоянии советскому прошлому и терроризму ...	295

### **Глава 3. Генеалогия современной России: Косово, фигура «ложной» Европы и советское прошлое .....**

§ 3.1. Косово как точка отсчета: Россия и Запад в дискурсе романтического реализма .....	315
§ 3.2. Романтический реализм и секьюритизация идентичности .....	317
§ 3.3. Граница между внутренним и внешним: учреждение политического сообщества .....	346
§ 3.4. Границы политического сообщества. Балтийские государства как «ложная Европа» .....	358
§ 3.5. Советское прошлое и генеалогия современной России .....	382
современной России .....	417

### **Глава 4. Реакционная модернизация? Современная Россия как глобальный политический субъект .....**

§ 4.1. Модернизация как возврат в прошлое: суверенитет и автономия государства в современной России .....	449
§ 4.2. Размытые границы, «соотечественники» за рубежом и «национализм идеальной родины» .....	451
§ 4.3. Переопределение границ сообщества в эпоху «войны с террором»: Россия, Запад, ислам .....	483
§ 4.4. Глобальная демократия в эпоху «цветных» революций: диалектика всеобщего и особенного .....	503
и особенного .....	523

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	577
БИБЛИОГРАФИЯ .....	587

## ОТ АВТОРА

**Я** искренне благодарен коллегам и институциям, без помощи которых работа над этой книгой была бы невозможна. На начальном этапе работы над этим проектом мне посчастливилось войти в круг исследователей и единомышленников, работающих над переосмыслением проблем европейской безопасности в духе современных подходов в теории международных отношений. Душой этой группы, вне всякого сомнения, был и остается Пертти Йоэнниemi, ныне работающий в Датском институте международных исследований; моя работа шла и идет в постоянном обмене мыслями и текстами также с Кристофером С. Браунингом (Университет Уорвика), Марко Лехти (Институт исследования мира в Тампере), Андреем Макарычевым (Нижегородский лингвистический университет) и другими участниками этой неформальной исследовательской сети. Еще одним источником поддержки и конструктивной критики стал для меня проект PONARS Eurasia, объединяющий многих ведущих специалистов по проблемам постсоветского пространства из Соединенных Штатов и стран бывшего СССР и работающий под руководством Селест Уолландер на базе Джорджтаунского университета. Многие идеи, сформулированные в данной работе, родились в ходе творческого диалога и полемики с моими коллегами по Санкт-Петербургскому государственному университету, в частности с Николаем Копосовым, Артемием Магуном,

Александром Семеновым, Диной Хапаевой. Отдельные фрагменты и наброски к работе в разное время вдумчиво читали и комментировали Майкл Лейн Брунер (Университет штата Джорджия), Стефано Гуццини (Датский институт международных исследований и Уппсальский университет), Патрик Тадеуш Джексон (Американский университет, Вашингтон). Особо хотелось бы поблагодарить коллег, взявших на себя нелегкий труд чтения и рецензирования (формального или неформального) полной рукописи книги, — Алексея Богатурова (МГИМО(У)), Валерия Коньшева и Артемия Магуна (СПбГУ).

На разных этапах работа над книгой велась при финансовой и институциональной поддержке Копенгагенского института исследования мира (COPRI), где мне довелось работать в 2000 и 2002 годах, принимая участие в заседаниях рабочей группы по европейской безопасности под руководством Барри Бузана и Оле Вэвера; Центральноевропейского университета (Junior Fellowship, 2003 год); фонда Эндрю Гагарина и программы Фулбрайта. Именно в качестве стипендиата последней я преподавал в 2007 году в Университете Денвера, и на эти шесть месяцев пришелся заключительный, наиболее интенсивный этап работы над рукописью. Мое пребывание в Колорадо оказалось особенно продуктивным благодаря гостеприимству сотрудников и преподавателей Высшей школы международных исследований Университета Денвера; мне хотелось бы отдельно поблагодарить ее декана Тома Фарера и профессора Джека Доннелли. Я высоко ценю сотрудничество с журналом «Неприкосновенный запас», для которого я шесть раз в год, начиная с 2004 года, пишу обзоры российских интеллектуальных журналов. Обязанность — часто нелегкая — регулярно и вдумчиво прочитывать значительные объемы журнальных публикаций, поставляемых мне усилиями шеф-редактора «НЗ» Ильи Калинина и редактора Антона Золотова, означает также возможность на постоянной основе следить за оживленными дискуссиями, разворачивающимися на страницах отечественных научных и публицистических изданий.

## ОТ АВТОРА

Несмотря на то что мне пришлось работать над этой книгой в разных местах, от Петербурга до Колорадо и Нью-Мексико, моей альма-матер все эти годы оставался Санкт-Петербургский государственный университет. Поэтому в заключение — но отнюдь не в последнюю очередь — мне хотелось бы сказать спасибо моему учителю и наставнику, декану факультета международных отношений СПбГУ Константину Худолею, за его терпение и поддержку и за готовность щедро делиться своим богатым опытом.

## ВВЕДЕНИЕ

Эта книга посвящена «вечным» вопросам. В зависимости от политической и философской ориентации авторов, ставивших их на протяжении столетий, они могут формулироваться как вопрос о судьбе России, о русской душе и русской идее, о принадлежности России к Европе, о возможности перехода к демократии, о России как Евразии и т. д. В отличие от мыслителей, пытавшихся дать определенный и окончательный ответ на эти вопросы, автор данной работы ставит перед собой гораздо более скромные задачи. По нашему мнению, ответ на вечные российские вопросы не может быть дан раз и навсегда, потому что не может быть отделен от вопроса: вопрошая о подлинной сущности России, мы, как правило, уже имеем в виду некоторый конкретный ответ. Задавая вопрос и отвечая на него, мы тем самым формируем исторически конкретную, живую реальность политического сообщества под названием «Россия», определяем его место в универсуме смыслов, то есть его идентичность. Поэтому, задаваясь вопросом о прошлом, настоящем и будущем страны, бесполезно пытаться найти ответы вне нас самих, вне нашей бесконечной дискуссии о России и о ее месте в мире.

В этой книге мы исходим из ставшего уже общепринятым тезиса, что идентичность нации, как и любого другого политического сообщества, конструируется теми, кто к ней принадлежит, и что формирование идентичности необходимо связа-

но с проведением границ, с отделением коллективного «Мы» от Другого. Процесс самоидентификации состоит в различении внутреннего и внешнего, в исключении одних элементов окружающего мира и присвоении других: «Я» невозможно без Другого, не может осознать своей самости без сопоставления ее с чем-то внешним, с не-Я.

Из этого со всей очевидностью следует, что проблематика идентичности и границ является центральной для науки о международных отношениях. Само существование международных отношений как дисциплины решающим образом зависит от разделения политики на внутреннюю и внешнюю: если «внутренний» мир, где царят порядок и право, устанавливаемые и поддерживаемые суверенным государством, отдан на откуп политологам, то внешний мир анархии и угроз, где нет и, возможно, не может быть единой верховной власти, — сфера интересов ученых-международников. Это различие, однако, с момента возникновения дисциплины в начале XX века принималось как данность, а сами фундаментальные механизмы разграничения между внутренним и внешним были в лучшем случае предметом интереса политических философов наподобие Карла Шмитта, труды которых почти не оказывали влияния на развитие международных исследований.

Эта ситуация начала меняться к концу прошлого столетия, когда была осознана несостоятельность допущения, что различие между внутренней и внешней политикой существовало всегда в одних и тех же или, по крайней мере, подобных формах и что само по себе оно не является политической или научной проблемой. Именно в этот период появляются работы, в которых проблематизируется деление политики на внутреннюю и внешнюю<sup>1</sup>, представление о единой традиции теорети-

<sup>1</sup> International/intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics / Ed. by J. Der Derian, M. J. Shapiro. Lexington: Lexington Books, 1989; Walker R. B. J. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

зирования международных отношений от Фукидида и Макиавелли до наших дней<sup>1</sup>, гендерные аспекты международной политики<sup>2</sup>, ставятся проблемы субъектности<sup>3</sup>, природы международных норм<sup>4</sup> и взаимосвязи между идентичностью государства и внешней политикой<sup>5</sup>.

В нашей книге проблема соотношения идентичности и границ политического сообщества рассматривается с позиций теории дискурса, разработанной Эрнесто Лаклау и Шанталь Муф (их научная карьера начиналась в Аргентине и Бельгии соответственно, но уже на протяжении нескольких десятилетий оба они работают в Англии). Анализируя труды этих авторов, Якоб Торфинг совершенно справедливо указывает на синтетический характер предлагаемой ими теории: перед нами не еще один шаг в развитии устоявшейся традиции, а весьма плодотворная попытка объединения сразу нескольких мощных интеллектуальных направлений. На их учение невозможно навесить какой-то один ярлык: его можно назвать постструктуралистским, постмарксистским, неограмшианским, в

<sup>1</sup> *Ashley R. K., Walker R. B. J.* Conclusion. Reading Dissidence/Writing the Discipline: Crisis and the Question of Sovereignty in International Studies // *International Studies Quarterly*. Vol. 34. 1990. No. 3. P. 367—416.

<sup>2</sup> *Enloe C. H.* Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley: University of California Press, 1989; *Tickner J. A.* Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. New York: Columbia University Press, 1992; *Gendered states. Feminist (re)visions of international relations theory* / Ed. by V. S. Peterson. Boulder, London: Lynne Rienner, 1992.

<sup>3</sup> *Wendt A.* The Agent — Structure Problem in International Relations // *International Organization*. Vol. 41. 1987. No. 2. P. 335—370.

<sup>4</sup> *Onuf N. G.* World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia: University of South Carolina Press, 1989.

<sup>5</sup> *Campbell D.* Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992; *Wendt A.* Collective Identity Formation and the International State // *American Journal of Sociology*. 1994. Vol. 88. No. 2. P. 384—396. — Более подробное обсуждение современного состояния проблемы см. в § 1.7.



нем присутствуют элементы психоанализа, и, безусловно, оно находится в критическом диалоге с политической философией Карла Шмитта. Результат получается вовсе не эклектичным — напротив, в данном случае мы имеем дело с целостной, фундаментальной и при этом достаточно гибкой теорией, способной ответить на самые острые вопросы современной эпохи.

Лаклау и Муфф ставят вопрос о природе социальных границ, который для них неразрывно связан с фундаментальной проблемой возможности общества, однако они работают на довольно высоком уровне теоретической абстракции, поэтому проблема соотношения и взаимосвязи внутреннего и внешнего в политике остается для них второстепенной. В нашей работе мы попытаемся показать, как теория Лаклау и Муфф работает на эмпирическом материале, применив ее к изучению наиболее фундаментальных проблем формирования национальной идентичности России и границ российского политического сообщества на современном этапе. Теория дискурса Лаклау и Муфф как нельзя лучше подходит для исследования этой проблематики именно потому, что она проблематизирует само понятие общества, показывая исторически обусловленный характер любых социальных формаций, и потому позволяет обсуждать процессы самоидентификации России не только как процесс взаимодействия со значимыми Другими (такими, как Европа и Запад), но и собственно процесс конструирования и переопределения этих Других в российском дискурсе (например, чрезвычайно продуктивную дискурсивную практику разделения Европы на «истинную» и «ложную»). Кроме того, постструктуралистская теория, соединяющая деконструкцию Деррида с психоанализом Лакана, наиболее успешно, на наш взгляд, справляется с проблемой структурного детерминизма и тем самым позволяет поставить вопрос о возможности политической субъектности. Этот вопрос, в свою очередь, является одной из ключевых нормативных проблем при разговоре о «судьбе России»: обречены ли мы, говоря словами Юрия Лотмана, на вечное «выворачивание наизнанку»

противопоставления между Россией и Западом, на «циклически повторяющееся “отрицание отрицания”»<sup>1</sup>, или у нас все же есть шанс приступить к практической деконструкции этого противопоставления, чтобы, возможно, выйти на новый уровень разговора о будущем демократии не только в России, но и на уровне глобальной политики?

Таким образом, центральными в нашей работе являются проблемы взаимосвязи «внутреннего» по своей природе процесса формирования национальной идентичности и наиболее актуальных вопросов современной мировой политики. Книга вступает в диалог с широким кругом текстов, ориентированных на изучение схожей проблематики — от постструктуралистских до умеренно конструктивистских и даже позитивистских, однако ближе всего она находится к постструктуралистскому направлению в науке о международных отношениях, как оно определено Джесси Эдкинс в ее заслужившей общее признание монографии<sup>2</sup>. В частности, одна из характерных особенностей этого подхода состоит в том, что, в отличие от большинства конструктивистов, постструктуралисты не рассматривают внешнюю политику как продукт идентичности, уже сформировавшейся «внутри» сообщества. Вместо этого они исследуют все политические, в том числе и внешнеполитические, практики как имеющие непосредственные последствия для формирования идентичности нации-государства, о котором идет речь. Так, в своей книге о взаимосвязи политики безопасности и процесса конструирования национальной идентичности США Дэвид Кэмпбелл предлагает «понимать внешнюю политику Соединенных Штатов как политическую практику, которая играет центральную роль в конституировании, производстве и поддержании американской политической идентич-

<sup>1</sup> *Лотман Ю. М.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб, 2002. С. 90.

<sup>2</sup> *Edkins J.* Poststructuralism and International Relations. Bringing the Political Back In. Boulder, London: Lynne Rienner, 1999.

ности»<sup>1</sup>. Успех этой работы, которая, вне всякого сомнения, внесла огромный вклад в развитие науки о международных отношениях на протяжении последних двух десятилетий, свидетельствует о плодотворности постструктуралистского подхода к международной реальности.

В нашей монографии мы предлагаем сделать еще один шаг на пути последовательной деконструкции «здорового смысла» традиционной науки о международных отношениях. Мы интерпретируем (внешне) политические практики не только как практики самоидентификации, но и как практики, учреждающие само политическое сообщество, о котором идет речь. Пример постсоветской России оказывается в этом отношении наиболее удачным, поскольку после распада Советского Союза Россия оказалась в беспрецедентной геополитической и исторической ситуации: фактически перед страной открылась возможность начать свою историю «с чистого листа». Этой возможностью россияне в конечном итоге не воспользовались, но, несмотря на это, революционные преобразования конца 1980-х — начала 1990-х годов обнажили структуры, на невиданную прежде глубину, сделав предметом общественной дискуссии этико-политические устои социального порядка и породив тем самым глубочайший кризис. Нацию и государство пришлось выстраивать заново, и, даже если при этом было решено воспользоваться «строительными материалами», доставшимися в наследство от предыдущей эпохи, современная Россия представляет собой новое политическое сообщество с радикально изменившейся идентичностью и новыми территориальными, корпоральными и семантическими границами. Для изучения таких явлений как нельзя лучше подходит радикальная версия постструктуралистской теории, в которой

<sup>1</sup> *Campbell D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity / Revised edition. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. P. 8.*

ничто не принимается как данность: реальность и значение любых социальных явлений и институций подлежат эмпирической проверке.

В полном соответствии с положениями постструктуралистской теории основное содержание книги составляет выяснение отношения между идентичностью России и другими важнейшими идентичностями, задающими систему координат, в которой происходил и происходит процесс определения границ политического сообщества новой России. Некоторые из них — такие как Европа или Запад — присутствуют в дискурсе эксплицитно и повсеместно: практически любой вариант самоопределения современной России нуждается как минимум в сопоставлении с одной из этих идентичностей, а чаще всего — с обеими. Другие — например, империя — не обладают тем же качеством необходимого присутствия в разговоре о российской идентичности, однако их почти неизбежно приходится использовать при интерпретации многих важнейших узловых пунктов российской дискурсивной реальности. С учетом этого факта мы в нашей работе не пытаемся представить сколько-нибудь систематического анализа функционирования понятия империи в научном или политическом языке, ограничиваясь лишь отдельными, наиболее яркими случаями его применения (как, например, в проекте «либеральной империи» Анатолия Чубайса). Вместо этого мы используем этот термин для обозначения широкого спектра проблем, обусловленных имперским прошлым России: в первую очередь речь здесь идет об исторической памяти (прежде всего о советском, но также и об имперском историческом нарративах), о культурном многообразии современной России, а также об универсалистском измерении российского политического проекта, о стремлении проецировать собственные этические категории на Европу и шире — на все человечество. Кроме того, имперское наследие играет решающую роль в интерпретации российским дискурсом понятия суверенитета и связанных с ним означающих (таких как «великая держава»), так что в конечном итоге именно

термин «империя» наиболее полно характеризует всю совокупность структурных факторов, определяющих отношения России с двумя наиболее значимыми Другими — Западом и Европой.

Работа написана преимущественно на материале 1999—2007 годов, начиная с косовского кризиса и заканчивая последним обращением президента Путина к Федеральному собранию. В случае, когда это необходимо для характеристики современной дискурсивной гегемонии, мы выходим за пределы этих хронологических рамок, обращаясь к событиям более или менее отдаленного прошлого. Использование Косово в качестве точки отсчета представляется практически самоочевидным — именно кризис, вызванный войной НАТО против Союзной Республики Югославии, вызвал резкое обострение отношений России с Западом и привел к тому, что дискурсивные изменения, накапливавшиеся в российском обществе на протяжении всего предшествовавшего десятилетия, сложились в единую артикуляцию, в значительной степени определившую характер всей эпохи президентства Владимира Путина. Дискурсивные практики, формировавшие идентичность и границы политического сообщества России на протяжении этой эпохи, составляют главный предмет исследования в монографии. Безусловно, российская дискурсивная реальность не оставалась в совершенной неподвижности на протяжении этих восьми лет, однако стабильность базовых структур, характерных для этого периода, все же преобладала над относительно поверхностной изменчивостью. То, что верхним хронологическим пределом эмпирической части работы стала весна 2007 года, обусловлено, помимо случайных субъективных факторов (таких как невозможность бесконечного накопления материала и необходимость в какой-то момент завершить работу над книгой), также предположением, что именно в эти месяцы страна вступила в новый переходный период, когда необходимость обеспечения надежной передачи власти преемнику Владимира Путина могла вызвать дестабилизацию дис-

курсивной реальности, появление новых, возможно весьма радикальных, вариантов артикуляции дискурса. Эти всплески политической активности совсем необязательно останутся без последствий, но их эффект можно будет в полной мере оценить уже только в последующие годы, когда у власти будет новый президент, а значит, с учетом высокой степени централизации российской политической системы, неизбежно изменится характер и содержание политического процесса. Впрочем, базовые дискурсивные механизмы, исследуемые в нашей работе, едва ли перестанут функционировать, а значит, результаты нашего исследования можно будет использовать и в дальнейшем.

Автор данной монографии не ставил перед собой задачи детальной реконструкции дискурсивного поля российской политики в какой-то заданный момент. Скорее нас интересовала наиболее фундаментальная дискурсивная динамика: исследование эволюции смысловых структур на протяжении различных периодов времени позволяет выявить те из них, которые остаются стабильными, несмотря на смену эпох: этот факт позволяет предположить, что именно эти структуры лежат в основе смыслового универсума современной России. Соответственно, нас мало интересуют вопросы типологизации дискурсов, составления «дискурсивной карты» российского политического пространства — во всяком случае, такая задача не ставилась в качестве самостоятельной, и поэтому разрабатываемые нами описания дискурсивных моделей конструирования российского политического сообщества (глава 2) или подразделение консервативного дискурса на радикальный и умеренный (главы 3—4) не претендуют на исчерпывающую полноту. Мы оставляем без внимания значительное число дискурсивных позиций, которые не оказывают решающего влияния на процесс формирования идентичности и границ российского политического сообщества на современном этапе. Вместо этого нас интересует глубокое исследование внутренней логики современной дискурсивной гегемонии, потому что

по определению именно гегемоническая артикуляция резонирует с наиболее седиментированными и устойчивыми смысловыми структурами, которые в значительной степени детерминируют политические процессы. Только изучение логики гегемонического дискурса и его противоречий может служить основанием для рассуждений о степени предопределенности политических процессов и пределах этой детерминации, о возможности трансформации или даже ниспровержения гегемонии, тогда как само по себе присутствие маргинальных альтернативных артикуляций не свидетельствует ни о чем, кроме самоочевидного факта неполного замыкания дискурсивной формации.

Тот факт, что политическая теория постструктурализма пока еще не получила широкой известности в России и фактически не используется учеными-международниками, обусловил необходимость достаточно пространного теоретического введения в проблематику книги. В первой главе изложена краткая интеллектуальная история постструктурализма и обобщены основные принципы постструктуралистской онтологии и эпистемологии. Далее подробно охарактеризована специфика постструктуралистской теории дискурса Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф в сравнении с другими направлениями дискурсного анализа. В последующих параграфах раскрывается содержание основных понятий, составляющих терминологический аппарат работы, таких как «гегемония», «артикуляция», «антагонизм», и подробно рассматриваются две наиболее существенные теоретические проблемы, с которыми сталкивается любое исследование дискурсивных структур и их роли в политике, — природа субъектности и политических границ. Наконец, обозначив нашу позицию по ключевым онтологическим и эпистемологическим вопросам, мы кратко характеризуем современное состояние дискуссии по проблеме идентичности в науке о международных отношениях, тем самым завершая разработку понятийного аппарата нашего исследования.

Во второй главе книги осуществляется переход от теоретического исследования к эмпирике, поэтому она сознательно сделана более разнородной, чем все остальные главы. Сначала, на основе теоретических выводов первой главы, обсуждаются некоторые наиболее важные вопросы методологии дискурсного анализа. Следующий логический шаг состоит в подробной характеристике и обосновании методов отбора источников и их интерпретации — в частности, подчеркивается необходимость и плодотворность работы с открытыми источниками, являющаяся одним из основных принципов дискурсного анализа. Отдельный параграф посвящен теории секьюритизации, разработанной так называемой копенгагенской школой (Барри Бузан, Оле Вэвер и др.): понятие безопасности является одним из центральных для науки о международных отношениях, а его интерпретация копенгагенской школой позволяет весьма продуктивно использовать его в рамках постструктуралистской парадигмы для характеристики практик, направленных на интенсификацию антагонистических отношений. Вместе с тем теория секьюритизации является теорией среднего уровня, у которой нет необходимости в собственных глубоких онтологических или эпистемологических посылах. Она важна для настоящего исследования не сама по себе, а благодаря тем исследовательским инструментам, которые она дает для дискурсного анализа, и именно поэтому она обсуждается во второй, методологической, главе. Заключительные параграфы главы посвящены формулированию наиболее обобщенных моделей, в соответствии с которыми артикулируются идентичность и границы политического сообщества России. Здесь, в частности, оказывается уместным обозначить позицию автора по отношению к классическому наследию Юрия Лотмана и Михаила Бахтина, которое, помимо прочего, помогает раскрыть противопоставление «истинной» и «ложной» Европы, введенное Ивером Нойманном и составляющее одну из концептуальных основ настоящего исследования. Тем са-



мым мы переходим от теоретико-методологической к эмпирической части нашей работы.

Эмпирическая часть монографии условно разделена на две главы по хронологическому и тематическому принципу. В главе 3 речь идет главным образом о генеалогии современной России: в ней обсуждаются реакция российского общества на косовский кризис, функционирование дискурсивного механизма, разделяющего Европу на «истинную» и «ложную» (на примере отношений России с балтийскими государствами — наиболее характерным воплощением «ложной» Европы), а также структурные причины неоимперской стабилизации, обусловившие формирование идентичности России как «государства-продолжателя» СССР. Центральная тема четвертой главы — диалектика универсализма и партикуляризма применительно к современной дискурсивной гегемонии. В ней мы исследуем процесс становления России как глобального субъекта, который настаивает на своем праве участвовать в решении наиболее актуальных проблем современности. Исторически конкретный характер этого субъекта, укорененного в советском прошлом, однако, приводит к неизбежной дислокации — к возникновению противоречий и двусмысленностей, которые не позволяют России в полной мере конституировать себя как замкнутую и самодостаточную структуру. Интересно, что эта дислокация имеет параллели на глобальном уровне, что, по нашему мнению, позволяет принципиально по-новому поставить вопрос о перспективах глобальной демократии.

Прежде чем перейти к основной части нашего исследования, нам остается лишь сделать несколько терминологических замечаний. В данной работе прилагательное «дискурсивный» применяется для характеристики научных подходов, принимающих дискурс в качестве главного объекта исследования, — в словосочетаниях «дискурсивный анализ», «дискурсивная методология» и т. п. Прилагательное «дискурсивный», напротив, означает «порождаемый дискурсом», «существующий в дискурсе» («дискурсивная практика», «дискурсивная структура» и т. д.).

Наконец, «анализ дискурса» подразумевает изучение конкретного дискурса на определенном этапе его исторического существования — например, анализ современного российского внешнеполитического дискурса.

В отличие от английского и многих других европейских языков, в русском при разговоре об идентичности не всегда удастся использовать однообразную терминологию для обозначения оппозиции «Я (Мы) — Иное (Другой)» (в английском языке она обычно выражается в терминах «Self — Other»). При употреблении того или иного местоимения или прилагательного мы руководствовались в первую очередь стилистическими соображениями, но при этом все слова в подобном значении выделяются написанием их с прописной буквы. Кроме того, по мере возможности мы пытались различать Другого как идентичность и Иное как означающее: когда речь идет о противопоставлении между «Я (Мы)» и другим сообществом, построенном на отношениях включения — исключения (таким как Европа или Запад), в работе используется термин «Другой», а если имеется в виду некое «точечное» означающее (например, в оппозиции «цивилизация — варварство») — термин «Иное». Термин «constitutive outside», введенный Генри Стейтеном для характеристики одного из фундаментальных понятий (или, скорее, даже группы понятий) философии Жака Деррида и широко используемый Лаклау и Муфф, переводится как «конституирующее иное» (со строчной буквы).

Все переводы английских и французских текстов, цитируемые в книге, если не указано иначе или не приводится ссылка на русское издание, выполнены автором. По возможности мы старались переводить термины, не имеющие однозначного аналога в русском языке, в соответствии с уже устоявшейся практикой перевода; в ряде случаев, особенно при переводе текстов Жака Деррида, приходилось сверять перевод на русский язык с опубликованным английским переводом. Некоторые тексты, французские или немецкие оригиналы которых

## ВВЕДЕНИЕ

было трудно получить в библиотеках, где довелось работать автору, цитируются по английским переводам.

При эмпирическом анализе актуальных общественно-политических текстов обычно приводятся сведения о формальном статусе их автора. В этих случаях занимаемая автором должность приводится по состоянию на момент создания цитируемого текста.

*Глава 1*  
ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГРАНИЦЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА:  
ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКАЯ  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

**Т**еория дискурса Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф, которая легла в основу настоящего исследования, представляет собой продуктивный синтез нескольких, на первый взгляд весьма несхожих, традиций политической и философской мысли. Узловым пунктом этой теории является понятие гегемонии, которое Лаклау и Муфф интерпретируют в духе учения итальянского философа-марксиста Антонио Грамши. О близости их взглядов к неомарксизму также позволяет говорить эмансипационная программа, характерная практически для всех написанных ими текстов: главная цель научного поиска, с их точки зрения, состоит в освобождении человека от различных вариантов угнетения. Сами они, впрочем, предпочитают называть себя постмарксистами, подчеркивая, что одним из главных отличий их работ от наследия Маркса и даже Грамши является последовательный отказ от эссенциализма и экономизма<sup>1</sup>. В то же время они не просто признают тезисы о социальной обусловленности индивидуальной свободы и о власти как конституирующем начале социального — эти фундаментальные положения постструктуралистской парадигмы в значительной степени составляют существо их

<sup>1</sup> См., например: *Mouffe C. Democracy — Radical and Plural // CSD Bulletin. Vol. 9. 2002. No. 1. P. 10. URL: [www.wmin.ac.uk/ssh1/PDF/CSDB91.pdf](http://www.wmin.ac.uk/ssh1/PDF/CSDB91.pdf).*

теории. В данном случае перед нами «глубокая» теория дискурса, которая в полной мере отражает итоги «лингвистического поворота» в социальных науках, свершившегося на протяжении XX века<sup>1</sup>. Лаклау и Муф опираются на современную версию структурной лингвистики, их интерпретация марксистского наследия вдохновлена трудами классиков постструктурализма, таких как Мишель Фуко и особенно Жак Деррида. Они оба, но в особенности Эрнесто Лаклау, отдают дань психоаналитической традиции, представленной в современной политической теории прежде всего трудами Жака Лакана и, разумеется, его современного последователя, популярнейшего словенского философа Славоя Жижека. Наконец, понятие конституирующего антагонизма, которое в значительной степени определяет представление о политическом в теории Лаклау и Муф, перекликается с центральными элементами философского учения Карла Шмитта. Его труды на протяжении последнего десятилетия вновь обрели актуальность, и Шанталь Муфф, в частности, весьма продуктивно работает над синтезом понятия политического у Шмитта и представления о гегемонии в неограмшианской традиции.

Несмотря на основополагающую роль теории дискурса Лаклау и Муфф для данного исследования, его первая глава изначально не задумывалась как общий обзор трудов названных авторов. На эту тему уже существует довольно обширная

<sup>1</sup> «Лингвистический поворот» был явлением многогранным, поэтому едва ли здесь уместно вести речь о его содержании; его удачно обобщает, например, эссе Джона Тоуза: *Toews J. E. Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreducibility of Experience // The American Historical Review. Vol. 92. 1987. No. 4. P. 879—907.* «Лингвистический поворот» в исторической науке принято связывать с классическим трудом Хейдена Уайта: *Yaitm X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века.* Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. См. также: *Clark E. A. History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn.* Cambridge, London: Harvard University Press, 2004.

литература<sup>1</sup>; кроме того, это не вполне сочетается с фундаментальной исследовательской ориентацией настоящей работы, которая состоит в применении постструктуралистской теории дискурса к анализу эмпирического материала. Вместе с тем автор отдает себе отчет в том, что, несмотря на растущую популярность дискурсного анализа в российской политологии<sup>2</sup>, постструктуралистская теория дискурса пока еще мало извест-

<sup>1</sup> См., в частности: *Torfinn J.* New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Žižek. Oxford: Blackwell, 1999; *Edkins J.* Poststructuralism and International Relations. Bringing the Political Back In. Boulder, London: Lynne Rienner, 1999. P. 125—136; *Howarth D.* Discourse. Buckingham, Philadelphia: Open University Press, 2000. P. 101—125; *Jørgensen M., Phillips L.* Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage, 2002; *Åkerstrøm Andersen N.* Discursive Analytical Strategies. Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhman. Bristol: Policy Press, 2003.

<sup>2</sup> Статьи на эту тему регулярно публикуются в журнале «Полис»; в Екатеринбурге издается журнал «Дискурс ПИ», целиком посвященный этой проблематике. Полный список трудов российских исследователей, использующих различные методы дискурсного анализа, занял бы несколько страниц, поэтому укажем лишь на несколько работ, в которых поставлены наиболее значимые теоретические и дисциплинарные вопросы: *Баранов А. Н., Караулов Ю. Н.* Словарь русских политических метафор. М.: Помовский и партнеры; Издательская группа «Прогресс», 1994; Политический дискурс в России, 1996—2006: Хрестоматия. М.: Государственный институт русского языка, 2007; *Шейгал Е. И.* Семиотика политического дискурса. М.; Волгоград: Перемена, 2000; *Чудинов А. П.* Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры. Екатеринбург: Б. и., 2001; *Герасимов В. И., Ильин М. В.* Политический дискурс как объект лингвистического анализа // Политическая наука. 2002. № 3. С. 61—71; *Гаврилова М. В.* Критический дискурс-анализ в современной зарубежной лингвистике. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003; *Гаврилова М. В.* Политический дискурс как объект лингвистического анализа // Полис. 2004. № 3. С. 127—139; *Карасик В. И.* Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: ГНОЗИС, 2004; *Русакова О. Ф., Максимов Д. А.* Политическая дискурсология: предметное поле, теоретические подходы и структурная модель политического дискурса // Полис. 2006. № 4. С. 26—43.

тна отечественному читателю<sup>1</sup>, а в области международных исследований практически не представлена<sup>2</sup>. Поэтому данная глава представляет собой расширенное теоретическое введение в проблематику книги, написанное исходя из потребностей эмпирического анализа и потому носящее сугубо авторский характер. Читатель не найдет здесь систематического обзора предпосылок, тезисов и следствий неограмшианской постструктуралистской теории дискурса. Вместо этого в главе последовательно и в максимально широком контексте рассматриваются основные понятия и теоретические проблемы, которые возникают при применении постструктуралистского дискурсного анализа к эмпирическому материалу в контексте науки о международных отношениях. Данная глава не заменит читателю, незнакомому с основами философии и теории постструктурализма, чтения первоисточников и обзорных работ, но, как надеется автор, сделает понятной постановку эмпирических проблем и методологию исследования.

<sup>1</sup> В одном из наиболее полных обзоров зарубежных теорий дискурса, опубликованных в России, Ольга Русакова и Дмитрий Максимов ссылаются на работы Лаклау, Муф и Жижика, но содержательно все «постмодернистское направление» представлено у них работами Янниса Ставракакиса — последователя Жака Лакана, автора, работы которого в общем и целом принадлежат к психоаналитической традиции. См.: *Русакова О. Ф., Максимов Д. А.* Указ. соч. С. 28, 34—35.

<sup>2</sup> Возможное исключение (если говорить только о русскоязычных работах) составляют несколько статей Андрея Макарычева и Олега Реута, например: *Макарычев А. С., Реут О. Ч.* О деполитизации и десеверенизации // Центр интернет-политики МГИМО(У) МИД России. Статьи членов экспертного совета. 2006. URL: [http://www.netpolitics.ru/public.php?doc\\_id=166](http://www.netpolitics.ru/public.php?doc_id=166); *Макарычев А. С.* Постструктуралистский поворот в регионалистике: новые (предна)значения концептов // Без темы. 2006. № 1. С. 56—60; *Реут О. Ч.* Прилагательные суверенитета. Суверенитет как прилагательное // Полис. 2007. № 3. С. 115—124. Отметим, впрочем, что, хотя оба эти автора с точки зрения профессиональной самоидентификации принадлежат к числу международников, названные работы напрямую не затрагивают международно-политической проблематики.

## § 1.1. Постструктуралистская теория дискурса Лаклау и Муфф: истоки и своеобразие

Представление о дискурсе как форме существования социальной реальности в некотором смысле восходит к трансцендентальному направлению в философии нового времени, которое в первую очередь интересуется не фактами как таковыми, а условиями их возможности. В частности, речь идет о философии Иммануила Канта, который поставил вопрос об априорных категориях разума, предшествующих любой чувственной реальности. Как отмечает Эрнесто Лаклау, «основная гипотеза дискурсного подхода состоит в том, что сама возможность восприятия, мысли и действия зависит от структурирования некоторого смыслового поля, которое предшествует любой фактической непосредственности»<sup>1</sup>. Важнейшим источником дискурсного подхода является также феноменология Эдмунда Гуссерля, который полагал, что интуитивное постижение сущностей является предпосылкой любого представления о «данности».

Для современного обществознания, однако, характерно весьма критическое отношение к метафизике и эссенциализму. Если психоанализ Зигмунда Фрейда и феноменология Эдмунда Гуссерля все еще строились вокруг понятия сущности, которое было впервые сформулировано еще Аристотелем<sup>2</sup>, то для работ Жака Лакана и Жака Деррида характерна эксплицитная критика эссенциализма как представления о наличии у

<sup>1</sup> *Laclau E. Discourse // A Companion to Contemporary Political Philosophy / Ed. by R. E. Goodin and Philip Pettit. Oxford: Blackwell, 1991. P. 431.*

<sup>2</sup> *Аристотель. Метафизика. М.; Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. С. 113—139 (книга VII (Z)).* Об истории понятия сущности в западной философии см., например: *DeGroot D. H. Philosophies of Essence. An Examination of the Category of Essence. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1970; Попти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1997.*



любого типа объектов конечного набора характеристик, которые позволяют однозначно разделить объекты на принадлежащие и не принадлежащие к данному типу. Принципиальным отличием современных теорий дискурса от трансцендентальной философии является представление об исторической и социальной обусловленности всех фундаментальных категорий человеческого разума: в отличие от Канта, который считал базовые априорные структуры человеческого разума универсальными, современный структурализм исходит из невозможности проведения четкой границы между эмпирическим и трансцендентальным. Таким образом, исходя из предпосылки, что наше восприятие фактов зависит от предшествующих восприятию базовых категорий, структурализм и постструктурализм в то же время настаивают на том, что эти базовые категории также являются социально обусловленными, существуют в языке как в intersubjectивной реляционной целостности. С этой точки зрения постструктуралистский дискурсивный подход укоренен в континентальной философии с ее критикой чистой рациональности (в частности, рационалистического оптимизма Канта) и утверждением исторической обусловленности всякого опыта и знания.

Стюарт Холл удачно обобщил основное содержание эволюции представлений о человеке и обществе от Декарта до наших дней, выделив два этапа в переосмыслении представлений о субъектности<sup>1</sup>. Сначала, отказавшись от представления о суверенном, прозрачном для себя субъекте Просвещения, философия пришла к представлению о «социологическом субъекте», который все еще наделен внутренней сущностью, но при этом его идентичность формируется во взаимодействии с обществом. Сохраняя различие между индивидом и обществом, этот подход вводит понятие социализации для описания процесса становления субъекта. Следующим неизбежным шагом,

<sup>1</sup> Hall S. The Question of Cultural Identity // *Modernity and Its Futures* / Ed. by S. Hall, D. Held, T. McGrew. London: Polity Press, 1992. P. 275—277.

однако, стало стирание границы между индивидом и обществом и формирование представления о постсовременном субъекте (postmodern subject), у которого отсутствует внутренняя сущность или фиксированная идентичность. В особенности начиная с работ Луи Альтюссера<sup>1</sup> понятия индивида и субъекта все дальше расходятся, вследствие чего субъектность становится лишь моментом во всеобъемлющем процессе воспроизводства социального. По мнению Холла, основной вклад в децентрирование картезианского субъекта внесли Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Фердинанд де Соссюр, Мишель Фуко и теория феминизма. Маркс указал на обусловленность сознания социально-экономическим бытием; Фрейд предположил, что сознание представляет собой всего лишь один из аспектов бессознательного, и описал травматический характер становления субъекта и культуры; Соссюр заложил основы структурной лингвистики, которая поставила под сомнение представление об инструментальном характере языка по отношению к субъекту и, напротив, подчеркивает встроенность всякого индивида в интерсубъективные языковые структуры; Фуко показал, что фиксация истины есть социально продуктивная функция власти; наконец, феминизм подверг критике понятие о якобы универсальном картезианском субъекте как гендерно обусловленное и разоблачил гендерные иерархии, лежащие в основе современного общества<sup>2</sup>. Разумеется, этот список не окончателен и не абсолютно бесспорен: Дженни Эдкинс, например, предлагает дополнить его постколониальной критикой универсального субъекта просвещения как основанного на расистской концепции природы человека<sup>3</sup>; фигура Фридри-

<sup>1</sup> В особенности: *Althusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses // Althusser L. Lenin and Philosophy and Other Essays.* London: NLB, 1971. P. 127—186.

<sup>2</sup> *Hall S.* Op. cit. P. 285—291. См. также: *Edkins J.* Op. cit. P. 22 и далее.

<sup>3</sup> *Edkins J.* Op. cit. P. 129—130. См. в особенности: *Fanon F. Black Skin White Masks.* London: Pluto, 1991; *Bhabha H. The Location of Culture.* London: Routledge, 1994.

ха Ницше как критика универсальной морали тоже вписывается в этот ряд. Как бы то ни было, даже это краткое резюме дает представление о масштабном философском сдвиге, который подорвал позитивизм изнутри и привел к возникновению целого спектра критических направлений в социальных науках.

Этот сдвиг применительно к социальным наукам в значительной мере связан с признанием особой роли языка в конституировании и функционировании социальной реальности, которое как раз и составило сущность «лингвистического поворота». Едва ли не самой важной предпосылкой «лингвистического поворота» и одновременно его началом стала структурная лингвистика Фердинанда де Соссюра. Важнейшим вкладом Соссюра в развитие не только лингвистики, но и наук о человеке в целом стало разработанное им представление о языке как системе различий. Господствовавшее до Соссюра референтное понимание языка исходит из представления, что язык всего лишь отражает существующую реальность, и поэтому слова, в том числе политические и научные термины, могут более или менее точно соответствовать объективной действительности. С точки зрения дифферентного подхода, предложенного Соссюром, значение слов определяется различиями в их употреблении: мы знаем, как использовать, например, слово «лошадь», исходя из различий между лошадью и другими животными, другими средствами транспорта и т. д.<sup>1</sup> Соответственно, язык в принципе может функционировать лишь как целостная система различий, в которой ни один элемент не может быть определен отдельно от других: русские слова «лошадь» и «конь», например, взаимозаменяемы при абстрактном разговоре об этом животном как о средстве передвижения, но в конкретном контексте имеют разные коннотации (ср. выражения «рабочая лошадка» и «быть на коне»). Кроме того, Соссюр подчеркивает, что между «акустическим образом» (означа-

<sup>1</sup> Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: КомКнига, 2006. С. 77–81, 104 и далее, особ. с. 113–120.

ющим) и понятием (означаемым) не существует «естественной» связи, знак как единство означающего и означаемого является в своей основе «произвольным»<sup>1</sup>. Соответственно язык представляет собой чистую форму, а не субстанцию: «каждый элемент системы определяется исключительно правилами его сочетания и взаимозаменяемости с другими элементами»<sup>2</sup>. Как в шахматах при замене деревянных фигур мраморными или просто клочками бумаги суть игры не изменится, так и в языке последовательность звуков означающего может быть в принципе любой, но каждой такой последовательности в языке соответствует одно и только одно понятие<sup>3</sup>.

В дальнейшем развитие структурной лингвистики шло в направлении все более последовательного применения формального подхода. Важнейшим шагом здесь стали труды копенгагенской глоссематической школы<sup>4</sup>, и в первую очередь работы Луи Ельмслева, которые разрушили представление о полном изоморфизме означающего и означаемого, разделив знак на составные элементы — фонемы и семы. Например, в знаке, изображаемом в письменном английском языке как «calf» («теленос»), можно выделить три фонемы (/k/, /æ/ и /f/) и как минимум три семы («относящийся к коровам как виду», «самец», «молодой»)<sup>5</sup>. Разделение знака на «минимальные формы» приводит Ельмслева к заключению, что в центре внимания науки о языке должна находиться внутренняя по отношению к языку система зависимостей между его элементами. При этом «и рассматриваемый объект, и его части существуют толь-

<sup>1</sup> *Cossey F. de*. Указ. соч. С. 78—79.

<sup>2</sup> *Laclau E.* Discourse. P. 432.

<sup>3</sup> *Cossey F. de*. Указ. соч. С. 45, 94—95, 111.

<sup>4</sup> Чтобы предупредить возможные недоразумения, отметим, что копенгагенская школа в семантике напрямую не связана с копенгагенской школой исследований в области безопасности, которая упоминалась во Введении и о трудах которой подробно идет речь в § 2.3.

<sup>5</sup> *Ducrot O., Todorov T.* Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979. P. 22.

ко в силу этих зависимостей»; более того, «объекты» наивно-го реализма... являются не чем иным, как пересечением пучков подобных зависимостей»<sup>1</sup>. Это деление окончательно устранило сохранявшиеся у Соссюра элементы непоследовательности в подходе к языку как формальной системе и сделало возможным применение семиологических методов к другим системам сигнификации в трудах Ролана Барта<sup>2</sup> и Клода Леви-Строса<sup>3</sup>, которые обычно называют в качестве наиболее характерных для структурализма как направления в обществознании.

Одним из важнейших теоретических положений структурализма является отказ от взгляда на язык как всего лишь отражение объективной реальности, инструмент, используемый людьми при изучении мира, внешнего по отношению к сознанию субъекта, и переход к представлению о социальной реальности как смысловом поле, структура которого совпадает со структурой языка. Значимость этого тезиса для наук об обществе трудно переоценить. Общественная жизнь, и в особенности такая ее составляющая, как политический процесс, в значительной степени состоит из речевых актов: любое политическое действие по определению должно быть облечено в слова, которые не только придают ему смысл и обеспечивают легитимность, но и задают субъектные позиции, интерпелируют, «помещают» в них социальных акторов, направляют, приказывают. Более того, политическая борьба в подавляющем большинстве

<sup>1</sup> *Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка. М.: УРСС; КомКнига, 2005. С. 48.

<sup>2</sup> См. в особенности: *Барт Р.* Мифологии. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2000; *Его же.* Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 114—163; *Его же.* Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003; *Его же.* S/Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

<sup>3</sup> *Леви-Строс К.* Структурная антропология. М.: Наука, 1983; *Его же.* Первобытное мышление. М.: Республика, 1994; *Леви-Строс К.* Мифологии. М.: ЦГНИИ ИНИОН РАН; СПб.: Культурная инициатива: Университетская книга, 2000.

случаев состоит в борьбе за производство новых смыслов и значений либо за сохранение старых. Так, начало военной кампании НАТО против Югославии в 1999 году стало возможным — и в каком-то смысле неизбежным — лишь после того, как в рамках господствующего дискурса восторжествовало определение югославского режима как преступного, антигуманного, проводящего политику этнических чисток и т. п. Реакция на эти события в России определялась представлением, что действия НАТО нарушали суверенитет независимой Югославии. Обе формулы, в свою очередь, опирались на более глубокие смысловые структуры: в случае НАТО, на идею прав человека как основополагающей ценности, основанной на приоритете индивидуальной свободы, на идее суверенного автономного индивида; в случае России — на принцип суверенитета как основы существующего мироустройства. Значимость «лингвистического поворота» для интерпретации косовских событий состоит даже не в том, что он предлагает новые способы понимания их динамики. Тем более не следует считать, что структурно-лингвистическая перспектива исключает возможность реалистических или геополитических объяснений, основанных на понятии «интереса, выраженного в терминах власти»<sup>1</sup>. Главная ценность подхода, ориентированного на языковые структуры, в том, что он позволяет подчеркнуть зависимость смысла от локального исторического контекста, что особенно важно при обсуждении международных проблем. Интерпретация в России прав человека как идеологического прикрытия эгоистической политики Североатлантического альянса с этой точки зрения не является ни самоочевидным проявлением фундаментального национального интереса, ни «антидемократическим» заблуждением, но не теряет от этого своей фактичности, будучи встроенной в более широкую реляционную систему социальных смыслов. Чтобы описать взаимо-

<sup>1</sup> *Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace / 2nd ed., revised and enlarged. New York: Alfred A. Knopf, 1955. P. 5.*

действие России и Запада в ходе кризиса и оценить возможности более продуктивного диалога, необходимо сопоставить этот факт с другим — тем, что в универсалистском дискурсе, структурировавшем реальность для тех, кто принимал решения в НАТО, суверенитет давно уже утратил свою абсолютную ценность, уступив место другим правовым принципам — в особенности правам человека. Этот смысловой «сдвиг» между различными дискурсивными пространствами составляет структурную основу политики не в меньшей степени, чем места залегания полезных ископаемых, наличие удобных транспортных путей или количество ядерных боеголовок.

Важно отметить, что структурализм и постструктурализм, с их онтологией, в которой лингвистическое соразмерно социальному, не одиноки в подчеркнутом внимании к структуре. Например, структурный реализм Кеннета Уолтца<sup>1</sup> также видит структуру как совокупность отношений различия, которые определяют свойства элементов, и также приходит к тому, что структура получает очевидный приоритет (если не онтологический, то по крайней мере методологический) над агентом<sup>2</sup>. Главное отличие, конечно, состоит в том, что неореализм Уолтца ориентирован на изучение исторически конкретного частного случая социальной структуры, в которой природа элементов (государств) и организующий принцип системы (международная анархия) заранее известны. Структурализм и

<sup>1</sup> *Waltz K.N. Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley, 1979.*

<sup>2</sup> *Wight C. Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology. New York: Cambridge University Press, 2006. P. 131—136.* Уайт, на наш взгляд, несправедливо критикует постструктурализм за его «антигуманистическую» онтологию, в которой не находится места субъекту. Как будет показано далее (§ 1.5), постструктуралисты могут по крайней мере претендовать на то, что им удастся решить задачу, которую ставит перед собой Уайт, — объединить понятия агента и структуры в единой онтологии. Впрочем, в этой онтологии структура действительно по-прежнему стоит на первом месте.

особенно постструктурализм, в свою очередь, ставят более амбициозные задачи, отказываясь от априорного постулирования каких-либо позитивных качеств системы или ее элементов. Поэтому серьезная постструктуралистская критика неореализма должна быть направлена не против неореалистической теории как таковой, но против попыток ее избыточной генерализации, применения ее к ситуациям, подобным периоду после окончания холодной войны, когда идентичности элементов структуры и тот или иной характер их взаимосвязей ни в коем случае не могут приниматься как данность.

Структурализм видит лингвистическое и социальное как неразрывное единство: существование социальных феноменов возможно лишь благодаря обретению ими смысла в универсальной системе различий, которая и есть язык. Эта теоретическая позиция пока, на наш взгляд, не получила должного осмысления в литературе, принадлежащей полю международных исследований: как правило, теоретики-международники признают значимость фундаментального онтологического вопроса о природе социальной реальности, однако склонны считать, что ответ на этот вопрос может быть только эпистемологическим и методологическим. Согласно этой точке зрения, наше знание о мире необходимо принимает форму текстов, взаимодействующих с другими текстами, и постижение социальной реальности возможно лишь через язык, представляющий собой единственно мыслимую субстанцию социального. Как пишет Дэвид Кэмпбелл, «мир существует независимо от языка, но мы никогда не можем знать об этом (помимо утверждения самого факта), потому что существование мира в буквальном смысле слова непостижимо вне языка и наших традиций интерпретации»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Campbell D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity / Revised edition. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. P. 6. — Курсив в оригинале.*



Таким образом, критика Колином Уайтом постструктурализма в международных отношениях за отказ от прямого обращения к онтологическим вопросам<sup>1</sup> оказывается в значительной степени справедливой, хотя предлагаемый Уайтом в качестве альтернативы «научный реализм» при ближайшем рассмотрении оказывается трудноотличим от редукционистского индивидуализма. Александр Вендт с его «квантовой социальной теорией» также настаивает на необходимости напрямую обращаться к онтологическим проблемам, пытаясь преодолеть противопоставление телесного и духовного в своей «панпсихической метафизике». Сознание предстает здесь одним из проявлений волновой природы сущего, постоянно взаимодействующей с его оборотной, корпускулярной ипостасью<sup>2</sup>. Дуализм Вендта, однако, категорически не подходит для описания конституирующей роли, которую в социальном мире играет признание. Если, напротив, мы принимаем тезис о том, что именно отношение «Я — Другой» составляет фундаментальное условие возможности социального и шире — в собственном смысле человеческого бытия, становится очевидной необходимость критического переосмысления кантианской позиции Кэмпбелла, исходящей из онтологической перспективы трансцендентального познающего субъекта, противопоставленного миру «вещей в себе». Основой для такого переосмысления может стать Лаканова концепция децентрированного субъекта, которая берет начало в философии Гегеля и, в частности, в гегелевской критике кантианства.

Как указывает Франсуаза Гаде, в собственно структуралистской традиции (у Леви-Стросса, в ранних работах Барта), использующей лингвистический терминологический аппарат,

<sup>1</sup> *Wight C.* Op. cit. P. 260—261.

<sup>2</sup> *Wendt A. Social Theory as Cartesian Science: An Auto-Critique from a Quantum Perspective // Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics / Ed. by S. Guzzini, A. Leander.* London, New York: Routledge, 2006. P. 181—219.

все еще характерно «сохранение идеи природы человека как специфического объекта и объяснительного принципа»<sup>1</sup>. Однако реляционное понимание социальных различий как существующих лишь во взаимосвязи друг с другом приводит к невозможности истолкования субъекта как источника смысла — вместо этого субъект становится лишь одной из точек всеобщей смысловой реальности. В отличие от Соссюра, полагавшего, что речь (в отличие от языка) полностью зависит от воли говорящего, структурализм утверждает, что содержание осмысленных высказываний определяется общественными институтами и практиками, ограничивающими свободу автономного субъекта социальным контекстом. Более того, сам субъект фактически растворяется в структуре, поскольку структура детерминирует все идентичности, а значит, в значительной степени предопределяет содержание возможных высказываний. В работах Лакана, Деррида, Фуко, Альтюссера, знаменующих переход к постструктурализму, имеет место «отказ от трансцендентной субъективации»: онтологический приоритет языка «определяет субъект как позицию, но никогда как субстанцию»<sup>2</sup>. Поскольку язык как система различий имеет интерсубъективный характер, социальные изменения возможны и даже неизбежны, но они не зависят от воли отдельного индивида. Да и само понятие свободной воли, в сущности, противоречит основным принципам структурализма, поскольку предполагает наличие агента, внешнего по отношению к структуре — а значит, теряет значение и вопрос о человеческой природе.

Таким образом, понимание структуры как замкнутой и самодостаточной системы, формирующей полноценные, прочно укорененные в реальности идентичности, оказалось уязвимо сразу с нескольких точек зрения. Прежде всего, оно статично и не может адекватно описывать социальную дина-

<sup>1</sup> *Gadet F. Saussure and Contemporary Culture*. London: Hutchinson Radius, 1989. P. 155.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 155.

мику: в самом деле, если мы имеем дело с совершенной структурой, для которой все имеющие смысл различия являются внутренними, и отказываемся от идеи автономного субъекта, то морфологические изменения внутри структуры или переход от одной структуры к другой очень трудно концептуализировать. Розалинд Кауард и Джон Эллис указывают на парадоксальный характер работ Леви-Строса: с одной стороны, его структурные модели описывают только и исключительно синхронический момент существования общества и неприменимы для описания процессов, развивающихся во времени; с другой стороны, он сам непрестанно настаивал на уникальности каждого момента, который, по его мнению, не поддается полной реконструкции<sup>1</sup>. Описание социальных изменений оказывается в этом случае дискретным, как если бы любые социальные перемены осуществлялись через катастрофический разрыв с прошлым<sup>2</sup>, а источник перемен должен находиться вне структуры. В этом смысле можно утверждать, что структурализм Леви-Строса представляет собой вариант неокантианства, но без трансцендентального субъекта. Такая позиция, однако, оказывается невозможной: уже «Система моды» Барта показала, что принятый структурализмом примат означаемого в процессе сигнификации приводит к тому, что «сигнификация предстает скорее как продуктивность (которая предполагает производство некоторых позиций для говорящего субъекта), нежели как система, которой может оперировать или которую может суммировать в метаязыке трансцендентальный субъект»<sup>3</sup>. Концепцию структуры как «внутреннего единства компоновки... которым управляет объединительный

<sup>1</sup> Coward R., Ellis J. *Language and Materialism. Developments in Semiology and the Theory of the Subject*. London: Routledge and Keagan Paul, 1977. P. 15—16.

<sup>2</sup> Деррида Ж. Письмо и различие. СПб.: Академический проект, 2000. С. 350—351.

<sup>3</sup> Coward R., Ellis J. *Language and Materialism*. P. 32.

принцип»<sup>1</sup>, оказалось невозможно использовать для описания собственно процесса структурирования, поскольку любая структура по определению фундаментально зависит от внешнего упорядочивающего центра, «трансцендентального означаемого»<sup>2</sup>, «начала начал», которое находится одновременно внутри и вовне структуры, структурирует ее, само избегая процесса структурирования. С этой точки зрения структурализм превращается в «новую форму эссенциализма — поиска основополагающих структур, составляющих неотъемлемый закон для любых возможных вариаций»<sup>3</sup>. Отказ от уводящего в дурную бесконечность поиска трансцендентального означаемого привел к пониманию логической невозможности замкнутой структуры, в которой все идентичности зафиксированы, в результате чего понятие структуры уступило место в качестве основополагающего понятию дискурса как реляционной системы, в которой последовательности означающих объединены в более или менее логически последовательное целое, но которая в то же время никогда не достигает абсолютной определенности всех отношений и смыслов и потому не является сферой чистой детерминированности<sup>4</sup>. Кроме того, возникли проблемы с характерным для последователей Соссюра представлением об онтологическом приоритете языка по отношению к речи. Если структурализм отводил речи роль случайного проявления более глубоких, полноценно существующих языковых структур, то согласно современным представлениям язык как таковой возникает, воспроизводится и изменяется в речи, в конкретных речевых ситуациях.<sup>5</sup>

Одним из первых авторов, обративших внимание на несоответствие разработанной Соссюром теории знака и реалий

<sup>1</sup> Деррида Ж. Письмо и различие. С. 24.

<sup>2</sup> Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 135—136.

<sup>3</sup> Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 1985. P. 113.

<sup>4</sup> Ср.: Torfing J. New Theories of Discourse. P. 81—83, 300.

<sup>5</sup> Jørgensen M., Phillips L. Discourse Analysis... P. 11—12.

языковой коммуникации, был отечественный философ и литературовед Михаил Бахтин. Он указал на то, что в реальной речевой ситуации отправитель и получатель информации никогда не будут владеть одинаковыми коммуникативными кодами, поскольку их психофизиологические особенности и индивидуальный опыт неизбежно отличаются. Более того, если даже предположить, что два индивида с одинаковыми речевыми кодами могли бы существовать, коммуникация между ними была бы бессмысленной, поскольку каждый из них был бы абсолютно точной копией другого. Вместо этого Бахтин предлагает теорию коммуникации, в которой сама дискурсивная реальность, по выражению Цветана Тодорова, «учреждает говорящего и слушателя по отношению друг к другу; строго говоря, они просто не существуют в этом качестве прежде высказывания»<sup>1</sup>. Так Бахтин приходит к проблеме избыточности коммуникации, которую он формулирует следующим образом: «всегда наличный по отношению ко всякому другому человеку избыток моего видения, знания обусловлен единственностью и незаместимостью моего места в мире: ведь на этом месте в это время в данной совокупности обстоятельств я единственный нахожусь — все другие люди вне меня»<sup>2</sup>. Таким образом, как отмечает Юрий Лотман, «между тем, как я кодирую текст, и тем, как другой его декодирует, существует не автоматическое тождество, но отношения эквивалентности»<sup>3</sup>. Еще более радикально формулирует ту же мысль Цветан Тодоров: «представляется, что Бахтин полон решимости возвести всякое чтение, всякое познание в статус этнологии, дисциплины, самоопределение которой состоит во внаходимости

<sup>1</sup> *Todorov T. Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. P. 55.*

<sup>2</sup> *Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 23.*

<sup>3</sup> *Лотман Ю. М. Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб., 2002. С. 153.*

исследователя по отношению к объекту исследования»<sup>1</sup>, — в любом коммуникативном акте всегда присутствует дистанция, которую можно сократить, но не устранить полностью.

С этим связан и вопрос о принципиальной избыточности языка как средства коммуникации: теория Соссюра не способна объяснить существования литературы, искусства и других творческих форм коммуникации, абсолютно ненужных для целей точной передачи информации. Дополняя размышления Бахтина данными позднейших исследований о различиях в функционировании двух полушарий человеческого мозга, Лотман следующим образом суммирует тезис о принципиальной двойственности, децентричности, диалогическом характере культуры:

...Одновременно функционируют в двух направлениях культура, язык, текст и наше сознание. С одной стороны, они создают некую унифицированную семиотическую ситуацию, гарантирующую информационный обмен, а с другой стороны — деунифицированную семиотическую ситуацию, которая гарантирует и возможность создания нового текста, и передачу новой информации<sup>2</sup>.

Язык и культура, таким образом, обладают одновременно стабильностью и динамикой, причем динамика эта возникает именно в силу избыточности средств коммуникации и существования огромного многообразия не вполне соответствующих друг другу коммуникационных кодов. Кроме того, «посредничество» языка играет ключевую роль в определении

<sup>1</sup> *Todorov T.* Op. cit. P. 110. Термин «внезаходимость» (exotopy) Тодоров заимствует у Бахтина. См.: *Бахтин М. М.* Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 334.

<sup>2</sup> *Лотман Ю. М.* Наследие Бахтина... С. 156. О понятии диалогизма у Бахтина и о значении работ Бахтина и Лотмана для исследования российской культуры см. § 2.5. См. также: *Егоров Б. Ф.* Бахтин и Лотман // Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 243—258.

человеком своего места в мире: «Дискурс, — отмечает Тодоров, — не поддерживает однообразного отношения со своим объектом; он не “отражает” его, но организует, трансформирует или разрешает ситуации»<sup>1</sup>.

Труды Бахтина, создававшиеся в Советском Союзе, были почти неизвестны западной аудитории практически до самой его кончины в 1975 году. Взлет популярности Бахтина на Западе был связан с работами таких авторов, как Юлия Кристева и Цветан Тодоров<sup>2</sup>, — оба они эмигрировали во Францию из социалистической Болгарии, где у них была возможность познакомиться с текстами русского философа. Однако к тому времени европейская — главным образом французская — философская мысль уже прошла через разрыв с представлением о замкнутой централизованной структуре. Этот разрыв, положивший начало переходу от структурализма к постструктурализму, обычно связывают с поздними работами Ролана Барта<sup>3</sup>, с элементами психоанализа, привнесенными в дискуссию Жаком Лаканом<sup>4</sup>, а также с учением о деконструкции, разработанным Жаком Деррида. Процесс деконструкции состоит в обнаружении радикальной неразрешимости, присущей всем структурам, и приводит к выводу о том, что замыкание структуры и фиксация идентичностей — всегда только относительные и временные — возможны лишь при наличии внешней силы, отрицающей внутреннюю идентичность структуры, в условиях непреодолимого антагонизма.

Современный постструктурализм — постольку поскольку он отличается от постмодернизма в узком смысле слова, с присущим последнему тяготением к культурному релятивизму и представлению о разрыве между реальностью и ее репре-

<sup>1</sup> *Todorov T. Mikhail Bakhtin. P. 55.*

<sup>2</sup> См. в особенности: *Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // Critique. T. XXIII. 1967. No. 239. P. 438—465; Idem. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, New York: Columbia University Press, 1980; Todorov T. Op. cit.*

<sup>3</sup> *Барт Р. S/Z.*

<sup>4</sup> *Lacan J. Écrits. Paris: Éditions du Seuil, 1966.*

зентацией в языке — в значительной степени является результатом весьма продуктивного соединения структурной лингвистики с неомарксистской традицией. Если для такого типичного представителя постмодернизма, как Жан Бодрийяр, современная эпоха характеризуется полным разрывом между означающим и означаемым, распространением «симулякров» и становлением «гиперреальности»<sup>1</sup>, то неомарксистская критика структурной лингвистики направлена, наоборот, против представления о произвольности знака, характерной для теории Соссюра. Вот как об этом пишет Реймонд Уилсон:

Представление [о произвольности] было введено в противоположность идее, что знак является иконой, — и тезис, что в языке не существует необходимой абстрактной связи между словом и вещью, разумеется, правилен. Но описание знака как произвольного или немотивированного предрешает весь теоретический спор. Я говорю, что знак не произволен, а конвенционален и что конвенция есть результат социального процесса. Если у него есть история, он не произволен — он является конкретным продуктом людей, которые создали тот или иной язык. ...Систематический характер языка как такового — это результат, всегда меняющийся результат, деятельности реальных людей, вовлеченных в социальные отношения, которые включают индивидов не просто как производные от общества, но в самом что ни на есть диалектическом отношении одновременно производящих его и производимых им... Люди сделали язык, и они его переделают, не обязательно намеренно — хотя и это тоже случается, — но в рамках обычного процесса, в ходе их полноценного социального опыта<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.

<sup>2</sup> Williams R. Politics and Letters. London: NLB, 1979. P. 330—331. Cp.: Weldes J. Constructing National Interests // European Journal of International Relations. Vol. 2. 1996. No. 3. P. 308.



Решающую роль в обновлении марксистской традиции, способствовавшем возрождению ее популярности в середине XX века и, в частности, сделавшем возможным ее синтез со структуралистским подходом в лингвистике и этнографии, сыграло интеллектуальное наследие Антонио Грамши. Лаклау и Муфф, в особенности, опираются на учение Грамши о гегемонии для разработки постструктуралистского понимания социального антагонизма и процессов социальной трансформации. Они отталкиваются от тезиса о социальной продуктивности идеологии, в особенности в том, что касается конституирования субъектов политического действия и способности господствующего класса установить отношения гегемонии путем позиционирования себя в качестве представителя интересов других групп<sup>1</sup>, но приходят к необходимости отказа от остатков экономического детерминизма, все еще присущего Грамши. Последовательное движение по пути деконструкции приводит Лаклау и Муфф к необходимости отказаться от эссенциалистского представления об экономике как сфере, детерминирующей интересы и идентичности, и настаивать на том, что «само пространство экономики структурировано как политическое пространство и что в нем, как и на любом другом “уровне” общества, практики, которые мы охарактеризовали как гегемонистские, действуют в полной мере»<sup>2</sup>. Соответственно, вся сфера социального оказывается сферой неразрешимости, где те или иные идентичности и практики могут быть в большей или меньшей мере седиментированы, но где в конечном итоге невозможна окончательная фиксация смысла, и, следовательно, любая идентичность сохраняет элемент неопределенности. В работе «Гегемония и социалистическая стратегия» Лаклау и Муфф разрабатывают неограмшианскую социальную теорию, согласно которой отношения гегемонии возникают в

<sup>1</sup> *Gramsci A. Selections from Prison Notebooks.* London: Lawrence & Wishart, 1971. P. 180—182.

<sup>2</sup> *Laclau E, Mouffe C.* Op. cit. P. 76—77.

условиях борьбы между антагонистическими силами за фиксацию плавающих означающих и за установление границ сообщества, которая в конечном итоге ведет к постоянному переопределению идентичности самих этих противостоящих друг другу сил<sup>1</sup>. В дальнейшем, отвечая на критику со стороны Славоя Жижека<sup>2</sup>, Лаклау интегрировал в учение о гегемонии представление о субъекте как чистой лакуне внутри структуры, более подробно разработав понятие дислокации, неизбежно возникающей в любой структуре вследствие ее принципиальной незамкнутости<sup>3</sup>. Таким образом, теория дискурса Лаклау и Муффа не только дает возможность методологически увязать процессы конструирования идентичности и социального антагонизма, но и намечает подходы к решению одной из сложнейших проблем современной социальной теории — вопросу о соотношении агента и структуры, которая во многом является ключевой в поисках ответа на вопрос о практических выводах из постструктуралистской критики социальной реальности.

Еще одна важнейшая составная часть теории Лаклау и Муффа, особенно актуальная с точки зрения науки о международных отношениях, — это разработка ими представления о работе логик эквивалентности и различия и основанная на этом концептуализация границы между внутренним и внешним как основанной на чистом отрицании. Лаклау и Муффа, как и многие представители политической теории, склонны ставить знак равенства между границами общества и государства, не обращаясь при этом специально к вопросу о многообразии этих границ. Однако разработанный ими концептуальный аппарат позволяет совершенно по-новому взглянуть на

<sup>1</sup> *Laclau E., Mouffe C.* Op. cit. См. в особенности с. 136—137.

<sup>2</sup> *Žižek S.* Beyond Discourse Analysis // *Laclau E.* New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990. P. 249—260.

<sup>3</sup> См.: *Laclau E.* New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990.

природу центрального для теории международных отношений противопоставления между внутренним и внешним. Изучение процесса конституирования границ конкретного политического сообщества — России — с использованием этого аппарата составляет центральную тему данной работы.

## § 1.2. Теории дискурса: происхождение и типология. Специфика понятия дискурса в постструктурализме

Вероятно, не будет преувеличением утверждать, что на протяжении последних десятилетий понятие дискурса стало одним из центральных не только для философии постструктурализма, но и в целом для наук о человеке и обществе. Тезис Фуко о том, что смысл и истина не имеют иных оснований, кроме самого языка в его социальном функционировании, позволил интерпретировать язык как систему, отражающую отношения власти в обществе, и тем самым установить неразрывную связь между лингвистическим и социальным. Понятие дискурса, впервые подробно разработанное в «Археологии знания», отражает взаимосвязь и взаимное присутствие лингвистического в социальном и наоборот.

При определении дискурса авторы-международники часто ссылаются на Йенса Бартельсона, который весьма удачно обобщил размышления Фуко, определив дискурс как «систему формирования высказываний»<sup>1</sup>. Это определение достаточно лаконично и вполне соответствует такой, например, формулировке из работы самого М. Фуко: «Мы будем называть дискурсом совокупность высказываний... Он создан ограниченным

<sup>1</sup> *Bartelson J. A Genealogy of Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 70.* Более подробно о понятии дискурса у Фуко см., например: *Mills S. Discourse / 2nd ed. London: Routledge, 2004; Howarth D. Op. cit. P. 48—84.*

числом высказываний, для которых мы можем определить совокупность условий существования»<sup>1</sup>.

Стремление Фуко отделить дискурсивную сферу социальной реальности от недискурсивной, характерное для его археологии, возвращает нас к Соссюровой теории знака и представлению об изоморфизме означающего и означаемого, которое сохраняет за языком роль отражения реальности и в силу этого делает теоретически малоубедительными объяснения социальных явлений посредством исследования дискурса. Генеалогический подход позднего Фуко<sup>1</sup> представляется в этом смысле гораздо более продуктивным благодаря разработанной им концепции власти, которая оказывается единственным фактором, упорядочивающим дискурсивную сферу, лишенную с точки зрения генеалогии какого бы то ни было априорного структурного или телеологического единства.<sup>3</sup>

Понятие дискурса было воспринято различными науками и несколькими отличными друг от друга философско-методологическими направлениями, поэтому уже к концу прошлого века стало невозможно говорить о дискурсе как однозначном

<sup>1</sup> Фуко М. Археология знания. СПб.: Гуманитарная академия; Университетская книга, 2004. С. 227.

<sup>2</sup> Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999; *Ego же*. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистерум; Кастань, 1996; *Ego же*. Использование удовольствий. СПб.: Академический проект, 2004; *Ego же*. История сексуальности-III. Забота о себе. Киев: Дух и литера; М.: Рефл-бук, 1998; *Foucault M. Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972—1977* / Ed. by C. Gordon. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1980.

<sup>3</sup> Подразделение творчества Фуко на археологический и генеалогический периоды является общепринятым, хотя разные авторы по-разному интерпретируют степень разрыва или же преемственности между этими этапами. См., в частности: *Dreifus H. L., Rabinow P. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* / 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1983; *Sheridan A. Michel Foucault: The Will to Truth*. London, New York: Tavistock, 1980; *Deleuze G. Foucault*. London: Athlone Press, 1988. P. 31 и далее; *Laclau E. Discourse*. P. 434—436; *Howarth D. Op. cit.* P. 67 и далее.

понятии и дискурсном анализе как единой методологии. Более того, по мнению Якоба Торфинга, теория дискурса изначально предлагала скорее новую аналитическую перспективу, нежели «готовую» теорию, — все существующие сегодня теории дискурса разрабатывались независимо друг от друга, что и привело к такому разнообразию подходов<sup>1</sup>. Марианне Йоргенсен и Луиза Филлипс предлагают двухмерную типологию дискурсивных подходов, основанную на различии, во-первых, представлений о соотношении дискурсивного и социального и, во-вторых, интереса к микроуровню, к повседневности или, напротив, к макроуровню, к наиболее абстрактным дискурсивным категориям<sup>2</sup>. Первое измерение в принципе позволяет классифицировать любые, в том числе позитивистские, научные направления: оно отражает то, как разные теории отвечают на вопрос о возможности социального за пределами лингвистического. Для постструктурализма характерен тезис о полном совпадении этих двух сфер: социальные явления, согласно этой точке зрения, обретают существование тогда, когда в реляционной целостности языка появляются соответствующие различия. Позитивизм, напротив, склонен трактовать язык как «отражение» реальности, которое может быть объективным или искаженным. Большинство современных подходов к анализу дискурса занимают на этой оси промежуточное положение, признавая существование социального за пределами дискурсивного, но в то же время настаивая на том, что язык не просто отражает, но так или иначе формирует социальную реальность. Что касается второго измерения, то дискурсивная психология, например, обращает преимущественное внимание на микроуровень, тогда как теория дискурса Лаклау и Муффа, напротив, изначально разрабатывалась для анализа

<sup>1</sup> *Torfin J. Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges // Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance / Ed. by D. Howarth, J. Torfin. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 1.*

<sup>2</sup> *Jørgensen M., Phillips L. Op. cit. P. 18—21.*

наиболее абстрактных социальных понятий — что, однако, не исключает ее применения как на мезо-, так и на микроуровне.

Якоб Торфинг различает три поколения теорий дискурса, однако при ближайшем рассмотрении его типологизация немногим отличается от предложенной Йоргенсен и Филлипс, поскольку в ее основе также лежит вопрос о взгляде на соотношение дискурсивного и социального. Первое поколение, по Торфингу, — это лингвистические теории дискурса, включая социолингвистику, критическую лингвистику и дискурсивную психологию; второе — критический дискурсивный анализ, а также археологический и генеалогический подходы Мишеля Фуко, наконец, третье поколение — постструктуралистская теория, берущая начало от трудов Жака Деррида<sup>1</sup>. Однако при таком подходе «поколения» не могут трактоваться строго хронологически, поскольку ранние работы Фуко и Деррида увидели свет практически одновременно с появлением лингвистических теорий дискурса. Разница между «поколениями» состоит именно в степени проблематизации понятия социальной реальности. Теория дискурса Лаклау и Муфф действительно отталкивается от работ Фуко, который первым поставил вопрос о социальных условиях возможности лингвистических практик и тем самым сформулировал современное понятие дискурса<sup>2</sup>. Вместе с тем синтетический характер их теории, для которой одинаково важными оказываются и «лингвистический поворот», и неомарксизм, и психоанализ, едва ли позволяет выводить их подход к анализу дискурса из наследия Фуко напрямую.

Необходимо признать, что третье, постструктуралистское поколение теорий дискурса пока еще не получило сколько-нибудь адекватной интерпретации в русскоязычной научной литературе. Так, Ольга Русакова и Дмитрий Максимов выделяют два основных направления «политической дискурсологии» — критическое и постмодернистское и подробнеем образом

<sup>1</sup> *Torfin J. Discourse Theory. P. 6—9.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 9.*

анализируют именно первое из них. Если в работе Йоргенсен и Филлипс<sup>1</sup> критический дискурсный анализ предстает как однородное направление, представленное главным образом работами Нормана Фэрклоу<sup>2</sup>, то Русакова и Максимов<sup>3</sup> отдельно рассматривают социально-семиотический<sup>4</sup>, социокультурный<sup>5</sup> и социокогнитивный<sup>6</sup> подходы. Русакова и Максимов сами признают, что в отечественной литературе имеет место «перекос в сторону критической лингвистики»<sup>7</sup>: все перечис-

<sup>1</sup> *Jørgensen M., Phillips L.* Op. cit. P. 60—95.

<sup>2</sup> *Fairclough N.* Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992; Idem. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London, New York: Longman, 1995; Idem. Media Discourse. London: Edward Arnold, 1995; *Chouliaraki L., Fairclough N.* Discourses in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999; *Fairclough N.* Language and Globalization. London, New York: Routledge, 2006.

<sup>3</sup> *Русакова О. Ф., Максимов Д. А.* Указ. соч. С. 30—34.

<sup>4</sup> *Hodge R., Kress G.* Language as Ideology. London, Boston: Routledge and Keagan Paul, 1979; *Hodge R., Kress G.* Social Semiotics. Ithaca: Cornell University Press, 1988; *Chouliaraki L.* Media Discourse and the Public Sphere // Discourse Theory in European Politics / Ed. by D. Howarth, J. Torfing. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 275—296; Idem. The Spectatorship of Suffering. London: Sage, 2006.

<sup>5</sup> Помимо уже названных работ Фэрклоу, см.: *Reisigl M., Wodak R.* Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism. London; New York: Routledge, 2001; Discourse and Methods of Critical Discourse Analysis / Ed. by R. Wodak, M. Meyer. London: Sage, 2001; A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology, and Interdisciplinarity / Ed. by R. Wodak, P. Chilton. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins, 2005.

<sup>6</sup> *Дейк Т. А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989; *Dijk T. A. van.* Critical Discourse Analysis // The Handbook of Discourse Analysis / Ed. by D. Schiffrin, D. Tannen, H. E. Hamilton. Malden, Oxford: Blackwell, 2001. P. 352—371; Idem. Political Discourse and Political Cognition // Politics as Text and Talk: Analytic Approaches to Political Discourse / Ed. by P. Chilton, C. Schäffner. Philadelphia: John Benjamin, 2002. P. 203—237.

<sup>7</sup> *Русакова О. Ф., Максимов Д. А.* Указ. соч. С. 35.

ленные ими подходы исходят из концепции языка как отражения социальной реальности и преимущественно используют методологию, предполагающую использование языка властными инстанциями в качестве инструмента. Сами Русакова и Максимов тоже придерживаются представления о внедискурсивной природе субъектности, даже когда они говорят о «постмодернистском» направлении дискурсного анализа. В начале статьи они, правда, называют дискурсы «агентами политической коммуникационной сети»<sup>1</sup>, но никак не раскрывают это спорное положение. В дальнейшем авторы трактуют дискурсы исключительно как «властный ресурс», используемый политическими акторами<sup>2</sup>, и, в частности, настаивают на том, что «каждый дискурс сопряжен с какой-то коммуникативной стратегией (интенцией)»<sup>3</sup>. Более того, они даже приписывают Мишелю Фуко «толкование различных областей знания и социальных институтов как сфер контроля над дискурсами со стороны властных инстанций»<sup>4</sup>.

Едва ли с этим тезисом согласились бы авторы, которых Русакова и Максимов относят к постмодернистскому направлению дискурсного анализа — Лаклау и Муфф, Торфинг, Жижек и Яннис Ставракакис. Как будет показано далее, все они исходят из того, что в интерпретации Фуко власть не контролирует дискурс и вообще не является внешней по отношению к социальным институтам — напротив, власть имманентна всему спектру социальных отношений и потому имеет дисперсный характер. Как бы то ни было, предложенные отечественными и зарубежными авторами варианты типологизации позволяют составить общее представление о структуре поля дискурсного анализа и о положении, которое в этом поле занимает постструктуралистская теория. Мы можем теперь пе-

<sup>1</sup> Русакова О. Ф., Максимов Д. А. Указ. соч. С. 26.

<sup>2</sup> Там же. С. 26, 29.

<sup>3</sup> Там же. С. 38.

<sup>4</sup> Там же. С. 29.



рейти к характеристике фундаментальных понятий постструктуралистской теории дискурса, показывая их специфику и по мере необходимости сопоставляя подход Лаклау и Муффа с позициями других авторов. Начать, разумеется, следует с работ Мишеля Фуко, которые, собственно, и ввели термин «дискурс» в его современном значении в язык социальных наук.

Основной единицей анализа дискурса в «Археологии знания» является высказывание. Может показаться, что, поскольку постструктурализм преимущественно исследует отношения между означающими в языке, а не в речи индивидуального субъекта, это понятие избыточно и даже вредно. В то же время нельзя не признать, что при эмпирическом анализе дискурса высказывание все же является основной источниковедческой единицей. Отношения между означающими, фиксируемые дискурсом, могут проявляться только через посредство грамматических и смысловых отношений в предложениях, сформулированных в определенном социально-историческом контексте. Более того, и с теоретической точки зрения постструктурализм настаивает на том, что существование дискурса всегда исторично и любые обобщения всегда приводят к некоторой потере достоверности. Это соображение приводит нас к необходимости анализа понятия высказывания, и здесь работы М. Фуко оказываются весьма кстати.

Фуко определяет высказывание не через структурные критерии, а через его функцию: высказывание — «это функция существования, которая полностью принадлежит знакам и исходя из которой, путем анализа или благодаря интуиции, мы можем впоследствии решить, есть ли в них смысл, в соответствии с какими правилами они возникают друг за другом или располагаются в ряд, знаком чего они являются и какого рода акт осуществляется через их формулировку (устную или письменную)»<sup>1</sup>. При этом функция высказывания состоит как раз в

<sup>1</sup> Фуко М. Археология знания. С. 173.

том, что через него проявляются структуры, отношения, различия, имеющие смысл в конкретной социальной ситуации. Так, набор знаков на клавиатуре пишущей машинки не есть высказывание, тогда как тот же набор знаков, приведенный в справочнике по машинописи, представляет собой высказывание, сообщающее о принятом порядке расположения букв на клавиатуре<sup>1</sup>. Предложение «бесцветные зеленые идеи яростно спят» не имеет смысла, если интерпретировать его как описание некой видимой реальности, но оно может выступать как высказывание, например, в описании сна, в поэтическом тексте, в речи человека, находящегося под воздействием наркотиков, или как закодированное сообщение<sup>2</sup>; причем в каждой из этих ситуаций его смысл будет различен.

Еще один парадоксальный, но весьма важный момент состоит в том, что субъект высказывания не идентичен его автору: определить отношение между субъектом высказывания и самим высказыванием означает выяснить, какую позицию должен занимать индивид, чтобы быть субъектом данного высказывания<sup>3</sup>. Одно и то же предложение в устах рабочего, обедающего в кругу семьи, и министра иностранных дел, выступающего в парламенте, представляет собой очень разные высказывания, но если бы министром иностранных дел был г-н L, а не г-н N, то высказывание, возможно, не изменилось бы.

Нужно, впрочем, отметить, что с позиций постструктурализма было бы правильнее использовать термины «автор высказывания» (как отражение того случайного факта, что то или иное осмысленное сочетание знаков произнес, написал или иным образом произвел на свет конкретный г-н N) и «субъектная позиция» (как отражение объективного и фиксированного положения источника высказывания в социальной структуре). Использование понятия «субъект высказывания» в данном

<sup>1</sup> Фуко М. Археология знания. С. 171—172.

<sup>2</sup> Там же. С. 178.

<sup>3</sup> Там же. С. 181—188.

контексте ведет к методологической путанице, поскольку возвращает нас к констатированной еще структуралистами «смерти субъекта»: если у Соссюра субъект обладает свободой использовать язык по своему усмотрению в собственной речи<sup>1</sup>, с точки зрения его последователей, развивавших формальную лингвистику, в дискурсивной системе не остается места для автономного субъекта, поскольку все идентичности оказываются дискурсивно конструируемыми<sup>2</sup>. В этом смысле «субъектная позиция» — это позиция без субъекта, иллюзия субъектности, поскольку от воли автора высказывания зависит лишь случайный выбор слов и объединение их в предложения, тогда как смысл высказывания детерминирован фиксированной идентичностью автора в рамках структуры. Понятие субъекта можно возродить, лишь используя постструктуралистское понятие дислокации как принципиальной незамкнутости структуры, приводящей к постоянно возобновляющемуся сомнению в ее идентичности (см. § 1.5).

Высказывания не могут существовать без связи с условиями своего появления: чтобы стать высказыванием, предложение или любая другая группа знаков должны обрести конкретную материальную форму (устная речь, буквы на газетной бумаге, транспарант...) в конкретном месте в конкретное время, причем любое высказывание по сути своей неповторимо: в другом месте в другой момент времени в другой материальной форме это будет уже иное высказывание<sup>3</sup>.

В то же время, если мы исходим из того, что дискурс — это целостность отношений между означающими, а не между высказываниями, нужно подчеркнуть, что именно отношения между означающими в конечном итоге определяют отноше-

<sup>1</sup> Именно поэтому Соссюр настаивает на том, что предельной единицей лингвистического анализа является предложение, тогда как речь является сферой чистой субъективности: *Соссюр Ф. де*. Указ. соч. С. 38—40.

<sup>2</sup> *Laclau E.* Discourse. P. 433.

<sup>3</sup> *Фуко М.* Археология знания. С. 188—207.

ние высказывания к дискурсу. Дискурс *не состоит* из некоторого множества высказываний, конечного или бесконечного: если в рамках определенного дискурса одни высказывания воспринимаются как само собой разумеющиеся, другие как проблематичные, а третьи просто невозможны, то это связано с отношениями между означающими, которые эти высказывания пытаются установить. Так, например, можно утверждать, что высказывания «Россия была и остается великой державой» или «Россия — неотъемлемая часть Европы» в рамках господствующего российского политического дискурса являются почти само собой разумеющимися, выражают здравый смысл. Но самоочевидность этих высказываний не является их атрибутом как таковых — они самоочевидны в силу того факта, что в российском политическом дискурсе плавающее означающее «Россия» фиксируется через попытку установить отношения эквивалентности между ним и другими плавающими означающими, такими как «великая держава» и «Европа». Значения этих последних, в свою очередь, реляционно зависят от других означающих («суверенитет», «процветание», «военная мощь» и др.). Напротив, высказывание наподобие «задача российской внешней политики состоит в максимальном сближении с Западом» весьма проблематично в силу довольно резкого противостояния между означающими «Запад» и «Россия», характерного для господствующего дискурса: как будет показано в нашем исследовании, российская национальная идентичность в значительной степени конструируется путем исключения Запада как Другого. Утверждение этого высказывания в качестве осмысленного требует довольно глубокой реартикуляции дискурса и, в частности, соотнесения идентичности России с альтернативным конституирующим иным. Наконец, высказывание «Россия является частью *Запада*» (не Европы!) пытается установить отношения эквивалентности между двумя означающими, различие (или даже, вполне по Деррида, различание) которых является одной из основ российского политического дискурса, поэтому для его подтверждения необходима

полная, почти катастрофическая реартикуляция — в этом смысле можно утверждать, что это последнее высказывание проблематично до такой степени, что стоит на грани политически возможного.

Именно в этом смысле следует интерпретировать тезис Фуко о том, что сущность понятия дискурса составляет «разница между тем, что можно корректно сказать в тот или иной период (согласно правилам грамматики и логики), и тем, что на самом деле говорится»<sup>1</sup>. Существование дискурсивных структур, устанавливающих некоторые социально приемлемые отношения между означающими, ограничивает возможный диапазон высказываний по сравнению с тем, который может существовать согласно лингвистическим нормам данного языка. Так возникает то, что Фуко называет «дискурсивной формацией» — «система рассеивания» «для некоторого числа высказываний», «закономерность (*régularité*) (порядок, корреляции, позиции и действия, преобразования) «между объектами, типами высказываний, понятиями и тематическими выборами»<sup>2</sup>.

Таким образом, дискурсивный анализ в первую очередь состоит в установлении отношений между наиболее значимыми означающими, характерных для конкретного, исторически существующего дискурса. Эти отношения, однако, не зафиксированы раз и навсегда — наоборот, они являются предметом ожесточенной борьбы. Как отмечает Дженифер Милликен, «дискурсы не существуют “где-то там” в мире; скорее, они являются *структурами*, которые актуализируются в процессе регулярного использования людьми дискурсивно организованных отношений»<sup>3</sup>. Любой дискурс, таким образом, — это от-

<sup>1</sup> Foucault M. Politics and the Study of Discourse // The Foucault Effect: Studies in Governmentality / Ed. by G. Burchell, C. Gordon, P. Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 63.

<sup>2</sup> Фуко М. Археология знания. С. 93.

<sup>3</sup> Milliken J. The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods // European Journal of International Relations. Vol. 5. 1999. No. 2. P. 231. — Курсив в оригинале.

крытая и нестабильная система, которая постоянно нуждается в воспроизводстве своих основополагающих «истин», в «фиксации “режима истины”»<sup>1</sup>. Отражение этой борьбы в практической деятельности человека обычно выражают через понятие дискурсивных практик. Йенс Бартельсон вслед за Фуко определяет дискурсивные практики как системы высказываний, имеющие целью организацию практической деятельности<sup>2</sup>. Дискурсивные практики имеют двойственную природу: с одной стороны, они не могут существовать вне дискурса, с другой стороны, дискурсивные практики воспроизводят дискурс и актуализируют его.

Если мы отказываемся от деления социальной реальности на дискурсивную и недискурсивную сферы, становится очевидной тавтологичность самого термина «дискурсивные практики»: в самом деле, в рамках такого подхода все практики имеют дискурсивный характер. Этот недостаток преодолевается в предлагаемом Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф понятии **артикуляционной практики**, или просто **артикуляции**, которое определяется как «любая практика, устанавливающая отношения между элементами таким образом, что их идентичность модифицируется в результате артикуляционной практики». С точки зрения понятия артикуляции дискурс — это «структурированная целостность, являющаяся результатом артикуляционной практики»<sup>3</sup>. Якоб Торфинг, обобщая труды Лаклау, Муфф и Жижека, приходит к следующему определению дискурса:

Дискурс — это реляционное целое смысловых последовательностей, которые в совокупности конституируют более или менее последовательную систему, устанавливающую пределы высказывания и действия. Понятие дискурса противостоит разграничению между мыслью и

<sup>1</sup> *Milliken J.* Op. cit. P. 230.

<sup>2</sup> *Bartelson J.* Op. cit. P. 71. См. также: Фуко М. Археология знания. С. 106, 116–117.

<sup>3</sup> *Laclau E., Mouffe C.* Op. cit. P. 105.

реальностью и включает как семантические, так и прагматические аспекты. Оно не просто выделяет лингвистическую область внутри социального, но скорее соразмерно социальному<sup>1</sup>.

В этом определении основной акцент сделан именно на взаимозависимости означающих и на целостности дискурса как системы отношений между ними, которая, однако, не исключает некоторой непоследовательности или даже противоречий между отдельными элементами. В то же время это реляционное поле устанавливает пределы возможного действия путем установления некоторых конечных границ возможностям языка по формулированию осмысленных высказываний. Самовоспроизводство этой системы со всеми внутренне присутствующими ей противоречиями и ограничительными последствиями и есть артикуляционная практика.

### § 1.3. Теория гегемонии Лаклау и Муффа: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Итак, любая артикуляционная (дискурсивная) практика направлена на тотальную фиксацию смысла в пределах некоторой социальной формации. Но тогда очевидно, что артикуляция является своим собственным отрицанием: такая тотальная фиксация, если бы она была возможна, положила бы конец всем артикуляционным практикам. Однако тотальная фиксация смыслов, полное замыкание<sup>2</sup> структуры оказываются невозможными вследствие смысловой избыточности любого дискурсивного поля: как замечают Йоргенсен и Филипс, арти-

<sup>1</sup> *Torfiing J.* *New Theories of Discourse.* P. 300.

<sup>2</sup> Лаклау и Муфф систематически используют в этом контексте термин «suture», который мы переводим как «замыкание» (буквально — «сшивание»).

куляция стремится к фиксации смысла, «как *если бы* Соссюрава структура существовала», однако ни один из вариантов фиксации не является необходимым и потому окончательным<sup>1</sup>. Все попытки отыскать центр, начало структуры, чистое Бытие как наличие оказались тщетны: в дискурсе как системе различий, «в которой центральное, исходное или трансцендентальное означаемое абсолютно вне системы различий никогда не присутствует»<sup>2</sup>. В результате действия механизмов сверхдетерминации ни одна идентичность не может быть полностью зафиксирована: идентичности объектов никогда не бывают полностью отделены друг от друга, они неизбежно присутствуют одна в другой, и это присутствие ведет к их непрочности, поскольку пространство для альтернативных вариантов артикуляции всегда открыто<sup>3</sup>.

Термин «сверхдетерминация», чрезвычайно важный для онтологии и методологии постструктурализма, был заимствован Луи Альтюссером у Фрейда для прояснения различий между гегельянской и марксистской диалектикой и для концептуализации отношений между базисом и надстройкой. Если, согласно гегелевской философии истории, «в принципе возможно свести тотальность, все бесконечное разнообразие любого исторически данного общества... к некоему простому внутреннему принципу», который составляет подлинное содержание всех социальных детерминант, то у Маркса «противоречие Капитал-Труд никогда не бывает простым... оно всегда приобретает специфическую определенность благодаря конкретным историческим формам и обстоятельствам, в которых оно выражается и действует»<sup>4</sup>. Эта осложненность особенно наглядно проиллюстрирована Альтюссером через метафору

<sup>1</sup> *Jørgensen M., Phillips L.* Op. cit. P. 25. — Курсив в оригинале.

<sup>2</sup> *Деррида Ж.* Письмо и различие. С. 354.

<sup>3</sup> *Laclau E., Mouffe C.* Op. cit. P. 104, 111.

<sup>4</sup> *Альтюссер Л.* Противоречие и сверхдетерминация // Альтюссер Л. За Маркса. М.: Практика, 2006. С. 153.



«децентрированных кругов»<sup>1</sup>: если «простой внутренний принцип» детерминации может быть изображен как некоторое множество кругов, имеющих общий центр, то сверхдетерминированные противоречия находятся под воздействием факторов, отличающихся друг от друга по своей сущности, и поэтому сверхдетерминация может быть изображена как пересечение кругов с различными центрами. Если Альтюссер, вслед за Марксом, ставит в центр разговора о сверхдетерминации фундаментальное противоречие между трудом и капиталом, то в ходе дальнейшего развития постструктуралистской теории тезис о сверхдетерминации распространяется на все без исключения идентичности, поскольку они все в конечном итоге определяют друг друга и присутствуют друг в друге.

В результате Лаклау и Муфф приходят к выводу о необходимости «отказаться, в качестве уровня анализа, от исходного условия “общества” как замкнутой и самоопределяющейся целостности»<sup>2</sup> Общество оказывается одновременно невозможным и необходимым проектом. С одной стороны, всегда существует напряжение между внутренним и внешним: задача полного поглощения и фиксации одних идентичностей путем исключения других в принципе неразрешима — в силу отсутствия центра, трансцендентального означаемого, все идентичности взаимосвязаны и сверхдетерминированы, и сама идентичность «внутреннего» мира зависит от «внешнего». С другой стороны, «социальное существует... только как попытка конструирования этого невозможного объекта»<sup>3</sup> — общества. Без частичной и непрочной фиксации идентичностей в дискурсе социальная реальность рассыпалась бы на непознаваемые фрагменты. Поэтому частичная фиксация всегда имеет место: «Когда люди говорят об идентичности, — пишет Рональд Суни, — их язык почти всегда подразумевает единство и внутреннюю гар-

<sup>1</sup> Там же. С. 147.

<sup>2</sup> *Laclau E, Mouffe C.* Op. cit. P. 111.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 112.

монию и склоняется к идее естественной целостности». Степень полноты структуры колеблется в довольно широких пределах, но никогда не достигает абсолютных значений: идентичность — это всегда «временная стабилизация осознания себя и группы... без замыкания, без окончательной натурализации или эссенциализации предварительно достигнутых идентичностей»<sup>1</sup>. Говоря словами Патрика Джексона, «социальная стабильность требует *работы* — дискурсивной, практической, активной работы — для своего поддержания. И эта работа *никогда не перестает быть необходимой* для поддержания того или иного социального порядка»<sup>2</sup>.

Вопрос о самой возможности внутреннего и внешнего и о природе социальных границ является одним из центральных для постструктуралистской теории дискурса вообще и в особенности для теории Лаклау и Муффа. Фиксация смысла в дискурсе равнозначна установлению границы системы сигнификации путем исключения всех иных вариантов артикуляции. Однако установление границы в дифференциальной системе, где существуют лишь отношения различия, а не иерархии, приводит к подрыву самой сущности процесса сигнификации: означающие, относящиеся к внутреннему пространству системы, становятся эквивалентны друг другу, что разрушает существующую между ними логику различия. Этот сигнификационный разлом находит свое выражение в том, что означающие, референтом которых выступает вся система сигнификации (и, следовательно, вся социальная целостность), отрываются от любого конкретного означаемого и теряют всякое позитивное содержание, превращаясь в **пустые означающие** (*empty signifiers*)<sup>3</sup>. Содержание таких означающих каждый раз заню-

<sup>1</sup> *Suny R. G. Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia // International Security. Vol. 24. 1999. No. 3. P. 144.*

<sup>2</sup> *Jackson P. T. Civilizing the Enemy: German Reconstruction and the Invention of the West. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006. P. 39. — Курсив в оригинале.*

<sup>3</sup> *Laclau E. Emancipation(s). London: Verso, 1996. P. 36—39.*

Во реконструируется через конкретные артикуляционные практики, но это наполнение также непрочное, оно теряется при каждой попытке реартикуляции. Поэтому с точки зрения борьбы между различными артикуляционными практиками пустые означающие могут быть охарактеризованы как **плавающие означающие** (floating signifiers), — опять-таки в силу отсутствия у них фиксированной позиции в реляционной системе дискурса. Фиксация плавающих означающих, или, что то же самое, наполнение пустых означающих содержанием, происходит в **узловых пунктах** дискурса (nodal points). Узловые пункты — это привилегированные точки дискурсивного пространства, которые Лаклау и Муфф, равно как и Жижек, определяют со ссылкой на лакановский термин «points de capiton»<sup>1</sup> (его обычно переводят на русский язык как «точка пристежки»<sup>2</sup>, ср. англ. «quilting point»<sup>3</sup> или «anchoring point»<sup>4</sup>). Говоря словами Жижека, точка пристежки — это «такое слово, которое *именно как слово*, на уровне самого означающего, унифицирует данное поле, задает его идентичность. Это такое слово, к которому сами “вещи” обращаются, чтобы уяснить себя в своей целостности»<sup>5</sup>. Следует, однако, принять во внимание специфику психоаналитического подхода у Лакана: точка пристежки для него — это точка, в которой не только останавливается скольжение означающего, но также имеет место акт субъективации; субъект «пристегивается» к означающему «обращенным к нему призывом тех или иных господствующих означающих»<sup>6</sup>. Таким образом, термины «узловой пункт», «пу-

<sup>1</sup> Laclau E, Mouffe C. Op. cit. P. 112; Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: ХЖ, 1999. С. 93—95.

<sup>2</sup> См., например: Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образование бессознательного (1957/1958). М.: Гнозис; Логос, 2002. С. 15 и далее; Жижек С. Указ. соч. С. 93.

<sup>3</sup> Edkins J. Op. cit. P. 93.

<sup>4</sup> Lacan J. Écrits: A Selection. New York: W. W. Norton & Co., 1977.

<sup>5</sup> Жижек С. Указ. соч. С. 102. — Курсив в оригинале.

<sup>6</sup> Там же. С. 107. См.: Lacan J. Écrits. Paris: Éditions du Seuil, 1966. P. 805..

стое означающее» и «плавающее означающее», будучи не вполне синонимичны, выражают различные аспекты одного и того же понятия<sup>1</sup>. Продуктивность практики артикуляции состоит в фиксации «плавающих означающих» по отношению к друг другу — фиксации, которая превращает их в узловые пункты дискурса и почти автоматически распространяется на все другие цепочки означающих, одновременно задавая субъектные позиции, находящиеся между собой в отношениях господства и подчинения. Например, содержание современного глобального политического процесса в значительной мере определяется борьбой за фиксацию пустого означающего «демократия»<sup>2</sup>. Каждая из существующих артикуляций по-разному определяет отношение этого означающего к таким узловым пунктам, как «права человека», «суверенитет» и «терроризм», и определяет структуру дискурса в целом. Например, если понимать основное содержание современной мировой политики как «войну с террором», это немедленно задает основную ось противоречий, проводящую границу между стремящимся к демократии человечеством и террористами, которые своими варварскими актами фактически выводят себя за пределы человеческого сообщества. Суверенитет — не только государственный, но и индивидуальный, право человека быть хозяином своей судьбы и даже своего тела — в этой артикуляции фактически ставится в зависимость от готовности соглашаться с некоторым набором институционально воплощенных ценностей, именуемых демократическими. Различиям между глобальным и российским дискурсами по этим вопросам в большой мере посвящена четвертая глава нашей работы.

Процессы артикуляции в значительной степени сводятся к установлению **отношений различия и эквивалентности** между означающими, происходящему в поле дискурсивной сверхдетерминации, которая предопределяет непрочность

<sup>1</sup> Jørgensen M., Phillips L. Op. cit. P. 26.

<sup>2</sup> Ср.: Laclau E. New Reflections... P. 28.

всех подобных отношений. Одним из наиболее характерных примеров социальной продуктивности логики эквивалентности может служить связь между Саддамом Хусейном и «Аль-Каидой» (а значит, и терактами 11 сентября), которая, несмотря на отсутствие каких бы то ни было позитивных доказательств, прочно утвердилась в американском дискурсе и в конечном итоге, в сочетании с другими факторами, сделала возможной военную кампанию 2003 года<sup>1</sup>. В российском дискурсе не менее продуктивные отношения эквивалентности были установлены между действиями НАТО в Югославии в 1999 г. и российских сил в Чечне. Нетрудно увидеть, что в обоих примерах логике эквивалентности противостоит избыток смысла: содержание каждого из названных означающих несравнимо богаче, чем предполагают отношения эквивалентности между ними, и эта сверхдетерминация открывает возможность для альтернативных вариантов артикуляции. Как известно, альтернативные артикуляционные практики, устанавливающие внутри каждого из приведенных сочетаний означающих отношения различия, также существуют в реальности.

Расширение сферы действия логики эквивалентности ведет к установлению антагонистических отношений: если все качественные характеристики Иного сливаются в недифференцированную категорию противостояния, образ Иного превращается в чистое отрицание, которое не имеет никаких позитивных характеристик, кроме присутствия как такового<sup>2</sup>. **Антагонизм** является одним из центральных понятий теории Лаклау и Муффа: они интерпретируют его не как объективное отношение между двумя позитивно данными идентичностями, но как «свидетеля невозможности окончательного замыкания», как «опыт», в котором нам даны пределы социального. В отли-

<sup>1</sup> Этот феномен подробно исследован в документальном фильме Роберта Гринуолда: *Greenwald R. Uncovered: The War on Iraq*. Cinema Libre, 2004.

<sup>2</sup> *Laclau E., Mouffe C. Op. cit. P. 128—129.*

чие от ситуации логического противоречия или реального противостояния позитивных идентичностей, антагонизм представляет собой ситуацию, когда

...Наличие Другого не дает мне полностью стать собой. Это отношение возникает не из завершенных целостностей, но из невозможности их конституирования... Постольку поскольку антагонизм существует, я не могу быть полноценным наличием для себя самого. Но в равной степени не может быть таковым и сила, которая антагонизирует такое мое присутствие: ее объективное бытие есть символ моего небытия и в силу этого переполнено множеством смыслов, которые не позволяют ему быть зафиксированным в качестве завершенной позитивности<sup>1</sup>.

Лаклау и Муфф приводят пример антагонизма между землевладельцем и крестьянином: если землевладелец сгоняет крестьянина с земли, тот не может быть крестьянином, и это отрицание его идентичности имеет антагонистическую природу. Вступая в антагонистические отношения, две идентичности, которые могут быть по отдельности описаны в позитивных терминах (они составляют определенные позиции в социальной системе как системе различий), превращаются в чистое отрицание друг друга, в предел того порядка вещей, в котором каждая из этих идентичностей существует как осмысленное различие. Сила, отнимающая у крестьянина его землю, устанавливает предел существования его мира, его системы различий, но и крестьянин, если он восстает против землевладельца, также кладет предел системе, в которой землевладелец только и способен определять себя как такового.

Примером чистого антагонизма, когда Иное превращается в абсолютное отрицание, может служить образ «оси зла», впервые использованный президентом Джорджем Бушем в своем

<sup>1</sup> *Laclau E, Mouffe C. Op. cit. P. 125.*

ежегодном обращении к нации в 2002 году<sup>1</sup>. В этой метафоре различия между отдельными элементами уступают место «голому» отрицанию: принадлежать к «оси зла» означает быть врагом всего человечества, быть вне человечества. Такая антагонистическая структура отрицает каждую из идентичностей, которые она связывает в общем понятии «оси зла», не дает ей конституироваться, например, в качестве национальной («Иран») или конфессиональной («исламское сообщество») — уже хотя бы потому, что национальная и конфессиональная идентичность предполагают принадлежность к домену человеческого. В то же время наличие «оси зла» не дает реализоваться либеральной утопии «конца истории» и тем самым показывает пределы либерального универсализма — географические, политические, темпоральные и т. д. Любая внутренняя дифференциация Иного подрывает эту логику, поскольку наделяет его элементы долей человечности: в этом смысле даже попытка отделить «народ» от «диктатора» (например, в Ираке) уже подрывает логику тотального отрицания, хотя бы в силу того, что позволяет задать вопрос о причинах народной поддержки диктаторского режима как до его свержения, так и тем более после.

Подрывая идентичность Иного, антагонизм на основе этой негации конституирует политическое сообщество, создает коллективное «Мы». Эта продуктивная роль имеет два аспекта: с одной стороны, антагонизм является условием возможности для всякой субъектности, для любого политического объединения. Тем самым след Иного всегда остается во внутреннем пространстве сообщества, не позволяя ему превратиться в полноценное наличие. С другой стороны, поскольку любая идентичность имеет реляционную природу, ее позитивное определение возможно только в рамках системы различий, тогда как при тотальной негации отношения эквивалентности устанавливаются также между «внутренними» означающими.

<sup>1</sup> *Bush G. W.* The President's State of the Union Address. The United States Capitol, Washington, D. C., January 29, 2002. URL: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>.

Попытка утвердить и зафиксировать идентичность сообщества посредством антагонистических практик приводит к замыканию этой идентичности, она начинает функционировать как чистое присутствие, а воспоминание о политическом акте ее учреждения утрачивается. Структурное замыкание сообщества происходит за счет вытеснения политических позиций, предлагающих альтернативные варианты артикуляции идентичности сообщества, за пределы последнего. В то же время сам факт наличия альтернатив, наряду с необходимостью Иного для конституирования идентичности, говорит о невозможности полностью стереть сохраняющиеся различия и замкнуть общество само на себя. Таким образом, антагонизм одновременно является необходимым условием существования политического (поскольку в условиях открытости и неопределенности антагонизм становится единственной основой для политического действия, для субъектности) и тяготеет к его отрицанию (поскольку в любом антагонизме заложена тенденция к замыканию структуры, вытеснению внутренних различий, реификации структур).

Говоря шире, природа бинарных оппозиций (не только антагонистических) и диалектика отношений эквивалентности и различия составляют одну из центральных тем постструктуралистской традиции. Производство парных понятий, в которых один из элементов пользуется предпочтением по отношению к другому (государство — террористы, Россия — Запад, процветание — бедность, миролюбивый — агрессивный и т. д.), является одним из ключевых моментов социальной продуктивности дискурса<sup>1</sup>. Как подчеркивает Ж. Деррида в своей критике логоцентризма, для любого философского противоречия характерна «насильственная иерархия», в которой «один из двух членов главенствует над другим (аксиологически, логически и т. д.), стоит на вершине»<sup>2</sup>. Даже во внешне нейтральных терминологических оппозициях часто конструиру-

<sup>1</sup> *Milliken J.* Op. cit. P. 229.

<sup>2</sup> *Деррида Ж.* Позиции: беседы с Анри Ронсом, Юлией Кристевой, Жаном-Луи Удбином, Ги Скарпетта. М.: Академический проект, 2007. С. 50.



ются отношения первичности — вторичности в силу того, что они состояются из пары терминов, из которых один — маркированный, а второй — нет:

В таких противопоставлениях, как смысл/форма, душа/тело, интуиция/выражение, буквальный/образный, рациональный/чувственный, позитивный/негативный, трансцендентальный/эмпирический, серьезный/не-серьезный, господствующий термин принадлежит к сфере логоса и является высшим наличием; подчиненный термин знаменует провал. Логоцентризм тем самым предполагает приоритет первого термина и полагает второй в отношении к первому как осложнение, отрицание, проявление или подрыв первого<sup>1</sup>.

Термины «мужчина» и «белый» в большинстве европейских языков не только означают специфические характеристики (пол, цвет кожи), но и функционируют как носители нормы, как эквивалент понятия «человек», тогда как слова «женщина» или «чернокожий» указывают только на специфические характеристики.<sup>2</sup> Один из характерных примеров подобного рода, отражающий отношения власти в обществе, — это криминальные сводки в России и многих других странах, в которых расовая, этническая принадлежность, происхождение преступника всегда указываются, если он принадлежит к меньшинству, и практически никогда — если он представитель большинства. Приоритет «нормы» характерен и для научной практики: обычно мы сначала описываем «стандартный» случай любого явления, с тем чтобы выявить его «сущностные» характеристики, и лишь затем, возможно, переходим к рассмотрению разного рода отклонений<sup>3</sup>. Лене Хансен<sup>4</sup> приводит несколько

<sup>1</sup> *Culler J.* On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1982. P. 93.

<sup>2</sup> *Laclau E.* New Reflections... P. 32—33.

<sup>3</sup> *Culler J.* Op. cit. P. 93.

<sup>4</sup> *Hansen L.* Security as Practice. Discourse Analysis and the Bosnian War. London; New York: Routledge, 2006. P. 19.

примеров работ, для которых характерна рефлексия по поводу привычных для науки о международных отношениях бинарных оппозиций: Дэвид Кэмпбелл и Ивер Нойманн исследуют значимость Другого для конструирования национальной идентичности<sup>1</sup>; Джеймс Дер Дериан рассматривает отношения господства и подчинения, которые устанавливаются путем отделения «террористов» от «борцов за свободу»<sup>2</sup>; Роксан Доути демонстрирует, как термин «развивающиеся страны» утверждает превосходство «развитого» «первого мира»<sup>3</sup>.

При этом постструктурализм настаивает, что ни одна из этих бинарных оппозиций не может быть до конца конституирована и замкнута. Как пишет Эрнесто Лаклау, «операция замыкания невозможна и в то же время необходима; невозможна вследствие основополагающей дислокации, которая находится в центре любого структурного образования; необходима, потому что без этой фиктивной фиксации смысла не мог бы существовать смысл как таковой»<sup>4</sup>. Граница между правильным и неправильным, добром и злом, «своим» и «чужим» необходима как таковая, однако ее конкретное местоположение не может быть определено а priori — она является предметом ожесточенной политической борьбы, продуктом исторически сложившейся гегемонической артикуляции и потому никогда не бывает полностью детерминированной. Соответственно, исследование любого нормативного поля возможно лишь на материале, имеющем конкретную временную и пространственную привязку; при этом возможные варианты фиксации

<sup>1</sup> *Campbell D.* Op. cit.; *Нойманн И.* Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004.

<sup>2</sup> *Der Derian J.* *Antidiplomacy: Spies, Terror, Speed, and War.* Oxford: Basil Blackwell, 1992.

<sup>3</sup> *Doty R.* *Imperial Encounters.* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

<sup>4</sup> *Laclau E.* The Death and Resurrection of the Theory of Ideology // *Journal of Political Ideologies.* Vol. 1. 1996. No. 3. P. 205.

каждого понятия можно установить лишь путем реляционной интерпретации, в его отношении к совокупности других понятий. Так, если значение термина «демократия» в господствующем западноевропейском дискурсе определяется через его сопоставление с такими означающими, как «диктатура» и «цивилизация», то в российском дискурсе его невозможно точно определить без выяснения его соотношения с понятиями «Россия», «Запад», «Европа». Неосторожное применение понятийной системы, действительной для одного исторического контекста, к другому обычно приводит к ошибкам, характерным, в частности, для «интуитивной этнологии», против которой выступает Бурдье<sup>1</sup>, и может служить легитимации империалистических, неоколониальных практик. В свою очередь, изучение механизмов конституирования бинарных оппозиций с неизбежностью выявляет их случайный характер, а значит — ставит под вопрос устанавливаемые ими властные отношения. Как указывает Деррида, следующим шагом в работе деконструкции становится выявление незамкнутости этих оппозиций, обнаружение неразрешимостей, которые не могут быть включены в философские противопоставления, поскольку не есть ни то ни другое, но в то же время есть обе вещи сразу. Неразрешимости всегда находятся на границе смыслового пространства, не поддаются ни полному исключению, ни полной интеграции вовнутрь и, таким образом, подрывают и дезорганизуют оппозиции, вызывая дислокацию структуры<sup>2</sup>.

Центральным понятием при разговоре о неразрешимостях и их философском значении является понятие **восполнения** (supplément) — одно из центральных в философии Жака Деррида, особенно подробно разработанное в его трактате «О грамматологии». Вот как разъясняет значение этого понятия Наталия Автономова во введении к русскому переводу центрального труда Деррида:

<sup>1</sup> Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. С. 7—24.

<sup>2</sup> Деррида Ж. Позиции. С. 50—52.

Восполнение — это общий механизм достраивания/доращивания всего в природе и культуре за счет внутренних и внешних ресурсов, соотношение которых не предполагает ни механического добавления извне, ни диалектического раскрытия предзаданных внутренних возможностей путем разрешения противоречий...

Его часто уподобляют добавке, избытку по отношению к некоей уже готовой и цельной тотальности. Однако это неверно: если бы это было так, то восполнение было бы «ничем», полнота и ценность наличествовали бы и без него. Но восполнение — не «ничто», а «нечто»: если имеется восполнение, значит, целое уже не есть целое, а нечто, пронизанное нехваткой, внутренним изъяном<sup>1</sup>.

Таким образом, говоря словами Деррида, восполнение не есть «ни плюс, ни минус, ни внешнее, ни дополнение к внутреннему, ни акциденция, ни сущность»<sup>2</sup>. Но его значение выходит далеко за рамки простого курьеза: по мере того как мы углубляемся в бесконечный лабиринт восполнений, становится очевидно, что сущность как таковая попросту недоступна — вместо нее мы сталкиваемся с необходимостью «в бесконечном сцеплении звеньев, в неотвратимом умножении восполняющих посредников, которые и вырабатывают смысл того, что при этом отодвигается-отсрочивается, а именно иллюзию самой вещи, непосредственного наличия, изначального

<sup>1</sup> Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 27. Как отмечает Автономова, по-русски можно реконструировать «supplément» как смысловой ряд «приложение — добавление — дополнение — восполнение — подмена — замена» (с. 29). В переводах других текстов Деррида используются различные русские слова из этого ряда, однако мы следуем Автономовой, у которой именно «восполнение» фигурирует как наиболее общий термин.

<sup>2</sup> *Derrida J. Positions. Paris: Éditions de Minuit, 1972. P. 59.* Перевод откорректирован нами с учетом английского издания: *Derrida J. Positions. Chicago: University of Chicago Press, 1981. P. 43.* Ср.: *Деррида Ж. Позиции. С. 50—51.*

восприятия»<sup>1</sup>. Наличие, как отмечает Дженни Эдкинс, «не изначально, но конституируется через отсутствие (лакуну), через различие»<sup>2</sup>.

Генри Стейтен, размышляя о значении неразрешимостей для философии Деррида, приходит к выводу, что, будучи случайными по своей природе, они в то же время составляют «необходимую», «сущностную» возможность: «у Деррида... внешнее становится *необходимостью* для учреждения феномена в его самости, условием возможности “внутреннего”»<sup>3</sup>. Чтобы подчеркнуть необходимый характер этой внешней силы для конституирования идентичности и границ между внутренним и внешним, Стейтен вводит термин «constitutive outside», который, вероятно, лучше всего перевести на русский язык как **«конституирующее иное»**. Будучи несводимо к внутренней логике структуры, конституирующее иное одновременно делает возможной временную и неполную фиксацию ее идентичности и подрывает ее, вызывая дислокацию структуры. Стейтен суммирует концепцию основания у Деррида следующим образом:

Не-Х конституирует Х. Х здесь означает сущность самоидентичности, как ее представляет себе философия, а не-Х есть то, что функционирует как «внешнее», или предел, позитивному утверждению этой самоидентичности, то, что удерживает идеальное от полного замыкания, но в *установлении пределов* оно остается *позитивным* условием возможности позитивного утверждения сущности<sup>4</sup>.

Необходимый, сущностный характер акциденций для конституирования сущностей у Деррида даже заставляет Диану

<sup>1</sup> Деррида Ж. О грамматологии. С. 311—312.

<sup>2</sup> Edkins J. Op. cit. P. 71.

<sup>3</sup> Staten H. Wittgenstein and Derrida. Lincoln, London: University of Nebraska Press, 1984. P. 16. — Курсив в оригинале.

<sup>4</sup> Ibidem. — Курсив в оригинале. См. также: Laclau E. Power and Representation // Politics, Theory, and Contemporary Culture / Ed. by M. Poster. New York: Columbia University Press, 1993. P. 282—283.

Фасс заявить, что скрытый эссенциализм является неотъемлемым элементом любых, даже самых радикальных, конструктивистских и постструктуралистских теорий, включая деконструкцию<sup>1</sup>. В таком случае, однако, границы понятия «эссенциализм» неоправданно расширяются, оно утрачивает свою уникальную функцию в дифференциальной системе языка — обозначение бесконечной и безнадежной погони за позитивными и конечными определениями, в противоположность представлению о том, что любая сущность отсрочивается бесконечным числом акциденций. Кроме того, разумеется, у деконструкции нет иного языка, кроме языка метафизики:

...Чтобы поколебать метафизику, *нет никакого смысла* обходиться без метафизических понятий; мы не располагаем никаким языком — ни синтаксисом, ни лексикой, — чуждым этой истории; мы не можем высказать никакое деструктивное положение, которое бы уже с необходимостью не вкралось в форму, логику и неявное утверждение как раз того, что оно намеревалось оспорить<sup>2</sup>.

Поэтому деконструкция не предполагает и не может предполагать обнаружения некоторого подлинного бытия, «более подлинного», чем наличие<sup>3</sup>, — она работает с «обычным» текстом, подрывая его самоочевидные допущения, обнаруживая случайные условия его существования, и может быть обращена сама на себя, уходя тем самым в бесконечность акциденций без всякой надежды в конце концов обнаружить прочные основания. Столь же неверным было бы утверждение, что постструктуралисты впадают в эссенциализм, настаивая на абсолютном онтологическом приоритете текста, — как уже

<sup>1</sup> *Fuss D. Essentially Speaking. Feminism, Nature and Difference.* London; New York: Routledge, 1989.

<sup>2</sup> *Деррида Ж. Письмо и различие.* С. 355. — Курсив в оригинале.

<sup>3</sup> *Johnson B. Translator's Introduction // Derrida J. Dissemination.* London: Athlone Press, 1981. P. xvi.

отмечалось, внимание постструктуралистов к языку основано не на онтологических допущениях, а на эпистемологических и методологических соображениях, отрицающих любую возможность позитивной онтологии. Аргумент Фасс вполне может быть развит в этом же ключе, в духе деконструкции самой оппозиции между эссенциализмом и антиэссенциализмом — в самом деле, необходимость акциденций для учреждения сущностей есть не что иное, как восполнение понятия «эссенциализм», заставляющее с некоторой иронией воспринимать пуризм некоторых антиэссенциалистов.

На первый взгляд может показаться, что утонченная логика конституирующего иного теряется в грубом понятии антагонизма, которое лежит в основе теории гегемонии Лаклау и Муффа. Такое представление, однако, нельзя признать правильным. Во-первых, из анализа концепции основания у Деррида со всей очевидностью вытекает, что «тонкая» логика различий и восполнений вполне способна порождать мощную социальную динамику — более того, никаких других источников социальной динамики просто не может быть в принципе, поскольку достижение абсолютно бинарного антагонизма означало бы полный стагис. Кроме того, как подчеркивает Родольф Гахе, деконструкция вовсе не предполагает «аннулирования» или «нейтрализации» оппозиций, но стремится децентрировать основанную на них структуру<sup>1</sup>. Во-вторых, Лаклау и Муфф неизменно подчеркивают, что любой антагонизм всегда сверхдетерминирован и в силу этого не способен победить дислокацию — поиск прочных оснований с точки зрения такого подхода, как уже отмечалось, дело безнадежное. Наконец, в-третьих, само понятие антагонизма обретает чрезвычайно интересное «третье измерение» после того, как Лаклау и Муфф вводят в свою теорию различие между демократическим и

<sup>1</sup> *Gasché R. The Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection. Cambridge: Harvard University Press, 1986. P. 136—142.*

популистским политическими пространствами<sup>1</sup>, которое в конечном итоге показывает, что антагонизм способен играть как конституирующую, так и подрывную роль, вести как к замыканию, так и к раскрытию социальных границ.

Понятие **гегемонии**, ключевое для теории Лаклау и Муффа, составляет единую концептуальную модель с такими концептами, как антагонизм, артикуляция, деконструкция и, наконец, дискурс. Лаклау и Муфф заимствуют понятие гегемонии у Грамши и разрабатывают его как принадлежащее исключительно сфере политического: гегемонистские практики имеют место только в области неразрешимости, которой, собственно, и является политика. «В средневековом крестьянском сообществе, — пишут они в своей главной книге, — пространство, открытое дифференциальным артикуляциям, минимально и, соответственно, не существует гегемонистских форм артикуляции: существует скачкообразный переход от повторяющихся практик в пределах закрытой системы различий к фронтальным и абсолютным эквивалентностям, когда сообщество оказывается под угрозой»<sup>2</sup>. Если грамшианское понятие гегемонии перевести на язык постструктурализма (а это, как настаивают Лаклау и Муфф, является единственным способом избежать догматической интерпретации марксизма), то это понятие, вопреки общепринятой интерпретации, но вполне в духе учения Грамши, вовсе не означает безраздельного господства. Артикуляцию дискурса можно считать гегемонической при условии «присутствия антагонистических сил и нестабильности границ, которые их разделяют»<sup>3</sup>. Если не соблюдается первое условие и, следовательно, практика артикулирует преимущественно отношения различия, невозможно указать на субъекта, претендующего на роль центра в такой артикуляции — то есть попросту отсутствует гегемон. Если не соблюдается вто-

<sup>1</sup> *Laclau E, Mouffe C. Op. cit. P. 131—134.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 138.*

<sup>3</sup> *Ibid. P. 136.*



рое условие и в ситуации антагонизма границы остаются непоколебимыми, перед нами картина тотального господства, отрицающая возможность артикуляции как таковой, — термин «гегемония», если попытаться распространить его и на это положение вещей, теряет всю свою грамшианскую специфику и становится избыточным.

Именно принципиальная неразрешимость любой структуры является предпосылкой существования политики как сферы принятия решений. В самом деле, в ситуации полной замкнутости структуры и фиксации всех идентичностей царит полное предопределение, которое не оставляет места ни для решения, ни для его субъекта: «Решение, — пишет Ж. Деррида, — может обрести существование только в пространстве, выходящем за пределы просчитываемой программы, которая уничтожила бы любую ответственность путем преобразования его в запрограммированный результат заданных причин»<sup>1</sup>. Такой подход в конечном итоге приводит к тезису о примате политического над социальным, который будет подробнее рассмотрен далее.

Гегемония становится возможной и необходимой именно в силу того, что для любой структуры характерна неразрешимость, и проявляется во временном и неполном преодолении этой неразрешимости путем установления «правил игры» применительно к конкретно-исторической ситуации: «акт гегемонии является не реализацией предваряющей ее рациональности, а актом радикального конструирования»<sup>2</sup>, причем в самом этом акте уже заложены новые неразрешимости. В этом смысле не совсем верно утверждать, как это делают Йоргенсен и Филипс, что гегемония как практика обратна деконструкции — напротив, как подчеркивает Лаклау, «гегемония и деконструкция дополняют друг друга как две стороны единой

<sup>1</sup> *Derrida J.* Limited Inc. Evanston: Northwestern University Press, 1988. P. 116.

<sup>2</sup> *Laclau E.* New Reflections... P. 29. — Курсив в оригинале.

операции»<sup>1</sup>. Если деконструкция действительно «обнаруживает неразрешимость», то гегемония с этой точки зрения не столько «представляет конкретную артикуляцию в качестве естественной»<sup>2</sup>, сколько воспроизводит неразрешимость и эксплуатирует ее.

Представление о нерушимости социальных границ, в сущности, противоречит и основным принципам философии постструктурализма, и историческим свидетельствам: даже в средневековом обществе антагонизм между сословиями, постольку *поскольку он существовал*, выливался иногда в переопределение существующих отношений различия и эквивалентности — в форме ли крестьянских восстаний, религиозных войн или ненасильственного снятия барьеров на пути социальной мобильности, как в Англии в начале XVI в.<sup>3</sup> Впрочем, если тотальное господство продолжается на протяжении достаточного длительного времени, при стабильности внешних для данного поля условий происходит переопределение идентичности антагонистов: господствующая идентичность поглощает противостоящие ей, и антагонизм исчезает, так как отношения эквивалентности сменяются отношениями различия внутри единого сообщества. Примером здесь может служить ассимиляция завоеванных народов, которые при благоприятных для этого условиях превращаются в локальную группу в рамках единой культуры завоевателей. Эти отношения различия могут вновь смениться отношениями эквивалентности в двух формах: либо путем восстановления старой границы между сообществами («национальное возрождение», подрывающее единство поликультурного политического пространства, снимающее классовые и иные различия в антагонизме между нацией угнетенных и нацией угнетателей), либо путем возник-

<sup>1</sup> Laclau E. Power and Representation. P. 281.

<sup>2</sup> Jørgensen M., Phillips L. Op. cit. P. 48.

<sup>3</sup> См.: Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge: Harvard University Press, 1992. P. 44—51.

новения нового антагонизма, внешнего по отношению к единой идентичности (поликультурная империя консолидируется перед лицом внешней угрозы).

Концепция гегемонии, разработанная Лаклау и Муфф в «Гегемонии и социалистической стратегии», в большой мере оставляет открытыми два вопроса, которые имеют центральное значение для данного исследования. Во-первых, это вопрос о субъекте артикуляционных практик: попытка Лаклау и Муфф свести категорию субъекта к понятию «**субъектных позиций**»<sup>1</sup>, заимствованному у Альтюссера, несет в себе опасность детерминизма, поскольку не оставляет пространства для автономного целеполагания. В этом случае даже «Я» ученого оказывается редуцировано к функции дискурса, и, строго говоря, любые его рекомендации оказываются либо невыполнимыми (потому что не соответствуют работающим артикуляционным практикам), либо тривиальными (потому что совпадают с уже имеющимися вариантами артикуляции). Во-вторых, фундаментальная категория внутреннего и внешнего, столь важная для всей теории, не получает должной проработки: установив невозможность понимания общества как позитивной категории и непрочность понятий внутреннего и внешнего, Лаклау и Муфф прямо не ставят вопрос об эмпирически очевидном существовании разных сообществ, их взаимодействии и возможности проведения границ между ними. В частности, остается непонятным, вправе ли мы говорить о «российском политическом дискурсе» или, напротив, интерпретировать его как часть глобального. Обратимся к этим двум важнейшим проблемам поочередно.

<sup>1</sup> *Laclau E., Mouffe C. Op. cit. P. 136.*

## § 1.4. Индивид и власть в постструктуралистской теории

Прежде чем перейти к обсуждению возможности категории субъекта в теории постструктурализма, необходимо прояснить социологические аспекты функционирования дискурса с точки зрения индивидуалистической перспективы. Даже если мы отказываемся от картезианского противопоставления познающего субъекта и познаваемого бытия и, более того, принимаем тезис, что идентичность индивида представляет собой лишь один из элементов в реляционной системе означающих, вопрос о том, как человек как биологическое существо встраивается в эту систему, одновременно интернализируя ее, остается открытым. С ригористических позиций рассмотрение этого вопроса, вероятно, будет отступлением от провозглашенного в предыдущих параграфах отказа от выделения недискурсивной сферы социальной реальности, однако такое отступление представляется необходимым в эмпирическом исследовании, которое работает с конкретными текстами, авторами которых являются конкретные люди. Отказ от прояснения вопроса о том, как эти индивиды, наделенные сознанием и свободной волей, «подчиняются» дискурсивной реальности, может привести к интерпретации подхода, принятого в настоящем исследовании, как своего рода дискурсного эссенциализма: дискурс может занять место трансцендентального означаемого, которое, подобно экономике в марксизме, детерминирует социальную активность индивидов. В этом смысле смена перспективы, временный переход из структурной в индивидуальную плоскость может оказаться полезным, так как позволяет показать, что тезис о соразмерности лингвистического и социального отнюдь не означает фетишизации языка как единственной реальности: мы вполне можем посмотреть на реальность с позиции познающего субъекта, не забывая при этом о соци-

альной и лингвистической обусловленности последнего.

Для нас в данном случае важен вопрос не столько об индивидуальной истории усвоения человеком фундаментальных представлений об окружающей его социальной реальности, подробно рассмотренный, например, в классическом труде Питера Бергера и Томаса Лукмана<sup>1</sup>, сколько о механизмах, работающих при производстве и воспроизводстве дискурса на уровне автора высказывания. Эту тему удобно раскрыть, сопоставив понятие дискурса с разработанным Пьером Бурдьё понятием габитуса. Уместность этого сопоставления доказывает уже тот факт, что в отечественной литературе иногда проводятся прямые аналогии между понятиями дискурса и габитуса. Так, по мнению Ольги Русаковой и Дмитрия Максимова, «понимание дискурса как габитуса» (якобы в духе Бурдьё) характерно как для критического, так и для постмодернистского направления зарубежного дискурсного анализа<sup>2</sup>. Валерий Соловей обращает внимание читателя на значимость устойчивых интерсубъективных «кодов» российской внешнеполитической дискуссии, которые он характеризует как

...«силовые линии» русского сознания, конфигурирующие внешнеполитическое видение отечественного общества. Эти силовые линии формировались исторически, и поэтому, несмотря на высокую устойчивость, их нельзя назвать архетипическими... в юнговском понимании этого термина. Скорее они близки к понятию «хабитуса» П. Бурдьё, то есть предрасполагают (не предопределяют!) выстраивание определенных типов геополитических кодов, действуя при этом не вполне осознанно для их носителей...<sup>3</sup>

<sup>1</sup> См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С. 210—263.

<sup>2</sup> Русакова О. Ф., Максимов Д. А. Указ. соч. С. 29.

<sup>3</sup> Соловей В. Д. Не Запад. Не Восток. Не Евразия. О цивилизационной идентичности России // Свободная мысль. 2005. № 11. С. 110.

Связь этих «предрасполагающих» интерсубъективных структур с предлагаемым постструктуралистами представлением о дискурсе, как оно было охарактеризовано выше, очевидна, но, может быть, наблюдение российского автора показывает, что эта проблематика исчерпывается хорошо разработанным и давно утвердившимся в социологии понятием габитуса? Бурдье определяет это последнее следующим образом:

...габитусы — системы устойчивых и переносимых диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, порождающие и организующие практики и представления, которые могут быть объективно адаптированными к их цели, однако не предполагают осознанную направленность на нее и непременно овладение необходимыми операциями по ее достижению. Объективно «следующие правилам» и «упорядоченные», они, однако, ни в коей мере *не* являются продуктом подчинения правилам и, следовательно, будучи коллективно управляемыми, не являются продуктом организующего воздействия некоего дирижера<sup>1</sup>.

Как видно из предшествующего анализа, дискурс действительно в чем-то сродни габитусу, поскольку он тоже «сам себя структурирует» и тоже не является «телеологическим единством»<sup>2</sup>. Однако отличие дискурса, в его постструктуралистском понимании, от габитуса вовсе не сводится к тому, что дискурс существует в виде лингвистических различий, тогда как понятие габитуса охватывает все сферы социального поведения, в том числе невербальные, — как мы уже видели, дискурсивная целостность включает в себя материальные объекты и невербальные практики. Габитус не является невербальной стороной дискурса или его проявлением на уровне индивида;

<sup>1</sup> Бурдье П. Указ. соч. С. 102.

<sup>2</sup> Laclau E., Mouffe C. Op. cit. P. 109.

это понятия разного уровня, едва ли совместимые в рамках одной методологии, но их сопоставление позволяет подчеркнуть характерные особенности каждого из них. Прежде всего дискурс — в социологическом смысле явление исключительно *интер*субъективное, он отделен от индивида, существует независимо от каждого из его носителей в отдельности. Более того, с позиции теории дискурса каждый индивид — не более чем локус в поле дискурсивной реальности, несамостоятельная и непрочная идентичность, немислимая вне системы реляционных различий. В понятии габитуса, напротив, индивидуальная сторона является первичной: индивиды *обладают* габитусом, и именно сходство индивидуальных габитусов позволяет, согласно Бурдье, говорить о существовании групп<sup>1</sup>. С социологической точки зрения индивидуальный габитус является всего лишь структурным вариантом группового, причем все такие варианты обезличены и взаимозаменяемы<sup>2</sup>, однако это не отрицает их материальной реальности: групповой габитус является продуктом гармонизации индивидуальных, обусловленной общим опытом. Объективная реальность индивидуального габитуса подчеркивается его укорененностью в теле, в биологической природе человека: Бурдье постоянно обращает внимание на значение телесных «практик согласования» для функционирования габитусов. «Габитус, — подчеркивает он, — не что иное, как имманентный закон, *lex insita*, вписанный в тела сходной историей...»<sup>3</sup> Поэтому феномен, о котором пишет Валерий Соловей в приведенной ранее цитате, вероятнее всего, лучше описывать через понятие дискурса, поскольку речь в нем идет об интересубъективных структурах, которые делают воспроизводство одних высказываний более вероятным по сравнению с другими в конкретном историческом контексте. Понятие габитуса применимо к этим структурам лишь по-

<sup>1</sup> Бурдье П. Указ. соч. С. 116.

<sup>2</sup> Там же. С. 117—118.

<sup>3</sup> Там же. С. 115. См. также главу «Верование и тело», с. 128—155.

стольку, поскольку Соловей — мимоходом — заводит речь о носителях габитуса, «не вполне осознанно» выстраивающих «определенные типы геополитических кодов»: теория Бурдые прекрасно подходит для концептуализации социально обусловленного формирования именно *индивидуальных* практик, а не более абстрактных, обезличенных дискурсивных структур.

Диалектика соотношения габитуса и дискурса наиболее очевидно проявляется в речевых практиках — как «диалектика языкового чувства и принятых в данном обществе выражений»<sup>1</sup>. Дискурс с этой точки зрения представляет собой совокупность «объективно доступных выразительных средств», которая всегда ситуативно ограничена и потому никогда не охватывает всего спектра возможностей языка как такового, взятого в отрыве от социального контекста. Габитус же, в том числе и групповой, — это способность человека распоряжаться этими языковыми средствами, наиболее ярко проявляющаяся как «находчивость» импровизатора, о которой пишет П. Бурдые<sup>2</sup>.

Иными словами, в сфере вербального общения язык (в отличие от речи) представляет собой универсальную интерсубъективную структуру, благодаря которой *в принципе* возможна коммуникация между всеми владеющими данным языком. Понятие дискурса выражает ситуативную, контекстуальную обусловленность общения между людьми как общественными существами: несмотря на почти безграничные возможности, в принципе предоставляемые каждым языком, лишь ограниченное количество высказываний поддается интерпретации данной аудиторией в данном контексте. К тому же с точки зрения теории дискурса материальные объекты (постольку поскольку они имеют значение для человека) и невербальные практи-

<sup>1</sup> Бурдые П. Указ. соч. С. 111. П. Бурдые говорит здесь об отношении между габитусами и институтами, однако легко заметить, что совокупность «принятых в данном обществе выражений», не будучи в собственном смысле институцией, как раз и составляет дискурс.

<sup>2</sup> Бурдые П. Указ. соч. С. 110—111 (цитаты со с. 110).



ки также зависят от языка, который является единственным и универсальным средством установления отношений между всеми элементами социальной реальности. Наконец, понятие габитуса относится к «языковому чувству», способности людей строить свою речь в соответствии с контекстом, встраивая свои высказывания в определенный дискурс. Габитус, с одной стороны, делает спонтанную коммуникацию и взаимодействие возможными в условиях конкретной артикуляции дискурса, предъявляющей к индивидам определенные требования, но, с другой стороны, в той или иной степени ограничивает способность человека «встраиваться» в разные дискурсы и, следовательно, лимитирует возможности общения между представителями различных групп — обладателями разных габитусов. Под этим углом зрения, вероятно, удобно было бы рассматривать такие поставленные, но не решенные позитивистской социологией проблемы, как «адаптация к чужой культуре», «культурный шок» и в особенности «культурная дистанция».

Понятие габитуса, следовательно, позволяет концептуализировать механизмы воспроизводства дискурса постольку, поскольку мы имеем дело идет с речью и поведением конкретного индивида<sup>1</sup>. П. Бурдьё называет один из важнейших таких механизмов «избеганием»: «габитус стремится обеспечить собственное постоянство и защититься от изменений с помощью отбора, совершаемого им в потоке новой информации». Существует эмпирически подтвержденная склонность человека избегать опыта, который противоречил бы его предыдущему опыту, объективированному в габитусе: в частности, «о политике стараются говорить с теми, кто придерживается того же мнения»<sup>2</sup>. Габитус оказывает дисциплинирующее воздействие на индивидов, налагая на круг возможных высказываний огра-

<sup>1</sup> Колин Уайт встраивает понятие габитуса в более широкий контекст соотношения между индивидуальным сознанием и социальными структурами: *Wight C. Op. cit.* P. 48—49.

<sup>2</sup> *Бурдьё П. Указ. соч.* С. 118.

ничения, связанные с зафиксированными в габитусе практиками, в том числе телесными. В результате история — как индивидуальная, так и коллективная, как на уровне собственно исторической мифологии, так и на уровне «практик согласования» — присутствует в настоящем и задает пределы социального действия<sup>1</sup>.

Габитус, таким образом, выражает индивидуальное измерение седиментации — «забывания происхождения»<sup>2</sup>, когда изначально «скандальное»<sup>3</sup> политическое решение теряет свою остроту и социальные практики, к которым оно изначально принуждало, становятся само собой разумеющейся рутинной (подробнее о понятии седиментации см. § 1.5). Габитус может быть охарактеризован как результат седиментации прошлых властных решений, находящий выражение в поведении индивидов. Эта характеристика полностью соответствует словам Бурдьё о том, что габитус не является «продуктом подчинения правилам» или «организующего воздействия некоего дирижера», поскольку, во-первых, габитус как индивидуальный аспект существования институтов как раз и формируется в результате *забывания* конституирующего момента и, во-вторых, власть с точки зрения постструктурализма представляет собой вездесущий компонент социальной реальности, которым сложно «овладеть». Мишель Фуко следующим образом характеризует соотношение власти и социальных институтов:

...Отношения власти не находятся во внешнем положении к другим типам отношений (экономическим процессам, отношениям познания, сексуальным отношениям), но имманентны им; они являются непосредственными эффектами разделений, неравенств и неуравновешенностей, которые там производятся; и, наоборот, они являют-

<sup>1</sup> Бурдьё П. Указ. соч. С. 105.

<sup>2</sup> Laclau E. *New Reflections...* P. 34.

<sup>3</sup> Žižek S. *For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor*. 2nd ed. London; Verso, 2002. P. 192—193.

ся внутренними условиями этих дифференциаций; отношения власти не находятся в позиции надстройки, когда они играли бы роль простого запрещения или сопровождения; там, где они действуют, они выполняют роль непосредственно продуктивной...<sup>1</sup>

Согласно Фуко, власть нельзя рассматривать в первую очередь как репрессивное начало, подавляющее свободу субъекта, — она, напротив, создает условия возможности социального, в том числе субъектности как таковой: «Ее в гораздо большей степени нужно рассматривать как производительную ткань, которая пронизывает весь социальный организм, чем как негативную инстанцию, чья функция состоит в подавлении»<sup>2</sup>. Несмотря на то что предложенная Фуко концепция власти и, в частности, его представление о власти как о дисперсном, не имеющем центра структурирующем начале часто вызывает возражения, особенно со стороны неомарксистов, критика им традиционного понятия власти как атрибута формально определяемых институциональных позиций остается общепризнанной.

Взгляд Фуко на проблему субъектности сформировался под влиянием его учителя, французского философа-марксиста Луи Альтюссера<sup>3</sup>. Элементы структурного детерминизма, изначально присущие марксизму, для работ Альтюссера особенно характерны. Субъект, с его точки зрения, всегда зависим от идеологии, которую Альтюссер понимает как механизм воспроизводства капиталистического общества, задающий воспроизводимые позиции индивидов в системе производственных

<sup>1</sup> Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистерум; Касталь, 1996. С. 194.

<sup>2</sup> Foucault M. Truth and Power // Foucault M. Power/Knowledge. Selected Interviews and other Writings 1972—1977 / Ed. by C. Gordon. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1980. P. 119.

<sup>3</sup> Jørgensen M., Phillips L. Op. cit. P. 15.

отношений. Посредством операции, для наименования которой Альтюссер предложил термин «интерпелляция», господствующая идеология создает **субъектные позиции** — вызывая, «окликавая» кого-то, она тем самым размещает субъекта в определенном поле социальной реальности, предполагающем заранее заданный набор социальных отношений<sup>1</sup>. Субъектность, таким образом, сводится к субъектным позициям — в лучшем случае у индивида остается выбор между несколькими доступными позициями, но создание новых или смещение существующих оказываются невозможны<sup>2</sup>.

Тенденция к структурному детерминизму, впрочем, была веянием времени, характерным не только для марксизма. В феноменологической философии Мориса Мерло-Понти, например, индивид предстает скорее как воплощение предшествующего опыта: речь идет не столько об ограничении свободной воли в результате внешнего принуждения, сколько об укорененности самой воли в чувственном и когнитивном опыте<sup>3</sup>. Такая интерпретация субъектности уже очень близка к точке зрения Фуко, однако существенным вкладом последнего стало как раз представление о дисперсной, продуктивной власти. В одном из поздних интервью он следующим образом определяет свой генеалогический метод:

Необходимо освободиться от конституирующего субъекта, избавиться от субъекта как такового, иначе говоря, прийти к анализу, который способен осмыслить конституирование субъекта в историческом контексте. Именно это я бы назвал генеалогией, то есть формой истории, которая способна осмыслить конституирование знаний, дискурсов, предметных областей и т. д., не

<sup>1</sup> *Althusser L.* Op. cit. P. 160—165.

<sup>2</sup> Ср.: *Butler J.* Bodies that Matter: On the Discursive Limits of «Sex». New York, London: Routledge, 1993. P. 121—124.

<sup>3</sup> См. в особенности: *Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия. СПб.: Ювента: Наука, 1999.

будучи вынужденной ссылаться на субъекта, который либо трансцендентен по отношению к полю событий или проносит свою пустую самотождественность через все историческое время<sup>1</sup>.

Таким образом, понятие власти по Фуко также приводит к необходимости редуцирования субъекта к структурно детерминированным позициям. В «Археологии знания» эта точка зрения сформулирована почти без оговорок: позиции субъекта определяются, согласно Фуко, формальным статусом и «институциональным местоположением», а также «тем положением, которое он может занимать по отношению к разным областям или группам объектов»<sup>2</sup>. В работах генеалогического периода Фуко заводит речь о «революции» и «подрыве» существующих систем власти, в особенности постольку, поскольку речь идет о суверенитете. Отказ от понятия о власти как принуждения — понятия, которое, по мнению Фуко, укоренено в юридическом способе мышления, — приводит его к критике свойственного политическим наукам внимания к суверенному государству: он декларирует, что государство и его запретительная власть имеют «надстроечный», второстепенный характер по отношению «к системам власти, окружающим тело, сексуальность, семью, родственные отношения, знание, технологию и так далее»<sup>3</sup>. Фуко призывает политологов «отрезать королю голову», разработав политическую философию, которая не была бы замкнута на проблему суверенитета<sup>4</sup>. Наиболее значимые социальные перемены, с этой точки зрения, происходят не в структуре и функционировании государственных институтов, а в социальном продуцировании истины — в «наборе правил, согласно которым происходит разгра-

<sup>1</sup> *Foucault M. Truth and Power. P. 117.*

<sup>2</sup> *Фуко М. Археология знания. С. 114, 116.*

<sup>3</sup> *Foucault M. Truth and Power. P. 122.*

<sup>4</sup> *Ibid. P. 121.*

ничество между истинным и ложным»<sup>1</sup>, при этом, естественно, важная роль отводится интеллектуалам как непосредственным участникам процесса воспроизводства истины. При этом, однако, остается непроясненным теоретический вопрос о самой возможности для интеллектуала преодолеть детерминизм, покинуть свою субъектную позицию и обрести подлинную субъектность, которая, очевидно, является необходимым условием для выхода за пределы социально обусловленного режима истины, для «установления возможности новой политики истины»<sup>2</sup>. За исключением отдельных гениев, которых Фуко называет «основателями» или «установителями дискурсивности»<sup>3</sup>, роль автора сводится к «функциональному принципу», ограничивающему дискурсивное многообразие, а субъект превращается в «функцию дискурса»<sup>4</sup>, которая с большим трудом поддается определению.

### § 1.5. Субъект как структурная лакуна: седиментация, реактивация, дислокация

Таким образом, мы приходим к вопросу о самой возможности существования сфер общественной жизни, для которых характерна неполная седиментация и где поэтому возможно существование артикуляционных практик — то есть, в терминах Лаклау и Муфф, поля политического в отличие от социального, «момента антагонизма, в котором неразрешимая природа альтернатив и их разрешения через властные отношения становится полностью видимой»<sup>5</sup>. Это отличие политическо-

<sup>1</sup> *Foucault M. Truth and Power. P. 132.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 133.*

<sup>3</sup> *Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистерум; Касталь, 1996. С. 31 и далее.*

<sup>4</sup> Там же. С. 40.

<sup>5</sup> *Laclau E. New Reflections... P. 35.*

го от социального удобно проиллюстрировать с помощью предложенного Роланом Бартом в «Удовольствии от текста» противопоставления между языком и текстом или, в терминологии его более поздней работы «S/Z», «текстом-чтением» и «текстом-письмом». Действительно, всякая гегемония, принадлежа к сфере политического, опирается на то, что Барт называет социолектами, — застывшие, топичные формы языка, имеющие четкую привязку к определенному месту в социальной иерархии<sup>1</sup>. Дискурс, если перевести это понятие в термины Барта, представляет собой «энкратический язык (тот, что возникает и распространяется под защитой власти)», однако было бы очевидным преувеличением утверждать, как это делает Барт в «Удовольствии от текста», что энкратический язык «по самой своей сути является языком повторения; все официальные языковые институты... постоянно воспроизводят одну и ту же структуру, один и тот же смысл, а бывает, что одни и те же слова...»<sup>2</sup>. Действительно, ситуация гегемонии требует постоянного воспроизводства в дискурсе «очевидных истин», поскольку они обеспечивают ее стабильность, однако стабильность эта всегда относительная: она постоянно подвергается подрывному воздействию со стороны антагонистических сил, которые пытаются модифицировать цепочки означающих. Непрочность любой фиксации означающих, бесконечное множество коннотаций, порождаемых любым высказыванием, показаны Бартом в «S/Z»: любой конкретный текст, по его мнению, следует понимать как «воплощенную множественность»:

...Он являет собой галактику означающих, а не структуру означаемых; у него нет начала, он обратим; в него можно вступить через множество входов, ни один из которых нельзя наверняка признать главным; вереница

<sup>1</sup> См.: *Барт Р. Удовольствие от текста* // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 483—485.

<sup>2</sup> Там же. С. 495.

мобилизуемых им кодов теряется где-то в бесконечной дали, они «не разрешимы» (их смысл не подчинен принципу разрешимости, так что любое решение будет случайным, как при броске игральных костей)<sup>1</sup>.

Однако если рассматривать отдельные интерпретации не как случайные и равно возможные, а как воплощения структур власти, можно заключить, что повторение одних и тех же смыслов призвано закрепить какую-то конкретную интерпретацию как само собой разумеющуюся, превратить «текст-письмо», заново производимый при каждом новом прочтении, в «текст-чтение», который в лучшем случае оставляет читателю свободу соглашаться с ним или не соглашаться<sup>2</sup>. Именно в силу этого повторение является свидетельством непрочности артикулируемых через его посредство социальных отношений. Напротив, по мере того как социальные практики, опирающиеся на гегемонию, седиментируются, необходимость воспроизводства «одного и того же смысла» отпадает, поскольку происходит «забывание происхождения» и то, что было продуктом властного решения, превращается в объективное наличие.

В отличие от Барта, который заявляет о тошнотворности всего само собой разумеющегося и провозглашает принцип наслаждения уничтожающим всякий метаязык текстом как способ ускользнуть от власти повседневности (текст, по его хлесткому определению, «является (должен являться) тем самым беспардонным субъектом, который показывает зад Отцу-политику»)<sup>3</sup>, постструктурализм настаивает на непрочности конструируемой через повторение самоочевидности. Она не только выполняет задачу, походя, в скобках, сформулированную самим Р. Бартом, — изучить процесс «отвердевания, оплот-

<sup>1</sup> *Барт Р. S/Z*. С. 14. Подробнее о значении этой работы Барта для эволюции структуралистской теории см. в: *Coward R, Ellis J*. Op. cit. P. 45—60.

<sup>2</sup> *Барт Р. S/Z*. С. 13.

<sup>3</sup> *Барт Р. Удовольствие от текста*. С. 486, 497, 506, 507. Цитата на с. 506.



нения» слов «в ходе исторического развития дискурса», — но и демонстрирует возможность реактивации, «повторного обнаружения, благодаря появлению новых антагонизмов, непрочной природы так называемой “объективности”»<sup>1</sup>. Такая наука, восклицает Барт, «будет исполнена разрушительного пафоса, ибо она вскроет нечто большее, нежели исторический характер истины, — вскроет ее риторическую, языковую природу»<sup>2</sup>. Однако постструктуралистская теория показывает, что констатация не только языковой природы истины, но и ее принципиально непрочного характера отнюдь не ведет к немедленному подрыву основ общественной жизни. Вероятно, подобная интеллектуальная работа действительно может иметь разрушительный эффект применительно к отдельным формам социального бытования истины (к отдельным общественным практикам, формам знания и т. п.). «Сова Минервы вылетает... в сумерки», — замечает Эрик Хобсбаум, говоря о росте интереса исследователей к проблематике национализма как свидетельстве в пользу возможного (но отнюдь не гарантированного) в будущем уменьшения влияния национализма как политического принципа<sup>3</sup>, но даже это осторожное предположение британского ученого выглядит слишком смелым сегодня, без малого два десятилетия спустя. Более того, утверждение Барта, что решение подобной исследовательской задачи способно заменить упорядоченность языка как дискурса текстом как языковой стихией<sup>4</sup>, освободительный потенциал которой он превозносит, противоречит его собственной логике. Как ни парадоксально, здесь он приближается к противоположной ему по духу просвещенческой позиции, утверждая, что автономный познающий субъект способен достичь эмансипации через познание и преобразование реальности.

<sup>1</sup> *Laclau E.* New Reflections... P. 35.

<sup>2</sup> *Барт Р.* Удовольствие от текста. С. 497.

<sup>3</sup> *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. С. 305.

<sup>4</sup> *Барт Р.* Удовольствие от текста. С. 486.

Таким образом, перед нами две крайности в понимании природы субъекта: волюнтаристское представление о способности человека изменить социальную реальность благодаря адекватному «отражению» ее в собственном сознании и идея «субъектных позиций», которая трактует индивида как носителя габитуса, сугубо социальное существо, свободная воля которого сводится к выбору между социально конструируемыми субъектными позициями. Первое представление возводит субъекта в ранг трансцендентального означаемого, ставит его за пределы социального; второе растворяет категорию субъектности в целостности социального: как пишет Стейнар Квале, характеризуя лингвистический поворот в философии XX века, «уже не “Я” пользуется языком для самовыражения; скорее, язык говорит через индивида»<sup>1</sup>. Вторая позиция, безусловно, более теоретически последовательна, но совершенно непонятно, как в таком случае избежать тотального детерминизма.

Эти две крайности воспроизводятся в дискуссии о соотношении между агентом и структурой, которая остается одной из наиболее проблем теории международных отношений и шире — социальной теории. Она возникла вместе с социологией: если один из основателей этой науки, Макс Вебер, разработал классический вариант социологического подхода, сосредоточенного на роли агента, другой, Эмиль Дюркгейм, заложил основы структурно ориентированной социологии<sup>2</sup>. Свой вклад в обсуждение этой проблемы в разное время внесли такие классики теории международных отношений, как Эдвард Карр<sup>3</sup>, Кеннет Уолтц<sup>4</sup>, Иммануил Валлерстайн<sup>5</sup>. Однако отдельной

<sup>1</sup> *Kvale S. Postmodern Psychology: A Contradiction in Terms? // Psychology and Postmodernism / Ed. by S. Kvale. London: Sage, 1992. P. 36.*

<sup>2</sup> См.: *Dawe A. Theories of Social Action // A History of Sociological Analysis / Ed. by T. Bottomore, R. Nisbet. New York: Basic Books, 1978. P. 362—417; Wight C. Op. cit. P. 62—89.*

<sup>3</sup> *Carr E. H. What is History? New York: Knopf, 1961. P. 36—69.*

<sup>4</sup> *Waltz K. N. Op. cit.*

<sup>5</sup> Эта тема постоянно присутствует в работах Валлерстайна как минимум начиная с того момента, как он впервые формулирует свою

темой дискуссий ученых-международников этот вопрос стал в конце 1980-х годов, после того, как он был сформулирован в его современном виде Александром Вендтом<sup>1</sup>. Большинство участников этой дискуссии так или иначе опираются на теорию структуризации Энтони Гидденса<sup>2</sup>, суть которой состоит в поочередном «вынесении за скобки» агента и структуры, с тем чтобы прояснить детерминирующее воздействие структуры на агента и конституирующее значение практик для структуры. На практике, однако, это приводит к тому, что исследователь получает два описания одной и той же ситуации — одно исходит из перспективы агента, другое из перспективы структуры — и вынужден либо работать с ними раздельно, либо произвольно выбирать одно из описаний<sup>3</sup>.

теорию миросистемы: *Wallerstein I. The Modern World-System; Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1974.*

<sup>1</sup> *Wendt A. The Agent — Structure Problem in International Relations // International Organization. Vol. 41. 1987. No. 2. P. 335—370.* Общепризнанным вкладом в обсуждение проблемы стали, в частности, следующие работы: *Hollis M., Smith S. Explaining and understanding international relations. Oxford: Clarendon Press, 1990; Hollis M., Smith S. Beware of Gurus: Structure and Action in International Relations // Review of International Studies. Vol. 17. 1991. No. 4. P. 393—410; Dessler D. What's at Stake in the Agent-Structure Debate? // International Organization. Vol. 43. 1989. No. 3. P. 441—473; Carlsnaes W. The Agency — Structure Problem in Foreign Policy Analysis // International Studies Quarterly. Vol. 36. 1992. No. 3. P. 245—270; Hollis M., Smith S. Two Stories about Structure and Agency // Review of International Studies. Vol. 20. 1994. No. 3. P. 241—251; Doty R. L. Aporia: A Critical Exploration of the Agent — Structure Problematique in International Relations Theory // European Journal of International Relations. Vol. 3. 1997. No. 3. P. 365—392; Wight C. Op. cit.*

<sup>2</sup> См.: *Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. М.: Академический проект, 2003.*

<sup>3</sup> *Jackson P. T., Nexon D. H. Globalization, the Comparative Method, and Comparing Constructions // Constructivism and Comparative Politics / Ed. by D. M. Green. Armonk: M. E. Sharpe, 2002. P. 97—100; Jackson P. T. Op. cit. P. 34—35.*

Колин Уайт в своей недавней работе впервые столь детально анализирует проблему соотношения агента и структуры, помещая дискуссию международников в более широкий социально-научный контекст. Уайт отвергает постструктуралистский подход (представленный, правда, во всей его книге одной-единственной статьей Роксан Доути<sup>1</sup>) как сводящий агента к структуре и потому антигуманистический и детерминистский. К сожалению, Уайту, на наш взгляд, не удастся предложить своего собственного варианта сведения агента и структуры в единую онтологию: его интерпретация агента либо опасно сближается с понятием субъектной позиции (в концепции «уровня субъектности»<sup>2</sup>), либо просто постулирует существование «рационального, цельного, автономного мыслящего “Я”», действия которого ограничиваются или уполномочиваются структурой<sup>3</sup>.

Одно из наиболее серьезных упущений, допускаемых практически всеми участниками дискуссии о субъекте и структуре, состоит в том, что, как пишет Роксан Доути, «значение субъектности [agency] принимается как самоочевидное. Предполагается, что мы уже знаем, что такое субъектность и где она располагается, тогда как единственное, что нуждается в объяснении, — это ее отношение к структуре»<sup>4</sup>. По мнению Патрика Джексона, этот недостаток объясняется склонностью многих авторов интерпретировать проблему соотношения субъекта и структуры в ее классической формулировке как проблемы индивидуальной свободы перед лицом исторической необходимости — формулировке, которая уже не соответствует современным взглядам на существо вопроса<sup>5</sup>. Это упущение характерно и для критической теории в международных от-

<sup>1</sup> *Doty R.L. Aporia.*

<sup>2</sup> *Wight C. Op. cit. P. 210—215.*

<sup>3</sup> *Ibid. P. 208, 222.*

<sup>4</sup> *Doty R.L. Aporia. P. 372.*

<sup>5</sup> *Jackson P. T. Op. cit. P. 33—40.*

ношениях, начало которой положили труды Роберта Кокса<sup>1</sup> и которая, как и теория дискурса Лаклау и Муфф, опирается на наследие Грамши, однако не подвергает его радикальной постструктуралистской ревизии. Несмотря на утверждения об обратном<sup>2</sup>, критическая теория исходит из предпосылки о наличии субъекта как данности: по сути, она сохраняет постулированный Марксом основополагающий характер категории класса, который — иногда под новым названием «социальные силы» — пользуется онтологическим приоритетом по отношению ко всем другим возможным субъектным позициям.

Среди работ, принадлежащих к полю международных исследований, ближе всего к постструктуралистскому пониманию субъектности оказывается книга Патрика Джексона о восстановлении Германии после Второй мировой войны (сам Джексон, впрочем, определяет свой подход как «транзакционный социальный конструкционизм»). Джексон указывает на то, что сама постановка проблемы субъектности в терминах агента и структуры неудачна, поскольку способствует отождествлению субъекта и индивида и смещает фокус внимания с ключевой, по его мнению, параллели между случайностью и субъектностью: «при прочих равных условиях, чем больше неопределенности [contingency], тем больше субъектности [agency], и наоборот»<sup>3</sup>. Это представление о субъектности как следствии структурной неопределенности удобно проиллюстрировать тезисом Колина Уайта о различиях между естественными и социальными науками: если задача первых состоит в изучении необходимости, в выработке структурного

<sup>1</sup> См. в особенности: *Cox R. W. Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations // Millennium. Vol. 10. 1981. No. 2. P. 126–155; Idem. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press, 1987.*

<sup>2</sup> *Bieler A., Morton A. D. The Gordian Knot of Agency — Structure in International Relations: A Neo-Gramscian Perspective // European Journal of International Relations. Vol. 7. 1997. No. 1. P. 5–35.*

<sup>3</sup> *Jackson P. T. Op. cit. P. 33.*

представления о мире природы, то вторые гораздо более амбициозны, поскольку в конечном итоге озабочены выявлением условий возможности социального действия. «Целью ядерной физики, — пишет Уайт, — не является объяснение или предсказание катастрофы в Чернобыле в 1986 году»: понимание физических процессов необходимо для уяснения механизма аварии и даже для выработки мер по предотвращению ее повторения, однако в конечном итоге бедствие стало возможным в результате целого комплекса социальных факторов<sup>1</sup>. Отметим, что с точки зрения понятия субъектности в данном случае центральной является не столько цепочка ошибок, приведших к катастрофе, сколько *возможность* этих ошибок *не совершить*.

Успешно используя представление о субъекте как функции структурной неполноты для критической переоценки дискуссии об агенте и структуре в трудах исследователей-международников и для работы с эмпирическим материалом, в своих теоретических изысканиях Джексон, к сожалению, не идет намного дальше только что приведенной цитаты. Между тем путь к решению проблемы субъектности в рамках постструктуралистской неограмшианской теории дискурса был намечен Славоем Жижекком еще в 1990 году: он предложил радикализовать понятие социального антагонизма с использованием разработанного Лаканом представления «о субъекте как о “пустом пространстве структуры”»; субъект у Лакана конституирует себя в чистом противопоставлении, в «отрицании, которое доведено до точки самоотносимости»<sup>2</sup>. В Лакановой версии психоанализа субъект всегда расколот: процесс социализации состоит в интернализации внешних образов, которым индивид должен соответствовать, но, поскольку эти образы являются *внешними*, идентификация с ними никогда не бывает полной<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Wight C. Op. cit. P. 283.

<sup>2</sup> Žižek S. Beyond Discourse Analysis. P. 251, 252.

<sup>3</sup> См. знаменитое рассуждение Лакана о «стадии зеркала» в становлении индивидуального сознания: *Lacan J. Écrits*. Paris: Éditions du Seuil, 1966. P. 93—100.

Ни одна идентичность не может быть доведена до абсолюта, до полной тождественности самой себе, поскольку в противном случае субъект растворяется в субстанции — в этом и состоит принципиальная возможность отличия субъекта от структуры.

Проблематика субъектности в постструктурализме неразрывно связана с понятием дислокации, а также седиментации и реактивации. Как указывают Питер Бергер и Томас Лукман, на индивидуальном уровне понятие седиментации определяется через опыт, сохраняющийся в сознании, застывающий в нем «в качестве незабываемой и признанной сущности». Седиментация как интерсубъективное явление описывает процесс формирования и воспроизводства социально значимых знаний и институтов: «Объективно доступная знаковая система придает статус зарождающейся анонимности осажденному опыту благодаря отделению его от первоначального контекста индивидуальных биографий», делая его общедоступным и «готовым к передаче другим поколениям»<sup>1</sup>.

В своем философском значении противопоставление **седиментации** и **реактивации** восходит к трудам Эдмунда Гуссерля. У Эрнесто Лаклау оно соответствует оппозиции социального и политического: «Если социальное учреждается посредством *седиментации* политического, “забывания происхождения”, *реактивация* изначального смысла социального состоит в демонстрации его политической сущности»<sup>2</sup>. Как и в любой оппозиции, социальное и политическое присутствуют друг в друге, но теоретический фокус в данном случае предполагает приоритет политического, тогда как социальное неизбежно идеологично: «Социальное существует только как тщетная попытка основать этот невозможный объект — общество»<sup>3</sup>.

Тезис о невозможности общества, который формулируется в контексте понятия седиментации, составляет в теории Лак-

<sup>1</sup> Бергер П., Лукман Т. Указ. соч. С. 113.

<sup>2</sup> Laclau E. New Reflections... P. 160.

<sup>3</sup> Idem... P. 92.

лау и Муфф основу для интерпретации понятия идеологии. Содержание этого понятия лучше всего раскрывает следующая цитата из книги Лаклау:

...Поток изменений в развитых капиталистических обществах означал, что идентичность и однородность социальных агентов была иллюзией, что любой социальный субъект существенно децентрирован, что его/ее идентичность — не что иное, как нестабильная артикуляция постоянно изменяющихся местоположений... Но если любой социальный агент является децентрированным субъектом, если, пытаясь определить его/ее идентичность, мы не находим ничего, кроме калейдоскопического движения различий, что мы можем иметь в виду, говоря, что субъекты неправильно осознают себя? Теоретические основания, которые придавали смысл концепции «ложного сознания», определенно подорваны.

...Идеологическое состоит не в ошибочном осознании позитивной сущности, но в прямо противоположном: оно состоит в непризнании непрочного характера любой позитивности, невозможности любого окончательного замыкания. Идеологическое состоит в тех дискурсивных формах, через которые общество пытается основать себя как таковое на основании замыкания, фиксации смысла, непризнания бесконечной игры различий. Идеологическое — это воля любого тотализирующего дискурса к «цельности», «тотальности»<sup>1</sup>.

При условии признания соответствующих ограничений подход Лаклау совместим, например, с дефиницией Стивена Хансона, в версии которого идеология есть «формальное и последовательное определение критериев членства в реальном или предполагаемом политическом сообществе»<sup>2</sup>. В самом

<sup>1</sup> *Laclau E. New Reflections...* P. 92.

<sup>2</sup> *Hanson S.E. Ideology, Uncertainty, and the Rise of Anti-system Parties in Post-Communist Russia // Journal of Communist Studies and Transition*



деле, политика возникает вместе с антагонизмом, который вытесняет за пределы сообщества идентичности, не соответствующие данному видению идеального общества, — и тем самым определяет «критерии членства в политическом сообществе». Однако определение Хансона описывает лишь частный случай функционирования идеологии в условиях наличия у сообщества стабильных границ. Напротив, определение Лаклау обращает внимание на момент возникновения общества как рефицированной реальности: до тех пор, пока сохраняется представление о проблематичном характере идентичностей и границ, политическая практика не может считаться идеологизированной. Идеология возникает вместе со «стремлением к цельности», с переходом от критики угнетения некоторых социально и исторически обусловленных, но реально существующих идентичностей к критике недостаточной структурированности политического порядка, в которой неопределенность идентичностей и границ предстает как политическая проблема<sup>1</sup>.

Возвращаясь к понятию седиментации, отметим, что Лаклау, безусловно, читает Гуссерля глазами Жака Деррида, который обращает внимание на три аспекта этого явления. Во-первых, геологические коннотации термина отражают представление о *напластовании* смысла: радикальная новизна открытия постепенно осаждается, застывает, причем процесс этот идет скачкообразно, создавая многоуровневые смысловые структуры. Во-вторых, седиментация подразумевает наличие прочного, стабильного смысла, скрывающегося за текущей очевидностью. Наконец, в-третьих, в этом понятии заложена возможность обнаружения скрытого смысла, застывшего фундамента привычных вещей — реактивации, которая, говоря

Politics. Vol. 14. 1998. No. 1—2. P. 110; Idem. Postimperial Democracies: Ideology and Party Formation in Third Republic France, Weimar Germany, and Post-Soviet Russia // East European Politics and Societies. Vol. 20. 2006. No. 2. P. 357.

<sup>1</sup> Ср.: *Laclau E. New Reflections...* P. 61—62.

словами Деррида, «позволяет обнажить под осадочными покровами языковые и культурные обретения, голый смысл учреждающей очевидности»<sup>1</sup>. Лаклау использует термин «седиментация» для характеристики сущности понятия «институт», которое состоит в «забывании происхождения»: любой социальный институт учреждается через властный акт, который, в условиях фундаментальной неразрешимости социального, состоит в предпочтении одного правила организации практик всем существующим альтернативам. Успешность акта институционализации как раз и выражается в исчезновении этих альтернатив, благодаря которому институт «имеет тенденцию принять форму простого объективного наличия»<sup>2</sup>. Йоргенсен и Филлипс приводят как нельзя более удачный пример этого явления: в современном обществе мы настолько привыкли воспринимать детей как особую группу со своими потребностями и правами, что принимаем как само собой разумеющееся обособление детей в правовом, художественном и даже в физическом (ясли, школы, игровые площадки) пространстве. Однако, как показывают историко-социологические исследования<sup>3</sup>, еще несколько столетий назад детей воспринимали как «маленьких взрослых» и обращались с ними соответственно<sup>4</sup>. Иначе говоря, седиментация означает переход «политического момента принятия решений в условиях неразрешимости к относительно фиксированной реальности социальных отношений»<sup>5</sup>; объективность является продуктом седиментации и потенциально всегда может быть подвергнута деконструкции, или — в терминах Гуссерля — реактивации.

<sup>1</sup> Деррида Ж. Введение // Гуссерль Э. Начало геометрии. М.: Ad Marginem, 1996. С. 129.

<sup>2</sup> Laclau E. New Reflections... P. 34.

<sup>3</sup> Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999.

<sup>4</sup> Jørgensen M., Phillips L. Op. cit. P. 35, 36.

<sup>5</sup> Torfing J. New Theories of Discourse. P. 305.

У Гуссерля реактивация, говоря обобщенно, означает возврат к первоначальному интуитивному постижению сущности: «пассивное понимание выражения и делание его очевидным, реактивирующее смысл», пишет он, принципиально отличаются друг от друга<sup>1</sup>. Лаклау, в свою очередь, интерпретирует термин «реактивация» в значении, близком к понятию деконструкции, — как обнаружение случайного в объективном (именно введение к «Происхождению геометрии» Гуссерля, первый опубликованный текст Деррида, считается также «первым детально проработанным образцом деконструкции»<sup>2</sup>). Возврат к изначальной интуиции, который составляет сущность реактивации у Гуссерля, в данной интерпретации невозможен, потому что невозможно восстановить историческую ситуацию, в которой было принято конституирующее политическое решение<sup>3</sup>, на это Деррида указывает уже во «Введении к “Происхождению геометрии”», отмечая, что в акте реактивации «смысл реанимируется в силу того, что я возрождаю его к зависимости от моего действия и воспроизвожу его в себе так, как он был произведен впервые кем-то другим. Конечно, ответственность реактивации всегда повторна»<sup>4</sup>. Позднее, в «Голосе и феномене», он показывает, что в основе феноменологии Гуссерля лежит идея бытия как наличия: «абсолютная близость самоидентичности, бытие перед объектом, доступное повторению, сохранение темпорального настоящего, чьей идеальной формой является самоприсутствие идеальной жизни, чья идеальная идентичность делает возможной *idealiter* бесконечно-

<sup>1</sup> Гуссерль Э. Начало геометрии. М.: Ad Marginem, 1996. С. 221.

<sup>2</sup> Гурко Е. «Введение к “Происхождению геометрии” Гуссерля» (Introduction de L'origine de la geometrie de Husserl) // Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретации. Деррида Ж. Оставь это имя (постскрипtum). Как избежать разговора: денегации. Минск: Экономпресс, 2001. С. 13.

<sup>3</sup> Laclau E. New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990. P. 34—35.

<sup>4</sup> Derrida J. Introduction. P. 100—101.

го повторения»<sup>1</sup>. Деррида противопоставляет чистой самоидентичности идеального бытия у Гуссерля понятие различия (*différance*), которое «создает субъект... Оно создает тождественность как самоотношение в саморазличии, оно создает тождественность как не то же самое»<sup>2</sup>. Реактивация, понимаемая таким образом, ни в коем случае не означает возвращения к «подлинной сущности» вещей — напротив, она состоит в обнаружении исторически случайного характера седиментированных структур, в «припоминании» изначального насильственного подавления альтернативных вариантов артикуляции и, в конечном итоге, в обнаружении невозможности самоидентичной полноты общественного бытия. Разумеется, «припоминание» не означает и возрождения прежних альтернатив как «более подлинных»: в новой ситуации альтернативы существующим институтам неизбежно будут новыми<sup>3</sup>. Даже если новые артикуляционные практики используют старые атрибуты (государственные символы, «историческая» топонимика), цепочки означающих, связанных с этими атрибутами, полностью восстановить невозможно.

Метафора многослойной дискурсивной структуры (*layered discourse structure*), предложенная Оле Вэвером<sup>4</sup>, основана на понятии седиментации и развивает его геологические коннотации, что позволяет облегчить его операционализацию. Вэвер предлагает характеризовать отношения между означающими как принадлежащие разным слоям дискурсивной структуры в зависимости от их абстрактности, «самоочевидности» для участников дискурса и, соответственно, устойчивос-

<sup>1</sup> Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб.: Алетейя, 1999. С. 130—131.

<sup>2</sup> Там же. С. 110.

<sup>3</sup> Laclau E, Mouffe C. Op. cit. P. 34—35.

<sup>4</sup> Wæver O. Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory // European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States / Ed. by L. Hansen, O. Wæver. London; New York: Routledge, 2002. P. 20—49.

ти, седиментированности. Если проиллюстрировать эту концепцию на примере привычного институционального контекста, мы увидим, что к верхнему, наиболее подвижному, слою принадлежат вопросы, по поводу которых в обществе идет повседневная дискуссия между представителями властвующей элиты — в современной многопартийной системе это чаще всего правительство и ведущие оппозиционные партии. Несмотря на то что борьба между этими силами занимает большую часть публичного дискуссионного пространства, разногласия между ними на общем фоне минимальны: правительство и «системная» оппозиция имеют общие взгляды по всем вопросам, за исключением актуальных текущих проблем. Маргинальная оппозиция бросает вызов господствующему консенсусу, пытаясь оспорить некоторые из взглядов, общих для правительства и «системной» оппозиции, и тем самым сделать подвижным следующий, более глубокий слой дискурсивной структуры. Чем более радикальным является оппозиционное движение, тем к более глубоким изменениям дискурсивной структуры оно стремится, но поскольку более глубокие слои как раз и составляют здравый смысл для большинства населения, тем меньше людей разделяют подобные взгляды.

Метафора многослойности вторична по отношению к понятию седиментации, однако ее преимущество состоит в том, что она наглядно выражает соположенность различных по происхождению структур в зависимости от их подверженности изменениям:

...Более глубокие структуры достигли большей степени седиментации, и их труднее политизировать и изменить, но изменения всегда возможны, так как все структуры социально конституированы. Когда в системе повышается напряженность — когда дискурс больше не может легко справляться с проблемой, — поначалу возможны «поверхностные изменения», которые оставят в неприкосновенности все более глубокие уровни, но это

может вызывать всё больший дискомфорт, всё большую нестабильность; и потому на каком-то этапе более глубокие изменения могут быть осуществлены тем же субъектом или путем замены действующего субъекта на другого, представляющего иную позицию<sup>1</sup>.

Применительно к России метафора многослойной структуры, помимо прочего, позволяет более наглядно показать масштаб преобразований, через которые прошло российское общество: в самом деле, после распада Советского Союза оно оказалось в ситуации столь глубокого кризиса, что верхние слои дискурсивной структуры были попросту сметены, и дискуссия переместилась на глубинные уровни, которые в стабильном обществе крайне редко становятся предметом обсуждения (национальная и государственная идентичность, соотношение нации и государства, базовые общественные ценности и др.). В России начала XXI века происходит постепенная «седиментация», отвердевание новых структур, но масштабные перемены все еще возможны, противоречия в обществе по поводу глубоких структурных слоев все еще очень велики. Несмотря на то что большинством населения такая ситуация воспринимается крайне болезненно, дискурсивный анализ позволяет интерпретировать ее не только с точки зрения кризиса, но и с точки зрения новых возможностей, которые этот кризис открывает перед обществом.

Использование этих возможностей, однако, предполагает наличие субъекта, который был бы способен осуществить выбор в ситуации неопределенности, принять новое властное решение, которое послужит основанием для новых институтов и правил, чье происхождение точно так же будет постепенно забываться. Диалектика седиментации — реактивации вполне применима к анализу Жижекком понятия политического дей-

<sup>1</sup> *Wæver O. Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory // European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States / Ed. by L. Hansen, O. Wæver. London; New York: Routledge, 2002. P. 20—49. P. 32.*

ствия (хотя сам Жижек этими терминами не пользуется): любые разговоры об объективных законах, управляющих историей и предопределяющих события, возможны только в ретроспективе, с позиции, внешней по отношению к конкретной исторической ситуации. После того как решение принято, происходит забывание изначальной драматичной неопределенности, в которой оно принималось: например, вместо реальной исторической фигуры Ленина как «участника политической драмы, способного делать непредвиденные шаги», в сталинскую эпоху мы приходим к «ленинской агиографии», где Ильич предстает мудрецом, «который “видел все и предвидел все”, включая сталинизм»<sup>1</sup>. Седиментация затуманивает и в конечном итоге превращает в свою собственную противоположность саму природу нормы, закона как «высшего преступления»: закон сам по себе является продуктом политического решения, которое всегда скандальным образом подрывает существовавшие до него нормы и правила, и успешность этого акта измеряется тем, насколько ему удастся «запаковать» свое собственное прошлое, представить его как объективную неизбежность, стереть из памяти свой скандальный характер<sup>2</sup>. Но эта седиментированная неизбежность осаждается из ситуации радикальной неопределенности, которая и создает возможность субъектности:

Этот «невозможный» момент открытости учреждает момент *субъектности*: «субъект» есть имя для того самого безмерного X — призванного, неожиданно вынужденного давать отчет, вброшенного в ситуацию ответственности, в безотлагательность решения, обусловленную неразрешимостью момента<sup>3</sup>.

Понятие **дислокации** (также, что характерно, имеющее геологические коннотации), детально разработанное Лаклау в работе «Новые размышления о революции нашего времени»,

<sup>1</sup> Žižek S. For They Know Not... P. 193.

<sup>2</sup> Ibid. P. 192—193.

<sup>3</sup> Ibid. P. 189.

неразрывно связано с понятием субъекта и отражает «невозможность» момента субъектности. Этот подход в полной мере преодолевает «структуралистский эссенциализм», характерный, по мнению Джексона, для многих структурно ориентированных направлений социальной мысли: если для эссенциалистского подхода характерно представление, что акторы маневрируют в просветах и пробелах, возникающих *между* различными структурными формациями, понятие дислокации обращает внимание именно на изъяны «*внутри* этих структурных компонентов»<sup>1</sup>. Антагонизм является конституирующим началом<sup>2</sup>, пишет Лаклау, и, следовательно, «...любая идентичность дислоцирована в той мере, в какой она зависит от Иного [outside], которое одновременно отрицает эту идентичность и обеспечивает условия ее существования»<sup>3</sup>. В силу собственной дислокации ни одна структура не способна полностью детерминировать свои составные части, и в этой несостоятельности структуры заложены предпосылки свободы:

Свобода по отношению к структуре, обретенная таким образом, является поэтому изначально травмирующим опытом: я обречен быть свободным, не потому что у меня нет структурной идентичности, как утверждают экзистенциалисты, но потому, что у меня *несостоявшаяся* структурная идентичность<sup>4</sup>.

Свобода, по утверждению Лаклау, становится возможной в сфере политического, там, где неразрешимость социального одновременно дает нам возможность и обязывает нас принять решение:

...Если, с одной стороны, субъект не является внешним по отношению к структуре, то, с другой стороны, он стано-

<sup>1</sup> Jackson P. T. Op. cit. P. 40. — Курсив в оригинале.

<sup>2</sup> Laclau E. New Reflections... P. 27.

<sup>3</sup> Ibid. P. 39.

<sup>4</sup> Ibid. P. 44. — Курсив в оригинале.



вится частично автономным в той степени, в которой он составляет локус решения, не детерминированного структурой. Но это означает: а) что субъект не что иное, как дистанция между неразрешимой структурой и решением; б) что, говоря онтологически, решение носит характер основания, первичное по отношению к структуре, на которой оно основано, поскольку оно не детерминировано последней; и в) что, если решение является выбором между структурными неразрешимостями, принятие решения может означать только подавление возможных альтернатив, которые не реализуются. Другими словами, «объективность», возникающая из решения, формируется, в самом фундаментальном смысле этого слова, как властное отношение<sup>1</sup>.

Свобода, таким образом, является одновременно случайной и необходимой составляющей реальности и может осуществляться только посредством феномена власти, в постструктуралистском понимании последнего: «любой субъект, по определению, есть субъект политический»<sup>2</sup>. В отличие от Мишеля Фуко, который характеризует отношения власти как «интенциональные и несубъектные»<sup>3</sup>, в неомарксистском, в духе Грамши, понимании власть и субъектность взаимно конституируют друг друга. В то же время, поскольку любое властное решение сужает сферу неразрешимости, свобода отрицает себя при реализации: «свобода существует потому, что общество не достигает конституирования себя как структурного объективного порядка, но любое социальное действие тяготеет к конституированию этого невозможного объекта и тем самым к устранению условий самой свободы»<sup>4</sup>. Субъект, реализуя себя в политическом действии, тем самым становится своим

<sup>1</sup> Ibid. P. 30. Ср.: *Laclau E. Identity and Hegemony*. P. 79.

<sup>2</sup> *Laclau E. New Reflections...* P. 61. — Курсив в оригинале.

<sup>3</sup> *Фуко М. Воля к знанию*. С. 195.

<sup>4</sup> *Laclau E. New Reflections...* P. 44.

собственным отрицанием, создавая «момент замыкания, в котором акт решения, принятого субъектом, переходит в свою противоположность; учреждает новый символический порядок, с помощью которого История опять обретает самоочевидность линейного развития»<sup>1</sup>.

Мы видим, что постановка проблемы субъектности в постструктуралистской теории коренным образом отличается от интерпретации в классической социологической традиции как проблемы индивидуальной свободы<sup>2</sup>. Говоря о свободе как продукте несостоявшейся структурной идентичности с точки зрения индивидуалистической или институциональной социологической перспективы, мы можем иметь в виду в лучшем случае лишь очень узкую сферу жизненного пространства конкретного индивида или отдельные моменты в существовании института. Большую часть жизни мы как индивиды проводим, переходя от одной субъектной позиции к другой, из одной сферы детерминированности в другую, будучи замкнуты в рамках привычного, в границах габитуса. В то же время нельзя понимать субъектность только как достояние узкого круга интеллектуалов или властителей, «тех, кто делает историю», тех, кто занимает некоторую институционально обусловленную «властную позицию». Каждый из нас в повседневной жизни оказывается перед необходимостью принимать властные решения, и социальная значимость этих решений мало зависит от формальной институциональной позиции индивида: президент самой могущественной державы может быть такой же игрушкой структурно детерминированных сил, как и крестьянин, борющийся за экономическое выживание в условиях неолиберальной глобализации. Мишель Фуко, говоря о природе власти, предостерегает:

...Не будем искать некий штаб, который руководил бы ее рациональностью; ни каста, которая правит, ни группы,

<sup>1</sup> Žižek S. For They Know Not... P. 190.

<sup>2</sup> Jackson P. T. Op. cit. P. 33, 35.

которые контролируют государственные аппараты, ни люди, которые принимают важнейшие экономические решения, — никто из них не управляет всей сетью власти, которая функционирует в обществе (и заставляет его функционировать); рациональность власти есть рациональность тактик — зачастую весьма явных на том ограниченном уровне, в который они вписаны: локальный цинизм власти, — которые, сцепливаясь друг с другом, призывая и распространяя друг друга, находя где-то в другом месте себе опору и условие, очерчивают в конце концов диспозитивы целого: здесь логика еще совершенно ясна, намерения поддаются дешифровке, и все же случается, что нет уже больше никого, кто бы их замыслил, и весьма мало тех, кто бы их формулировал: имплицитный характер важнейших анонимных, почти немых стратегий, координирующих многословные тактики, «изобретатели» которых или ответственные за которые часто лишены лицемерия...<sup>1</sup>

В этом смысле субъектность, так же как и власть, распределена в социальной структуре, но способна «концентрироваться» в точках времени и пространства, которые трудно предсказать, классифицировать или даже точно указать. Наивно рассуждать о том, например, каков «объективный» личный вклад того или иного исторического деятеля в события, которые обычно связывают с его именем: являются ли формально принятые им решения политическими, конституирующими решениями в описанном выше смысле, или он просто оказался «в нужном месте в нужное время». Имена конкретных лиц в исторических нарративах — это не более чем означающие, которые позволяют нам придавать смысл своему прошлому и настоящему, и историческая память — это тоже артикуляционная практика, направленная на установление гегемонии здесь и сейчас.

<sup>1</sup> Фуко М. Воля к знанию. С. 195.

Если адаптировать интерпретацию субъектности по Лаклау к основной проблематике настоящего исследования, можно предложить поискать основания свободы в неопределенности, неразрешимости российской национальной идентичности. В результате кризиса, в котором оказалось советское общество к концу 1980-х гг. и последствия которого до сих пор ощутимы в России, дислокация всего комплекса структур, связанных с понятиями «нация», «государство», «общество», оказалась очень ярко выраженной даже на фоне современного глобализирующегося мира. Это действительно было травмирующим опытом, но этот опыт открывал широкое поле свободы. Рассмотрение этих вопросов, однако, невозможно без более детального обсуждения проблем «внутреннего» и «внешнего» в политике.

## § 1.6. Социальная формация или сообщество? К вопросу о природе дискурсивных границ

Если любые социальные границы имеют нестабильный характер и не являются необходимыми, закономерно поставить вопрос об обоснованности выделения национального дискурса в качестве предмета исследования: насколько правомерен в данном случае разговор о российском дискурсе и о российской идентичности, вправе ли мы выделять Россию в качестве отдельной «социальной формации»?<sup>1</sup> Наиболее очевидный, хотя далекий от методологического совершенства, ответ на этот вопрос состоит в том, что, в отличие от абстрактно-теоретической картины социального как системы различий, выраженной в языке как дифференциальной системе, в реальном мире люди пользуются разными живыми языками, в каждом из которых система различий своя. В сущности, никто из теоретиков постструктурализма всерьез не пытался обратиться к

<sup>1</sup> О термине см.: *Laclau E, Mouffe C. Op. cit. P. 143—144.*

романтическому тезису Гердера о том, что язык не только является средой, в которой существуют мысль и сознание, но и формирует особенности мировоззрения человека через свои конкретные формы, в результате чего перевод с одного языка на другой часто бывает затруднен<sup>1</sup>. Разумеется, этот фактор нельзя абсолютизировать: новые понятия с легкостью заимствуются языками друг у друга вместе с соответствующими практиками. Достаточно напомнить о количестве заимствований из английского в современном русском языке, чтобы показать проницаемость лингвистических границ; к тому же для заимствования нового понятия необязательно заимствовать соответствующее слово — достаточно, чтобы в реляционной системе языка появилось новое различие. Нельзя, однако, не обратить внимание на тот факт, что новые понятия при этом встраиваются в другую реляционную систему по сравнению с той, из которой они заимствованы. Английскому слову «офис» приходится уживаться в русском языке со словами «кабинет» и «контора», и это не может не вводить дополнительных различий в связанные с этим словом социальные практики. Это наблюдение позволяет заключить, что различия между конкретными живыми языками — это факторы того же порядка (не более, но и не менее), что и прочие границы между гегемоническими формациями, и каждая артикуляционная практика учитывает их в своем стремлении зафиксировать цепочки означающих. В самом деле, одна из наиболее распространенных

<sup>1</sup> Единственным исключением здесь, пожалуй, является «Письмо к японскому другу» Жака Деррида, в котором эксплицитно ставится проблема трудностей перевода теоретических понятий с одного языка на другой, и, более того, изменения значения и коннотаций слов при переходе их из одного контекста в другой даже в одном языке. При этом, однако, речь идет не о переводе вообще, а об особенно сложном случае — о переводе термина «деконструкция», который, как указывает Деррида, даже во французском языке нельзя считать адекватным «какому-то ясному и недвусмысленному значению»: *Деррида Ж. Письмо к японскому другу // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 53.*

форм функционирования «чистых» лингвистических границ в социальных практиках — это борьба «за чистоту языка», разворачивающаяся сегодня во многих странах, в том числе и в России, — борьба, которая представляет собой очевидную попытку придать лингвистическим границам политический статус.

Из вышесказанного также очевидно, что, несмотря на тезис о соразмерности дискурсивного и социального, социальная формация или дискурс как предмет исследования не могут определяться исключительно исходя из формальных лингвистических границ<sup>1</sup>. В случае с российским дискурсом, как и со многими другими, это соображение дополняется еще и тем, что русский язык активно используется во многих других странах, однако очевидно, что системы сигнификации, существующие, например, в русскоязычных украинских текстах, существенно отличаются от своих аналогов российского «происхождения».

Другой серьезный аргумент в пользу национальных критериев при определении предмета исследования — институциональный. В самом деле, гегемонические практики опираются на системы институтов, которые позволяют им более эффективно контролировать дискурсивное пространство. Например, государство может издавать законы, регулирующие деятельность средств массовой информации, и тем самым серьезно ограничивать или, наоборот, расширять сферу функционирования тех или иных артикуляционных практик. Субъектные позиции в современном обществе также в значительной степени определяются институционально и отличаются друг от друга в том числе и с точки зрения возможностей влиять на артикуляцию дискурса. Осознание того факта, что современ-

<sup>1</sup> В этой связи читателю могут быть интересны размышления Ж. Деррида о философском национализме, которые он предваряет замечанием о необходимости «диссоциировать... национальный феномен в философии и феномен в узко, строго лингвистическом смысле слова»: *Деррида Ж. Национальность и философский национализм // Деррида Ж. Позиции. М.: Академический проект, 2007. С. 133.*

ное государство и, конечно, все его институты историчны, что на академическом уровне их можно описывать как продукт седиментации, не означает ни неизбежности скорого отмирания национального государства как основной политической формы современности (например, в духе разного рода теорий глобализации), ни возможности, на уровне политической практики, быстро и легко эти институты реактивировать, лишить их самоочевидного характера, вернуться к живому политическому решению, лежащему в их основе.

Проблема с институциональными критериями при установлении границ социальных формаций состоит в другом: любой институт сверхдетерминирован, и, соответственно, его границы могут существенно меняться в зависимости от вариантов артикуляции. Например, структура под названием «Российская Федерация» существовала в составе СССР, а сегодня входит в СНГ, но при этом ее место в реляционной системе идентичностей существенно изменилось, в первую очередь по отношению к такому фундаментальному означающему, как «суверенитет». Однако можно ли считать, что жители России и, например, Казахстана 7 декабря 1991 года принадлежали к одной социальной формации, а 26 декабря — уже к двум различным только потому, что формально изменилась их государственная принадлежность? Очевидно, что новый вариант фиксации означающих вокруг узлового пункта «суверенитет» может произойти только постепенно, так как он предусматривает переопределение многих и многих ключевых понятий, институтов и практик. Более того, столь масштабная реартикуляция неизбежно сталкивается с альтернативными практиками, пытающимися в той или иной степени сохранить прежнюю систему. Перед нами возникает широкий спектр артикуляций, каждая из которых предлагает свой собственный вариант цепочек эквивалентности, все они пытаются зафиксировать идентичности путем исключения разных вариантов конституирующего иного.

Можно ли утверждать, что все практики в только что приведенном примере функционировали в рамках одной соци-

альной формации? Этот вопрос наглядно показывает правоту Лаклау и Муфф, когда они утверждают, что «термин “социальная формация”, если он используется для указания на референт, не имеет смысла»<sup>1</sup>. В конечном итоге любой дискурс — и это особенно очевидно в современную эпоху — существует в глобальном дискурсивном пространстве, где географические, институциональные, лингвистические границы, при всей их значимости, не являются абсолютно непроницаемыми. Любая артикуляционная практика легко преодолевает эти границы в случае, если становится значимой для «внешнего» мира. Локальные практики локальны не потому, что замкнуты какими бы то ни было естественными границами, а только в силу того, что стремятся переопределить лишь узкий круг идентичностей — для всех остальных они просто «неинтересны». Краеведческий кружок в российской глубинке может стать предметом широкого интереса, даже выйти за пределы национального дискурса, если найдет способ показать, что его изыскания могут помочь лучше понять «душу России», потому что различные варианты артикуляции российской идентичности имеют самое непосредственное влияние на другие идентичности во всем мире. И наоборот, бывает, что международные организации глобального уровня становятся маргинальными, поскольку их артикуляционные практики не имеют серьезных последствий для людей, которым адресованы.

В то же время, несмотря на прозрачность и сверхдетерминированность любых социальных границ, их эмпирическая значимость для функционирования дискурса очевидна: многие артикуляционные практики имеют тенденцию функционировать в одном и том же пространстве, причем такое совпадение границ приводит к взаимному усилению отношений эквивалентности, устанавливаемых этими практиками, и к формированию крайне важных и устойчивых идентичностей — в первую очередь, хотя и не исключительно, национальных.

<sup>1</sup> *Laclau E., Mouffe C. Op. cit. P. 144.*



И наоборот, существуют границы — не столько национальные, сколько «культурные», — которые препятствуют распространению артикуляционных практик на более широкое пространство: так, обязанность женщины-мусульманки носить платок в общественных местах может рассматриваться в одном контексте как символ дискриминации, в другом же — как подтверждение ее культурной идентичности, и подобные случаи «непрозрачности» дискурсов друг для друга являются скорее нормой, нежели исключением. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы выработать терминологическую базу для концептуализации дискурсивных границ во всем их многообразии. Насущная необходимость разработки альтернативных вариантов концептуализации границ подчеркивается многими теоретиками международных отношений<sup>1</sup>, однако, как признает Ник Вон-Уильямс, все еще сохраняется «реальная опасность растущего несоответствия между все большей сложностью и многообразием границ в мировой политике и явной упрощенностью и недостатком воображения при их изучении»<sup>2</sup>.

Согласно понятийному аппарату, разработанному Тедом Хопфом<sup>3</sup>, совокупность дискурсов и формируемых ими идентичностей составляет **социально-когнитивную структуру** данного общества. Этот термин отражает наличие общего для подавляющего большинства членов социума и закрепленного в языке социально обусловленного знания об окружающем

<sup>1</sup> См., например: *Walker R. B. J. Inside/Outside: International Relations as Political Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; *Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory* / Ed. by Albert M., Jacobson D., Lapid Y. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2001; *Walters W. Borders/Control* // *European Journal of Social Theory*. Vol. 9. 2006. No. 2. P. 187—203; *Vaughan-Williams N. The Generalised Border: Re-Conceptualising the Limits of Sovereign Power* // *Review of International Studies*. Vol. 34. 2008 (forthcoming).

<sup>2</sup> *Vaughan-Williams N. The Generalised Border*.

<sup>3</sup> *Hopf T. Social Origins of International Politics. Identities and the Construction of Foreign Policies at Home*. Ithaca: Cornell University Press, 2002. P. 12—16.

мире, которое, собственно, и позволяет обществу функционировать как единое целое. Социально-когнитивная структура задает логику понятного, ожидаемого и мыслимого в рамках повседневной практики, то есть определяет, во-первых, дискурсивные пределы, в которых социальное действие имеет смысл для окружающих (логика понятного); во-вторых, вероятность того или иного истолкования некой социальной ситуации определенным индивидом (логика ожидаемого); в-третьих, пределы того, что может себе представить человек, живущий в данном обществе на данном этапе его развития (логика мыслимого)<sup>1</sup>. Логика мыслимого включает в себя логику понятного и логику ожидаемого, однако даже ее поле имеет свои пределы: так, до появления теории относительности ядерное оружие не могло даже теоретически рассматриваться как фактор мировой политики.

Если отказаться от использования понятия «общество» как исходного при определении социально-когнитивной структуры, можно использовать этот терминологический аппарат для прояснения понятия социальной формации как пространства, в котором оперируют артикуляционные практики. С одной стороны, логики понятного, ожидаемого и мыслимого создают необходимый фундамент для функционирования «своих» артикуляционных практик, которые в то же время воспроизводят эти логики и фиксируют их в качестве «здорового смысла»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Терминологический аппарат Хопфа, взятый в целом, вероятно, отражает сущность понятия «риторических общих мест», вводимого Патриком Джексоном: *Jackson P. T.* Op. cit. P. 27—32. «Логика» Хопфа, однако, более детально проработаны и в силу этого позволяют лучше понять механизмы формирования дискурсивных границ.

<sup>2</sup> Как справедливо подчеркивает Виктор Мартьянов, фиксация здравого смысла ведет к сужению сферы политического: *Мартьянов В.* Политика в пределах здравого смысла // Свободная мысль — XXI. 2007. № 10. С. 185—198. В этой работе, однако, на наш взгляд, недостает разграничения между анализом практического смысла в духе Бурдьё — как седиментации, необходимой для функционирования повседневности, — и проблемой распространения технократического управления

С другой стороны, когнитивные логики выполняют функцию барьеров для проникновения «чужих» дискурсов, работающих на основании других исходных посылок. Как следует из вышесказанного, социально-когнитивная структура любого сообщества достаточно консервативна: если логика понятного и логика ожидаемого взаимно обуславливают друг друга, то привычное всегда оказывается предпочтительнее, эффективнее нового: так вырабатывается «каноническая, принудительная форма означаемого»<sup>1</sup>, которая в современном обществе конституирует «истину». В сущности, именно это явление описывает Ю. М. Лотман, говоря, что семиотическая динамика имеет место на периферии культуры, тогда как в центре культурного пространства чаще всего воспроизводится канон<sup>2</sup>. Эти барьеры, однако, никогда не являются абсолютными: как и любые продукты седиментации, они в принципе подвержены дислокации и разрушению под воздействием артикуляционных практик, изменяющих логику понятного, ожидаемого и мыслимого, — причем, по мнению Лотмана, «наиболее “горячими” точками семиобразовательных процессов являются границы семиосферы», поскольку граница «одновременно принадлежит обеим пограничным культурам»<sup>3</sup>. Отметим, что на «взлом» когнитивных логик способны лишь дискурсы более высокого порядка, не просто противоречащие существующему здравому смыслу, а подрывающие их основы путем реактивации лежащих в их основе седиментированных структур. Бесплезно доказывать, что платок есть символ дискриминации, если жен-

в ущерб процессу принятия политических решений. Даже если эти явления имеют одинаковую природу, их все же следовало бы анализировать как проблемы разного уровня.

<sup>1</sup> *Барт Р.* Удовольствие от текста. С. 497. С точки зрения постструктуралистской теории дискурса, пожалуй, лучше было бы сказать «каноническая форма фиксации означающих».

<sup>2</sup> *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 178 и далее.

<sup>3</sup> Там же. С. 183.

щины, к которым обращена эта эмансипаторская практика, воспринимают свое подчиненное положение по отношению к мужчинам не как угнетение, а как естественный порядок вещей<sup>1</sup>: используя лингвистическую терминологию, можно описать подобную ситуацию как попытку установить отношения метонимии между атрибутом и отсутствующим означаемым. Чтобы получить желаемый результат в подобной ситуации, необходимо заронить зерно сомнения в естественном характере доминирующего положения мужчин в обществе (то есть реактивировать, политизировать соответствующие властные структуры) и лишь затем пытаться противопоставить означаемые «равноправие» и «дискриминация».

Следовательно, термин «социальная формация» может применяться для обозначения ограниченного пространства, в котором имеют смысл те или иные артикуляционные практики, лишь применительно к исторически конкретной дискурсивной констелляции, причем его пределы различны применительно к различным вариантам артикуляции. Соответственно, подрыв одной артикуляции со стороны другой чаще всего возможен не путем лобового столкновения («платок есть символ дискриминации»), а лишь на более глубоком уровне («мужчины и женщины равноправны»). С учетом этой оговорки можно заключить, что социальная формация представляет собой пространство взаимной прозрачности дискурсов, которое становится возможным благодаря общности их когнитивных логик (понятного, ожидаемого и мыслимого); при этом степень прозрачности неоднородна и зависит от степени седиментации тех или иных конкретных цепочек означаемых в конкретном социально-историческом контексте.

Таким образом, на практике мы можем выделить бесконечное множество социальных формаций, границы каждой из которых сугубо индивидуальны, и лишь некоторые формации

<sup>1</sup> О различии между подчинением, угнетением и господством см.: *Laclau E., Mouffe C. Op. cit. P. 153—154.*

совпадают с национальными, этническими и прочими культурными границами<sup>1</sup>. Это, с другой стороны, не подразумевает отказа от представлений о границах между различными коллективными общностями, которые являются продуктами гегемонических практик. Термин «**гегемоническая формация**», предлагаемый Лаклау и Муфф в качестве аналога разработанного Грамши понятия исторического блока, отражает представление об артикулированной реляционной целостности, в основе которой лежит антагонизм между внутренним и внешним. Однако для того, чтобы подчеркнуть конституирующий эффект отношений гегемонии, которые всегда опираются на цепочки эквивалентности и на продуцируемое ими противопоставление внутреннего и внешнего, можно предложить вернуться для обозначения этого явления к более привычному термину «**сообщество**». Ценность этого термина состоит в перенесении центра внимания с конституирующей роли властного решения на не менее значимый фактор исключения Иного, где последнее выступает как чистое отрицание. В этом смысле сообщество, как и любая формация, «умеет обозначить себя (то есть конституировать себя как таковое), только путем трансформации пределов в границы, путем установления цепочки эквивалентности, которая конструирует то, что находится за пределами, как то, что *не есть*»<sup>2</sup>: в системе отношений различия любая позитивность может существовать лишь как

<sup>1</sup> Ср. у Лотмана: «Фактически все пространство семиосферы пересечено границами разных уровней, границами отдельных языков и даже текстов...» (Лотман Ю. М. *Внутри мыслящих миров*. С. 185). Вон-Уильямс, опираясь на работы Джорджо Агамбена, предлагает концепцию «генерализованной границы» «как чего-то не фиксированного на внешней кромке государства, но рассеянного и продуцируемого в обществе имманентно и повсеместно»: *Vaughan-Williams N.* Op. cit. Такой подход удачно отражает вездесущность практик отграничивания, однако игнорирует разнохарактерность границ, порождаемых разными по своей природе антагонистическими практиками.

<sup>2</sup> *Laclau E., Mouffe C.* Op. cit. P. 143—144. — Курсив в оригинале.

еще одно различие, поэтому конструирование границ возможно только в отношении чистого отрицания. В более поздней работе Эрнесто Лаклау раскрывает понятие границы в постструктурализме следующим образом:

...Если мы говорим о пределах *системы сигнификации*, что эти пределы не могут сами быть означены, но должны *показать* себя как *разрыв* или *распад* процесса сигнификации... Подлинные границы не могут быть нейтральными пределами, но предполагают исключение. Нейтральная граница представляла бы, в сущности, единое целое с тем, что находится по обе ее стороны, и эти две стороны были бы просто различными по отношению друг к другу. Поскольку, однако, целостная система сигнификации как раз и является системой различий, это означает, что обе стороны принадлежат к одной и той же системе и что граница между ними не является границей системы. В случае исключения, напротив, мы имеем дело с подлинными пределами, потому что актуализация того, что находится по ту сторону исключającego предела, привела бы к невозможности того, что находится по эту сторону границы. Истинные границы всегда антагонистичны<sup>1</sup>.

Тезис об антагонистическом характере социальных границ позволяет операционализировать еще один важный момент их функционирования: сообщество выступает фокусом *практик идентификации*. Этот аспект менее очевиден при использовании термина «гегемоническая формация», однако именно он позволяет оперировать понятиями «национальная идентичность» и «нация», одновременно подчеркивая нестабильный, неопределенный характер границ сообщества. Фактически понятие сообщества отражает неполный, незамкнутый характер любой коллективной идентичности: идентичность можно

<sup>1</sup> *Laclau E. Emancipation(s). P. 37.*

представить как точку, к которой было бы редуцировано сообщество в случае, если бы идентификационные практики оказались полностью успешными, между всеми частями целого установились бы отношения эквивалентности и коллектив превратился бы в единый организм, в чистое бытие, конституирующее себя через чистое отрицание. Поскольку, однако, любая идентичность неизбежно дислоцирована, это бытие не может быть полностью реализовано, а, напротив, опирается на нестабильный компромисс между отношениями различия и эквивалентности: существование любых идентичностей *внутри* сообщества возможно лишь в случае, когда между ними установлены отношения различия, и в то же время, принадлежа *к одному* сообществу, они находятся между собой в отношениях эквивалентности<sup>1</sup>.

Следствием антагонистической природы социальных границ оказывается то, что репрезентация сообщества как такового оказывается невозможной в рамках обычного процесса сигнификации:

Каждое означающее составляет знак путем сопоставления с конкретным означаемым, вписывая себя как одно из различий в рамках процесса сигнификации. Если, однако, мы пытаемся означить не различие, а, напротив, радикальное исключение, составляющее основу и условие всех различий, — в этом случае генерация *еще одного* различия не достигает результата. Поскольку, однако, все средства репрезентации по природе дифференциальны, такая сигнификация становится возможной только при условии подрыва дифференциальной природы означающих элементов, только если означающие освобождаются от сопоставления с конкретными означаемыми и берут на себя роль репрезентации чистого бытия системы — или, скорее, системы как чистого Бытия<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ibid. P. 38.

<sup>2</sup> Ibid. P. 39.

Так происходит генерация пустых означающих, означающих без означаемого, — процесс, который предполагает подчеркивание отношений эквивалентности между конкретным означающим и всеми остальными идентичностями внутри системы и приводит к почти полной утрате дифференциального измерения данного означающего, к отрыву его от любых частных означаемых.

Как отмечает Джени Эдкинс, такая трактовка феномена границы в постструктурализме имеет более ранние прецеденты: так, еще Эмиль Дюркгейм пытался определить границы социального, исследуя различные «девиантные» явления (преступление, суицид и т. д.). Наследие Мишеля Фуко играет здесь еще более важную роль, поскольку он впервые эксплицитно обращает внимание на исторически обусловленный характер границ между нормой и девиацией, а также на роль практик отграничения в конституировании субъекта.<sup>1</sup> Однако сочетание неомарксизма и лакановского психоанализа в работах Лаклау и Жижека оказывается в данном отношении наиболее продуктивным, поскольку позволяет рассуждать о конструировании границ и производстве пустых означающих применительно к любому сообществу. Разумеется, не любое означающее способно превратиться в пустое и взять на себя репрезентацию системы в целом, «отсутствующей коммуни-тарной полноты»<sup>2</sup>, однако установить, какое частное различие может получить эту роль, на абстрактном уровне невозможно. Вопрос репрезентации социального целого был центральным для марксистской теории с момента ее появления: сущность Марксовой критики капиталистического и любого другого классового общества состояла в том, что его политические структуры представляют лишь привилегированные классы и тем самым служат инструментом угнетения. Маркс видел в пролетарской диктатуре средство «примирения общества со

<sup>1</sup> *Edkins J.* Op. cit. P. 71.

<sup>2</sup> *Laclau E.* Emancipation(s). P. 43.



своей собственной сущностью *напрямую*<sup>1</sup>, поскольку, с его точки зрения, у пролетариата нет своей собственной идентичности, узких классовых интересов — его интересы совпадают с универсальными. Понятие гегемонии у Грамши, напротив, предполагает, что универсальная роль пролетариата изначально «контаминирована партикулярностью» — эта универсальность достигается лишь путем «преходящей идентификации с интересами определенного социального сектора — то есть эта универсальность *случайна* и в силу своего конституирования нуждается в политическом посредничестве и в отношениях репрезентации»<sup>2</sup>. Постструктуралистская теория гегемонии принимает этот тезис Грамши, однако в некотором смысле возвращает его к Марксу: поскольку у общества нет и не может быть раз и навсегда заданной сущности, нельзя априорно приписывать освободительную роль пролетариату или любому другому социальному классу, любой другой партикулярной идентичности. А *propter* универсалии пусты, а их наполнение всегда исторически конкретно.

Лаклау приводит максимально абстрактный пример, который, однако, как нельзя лучше вписывается в российский контекст: в ситуации тотальной дезорганизации общества, близкой к Гоббсову естественному состоянию, главная потребность людей состоит в установлении порядка, причем конкретная форма этого порядка имеет второстепенное значение. «Порядок» становится пустым означающим, это слово означает лишь отсутствие, лауну. Но «порядка вообще» не существует, любой конкретный социальный порядок представляет собой частный случай абстрактного порядка, воплощающий частные цели одной из групп, которой удалось установить гегемонию, выс-

<sup>1</sup> *Laclau E. Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics // Butler J, Laclau E, Žižek S. Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. London; New York: Verso, 2000. P. 51. — Курсив в оригинале.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 51. — Курсив в оригинале.*

тупив в качестве представителя абстрактной идеи порядка<sup>1</sup>. При этом важно отметить, что установление гегемонии — операция антагонистическая, она неизбежно приводит к исключению тех идентичностей, которые противоречат данному частному варианту порядка, к вытеснению их за пределы сообщества, установлению отношений эквивалентности между ними и внешним миром анархии и чистой угрозы. Общество как целое может быть представлено многими другими пустыми означающими («демократия», «единство», «великая держава»); любая из его репрезентаций неизбежно носит частный и случайный характер, однако в каждый исторический момент существует ограниченное число подобных репрезентаций. Генерирование пустых означающих и установление отношений эквивалентности между этими означающими и той или иной частной идентичностью в силовом поле конституирующего антагонизма как раз и составляет сущность операции гегемонии.

Один из важнейших вопросов, который носит не только теоретический, но и этический характер, состоит в отношении понятий неомарксистского понятия антагонизма и идеи врага в философии Карла Шмитта. В «Понятии политического» и других работах Шмитт доказывал, что существование политических сообществ невозможно без различения между другом и врагом, которое является неперменным условием возможности суверенитета и границ сообщества. Это противопоставление было полемически направлено против либеральной идеологии с ее затушевыванием различий и стремлением к консенсусу. Снятие этой полемической остроты невозможно через утверждение, что Иное, необходимое для любой идентичности, не обязательно должно быть враждебным: без политического решения об отделении внутреннего от внешнего, без чистого отрицания любая идентичность остается различием в системе различий. Конституирование сообщества как си-

<sup>1</sup> *Laclau E. Emancipation(s)*. P. 44.

стемы сигнификации, согласно Лаклау, возможно только в том случае, если «то, что находится за исключаяющим пределом, редуцируется до полной негативности — то есть до чистой угрозы, которую то, что за пределами, представляет для системы (тем самым конституируя последнюю)»<sup>1</sup>. Более того, поскольку антагонизм является неустранимой — и даже определяющей — характеристикой политического, стремление современного либерализма представить политику как процесс переговоров, направленный на достижение рационального консенсуса между интересами, приводит к тому, что, когда антагонизм проявляет себя в социальной реальности, он интерпретируется как проявление иррационального<sup>2</sup> и, следовательно, в каком-то смысле внечеловеческого. Такая дегуманизация противника несет в себе угрозу отказа от применения к нему каких бы то ни было правовых норм, перехода к войне без правил. Предупреждение Карла Шмитта об опасности любого универсализма актуально и сегодня:

У человечества как такового и как целого нет врагов. К человечеству принадлежит каждый... «Человечество» таким образом превращается в асимметричное антипонятие. Если некто вводит различие внутри человечества и тем самым отрицает свойство человечности нарушителю или разрушителю, то негативно оцененное лицо становится нелицом, и его жизнь более не имеет высшей ценности: он становится никчемным и должен быть уничтожен. Такие понятия, как «человек», таким образом, содержат в себе возможность глубочайшего неравенства и становятся тем самым «асимметричными»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ibid. P. 38.

<sup>2</sup> См.: *Mouffe C. Introduction // The Challenge of Carl Schmitt / Ed. by C. Mouffe. London: Verso, 1999. P. 3.*

<sup>3</sup> *Schmitt C. The Legal World Revolution // Telos. 1987. No. 72. P. 88.* См. также: *Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 45, 54—56 и др.*

Определение политического через различие между другом и врагом, которое означает признание возможности войны против того, кто угрожает принятому в сообществе образу жизни (т. е. его идентичности), оказывается, довольно трудно преодолеть. Артемий Магун, например, считает, что описание любого антагонизма в категориях дружбы и вражды

...необязательно и логически избыточно. Действительно, кто сказал, что политическая граница должна пролегать именно между другом и врагом, т. е. между симметричными и аналогичными по сути инстанциями? Прежде этой явной границы возникает граница неявная, например, между другом и недругом. Недруг необязательно должен быть врагом — не потому, что он сознательно соблюдает нейтралитет, а потому, что он может не иметь антропоморфного облика, может не признаваться как равный агент...<sup>1</sup>

Шмитт, однако, настаивает на том, что только отношения вражды являются крайней мерой политического, и, хотя он признает возможность наличия «второстепенных» политических пространств, политическое сообщество, с его точки зрения, определяется только обладанием *jus belli*, правом определять врага и, при необходимости, объявлять ему войну<sup>2</sup>. Шмитт также снимает проблему возможной асимметрии между политическим сообществом и его антиподом, утверждая, что носителями любых политических идей выступают люди. Поэтому даже в предельном случае основания политической идентичности на отказе от войны антагонизм в его крайней форме не может быть устранен, потому что «если бы вражда пацифистов против войны стала столь сильна, что смогла бы увлечь их в войну против непацифистов, в некую “войну против войны”, то

<sup>1</sup> Магун А. В. Новый строй Земли. Карл Шмитт как диагност современного кризиса в мировой политике // Полис. 2003. № 2. С. 114.

<sup>2</sup> Шмитт К. Указ. соч. С. 49—51.

тем самым было бы доказано, что она имеет действительно политическую силу, ибо крепка настолько, чтобы группировать людей как друзей и врагов»<sup>1</sup>.

Шанталь Муфф предлагает противопоставить Шмиттовой категории врага понятие противника как «легитимного врага»: позиции противников, несмотря на наличие конфликта, имеют «общее основание» в виде «приверженности этико-политическим принципам либеральной демократии»<sup>2</sup>. Такая постановка вопроса, однако, не снимает проблемы вражды в интерпретации Шмитта, поскольку и в этом случае непонятно, как быть с противником, который отрицает это общее основание, тем самым «добровольно» принимая на себя роль врага (или даже навязывая нам себя в этом качестве) и тем самым ставя себя вне либерально-демократического консенсуса. Должно ли сообщество сплотиться, отбросив внутренние разногласия перед лицом внешней угрозы? И не приведет ли такое подавление внутренних конфликтов в конечном итоге к самоотрицанию, к отказу от тех самых либерально-демократических ценностей, защита которых была причиной нашей конфронтации с врагом?

Чтобы точнее обозначить нашу собственную позицию по этому вопросу, прежде всего подчеркнем различие между Шмиттовой категорией политического и пониманием политического в постструктурализме. Политическое единство, пишет Шмитт, «если оно вообще наличествует, есть главенствующее и “суверенное” единство, в том смысле, что по самому понятию именно ему всегда необходимо должно принадлежать решение относительно главенствующего случая, даже если это — случай исключительный»<sup>3</sup>. Политическое, таким образом, находит свое высшее выражение в суверенитете, который представляет собой верховное право определять врага и решать — по меньшей мере эвентуально — вопрос о начале войны про-

<sup>1</sup> Там же. С. 44.

<sup>2</sup> *Mouffe C.* Introduction. P. 4.

<sup>3</sup> *Шмитт К.* Указ. соч. С. 46.

тив него. Постструктурализм не отрицает в принципе антагонистического характера политики (как минимум, здесь возможны различные точки зрения, одинаково совместимые с постструктуралистской парадигмой), но смещает акцент в определении политического: согласно этой точке зрения, оно проявляет себя всякий раз, когда принимается конституирующее решение в условиях радикальной неопределенности, причем экзистенциальный статус, «масштаб» такого решения не имеет определяющего значения. Политическое есть сфера неразрешимости — того самого опыта, через который, согласно Деррида, проходит нечто «гетерогенное, чуждое исчислимому, правильному порядку», но тем не менее «обязанное... капитулировать перед невозможным решением», политическое — это «момент неизвестности», в который решение еще не принято.<sup>1</sup>

Если принять эту существенную поправку, становится более очевидной главная слабость концепции Шмитта: он исходит из существования государства как эмпирической данности, как естественной формы существования политического. Допуская существование политических противоречий внутри государства, он тем не менее придает противоречию между народом, объединившимся в государство, и его внешним врагом статус главенствующего противоречия, описывает его как идеальную форму антагонизма:

Если по противоположности пролетариев и буржуа удастся разделить на группы друзей и врагов все человечество в государствах пролетариев и государствах капиталистов, а все иные деления на группы друзей и врагов тут исчезнут, то явит себя вся та реальность политического, какую обретают все эти первоначально якобы «чисто» экономические понятия<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Derrida J. Force of Law: The «Mystical Foundation of Authority» // Deconstruction and the Possibility of Justice / Ed. by D. G. Carlson, D. Cornell, M. Rosenfeld. New York: Routledge, 1992. P. 24.*

<sup>2</sup> *Шмитт К. Указ. соч. С. 45.*

Постструктуралистская теория, напротив, стремится продемонстрировать исторически конкретный характер существования любых политических общностей, в том числе наций и государств. Как пишет Ш. Муфф, «демократическая политика — это не та, при которой окончательно установившийся народ осуществляет свое правление. Момент правления неразрывно связан с самой борьбой за определение народа, за установление его идентичности»<sup>1</sup>. Это конституирование осуществляется через практики представительства, которые являются единственными и необходимыми условием и формой существования политического субъекта. Вот как пишет об этом Брайан Зайтц:

...Практики представительства не просто замещают, как функциональные и сами по себе в основе нейтральные инструменты, уже существующий или органический политический субъект, который формации представительства стремятся более или менее точно отразить. Или, выражаясь иначе и более последовательно, в сфере политической реальности не существует онтологически предшествующего, трансцендентального означаемого, некоего стабильного, самоидентичного референта, служащего гарантией этой реальности. Скорее, как созидательные организационные формы материальной реальности, и в соединении с другими социальными силами, практики и дискурсы представительства конституируют тот самый политический субъект, на представительство которого они претендуют... Механизмы представительства, таким образом, в той же степени продуктивны, сколь и рефлексивны<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Муфф Ш.* Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии // Логос. 2004. № 6. С. 152—153.

<sup>2</sup> *Seitz B.* Democracy, Representation, and Sovereignty in the 21st Century // *Market Democracy in Post-Communist Russia* / Ed. by M. L. Bruner, V. Morozov. Leeds: Wisdom House, 2005. P. 287.

В силу конституирующего значения практик представительства всеобщее единство народа не может быть дано как таковое, поскольку «общество состоит только из частных (particularities), и в этом смысле любая всеобщность должна быть воплощена в нечто с нею крайне несоизмеримое»<sup>1</sup>, представлена через частные политические идентичности, борющиеся друг с другом за право представлять это единство. Но если эти идентичности конкурируют между собой, они, следовательно, антагонизируют друг друга — этот антагонизм может быть фронтальным или ограничиваться отдельными элементами, «субидентичностями». Строго говоря, однако, в последнем случае сначала устанавливаются отношения различия между отдельными элементами противостоящей идентичности, она как бы разрезается на две отдельных идентичности или группы идентичностей, и получившаяся в результате такой операции дружественная идентичность включается в пределы сообщества, а враждебная остается вовне и выполняет функцию конституирующего иного<sup>2</sup>. Это, в свою очередь, означает, что конституирующее иное не может быть полностью внешним по отношению к сообществу: оно необходимо включает элементы внутреннего мира, которым при максимальной интенсификации антагонизма может приписываться внешняя идентичность (образ «пятой колонны»), однако полностью изгнать их за пределы сообщества все равно не удастся.

Возможность раскола, таким образом, всегда заложена в любой гегемонической практике постольку, поскольку мы имеем дело с гегемонией, а не с абсолютной седиментацией тоталитарного режима, подавившего все альтернативы. Шмитт прекрасно осознает эту возможность и обеспокоен ею:

<sup>1</sup> *Laclau E. Identity and Hegemony. P. 80—81.*

<sup>2</sup> Характернейшим примером этой операции является разделение Европы на «истинную» и «ложную» в российском дискурсе, который мы подробно анализируем в следующих главах.



Покуда народ существует в сфере политического, он должен — хотя бы и только в крайнем случае... — самостоятельно определять различие друга и врага. В этом состоит существо его политической экзистенции. Если у него больше нет способности или воли к этому различению, он прекращает политически существовать...

Если часть народа объявляет, что у нее врагов больше нет, то тем самым, в силу положения дел, она ставит себя на сторону врагов и помогает им, но различие друга и врага тем самым отнюдь не устранено. Если граждане некоего государства заявляют, что лично у них врагов нет, то это не имеет отношения к вопросу, ибо у частного человека нет политических врагов; такими заявлениями он в лучшем случае может хотеть сказать, что он желал бы выйти из той политической совокупности, к которой он принадлежит по своему тут-бытию, и отныне жить лишь как частное лицо<sup>1</sup>.

Таким образом, как еще в 1932 году отмечал в своих комментариях к «Понятию политического» Лео Штраусс, работа Шмитта имеет неустранимое нормативное содержание<sup>2</sup>. Шмитт, во-первых, доказывает необходимость существования политического и, во-вторых, с подозрением относится к политическому плюрализму внутри политического сообщества как потенциально разрушительному для народного единства. Важно отметить, однако, что нормативный пафос Шмитта подразумевает не только политическую возможность распада государства и, следовательно, случайный, исторически обусловленный характер единства политического сообщества<sup>3</sup>, но и реаль-

<sup>1</sup> *Schmitt K* Указ. соч. С. 52—53.

<sup>2</sup> *Strauss L. Notes on Carl Schmitt, The Concept of the Political // Schmitt C. The Concept of the Political. Chicago; London: University of Chicago Press, 1996. P. 81—107.*

<sup>3</sup> *Муфф Ш. Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии. С. 151—152. Ср. далее, § 3.2 настоящей работы.*

ность альтернативных идентичностей: артикуляционные практики, подрывающие стабильность гегемонической артикуляции и могущие привести к распаду государства, могут восприниматься всерьез только в том случае, если они представляют реальные политические позиции, укорененные в социальной действительности, а не химеры, возникающие в результате мисперцепции или злой воли, идущей вразрез с исторической необходимостью. Как ни парадоксально, все это, вместе взятое, означает, что единственной гарантией против раскола, против шмиттовского призрака гражданской войны, является множественность альтернативных артикуляционных практик, то есть политический плюрализм. Частные идентичности, которые одна артикуляционная практика стремится исключить как внешние, другая будет определять как внутренние и даже, возможно, центральные для универсальной идентичности сообщества. Только в условиях такой конкурентной борьбы за гегемонию общество может существовать как единое целое всех своих составных частей. Нельзя не согласиться с Игорем Пантиным, когда он пишет о ситуации в современной России: «Как бы странно это ни звучало, но затушевывание различий, смазывание собственного своеобразия, стремление создать “надфракционную” платформу отодвигают возможность согласия, ибо в стране, фрагментированной политически и культурно, согласие возможно лишь как согласие различных»<sup>1</sup>. Однако этот тезис, как очевидно из вышесказанного, требует одной существенной оговорки: любое общество представляет собой баланс между тоталитарной гомогенизацией и анархической фрагментацией, поэтому необходимость «согласия различных» вовсе не является уникальной для России.

Решающее значение здесь приобретает предлагаемое Лаклау и Муфф различие между **популистской** и **демократической политикой**. Для понимания этого различия необхо-

<sup>1</sup> *Пантин И. К.* В чем же заключается выбор россиян? // Полис. 2003. № 6. С. 160.

димо в первую очередь подчеркнуть, что оно исходит из понятия общества, или социальной формации, как эмпирической данности: даже если существование общества как непроблематичного самотождественного наличия невозможно, эмпирически в большинстве случаев существует гегемоническая артикуляция, пытающаяся учредить эту невозможную реальность, задавая границы внутреннего и внешнего. Именно исходя из такой эмпирической данности, мы можем сказать, что демократическое политическое пространство возникает как *различие внутри эмпирической реальности общества*. Демократический антагонизм зарождается в пределах относительно автономных, ограниченных полей: так, феминистское движение борется против дискриминационных практик и их носителей как таковых, но если (как это случается) оно идет по пути ложной универсализации антагонизма и противопоставляет себя мужчинам как биологическому объекту, абсурдность такого противопоставления обрекает движение на провал. Напротив, «популистское политическое пространство появляется в тех ситуациях, когда посредством цепочки демократически конституируемых эквивалентностей политическая логика *тяготеет* к стиранию различий между политическим пространством и обществом как эмпирическим референтом»<sup>1</sup>. Это имеет место либо в условиях крайней поляризации общества, либо не менее радикального противостояния между обществом и окружающим миром: в первом случае имеет место фронтальное противостояние между «антинародным режимом» и «экстремистами» или «террористами», во втором же противник характеризуется, например, как «враг нации» или даже всего «цивилизованного человечества». В случае подобных антагонизмов особенно важным становится вопрос о границах между сообществами — границах, которые, собственно, конструируют антагонистические идентичности. На теоретическом уровне очевидно, что эти границы не могут быть стабильны-

<sup>1</sup> Laclau E., Mouffe C. Op. cit. P. 133.

ми и однозначно определенными<sup>1</sup>; в свою очередь, эмпирическое исследование этих границ в их подвижности представляет собой важнейшую и интереснейшую задачу.

Именно эмпирически данные границы сообщества определяют характер того или иного антагонизма. Иначе его можно определить через отношение антагонизации и гегемонии: популистский антагонизм подкрепляет существующую гегемоническую формацию, поскольку устанавливаемые ими отношения различия и эквивалентности в конечном итоге складываются в единый узор, усиливая внутреннюю логику эквивалентности. Демократический антагонизм, напротив, внедряет различие там, где гегемоническая артикуляция *уже установила* отношения эквивалентности, и наоборот. Вследствие этого популистское политическое пространство совпадает с пространством уже учрежденного, седиментированного сообщества (например, с национальным пространством), а значит, популистская политика несет в себе одновременно угрозу тоталитаризма, то есть замыкания сообщества, подавления или вытеснения альтернатив и, как только что показано, угрозу раскола<sup>2</sup>. Характерным примером популистского антагонизма может служить описание оппозиционных движений как «пятой колонны», идейные и финансовые ресурсы которой находятся за рубежом: тем самым внутренние идентичности, бросающие вызов существующему порядку, вытесняются во внешний мир, становятся частью анархической международной среды, из которой исходят угрозы внутреннему, упорядоченному пространству сообщества. Тем самым достигается более высокая степень однородности внутриполитического пространства.

В свою очередь, демократические антагонизмы, формирующие политическое пространство, отличное от пространства сообщества, являются не только формой существования, но и гарантией выживания либеральной демократии. При этом

<sup>1</sup> Laclau E, Mouffe C. Op. cit. P. 134.

<sup>2</sup> Ср.: Ibid. P. 132—133.

важно отметить, что демократическое политическое пространство может быть не только меньше политического пространства сообщества, но и намного больше его: так, одно из широчайших демократических политических пространств современности создается конфликтом между сторонниками неолиберального и демократического сценариев глобализации. Более того, анализ условий возможности примирения либерализма и демократии (возможность, которую наотрез отказывается принимать Шмитт) позволяет заключить, что наиболее продуктивными оказываются антагонизмы, формирующие политические пространства, границы которых пересекают границы сообществ, не совпадая с ними. Таково, например, политическое пространство международной классовой борьбы, как оно виделось основоположникам марксистской теории. Возникновение демократических политических пространств способствует распространению новых идентичностей и трансформации имеющихся: так, классовая солидарность создает альтернативу национальной, объединение «пролетариев всех стран» дислоцирует национальные сообщества. Дислокация, однако, необязательно должна вести к расколу: многое здесь зависит от характера демократического антагонизма и от того, какие идентичности подвергаются исключению, превращаясь для данной артикуляции в конституирующее иное. Например, идентичность Европейских сообществ изначально формировалась на основе отрицания исторического иного в образе бесконечных войн между европейскими национальными государствами<sup>1</sup>, поэтому она не привела к вытеснению национальных идентичностей и формированию супергосударства.

<sup>1</sup> *Wæver O. European Security Identities // Journal of Common Market Studies. Vol. 34. 1996. No. 1. P. 121—125.* Как показывают недавние исследования, к началу XXI века ЕС переопределил себя в более стандартных для Нового времени координатах, перейдя от негации собственного прошлого к пространственно ориентированному дискурсу безопасности: *Diez T. Europe's Others and the Return of Geopolitics // Cambridge*

Использование термина «сообщество» (а не «общество» или «нация») является здесь принципиальным моментом, поскольку популистский антагонизм вполне может действовать на субнациональном или наднациональном уровне, приводя к расколу наций или формированию коалиций — т. е. к формированию сепаратистских или наднациональных сообществ на основе противостояния общему внешнему врагу. Это соображение, однако, показывает также, что крайне сложно выработать конкретные критерии для априорной классификации антагонизмов как демократических или популистских. Единственным критерием здесь может служить эмпирически устанавливаемый факт распространения логики эквивалентности и вытеснения неснимаемых конфликтов за пределы сообщества — существующего или конструируемого. Большую роль здесь играет характер конституирующего иного, отрицание которого становится основой для учреждения сообщества. Так, выбор нацистского прошлого в качестве конституирующего иного в Германии после Второй мировой войны оказался чрезвычайно продуктивным для расширения сферы демократического политического пространства, тогда как выбор терроризма в качестве главного противника для вновь формируемого сообщества «цивилизованных стран» имеет тенденцию приводить к расширению сферы действия логики эквивалентности и к вытеснению других конфликтов за пределы сообщества. Однако логика эквивалентности работает в любом политическом сообществе: гегемоническая артикуляция в любом случае стремится к тому, чтобы представить альтернативные артикуляционные практики как внешние по отношению к сообществу, подрывающие общественный консенсус, нарушающие органическое единство, поэтому принципиальным моментом является само по себе наличие альтернативных антагонизмов, сверхдетерми-

Review of International Affairs. Vol. 17. 2004. No. 2. P. 319—335; *Joenniemi P.* Towards a European Union of Post-Security? // *Cooperation and Conflict*. Vol. 42. 2007. No. 1. P. 127—148.

нирующих политическое пространство, предлагающих альтернативные варианты конституирующего иного и бросающих вызов монопольному статусу гегемонической артикуляции.

Вместе с тем демократические артикуляционные практики, как и всякие другие, в случае тотального успеха становятся своим собственным отрицанием, приводя к седиментации формируемых ими политических пространств и, соответственно, превращаясь из демократических в популистские. Так, движение за права этнических меньшинств может превратиться в радикальный сепаратистский национализм, вследствие чего борьба за эмансипацию может смениться угнетением представителей большинства, проживающих на территории, которую меньшинство считает своей (современная ситуация в Косово, судя по всему, развивается по такому сценарию). Классовая борьба может привести к возникновению государства, которое, приняв классовую идеологию в качестве национальной, может под лозунгом диктатуры пролетариата превратиться в самый что ни на есть тоталитарный и даже ксенофобский режим (пример позднесталинского СССР). Иначе говоря, демократический или популистский характер не есть свойство, имманентное тому или иному антагонизму: любая антагонистическая артикуляция способна продуцировать как демократические, так и популистские политические пространства и оценить результаты ее функционирования возможно лишь в конкретной исторической ситуации. Как мы попытаемся показать в четвертой главе нашей работы, современное противостояние между «демократией» и «недемократией» (авторитаризмом, фундаментализмом, терроризмом и т. п.) постольку, поскольку оно вообще является политическим антагонизмом, также имеет все признаки популистской гегемонической артикуляции — иначе говоря, политика «распространения демократии» совсем обязательно работает как демократическая политика. Фундаментальное, но всегда исторически конкретное и случайное, отличие демократической политики от популистской состоит в том, что, говоря словами Артемия Магуна, первая предпола-

гает выбор в пользу «идентификации с событием»<sup>1</sup> — событием живым и актуальным, в отличие от изжитого, седиментированного события, которое предстает сегодня в виде органического единства нации, формальной, ориентированной в прошлое классовой идентичности или любых других социальных данностей. Но то, что живо сегодня, завтра рискует превратиться в монумент, тяжеловесно утверждающий новую гегемонию перед лицом новых демократических открытий. Поэтому подлинно демократическая политика — это политика без горизонта, без заранее заданного предела, политика, в которой стабильна только форма (критика угнетения), а содержание меняется с каждой новой эпохой<sup>2</sup>.

Если на новой основе вернуться теперь к вопросу о возможности национального (в нашем случае — российского) дискурса как предмета исследования, мы можем констатировать, что к сфере наших интересов принадлежат антагонистические артикуляционные практики, фиксирующие идентичность России как сообщества путем генерации пустых означающих (сигнифицирующих само внутреннее единство сообщества как таковое) и исключения конституирующего иного (как отрицающего внутреннюю целостность). Тем самым через антагонизм и исключение определяются границы политического сообщества. Поскольку любая идентичность дислоцирована, то в обществе постоянно происходит борьба между различными вариантами фиксации реляционной целостности смыслов вокруг различных наборов пустых означающих. Не исключено, что некоторые артикуляции совпадают в отдельных своих существенных элементах, однако главным остается вопрос о характере границ и, следовательно, об отношении исключения, тотальной негации. С этой точки зрения элементы, совпадающие на поверхности, могут кардинально различаться по

<sup>1</sup> *Магун А.* Опыт и понятие революции // Новое литературное обозрение. 2003. № 64. С. 78.

<sup>2</sup> Ср.: *Laclau E.* Power and Representation. P. 292—294.



своей политической сути: так, утверждение «Россия — великая держава» может строиться на отрицании Запада или отсталости, варварства, и артикуляция границ сообщества будет в этих двух случаях существенно различаться. Можно было бы также добавить, что субъектные позиции, с которых осуществляются эти практики, находятся в пределах сообщества, однако это дополнение, в сущности, было бы тавтологией. Сообщество невозможно конструировать, находясь вне его, поскольку «внешнее» по определению является сферой чистого отрицания. Для тех, кто говорит и пишет о России с «внешних» позиций, Россия является не сообществом в становлении, не проектом, а данностью, одним из означающих в реляционной системе различий.

### § 1.7. Проблематика идентичности в международных исследованиях

Обрисовав принятую в данном исследовании точку зрения на социальное значение и механизмы формирования политических границ, мы можем теперь приступить к анализу понятия идентичности — такой порядок изложения обусловлен тем, что, согласно принятой нами теоретической позиции, идентичность сообщества кардинальным образом зависит от его границ. Термину «идентичность», видимо, суждено закрепиться в русском научном языке несмотря на то, что некоторые авторы все еще ощущают при его использовании дискомфорт. В самом деле, первоначально это существительное в русском языке было соположено прилагательному «идентичный» и, соответственно, требовало обязательного дополнения в творительном падеже («идентичность *чему?*»). Иногда предлагают в качестве более корректной альтернативы слово «самоидентичность» (и не только в русском языке<sup>1</sup>), однако совре-

<sup>1</sup> См., например: *Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991.*

менное употребление термина едва ли может быть ограничено значением «идентичность самому себе». В современной науке все большее признание получает постструктуралистский тезис о реляционной природе любой идентичности и невозможности окончательной фиксации цепочек сигнификации. Если любое «Я» становится возможным лишь как продукт неоднозначного, сверхдетерминированного отношения к нескольким Другим, ни одно «Я» — именно в силу избыточности смысловых отношений — не может быть идентично самому себе. Иными словами, как ни парадоксально это звучит, ни одна социально конституированная идентичность не является самоидентичной<sup>1</sup>. Вероятно, необходимо согласиться с тем, что слово «идентичность» имеет два значения — одно общеупотребительное, а второе научное.

В последние годы тема идентичности стала столь популярной среди ученых-международников, что, по мнению Роксан Доути, можно уже говорить о складывании отдельного направления в науке о международных отношениях<sup>2</sup>. Сказанное, однако, не означает, что среди исследователей существует хотя бы подобие согласия относительно значения данного термина и возможностей его операционализации при описании социальных явлений и процессов. Напротив, здесь возникают столь ожесточенные споры, что идентичность с полным правом можно признать одним из понятий, определяющих структуру дисциплинарного поля современных международных исследований.

Когда в 1950-е годы вопрос о государственной идентичности впервые появился в исследовательской программе ученых-международников, он сводился к проблеме «национального характера». Такая постановка вопроса, к сожалению, все еще

<sup>1</sup> Ср.: *Derrida J.* The Other Heading: Reflections on Today's Europe. Bloomington: Indiana University Press, 1992. P. 9—10.

<sup>2</sup> *Doty R. L.* *Maladies of Our Souls: Identity and Voice in the Writing of Academic International Relations* // Cambridge Review of International Affairs. Vol. 17. 2004. No. 2. P. 377—392.

встречается в литературе, особенно в российской<sup>1</sup>, и в конечном итоге неизбежно приводит к патетическим заявлениям о моральном превосходстве России над всем остальным миром в силу особых черт русского характера<sup>2</sup> или, наоборот, о существовании «ценностного разрыва» между Россией и Западом<sup>3</sup>, который потенциально может быть истолкован как свидетельство фундаментальной несовместимости между двумя «цивилизациями». Эссенциалистская интерпретация идентичности в отечественной литературе, в сущности, восходит к сталинскому определению нации как «исторически сложившейся устойчивой общности людей, возникшей на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры»<sup>4</sup>. Современная наука, однако, все более уверенно отказывается от подобного подхода как эссенциалистского и потенциально ведущего к расизму<sup>5</sup>. Установить причинно-следственную связь между «национальным характером» и особенностями внешней политики государства можно лишь при условии, что «национальный характер» гипостазируется, то есть понимается либо метафизически, как проявление недоступного познанию «национального духа», либо биологически, как совокупность наследственных психологических особенностей, свойственных всем «нормаль-

<sup>1</sup> См., например: *Дмитриева Т. Б.* Русский характер и политика // *Международная жизнь*. 2001. № 9—10. С. 35—42.

<sup>2</sup> *Золотарев П. С.* Холодный душ в звездную полосочку // *Независимая газета*. 2002. 22 марта.

<sup>3</sup> *White S., Light M., McAlister I.* Russia and the West: Is There a Values Gap? // *International Politics*. 2005. Vol. 42. No. 3. P. 314—333.

<sup>4</sup> *Сталин И. В.* Марксизм и национальный вопрос // *Сталин И. В.* Сочинения. М.: ОГИЗ, 1946. Т. 2. С. 296. Ср.: *Нация* // *Большая советская энциклопедия*. М.: Советская энциклопедия, 1975. Т. 17. С. 375.

<sup>5</sup> О последствиях господства примордиализма и позитивизма в отечественном академическом и политическом дискурсе по вопросам «национальной политики» см., например: *Малахов В. С.* Настоящее и будущее «национальной политики» в России // *Прогнозис*. 2006. № 3. С. 144—159.

ным» членам данной нации. В обоих случаях мы имеем дело с возникновением иерархии сущностей: «национальный характер» получает онтологический приоритет, статус реальности, существующей прежде всякой практики. Таким образом он превращается в универсальное объяснение, которое само по себе избегает критического осмысления — не случайно ссылками на «национальный характер» обычно латают дыры в рационалистских моделях, претендующих на универсальность. В современной науке все большее распространение получают теории идентичности, изначально строящиеся на отказе от приписывания человеческим коллективам имманентных психологических, культурных или иных качеств и вместо этого ставят во главу угла изучение формирования представлений группы о самой себе и о своем отношении к внешнему миру. Любое сообщество конституируется через определение своих внешних границ, которое одновременно создает общность между членами группы.

Говоря о теориях идентичности применительно к науке о международных отношениях, неизбежно приходится начинать с «Социальной теории международной политики» Александра Вендта<sup>1</sup>, опубликованной в 1999 году. Эта книга оказала столь глубокое влияние на дисциплину, что по этому показателю с ней едва ли сравнится хотя бы один труд, изданный за последние четверть века. Американский ученый ставит перед собой весьма масштабные задачи: с одной стороны, он заявляет о стремлении критически усовершенствовать системный реализм Кеннета Уолца<sup>2</sup> — то есть, по существу, претендует на то, что по его книге будет учиться следующее поколение студентов<sup>3</sup> (как едко заметил Фридрих Кратохвил, Вендт пыта-

<sup>1</sup> *Wendt A. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.*

<sup>2</sup> *Waltz K.N. Op. cit.*

<sup>3</sup> См.: *Alker H.R. On Learning from Wendt // Review of International Studies. Vol. 26. 2000. No. 1. P. 141.*

ется создать «новую ортодоксию»<sup>1</sup>). С другой стороны, Вендт разделяет типичное для многих представителей умеренного конструктивизма убеждение, что именно эта школа способна «занять нейтральную территорию»<sup>2</sup> в битве между рационалистами и постмодернистами, поэтому книга также призвана сыграть решающую роль в сохранении «единства, стабильности и порядка в дисциплине» международных отношений<sup>3</sup>.

Вендта критиковали и критикуют за многие допущения и упущения. Одной из центральных теоретико-методологических проблем его исследования многим авторам видится реификация государства: онтология Вендта предполагает существование государства как непроблематичной данности, а его методология ориентирована на изучение государств как автономных акторов, взаимодействие между которыми создает международную систему. Вендт, однако, настаивает на необходимости частичной реификации государства при исследовании международной системы<sup>4</sup>; более того, в своих недавних работах он обосновывает необходимость антропоморфизации государства, в полемике с другими исследователями<sup>5</sup> раз-

<sup>1</sup> *Kratochwil F.* Constructing a New Orthodoxy? Wendt's 'Social Theory of International Politics' and the Constructivist Challenge // *Millennium*. Vol. 29. 2000. No. 1. P. 73—101.

<sup>2</sup> *Adler E.* Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics // *European Journal of International Relations*. Vol. 3. 1997. No. 3. P. 319—363.

<sup>3</sup> *Doty R.L.* Desire All the Way Down // *Review of International Studies*. Vol. 26. 2000. No. 1. P. 137.

<sup>4</sup> *Wendt A.* On the Via Media: A Response to the Critics // *Review of International Studies*. Vol. 26. 2000. No. 1. P. 174—175.

<sup>5</sup> *Forum on Social Theory of International Politics* // *Review of International Studies*. Vol. 26. 2000. No. 1. P. 123—163; *Review of International Studies*. Vol. 30. 2004. No. 2. P. 255—287; *Wendt A.* The State as Person in International Theory // *Review of International Studies*. Vol. 30. 2004. No. 2. P. 289—316; *Lomas P.* Anthropomorphism and Ethics: A Reply to Alexander Wendt // *Review of International Studies*. Vol. 31. 2005. No. 2. P. 349—355; *Wendt A.* How Not to Argue Against State Personhood: A Reply to Lomas // *Review of International Studies*. Vol. 31. 2005. No. 2. P. 357—360.

вивая и уточняя свой наделавший много шуму тезис «государства — это тоже люди»<sup>1</sup>.

Вендт утверждает, что выявление акторов международной политики необходимо «до того, как мы можем подойти к чему бы то ни было с конструктивистских позиций»<sup>2</sup> и что государства отличаются от всех прочих акторов стабильным набором фундаментальных отличительных качеств<sup>3</sup>. Он опирается на теорию структуризации Гидденса, показывая, как уже существующие акторы формируют и воспроизводят свои идентичности в процессе повторяющегося взаимодействия<sup>4</sup>. Следует, безусловно, согласиться с тем, что государства отличаются от всех прочих участников мировой политики в силу обладания суверенитетом (тот факт, что суверенитет также является исторически сложившимся социальным институтом, не умаляет принципиального значения этого различия в современную эпоху). Однако вопрос, на который конструктивизм Вендта не дает удовлетворительного ответа, состоит в возможности осмысленного самоопределения актора *прежде всякой социальности*, до момента, когда «эго» вступает в диалог с «альтер».

Те же проблемы характерны и для работ последователей Вендта, пытающихся найти эмпирические приложения для его теории. Например, Ютта Вельдес, которая исследует процесс конструирования национального интереса на примере Карибского кризиса, следует моде, критикуя Вендта за антропоморфизм, однако ее решение проблемы едва ли можно признать удовлетворительным: вместо государства как унитарного актора она априорно наделяет субъектностью политических лидеров. Попытка автора разделить процесс конструирования национальных интересов на этапы вызывает еще более серьезные сомнения. Получается, что сначала политические лидеры уста-

<sup>1</sup> *Wendt A. Social Theory of International Politics. P. 215.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 7.*

<sup>3</sup> *Ibid. P. 198—214.*

<sup>4</sup> *Ibid. P. 328—335.*

навливают факт существования в окружающем мире разнообразных объектов, наделенных позитивными и однозначно (хотя, возможно, и неточно) определяемыми идентичностями. Далее, уже на следующем этапе, между этими идентичностями устанавливаются различные отношения, а национальные интересы являются конечным результатом этого процесса<sup>1</sup>. Не случайно эмпирические результаты исследования Вельдес оказывается возможным суммировать без использования ее терминологического аппарата, который легко заменяется понятием «допущения» или «предпосылки» («assumptions»)<sup>2</sup>, типичным для позитивистской теории принятия решений.

Более того, очевидно, что подход Вендта не оставляет места для анализа различных вариантов *конституирования* государств как акторов международной политики: как подчеркивает Ивер Нойманн, государства для Вендта являются «однозначно обусловленными акторами»<sup>3</sup>. Напротив, для его критиков самоопределение «Я», равно как и его отношения с Другими, почти всегда характеризуется смысловой избыточностью — «Я» и Другой могут входить сразу в несколько реляционных конфигураций. Майя Цефусс отмечает, что в рамках теории Вендта невозможно сколько-нибудь продуктивно описать идентичность современной Германии<sup>4</sup>. Та же проблема возникает и при попытках составить перечень атрибутов, характеризующих идентичность современной России: одновременное признание и отрицание советского прошлого, возможности и

<sup>1</sup> *Weldes J.* Constructing National Interests: The United States and the Cuban Missile Crisis. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999, в особенности p. 9—16.

<sup>2</sup> См.: *White M. J.* New Scholarship on the Cuban Missile Crisis // *Diplomatic History*. Vol. 26. 2002. No. 1. P. 148—150.

<sup>3</sup> *Нойманн И.* Указ. соч. С. 65. Нойманн адресует это замечание ранее опубликованным статьям Вендта, однако оно в полной мере применимо и к «Социальной теории международной политики».

<sup>4</sup> *Zebfuss M.* Constructivism in International Relations: The Politics of Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 38—93.

необходимости для России «догнать» Запад приводит к тому, что все подобные списки либо отражают политические взгляды автора, либо превращаются в бессмысленный набор противоречащих друг другу характеристик. Для иллюстрации этого тезиса приведем лишь несколько примеров из великого множества возможных: так, Александр Янов берется доказать, что между Россией и Европой отсутствуют фундаментальные культурные различия и что отказ от признания этой истины может быть основан лишь на «подтасовке фактов» и «злокачественных мифах»<sup>1</sup>. Александр Погорельский, напротив, предлагает положить в основу национального общежития ценности, отличающие Россию от всех других стран, такие как «уникальность анатомии российского общества», «православная этика предпринимательства», соборность, семейные ценности<sup>2</sup>. Очевидно, что обе эти точки зрения отражают какие-то элементы российской действительности, а их несовместимость, при том, что обе соответствуют некоторому кругу «фактов», как раз и иллюстрирует сверхдетерминированность идентичности современной России.

Едва ли можно признать удовлетворительным решением проблемы и введенное Вендтом различие корпоральной (в случае индивида — персональной) и социальной идентичностей. Первая определяется как «имманентные актору самоорганизующиеся качества, которые составляют его индивидуальность», вторая — как «наборы смыслов, которые актер приписывает себе с точки зрения других, то есть как социальному объекту»<sup>3</sup>, и которые «генерируют мотивационные и по-

<sup>1</sup> Янов А. Идеинная война // Свободная мысль — XXI. 2005. № 3. С. 53. См. также статью Янова и последующую дискуссию в журнале «Неприкосновенный запас»: Янов А. Россия и Европа. 1462—1921 // Неприкосновенный запас. 2007. № 1. С. 84—106.

<sup>2</sup> Погорельский А. Конструктивный консерватизм // Прогнозис. 2006. № 2. С. 6.

<sup>3</sup> Wendt A. Collective Identity Formation and the International State // American Journal of Sociology. Vol. 88. 1994. No. 2. P. 385.



веденческие диспозиции»<sup>1</sup>. Фактически в первом случае речь идет о факте существования индивида как биологического организма и личности или государства как совокупности территории и населения, а во втором — о системе позитивных характеристик (типологическая, ролевая идентичность и коллективная идентичность, проявляющаяся через идентификацию с Другим)<sup>2</sup>. Очевидно, что именование обеих этих презумпций «идентичностями» не отменяет метафизического характера категории существования — это особенно очевидно в свете замечания Вендта, что каждый субъект может обладать только одной корпоральной идентичностью, тогда как социальные идентичности могут быть многообразны<sup>3</sup>. При этом корпоральная идентичность государства как субъекта международной политики принимается заранее известной, ее конструирование рассматривается исключительно как вопрос внутренней политики и по этой причине не анализируется. В результате, как пишет Майя Цефусс, «антропоморфное понятие государства у Вендта не может совладать с идентичностями, которые нестабильны сами по себе. Изменение идентичности [по Вендту] состоит просто в переходе от одной относительно стабильной идентичности к другой»<sup>4</sup>.

Невозможность концептуализации социальной динамики сводит на нет отличия между конструктивизмом Вендта и «рационализмом» реалистов и институционалистов, поскольку в условиях неизменных идентичностей интересы тоже могут приниматься как данность и, соответственно, эмпирический анализ, основанный на рационалистических теориях, приносит вполне удовлетворительные результаты<sup>5</sup>. Более того, как указывает Лене Хансен, единственный возможный способ вве-

<sup>1</sup> *Wendt A. Social Theory of International Politics. P. 224.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 224—230.*

<sup>3</sup> *Ibid. P. 225.*

<sup>4</sup> *Zehfuss M. Constructivism and Identity: A Dangerous Liaison // European Journal of International Relations. Vol. 7. 2001. No. 3. P. 335.*

<sup>5</sup> *Ср.: Ibid. P. 338—339.*

дения досоциальных, имманентных идентичностей в научный анализ в качестве значимых факторов (переменных) состоит в приписывании идентичностей социальным агентам, исходя из перспективы конкретного исследователя. Так, государство не может быть «само по себе» демократическим — его может признать таковым исследователь, изучающий политические процессы в данном государстве, исходя из своих собственных критериев и системы ценностей. Такого признания, однако, далеко не достаточно для того, чтобы демократия стала частью самоопределения данного государства — самоопределение в качестве демократического возможно лишь тогда, когда одна из господствующих артикуляций определяет демократию как привилегированную идентичность — качество, которого многим государствам недостает, но к которому они могут и должны стремиться. Таким образом, любая идентичность уже в начальный момент своего конструирования требует наличия Другого.<sup>1</sup> Нужно, впрочем, отметить, что в более поздних работах Вендт согласился с тем, что признание со стороны Другого составляет необходимый момент в конституировании идентичности, однако сохранил верность своей методологии, в общем и целом предполагающей взаимодействие (в том числе и в виде признания — непризнания) между акторами, изначально наделенными позитивной идентичностью<sup>2</sup>.

Изучение процессов трансформации идентичности современной России особенно наглядно показывает крайне проблематичный характер посылки Вендта, что корпоральная идентичность «конституируется самоорганизующимися гомеостатическими структурами» и поэтому она «по своей конституции находится вне отношений с Другими» («constitutionally exogenous to Otherness»)<sup>3</sup>. По правильному замечанию

<sup>1</sup> *Hansen L.* Op. cit. P. 24—25.

<sup>2</sup> *Wendt A.* Why a World State is Inevitable // *European Journal of International Relations*. Vol. 9. 2003. No. 4. P. 510—513. См. также: *Hansen L.* Op. cit. P. 223.

<sup>3</sup> *Wendt A.* *Social Theory of International Politics*. P. 224—225.

Бахар Румелили, «допущение существования самоорганизующейся коллективной общности предполагает недвусмысленность границ»<sup>1</sup>, непроблематичное, реифицированное внутреннее пространство, которое каким-то образом продуцирует первоначальное, внесоциальное «Мы», которое затем вступает в социальное взаимодействие. В теории Вендта недостает ключевого постструктуралистского тезиса, что границы политического сообщества — это составная часть целостной реляционной системы смыслов. Попытка «эндогенизировать» корпоративную идентичность, то есть перестать рассматривать ее как данность и исследовать ее формирование во взаимосвязи с социальной идентичностью, предпринимаемая Ларсом-Эриком Седерманом и Кристофером Даасе<sup>2</sup>, представляет собой несомненный шаг вперед по сравнению с конструктивизмом Вендта. В таком случае, однако, само различие между корпоративной и социальной идентичностью становится избыточным. В феминистической и психоаналитической литературе уже давно признан тезис, что даже тело человека не является «объективной данностью» — напротив, его базовые характеристики и границы являются предметом борьбы социальных практик: «То, что посредством разделения создает “внутренний” и “внешний” мир субъекта, есть граница, тщательно охраняемая в целях социального регулирования и контроля»<sup>3</sup>. Разумеется, это с еще большим основанием относится к корпоративной идентичности государства<sup>4</sup>. Артикуляцию границ сообщества нельзя описывать как выбор из нескольких

<sup>1</sup> *Rumelil B. Constructing Identity and Relating to Difference: Understanding the EU's mode of Differentiation // Review of International Studies. Vol. 30. 2004. No. 1. P. 32.*

<sup>2</sup> *Cederman L-E, Daase C. Endogenizing Corporate Identities: The Next Step in Constructivist IR Theory // European Journal of International Relations. 2003. Vol. 9. No. 1. P. 5—35.*

<sup>3</sup> *Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York; London: Routledge, 1990. P. 133.*

<sup>4</sup> *Campbell D. Op. cit. P. 9—11.*

объективно существующих вариантов, каждый из которых обладает неким данным набором атрибутов, — выбор, осуществляемый рациональным и прозрачным для себя субъектом, будь то «правитель» или «народ». Сообщество и его границы конституируются в дискурсе как единая реляционная система, и переход от одних границ к другим возможен только в случае смены системы означающих, в ходе которой внутреннее и внешнее положение тех или иных элементов меняется вместе с их атрибутами и с атрибутами самого сообщества. Патрик Джексон в своем исследовании дискуссии о восстановлении Германии после Второй мировой войны удачно суммирует результаты этих дискуссий:

«Я» не нахожусь «внутри» своей головы, точно так же как «Германия» не находится полностью «внутри» своих границ; и «Я», и «Германия» скорее результаты процессов установления границ, которые никогда не «содержат» нас целиком. И «Я», и «Германия» наделены властью в некоторых контекстах принимать некоторые решения о том, где находятся наши надлежащие границы, и тем самым мы так или иначе выходим за пределы своих собственных границ... Эта наша способность никогда не является результатом некоего чисто «субъективного» самоопределения, но зависит от нашей встроенности в различные взаимодействия, сети и истории, на которые мы полагаемся в ходе производства и поддержания наших границ<sup>1</sup>.

Соответственно, включение граждан других государств в состав политического сообщества возможно только одновременно с постановкой этих групп в другие цепочки означающих (определение их как «соотечественников», «братьев» или, например, «переселенцев» (*Übersiedler*)), трансформацией определения нации в неоимперском или этническом ключе, ко-

<sup>1</sup> *Jackson P. T. Op. cit. P. 25.*

торое в то же самое время может привести к модификации значения территориальных границ (как в гитлеровской Германии или современной России) или исключению других групп (детей иммигрантов немцев в Германии до 1999 года). Более того, существуют идентичности, корпоративное измерение которых крайне размыто и второстепенно по отношению к другим реляционным связям. Такова, например, идентичность еврорегионов — трансграничных региональных проектов в Европейском союзе и соседних с ним странах, территориальные границы которых весьма условны и не имеют большого значения по сравнению со стремлением участвовать в совместной деятельности на основании общих ценностей и целей. Далеко не от всякого индивида, проживающего на этой условно обозначенной территории, можно и нужно ожидать идентификации с регионом, подобной национальной самоидентификации, что, однако, не делает эту идентичность менее «реальной». Еще больше вопросов возникает по поводу нетерриториальных идентичностей — таких, как классовая или в более широком смысле идеологическая. Исключение — необходимый элемент конструирования любого сообщества, и границы поэтому приобретают конституирующее значение, но то, как эти границы определяются, зависит от всех других элементов, конституирующих идентичность. Поэтому необходимо признать, что идентичность является набором реляционных качеств, ни одно из которых не является само по себе обязательным, поскольку в противном случае пришлось бы смириться с тем, что границы сообщества и его самоопределение по отношению к узловым пунктам дискурса не зависят друг от друга и либо являются предметом свободного выбора, либо детерминированы некими позитивными факторами, внешними по отношению к идентичности.

Эта проблема частично снимается в разработанном Вендом (отчасти как ответ критикам его «Социальной теории») проекте «квантовых социальных наук». Используя в качестве модели квантовую физику, он предлагает считать, что «в

субъективном, или волновом, аспекте государства не существуют прежде отношений, в которые они внедрены, и как таковая идентичность государства действительно целиком и полностью социальна». Однако Вендт все равно настаивает, что «в объективном, или корпускулярном, аспекте онтологический приоритет государства сохраняется»<sup>1</sup>, и доказывает, что отказ от признания относительной стабильности идентичности государства равнозначен утверждению, что государственные идентичности «хаотичны»<sup>2</sup>. Такая формулировка, однако, по-прежнему предполагает статичность корпоральной идентичности и не позволяет концептуализировать сколько-нибудь масштабные социальные перемены. Более того, она упускает из виду тот факт, что в ряде случаев альтернативные артикуляции границ сообщества порождают кардинально отличные друг от друга идентичности, не абсолютно случайные и непредсказуемые, но в то же время несовместимые друг с другом. Говоря в терминах Вендта (которые он, повторим, заимствует из квантовой физики), частицы, которые получаются в результате коллапса той или иной волновой функции, необязательно похожи друг на друга. Поэтому, когда мы измеряем идентичность того или иного государства, мы получаем несколько наборов противоречивых результатов. Так, идентичность современной России, если понимать ее как волновую функцию, содержит в себе возможность как минимум трех вариантов корпоральных границ сообщества (см. § 4.2), которые закреплены в трех различных, но взаимодействующих друг с другом смысловых системах (дискурсах) и при своей актуализации (или артикуляции) ведут к различным вариантам политических действий. Эти идентичности не только «целиком и полностью социальны», но и влияют друг на друга, поскольку смыслы, заложенные в одной из них, вызывают дислокацию двух других.

<sup>1</sup> *Wendt A. Social Theory as Cartesian Science.* P. 209.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 206.

Как бы критически мы ни относились к теории идентичности Александра Вендта, нельзя не признать, что его ясно сформулированная и детально разработанная умеренно конструктивистская позиция (в вопросах идентичности граничащая с рационализмом) побудила других авторов, зачастую категорически несогласных с Вендтом, к теоретико-методологической рефлексии. Это, в свою очередь, привело к появлению широкого круга работ, в которых критика Вендта становится первым шагом для весьма продуктивного научного поиска. Норвежский исследователь Ивер Нойманн выделяет четыре подхода к изучению идентичности, актуальных для международных отношений: этнографический, психологический, подход континентальной философии и так называемый «восточный экскурс»<sup>1</sup>. В центре этнографического подхода находится фигура Фредерика Барта — соотечественника Нойманна, классика социальной антропологии XX века. До Барта, отмечает Нойманн, культурные различия изучались путем «составления несистематических каталогов культурных черт, которые исследователи мыслили как эндогенные. Барт в своей классической статье, опубликованной в 1969 году<sup>2</sup>, и других работах сдвинул фокус внимания, показав, что этнические группы воспроизводятся благодаря самому поддержанию границ, отделяющих их от других групп»<sup>3</sup>. Таким образом, граница между «Я» и Другим как таковая является необходимой для конституирования «Я», но выбор тех или иных конкретных культурных особенностей (Барт называет их диакритиками), которые в любом данном социальном контексте описывают границу сообщества, в значительной степени случаен: это может быть язык, религия, раса или, например, обычаи гостеприимства. В более поздних работах Барт несколько смягчил этот тезис, признав, что формулировка о произвольности выбора диакритик была «преувеличе-

<sup>1</sup> *Нойманн И.* Указ. соч. С. 25—70.

<sup>2</sup> *Барт Ф.* Введение // Этнические группы и социальные границы / Под ред. Ф. Барта. М.: Новое издательство, 2006. С. 9—48.

<sup>3</sup> *Нойманн И.* Указ. соч. С. 29.

нием», поскольку некоторые различия (например, языковые) по сравнению с другими имеют гораздо больше шансов стать пограничными<sup>1</sup>. Однако если в сферу наших интересов попадают не только этнические, но и национальные, государственные и, возможно, другие идентичности, то тезис Барта о случайной природе диакритик оказывается чрезвычайно важным. Он подчеркивает необходимость отказа от априорного приписывания конституирующего значения тем или иным характеристикам рассматриваемых групп: границу сообщества следует определять не по формальным показателям, а на основании эмпирического исследования соответствующих социальных и политических практик. Это может привести к некоторым весьма интересным выводам: например, очевидна тенденция к расширительной интерпретации российской национальной идентичности с включением в нее русскоязычных «соотечественников», проживающих в странах бывшего Советского Союза, что имеет прямые последствия для формирования внешней политики Российской Федерации. В терминологии Вендта речь здесь идет именно о корпоральной идентичности, что лишней раз подчеркивает необходимость ее проблематизации.

Психологический подход к социальной идентичности сосредоточивает внимание на различении «свой — чужой» как одном из фундаментальных свойств человеческого сознания. Терминологический инструментарий здесь весьма обширен: он может включать такие понятия, как «образ врага», «культурные коды», «групповые действия» и др., однако, как отмечает Нойманн, такой подход имеет тенденцию «начинать и заканчивать социально не обусловленным “Я”»<sup>2</sup> — иначе говоря, оказывается не способен описать механизмы взаимодействия между персональной самоидентификацией и идентичностью

<sup>1</sup> *Barth F. Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity // The Anthropology of Ethnicity: Beyond «Ethnic Groups and Boundaries» / Ed. by H. Vermeulen, C. Govers. Amsterdam: Spinhuis, 1994. P. 12. Ср.: Нойманн И. Указ. соч. С. 30.*

<sup>2</sup> *Нойманн И. Указ. соч. С. 34.*



больших анонимных сообществ, таких как нация. Так, например, определение национальной идентичности, приводимое Уильямом Блумом, строится на представлении о групповой мобилизации вокруг национальных символов<sup>1</sup>, что совершенно исключает возможность разговора об альтернативных интерпретациях национального «Мы», предполагающего возможности консолидации нации вокруг различных, иногда прямо противоположных символов.

Самым существенным исключением здесь является психоаналитическая традиция, в особенности исследования, опирающиеся на труды Жака Лакана, в которых социализация выступает неизменным условием формирования индивидуальности. Одной из наиболее ярких работ подобного рода, сохраняющих верность психологическому подходу, до сих пор остается вышедшая два десятилетия назад книга Энн Нортон «Размышления о политической идентичности»<sup>2</sup>. Идентичность рассматривается в ней через призму категории отчуждения, и это фактически приводит автора к заключению об отсутствии принципиального логического барьера между индивидуальной и коллективной идентичностью. Вслед за Фрейдом и Лаканом она подчеркивает, что самосознание приходит к человеку через лишение, через неудовлетворенное желание и неразрывно связано с признанием существования Иного, враждебной окружающей среды. Формирование индивидуальной и коллективной идентичности представляет собой единый процесс, а необходимость социализации для формирования человеческой индивидуальности проявляется уже на начальных этапах развития индивида и предопределяет неразрывную связь и одновременно необходимое противостояние Я и Иного. Однако сказать, что человек обретает себя только в

<sup>1</sup> *Bloom W.* Personal Identity, National Identity and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 52.

<sup>2</sup> *Norton A.* Reflections on Political Identity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988.

другом, означает постулировать его гражданскую природу, признать, что с самых ранних этапов своего существования человек теряет полноту бытия как естественного существа и обретает гражданское существование. Человек становится гражданином, который, говоря словами Руссо, объединяет в себе суверена и подданного<sup>1</sup>. «Как Суверен, — пишет Нортон, излагая точку зрения Руссо, — он пренебрегает той частичной самостью, которую подчиняет Суверенитет, и гордится бессмертными, хотя и безличными, атрибутами более полной идентичности»<sup>2</sup>.

Не менее важным представляется и тезис Нортон о значимости маргинальных, «пороговых» групп (*liminars*) для «отделения должных качеств политики от качеств, чуждых ей»<sup>3</sup>: этот тезис в полной мере применим, например, все к тем же «соотечественникам за рубежом», идентификация с которыми при одновременной дифференциации не только задает внешние пределы российской национальной идентичности, но и влияет на ее позитивное содержание. Нойманн, в свою очередь, показывает значение восточноевропейских идентичностей для формирования представлений о Европе: здесь также ключевую роль играл противоречивый образ «не совсем Европы», одновременно включенной в европейскую цивилизацию и не вполне соответствующей стандартам последней<sup>4</sup>.

Подход континентальной философии, характерным представителем которого Нойманн считает Юргена Хабермаса, на наш взгляд, несколько искусственно сконструирован автором. Он необходим ему прежде всего для того, чтобы подчеркнуть уникальность «восточного экскурса», к которому, вне всякого сомнения, принадлежат и работы самого Нойманна. Если континентальная философия привносит в исследования отноше-

<sup>1</sup> См.: Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: ТЕРРА — Книжный клуб; КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 209, 278.

<sup>2</sup> Norton A. Op. cit. P. 32.

<sup>3</sup> Ibid. P. 53.

<sup>4</sup> Нойманн И. Указ. соч. С. 99—156.

ний «Я/Другой» тягу к ассимиляции, то «восточный экскурс» берет свое начало из трудов Михаила Бахтина, и в первую очередь из введенного им понятия диалогизма. В отличие от диалектики, которая ставит во главу угла снятие противоречий, диалог подразумевает признание Другого в качестве одновременно равного и иного, существование которого необходимо для самоопределения «Я». Помимо Бахтина, Нойманн относит к числу авторов, наиболее значимых для данной традиции, Эммануэля Левинаса и Цветана Тодорова, а в поле международных исследований особо выделяет работы Джеймса Дер Дериана, Майкла Шапиро и Дэвида Кэмпбелла<sup>1</sup>.

Восток присутствует в «восточном экскурсе» уже через непосредственный жизненный опыт его основоположников: и Бахтин, и Левинас родились и учились в имперской России, Бахтин всю жизнь проработал в Советском Союзе и разрабатывал свой диалогический метод, изучая романы одного из наиболее характерных русских писателей — Федора Достоевского. Однако Восток важен для Нойманна, конечно, не только поэтому: в книге идет речь о механизме формирования идентичностей, которые, несмотря на существующие между ними явные различия, структурно подобны друг другу, поскольку строятся на самопротивопоставлении одному и тому же конституирующему иному — Востоку. «Восток, — пишет автор в заключительной главе, — является “Другим” Европы... “отсутствие восточности” является определяющей чертой “европейских” идентичностей...»<sup>2</sup> Эта мысль хорошо известна по работам Эдварда Саида и Ларри Вулфа<sup>3</sup>, которые показали зна-

<sup>1</sup> *Der Derian J.* On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement. Oxford: Blackwell, 1987; *Shapiro M. J.* Reading «Adam Smith»: Desire, History, and Value. London: Sage, 1993; *Campbell D.* Op. cit.

<sup>2</sup> *Нойманн И.* Указ. соч. С. 267.

<sup>3</sup> *Саид Э.* Ориентализм: западные концепции Востока. СПб.: Русский Мир, 2006; *Вулф Л.* Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

чение Востока как Другого для становления понятия Европы в эпоху Просвещения, для формирования ее самоопределения в качестве центра цивилизации и прогресса в противоположность восточной, азиатской отсталости. Не менее существенным оказывается фактор ориентализма и в формировании восточноевропейских идентичностей, включая российскую. Конкуренция между различными подходами, по-разному определяющими позитивное содержание каждой из них, всегда также состоит в явной или имплицитной борьбе за выбор Другого, противостояние которому играет решающую роль в определении границ политического сообщества. Так, российский национальный проект строится на полном противоречий представлении о России как евразийской державе, не могущей до конца идентифицировать себя ни с Европой, ни с Азией, ни с Западом, ни с Востоком. «Условия игры», моральные основания для дискуссии о месте России в Европе и мире заданы, таким образом, извне. Даже осознание «структурного давления Запада» и «западной гегемонии» не приводит, однако, к появлению в России принципиально новых моделей общественного развития, которые в конечном итоге позволили бы России отстраниться в своем самоопределении от Европы<sup>1</sup>.

Книга Теда Хопфа «Социальные истоки международной политики» во многих отношениях близка к «восточному экскурсу»: во-первых, реконструкция национально-государственной идентичности используется автором как метод анализа внешней политики Советского Союза и постсоветской России, во-вторых, подчеркнутое внимание к проблематике Другого также заставляет вспомнить о работах Нойманна и прочих авторов этого направления. С другой стороны, весьма успешные попытки концептуализации взаимодействия между индивидуальным и коллективным уровнем идентификации позволяют провести параллели с психологическим подходом. Разрабатывая тему соотношения индивидуальной и коллектив-

<sup>1</sup> *Нойманн И.* Указ. соч. С. 237.

ной идентичности, Хопф предлагает интерпретировать это понятие через «стремление человека понять окружающий мир и вытекающую из этого когнитивную потребность в порядке, предсказуемости и определенности»<sup>1</sup>. Как полагал еще Георг Зиммель, «нам не дано вполне репрезентировать в себе отличную от нас индивидуальность», поскольку «совершенное познание... предполагало бы и совершенное тождество». Поэтому «мы видим Другого в некотором роде обобщенно», как тип, подводим его «под некую всеобщую категорию»<sup>2</sup>. С этой точки зрения идентичность можно рассматривать как «инструмент когнитивной экономии»<sup>3</sup>: поскольку мозг человека обладает ограниченными возможностями восприятия и переработки информации, мы *приписываем* идентичность окружающим и тем самым классифицируем их как представителей тех или иных групп, которые ассоциируются с определенным набором социально значимых качеств (точно так же мы классифицируем и себя). Таков единственный путь придания смысла поведению окружающих, поскольку классификация позволяет приписать им намерения и мотивы, о которых мы в противном случае не можем иметь представления. Эти «смещения, умаления, дополнения... идущие от всех этих априорно действующих категорий» в конечном итоге составляют условия возможности общественных отношений, благодаря которым социальный мир становится познаваемым<sup>4</sup>. По мере более близкого знакомства с человеком групповые характеристики уступают место индивидуальным: если сначала мы воспринимаем любого незнакомца как человека определенного пола, возраста, расы, национальности, социального положения, то впоследствии он обретает в наших глазах индивидуальность и предстает как уникальная личность, черты характера которой могут в чем-то

<sup>1</sup> *Hopf T.* Op. cit. P. 4.

<sup>2</sup> *Зиммель Г.* Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное. М.: Юрист, 1996. Т. 2. С. 514.

<sup>3</sup> *Hopf T.* Op. cit. P. 5.

<sup>4</sup> *Зиммель Г.* Указ. соч. С. 516.

совпадать с привычными для нас групповыми, а в чем-то отличаться. Однако социальное значение идентичности как когнитивного элемента обусловлено тем, что ни один из нас не способен близко познакомиться со всеми окружающими нас людьми и начать воспринимать их как индивидуальность: мы вынуждены воспринимать большинство людей, встречающихся на нашем жизненном пути, исходя из *приписываемых* им идентичностей. При этом, разумеется, идентичности приписываются не произвольно, а под влиянием принятых в обществе и в той или иной степени интернализированных каждым из нас стандартных описаний каждой из групп, модифицированных личным опытом индивида.

Социальная обусловленность индивидуальных практик идентификации позволяет перебросить мостик между индивидуальной и коллективной идентичностью, причем делается это наиболее характерным для конструктивизма способом — через представление об интересубъективной природе социально значимых определений и предпочтений. При этом Хопф настаивает на ключевом значении привычек и практики для формирования идентичностей, противопоставляя их более формализованным правилам и нормам<sup>1</sup>. Если поместить этот вопрос в более широкую социологическую перспективу, то мы увидим, что идентичность составляет один из аспектов того, что Бурдье называет «экономией логики» — организации смыслового пространства в соответствии с потребностями практики, позволяющей использовать в повседневной деятельности готовые схемы, а не вырабатывать их каждый раз заново<sup>2</sup>. Сам Хопф, впрочем, указывает на очевидную связь своего подхода не только с «габитусом» Бурдье, но и с похожими концепциями Фуко, Гирца и Гуссерля<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Hopf T. Op. cit. P. 10—12.

<sup>2</sup> Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. P. 109—114.

<sup>3</sup> Hopf T. Op. cit. P. 5.

Опираясь на широкий, но очень точно очерченный круг источников, Хопф реконструирует идентичности Советского Союза и России по отношению к доминантному нарративу современности (*master narrative of modernity*). Это происходит путем определения значимых Других — исторических (Российская империя, СССР), внутренних (Чечня), внешних (Запад, Европа и пр.), — а также прочих означающих, отношение к которым конституирует национальное «Я» (капитализм, индустриализм, демократия, рынок и пр.).<sup>1</sup>

Джефффри Чекел справедливо отмечает, что переход от идентичностей к интересам и конкретным политическим решениям гораздо хуже методологически проработан Хопфом, нежели само исследование идентичностей<sup>2</sup>. Отчасти это может быть связано с тем, что автора интересует *статический* аспект жизни общества, тогда как изучение конкретной политики требует внимания к *динамическому* аспекту функционирования и трансформации идентичностей. Это, видимо, цена, которую неизбежно приходится платить за полноту реконструкции социально-когнитивной структуры общества: как отмечают Б. Бузан и О. Вэвер, «если изучается только процесс формирования идентичностей, идентичность... никогда не становится “вещью”: [конечный] продукт как таковой никогда не появляется»<sup>3</sup> — и наоборот, детальная реконструкция идентичности требует абстрагироваться от того факта, что перед нами продукт неполной фиксации смысла, всегда находящийся в процессе становления.

Труды Майи Цефусс получили известность главным образом благодаря содержащейся в них суровой критике классиков конструктивистской теории — Александра Вендта, Фридриха

<sup>1</sup> Ibid. P. 153—210.

<sup>2</sup> *Chekel J. T. Social Constructivisms in Global and European Politics: A Review Essay // Review of International Studies. Vol. 30. 2004. No. 2. P. 234.*

<sup>3</sup> *Buzan B, Wæver O. Slippery? Contradictory? Sociologically Untenable? The Copenhagen School Replies // Review of International Studies. Vol. 23. 1997. No. 2. P. 242—243.*

Кратохвила и Никласа Онуфа<sup>1</sup>. На наш взгляд, не меньшую ценность представляют эмпирические аспекты исследований Цефусс, в особенности то, как она увязывает процесс становления идентичности современной Германии с историческими нарративами. В главе, посвященной критике предлагаемого Вендтом варианта концептуализации идентичности<sup>2</sup>, Цефусс опирается на постструктуралистское положение о том, что никакая идентичность не может быть тождественна сама себе: в случае объединенной Германии это выражается прежде всего в одновременном признании и отрицании нацистского прошлого как части истории *нынешней* ФРГ и на молчаливом исключении восточногерманской истории из доминирующих исторических нарративов. Это, в свою очередь, делает возможным сравнение современных операций бундесвера не с гитлеровской военной экспансией, а с той поддержкой, которую оказывали ФРГ ее союзники в период холодной войны. Тем самым отправка войск за рубеж оказывается логически совместимой с риторикой покаяния за преступления Третьего рейха, но одновременно это означает, что идентичность германского государства предстает не как однозначно определяемый набор атрибутов, а как внутренне противоречивая, контекстно зависимая дискурсивная конструкция.

Наиболее успешной попыткой теоретической и эмпирической разработки понятия идентичности с точки зрения постструктуралистской теории стала книга Лене Хансен, которая в своей эмпирической части посвящена балканскому конфликту — точнее, боснийской войне и ее дискурсивному конструированию на Западе<sup>3</sup>. Именно поэтому необходимо отдель-

<sup>1</sup> *Zehfuss M.* Constructivism in International Relations; *Idem.* Constructivisms in International Relations: Wendt, Onuf and Kratochwil // *Constructing International Relations: The Next Generation* / Ed. by K. E. Jørgensen, K. M. Fierke. Armonk: M. E. Sharpe, 2001. P. 54—75; *Cbeckel J.* *Op. cit.* P. 234—236.

<sup>2</sup> *Zehfuss M.* *Constructivism in International Relations.* P. 38—93.

<sup>3</sup> *Hansen L.* *Op. cit.*



но остановиться на том, как Хансен интерпретирует понятие идентичности, чтобы более рельефно подчеркнуть специфику подхода, принятого в настоящей работе.

Онтология Хансен построена на признании соразмерности лингвистического и социального — эта позиция уже была подробно раскрыта и обоснована в предыдущих главах нашей работы. Реляционный механизм формирования идентичности описывается ею в терминах установления связей (linking) и дифференциации (differentiation) — по ее собственному свидетельству, Хансен в данном случае опирается на понятия эквивалентности и различия, введенные Лаклау и Муфф<sup>1</sup>. Так, например, понятие женственности в традиционном контексте конструируется путем увязывания его с такими означающими, как «эмоциональность», «материнство», «доверчивость», однако это позитивное описание начинает в полной мере работать только при условии, что женственность противопоставляется мужественности и увязанным с ней означающими «рациональность», «интеллект», «независимость»<sup>2</sup>.

Если наш взгляд на реляционные механизмы формирования идентичности в целом совпадает с позицией Хансен, то по вопросу о значении антагонистических отношений наши точки зрения кардинально расходятся. Подобно многим другим авторам, так или иначе близким к традиции «восточного экскурса», Хансен ставит под вопрос необходимо антагонистический характер политики: по ее мнению, нет никаких оснований утверждать, что формирование идентичности сообщества может происходить только через отношения радикального различия, через противопоставления «Я/Мы» враждебному Иному<sup>3</sup>. Эта позиция несовместима с неограмшианской теорией антагонизма, принятой в данном исследовании. Как убедительно показал Эрнесто Лаклау, последовательное применение пост-

<sup>1</sup> Ibid. P. 222.

<sup>2</sup> Ibid. P. 19—21.

<sup>3</sup> Ibid. P. 38—41.

структуралистской теории делает логически невозможным представление о сообществе, не основанном на чистом отрицании, и, следовательно, антагонизм, то есть радикальное различие, как раз и оказывается главной силой, формирующей политические сообщества и определяющей их идентичность. Категории внутреннего и внешнего не могут существовать исключительно в рамках системы отношений различия. Чистое отрицание, антагонизм предстают как единственное условие существования сообщества и одновременно свидетельство его невозможности в качестве замкнутой, полностью детерминированной структуры. Антагонистическая сила является одновременно свидетельством исторически случайного характера любой идентичности и необходимым условием существования последней:

С одной стороны, она [антагонистическая сила] «блокирует» полное конституирование идентичности, которой она противостоит, и тем самым показывает ее непрочность. Но с другой стороны, с учетом того, что эта последняя идентичность, как и все идентичности, является всего лишь реляционной и поэтому не была бы тем, что она есть, вне отношения с антагонистической силой, последняя также частично служит условием существования этой идентичности<sup>1</sup>.

Отрицание этого факта чаще всего связано с несостоятельными онтологическими допущениями или просто с логическими ошибками. Прежде всего следует подчеркнуть разницу между идентичностями и означающими. Означающее можно представить себе в виде точки, которая в дискурсивной реальности встроена в систему отношений различия и эквивалентности и потому не нуждается для своего «определения» в отрицании других означающих (исключение составляют лишь пустые означающие, референтом которых выступает единство

<sup>1</sup> *Laclau E. New Reflections...* P. 21.

системы сигнификации, сообщество как целое, см. § 1.3). Идентичности, с другой стороны, не могут иметь атомарной природы, поскольку даже самые «частные» из них строятся не на одном означающем, а на комплексе взаимосвязей между таковыми. Любая идентичность устанавливает отношения *принадлежности* к некоторому кругу других идентичностей, объединенных общим качеством, но неизбежной обратной стороной принадлежности является *исключение*, которое в реляционной системе может принимать лишь форму чистого отрицания. Говоря «я мужчина» или «я женщина», мы устанавливаем отношения эквивалентности не между «я» и мужественностью или женственностью, но между «я» и сообществом других идентичностей, основанным на отношениях принадлежности и исключения. Исключение может принимать более или менее антагонистический характер в зависимости от степени замыкания того или иного сообщества: так, гендерная идентичность может артикулироваться как открытая и тем самым менее значимая для данного комплекса социальных отношений или, наоборот, как во многом определяющая сущность индивида и потому закрытая, антагонистическая, имеющая тенденцию к продуцированию иерархий. Характерный момент — если вспомнить тезис Нортона о значении пороговых групп — состоит в том, что по мере нарастания антагонизма особенно враждебным становится отношение к маргиналам: так, мачо в своем самоопределении в качестве «настоящего мужчины» чаще всего относится к женщинам высокомерно и, возможно, даже с презрением, а вот люди нетрадиционной сексуальной ориентации обычно вызывают открытую ненависть.

В одном из самых насыщенных и эмоционально напряженных фрагментов, когда-либо написанных Жаком Деррида, следующим образом сформулирован тезис о том, что становление идентичности неизбежно сопряжено с моментом насилия:

Как только возникает Некто, возникает убийство, рана, травматизм. *L'Un se garde de l'autre*. Некто содержит

(содержит/сдерживает) другого. Он защищается от другого, но, в порыве этого завистливого насилия, он содержит в себе самом, тем самым содержа и сдерживая ее, инаковость или отличие от себя (различие с собой), которое делает его Кем-то. L'»Un de soi-même différent». «Кем-то отличным от себя / отсрочивающим себя». Кем-то Другим. Сразу, в один и тот же момент, но в момент разомкнутый, Некто забывает напомнить себе о себе, он хранит и стирает архив той несправедливости, которой он является. Того насилия, которое он порождает. *L'Un se fait violence*. Некто порождает насилие и порождается насилием. Он насилует и принуждает себя, но он также учреждает себя насилием. Он становится тем, что он есть, самим насилием — которое он совершает. Самоопределение как насилие. *L'Un se garde de l'autre pour se faire violence (потому что он порождается насилием и с тем чтобы породить насилие)*<sup>1</sup>.

Присутствие Другого в любой идентичности, неизбежное в силу реляционной природы последней, порождает насилие, направленное на изгнание из внутреннего пространства «чуждых» элементов. Насилие возникает как необходимое следствие самой границы между внутренним и внешним, без которой никакая идентичность невозможна. Само стремление идентичности к чистому, полноценному бытию, порождающее механизмы структурного замыкания, может быть описано только через насилие, антагонизм, порожденные присутствием Другого во Мне. Иначе просто не остается способа *понять само существование идентичностей*: если в норме они «дружат»

<sup>1</sup> *Derrida J. Mal d'Archive: une impression freudienne*. Paris: Galilée, 1995. P. 124—125. Перевод на русский язык выполнен автором по образцу английского издания, в котором переводчик счел необходимым привести некоторые труднопереводимые фразы по-французски, а затем раскрыть их содержание по-английски: *Derrida J. Archive Fever: A Freudian Impression*. Chicago; London: University of Chicago Press, 1996. P. 78.

между собой, то стремление структуры к замыканию можно лишь постулировать как некое метафизическое свойство, как не имеющую доказательств аксиому. Отсюда различие в словоупотреблении, которого мы стараемся придерживаться в данной работе: термином «Другой» мы обозначаем любую идентичность, отличную от «Я/Мы», тогда как отношения с «Иным» подразумевают негацию, стремление к абсолютному исключению, обусловленному стремлением «Я» к полноценному бытию<sup>1</sup>.

Иными словами, любая социальная идентичность строится на отношениях исключения; артикуляционные практики, стремящиеся политизировать идентичность, превращают исключение в антагонизм. Гендерная идентичность как таковая не нуждается в антагонизме до тех пор, пока она не превращается в политическую, однако в эссенциалистских версиях феминизма, например, идентичность женщины вполне может строиться на антагонизации мужчин. Антиэссенциалистский феминизм, вопреки распространенным представлениям, не занимается конструированием сообществ на основе гендерной идентичности: он, напротив, стремится деконструировать гендерную идентичность в политике, создавая вместо этого сообщество «прогрессивно мыслящих» *людей* (мужчин и женщин) на основе отрицания гендерной дискриминации (и тех идентичностей, которые на этой дискриминации основаны, — например, идентичностей мачо или гомофобов).

Ошибочная онтология, состоящая в отождествлении означающих и идентичностей, часто лежит в основе отрицания

<sup>1</sup> Юрий Лотман в своей интерпретации культурных границ тоже подчеркивает значимость отрицания для формирования границ сообщества, а значит, и сообщества как такового: по его мнению, для любой культуры «внешнее» по необходимости строится «как ее собственное перевернутое изображение», как «антисфера, лежащая вне пределов рационального пространства культуры». С другой стороны, прозрачность культурных границ делает неизбежным присутствие Другого внутри семиосферы и тем самым создает возможность диалога. См.: *Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. С. 175—192 (цитаты со с. 191).*

антагонистического характера политики. Другое несостоятельное онтологическое допущение заключается в ограничении круга рассматриваемых идентичностей. Так, Хансен<sup>1</sup> ссылается на уже приводившийся нами вывод Оле Вэвера о том, что идентичность Европейских сообществ конституируется по отношению не к географическому, а к темпоральному Иному: необходимость объединения европейских государств, по крайней мере до недавнего времени, обосновывалась в первую очередь не внешней угрозой, а необходимостью преодоления европейского прошлого, в котором происходили непрерывные войны между суверенами<sup>2</sup>. Однако для онтологической посылки, согласно которой антагонизируемые идентичности непременно должны быть подобными той, что конституируется через данный антагонизм, что Евросоюз как территориальное объединение должен иметь «географическое Иное», отсутствуют сколько-нибудь серьезные основания. Темпоральное иное с точки зрения практик строительства сообщества и антагонистической политики в настоящем ничем не хуже пространственно определяемого: в последнем случае происходит установление отношений эквивалентности между историческим иным и антагонизируемыми идентичностями в настоящем, такими как национализм (и националистические движения). Такая же некорректная онтология имеет место и в интерпретации Хансен примера со странами Северной Европы, идентичность которых в период холодной войны строилась на отказе от участия в блоковом противостоянии<sup>3</sup>. Нетрудно убедиться, что в данном случае имело место конструирование враждебного иного в лице милитаризма и империализма путем установления эквивалентности между соответствующими элементами идентичности Запада и советского блока.

В свою очередь, Дэвид Кэмпбелл совершает логическую ошибку, когда утверждает, что возможность деконструкции

<sup>1</sup> *Hansen L.* Op. cit. P. 40.

<sup>2</sup> *Wæver O.* *European Security Identities.*

<sup>3</sup> *Hansen L.* Op. cit. P. 39—40.

практик безопасности, приводящих к установлению эквивалентности между «внешним» (по отношению к границам государства) и «опасным»<sup>1</sup>, служит доказательством возможности неантагонистической политики. Совершенно очевидно, что демонстрация исторически обусловленного характера одной из форм антагонизма (пусть даже имеющей фундаментальное значение для политической системы Нового времени) еще не означает доказательства возможности неантагонистической политики.

Приведенный выше пример идентичности Европейского союза показывает опасность реификации аналитических конструкций, таких как вводимое Хансен различие между пространственными, темпоральными и этическими идентичностями<sup>1</sup>. Это различие может быть полезно на уровне метода, но, если оно обретает онтологический характер, если мы начинаем гипостазировать эти три измерения как отражение самостоятельных сущностей, мы неизбежно приходим к искаженному взгляду на природу политического. В той мере, в которой пространственные и темпоральные идентичности являются политическими, они всегда имеют этическое измерение, поскольку само существование любого политического сообщества зависит от основополагающего этико-политического решения, отделяющего добродетель от порока, должное от запретного и т. д. Хансен, собственно, сама отмечает, что темпоральные идентичности немедленно организуются в иерархии, основанные на противопоставлении развития и отсталости, цивилизации и варварства, — но это лишь означает, что этическое измерение всегда уже заранее заложено в темпоральных конструкциях. Благодаря работам, составившим «восточный экскурс», давно уже не новость, что и пространственные образы — «Восток», «Балканы» и т. п. — *постольку поскольку они обретают политическое значение*, также неизбежно увязываются с этическими оппозициями либо через посредство темпоральных (Вос-

<sup>1</sup> *Campbell D. Op. cit. P. 80—90.*

ток как пространство отсталости), либо напрямую (Балканы как зона непрерывных конфликтов и войн).

Подводя итог, подчеркнем еще раз, что в данном исследовании формирование идентичности и конструирование границ рассматриваются как два неразрывно связанных аспекта политического, как две стороны одной медали. Поскольку последовательная постструктуралистская позиция приводит к признанию логической необходимости антагонизма для формирования политических сообществ, то особое внимание при исследовании идентичности необходимо обращать не на отношения различия и эквивалентности как таковые (или, в терминах Хансен, на процессы установления связей и дифференциации), а на наиболее продуктивные в политическом отношении моменты, когда отношения эквивалентности приводят к возникновению чистого отрицания и, следовательно, к возникновению политических границ. При этом граница между «Я» и Иным сама по себе является необходимой, но со времен уже упоминавшихся новаторских работ Фредерика Барта известно, что выбор тех или иных конкретных культурных особенностей, которые конституируют границу сообщества, необходимым не является. Так, в Северной Ирландии в роли диакритики выступает религиозная принадлежность (хотя существо конфликта было бы неправильно сводить к сугубо религиозным проблемам), в Бельгии — язык, а в России границы, определяющие коллективную идентичность, как будет показано в главе 3, в значительной степени обусловлены наследием имперской России и особенно СССР, которое определяет характер конституирующего иного. При этом обычно возможны разные варианты цепочек эквивалентности в зависимости от контекста: нация может определяться в одном контексте как великая держава, в другом — как неотъемлемая часть Европы, а в третьем — как особая евразийская цивилизация. Исключение является ключевым моментом артикуляции, однако лишь в условиях предельного антагонизма гегемоническая артикуляция способна почти полностью стабилизировать дискурс и выра-



ботать «единственно правильный», канонический набор характеризующих сообщество атрибутов, каждый из которых в своей основе является не столько позитивным различием, сколько отрицанием конституирующего иного. Наоборот, сосуществование двух и более конкурирующих гегемонических практик позволяет говорить о конфликтной, или неоднородной, идентичности или даже о «кризисе идентичности». Следует, впрочем, иметь в виду, что неоднородность идентичности — почти всегда вопрос степени, а не качества, поскольку в любом обществе всегда существуют разногласия на поверхностном уровне дискурсивной структуры и всегда есть глубоко седиментированные смысловые пласты, обеспечивающие некоторый минимальный консенсус. Отсутствие общих для всех членов общества дискурсивных структур означало бы не что иное, как «естественное состояние» в его наиболее радикальном, Гоббсовом варианте.

\*\*\*

Подводя итог теоретическому введению в проблематику книги, суммируем наиболее важные выводы, с тем чтобы более точно обозначить нашу позицию по обсуждавшемуся кругу вопросов. Данное исследование исходит из посылки о соразмерности лингвистического и социального, который имеет как эпистемологические, так и онтологические основания. С эпистемологической точки зрения социальная реальность доступна нам только в языке, поскольку вне языка осмысленное взаимодействие между людьми невозможно. Однако еще более существенной в этом отношении является постструктуралистская онтология, отвергающая кантианскую перспективу прозрачного для себя познающего субъекта и настаивающая на фундаментальном единстве сущего. В таком понимании субъектность возникает не из основополагающего различия материи и сознания, а из структурных противоречий и дислокаций, из того факта, что чистое бытие как наличие оказыва-

ется невозможным. Деконструкция, которую мы предлагаем понимать как обнаружение неразрешимостей в структуре, выступает тем самым как одна из форм эмансипации, причем в конечном итоге эта форма оказывается наиболее радикальной, поскольку она заранее отказывается от приписывания субъектности (то есть свободы автономной воли) любым идентичностям, определяемым вне конкретно-исторического контекста, и тем самым открывает бесконечный горизонт для практически ориентированного поиска.

Отметим, что эпистемологические и онтологические доводы, приведенные выше, находятся между собой в очевидном противоречии, однако это не нарушает логики рассуждения, поскольку они работают на разном уровне. Онтологическая перспектива проблематизирует любые субъектные позиции, в том числе и позицию исследователя. Эпистемологическая перспектива, напротив, принимает позицию исследователя, внешнюю по отношению к предмету изучения, поскольку без такой позиции невозможна наука как таковая — так же как у деконструкции нет иного языка, кроме языка метафизики. Критический пафос постструктурализма направлен не против допущений как таковых, а против их превращения в вечные и непроблематичные основания.

Тезис о соразмерности лингвистического и социального приводит нас к пониманию необходимого характера связи между идентичностью сообщества и его границами: идентичность формируется через исключение, через антагонизм и потому представляет собой фундаментально политический феномен. Наличие границы подрывает процесс сигнификации: если социальный мир организован как система различий, то появление границы как различия «более высокого порядка» задает отношения эквивалентности между всеми идентичностями, находящимися по обе стороны границы. Чистое отрицание, на котором основано антагонистическое противопоставление сообщества внешнему миру, есть условие возможности сохранения отношений различия внутри сообщества, однако

гегемония в конечном итоге стремится устранить и внутренние различия. По мере интенсификации основополагающего антагонизма внутренние для данной артикуляции идентичности либо консолидируются в политическое единство, либо, если они сопротивляются такому слиянию, вытесняются во внешний мир. В пределе гегемония обращается своим собственным отрицанием, поскольку в случае полной и безоговорочной победы гегемоническая артикуляция теряет политический момент, седиментируется в статичные структуры здравого смысла. Вместе с тем неразрешимость и порождаемая ею дислокация составляет неотъемлемую принадлежность любой структуры, так как в последней всегда присутствует внутренняя неполнота, делающая необходимой логику восполнения. Практическая политика, безусловно, опирается на седиментированные социальные структуры, однако ее существо составляет борьба за гегемонию между различными артикуляционными практиками. Тот факт, что поле этой борьбы крайне неоднородно, состоит из смысловых структур с большей или меньшей степенью седиментации, как раз и находит свое отражение в понятии дискурса, общий смысл которого состоит в обозначении социальных пределов высказывания и действия.

Политическое, таким образом, проявляет себя в акте установления границ между внутренним и внешним, осуществляемом в условиях неразрешимости. Единственным «ресурсом», на который оно может опереться в подрыве логики различий и установлении эквивалентностей, является антагонизм. Признание антагонистического характера политики не означает, однако, отрицания важности и необходимости различий — наоборот, нормативные аспекты теории гегемонии по Лаклау и Муффу включают тезис о необходимости радикализации демократической политики через открытие новых политических пространств, основанных на отношениях различия там, где гегемония стремится зафиксировать эквивалентность. Важно еще раз подчеркнуть, что различие между демократической и популистской политикой не содержательное, а формальное,

и любая политическая платформа, в зависимости от конкретно-исторических условий, может быть как демократической, так и популистской. Признание этого факта позволяет избежать догматического подхода к политике, когда те или иные институты, практики, лозунги признаются «по природе своей» демократическими или авторитарными. В третьей и четвертой главах нашего исследования мы покажем, что этот тезис является критически важным для понимания современной глобальной политики. Прежде чем перейти к «чистой» эмпирике, однако, нам необходимо обсудить некоторые насущные методологические вопросы.

## Глава 2

# МЕТОДОЛОГИЯ ДИСКУРСНОГО АНАЛИЗА: ОТБОР ИСТОЧНИКОВ, СТРАТЕГИЯ ЧТЕНИЯ, ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ

**В**о второй главе нашего исследования нам предстоит обсудить разнообразный круг вопросов, которые обычно возникают в ходе разговора о продуктивности дискурсного анализа и в целом рефлексивистского подхода к социальной реальности. Одно из наиболее часто возникающих в этом контексте возражений состоит в том, что изучение политического языка ничего не дает нам для понимания «реальных» движущих сил политического действия. Мы попытаемся показать, что противопоставление «реальных» и «декларируемых» целей политических деятелей представляет собой опасную иллюзию, которая может быть основана только на метафизическом понимании человеческой природы. Многообразие политических мотиваций, конечно, не сводится к открыто декларируемым, однако даже сугубо манипулятивная политика может быть успешной лишь в том случае, если она опирается на логику понятного, существующую в данном обществе. Под таким углом зрения вопрос, что политики думают «на самом деле», теряет актуальность. Однако, даже обосновав плодотворность и необходимость изучения политического языка и, следовательно, работы с открытыми источниками, исследователь сталкивается с вопросом о практически необъятном массиве текстов, которые потенциально представляют для него интерес. Отбор источников, стратегия их прочтения и цитирования должны определяться исходя из

задач конкретного исследования — универсальных рецептов здесь не существует. Обозначив наш подход к решению источниковедческих задач, мы переходим в данной главе к построению базовых моделей артикуляции российской национальной идентичности, на которые мы будем опираться при изучении механизмов воспроизводства гегемонической артикуляции в современной России.

## § 2.1. Как возможен дискурсный анализ? От онтологии к методологии

Говоря о методологических основаниях данного исследования, начнем с тех его особенностей, которые являются общими для всех вариантов постструктуралистского дискурсного анализа, а затем остановимся на методологической специфике нашей работы. Прежде всего этот метод применим только к анализу публичных высказываний — или, по крайней мере, в его основе всегда остается анализ материалов публичной дискуссии, открытых источников. Это само по себе уже является преимуществом при изучении актуальной международной политики, поскольку в этой сфере большинство видов потенциальных источников как раз являются закрытыми. Если исследователи, ставящие целью выяснение «подлинных» причин того или иного политического действия, всех, в том числе тайных, мотивов и предпочтений сторон, вынуждены строить свои выводы на изучении лишь небольшой части потенциально доступных источников, при использовании дискурсного анализа мы имеем возможность практически полностью охватить имеющийся материал (разумеется, проработать абсолютно все источники чаще всего невозможно физически, но при отборе источников для дискурсного анализа исследователь получает возможность отбирать источники, исходя из их *значимости*, а не из их *доступности*). Как отмечает Лене Хансен, дискурсный анализ в принципе применим и к изу-

чению обмана и дезинформации — разумеется, при условии доступности закрытых материалов, позволяющих установить расхождения между декларируемыми и подлинными целями политических акторов<sup>1</sup>. Однако, в отличие от рационалистических методов, которые часто приводят исследователей к различным версиям теории заговора или к априорному наделянию тех или иных сторон человеческой природы онтологическим приоритетом, постструктуралистский подход исходит из того, что любые, даже самые тайные, мотивы человеческих действий все равно социально обусловлены, и поэтому важнейшей теоретической задачей остается установление связи между политическим действием, с одной стороны, и нормами и идентичностями, с другой.

В самом деле, в разговоре о гибели великих идеологий и переходе к технологической, манипулятивной политике, которые в наше время становятся общим местом, обычно упускают из виду ключевой вопрос о том, подчинена ли манипуляция каким-либо структурным ограничениям, или же мы имеем дело с абсолютно свободным и абсолютно циничным субъектом, который, добываясь неведомых нам, но, по всей видимости, зловещих целей, каждый раз заново создает очередной симулякр<sup>2</sup> на том месте, где когда-то была реальность<sup>3</sup>. С точки зрения постструктуралистской теории ответ на этот вопрос очевиден. Представление о существовании в политическом пространстве какого-то таинственного центра, который контролирует всех и вся, будучи при этом абсолютно ни от чего не зависим, либо уходит в чистую метафизику, либо опирается на довольно-таки примитивную версию политического ре-

<sup>1</sup> *Hansen L.* Security as Practice. Discourse Analysis and the Bosnian War. London, New York: Routledge, 2006. P. 28.

<sup>2</sup> *Baudrillard J.* Simulacres et simulations. Paris: Galilée, 1981.

<sup>3</sup> Образ «циничного правителя» детально проработан на материале России и других постсоветских государств в исследовании Эндрю Уилсона: *Wilson A.* Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven: Yale University Press, 2005.

ализма, который, по существу, тоже в своем ядре метафизичен. В первом случае мы предполагаем, что Власть, даже если она осуществляется обычными людьми из плоти и крови, является собой некую трансценденцию, чистую волю, не обусловленную социальным опытом. Таков идеальный образ государства в романтической гегельянской традиции, которая в российском контексте представлена, например, работами Ивана Ильина<sup>1</sup> (любимого философа Владимира Путина) или трудами современных авторов наподобие Александра Панарина<sup>2</sup> или Наталии Нарочницкой<sup>3</sup> (это направление мысли анализируется во второй главе настоящего исследования под собирательным названием «романтический реализм»). Второе объяснение, напротив, предполагает, что люди у руля руководствуются вполне земными мотивами, в числе которых чаще всего фигурируют богатство и власть. Однако стремление к обогащению или к контролю над людьми — явление столь же социально обусловленное, сколь и любая другая идеологическая позиция. Разумеется, это не исключает, что та или иная система мотиваций преобладает в данной социальной группе в данный момент, но исследователь все же не вправе а priori принимать конкретную систему ценностей как характерную для элит, масс или любых других групп. Спорить с этим тезисом можно, лишь приписывая корыстность и властолюбие непосредственно человеческой природе, наделяя их онтологическим приоритетом. Еще один вариант обоснования подобного утверждения — правда, несколько менее распространенный — это постулирование радикального различия между элитами и массами: в крайней форме это приводит к утверждениям, что «жадность и пренебрежение людьми — родовая черта отечественной элиты... ее антропологическая специфика», и более

<sup>1</sup> *Ильин И.А.* О грядущей России. М.: Воениздат, 1993.

<sup>2</sup> *Панарин А.С.* Реванш истории. Российская стратегическая инициатива в XXI веке. М.: Логос, 1998.

<sup>3</sup> *Нарочницкая Н.А.* Россия и русские в мировой истории. М.: Соловьев; Международные отношения, 2003.



того, что «наша элита в социальном отношении не вполне относится к человеческому роду»<sup>1</sup>.

К сожалению, подобного рода допущения по поводу сущности человеческой природы все еще слишком широко распространены в современной науке. Среди всех направлений политической мысли феминизм, пожалуй, наиболее успешно разоблачает представления о существовании «естественных», «само собой разумеющихся» политических явлений, указывая на их гендерную природу и на социальную обусловленность гендерных различий. Однако даже феминистская теория до сих пор пребывает в состоянии раскола по поводу «имплицитной эпистемологии, в основе своей ориентированной на обнаружение истинной (если даже не биологической) женской природы и социальной реальности», по поводу исходной посылки, что «люди в первую очередь являются мужчинами или женщинами»<sup>2</sup>. Несмотря на энергичную критику эссенциализма в феминистской литературе, этот вопрос попросту «отказывается умирать»<sup>3</sup>. Постколониальная традиция социальной мысли, раскрывая исторически случайную сущность универсального субъекта Просвещения<sup>4</sup>, также наносит мощный удар по метафизике самоочевидности. В свете критического переосмысления эпистемологических посылок современной науки становится понятно, что в основе распространенных представлений о цинизме политических лидеров лежит теоретически несостоятельное придание высшего онтологического статуса эгоистическим наклонностям людей.

<sup>1</sup> Соловей В.Д. Контуры нового мира // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 11.

<sup>2</sup> Dietz M. G. Current Controversies in Feminist Theory // American Review of Political Science. Vol. 6. 2003. P. 401.

<sup>3</sup> Fuss D. «Essentially Speaking»: Luce Irigaray's Language of Essence // Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency, and Culture / Ed. by N. Fraser, S. Lee Bartky. Bloomington: Indiana University Press, 1992. P. 94.

<sup>4</sup> Fanon F. Black Skin White Masks. London: Pluto, 1991; Bhabha H. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.

Преодолеть метафизический взгляд на природу человека можно, лишь признав, что правящая элита и население не могут существовать в различных, не пересекающихся друг с другом мирах. Чтобы добиться необходимого политического результата, лидеры вынуждены говорить на языке, понятном аудитории, — и это одинаково верно в случае как демократической, так и манипулятивной политики. Манипуляция может быть успешной только в том случае, если она опирается на узловые пункты исторически существующей дискурсивной артикуляции и в силу этого соответствует логике понятного и ожидаемого, свойственной данному обществу. Более того, целеполагание элиты не может кардинальным образом отличаться от дискурсивной логики общества, в которой она функционирует. Именно это, возможно, имел в виду Мишель Фуко, когда писал о «локальном цинизме власти», рациональность которого есть «рациональность тактик», которые лишь в конечном итоге «очерчивают диспозитивы целого», и даже если намерения отдельных агентов могут казаться прозрачными, часто бывает так, что этот грандиозный замысел в целом не имеет автора<sup>1</sup>.

Даже если люди, наделенные властью, редко бывают выходцами «из народа», их личный опыт по необходимости соотносится с коллективным опытом нации. Эзотерические тексты власти не могут не иметь аналогов среди других текстов, создаваемых обществом в целом, поскольку все они находятся в схожем интертекстуальном отношении с некоторыми основополагающими нарративами, будь то труды Ильина или история Великой Отечественной войны. Чаще всего у исследователя недостает информации для того, чтобы выявить «подлинные» мотивы людей, находящихся у власти, однако установление соответствия между словами и поступками лидеров и смысловыми структурами, воспроизводимыми в открытой дискуссии, —

<sup>1</sup> Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистерум; Касталь, 1996. С. 195.

задача едва ли менее важная. Если действия властей обретают смысл при соотнесении с той или иной дискурсивной констелляцией, наше предположение, что мы правильно оцениваем логику этих действий, имеет под собой гораздо более солидное основание, чем утверждения сторонников теории рационального действия, которые чаще всего просто вменяют актору мотив.

Иногда в ситуации, когда мы можем подозревать наличие у лиц, принимающих решения, тайных мотивов, наиболее интересным оказывается вопрос, почему же эти мотивы остаются тайными. Так, подводя итог своего исследования отражения в западном дискурсе боснийской войны первой половины 1990-х годов, Лене Хансен обращает внимание на то, что в официальных материалах практически не встречается указаний на «исламскую угрозу» в качестве оправдания бездействия западных государств в начальный период конфликта. О страхе перед «исламским Другим» как вероятной причине бездействия говорили лишь те, кто критиковал политику западных лидеров, призывая к более активному вмешательству в конфликт. Это наблюдение, отмечает Хансен, отнюдь не исключает возможности, что антиисламские аргументы использовались в закрытых дискуссиях и секретных документах, однако в таком случае «появляется новый исследовательский вопрос: почему случилось так, что правительства воздерживались от легитимации своей политики ссылками на “исламского Другого”, особенно с учетом того, что даже до 11 сентября этот троп имел долгую историю в западной мысли?»<sup>1</sup> В самом деле, после террористических атак сентября 2001 года противопоставление исламу как Другому стало общим местом в западной политической мысли, и сравнение этих двух артикуляций может оказаться многообещающим предметом исследования.

Однако изучение обмана, дезинформации и умолчаний в рамках дискурсного анализа может носить лишь побочный,

<sup>1</sup> *Hansen L. Security as Practice. P. 219—220.*

иллюстративный характер. Наиболее важной аксиомой дискурсного анализа является буквальная интерпретация источников: для нас важен их прямой, а не скрытый смысл. «Нас не интересует ни то, что действительно думают отдельные лидеры, ни то, в чем состоят представления, распространенные среди населения (хотя последнее ближе [к сфере наших интересов]), — нас интересуют коды, которые субъекты используют, когда обращаются друг к другу»<sup>1</sup>, — поясняет О. Вэвер. Именно на основании изучения этих «кодов», то есть отношений между означающими, исследователь получает возможность реконструировать смысловое поле, в котором происходит борьба за гегемонию. Патрик Джексон также решительно выступает против одержимости «реальными» мотивами политических агентов, столь характерной для современных социальных наук: «Существо вопроса не в том, что мотивы отсутствуют... но в том, что мы не можем систематически рассуждать о них — и, следовательно, их анализировать — без возврата к представлениям, смысл которых определяется в публичной сфере»<sup>2</sup>. В качестве наиболее убедительных аргументов против предпочтения скрытых мотивов публичным высказываниям Джексон ссылается на определение мотива у Макса Вебера и на критику Витгенштейном идеи индивидуального языка. Вебер определяет мотивы социального актора как «смысловой комплекс, который представляется либо самому автору, либо наблюдателю осмысленным “основанием” для образа действия, о котором идет речь»<sup>3</sup>, — ясное свидетельство того, что для немецкого классика процесс легитимации зависит не от убежде-

<sup>1</sup> *Wæver O. Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory // European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States / Ed. by L. Hansen, O. Wæver. London; New York: Routledge, 2002. P. 26—27.*

<sup>2</sup> *Jackson P. T. Civilizing the Enemy: German Reconstruction and the Invention of the West. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006. P. 24.*

<sup>3</sup> *Weber M. Economy and Society. Vol. 1. Berkeley: University of California Press, 1978. P. 5.*

ний, которые люди хранят «в глубине души», но от необходимости — часто глубоко интернализированной — действовать с оглядкой на общественно признанные нормы. Знаменитый пример Витгенштейна с жуком в коробке<sup>1</sup> также доказывает, что, поскольку у нас нет «прямого доступа к системе мотивации другого человека», мы вынуждены полагаться на «внешний» анализ социально значимых действий и *приписывать* мотивы другим людям, основываясь на принятых в данном сообществе стандартах поведения и легитимации<sup>2</sup>.

Отсюда очевидны различия между постструктуралистским дискурсным анализом и такими направлениями, как психологический подход и, в частности, исследование представлений, образов, стереотипов. Фундаментальное отличие здесь состоит в понимании сущности языка и, соответственно, в основополагающей концепции реальности. Изучение стереотипов исходит из референтного понимания языка: для сторонников этого подхода существует некая «объективная» социальная реальность, подлежащая однозначной интерпретации, не зависящей от смыслов и структур, создаваемых людьми в процессе взаимодействия друг с другом. Задача науки, таким образом, состоит «всего лишь» в приведении языка в соответствие с этой объективной реальностью, в освобождении от стереотипов и выработке «реальных» представлений об окружающем мире. Подобные амбиции в конечном итоге иногда приводят к полному разочарованию в «неправильной» действительности: так, Борис Кагарлицкий утверждает, что в современной России «ни один вопрос не может быть решен, потому что все они неправильно формулируются» в условиях «псевдодебатов» между «псевдопартиями», участники которых неправильно называют себя западниками, демократами или почвенниками, патриотами<sup>3</sup>. Если

<sup>1</sup> *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. С. 183.

<sup>2</sup> *Jackson P. T.* Op. cit. P. 24.

<sup>3</sup> *Kagarlitsky B.* Russia Under Yeltsin and Putin. Neo-liberal Autocracy. London, Sterling: Pluto Press, 2002. P. 63.

масштаб «искажений» реальности в общественном сознании действительно таков, трудно удержаться от отчаяния и эскапизма.

Одним из основополагающих тезисов, общих для структурализма и постструктурализма, равно как и других философских течений, выросших из структурной лингвистики, является отказ от деления социальных феноменов на объективные и субъективные. Человеческий мир для этого философского направления представляет собой единство материального и мыслимого, лингвистического и нелингвистического. Любая дискурсивная структура как таковая имеет материальный характер, она существует как система отношений различия и эквивалентности между материальными и нематериальными объектами, и эта система, помимо всего прочего, является необходимым условием для деятельности человека по преобразованию окружающего его материального мира. Для того чтобы построить дом, необходимо владеть системой различий между отдельными строительными элементами — кирпичами, столбами, плитами, перекладинами и т. д., — которая не может существовать лишь на уровне абстрактных «идей» (как иронически замечают Э. Лаклау и Ш. Муфф, дом нельзя построить, владея лишь идеей «строительного камня»)<sup>1</sup>. Соответственно, «практика артикуляции, как фиксация/дислокация системы различий, не может состоять из чисто лингвистических явлений, но, напротив, должна пронизывать всю материальную плотность разнообразных институтов, ритуалов и практик, посредством которых конструируется дискурсивная формация»<sup>2</sup>.

В свете вышесказанного становится понятно, что в рамках теории дискурса нет места таким терминологическим оппозициям, как «верная, объективная перцепция» — «мисперцеп-

<sup>1</sup> *Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 1985. P. 108.* Классический пример со строительством дома заимствован авторами «Гегемонии» также у Людвиг Витгенштейна: *Витгенштейн Л.* Указ. соч. С. 81—84.

<sup>2</sup> *Laclau E., Mouffe C. Op. cit. P. 109.*

ция»<sup>1</sup>, или «образы», т. е. рациональные представления о мире, и «стереотипы» — «упрощенные, эмоционально окрашенные представления, основанные, как правило, не на личном, а на групповом опыте», которые «отличаются [...] одномерностью и отсутствием обратной связи с реальностью»<sup>2</sup>. Более близким к дискурсному анализу оказывается понятие социальных иллюзий как «ложных представлений... связанных с социальными установками индивида»<sup>3</sup>, поскольку оно подчеркивает социальную значимость интересубъективных воззрений, их зачастую определяющее влияние на характер социальных процессов, однако для дискурсного анализа первичным является само существование таких интересубъективных явлений, а не их истинность или ложность. К подобного рода оппозициям относится и противопоставление рационального сознания, основанного на изучении реального мира, и мифологического сознания, которое «конструирует *свой* мир, существующий и развивающийся по своим собственным законам»<sup>4</sup>. Для дискур-

<sup>1</sup> Филитов А. М. «Образ врага»: роль мисперцепции в формировании менталитета и политики «холодной войны» // XX век: основные проблемы и тенденции международных отношений. М.: ИВИ РАН, 1992. С. 135—136.

<sup>2</sup> Голубев А. В. Мифологизированное сознание и внешний мир // Бахтинские чтения. Философские и методологические проблемы гуманитарного познания. Орел: Издательство ОГТРК, 1994. С. 108. Ср. с определением «идеологического стереотипа», предлагаемым С. В. Чугровым: Чугров С. В. Россия и Запад: метаморфозы взаимовосприятия. М.: Наука, 1993. С. 24. См. также статью Григория Вайнштейна, в которой идет речь об иррациональном характере восприятия России на Западе, и другие материалы того же выпуска «Неприкосновенного запаса»: Вайнштейн Г. Россия глазами Запада: стереотипы восприятия и реальности интерпретации // Неприкосновенный запас. 2007. № 1. С. 13—23.

<sup>3</sup> Беленький В. Х. Социальные иллюзии: опыт анализа // Социологические исследования. 2001. № 5. С. 110.

<sup>4</sup> Голубев А. В. Мифологическое сознание в политической истории XX века // Человек и его время. М.: Институт истории СССР, 1991. С. 49. — Выделено в оригинале.

сного анализа понятия мисперцепции и стереотипа не имеют смысла, равно как и вообще недопустима оценка господствующих в обществе представлений в категориях истинного и ложного. То, что представляется ложным представлением или стереотипом в пределах одной дискурсивной артикуляции, может быть аксиомой с точки зрения другой.

При этом следует особо подчеркнуть, что постструктурализм отнюдь не предполагает волюнтаристского или идеалистического подхода к действительности: дискурс как система формирования высказываний обладает значительной стабильностью, которая обеспечивает устойчивость, *реальность* существующей социально-когнитивной структуры. Эта система функционирует согласно определенным правилам, произвольное изменение которых невозможно: любая реалистичная политическая программа должна обладать некоторой (как правило, весьма значительной) долей конформности, так как она должна соответствовать логике понятного в данном обществе, опираться на имеющуюся дискурсивную структуру. Пропагандируемый Роланом Бартом индивидуальный политический выбор в пользу Нового, отрицающий правила во имя исключения, может, при определенных условиях, привести к освобождению индивида от власти дискурса, однако, будучи явлением маргинальным и исключительным<sup>1</sup>, едва ли способен подорвать структуры господства и подчинения в масштабах всего общества.

Таким образом, дискурсивный анализ позволяет избежать двух крайностей, весьма распространенных в общественно-политической мысли: реификации социальных явлений и эссенциализации культурных различий, с одной стороны, и «постмодернистского» волюнтаризма и релятивизма — с другой. Это особенно актуально при работе над международной проблематикой, где роль культурных особенностей, различий в

<sup>1</sup> Сам Барт признает маргинальность и эксцентричность этой «тяги к Новому»: *Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 495.*



самоопределении народов и политических единиц становится все более очевидной. Крайности позитивизма и радикально-го постмодернизма в этих вопросах часто сходятся: различия в политических практиках списываются на культурные особенности, которые в данном случае фигурируют как видимость объяснения, ничего на деле не объясняя. Владимир Мау совершенно справедливо отвергает попытки объяснить ход экономических реформ в России ссылками на особенности «менталитета»:

Национально-культурные особенности — фактор, не поддающийся количественной верификации. Одинаково убедительный набор исторических аргументов доказывает, что Россия, скажем, самая индивидуалистическая и самая коллективистская страна, что либерализм органически присущ или совершенно чужд ее истории и т. п. Иногда кажется, что фактор «национально-культурно-исторических-etc.» особенностей играет в экономико-политических дискуссиях роль *deus ex machina* в греческих трагедиях: он возникает тогда, когда не удастся найти других объяснений происходящих событий<sup>1</sup>.

Последовательное признание того, что любое сообщество является продуктом гегемонической практики, является гарантией против реификации коллективных агентов. Онтологический или методологический индивидуализм, который отрицает реальность коллективных субъектов или, в более мягкой форме, ставит под вопрос возможность изучения коллективной идентичности как таковой, также несовместим с основными положениями постструктурализма, поскольку исходит из примата самодостаточного субъекта, наделенного свободной волей и прозрачного для собственного сознания, способного к полной рефлексии и рациональному целеполаганию. Действи-

<sup>1</sup> Мау В. Российские экономические реформы глазами их западных критиков // Вопросы экономики. 1999. № 11. С. 21—22.

тельно, большинство коллективных идентичностей имеют случайный характер, обусловлены историческими обстоятельствами, конструируются людьми в процессе повседневного взаимодействия, а вовсе не предопределены географическим положением, генетическими особенностями и иными «объективными» факторами. Однако признание этого факта отнюдь не означает, что деконструкция коллективной идентичности, выявление ее не необходимого характера должны автоматически решить все проблемы и снять имеющиеся конфликты: как пишут Барри Бузан и Оле Вэвер, «израильско-палестинский конфликт нельзя урегулировать путем раскрытия случайной природы обеих групповых идентичностей»<sup>1</sup>. Мы уже неоднократно отмечали, что социально-когнитивная структура любого общества обладает значительной долей инерции, и ее преобразование возможно лишь путем постепенной трансформации существующей артикуляционной практики с учетом степени седиментации тех или иных смысловых структур. Более того, при постановке подобной задачи немедленно возникает уже обсуждавшийся вопрос о природе субъектности: индивидуальная идентичность не менее случайна, чем коллективная, и столь же структурно детерминирована. Реляционная природа всех идентичностей делает любые изменения системными: часть нельзя изменить, не изменив целого, и наоборот. Неспособность увидеть это характерна для сторонников теории «рационального деятеля», которую резко критикует Пьер Бурдьё и которая постоянно балансирует между абсолютным детерминизмом (чаще всего экономическим) и абсолютным же волюнтаризмом. Именно как волюнтаризм можно охарактеризовать утверждения, что та или иная практика является результатом «неадекватной» оценки субъектом (индивидом, нацией, государством и т. д.) собственных

<sup>1</sup> *Buzan B, Wæver O. Slippery? Contradictory? Sociologically Untenable? The Copenhagen School Replies // Review of International Studies. Vol. 23. 1997. No. 2. P. 246.*

«интересов», чаще всего выражаемых через экономическую категорию эффективности (т. е. максимизации приобретений по отношению к затратам)<sup>1</sup>. Бурдые противопоставляет экономическому детерминизму идею «экономии практик»: каждая практика может быть наилучшим образом приспособлена «для достижения целей, вписанных в логику определенного поля», и потому действия

могут быть разумными, не являясь результатом разумного проекта или, с еще большим основанием, — рационального расчета; наделенными неким родом объективной финальности, не являясь сознательно организованными по отношению к эксплицитно поставленной цели; умопостигаемыми и последовательными, не являясь результатом логичного замысла и взвешенного решения; отвечающими будущему, не являясь продуктом проекта или плана<sup>2</sup>.

Конечно, действие в политике, особенно во внешней, почти всегда есть результат рациональной стратегии, однако цели в такой стратегии далеко не всегда задаются рационально. Так, политика противодействия расширению НАТО проводится российским руководством вполне сознательно и рационально, несмотря на почти полную невозможность доказать наличие реальной угрозы со стороны Североатлантического альянса. Весьма вероятно, что многие политики выступают с антинатовскими заявлениями не потому, что верят в такую угрозу сами, а потому, что в нее верят их избиратели. При этом, одна-

<sup>1</sup> При этом сами по себе приобретения и затраты не обязательно имеют экономическую природу: речь может идти о максимизации таких благ, как безопасность, власть, свобода и др. Экономическим является лишь образ мышления, который теория «рационального деятеля» приписывает агенту. О сущности экономического подхода к действительности см. классический труд П. Хейне: *Хейне П. Экономический образ мышления*. М.: Дело, 1992.

<sup>2</sup> *Бурдые П. Практический смысл*. СПб.: Алетейя, 2001. С. 98—99.

ко, любой представитель политической элиты также является обладателем определенного габитуса, который фиксирует в качестве нормы борьбу за максимизацию собственного политического капитала путем эксплуатации страхов и предпочтений электората, какими бы иррациональными они ни представлялись отдельным политикам. Этот габитус с неизбежностью порождает дискурсивную практику постулирования угрозы со стороны НАТО, воспроизводившую среди избирателей представления и страхи времен холодной войны и, что еще важнее, идентичность России как сверхдержавы, противостоящей Западу. Взятая в комплексе, эта дискурсивная практика не может быть описана исключительно в категориях рационального принятия решений, поскольку кардинально отличающиеся друг от друга варианты артикуляции российской идентичности предполагают диаметрально противоположные варианты интерпретации национальных интересов, и выбор между ними не может основываться только на рациональной оценке фактов. Точно так же — и это будет показано в дальнейшем — временное изменение российской позиции по данному вопросу после терактов 11 сентября 2001 года и подписания Римских соглашений Россия — НАТО в мае 2002 года не может быть адекватно представлено как решение, волевым образом принятое на основании рациональной переоценки национальных интересов политической элитой и обществом в целом. Анализ российского внешнеполитического дискурса позволяет заключить, что его трансформация на уровне базовой структуры была не столь уж значительной, но изменившиеся внешние обстоятельства дали возможность приспособить его к решению новых задач, таких как сближение с НАТО и Западом в целом. Тот факт, что это приспособление стало возможным именно и только в такой уникальной исторической ситуации, подтверждает тезис, что логика политической практики допускает некоторую гибкость, но лишь в достаточно узких пределах, которые заданы дискурсом на интересубъективном уровне.

Еще одно замечание касается методологической достаточности при работе над эмпирическими задачами. Утверждение о фундаментальной непрочности всех социальных явлений предполагает возможность проблематизации всех идентичностей и реактивации всех седиментированных решений, но это не означает обязательного требования такой проблематизации: научный дискурс, как и любой другой, невозможен без частичной фиксации означающих, которая принимается как данность. Степень согласия с такой фиксацией зависит от целей и задач исследования. При изучении политического процесса в условиях стабильности, когда все участники уверены в собственной идентичности и знают «правила игры», раскрытие исторически обусловленного характера этих правил и идентичностей может не принести никаких дополнительных результатов, поэтому реалистические объяснения с позиций выгоды и интересов или геополитический анализ оказываются вполне достаточными. В то же время возможность такой проблематизации нельзя упускать из виду хотя бы потому, что она является единственным возможным основанием для появления альтернативных артикуляционных практик и, соответственно, не добавляя ничего к *объяснению* реальности, может открыть дополнительные возможности для ее *изменения*. В условиях кризиса, трансформации идентичности и переопределения политического поля ограниченность реализма и геополитики становится еще более очевидной: они воспринимают как данность те элементы социальной реальности, борьба вокруг воспроизводства и модификации которых как раз и составляет сущность кризисного периода. Геополитика, например, прекрасно работала в условиях холодной войны, когда существовали два основных субъекта мировой политики, борющихся между собой за сферы влияния. Сегодня геополитические объяснения действительны лишь в том смысле, что геополитический дискурс остается частью социально-когнитивной структуры в России и США, однако в фокусе политического процесса в обеих странах оказался гораздо более критический воп-

рос «Кто мы?», некоторые (весьма распространенные) версии ответа на который делают геополитические построения бессмысленными. Поэтому расширение американского военного присутствия в бывших республиках СССР, вероятно, можно объяснить и с точки зрения геополитической логики, которой руководствуется значительная часть правящих кругов в Соединенных Штатах, однако оценка российской реакции и механизмов ее формирования с геополитической точки зрения была бы равнозначна тому, что Бурдые применительно к этнографии называет «привычкой мифологически мыслить в науке о мифологиях... мифологически решая мифологические проблемы»<sup>1</sup>. Чтобы избежать подобного мифологического мышления, нужно сначала понять, в чем состоит самоопределение России в сегодняшнем мире в целом и, в частности, по отношению к США, а этого нельзя добиться без изучения процессов артикулирования идентичности и границ политического сообщества.

Особо следует остановиться на понятии национальных интересов как способе концептуализации политического процесса. С точки зрения подхода, принятого в данном исследовании, национальные интересы представляют собой один из характерных примеров трансцендентального означаемого, которое структурирует социальную реальность, само избегая при этом процесса структурирования. В самом деле, если предположить, что политические деятели, представляющие государство, всегда действуют в полном соответствии с национальными интересами, мы оказываемся в сфере жесткого детерминизма, где структура полностью определяет агента, и, соответственно, наука лишена какого бы то ни было предназначения, кроме описательного. Перед нами — идеал платоновского государства, в котором правитель является философом, носителем знания о том, что такое сообщество, и это знание предшествует любому опыту. Нужно, конечно, отметить, что этот идеал весьма распространен в политической философии Нового времени — доста-

<sup>1</sup> Бурдые П. Практический смысл. С. 14.

точно назвать такие имена, как Гоббс, Руссо, Берк, Гегель, Милль и, наконец, Маркс и Ленин<sup>1</sup>. Кто бы ни выступал носителем истинной рациональности в этих утопиях — философы, аристократы, пролетариат, — итог развития человечества все они видят в том, что на смену политическому сообществу приходит «доблестное сообщество, свободное от конфликта и, соответственно, свободное от “политики”»<sup>2</sup>.

Если, наоборот, допустить возможность «неправильного» истолкования национального интереса политиками — интуитивно такая возможность, конечно, представляется самоочевидной, — то понятие национального интереса теряет всякую познавательную ценность: в самом деле, если между структурой и действием возникает зазор, в который «втискивается» субъектность (в виде возможности верного или неверного истолкования объективно данного национального интереса), мы не можем адекватно проанализировать действие, не исследовав механизм представительства и его «дефекты», т. е. вопрос о том, как и почему агент оказывается способен принимать решения вопреки структуре. Ответ на этот вопрос можно искать разными способами, но очевидно, что понятие национальных интересов либо отодвигается в сферу утопического, превращается в горизонт националистической практики, либо оказывается не более чем продуктом властного решения, поскольку универсальное не может существовать иначе как в исторически конкретной, особенной форме. «...Рациональность, если она вынуждена воплощаться в случайную историческую силу, сама по себе является всего лишь случайностью и для своей реализации поэтому должна конституироваться как власть»<sup>3</sup>, — пишет Эрнесто Лаклау. Современное национальное

<sup>1</sup> См.: Канустин Б. Г. «Национальный интерес» как консервативная утопия // Свободная мысль — XXI. 1996. № 3. С. 19.

<sup>2</sup> Wolin S. S. *Politics and Vision*. Boston, Toronto: Little, Brown & Co., 1960. P. 57.

<sup>3</sup> Laclau E. *New Reflections on the Revolution of Our Time*. London: Verso, 1990. P. 70.

государство как раз и является продуктом такого политического конституирования рациональности, тогда как последняя представлена в политическом дискурсе понятием национальных интересов, воплощающим «имплицитное всеобщее» в национально-особенном. Понятие национальных интересов снимает на уровне политического дискурса противоречие между характерной для Нового времени презумпцией универсальной рациональности, предположительно разделяемой всеми людьми, и не менее свойственным этой эпохе постулированием нередуцируемых особенностей «национальных организмов», каждый из которых движется по своей «естественной», уникальной траектории<sup>1</sup>. Это объясняет, почему национальные интересы превращаются в один из узловых пунктов, фиксирующих означаемые в гегемонической артикуляции, но в то же время показывает необходимость трактовать любой конкретный вариант их артикуляции как исторически обусловленный, вытекающий из фундаментального этико-политического решения, не имеющего иной основы, кроме себя самого.

В любом случае содержание понятия национальных интересов вторично по отношению к политическим границам и идентичностям, поэтому в данном исследовании ему отводится второстепенная роль. Так же как и все остальные производные дискурсивных артикуляций, это понятие используется для обозначения результата частичной фиксации означаемых, однако указание на возможность реактивации смыслов, седиментированных в этих понятиях, делается лишь тогда, когда это оправдано с точки зрения достижения исследовательских целей. Это же касается терминов, обозначающих различные политические сообщества, таких как «Запад» или «Россия». В определенном контексте указание на ложную самоочевидность этих знаков оказывается необходимым, поскольку позволяет нам понять что-то важное относительно сущности

<sup>1</sup> Капустин Б. Г. Указ. соч. С. 26—27.



происходящих вокруг них дискурсивных процессов, однако в остальные моменты они должны использоваться без лишних оговорок, чтобы не перегружать текст ненужными отступлениями. В конце концов, язык как таковой — не только политический, но и научный — есть не более чем набор конвенций, что не мешает использовать одни конвенции, принимая их в качестве относительно стабильных, для деконструкции других. Несмотря на то что Жак Деррида настаивал на определении деконструкции как «неметода», он все же, напомним, полагал, что, «чтобы поколебать метафизику, нет никакого смысла обходиться без метафизических понятий»<sup>1</sup>.

## § 2.2. Источниковедение гегемонии

Один из самых сложных вопросов, с которым сталкивается любое эмпирическое исследование дискурса, состоит в обосновании репрезентативности источников и, соответственно, адекватности реконструкции дискурсивного поля. Как отмечает Лене Хансен, политические дискурсы являются аналитическими конструктами, а не эмпирическими объектами, результатами научного обобщения огромного массива текстов, каждый из которых уникален, поскольку устанавливает свою собственную систему отношений между означаемыми<sup>2</sup>. Такое обобщение, однако, необходимо, поскольку дискурс как реляционная целостность и, соответственно, отношения гегемонии возникают лишь тогда, когда объем отношений эквивалентности между отдельными идентичностями превышает некую критическую величину, достаточную для формирования политического сообщества. При этом, с учетом сверхдетерминированности любой идентичности, отношения эквивалентности всегда

<sup>1</sup> Деррида Ж. Письмо и различие. СПб.: Академический проект, 2000. С. 355.

<sup>2</sup> Hansen L. Security as Practice. P. 51.

устанавливаются *вопреки* противоречиям, возникающим между различными семантическими связями. Так, современная гегемоническая артикуляция одновременно определяет Россию как «многонациональное» государство и приписывает русскому этносу статус «государствообразующего». Любое отдельно взятое противоречие может быть устранено в альтернативных артикуляциях национальной идентичности, но это возможно лишь ценой появления новых противоречий.

Основные принципы, согласно которым различные авторы осуществляют обобщающую реконструкцию дискурсивной реальности, определяются в зависимости от задач конкретного исследования. Так, Тед Хопф, ставя перед собой цель составить максимально полную картину идентичностей и формирующих их дискурсов в Советском Союзе 1955 года и в России 1999 года, избирает индуктивную интерпретативную методологию, основанную на проработке широкого массива различных текстов и отказе от заранее заданных ориентиров в том, что касается ожидаемой структуры дискурсивного поля<sup>1</sup>. Работа Лене Хансен ориентирована на изучение западного внешнеполитического дискурса, порожденного боснийской войной первой половины 1990-х, и функционирование в этом дискурсе практик безопасности. Соответственно, она изначально задается целью выявления небольшого числа «основных дискурсов», по-разному артикулирующих отношения между идентичностями Запада и Балкан<sup>2</sup>.

Наше исследование идентичности и границ российского политического сообщества строится вокруг понятия гегемонии, которое задает не только теоретический фокус, но и эмпирические рамки работы. Первоочередная задача, которую

<sup>1</sup> *Hopf T.* Social Origins of International Politics. Identities and the Construction of Foreign Policies at Home. Ithaca: Cornell University Press, 2002. P. 23—38.

<sup>2</sup> *Hansen L.* Security as Practice. P. 51—53.

ставил перед собой автор, состоит в том, чтобы максимально подробно реконструировать гегемоническую артикуляцию, определяющую границы политического пространства и идентичность современной России, а также проследить ее эволюцию на протяжении выбранного периода, с 1999 по начало 2007 года. Этот выбор не был неизбежным, поскольку неограниченная теория гегемонии может применяться к анализу любых дискурсивных практик; кроме того, любая сколько-нибудь значимая артикуляция, как правило, доминирует на определенном участке дискурсивного пространства. Решение о выборе таких эмпирических рамок имеет эмпирические же основания: современная Россия явно тяготеет к формированию популистского политического пространства, в котором гегемония становится все более очевидной, а альтернативные дискурсивные артикуляции все более решительно вытесняются за пределы границ сообщества. Возможные альтернативы интегрируются в гегемоническую артикуляцию путем кооптации политических акторов, представляющих эти альтернативы, или их вытеснения за пределы дискурсивного пространства. Эта стратегия опирается на мощный популистский антагонизм, противопоставляющий политическое сообщество России другим идентичностям — источникам внешних угроз. Кроме того, анализ генеалогии современной гегемонической артикуляции показывает, что она была в значительной степени детерминирована структурными факторами: роль субъектности в постсоветской российской истории представляется нам не слишком значительной, и если даже «окна субъектности» открывались в определенные моменты, решения, которые в эти моменты принимались, как правило, следовали в русле уже сложившихся тенденций. В этих условиях, как представляется, основной упор следует сделать не на исследование существующих альтернативных дискурсивных практик, а на поиск пробелов и противоречий в существующей гегемонической артикуляции. Возможно, такая исследовательская стратегия поможет определить до сих пор не выявленные степени сво-

боды в существующем политическом порядке и поможет появлению принципиально новых политических альтернатив. Если существующее положение дел было в высокой степени предопределено политическими решениями, принятыми в период революционных преобразований конца 1980-х — начала 1990-х годов, то это отнюдь не означает, что развитие российского общества столь же детерминировано в будущем. Напротив, консолидация существующих структур господства вполне способна породить новые антагонизмы и новые дислокации, а значит, открыть новое «окно субъектности».

Еще одно соображение в пользу ограничения предмета нашей работы гегемонической артикуляцией имеет дисциплинарную природу: постольку поскольку мы пытаемся соотнести нашу работу с полем международных исследований, нас интересует политическая продуктивность дискурса за пределами национального дискурсивного пространства. В случае, когда речь идет о внешней политике Российской Федерации, о ее взаимодействии с ключевыми партнерами на международной арене, неравноценность различных дискурсивных артикуляций становится особенно очевидной. Это взаимодействие происходит в своего рода дискурсивном ядре — пространстве, где национально-государственные идентичности вступают в диалог и взаимно конституируют друг друга. Далеко не все внутренние артикуляции российской национально-государственной идентичности могут претендовать на статус репрезентативных за пределами национального сообщества. Многие из них, даже если они слышны на глобальном уровне, существуют как отдельные голоса — они, безусловно, обладают российской идентичностью, однако не могут *репрезентировать* Россию. Если в дискурсивном ядре происходит взаимодействие между государствами как субъектами международной политики, то дискурсивная периферия, напротив, создает не более чем фон для такого взаимодействия. Официальные высказывания, принадлежащие к ядру, произносятся от имени России и воспринимаются как таковые, порождая ответную

реакцию, — в этом, собственно, и состоит содержание международных отношений. Когда мы говорим о позиции России по тому или иному международному вопросу, о действиях государства на международной арене, мы имеем в виду именно продукт гегемонической артикуляции, ее проекцию во внешний мир. Случается, конечно, что те или иные конкретные внешнеполитические действия противоречат логике гегемонического дискурса. Эти противоречия, как и любые другие, создают эффект дислокации, которая так или иначе трансформирует гегемоническую артикуляцию (противоречивые действия могут быть «объяснены», встроены в логику гегемонии или, например, признаны не соответствующими национальным интересам и тем самым вытеснены за пределы данной артикуляции). Самое главное соображение, однако, состоит в том, что именно в дискурсивном ядре национально-государственные идентичности конструируют друг друга через взаимное признание и отрицание. Принимая ключевой для конструктивизма и постструктурализма тезис о необходимой роли Другого в конституировании любой идентичности, мы не можем не учитывать, что взаимодействие с Другим осуществляется с разной интенсивностью на разных участках спектра возможных артикуляций национальной идентичности. Гегемоническая артикуляция, таким образом, отличается гораздо более высокой продуктивностью не только в сфере политического взаимодействия с Другими, но и с точки зрения конструирования собственной идентичности сообщества.

Ориентация на детальное исследование гегемонической артикуляции и ее политической продуктивности обусловила выбор источников. В качестве отправной точки для анализа российского политического дискурса в книге используются тексты, авторами которых являются уполномоченные субъекты — в первую очередь, президент Путин. Позиция уполномоченного субъекта, как указывает Дженифер Милликен, — это субъектная позиция, которая является результатом социальной

продуктивности дискурса<sup>1</sup>. Она не подразумевает обладания властью, поскольку феномен власти носит дисперсный характер: ею нельзя *обладать* в принципе, скорее, она является чистой функцией структуры. В то же время в определенных условиях позиции уполномоченных субъектов вполне можно принять как данность: в самом деле, едва ли есть необходимость доказывать, что в современной России выступления президента репрезентативны по отношению к гегемонической артикуляции. С точки зрения индивидуалистической перспективы лицо, занимающее ту или иную институциональную позицию, не может не быть обладателем определенного габитуса, прошедшего, так сказать, институциональную цензуру. Именно в словах и действиях институционально уполномоченных лиц структура актуализируется:

...Габитус, практическое чувство, совершает реактивацию смысла, объективированного в институциях... В той и только в той мере, в какой габитусы являются инкорпорацией одной и той же истории (или, говоря точнее, одной и той же истории, объективированной в габитусах и в структурах), практики, которые они порождают, становятся взаимопонятными и непосредственно настроенными на структуры...<sup>2</sup>

В силу этой представительской функции индивида по отношению к институту на основании сопоставления высказываний уполномоченных субъектов можно делать выводы о степени седиментации различных цепочек означающих в данном социально-историческом контексте и тем самым эмпирически констатировать гегемонический статус той или иной конкретной артикуляции. Именно высказывания уполномоченных субъектов являются отправной точкой для определения

<sup>1</sup> *Milliken J.* The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods // *European Journal of International Relations*. Vol. 5. 1999. No. 2. P. 229.

<sup>2</sup> *Бурдьё П.* Указ. соч. С. 114—122.

возможного спектра отношений сигнификации в конкретной социально-исторической ситуации и, в конечном итоге, для признания высказываний репрезентативными.

Помимо президентских выступлений, в качестве исходящих от уполномоченных субъектов в данном исследовании принимаются документы государственных органов (законы, концепции, документы Министерства иностранных дел), а также выступления представителей исполнительной власти. Все эти документы удовлетворяют критериям, которые для отбора текстов предлагает Лене Хансен: «они явным образом конструируют идентичность и политику; они служат предметом внимания со стороны широких кругов других политиков, общественности и правительств во всем мире; и они артикулируются с позиций, облеченных формальной властью»<sup>1</sup>. Только официальных источников, однако, недостаточно для реконструкции гегемонического дискурса в полном объеме, поскольку его функционирование обусловлено не только (вос)производством тех или иных смысловых конструкций на государственном уровне, но и гораздо более широким процессом постоянной реартикуляции смыслов, происходящим в обществе. Основным видом источников, позволяющим исследовать этот процесс, являются материалы периодической печати — газеты, общественно-политические и научные журналы, интернет-издания. При этом материалам, имеющим массовую циркуляцию, отдавалось предпочтение по сравнению с текстами, ориентированными на узкий круг специалистов. Например, как показывают исследования Сергея Прозорова<sup>2</sup>, современная российская консервативная мысль предлагает весьма оригинальные варианты интерпретации ключевых противоречий современности. Однако анализ современной российской дис-

<sup>1</sup> Hansen L. Security as Practice. P. 85.

<sup>2</sup> В особенности: Prozorov S. Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // Journal of Political Ideologies. Vol. 10. 2005. No. 2. P. 121—143.

курсивной реальности на основании избранного нами метода приводит к заключению, что труды современных «левых консерваторов» не способны составить основы для альтернативной гегемонической артикуляции, появление которой означало бы структурирование внутривнутриполитического пространства вокруг внутренних же оппозиций. Соответственно, труды этих исследователей преимущественно остаются за рамками настоящей работы.

Чтобы систематизировать отбор текстов, автор стремился отслеживать публикации, приуроченные к тем или иным важным событиям, таким как Косовская кампания НАТО, выступления президента с посланиями Федеральному Собранию или саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Вместе с тем главным вопросом исследовательской техники оказывается даже не выбор круга источников и не отбор конкретных текстов из этого круга, а определение высказываний и фрагментов, цитирование и интерпретация которых составляют содержательную основу анализа дискурса. В общем и целом эта задача решается на основании трех критериев: во-первых, анализируемые высказывания должны относиться к предмету исследования, то есть так или иначе артикулировать идентичность и границы российского политического сообщества. Во-вторых, они должны резонировать с господствующим дискурсом — постольку поскольку его основные параметры можно определить исходя из выступлений уполномоченных субъектов. Разумеется, в эмпирической части нашей работы цитируются не только тексты, воспроизводящие официальный дискурс, но и критические высказывания, так или иначе помогающие анализировать изучаемый материал. В этом случае дискурсивная дистанция между двумя типами высказываний достаточно очевидна и не нуждается в комментариях. В-третьих, эти высказывания должны воспроизводить устойчивый набор отношений между ключевыми означающими которые повторяются в значительном количестве текстов. При этом иногда приходится иметь дело с устойчивыми артикуляциями, которые не проти-



воречат официальному дискурсу явно, но в то же время отличаются от него по ряду существенных параметров, причем официальный дискурс периодически то сближается с такими артикуляциями, то отдаляется от них. В этом случае такие артикуляции также включаются в сферу нашего анализа — наиболее характерный пример такого рода составляет дискурс романтического реализма, подробно исследованный в главе 3.

Именно эти устойчивые смысловые структуры, воспроизводящиеся в широком спектре источников на протяжении длительных промежутков времени, в конечном итоге определили и выбор текстов, которые подробно анализируются в работе, и саму структуру книги. Она построена вокруг событий и текстов, наиболее ярко представляющих эти смысловые конструкции. Так, дискуссия по вопросу Косовской кампании НАТО 1999 года позволяет подробно рассмотреть артикуляцию романтического реализма, которая, хотя и не является в строгом смысле слова гегемонической (по крайней мере, после периода 1999—2000 годов), тем не менее оказывает значительное влияние на дискурсивное поле российской политики. Положение балтийских государств в российском политическом дискурсе выбрано для того, чтобы детально проиллюстрировать политическую продуктивность оппозиции «истинной» и «ложной» Европы — одной из ключевых бинарных структур смыслового поля российской политики. Эксплицитные артикуляции политических границ рассматриваются главным образом (хотя и не исключительно) через призму понятия «соотечественники», которое, на наш взгляд, фокусирует на себе весь комплекс противоречий российского национализма. Наконец, темы суверенной демократии и многополярности, ставшие особенно актуальными в 2006—2007 годах, позволяют с особенной остротой поставить проблему всеобщего и особенного, которая в значительной степени определяет развитие российской политики на протяжении столетий, но становится особенно важной в периоды революций и постреволюционной стабилизации. Такой подход представляется автору более про-

дуктивным по сравнению с возможными альтернативами — например, с попыткой сначала выявить все присутствующие в дискурсе варианты артикуляции российской национальной идентичности, а затем уже ранжировать их по степени значимости для национальной самоидентификации и практической политики. Реляционные связи, находящиеся в центре острого политического конфликта, по определению являются наиболее значимыми для изучаемого сообщества, и поэтому такой конкретно-исторический подход к отбору семантического материала оказывается наиболее продуктивным.

В конечном итоге, однако, необходимо признать, что важнейшим критерием методологической состоятельности эмпирического исследования является сама политическая практика. Не следует забывать о том, что важнейшей теоретической основой дискурсного анализа является фундаментальная потребность человека в придании смысла окружающей действительности и что поэтому политическое действие и политическая риторика составляют единое целое. После того как накоплен и проанализирован значительный первичный материал, официальные заявления перестают быть отправной точкой для анализа и превращаются в критерий для проверки его корректности. Речь здесь идет не столько о прогнозировании, сколько о способности предлагаемой нами интерпретации гегемонического дискурса придать смысл значительной части событий и высказываний, имевших место в изучаемый период. Разумеется, в одной книге можно проанализировать лишь небольшой круг событий и текстов, но в определенный момент автор может с удовлетворением констатировать, что разработанная им модель способна адекватно интерпретировать даже политические явления и процессы, относительно далекие от предмета исследования, — например, художественную литературу или кинофильмы, которые в книге почти не обсуждаются. Эта уверенность основана отчасти на результатах различных эмпирических исследований, в разное время проводившихся автором, — их материалы были опубликованы в виде статей, но

не все вошли в данную книгу. Еще одно вполне стандартное основание для такой уверенности — апробация результатов работы на многочисленных научных конференциях и в публичных выступлениях автора. Разумеется, эта уверенность никогда не может быть абсолютной: результаты любой научной работы всегда предварительны и могут быть уточнены или оспорены другими исследователями<sup>1</sup>. В этом, как известно, и состоит суть процесса научного поиска и одна из главных целей публикации научных трудов.

### § 2.3. Понятие секьюритизации и его значение для исследования политических процессов

Со времен окончания холодной войны в науке о международных отношениях, а также в смежных областях наблюдается постоянный рост интереса к исследованиям в области безопасности, который сопровождается расширением самого понятия. Сегодня стало обычным рассуждать не только о «традиционной», «жесткой», т. е. военной, безопасности, но и о ее «мягких» формах — экономической, экологической, продовольственной, миграционной, энергетической и даже «культурной». Последовательными сторонниками расширительной интерпретации понятия безопасности, его переориентации на индивидуальный уровень являются приверженцы критического направления исследований безопасности (так называемая валлийская школа)<sup>2</sup> и феминистического подхода<sup>3</sup>. Не все авторы, однако, согласны с подобной реконцептуализацией од-

<sup>1</sup> Ср.: *Hopf T.* Op. cit. P. 31—33.

<sup>2</sup> *Critical Security Studies: Concepts and Cases / Ed. by K. Krause, M. C. Williams.* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

<sup>3</sup> *Тикнер Дж. Э.* Мировая политика с гендерных позиций. М.: Культурная революция, 2006.

ного из ключевых понятий международных отношений — некоторые считают, что расширенное толкование лишает его эвристической ценности<sup>1</sup>. Расширительная интерпретация понятия безопасности ведет к тому, что оно начинает включать практически все сферы жизни общества, и тем самым его использование перестает быть продуктивным, поскольку ничего не добавляет к нашему знанию о социальной реальности. Вместе с тем сторонникам узкого понимания безопасности так и не удалось предложить сколько-нибудь убедительных теоретических или методологических оснований для ограничения употребления этого термина, и в целом ни одна из названных школ не смогла выработать убедительных критериев, которые позволили бы четко и недвусмысленно обосновать необходимость применения понятия безопасности именно и только к данному кругу проблем<sup>2</sup>.

Интересно отметить, что аргументы, обосновывающие релевантность традиционных подходов к изучению безопасности, можно и даже необходимо сформулировать исходя из постструктуралистских посылок об укорененности социальных институтов в историческом и лингвистическом контексте. Как указывает Роб Уокер, «значение понятия безопасности привяза-

<sup>1</sup> Первые работы, в которых был сформулирован этот аргумент, появились еще на рубеже 1990-х годов: *Deudney D. The Case Against Linking Environmental Degradation and National Security // Millennium. Vol. 19. 1990. No. 3. P. 461—476.* См. обзор дискуссий между «расширителями» и «традиционалистами» в: *Buzan B, Wæver O, Wilde J. de. Security: a New Framework for Analysis. Boulder, London: Lynnie Rienner, 1998. P. 2—5; Terriff T, Croft S, James L, Morgan P.M. Security Studies Today. Cambridge, Malden: Polity Press, 1999; Smith S. The Increasing Insecurity of Security Studies: Conceptualizing Security in the Last 20 Years // Critical Reflections on Security and Change / Ed. by S. Croft, T. Terriff. L., Portland: Frank Cass, 2000. P. 72—101; Сергунин А.А. Международная безопасность: новые политические подходы и концепты // Полис. 2005. № 6. С. 126—137.*

<sup>2</sup> *Aradau C. Security and the Democratic Scene: Desecuritization and Emancipation // Journal of International Relations and Development. Vol. 7. 2004. No. 4. P. 397—400.*

но к исторически конкретным формам политического сообщества»<sup>1</sup> — то есть, если говорить об исторических реалиях Нового времени, к суверенному государству как главной форме организации политического пространства. Классическая формулировка понятия безопасности принадлежит не кому иному, как Томасу Гоббсу, который настаивал на том, что преодоление естественного состояния, обеспечение порядка и, как мы сказали бы сейчас, безопасности подданных составляет смысл существования государства, главный и, возможно, даже единственный источник его легитимности. Характерное для политической системы Нового времени противопоставление порядка и анархии и соответствующее ему радикальное деление политики на внутреннюю и внешнюю приводят к тому, что именно возможное разрушение государства в результате враждебных действий извне либо вследствие крушения внутреннего порядка начинает восприниматься как фундаментальная, экзистенциальная угроза благополучию нации — это представление и составило основу современного понятия национальной безопасности<sup>2</sup>. Таким образом, говоря словами Лене Хансен, в политической мысли Нового времени «угрозы безопасности не просто подрывают государство, представляя собой явления, которые можно устранить, — напротив, они конституируют государство: государство обретает представление о самом себе только через противопоставление радикально чуждому, угрожающему Иному»<sup>3</sup>. В сущности, здесь мы

<sup>1</sup> *Walker R. B. J. Security, Sovereignty, and the Challenge of World Politics // Alternatives. Vol. 15. 1990. No. 1. P. 5.*

<sup>2</sup> *Asbley R. The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International Politics // Alternatives. Vol. 14. 1990. No. 4. P. 403—434; Walker R. B. J. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Campbell D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity / Revised edition. Manchester: Manchester University Press, 1998. P. 53—60.*

<sup>3</sup> *Hansen L. Security as Practice. P. 34. См. также: Campbell D. Op. cit. P. 12—13.*

опять имеем дело со Шмиттовой фигурой врага, конституирующей политическое сообщество. Таким образом, в классической политической мысли Нового времени индивидуальная безопасность если и может служить предметом заботы государства, то все равно имеет второстепенное значение перед лицом угроз выживанию сообщества<sup>1</sup>.

Однако само рассмотрение проблематики безопасности под таким углом зрения предполагает, что его концептуализация в духе Гоббса исторически конкретна и может уступить место любой другой в случае формирования новой политической системы. Вместо догматических попыток отыскать «единственно верное понимание» термина «безопасность», задача исследователя состоит в том, чтобы понять, как его интерпретация меняется с течением времени. Если современная нам концептуализация безопасности в отдельных своих элементах перестает соответствовать базовым принципам организации политического порядка, это может свидетельствовать об изменениях этих принципов: в самом деле, распространение «расширительных» трактовок безопасности началось практически одновременно с рассуждениями о трансформации Вестфальской системы, размывании понятия суверенитета и т. д. Признание фундаментального характера понятия национальной безопасности для мира суверенных государств не означает исключения возможности трансформации этого понятия в меняющемся мире.

Проблема интерпретации понятия безопасности имеет и нормативно-политическую составляющую. Как стало особенно очевидно после событий 11 сентября 2001 года, тотальная озабоченность безопасностью ведет к распространению массовых истерий, а также к введению все новых контрольных процедур, прямые и косвенные издержки которых намного превышают потери в результате террористических актов. Про-

<sup>1</sup> *Hansen L.* Gender, Nation, Rape: Bosnia and the Construction of Security // *International Feminist Journal of Politics*. Vol. 3. 2001. No. 1. P. 55—75; *Idem.* Security as Practice. P. 36.

блема преувеличенного внимания жителей благополучных стран к собственной безопасности, конечно же, не нова. Еще в 1964 году Джон Фаулз с огорчением писал о том, что, стремясь к тотальной безопасности, жители западного мира фактически гонятся за миражом: «...Совершенно безопасно бывает в банковском сейфе, безопасно в атомном бомбоубежище, смерть — тоже безопасное состояние. Безопасность — одна из тюремных стен общества изобилия; уже начиная с рах Романа собственная безопасность стала патологически навязчивой европейской идеей»<sup>1</sup>. Полная безопасность несовместима с жизнью, поскольку все живое рано или поздно погибает, а значит, жизнь всегда находится под угрозой. Однако иллюзия достижимости абсолютной безопасности является важным фактором современной социальной динамики. Поэтому не прекращаются и попытки трезво обсудить проблему безопасности, взвесить относительную значимость различных рисков и оценить, в какой мере мы готовы ради защиты от них пожертвовать привычным образом жизни (а значит, в какой-то мере и собственной свободой).

Не отрицая необходимости и важности подобных дискуссий, группа исследователей, работавших в Копенгагенском институте исследования мира (COPRI) и Копенгагенском университете, еще в 1990-е годы обратила внимание на то, что с точки зрения политических наук наиболее продуктивной оказывается постановка вопроса не о том, какая из угроз более реальна, а о самом характере общественной дискуссии по проблемам безопасности. За этим кругом авторов закрепилось название «копенгагенской школы»<sup>2</sup>; ее первым фундаменталь-

<sup>1</sup> Фаулз Дж. Кротовые норы. М.: Махаон, 2002. С. 29.

<sup>2</sup> Термин «копенгагенская школа» был предложен Биллом Максуини в его статье 1996 года, весьма критически оценивавшей теорию секьюритизации и вызвавшей бурную дискуссию: *McSweeney B. Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School // Review of International Studies. Vol. 22. 1996. No. 1. P. 81—93*; Небезынтересную попытку написать интеллектуальную историю этой школы, наряду с другими крити-

ным произведением стала коллективная монография «Безопасность: новая модель анализа», опубликованная в 1998 году<sup>1</sup>.

На первый взгляд может показаться, что подход, предлагаемый главными создателями теории секьюритизации Оле Вæвером и Барри Бузаном, также относится к числу «расширительных», поскольку он признает, что в сферу исследований безопасности могут включаться любые вопросы общественной жизни, а не только проблемы защиты от военных угроз. На деле, однако, «копенгагенская школа» переводит разговор на более высокий теоретический уровень, где дискуссия между «расширителями» и «традиционалистами» может рассматриваться в ее взаимосвязи с другими политическими процессами и дискурсивными практиками. Она не участвует в дискуссии о соотношении угроз, а изучает эту дискуссию с целью выяснения того, какие угрозы данное общество признает в качестве объективно существующих, как расставляются приоритеты публичной политики в области безопасности. Собственно, такой подход к проблеме не является уникальным достижением «копенгагенской школы»: так, Дэвид Кэмпбелл открывает свою книгу о взаимосвязи политики безопасности и национальной идентичности США, первое издание которой вышло еще в 1992 году, следующими словами:

Опасность не есть объективное состояние... В мире существуют «реальные» опасности: заразные болезни, несчастные случаи, политическое насилие (среди прочих)

ческими подходами к изучению безопасности, предпринял в 2004 году О. Вæвер: *Wæver O.* Aberystwyth. Paris; Copenhagen. New «Schools» in Security Theory and their Origins between Core and Periphery. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Montreal, March 17—20, 2004. <http://www.isanet.org/archive.html>.

<sup>1</sup> *Buzan B., Wæver O., Wilde J. de.* Op. cit. См. также: *Wæver O.* Securitisation and Desecuritisation // *On Security* / Ed. by R. D. Lipschutz. New York: Columbia University Press, 1995. P. 46—86; *Idem.* European Security Identities // *Journal of Common Market Studies*. Vol. 34. 1996. No. 1. P. 103—132.



имеют последствия, которые буквально можно понимать в терминах жизни и смерти. Но не все риски равнозначны, и не все риски интерпретируются как угрозы. Современное общество — это настоящий рог изобилия, наполненный опасностью; в самом деле, вокруг нас столько рисков, что объективное знание всего, что нам угрожает, невозможно. События или факторы, которые мы определяем как опасные, получают эту характеристику только через посредство интерпретации различных измерений их опасности. Более того, достоверность этого процесса интерпретации не зависит от остроты проявления этих «объективных» факторов<sup>1</sup>.

Очевидно, например, что террористическая угроза Соединенным Штатам Америки объективно существовала до 11 сентября 2001 года, однако лишь после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне она стала серьезным, во многом решающим фактором, определяющим эволюцию внутренней и внешней политики США. Точно так же можно приводить бесчисленные аргументы в пользу утверждения, что расширение НАТО не несет угрозы для России, однако сам факт того, что это расширение интерпретируется в России как угроза, свидетельствует о продолжающемся процессе воспроизводства образа Запада как геополитического противника — процессе, который, конечно, необходимо всесторонне исследовать. Изучение социального конструирования угроз, таким образом, позволяет более полно оценить социальную динамику внутри данного сообщества, а также его отношения с внешним миром.

Не все исследователи согласны с подходом «копенгагенской» школы к проблеме безопасности: ей ставят в вину пренебрежение объективной реальностью международной политики и чрезмерную концентрацию на «субъективных» факторах, в первую очередь на языке; отрицание позитивной роли госу-

<sup>1</sup> *Campbell D.* Op. cit. P. 1—2.

дарства в обеспечении безопасности<sup>1</sup>; статичное и «объективистское» понимание общества и реификацию общественной идентичности<sup>2</sup>; недостаточное осознание политических последствий используемого метода<sup>3</sup>; отсутствие проработанной концепции политики и политизации<sup>4</sup> и др. По этому поводу в профессиональных журналах нередко разворачиваются оживленные дискуссии, и доводы сторонников «копенгагенской школы»<sup>5</sup> звучат по меньшей мере столь же убедительно, как и критика со стороны их оппонентов. Лучшим свидетельством в пользу этого подхода, однако, является его все более широкое

<sup>1</sup> *Knudsen O. F.* Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization // *Security Dialogue*. Vol. 32. 2001. No. 3. P. 358—364.

<sup>2</sup> *McSweeney B.* Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 68—78. Эта глава книги Б. Максуини представляет собой переработанную версию уже упоминавшейся журнальной статьи: *McSweeney B.* Identity and Security.

<sup>3</sup> *Eriksson J.* Observers or Advocates? On the Political Role of Security Analysis // *Cooperation and Conflict*. Vol. 34. 1999. No. 3. P. 314—317, 322; *Idem.* Debating the Politics of Security Studies. Response to Goldmann, Wæver and Williams // *Cooperation and Conflict*. Vol. 34. 1999. No. 3. P. 349—350.

<sup>4</sup> *Edkins J.* Poststructuralism and International Relations. Bringing the Political Back In. Boulder, London: Lynne Rienner, 1999. P. 9—11; *Aradau C.* Security and the Democratic Scene. Обсуждение статьи Клодии Арадо см. в: *Taureck R.* Securitization Theory and Securitization Studies // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 9. 2006. No. 1. P. 53—61; *Behnke A.* No Way Out: Desecuritization, Emancipation and the Eternal Return of the Political — a Reply to Aradau // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 9. 2006. No. 1. P. 62—69; *Alker H.* On Securitization Politics as Contexted Texts and Talk // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 9. 2006. No. 1. P. 70—80; *Aradau C.* Limits of Security, Limits of Politics? A Response // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 9. 2006. No. 1. P. 81—90.

<sup>5</sup> *Buzan B., Wæver O.* Slippery? Contradictory?; *Wæver O.* Securitizing Sectors? Reply to Eriksson // *Cooperation and Conflict*. Vol. 34. 1999. No. 3. P. 334—340; *Pettiford L.* When Is a Realist Not a Realist? Stories Knudsen Doesn't Tell // *Security Dialogue*. Vol. 32. 2001. No. 3. P. 369—374.

использование другими исследователями, работающими над самыми разнообразными темами<sup>1</sup>.

Теория секьюритизации изучает безопасность как речевую практику и в этом смысле может рассматриваться не только как результат развития рефлексивистской теории международных отношений, но и как один из частных случаев теории речевых актов, предложенной в середине XX века Джоном Остином<sup>2</sup> и детально разработанной в трудах его ученика Джона Сирла<sup>3</sup>. Первоначально внимание Остина привлекли прямые речевые акты, или, как он называл их, явные перформативные высказывания, которые и по форме, и по содержанию направлены на совершение действий посредством слов. К числу явных перформативов относятся такие высказывания, как «Я приношу свои извинения», «Вы уволены», «Объявляю вас мужем и женой». Перформативные высказывания, в отличие от

<sup>1</sup> Вот лишь несколько примеров недавних работ наиболее авторитетных исследователей, в которых понятие секьюритизации играет ключевую роль: *Huysmans J.* Defining Social Constructivism in Security Studies: The Normative Dilemma of Writing Security // *Alternatives*. Vol. 27. 2002. Special Issue. P. 41—62; *Williams M. C.* Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics // *International Studies Quarterly*. Vol. 47. 2003. No. 4. P. 511—531; *Huysmans J.* A Foucaultian View on Spill-Over: Freedom and Security in the EU // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 7. 2004. No. 3. P. 294—318; *Lodge J.* EU Homeland Security: Citizens or Suspects? // *European Integration*. Vol. 26. 2004. No. 3. P. 253—279; *Roe P.* Securitization and Minority Rights: Conditions of Desecuritization // *Security Dialogue*. Vol. 35. 2004. No. 3. P. 279—294; *Lynch D.* «The Enemy Is at the Gate»: Russia after Beslan // *International Affairs*. Vol. 81. 2005. No. 1. P. 141—161; *Shapiro M. J.* Every Move You Make: Bodies, Surveillance, and Media // *Social Text*. Vol. 23. 2005. No. 2. P. 21—34; *Weber C.* Securitising the Unconscious: The Bush Doctrine of Preemption and Minority Report // *Geopolitics*. Vol. 10. 2005. No. 3. P. 482—499.

<sup>2</sup> *Остин Дж.* Как производить действия при помощи слов. Смысл и сенсibiliи. М.: Идея-пресс, 1999.

<sup>3</sup> См.: *Searle J.* Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1969; *Idem.* The Construction of Social Reality. New York: Free Press, 1995.

описательных (в терминологии Остина — «констативов»), не могут быть истинными или ложными, поскольку их основная цель — не сообщить о чем-то, а произвести то или иное действие — в наших примерах, соответственно, извиниться, начать процесс увольнения, официально подтвердить заключение брака. Вместо категорий истинности и ложности Остин предложил рассматривать речевые акты с точки зрения их успешности и удачности. Успешность речевого акта зависит от корректности процедуры: так, акт заключения брака предполагает произнесение определенных высказываний в определенной последовательности уполномоченным на то лицом, причем нарушение последовательности или превышение полномочий могут сделать брак недействительным. Удачность речевого акта зависит от сопутствующих обстоятельств, таких как искренность говорящего, возможность завершения процедуры в данных обстоятельствах и т. п. Как неудачность, так и неуспешность перформатива приводят к тому, что действия, входившие в намерения говорящего, не выполняются<sup>1</sup>. Нужно, впрочем, отметить, что в эмпирических приложениях этой теории часто не делают различия между успешностью и удачностью речевого акта, поскольку на практике разграничить их достаточно сложно. Обычно в качестве общего термина используется слово «успешность».

Гораздо более интересным объектом исследования, однако, оказались не прямые речевые акты, т. е. высказывания, буквальный и ситуативный смысл которых не совпадают. Так, констатирующее по форме высказывание «Я верну вам эту книгу через неделю» в реальной речевой ситуации, скорее всего, имеет целью дать обещание. Если в ответ на вопрос «Не хочешь ли пойти в кино?» мы услышим «У меня завтра экзамен», то, вероятно, воспримем этот ответ как отказ или, по крайней мере, выражение сомнения. Согласно определению Дж. Сирла, «в не прямых речевых актах говорящий сообщает слушателю

<sup>1</sup> Остин Д. Указ. соч. С. 25 и далее.

больше, чем на самом деле произносит, полагаясь на имеющуюся у обоих исходную информацию, как лингвистическую, так и нелингвистическую, а также на общую для всех людей способность делать рациональные умозаключения»<sup>1</sup>.

Итак, «копенгагенская школа» интерпретирует безопасность как политическую практику, а использование этого понятия — как речевой акт. Сущность данного речевого акта состоит в том, что говорящий постулирует наличие экзистенциальной угрозы для некоего объекта (референта понятия «безопасность»), имеющего ценность в глазах аудитории, и на основании этого утверждения настаивает на чрезвычайных мерах, которые имели бы целью предотвратить ущерб для референтного объекта. Как и всякая речевая практика, безопасность предполагает наличие субъекта высказывания и аудитории<sup>2</sup>. Кроме того, ее обязательными элементами являются референт (референтный объект), экзистенциальная угроза и чрезвычайные меры противодействия. Строго говоря, при отсутствии хотя бы одного из этих элементов мы не можем признать, что имеем дело с безопасностью, даже если говорящий употребляет этот термин. С другой стороны, довольно часто приходится иметь дело с практикой безопасности, которая не сопровождается использованием самого термина. Таким образом, при исследовании безопасности задача состоит не в том, чтобы определить, насколько использование термина соответствует «объективной» ситуации, насколько постулируемая угроза «реальна», а в анализе безопасности как замкнутой на себя (self-referential) речевой практики: некая проблема становится предметом изучения с точки зрения безопасности не потому, что существует объективная угроза, а в силу присутствия этой

<sup>1</sup> *Searle J.* Indirect Speech Acts // *Syntax and Semantics* / Ed. by P. Cole, J. L. Morgan. Vol. 3. Speech Acts. New York: Academic Press, 1975. P. 60—61.

<sup>2</sup> Критический пересмотр этого аспекта теории секьюритизации см. в: *Balzacq T.* The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context // *European Journal of International Relations*. Vol. 11. 2005. No. 2. P. 171—201.

проблемы как угрозы в дискурсе безопасности. При этом наличие реальных угроз не отрицается, но оказывается предметом отдельного рассмотрения, по поводу чего предлагаются конкретные методологические и политические рекомендации.

При изучении безопасности первым и во многом определяющим шагом является установление референтного объекта, так как от этого в значительной степени зависит специфика угроз и мер противодействия. В дискуссии по вопросам внешней политики такими референтными объектами, как правило, выступают государство или общество, а также экономическое благосостояние (экономическая безопасность) и среда обитания (экологическая безопасность). «Копенгагенская школа» воздерживается от того, чтобы a priori наделить исследовательским приоритетом тот или иной референтный объект практик безопасности, и, в частности, оспаривает тезис валлийской школы и феминистов о необходимости сосредоточить усилия на изучении безопасности индивида. Во-первых, в таком случае понятие безопасности с трудом поддается концептуализации, ибо безопасность общества или государства отнюдь не равна сумме безопасности всех граждан, а иногда индивидуальная и государственная безопасность могут противоречить друг другу. Во-вторых, что еще более важно, априорный акцент на изучении индивидуальной безопасности противоречит фундаментальной логике подхода, который ориентирован на выявление референтов практик безопасности в конкретной политической реальности. Если в общественной дискуссии референтами понятия «безопасность» продолжают по преимуществу оставаться государство и социум, а не отдельный человек, то идеологам индивидуальной безопасности следует обвинять в этом общество, а не своих коллег-исследователей.

Представление об экзистенциальной угрозе, как ясно из самого словосочетания, предполагает возможность полной гибели, разрушения, утраты референтного объекта — следовательно, на практике характер угрозы зависит от особенностей референта. Так, угроза государственной безопасности, как пра-

вило, предполагает возможный ущерб существованию государства, то есть в конечном итоге его суверенитету. Безопасность общества имеет в виду угрозу коллективной идентичности, существованию коллектива как такового: типичный аргумент в данном случае состоит в том, что если не принять экстраординарных мер, то прекратит существование коллективное «Мы», в то время как физическому существованию и даже благосостоянию каждого отдельного члена коллектива, возможно, ничто не угрожает. Важно отметить, что успешность практики безопасности кардинальным образом зависит от того, согласна ли аудитория с говорящим в том, что угрожаемый референтный объект обладает общезначимой ценностью. Как правило, в дискурсе безопасности речь идет об объектах, ценность которых общепризнана и не требует доказательств, — о государстве, национальной культуре, окружающей среде и т. п.

Для практики безопасности характерно также указание на «точку невозвращения» (point of no return), то есть момент нарастания угрозы, после наступления которого гибель референтного объекта становится неизбежной, какие бы меры мы ни принимали. Это указание служит установлению временных ограничений для предотвращения угрозы: без него требование чрезвычайных мер теряет силу, поскольку любую проблему при наличии неограниченного времени можно решить в рамках стандартных процедур.

Наконец, как указано выше, неотъемлемая составная часть безопасности как практики состоит в предложении чрезвычайных мер противодействия постулируемой угрозе. Смысл безопасности как практики состоит в том, что в силу экзистенциального характера постулируемой угрозы предлагаемые меры должны быть именно чрезвычайными, принимаемыми в обход или в нарушение существующих стандартных процедур, должны пользоваться абсолютным приоритетом. С этой точки зрения результатом безопасности является определенная иерархия приоритетов, проблем, которые общество признает в качестве первоочередных, и в первую очередь выделение

некоторого круга неотложных угроз (которые, как правило, конкурируют между собой за право именоваться «крайней необходимостью»)<sup>1</sup>. Степень «чрезвычайности» может быть разной — от нанесения ядерного удара до введения более жестких экологических стандартов, однако смысл безопасности состоит именно в этом отступлении от существующих правил игры, которое, собственно, главным образом и является мотивом говорящего. Прибегая к практике безопасности, говорящий стремится заставить нас делать то, что мы до этого не делали, или отказаться от того, что является общепринятой практикой. Меры противодействия часто предполагают отступление от стандартных демократических процедур: засекречивание той или иной информации, ограничение прав граждан без судебного решения (например, заключение обвиняемых под стражу или прослушивание телефонных переговоров без санкции суда) или ограничение возможностей защиты для изучения материалов дела, выделение средств в обход стандартного бюджетного процесса, наконец, просто внеочередное рассмотрение того или иного вопроса в соответствующих инстанциях. Применение военной силы против другого государства в современных условиях также является отступлением от общепринятых международных норм (во времена, когда война была нормой, понятия безопасности применительно к межгосударственным отношениям просто не существовало).

Важно еще раз подчеркнуть, что мы можем вести речь о практике безопасности с точки зрения «копенгагенской школы» только в том случае, если говорящий предлагает чрезвычайные меры предотвращения угрозы или подразумевает их, когда эти меры очевидны в данном социальном контексте. Если понятие безопасности используется без явного или подразумеваемого указания на подобные меры, то оно не является предметом

<sup>1</sup> *Buzan B., Weaver O., Wilde J. de.* Op. cit. P. 23—24; *Buzan B., Weaver O.* Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 49.



изучения в рамках данного метода. Впрочем, в политической практике крайне редко встречаются ситуации, когда некто описывает экзистенциальную угрозу для какого-то ценного объекта, не предлагая при этом никакого решения проблемы. Если же предлагаемое решение не требует выхода за рамки существующих политических процедур, то перед нами речевой акт совершенно иного свойства — например, попытка представителя правящей политической партии убедить избирателей в том, что правительство успешно справляется с существующими угрозами и вызовами.

Превращение того или иного объекта в референт дискурса безопасности называется секьюритизацией (*securitisation*). К сожалению, этот термин приходится заимствовать из английского языка путем его транскрибирования, так как выразить его значение по-русски можно лишь с помощью довольно сложной конструкции. Интересно, что даже на «родине» этого понятия, в Дании, попытки перевода термина также оказываются не слишком удачны («*sikkerhedsgørelse*»), несмотря на гораздо большую морфологическую гибкость скандинавских языков по сравнению с русским.

Копенгагенская школа различает понятия «акт секьюритизации» (*securitising move*) и собственно «секьюритизация». Секьюритизация имеет место в случае, когда речевой акт секьюритизации оказывается успешным, то есть «вызывает достаточный резонанс для формирования платформы, с которой возможна легитимация чрезвычайных мер или других шагов, которые были бы невозможны, если бы дискурс не принял формы обсуждения экзистенциальных угроз, точки невозвращения и необходимости»<sup>1</sup>. Иначе говоря, если субъекту удастся добиться, чтобы некий вопрос закрепился в качестве проблемы безопасности на уровне повседневной политики, то акт секьюритизации можно считать успешным, а секьюритизацию — состоявшейся, даже если чрезвычайные меры не были санкционированы. В даль-

<sup>1</sup> *Buzan B., Wæver O., Wilde J. de. Op. cit. P. 25.*

нейшем этот вопрос уже неизбежно будет обсуждаться как вопрос безопасности, и любые обстоятельства, которые можно представить как обострение угрозы, будет легко интерпретировать в пользу нарушения установленных правил.

Подробное рассмотрение интерпретации понятия безопасности, которую предлагает копенгагенская школа, с позиций теории речевого акта позволяет заключить, что безопасность — это практика, осуществляемая посредством некоторого множества высказываний, каждое из которых одновременно имеет признаки констатиива и перформатива и, следовательно, является непрямым речевым актом. Констатирующая функция таких высказываний состоит в постулировании экзистенциальной угрозы, тогда как перформативная — не только в предупреждении аудитории о наличии угроз, но и, в первую очередь, в призыве (часто имплицитном) к отступлению от общепринятых политических практик. Таким образом, высказывание о безопасности может рассматриваться и как утверждение, т. е. с точки зрения его истинности или ложности, и с точки зрения их успешности и удачности. Традиционные подходы к исследованию безопасности концентрируются на первом аспекте этого феномена: они оперируют утверждениями, пытаясь доказать или оспорить их истинность (т. е. подтвердить или опровергнуть факт существования угрозы). Важнейшее достижение «копенгагенской школы» состоит в привлечении внимания к безопасности как речевому акту, к изучению высказываний о безопасности не как утверждений, а как перформативов. Кроме того, если традиционные исследования безопасности игнорируют исследование референта этого понятия, чаще всего принимая его общезначимую ценность без обсуждения, теория секьюритизации акцентирует внимание именно на выборе референта для секьюритизирующих практик, что создает основу для критического переосмысления последних.

Таким образом, «копенгагенская школа» понимает секьюритизацию, так же как и политизацию, как интерсубъективный

процесс. Она отвергает мнение, что отправной точкой в исследовании безопасности должны быть «реальные угрозы», указывая на то, что ни одна теория безопасности до сих пор не смогла выработать методологию измерения «объективного уровня безопасности» или, что то же самое, «объективной серьезности» угрозы. Даже оценка такого, казалось бы, очевидного факта, как переход границы государства вражескими танковыми частями, зависит от определения «вражеский», которое может быть только продуктом политического процесса. Были ли, например, советские танки, вошедшие в Чехословакию в 1968 году, «вражескими»? Очевидно, что и тогда, и теперь нашлось бы немало людей, по-разному отвечающих на этот вопрос и, соответственно, склонных описывать советскую интервенцию либо как «братскую помощь», либо как попрание национального суверенитета чехословацкого народа.

В то же время это не означает, что теория секьюритизации полностью отказывается от изучения реальных проблем, оказывающихся в центре дискуссий о безопасности. Во-первых, специфика угрозы изучается в теории секьюритизации как один из факторов, способствующих секьюритизации (*facilitating conditions*), наряду с наличием у высказывания соответствующих атрибутов, позволяющих определить его как практику безопасности, и с соответствующим социальным положением говорящего, позволяющим ему выступать в качестве уполномоченного субъекта. Очевидно, что вооруженное до зубов тоталитарное государство вблизи наших границ представляет собой угрозу совершенно иного характера, чем рост иммиграции, а опасность глобального потепления гораздо труднее доказать, чем опасность загрязнения воздуха в городах. Объективные характеристики угрозы, таким образом, должны изучаться наряду с другими элементами практики безопасности.

Во-вторых, еще более значительным представляется вклад теории секьюритизации в понимание взаимодействия между объективными угрозами и практической политикой, в особенности с точки зрения политических последствий секьюрити-

зации. Прежде всего теория секьюритизации позволяет определить круг вопросов, которые в данном обществе в данный исторический момент рассматриваются как проблемы безопасности. При этом список будет отличаться от представленного сторонниками традиционного подхода, поскольку какие-то вопросы в обществе часто рассматриваются как проблемы безопасности без использования этого термина, в других же случаях термин используется «не по назначению», то есть в рамках обычного политического процесса, без цели призвать к отступлению от правил. Установив, что та или иная проблема является предметом практики безопасности, мы получаем возможность обсудить ряд насущных политических вопросов: какие особенности угрозы, например, оправдывают применение предлагаемых чрезвычайных мер? Насколько достоверно описание угрозы, ее неизбежности в случае неприятия предлагаемых мер предотвращения, будет ли угроза предотвращена с помощью предлагаемых мер? Готово ли общество мириться с побочными эффектами секьюритизации, то есть с отступлением от принятых процедур и практик? Все эти вопросы, безусловно, ставятся и в ходе повседневного политического процесса, однако теория секьюритизации позволяет обсуждать их систематически, опираясь при этом на единую и непротиворечивую теорию.

Таким образом, теория безопасности как речевого акта не отрицает возможности расширительного истолкования данного понятия, однако и не пропагандирует его, призывая оценивать каждый конкретный случай секьюритизации в соответствии с обстоятельствами. Безусловно, секьюритизация может быть результатом политической манипуляции, имеющей целью достижение политических результатов в обход существующих процедур, и уже поэтому должна рассматриваться пристрастно. В принципе идеальным вариантом с точки зрения «копенгагенской школы» является максимальное сужение сферы применения понятия безопасности, возвращение вопросов в русло «нормального переговорного процесса, свойственно-

го политической сфере»<sup>1</sup>, — для описания этого процесса используется термин «десекуритизация». Главный довод в пользу последней состоит в том, что нормальные политические процедуры, в отличие от чрезвычайных мер, как раз и призваны обеспечивать наиболее ответственное решение сложных политических вопросов.

Однако десекуритизация не может быть результатом «одноразовой» политической акции, ее нельзя осуществить директивно: отношение к тому или иному вопросу как к проблеме безопасности закрепляется на интерсубъективном уровне, входит в сферу социально значимого знания, общего для членов данного сообщества, и не может быть волюнтаристски «отменено». Десекуритизация, по сути дела, представляет собой достаточно сложную дискурсивную практику, которая, как правило, состоит в сознательном отказе рассматривать тот или иной вопрос как проблему безопасности, в демонстрации возможностей его решения в рамках обычной политической процедуры или даже в отказе от включения вопроса в политическую повестку дня (деполитизация). Оле Вæвер следующим образом описывает комплексный процесс десекуритизации, в ходе которого вопросы традиционной (военной) безопасности просто не обсуждаются и именно благодаря этому безопасность всех участников регионального сотрудничества возрастает:

Мы вместе занимаемся другими делами и, возможно, тем самым преобразуем отношения безопасности, даже не называя это стратегией безопасности... Безопасность становится поводом для сотрудничества в других областях, которые формально не относятся к сфере безопасности, и путем этого «вытеснения» безопасности она фактически обеспечивается<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Buzan B. Rethinking Security After the Cold War // Cooperation and conflict. Vol. 32. 1997. No. 1. P. 11.*

<sup>2</sup> *Wæver O. The Baltic Sea: A Region after Post-Modernity? // Neo-Nationalism or Regionality. The Restructuring of Political Space Around the Baltic Rim / Ed. by P. Joenniemi. Stockholm: NordREFO, 1997. P. 309.*

Еще раз подчеркнем, что десекуритизация не всегда возможна, но ее всегда нужно иметь в виду как вариант решения проблемы. Более того, если мы в нашей собственной оценке ситуации придем к выводу, что описание данной проблемы в терминах безопасности неадекватно, десекуритизация остается единственным возможным вариантом ее решения — все остальные варианты будут лишь воспроизводить состояние секьюритизации и, следовательно, лить воду на мельницу наших оппонентов. Важно, однако, отдавать себе отчет в том, что признание или непризнание того или иного вопроса проблемой безопасности всегда является политическим решением, а значит, зависит от мировоззрения того, кто это решение принимает. Таким образом, теория секьюритизации помогает нам точнее очертить пределы научного подхода к актуальной политике — пределы, за которыми мы покидаем сферу научного дискурса и переходим в сферу дискурса политического.

Секьюритизация, таким образом, может рассматриваться как крайняя форма политизации, причем между политизацией и секьюритизацией не существует четкой границы:

В теории любой общественный вопрос может размещаться в спектре от деполитизированного (то есть государство не имеет с ним дела и он не является предметом публичной дискуссии и рассмотрения в любой другой форме) к политизированному (то есть вопрос является частью публичной политики, требуя рассмотрения со стороны правительства и выделения средств или реже какой-то другой формы администрирования) и далее к секьюритизированному (то есть речь идет об экзистенциальной угрозе, требующей чрезвычайных мер и оправдывающей действия вне пределов обычной политической процедуры)<sup>1</sup>.

Дженни Эдкинс, однако, оспаривает правомерность употребления термина «политизация» в таком контексте: следуя за Славоем Жижекком<sup>2</sup>, она увязывает категорию политического

<sup>1</sup> *Buzan B, Waever O, Wilde J. de. Op. cit. P. 23—24.*

<sup>2</sup> *Žižek S. For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor. 2nd ed. London, Verso: 2002. P. 188—193.*

(the political) с моментом неразрешимости, в котором возникает пространство для политического решения, т. е. с субъектностью. Становясь «частью публичной политики», вопрос тем самым переходит в сферу политического процесса (politics) — рутинной инструментальной политики, в которой политическое отсутствует, поскольку отсутствует возможность политического действия, а значит, и субъект. В таком прочтении секьюритизация представляет собой дальнейшую деполитизацию: целью практик безопасности является представление тех или иных решений или процедур как объективно необходимых для сохранения референтного объекта, и тем самым политическое решение еще больше маскируется под сугубо технологическое, административное<sup>1</sup>.

В нашем исследовании понятие секьюритизации используется главным образом для характеристики политики идентичности в современной России. При этом выявление существенных элементов практики секьюритизации, в особенности определение референтного объекта и характера постулируемой угрозы, оказывается чрезвычайно полезным для анализа эмпирического материала. Безопасность, как будет показано в третьей и четвертой главах, оказывается одной из наиболее типичных форм популистской политики, поскольку именно постулирование угроз безопасности сообщества (суверенитету государства и идентичности нации) оказывается наиболее эффективной формой идеологии «консолидации», то есть установления отношений эквивалентности между идентичностями внутри сообщества и вытеснения «неудобных» идентичностей за его пределы. Иными словами, безопасность является формой радикализации популистского антагонизма.

Применение теории секьюритизации к эмпирическому материалу показывает, что практики безопасности действительно порождают тенденцию к замыканию сообщества, которая в пределе может привести к тоталитарной фиксации смыс-

<sup>1</sup> *Edkins J.* Op. cit. P. 9—11.

ла. Вместе с тем изначально любой акт секьюритизации является фундаментально политическим — именно потому, что безопасность оказывается наиболее характерной формой конституирования сообщества через проведение границы между гармоничным внутренним и угрожающим внешним миром, причем это особенно характерно в случае, когда референтом понятия безопасности выступает само политическое сообщество. Это, с одной стороны, снимает противоречие между описанием секьюритизации как крайней формы политизации и как деполитизации, поскольку, как уже неоднократно отмечалось, деполитизация — устранение радикальной неопределенности, составляющей сущность политического, — составляет предел политики, результат недостижимого успеха гегемонии. С другой стороны, этот факт показывает предел применения теории секьюритизации — она представляет собой теорию среднего уровня, предлагающую удобный концептуальный аппарат и метод для изучения важного сектора социальной реальности, однако не может служить для описания всей совокупности процессов, связанных с конституированием сообществ и установлением границ между внутренним и внешним. В последнем случае нам необходимы более емкие и, следовательно, более абстрактные понятия — такие как «гегемония», «антагонизм» и «дислокация».

## § 2.4. Россия и Европа как две идентичности: постструктуралистский подход

В центре нашего исследования находится вопрос о соотношении европейской и российской идентичностей. Его значение определяется рядом различных по своему характеру факторов. Во-первых, для российского общества это традиционно ключевой политический вопрос. Различные сценарии развития российского общества во многом сводятся к альтернативе между выбором европейской модели и самостоятельным, са-



мобытным развитием. Во-вторых, Европа по необходимости является главной темой любого исследования границ российского политического сообщества — а вопрос о взаимосвязи границ и идентичности, как уже неоднократно отмечалось, является теоретическим фокусом данной книги. Наконец, в-третьих, устойчивые смысловые конструкции, которые строятся вокруг проблемы европейской самоидентификации России, так или иначе воспроизводятся едва ли не во всех дискурсивных моделях, определяющих место России в мире, поэтому описание этих конструкций должно стать необходимым методологическим и концептуальным фундаментом для эмпирической части работы. Именно эти задачи решаются в заключительных параграфах данной главы.

При поверхностном взгляде может показаться, что в масштабах всего континента существует довольно широкий консенсус относительно позитивного содержания понятия «Европа». Большинство европейцев, отвечая на вопрос «Что такое Европа?», вероятно, в той или иной форме повторяют слова бывшего чешского президента Вацлава Гавела:

Основной комплекс европейских ценностей, сформированных духовной и политической историей континента... состоит из: уважения к уникальной человеческой личности и человеческим правам, свободе и достоинству; принципа солидарности; власти закона и принципа равенства перед законом; защиты меньшинств; демократических институтов; разделения законодательной, исполнительной и юридической власти; политического плюрализма; уважения к частной собственности и частному предпринимательству; рыночной экономики; укрепления гражданского общества<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Гавел В. Существует ли европейское самосознание, существует ли Европа? // Дипкурьер НГ. 2000. 13 июля.

Важную роль в унификации европейского смыслового пространства, безусловно, играют международные институты, такие как Совет Европы и Европейский союз. Так, Европейский суд по правам человека, функционирующий в рамках Совета Европы, фактически имеет целью установление единообразного толкования прав человека на пространстве всех 47 государств-участников, способствуя тем самым установлению единой системы реляционных связей между означающим «Европа» и смысловыми структурами, лежащими в основе правоприменительных практик. Европейский союз использует для достижения тех же целей, но в гораздо более широком смысловом поле механизм расширения: государства, желающие стать членами ЕС, должны «научиться говорить» на соответствующем языке, общие принципы которого установлены копенгагенскими критериями 1993 года и который затем неизбежно транслируется в соответствующие политические практики<sup>1</sup>. Однако, несмотря на действенность этих унифицирующих артикуляционных практик, при более внимательном исследовании гегемонических артикуляций в различных странах и регионах Европы можно обнаружить некоторые тонкие, но существенные различия в том, какие ценности в них считаются «подлинно европейскими». Эти различия имеют важное политическое значение, так как именно они в конечном счете определяют предпосылки конкретных политических шагов как в сфере интеграционной политики, так и в значительно

<sup>1</sup> Ср.: *Browning C. S. The Internal/External Security Paradox and the Reconstruction of Boundaries in the Baltic: The Case of Kaliningrad // Alternatives. Vol. 28. 2003. No. 5. P. 545—581; Воруба Г. Границы «проекта “Европа”»: от динамики расширения к ступенчатой интеграции // Неприкосновенный запас. 2004. № 2. С. 38—46; Дебеляк А. Неуловимые общие мечты. Опасности и ожидания европейской идентичности // Неприкосновенный запас. 2004. № 2. С. 47—59; *Browning C. S. Westphalian, Imperial, Neomedieval: The Geopolitics of Europe and the Role of the North // Remaking Europe in the Margins: Northern Europe after the Enlargements / Ed. by C. S. Browning. Aldershot: Ashgate, 2005. P. 85—101.**

более широком контексте (достаточно вспомнить противоречия между «старой» и «новой» Европой в вопросе об иракской кампании президента Буша). Не менее значим и тот факт, что эти различия отражают особенности идентичности сообществ, от имени которых формулируются те или иные высказывания. В первую очередь речь идет о национальных идентичностях, но можно привести примеры также сообществ иного порядка, в значительной степени определяющих себя через отношение к Европе, — например, сообщество стран Северной Европы (Norden). Именно отношение к Европе зачастую предоставляет максимум возможностей для методологически обоснованного описания особенностей национальной самоидентификации, которое не сводилось бы к постулированию тех или иных качеств как имманентно присущих данной нации.

В этой связи необходимо отметить, что простая регистрация различий между отдельными дискурсивными артикуляциями в интерпретации тех или иных понятий, таких как «Европа» или «права человека», еще не может служить основой для заключений о характере национальной идентичности или о специфике политического процесса в той или иной стране. Недостаточно, например, просто констатировать, что «канонические западные представления о правах человека претерпевают определенные изменения при пересадке на российскую почву»<sup>1</sup>, и описать эти изменения для того, чтобы оказаться в состоянии изменить российскую политическую реальность. Надеяться на это можно лишь в том случае, если мы оцениваем расхождения как продукт «недопонимания» с российской стороны, но такое объяснение слишком наивно и легко опровергается практикой. Более того, такие утверждения предполагают существование некоего «западного» стандарта прав человека, с которым другие культуры (или страны, или общества,

<sup>1</sup> Чугров С. В. К вопросу о правах человека в российской внешней политике // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 6. С. 3.

или нации) вольны соглашаться или не соглашаться, но который от этого не теряет своего абсолютного характера — а это, в свою очередь, подразумевает монополию «Запада» на определение этого стандарта, оставляет контроль за содержанием понятия «права человека» за пределами российского политического сообщества. Такое решение, как правило, является политически неприемлемым, поскольку оно подрывает гегемонию доминирующих на национальном уровне артикуляционных практик. Обычная реакция со стороны националистического дискурса состоит в обращении к эссенциалистской концепции «российской почвы» как социальной среды, заведомо отличной от «западной». Этот подход, в свою очередь, принимает культурные различия как самоочевидную данность — при этом исследователю достаточно зарегистрировать различия в политической практике, тогда как объяснения этих различий как культурно детерминированных известны заранее. Более детальная разработка этого подхода позволяет подыскать терминологические ярлыки для этих постулируемых различий (например, «номинализм» западной культуры противопоставляется «коллективизму» Востока<sup>1</sup>), но не дает возможности адекватно описать или объяснить взаимодействие этих фундаментальных начал в российском политическом процессе.

Чтобы избежать подобного чисто описательного подхода, необходимо исследовать наиболее существенные цепочки означающих, которые российский дискурс связывает с понятием «Европа», как комплексную реляционную систему. В данной работе Россия и Европа рассматриваются как две идентичности, которые конституируют друг друга через противоречивые отношения принадлежности и исключения, и одновременно как два означающих, играющих важнейшую роль в политическом дискурсе на любом уровне — глобальном, региональном, национальном или локальном. На взгляд автора настоящей

<sup>1</sup> *Панарин А. С.* Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. М.: Университет, 1999.

работы, этот подход является наиболее плодотворным при изучении противоречивых отношений общности и исключения между Россией и остальной Европой. В первую очередь это обусловлено тем, что объективных (т. е. не зависящих от исторического контекста и позиции в нем говорящего) ответов на вопросы «Что такое Россия?» и «Что такое Европа?» не существует. Для обеих идентичностей характерна высокая степень сверхдетерминации: Россия — это в первую очередь Российское государство, которое классифицируется то как великая держава, то как бедная, отсталая страна; но это также российская и русская культура, это граждане России — русские и россияне, — это, в определенных контекстах, Советский Союз и Российская империя. Понятие «Европа» сверхдетерминировано еще больше: это и персонаж греческого мифа, и часть света, и Европейский союз, и «Европа от Атлантики до Урала», и «Европа от Ванкувера до Владивостока», и европейское социальное государство, и «младший партнер» США, и качество произведенных в Европе товаров, и качество жизни, «евроремонт», и многое другое. Сверхдетерминация этих двух идентичностей вполне закономерно порождает неразрешимость в их отношениях между собой, которую нельзя преодолеть путем рационального устранения противоречий: вопрос о принадлежности России к Европе имеет сразу несколько «правильных» ответов. Однако смысловое поле, окружающее эти два понятия, не является абсолютно аморфным: любая фиксация означающих вокруг одной из идентичностей в некоторой, довольно значительной, степени закрепляет их отношения между собой, и наоборот, фиксация двух идентичностей по отношению друг к другу в большой мере определяет их отношения с другими ключевыми означающими. Несмотря на несколько чрезмерную категоричность утверждения Владислава Иноземцева, что выбор между «западной» и «восточной» ориентацией России равнозначен выбору между развитием и реакцией<sup>1</sup>, нельзя не при-

<sup>1</sup> *Иноземцев В.Л.* Бессмысленность вопрошания // Свободная мысль — XXI. 2004. № 1. С. 4—12.

знать, что в наиболее общем виде отношения между этими означающими в российском дискурсе именно таковы. В глобальном дискурсе связь между «Востоком» или «Азией» и отсталостью уходит в прошлое, однако для России, в силу ряда специфических причин, эти перемены гораздо менее характерны. Однако «проевропейский выбор» для России тоже отнюдь не самоочевиден. Разговоры западноевропейских политиков об угрозах, исходящих из России (иммиграция, опасности экологических катастроф, организованная преступность, инфекционные заболевания, возможный возврат к имперской экспансии и т. д.), устанавливают между двумя означающими отношения исключения: они воспринимаются как две целостности, соположенные друг другу и взаимодействующие как суверенные системы. Напротив, установление отношений единства и взаимодополнения между Россией и Европой (заявления о том, что Россия является неотъемлемой частью Европы) предполагает их несамодостаточность и создает условия для рассмотрения российских проблем как общеевропейских и для переноса фокуса внимания, например, с проблем незаконной миграции на перспективы введения безвизового режима между Россией и ЕС. Соотношение понятий «Россия» и «Европа» в политическом дискурсе как нельзя лучше иллюстрирует реляционную природу идентичностей и шире — всех элементов дискурса.

Более того, крайне высокая степень сверхдетерминированности этих двух ключевых означающих свидетельствует, что любая фиксация отношений между ними возможна только в результате конституирующего этико-политического решения, которое не может основываться на каких бы то ни было «объективных», внешних основаниях и, таким образом, составляет свою собственную основу. Ни Россия, ни Европа не существуют как политические сообщества вне языка, вне реляционной системы различий, которая представляет собой объективно существующий и в значительной мере седиментированный итог тысячелетнего опыта практического взаимодействия людей

друг с другом. Как таковая, эта реляционная система представляет собой весьма жесткую, инерционную реальность, и ее нельзя волюнтаристски изменить уже хотя бы потому, что изменение ее части необходимо подразумевает изменение целого, которое, в силу своей интересубъективной природы, не зависит от каждого отдельного индивида. Однако эта реляционная система не является полностью замкнутой и абсолютно детерминированной: именно в силу избытка смысла в дискурсивной реальности всегда существует более одного варианта артикуляции. В современной нам действительности существует несколько вариантов фиксации означающих «Россия» и «Европа» по отношению друг к другу, и само наличие альтернатив свидетельствует, что вопрос об отношениях России и Европы принадлежит к сфере политического. Ответ на него нельзя найти путем поиска объективных факторов, свидетельствующих о принадлежности России к Востоку или Западу<sup>1</sup>, — например, пытаюсь прояснить вопрос о том, считать ли первичными сходство между православием, католичеством и протестантизмом как христианскими религиями, или исторически сформировавшимися отличиями между восточной и западной ветвями христианства<sup>2</sup>, или пытаюсь выяснить вопрос об отношении

<sup>1</sup> См., например: *Straus J.* Western Common Homes and Russian National Identities: How Far East Can the EU and NATO Go, and Where Does That Leave Russia? // *European Security*. Vol. 8. 2001. No. 4. P. 3—18; *Грамыко А. А.* Цивилизационные ориентиры во взаимоотношениях России, СССР и США // *Свободная мысль* — XXI. 2007. № 8. С. 68—76.

<sup>2</sup> Первая точка зрения, подчеркивающая общность между Россией и остальной Европой на основании единства христианской религии, представлена, например, в: *Parland T.* Russia in the 1990s: Manifestations of a Conservative Backlash Philosophy // *The Fall of an Empire, the Birth of a Nation. National Identities in Russia* / Ed. by C. J. Chulos, T. Piirainen. Aldershot: Ashgate, 2000 (в особенности p. 120); *Шейнис В. Л.* Национальные интересы и внешняя политика России // *Мировая экономика и международные отношения*. 2003. № 4. С. 34—35. Наиболее известным сторонником противоположной точки зрения является, вероятно, Сэмюэл Хантингтон, автор пророчества о грядущем столк-

России к некоторому конечному, однозначно определяемому набору «европейских ценностей»<sup>1</sup>. Проблема подобного рода эссенциалистских решений состоит в том, что *все* наличествующие в дискурсе альтернативы *одинаково реальны* уже в силу самого факта своего дискурсивного присутствия. Этико-политическое решение, которое лежит в основе выбора одной из этих альтернатив, может быть обосновано лишь в смысле убеждения других в его правильности и именно поэтому является своей собственной основой. Патрик Джексон предлагает интерпретировать высказывания о сущности политических сообществ, таких как Запад, в качестве перформативов, имеющих целью не описание реальности, а вмешательство в ход социальных процессов<sup>2</sup>. Такая методологическая установка продуктивна по сравнению с эссенциалистскими попытками отыскать подлинную сущность Запада, Европы или России, однако она оставляет без внимания фундаментальный политический факт *конституирования* сообщества, который у Джексона сводится к констатации появления или исчезновения «риторических общих мест»<sup>3</sup>. Как было показано в главе 1, учреждение сообщества неразрывно связано с процедурой исключения, с установлением политических границ, основанных на антагонизации внешних, «чуждых» идентичностей. Это решение неизбежно фиксирует цепочки означающих в гораздо

новении цивилизаций: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ; СПб.: Terra fantastica, 2003. Обзор российской дискуссии по данному вопросу см. в: Цыганков П. А. Либерализм в российской теории международных отношений // Космополис. 2003. № 6.; Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А. П. Цыганкова, П. А. Цыганкова. М.: Пер сэ, 2005.

<sup>1</sup> Stent A. Reluctant Europeans: Three Centuries of Russian Ambivalence Toward the West // Russian Foreign Policy in the Twenty-First Century and the Shadow of the Past / Ed. by R. Legvold. New York: Columbia University Press, 2007. P. 393—441.

<sup>2</sup> Jackson P. T. Op. cit. P. 243—244.

<sup>3</sup> См.: Ibid. P. 244.



более широком поле, нежели непосредственно вопрос о границах Европы, и в этом смысле предопределяет многие аспекты дальнейшего развития европейского общества.

## § 2.5. Форма противопоставления России Европе и Западу: дуальность или диалогизм?

Прежде всего необходимо обратиться к собственно форме оппозиции «Россия — Европа», «Россия — Запад» и ее роли в структурировании дискурса, пока не вдаваясь в детали возможных смысловых констелляций. В отечественной историографической и культурологической традиции преобладает тенденция к изучению России и Европы и, особенно, России и Запада как независимых друг от друга культурных пространств, каждое из которых обладает фиксированной и достаточно очевидной идентичностью. И критическая прозападная традиция, и различные варианты славянофильских воззрений практически в равной мере исходят из наличия отчетливой культурной границы между Россией и Европой. При этом, однако, в глазах большинства западников эта граница носит временной (и потому временный) характер: в полном соответствии с монологической традицией Просвещения, российское западничество говорит о цивилизации в единственном числе<sup>1</sup>, подлинным воплощением которой является Запад. Идентичность России здесь определяется в темпоральном соотношении ее с Западом: между Россией и Западом не может быть сущностных, непреодолимых границ (поскольку все человечество едино), но при этом Россия «отстает» в своем развитии от ушедших вперед стран Запада. Славянофилы со всей очевидностью принадлежат к романтической традиции, которая говорит о ци-

<sup>1</sup> О противопоставлении цивилизации в единственном и цивилизаций во множественном числе см.: Ibid. P. 82—86.

визациях во множественном числе и, соответственно, настаивает на имманентных различиях между Россией и Западом как двумя несовместимыми культурными общностями. Это противопоставление, таким образом, принимает пространственное измерение, поскольку Россия и Запад оказываются соположены друг другу как потенциально равноценные идентичности. При этом, однако, еще у Грибоедова появляется постоянно воспроизводимое впоследствии славянофилами темпоральное измерение идентичности, которое состоит в указании на «молодость» России по сравнению с Западом и тем самым на неизбежность усиления влияния первой и упадка последнего<sup>1</sup>. Темпоральная конструкция идентичности, следовательно, необходимым образом обретает этическое измерение: в западническом дискурсе Россия занимает, как правило, подчиненное положение по отношению к Западу, тогда как славянофилы стремятся утвердить моральное превосходство России.

Бинарное противопоставление России Западу вполне можно было бы описать с использованием структуралистских семиотических моделей. В результате они могли бы предстать как устойчивая, воспроизводящаяся на протяжении столетий смысловая структура, самым драматическим образом ограничивающая возможности политического выбора: России оставалось бы или согласиться с ролью «вечно отстающего» на пути к универсальному прогрессу человечества, или же настаивать на своей уникальности, на несопоставимости исторического опыта и предназначения России и других цивилизаций. Собственно, именно эта структура воспроизводится в бесчисленном множестве работ о судьбе России, начиная с дискуссии между западниками и славянофилами в середине XIX века и даже, возможно, с попыток Москвы претендовать на роль

<sup>1</sup> *Лотман Ю. М.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // *Лотман Ю. М.* История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб, 2002. С. 114.

«третьего Рима» в XV—XVI веках<sup>1</sup>. Путь к возможному переосмыслению этого бинарного противопоставления России Западу в отечественной традиции наметили труды Михаила Бахтина: как уже отмечалось в первой главе, он указал на принципиальную избыточность языка как коммуникативной системы и на неизбежную диалогичность любой социально обусловленной коммуникации. Юрий Лотман определил бахтинское понятие диалога как «способ передачи информации между различными кодирующими системами», в котором полное взаимопонимание недостижимо, но в то же время диалог как «ситуация, в которой двое заинтересованы в обмене» «предшествует языку, а не язык диалогу»<sup>2</sup>.

Анализируя значение диалога в произведениях Федора Достоевского, Бахтин приходит к выводу, что его герои не просто заявляют о своем существовании в обмене репликами, не просто проявляют свой характер, свое независимое, суверенное существо посредством изложения своей точки зрения — фактически лишь в диалоге они *обретают* существование, *становятся* собой: «Быть — значит общаться диалогически»<sup>3</sup>. Если монолог предполагает наличие лишь одного «сознающего и судящего “я”»<sup>4</sup>, суверенного субъекта, определяющего свое отношение к миру, диалогичный роман Достоевского «строится не как целое одного сознания, но как целое взаимодействия

<sup>1</sup> Едва ли в данной работе возможно предложить даже краткий обзор произведений, написанных на протяжении предшествующих столетий на тему «Россия и Запад», «Россия и Европа». Необходимость такого обзора также не очевидна, поскольку эта задача уже блестяще решена Ивером Нойманном: *Neumann I. B. Russia and the Idea of Europe. A Study in Identity and International Relations. London; New York: Routledge, 1996.*

<sup>2</sup> *Лотман Ю. М. Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб, 2002. С. 153—154.*

<sup>3</sup> *Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского // Собр. соч. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 156.*

<sup>4</sup> Там же. С. 71.

нескольких сознаний, из которых ни одно не стало до конца объектом другого»<sup>1</sup>.

Сравнивая труды Бахтина с работами венгерского философа-марксиста Дьёрдя Лукача, английский историк Галин Тиханов приходит к выводу, что оба автора фактически находятся в рамках одного и того же модернистского дискурса эмансипации. Главная тема и для Бахтина, и для Лукача — освобождение, преодоление характерного для капиталистического мира отчуждения, причем это освобождение должно стать результатом деятельности нового исторического субъекта. Субъектом эмансипации для Лукача выступает пролетариат, а для Бахтина — роман как особый литературный жанр, имеющий непосредственное социальное значение. Для Бахтина, пишет Тиханов, характерна «убежденность, что роман не должен более рассматриваться просто как *история об обществе*; он также является вербальной *моделью общества*, которая иллюстрирует столкновение и конфликт различных позиций — скорее социальных, нежели индивидуальных»<sup>2</sup>.

Если в «Проблемах творчества Достоевского» Бахтин еще признает за автором романа определенную свободу в выборе языка и формировании диалога, то в более поздних работах на первый план выступает социальная обусловленность романного текста, своего рода объективная заданность языка. Прозаик-романист не только и даже не столько говорит своим языком — он использует чужие языки для оркестровки своего романа:

Он может пользоваться языком, не отдавая себя ему всецело, он оставляет его получужим или вовсе чужим, но в то же время заставляет его в последнем счете служить все же своим интенциям. Автор говорит не на данном языке, от которого он в той или иной степени себя отделяет, а как бы через язык, несколько оплотненный,

<sup>1</sup> Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Т. 2. С. 25.

<sup>2</sup> Tibanov G. The Master and the Slave. Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time. Oxford: Clarendon, 2000. P. 141. — Выделено в оригинале.

объективизированный, отодвинутый от его уст... Прозаик пользуется словами, уже населенными чужими социальными интенциями, и заставляет их служить своим новым интенциям, служить второму господину... Стилистика, адекватная этой особенности романного жанра, может быть только социологической стилистикой. Внутренняя социальная диалогичность романного слова требует раскрытия конкретного социального контекста слова, который определяет всю его стилистическую структуру, его «форму» и его «содержание», притом определяет не внешне, а изнутри...<sup>1</sup>

Таким образом, в трактовке Бахтина романное слово, наиболее характерной чертой которого является «социальная диалогичность», становится частью единого смыслового пространства социальной реальности. Бахтинское понимание романного языка как объективной реальности, которую автор использует, но не контролирует, — это уже не только язык как система у Соссюра, которую говорящий субъект не в силах изменить, но может использовать по своему усмотрению. Язык романа — это и есть язык реальной жизни, в том числе политической<sup>2</sup>, в котором отношения между означающими не зафиксированы окончательно и бесповоротно, но и не являются абсолютно свободными и поэтому не подконтрольны ни одному из участников процесса в отдельности.

Значение бахтинского наследия, таким образом, выходит далеко за пределы литературоведения. Весьма показателен тот факт, что концепция диалогизма легла в основу понятия ин-

<sup>1</sup> Бахтин М.М. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975. С. 112—113. — Выделено в оригинале.

<sup>2</sup> Бахтин неоднократно высказывался против выделения литературы как особого лингвистического явления, настаивая на тесной связи между языком литературы и языком повседневности. См.: *Todorov T. Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. P. 67—68.*

тертекстуальности — одного из ключевых для современной постструктуралистской традиции, — которое было предложено Юлией Кристевой в работе, посвященной Бахтину<sup>1</sup>. Интертекстуальность предполагает, что, как пишет Лене Хансен, «смысл текста никогда не передается полностью самим текстом, но всегда является продуктом других прочтений и интерпретаций... Тексты соположены и противопоставлены другим текстам, они опираются друг на друга в конструировании своих идентичностей и политики, они присваивают и пересматривают прошлое и создают власть, читая и ссылаясь на авторитет других текстов»<sup>2</sup>. В контексте разговора о соотношении идентичностей России и Европы, однако, для нас важнее не взаимосвязь и взаимозависимость между текстами в дискурсивной реальности, а собственно исходный тезис Бахтина о неполноте идентичности, о ее становлении в диалоге.

В свете концепции диалогизма дуальные оппозиции, столь свойственные российской культуре, предстают в несколько ином свете. Дело здесь даже не в том, что культура не может существовать в изоляции — как писал Лотман, «смыслообразование не происходит в статической системе», и поэтому «имманентное развитие культуры не может осуществляться без постоянного притекания текстов извне»<sup>3</sup>. Однако, как выясняется, дело не только в обмене текстами между двумя заданными сообществами: «нуждаясь в партнере, культура постоянно создает собственными усилиями этого “чужого”, носителя другого сознания, иначе кодирующего мир и тексты»<sup>4</sup>. Здесь мы вплотную подходим к бахтинскому видению

<sup>1</sup> *Kristeva J.* Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // *Critique*. Т. XXIII. 1967. No. 239. P. 438—465. См. также: *Kristeva J.* *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*, New York: Columbia University Press, 1980.

<sup>2</sup> *Hansen L.* *Op. cit.* P. 55.

<sup>3</sup> *Лотман Ю.М.* К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // *Избранные статьи*. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 116.

<sup>4</sup> Там же. С. 117. — Выделено в оригинале.

отношений между «Я» и Другим, предполагающим ситуацию экзистенциальной зависимости, в которой «Я» способно полностью конституировать себя только в диалоге, только противопоставляя (или сопоставляя) свое сознание другому сознанию, — монолог в этом смысле стерилен. При этом ни одна из идентичностей не является первичной по отношению к остальным: «Я» не «выдумывает» для себя Другого, чтобы полнее ощутить свою самость, — напротив, все идентичности возникают в ткани романа одновременно и конституируются через отношения друг с другом, как реляционные зависимости. Но это, в свою очередь, означает, что Другой никогда не может быть полностью исключен: ни одно сознание не стало до конца *объектом* другого.

Бахтин не обращался непосредственно к вопросу о взаимоотношениях между различными культурами, не затрагивал он и темы соотношения понятий «Россия — Европа», «Россия — Запад». Несмотря на это, его труды оказали значительное влияние на развитие современной теории культуры в направлении поиска возможностей для диалога между различными этническими, религиозными, расовыми группами, и тем самым способствовали утверждению идей мультикультурализма и диалога культур<sup>1</sup>. С точки зрения данной работы, особенно

<sup>1</sup> Михаил Эпштейн считает, что идеи Бахтина идут дальше американской идеологии мультикультурализма, подчеркивая неполноту каждой отдельной идентичности вне ее соотнесенности с Другим: *Epstein M. N. After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture*. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995. P. 304. Интересные размышления о влиянии Бахтина на развенчание этноцентризма и в целом на развитие культурной антропологии (в частности, постколониальных исследований) с многочисленными ссылками на соответствующую литературу можно, в частности, найти в следующих работах: *Bakhtin in Contexts: Across the Disciplines* / Ed. by A. Mandelker. Evanston: Northwestern University Press, 1995; *Zappen J. P. Mikhail Bakhtin (1895—1975) // Twentieth-Century Rhetoric and Rhetoricians: Critical Studies and Sources* / Ed. by M. G. Moran and M. Ballif. Westport: Greenwood Press, 2000. P. 7—22; *Harvie J., Kbowles R. P. Dialogic Monologue: a Dialogue // Théâtre Research in Canada / Recherches Théâtrales du Canada*. 1994. Vol. 15. No. 2. P. 136—163.

важно подчеркнуть, что работы Бахтина предвосхищают важнейшие положения постструктурализма о принципиальной незамкнутости структуры и несамодостаточности любой идентичности: «внутреннее» может быть конституировано лишь в том случае, если в нём присутствует «внешнее», на отрицании которого строится соответствующая идентичность. В статье, предваряющей анализ проблем идентичности в странах Северной Европы, — тема, весьма далекая от того, чем непосредственно занимался Бахтин, — О. Вэвер пишет: «Один из важнейших элементов любого внешнеполитического мировоззрения состоит в том, чтобы воображать Европу, совместимую с мировоззрением нации или государства, о котором идет речь»<sup>1</sup>. Здесь, в сущности, речь также идет о неполноте национальной идентичности, которая нуждается в Другом для собственного конституирования.

Если Бахтин строил свою концепцию диалогизма почти исключительно на литературном материале, то Юрий Лотман использует семиотическую методологию, основанную на критике Соссюровой теории знака, непосредственно для анализа самоопределения российской культуры. Лотман полагал, что «специфической чертой русской культуры», по крайней мере периода до конца XVIII века, «является ее принципиальная полярность, выражающаяся в дуальной природе ее структуры»<sup>2</sup>. «Дуальная природа» российской культуры, согласно Лотману, в разные эпохи проявлялась в форме противостояния то православия язычеству, то православия католицизму и в конечном итоге со времен протопопы Аввакума принимает наиболее, вероятно, устойчивую форму антитезы «Русская земля ↔ Запад»<sup>3</sup>. Устанавливая структурную аналогию между различными семантическими оппозициями, Лотман приходит к выводу о стабильности структуры, несмотря на относительную измен-

<sup>1</sup> *Wæver O. Identity, Communities and Foreign Policy. P. 25.*

<sup>2</sup> *Лотман Ю. М. Роль дуальных моделей... С. 89.*

<sup>3</sup> Там же. С. 103 и далее.



чивость содержания: «эти глубинные структуры развития и позволяют, собственно, говорить о *единстве русской культуры* на разных этапах ее истории. Именно в изменениях обнаруживается *неизменное*»<sup>1</sup>. Таким образом, дуальная модель, лежащая в основе противостояния между западниками и славянофилами, получает теоретическое подкрепление и историческую глубину.

Далее, однако, Лотман обращает внимание на темпоральное измерение самоидентификации России, выражающееся в диалектике противопоставления по линии «старина ↔ новизна», которое, как указывает автор, «с субъективной позиции носителей культуры на разных этапах вбирает в себя или подчиняет себе другие важнейшие противопоставления»<sup>2</sup>. Наиболее важное значение с точки зрения нашего исследования имеет наблюдение Лотмана, что противопоставление старины и новизны, сохраняя форму, периодически меняет содержание на диаметрально противоположное: так, если после крещения Руси языческие практики маргинализируются (никогда не исчезая полностью) как принадлежащие «старине», то в результате секуляризации общества в ходе Петровских реформ, наоборот, уходят в тень православные практики и происходит «отождествление светского (= «европейского») и языческого (любого внехристианского)»<sup>3</sup>. Вместо представлений о Западе «как погибельной, грешной земле» преобладание получают взгляды, согласно которым Запад предстает как «царство просвещения, источник, откуда на Россию должен пролиться свет Разума», — причем «Запад осознавался как “новый” по отношению к “старой” Руси», однако «создаваемая Петром “новая Россия” мыслилась как более молодая не только по отношению к московской Руси, но и в сопоставлении ее с западным миром»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Там же. С. 90. — Курсив мой.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 111.

<sup>4</sup> Там же. С. 113.

Таким образом, стабильность базовых структурных форм отнюдь не препятствует изменению содержания — бинарность, высокая степень поляризации российской культуры приводит лишь к тому, что, как указывает Лотман, «изменение протекает как радикальное отталкивание от предыдущего этапа»<sup>1</sup>.

Если для работы о «дуальных моделях» характерно структуралистское представление о неизменности базовых культурных оппозиций, то в статье «“Изгой” и “изгойничество” как социально-психологическая позиция в русской культуре», опубликованной пятью годами позже, Юрий Лотман и его соавтор Борис Успенский обращают внимание на принципиальную незамкнутость культуры — качество, которое в постструктурализме определяется термином «дислокация». При всем конституирующем значении противопоставления «свое — чужое» отношения между Русью и Византией, равно как и между Русью и католической Европой, не исчерпывались тотальным отрицанием: напротив, культурные заимствования привели к тому, что «“чужое” получает значение культурной нормы... а “свое” или вообще выводится за пределы культуры, как “докультурное”, или же получает низкую оценочную характеристику»<sup>2</sup>. Приводя в качестве примеров «изгойничества» положение клира, казачества, разбойников, палачей, Лотман и Успенский проводят параллель между статусом «изгоя» и положением иностранца: выключенность из социального порядка иногда обеспечивает «изгоя» статус более высокий по сравнению с теми, кто находится в пределах сообщества, что «в XVIII в. усугублялось представлением о Западе как о царстве просвещения»<sup>3</sup>. Это наблюдение Лотмана и Успенского может быть ис-

<sup>1</sup> Там же. С. 90.

<sup>2</sup> Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода. («Свое» и «чужое» в истории русской культуры) // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб, 2002. С. 224.

<sup>3</sup> Там же. С. 232.

толковано как иллюстрация к введенному Жаком Деррида понятию восполнения (дополнения, добавки): находясь все время «между», ни вне сообщества, ни внутри него, «чужой» может подвергаться поношениям, но временами способен обретать существенную власть, инвертируя отношения власти между парами означающих. Более того, само по себе присутствие «чужого» дислоцирует структуру, создает (а не просто актуализирует) возможность к диалогическому взаимодействию с внешним миром. Опираясь на материалы исследований Лотмана и Успенского, можно утверждать, что именно сложные, двусмысленные отношения притяжения и отталкивания, чувства собственной неполноценности и морального превосходства по отношению к Западу (хотя и не только к нему) на протяжении столетий составляли главную движущую силу культурной динамики российского общества.

Одно из важнейших измерений, не присутствующих эксплицитно в культурологических изысканиях тартуской школы, но имеющих ключевое значение для анализа политической составляющей рассматриваемых процессов, состоит в изучении распределения власти между парными означающими, в раскрытии гегемонической природы культурных трансформаций, которые находятся в центре внимания Лотмана и Успенского. Петровские реформы для них, например, выступают внешним фактором по отношению к культурной динамике, продуктом чистой, социально и культурно не обусловленной воли: авторы лишь регистрируют изменения, произошедшие в культуре в результате реформ, не обращая внимания на их политические механизмы<sup>1</sup>. С точки зрения современности актуальна обратная постановка того же вопроса: можно ли гово-

<sup>1</sup> В одной из последних своих крупных работ Лотман говорит об «асимметрии» культуры, о взаимодействии центра и периферии, но, конечно, не выводит этот разговор на уровень анализа политических процессов: *Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской культуры, 1996.*

речь о том, что семантические структуры, лежащие в основе нашей культуры, могут быть сознательно изменены? Иными словами, речь должна идти о степени седиментации этой структуры: насколько решения, принятые в прошлом<sup>1</sup>, сегодня утратили свою политическую природу и стали фактом, жестким «каркасом» социальной реальности? Возможны ли альтернативные варианты артикуляции отношений России и внешнего мира, преодоление дуальности в ее нынешнем виде, снятие оппозиции «Россия — Запад» или мы обречены на вечное «выворачивание наизнанку» этого противопоставления, на «циклически повторяющееся “отрицание отрицания”»<sup>2</sup>?

Одна из задач настоящего исследования состоит в том, чтобы показать на современном материале, что противопоставления «Россия — Европа», «Россия — Запад» и им подобные нельзя интерпретировать как нечто имманентное русской культуре, что они представляют собой вариант гегемонической артикуляции, которая остается в сфере политического, открыта для трансформации. Сверхдетерминированность противопоставления России Европе или Западу является одним из центральных фактов, позволяющих судить о наличии дислокации в структуре учреждаемого таким образом сообщества — о существовании в этой структуре сдвигов и противоречий, о неистребимом присутствии внешних элементов во внутреннем мире, о невозможности тотального структурного замыкания. Лотман и Успенский не случайно вынуждены подчеркивать, что это противопоставление принимало самые различные формы (религиозного, политического, культурного противостояния) и выражалось через разнообразную терминологию (Запад, Европа, святая Русь, Третий Рим — сюда же можно добавить и такие варианты, как «социалистическая родина всех трудящихся», «великая держава», «мир капитала» и т. п.).

<sup>1</sup> Как ясно из обсуждения природы политического решения в гл. 1, это решение необязательно должно было принять форму события. Его скорее можно рассматривать как процесс, продолжающийся и в наши дни.

<sup>2</sup> Лотман Ю. М. Роль дуальных моделей... С. 90.

К похожему выводу приходят и современные авторы, исследующие проблему внешнего восприятия России. Попытавшись сначала дать перечень «основных составляющих» образа России в западном дискурсе, Ирина Семененко, Владимир Лапкин и Владимир Пантин в итоге все-таки приходят к выводу о промежуточном положении России в западной картине мира: наша страна не воспринимается как совершенно отдельная культура (вроде Китая), но в то же время не может считаться полностью своей, что и обуславливает столь частое использование негативного образа России для формирования идентичности Запада<sup>1</sup>. Автор настоящего исследования берется утверждать, что на материалах любого этапа российской истории можно было бы продемонстрировать невозможность полного исключения конституирующего иного, каким бы образом последнее ни определялось, двусмысленность и противоречивость отношений России с внешним миром, в особенности с соседями на Западе, конкурирующие между собой логики включения и исключения, эквивалентности и различия и наличие альтернативных вариантов артикуляции идентичности России как сообщества.

## § 2.6. Соотношение понятий «Европа» и «Запад» в российском политическом дискурсе и их значение для национальной идентичности России

Дискуссия о принадлежности России к Европе ярко свидетельствует о парадоксальности и противоречивости самоопределения российского общества. Первый парадокс лежит на поверхности и состоит в том, что российские политики, ученые, общественные деятели считают необходимым постоянно

<sup>1</sup> Семененко И. С., Лапкин В. В., Пантин В. И. Образ России на Западе: диалектика представлений в контексте мирового развития. К постановке проблемы // Полис. 2006. № 6. С. 110—124.

настаивать на принадлежности России к Европе как на чем-то само собой разумеющемся. Приведем лишь несколько наиболее характерных примеров из недавних лет. «Мы — европейцы», — заявляет Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в своей программной книге, обосновывая идею общего европейского дома<sup>1</sup>. Владимир Кантор берет в качестве названия для своей книги цитату из «Наказа» Екатерины II («Россия есть европейская держава») и подчеркивает в подзаголовке стремление страны к вступлению в «цивилизованный мир»<sup>2</sup>. «Россия была, есть и будет европейской страной», — декларирует Анатолий Уткин<sup>3</sup>. Фундаментальный коллективный труд сотрудников Института Европы РАН открывается заявлением: «Как бы ни складывалась картина мира в прошлом и какие бы перемены ни ожидали его в будущем, Россия была и всегда будет Европой»<sup>4</sup>. Среди тем, наиболее часто повторявшихся в выступлениях Игоря Иванова в бытность его министром иностранных дел, утверждения о принадлежности России к Европе — одна из наиболее частых. Вот лишь одна, наиболее характерная цитата: «...Россия — неотъемлемая часть европейского континента и его цивилизации. Не может быть России без Европы, как и не может быть Европы без России»<sup>5</sup>. Один из постоянных оппонентов Иванова, известный правозащитник Сергей Ковалев, в этом вопросе проявляет полную солидарность с министром: «Россия является органическим и кардинально

<sup>1</sup> *Горбачев М. С.* Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М.: Политиздат, 1987. С. 200.

<sup>2</sup> *Кантор В. К.* «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. М.: Росспэн, 1997.

<sup>3</sup> *Уткин А. И.* Может ли Россия снова войти в Европу? // Независимая газета. 1999. 17 декабря.

<sup>4</sup> *Шмелев Н. П.* Предисловие. Россия и Европа на пороге XXI в. // Европа: вчера, сегодня, завтра / Отв. ред. Н. П. Шмелев. М.: Экономика, 2002. С. 3.

<sup>5</sup> *Иванов И. С.* За большую Европу без разделительных линий (к 50-летию Совета Европы) // Международная жизнь. 1999. № 5. С. 4.

важным элементом европейской цивилизации»<sup>1</sup>, — говорит он на встрече с жителями Бремена. Преемник Иванова на министерском посту Сергей Лавров обычно более сдержанно говорит о европейской судьбе России, однако и в его выступлениях встречаются высказывания наподобие следующего:

В течение трех веков Россия вместе с другими народами Европы, в чем-то отставая, а в чем-то иногда и опережая европейские стандарты, прошла через трудности реформ и становления парламентаризма, муниципальной и судебной властей... Россия без преувеличения выстрадала свой европейский выбор<sup>2</sup>.

Наконец, президент Владимир Путин также не чужд подобного пафоса: в одном из своих выступлений в дни празднования трехсотлетия северной столицы он, в частности, настаивал на том, что «именно здесь, в Петербурге, особенно заметно, что Россия — и исторически, и культурно — является неотъемлемой частью Европы»<sup>3</sup>. Эта тема — одна из центральных в выступлениях президента. «...Мы — часть западноевропейской культуры. Где бы ни жили наши люди — на Дальнем Востоке или на юге, мы — европейцы»<sup>4</sup>, — говорит он в интервью журналистам, опубликованном в книге «От первого лица» в 2000 году. В послании Федеральному собранию 2005 года Владимир Путин подчеркивает:

<sup>1</sup> Ковалев С. А. Прагматика политического идеализма. М.: Институт прав человека, 1999. С. 133.

<sup>2</sup> Лавров С. В. Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на 3 саммите Совета Европы, Варшава, 16 мая 2005 года. [http://www.mid.ru/brp\\_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/2c6cac11ca161d50c3257003004328f8?OpenDocument](http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/2c6cac11ca161d50c3257003004328f8?OpenDocument).

<sup>3</sup> Путин В. В. Выступление при посещении руководителями государств с супругами Екатерининского дворца. Пушкин, 31 мая 2003 г. <http://president.kremlin.ru/text/appears/2003/05/46459.shtml>.

<sup>4</sup> От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М.: Вагриус, 2000. С. 156.

Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией. Выстраданные и завоеванные европейской культурой идеалы свободы, прав человека, справедливости и демократии в течение многих веков являлись для нашего общества определяющим ценностным ориентиром.<sup>1</sup>

Такого рода утверждения повторяются столь часто, что давно уже превратились, говоря словами Ролана Барта, в элемент застывшего энкратического языка, постоянно воспроизводящего одни и те же смыслы, а принадлежность России к Европе, безусловно, соответствует логике ожидаемого, господствующей в российской повседневности. В то же время, как ни парадоксально, непрерывное повторение утверждения о принадлежности России к Европе в качестве не подлежащего сомнению факта свидетельствует, что принадлежность России к Европе воспринимается обществом и политической элитой как глубоко проблематичная. В самом деле, среди социальных явлений наиболее устойчивы те, по поводу которых большинство людей не задумывается без особого повода (таковы обычай приветствовать друг друга при встрече или, например, использование денег в качестве универсальной меры стоимости и средства платежа). «Если утверждение идентичности успешно, — пишет Ивер Нойманн, — оно скорее составляет горизонт политической дискуссии, нежели ее содержание»<sup>2</sup>. Если же, напротив, какой-то факт постоянно приходится постулировать в качестве непреложного, это немедленно заставляет по-

<sup>1</sup> *Путин В. В.* Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 25 апреля 2005 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223\\_type63372type63374type82634\\_87049.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml).

<sup>2</sup> *Neumann I. B.* Russia as a Great Power, 1815—2007 // Journal of International Relations and Development. Vol. 11. 2008. No. 2. P. 129. Ср.: *Idem.* The Geopolitics of Delineating «Russia» and «Europe»: The Creation of 'the Other' in European and Russian Tradition // Is Russia a European Power? The Position of Russia in a New Europe / Ed. T. Casier, K. Malfliet. Leuven: Leuven University Press, 1998. P. 42.



ставить непреложность факта под сомнение, поскольку доказывает, что лежащие в основе «факта» смысловые структуры не подверглись седиментации, продолжая оставаться в сфере живой, актуальной политики.

Кроме того, язык повседневной политической речи постоянно выдает двойственность представлений россиян о своей стране и ее месте в Европе: наряду с представлениями о России как европейской стране, в российском политическом дискурсе присутствует не менее острое противопоставление «Россия — Европа» или как минимум восприятие их как двух отдельных миров. В только что цитированном выступлении на юбилее Петербурга Путин рассуждал и о «взаимном проникновении культур России и Европы»<sup>1</sup>. Это утверждение логически противоречит положению, что Россия является неотъемлемой частью Европы. В самом деле, вряд ли кому-то придет в голову говорить о взаимном проникновении культур Италии и Европы или, например, Петербурга и России — часть и целое не могут «взаимно проникать» друг в друга.

Эта ситуация, конечно, не уникальна для России. В Великобритании, Норвегии и Швеции, например, часто говорят и пишут о событиях «в Европе», имея в виду материковую Европу к югу от Ла-Манша и Скагеррака. Более того, в сосуществовании противоречивых утверждений в рамках одного политического дискурса также нет ничего невозможного или уникального: сверхдетерминация, являющаяся неотъемлемым свойством дискурсивной сферы, порождает противоречащие друг другу цепочки означающих. Однако очевидно, что, сколь бы проблематичным ни было отношение россиян к Европе и своему месту в ней, оно в то же время абсолютно необходимо для любого определения России. Связь между двумя означающими в российском дискурсе столь прочна, что любая артикуляция, пытающаяся ее разорвать, вряд ли может рассчитывать на ус-

<sup>1</sup> Путин В. В. Выступление при посещении руководителями государств с супругами Екатерининского дворца.

пех в борьбе за гегемонию. Лозунгу о принадлежности России к Европе практически нет политически жизнеспособных альтернатив. Среди наиболее влиятельных интеллектуальных и идеологических течений, возможно, лишь евразийство содержит намек на возможность разделения этих двух понятий, но даже само название этого учения предполагает взгляд на Россию скорее как на синтез Европы и Азии, нежели как на совершенно отдельную цивилизацию или часть азиатского мира. Чисто «азиатские» версии евразийства, конечно, также существуют: все они в той или иной степени имеют своим истоком труды Петра Савицкого и Льва Гумилева<sup>1</sup>, их идеи об изначально плодотворном синтезе древнерусской и монгольской цивилизаций, хотя современные пропагандисты евразийской идеологии чаще приводят в качестве образца для подражания Китай<sup>2</sup>. В то же время нельзя не отметить, что степень влияния этих вариантов евразийства на господствующий политический дискурс не слишком велика. Более того, эти варианты самоопределения России также нуждаются в Европе (или, что в данном случае практически то же самое, в Западе) в качестве Иного, отрицание которого конституирует российскую идентичность. Так, по мнению Александра Панарина, поворот России на Восток возможен «в ответ на игнорирование Западом законных геополитических интересов России и общую неудачу западнически настроенных реформаторов»<sup>3</sup>. Сошлемся в этой связи на мнение авторитетного российского политолога Вадима Цымбурского, который в одной из своих наиболее значимых работ утверждает, что лейтмотивом российской внешней политики со времен Петра I было «похищение Европы» — т. е. преобразование Европы по образу и подобию России — и

<sup>1</sup> *Савицкий П. Н.* Континент Евразия. М.: Аграф, 1997; *Гумилев Л. Н.* Древняя Русь и Великая Степь. М.: Мысль, 1989 и др.

<sup>2</sup> См., например: *Малявин В. В.* Восток, Запад и Россия: избранные статьи. М.: Журнал «Эксперт», 2005.

<sup>3</sup> *Панарин А. С.* Реванш истории. С. 350.

что евразийство было одержимо этой идеей едва ли не более, чем различные прозападные идеологические течения<sup>1</sup>.

В чем же секрет столь острой необходимости Европы практически для любого варианта понимания России? С точки зрения принятой в данном исследовании теоретической позиции можно утверждать, что эти два означающих вплетены в столь тесную систему связей, что удаление любого из них неизбежно лишит другое всякого позитивного содержания<sup>2</sup>. Прежде всего Россия — суверенное государство, при этом суверенитет является критерием, позволяющим отличать государства от любых других политических образований и, следовательно, имеющих ключевое политическое значение. В свою очередь, в российском дискурсе понятие суверенитета прочно связано с Европой. Более подробно вопрос о связи между суверенитетом, Европой и российской национальной идентичностью рассматривается в главе 4, однако некоторые цитаты, демонстрирующие конституирующий характер этой связи, все же будут уместны уже на данном этапе. Так, российские авторы склонны утверждать, что, осуществляя военную акцию против Югославии в 1999 году, США и их союзники стремились подорвать значение суверенитета как основы всего существующего международного порядка, тем самым поправ «ценности, являющиеся продуктом западноевропейской цивилизации, итогом творчества ее выдающихся мыслителей и правоведов,

<sup>1</sup> *Цымбурский В.Л.* Остров Россия. Перспективы российской геополитики // Полис. 1993. № 5. С. 11—17. Более подробный анализ феномена «похищения Европы» см. в § 2.7.

<sup>2</sup> Подчеркнем, что речь в данном случае идет не о некоем объективно-нейтральном значении этих терминов (которого, как ясно из вышесказанного, не существует), а об их функции в российском политическом дискурсе. Для официального дискурса Евросоюза, например, означающее «Россия» также является важным, но ни в коем случае не может соперничать по степени значимости с означающим «Европа» (хотя после недавнего восточного расширения негативная роль России явно возросла).

стремившихся создать правовые основы европейского общезжития, соблюдение которых исключило бы или свело к минимуму возможности возникновения войн и конфликтов в Европе»<sup>1</sup>. По мнению газеты «Ведомости»,

...одно из главных исторических достижений Европы — отказ от империи в пользу модели национального государства. Национальный суверенитет подразумевает право даже небольшой нации на свою государственность. Европе принадлежит и идея «вечного мира», который может быть гарантирован ассамблеей национальных государств. Лига наций, ООН, Совет Европы — все это попытки формировать международный порядок на базе европейской идеи национального суверенитета<sup>2</sup>.

В глазах западноевропейского или североамериканского читателя подобные высказывания выглядят как старомодные, принадлежащие едва ли не XIX веку. Очевидно, однако, что ставшая для западной части континента общим местом картина Европы как региона, где имеет место частичный отказ народов от суверенитета во имя единства и мира, гораздо менее распространена в рамках российского дискурса. Напротив, такие авторы, как известный консервативный публицист Максим Соколов, интерпретируют саму идею европейского единства как изначально основанную на принципе суверенитета:

Вся европейская идея базируется на понятии суверенитета, т. е. на том, что любой клочок земли имеет политически ответственного за нее хозяина — короля, папу,

<sup>1</sup> *Дашинчев В.* Билл Клинтон против Иммануила Канта // Независимая газета. 1999. 7 декабря.

<sup>2</sup> От редакции: Единственный суверенитет // Ведомости. 2002. 29 апреля. См. также: *Иноземцев В.Л.* Бремя белого человека // Независимая газета. 2003. 25 ноября; Против центра // Ведомости. 2003. 13 мая.

графа, барона, государство-нацию etc. В долгом и кровавом взаимоупоре этих суверенов родилась идея о том, что, чем заниматься кровавыми распрями, лучше и приятнее взаимно интегрироваться в братскую семью европейских наций<sup>1</sup>.

Тесно связано с понятием суверенитета и представление о России как о великой державе, прежде всего европейской, которая часто видит свою миссию в том, чтобы спасти Европу от враждебного влияния извне. Опять же со времен Петра I важнейшая цель российской внешней политики состояла и состоит в том, чтобы закрепить за Россией роль ведущего игрока на европейской международной арене, одного из равноправных участников европейского равновесия сил. Представление о многополярности как наиболее желательной структуре международной системы основано на конституирующем принципе суверенитета и невмешательства во внутренние дела, а также на определении России как великой мировой державы. Видный идеолог современного евразийства Александр Дугин сводит все три термина воедино — характерно, что это достигается путем противопоставления Европы и Соединенных Штатов:

Если европейская интеграция достигнет своей цели, если в этот процесс включится Россия с ее огромным ресурсным, стратегическим и культурным потенциалом, то завтрашний мир будет сбалансированным, многополярным, оставляющим довольно широкое поле для выбора. Если победит однополярная модель — глобализация по-американски, видимо, о реальном геополитическом выборе, суверенитете и многополярности придется забыть<sup>2</sup>.

Хотя идея многополярности была наиболее популярна в период пребывания Евгения Примакова в должности мини-

<sup>1</sup> Соколов М. Вызов V века // Известия. 2001. 22 марта.

<sup>2</sup> Дугин А. Франко-германская империя: здесь и сейчас // Известия. 2003. 6 февраля.

стра иностранных дел, а затем и премьер-министра, она присутствует в качестве нормативного референта в концепции внешней политики и Концепции национальной безопасности, принятых уже в то время, когда главой Российского государства был Владимир Путин. Более того, как будет показано в четвертой главе, ее содержание в последние годы подверглось некоторой модификации, вследствие которой на первый план вышли нормативные, а не геополитические коннотации, — это понятие сегодня в первую очередь увязывается с незыблемостью принципа суверенитета и цивилизационным многообразием<sup>1</sup>.

Но помимо значимости Европы для российской внешней политики, это понятие играет важную роль в языке повседневности. Оно представляет собой один из центральных узловых пунктов для всей референтной системы, которая структурирует взгляд россиян на самих себя и на окружающий мир. В этом контексте понятие «Европа» отсылает к идеям цивилизации, прогресса и качества, что со всей очевидностью проявляется в таких расхожих выражениях, как «[делать что-либо] как в Европе», «лучшие европейские образцы», и не в последнюю очередь в весьма популярном среди исследователей российской идентичности слове «евроремонт», означающем не просто отделку квартиры по высшему стандарту, но и, главное, ремонт более качественный, чем обычно принято в России.

Если принять во внимание эту столь плотную сеть смысловых связей между «Россией» и «Европой», очевидным становится вывод о невозможности отделения друг от друга этих двух

<sup>1</sup> См. два наиболее характерных документа, которые подробно анализируются в главе 4: *Путин В. В.* Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Мюнхен, 10 февраля 2007 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737\\_type63374type63376type63377type63381type82634\\_118109.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118109.shtml); Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации. [http://www.mid.ru/brp\\_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD](http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD).

центральных означающих российского дискурса. Невозможно предложить сколько-нибудь актуальный образ России без того, чтобы так или иначе завести речь о Европе, но и любое определение Европы необходимо подразумевает определение (или переопределение) России. Удаление означающего «Европа» означало бы неизбежное крушение всей системы смысловых связей, конституирующих российскую идентичность.

Утверждение о том, что Европа необходима для любого определения России, не означает, однако, что эти определения не имеют значимых различий. Структура семантических моделей, на которых основываются эти во многом противоречащие друг другу образы России (а значит, и конкурирующие между собой политические платформы), могут весьма существенно различаться. Анализ этих моделей необходимо, вероятно, начать с констатации почти очевидного, но не всегда отчетливо осознаваемого факта: «Европа» для россиян — это совсем не то же самое, что «Запад», более того, это и не часть «Запада». В работах российских политологов, международных социологов эти два понятия чаще всего принимаются как объективная данность, не требующая уточнения и определения, и зачастую — хотя и не всегда — выступают как синонимы<sup>1</sup>. В зарубежной литературе такой подход также весьма распространен<sup>2</sup>. Внимательный анализ российского дискурса,

<sup>1</sup> См., например: *Дилигенский Г. Г.* «Запад» в российском общественном сознании // *Общественные науки и современность*. 2000. № 5. С. 5—19; *Арбатова Н. К.* Отношения России и Запада после Косовского кризиса // *Мировая экономика и международные отношения*. 2000. № 6. С. 14—23; *Ланкин В. В., Пантин В. И.* Образы Запада в сознании постсоветского человека // *Мировая экономика и международные отношения*. 2001. № 7. С. 68—83.

<sup>2</sup> См., например: *Wagnsson C.* Russian Political Language and Public Opinion on the West, NATO and Chechnya. Securitisation Theory Reconsidered. Stockholm: University of Stockholm. Department of Political Science, 2000. P. 75; *White S., Light M., McAlister I.* Russia and the West: Is There a Values Gap? // *International Politics*. Vol. 42. 2005. No. 3. P. 314—333; *Stent A.* Op. cit.

однако, заставляет говорить о понятиях «Европа» и «Запад» как о двух самостоятельных означающих, каждое из которых играет собственную важную роль в структурировании дискурсивного поля и, в конечном итоге, также и в формировании российской национальной идентичности.

Слова «Европа» и «Запад» в контексте дискуссий об отношении России к западной цивилизации действительно были синонимичны друг другу, вероятно, вплоть до Второй мировой войны. Это легко объяснить тем, что Соединенные Штаты до этого момента не играли самостоятельной роли в европейских делах, и потому не было предпосылок для выделения Европы в качестве отдельного «центра силы», отличного от «Запада» в целом. Однако и в послевоенные десятилетия термин «Запад» был не только и даже не столько родовым понятием, которое обозначало бы США и Западную Европу в совокупности, — взаимодействие этих концепций было гораздо более сложным. Система сигнификации, характерная для сегодняшнего российского политического дискурса, по всей видимости, сформировалась именно в советский период, хотя этот вопрос и требует более детального исследования. Как бы то ни было, после крушения советского строя и исчезновения искусственных ограничений свобода высказывать собственное мнение о вопросах внешней политики, в особенности восприятия европейской (или западной) цивилизации в России стала гораздо более очевидной.

Наиболее явное различие в употреблении терминов «Европа» и «Запад» в современном российском внешнеполитическом дискурсе состоит в том, что первый из них практически никогда не употребляется для обозначения радикально враждебных России сил: в рассуждениях отечественных геополитиков России противостоит Запад, но никак не Европа<sup>1</sup>. С другой стороны, Россия является частью Европы, но никак не Запада.

<sup>1</sup> Это подтверждается и данными социологических опросов. См.: *Андреев А.Л.* Образ Европы в современном российском обществе // *Мировая экономика и международные отношения.* 2003. № 5. С. 36.



Даже такие провозгласившие себя западниками политики, как Егор Гайдар или Андрей Козырев, высказывались лишь о *необходимости* создания в России «системы институтов гражданского общества и защиты гражданских свобод», присоединения страны к «полосу самых развитых и уважаемых государств современного мира»<sup>1</sup>. Здесь мы имеем дело с модальностью долженствования, а не с утверждением свершившегося факта, и сам термин «Запад» в подобном контексте, как правило, употребляется очень осторожно.

Уже это простое наблюдение опровергает предположение о соотношении понятий «Запад» и «Европа» как о двух множествах, первое из которых полностью включает второе. Ближе к дискурсивной реальности оказывается схема с двумя *пересекающимися* множествами, в которой «Запад» включает лишь западную часть Европы, в то время как страны Центральной и Восточной Европы и Россия входят в множество «Европа», но не в множество «Запад». Действительно, российский дискурс с готовностью воспроизводит представление о Центральной и Восточной Европе, которое само по себе является результатом социального конструирования пространственных образов и отражает отношения господства и подчинения в современной Европе<sup>2</sup>. Однако, принимая западноевропейское определение

<sup>1</sup> См.: Егор Гайдар об отношениях России с Западом // Телеканал «РТР». Перед зеркалом. 1999. 12 декабря. [http://www.pravdelo.ru/sps5\\_30.htm](http://www.pravdelo.ru/sps5_30.htm); Козырев А. В. Бессмыслица «многополюсного мира» // Московские новости. 2000. 22—28 февраля.

<sup>2</sup> Создание образа Восточной Европы в эпоху Просвещения исследовано в классическом труде Ларри Вульфа: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Центральную Европу, согласно общепринятой точке зрения, изобрел в 1984 году Милан Кундера в своей знаменитой статье: Kundera M. The Tragedy of Central Europe // New York Review of Books. 1984. 26 April. Термин «Центральная и Восточная Европа», таким образом, является компромиссным результатом борьбы за статус «полноценной» Европы или, точнее, за право определять критерии такой полноценности.

Центральной и Восточной Европы как стран, стремящихся полностью интегрироваться в НАТО и Европейский союз и тем самым доказать свою «европейскость», российский дискурс не ограничивается этим заимствованием.

Весьма характерное для российской дискуссии противопоставление Европы и Запада, в котором Запад выступает как своего рода деструктивная сила, постоянно стремящаяся нарушить европейское равновесие, часто приводит к тому, что Запад предстает как активное, действующее начало, в то время как Европа — начало пассивное, страдательное, арена дипломатической борьбы и военного противостояния. Особенно очевидно это было во время косовского кризиса. Виктор Левашов описывает военные действия против Югославии как попытку Соединенных Штатов «*перекроить Европу, используя НАТО — военный альянс — в качестве инструмента*»<sup>1</sup>. Статья известного американиста Анатолия Уткина «*Может ли Россия снова войти в Европу*» имеет характерный подзаголовок «*Запад многое потеряет, если изолирует Москву*»<sup>2</sup>. Фактически тот же самый тезис без малого двумя годами позже выдвигает обозреватель «Ведомостей» Виталий Портников: «<...> важно зафиксировать новый уровень *отношений между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Западом в целом, <...> доказать западным лидерам, что в сложившейся ситуации Европа уж никак не может заканчиваться в районе Бреста и Калининграда, что сегодня европейская граница нашей цивилизации, граница наших ценностей проходит именно по границам России*»<sup>3</sup>. Для сравнения можно привести также заявления Игоря Иванова, который так характеризует возможные последствия косовского кризиса: «*Военные действия НАТО... войд[у]т в историю Ев-*

<sup>1</sup> Цитируется в переводе с английского по: Weir F. Russia's Uneasy Place in Europe // Christian Science Monitor. 1999. Vol. 91. No. 115. 11 May. P. 6. — Курсив мой.

<sup>2</sup> Уткин А. И. Может ли Россия снова войти в Европу? // Независимая газета. 1999. 17 декабря.

<sup>3</sup> Портников В. Шанхайский шанс // Ведомости. 2001. 17 октября.

*ропы* конца XX века как одна из самых трагических страниц... Косово остается *кровоточащей раной на теле Европы*... Неужели всего этого не видят в столицах *западных стран*?»<sup>1</sup> В статью Наталии Нарочницкой проект «глобального управления», который автор преподносит как угрозу для России, реализуется Западом при лидирующей роли США. При этом наличие Европы как дееспособного субъекта ставится под вопрос: «Этот проект грозит Европе окончательно зависимым от Вашингтона положением... Способна ли Европа к выдвиганию альтернативного проекта?»<sup>2</sup> Комментируя планы американской администрации по размещению системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, начальник Генерального штаба Юрий Балугевский заявляет: «США... способствуют созданию в Европе новых “берлинских стен”»<sup>3</sup>, а «Московские новости» размещают материал на эту тему под заголовком «США толкают Европу к новому военному противостоянию»<sup>4</sup>. Во всех этих высказываниях Запад (или США, НАТО) выступает субъектом действия, тогда как Европа представляет собой объект, на который это действие направлено. В учебном пособии Валерия Кудинова, предназначенном для слушателей Московской академии МВД, эта смысловая структура находит свое завершение в метафоре «овладения Европой», которое США намерены осуществить «с помощью доллара и НАТО»<sup>5</sup>.

Все эти цитаты заставляют вспомнить о давней, восходящей к Владимиру Соловьеву и Николаю Бердяеву, традиции противопоставления Запада как мужского начала России как началу

<sup>1</sup> Иванов И. С. Косовский кризис: год спустя // Дипкуррьер НГ. 2000. № 5. 23 марта.

<sup>2</sup> Нарочницкая Н. А. Европа «старая» и Европа «новая» // Международная жизнь. 2003. № 4. С. 48.

<sup>3</sup> Литовкин Д. В Европе снова возводят «Берлинскую стену» // Известия. 2007. 14 мая.

<sup>4</sup> Ефимов И. США толкают Европу к новому военному противостоянию // Московские новости. 2007. 1 июня.

<sup>5</sup> Кудинов В. П. Внешняя политика РФ (1991—1999 гг.). Учебное пособие. М.: МА МВД России, 1999. С. 51.

женскому, которое не раз приводило различных мыслителей к идее плодотворного синтеза двух начал<sup>1</sup>. Вместе с тем очевидно, что в российском политическом дискурсе структура несколько иная: здесь Россия и Запад выступают как два конкурирующих между собой мужских начала, борющихся за обладание Европой (подробнее эта тема будет рассмотрена в третьей главе). Исходя из этого, можно утверждать вслед за Юрием Лотманом, что на протяжении всей российской истории именно Запад (не Европа) противопоставляется России в рамках дуальных моделей, или, в терминах Эрнесто Лаклау и Шанталь Муф, играет роль конституирующего иного для российского политического сообщества, абсолютного отрицания, которое позволяет России утвердить свое существование как структуры, стремящейся обрести полноценное бытие. Именно Запад выступает в качестве главного соперника России в геополитических играх с нулевой суммой, в борьбе за мировое господство. В рамках различных практик безопасности Запад фигурирует как важнейший источник угроз, от традиционных военных, описываемых с использованием слов и выражений времен холодной войны<sup>2</sup>, до экономической колонизации и превращения России в «сырьевой придаток»<sup>3</sup> или морального разло-

<sup>1</sup> См.: *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990; *Рябов О.В.* Идея женственности России в сочинениях В. С. Соловьева и поиски национальной идентичности в отечественной историософии // Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. Вып. 2. Иваново: ИГЭУ, 2001. С. 216—229.

<sup>2</sup> См., например: *Яновский Р.* и др. Манифест панамериканизма // Независимое военное обозрение. 1999. 11 июня; *Сергеев С.* Не наступить на «грабли» истории // Красная звезда. 2001. 5 июня; *Соловьев В.* Врагов стало больше, враги стали агрессивнее // Независимая газета. 2007. 22 января. В некоторых версиях это военное завоевание мотивируется экономически — стремлением получить доступ к российским природным ресурсам: *Зинченко Ж.Ф.* Что было и что будет. Итоги и перспективы экономического развития России // Свободная мысль — XXI. 2004. № 5. С. 21.

<sup>3</sup> Ссылки на этот сценарий настолько распространены, что даже политики и журналисты иногда говорят о нем как о навязшем в зубах

жения и культурной «вестернизации». Запад, таким образом, выступает как абсолютное отрицание России как с геополитической точки зрения (любое расширение сферы влияния Запада означает соответствующее сужение российской), так и в экзистенциальном смысле (Запад так или иначе стремится к разрушению России).

Как легко заметить, в этом контексте синонимом термина «Запад» выступает уже не «Европа», а «НАТО». Упреки «наших западных партнеров» в «натоцентризме»<sup>1</sup> сочетаются с утверждениями, что «именно на европейском континенте сейчас отработываются возможные схемы взаимоотношений государств и организаций в XXI веке»<sup>2</sup>. Вот, например, как ректор МГИМО(У) Анатолий Торкунов характеризует действия США и НАТО в Югославии в ходе Косовского конфликта 1999 года: «...Это попытка рецидива “политики силы” и подрыва всей системы современного международного права, в том числе воплощенного в самой идее международно-правового “Рах Еуропа” — то есть “мира по-европейски”, которой противопоставляется новая, основанная не на праве, а на силе модель мира — “Рах НАТО”»<sup>3</sup>. Начиная с момента создания Североат-

клише. См., например: *Кашианов А.* В России все правы, а богатых нет [Интервью с министром природных ресурсов Борисом Яцкевичем] // Российская газета. 1999. 24 сентября; *Гурвич В.* России требуется рекламная кампания // Российская газета. 2001. 5 июня. Тем не менее это словосочетание до сих пор не утратило своей риторической действенности — по крайней мере, его по-прежнему используют как инструмент убеждения. См., например: *Симония Н.* Энергобезопасность Запада и роль России // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 2. С. 90; *Кива А. В.* Несистемный режим // Свободная мысль — XXI. 2004. № 9. С. 101.

<sup>1</sup> *Чижов В. А.* Стамбульский саммит // Международная жизнь. 1999. № 12. С. 40; *Иванов И. С.* Косовский кризис.

<sup>2</sup> *Иванов И. С.* Пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова по итогам внешнеполитического 1998 года. 22 января 1999 г. // Дипломатический вестник. 1999. № 2. С. 4.

<sup>3</sup> *Торкунов А. В.* Международные отношения после косовского кризиса // Международная жизнь. 1999. № 12. С. 45.

лантического альянса НАТО играет роль одного из ключевых означающих российского политического дискурса в его отношении к окружающему миру. По сути дела, НАТО всегда была воплощением, символом Запада: практическая необходимость представления такой сложной, абстрактной и сверхдетерминированной целостности, как «Запад», через ее более конкретные, институционализованные частные проявления сочеталась в данном случае со стремлением подчеркнуть наиболее характерные черты Запада как конституирующего иного — агрессивность, экспансионизм, абсолютное отрицание российского (советского) сообщества и его базовых ценностей. Угроза нового всемирного конфликта, которая отнюдь не была абстрактным понятием для послевоенного поколения советских людей, воплощалась в первую очередь в образе НАТО. Устанавливая отношения эквивалентности между НАТО и другими западными структурами, советский дискурс конструировал цельный, недифференцированный образ враждебного Иного, на отрицании которого строилась идентичность «своего» сообщества. Так, в 1957 году одним из аргументов советского МИД против создания Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Евратома был следующий: «<...> Все участники Евратома и “общего рынка” являются членами военной группировки НАТО. Очевидно, что вся деятельность Евратома и “общего рынка” будет подчинена целям НАТО, агрессивный характер которых широко известен»<sup>1</sup>. Таким образом, уже в 1950-е годы для доказательства агрессивных намерений какой-либо организации (или любого другого актора) достаточно было указать на ее тесную связь с Североатлантическим блоком — никаких других объяснений не требовалось.

Если принять во внимание инерционность реляционных структур, то не приходится удивляться, что и в постсоветский период одним из лейтмотивов российской внешней политики

<sup>1</sup> Заявление Министерства иностранных дел СССР о планах создания Евратома и «общего рынка» // Правда. 1957. 17 марта.

стало противодействие планам расширения альянса на восток. Характерной особенностью мышления большей части российской внешнеполитической элиты в этот период было признание отсутствия серьезной военно-стратегической угрозы со стороны альянса, что, однако, не мешало экспертам заявлять, что «расширение НАТО противоречит национальным интересам России», поскольку может привести к появлению «ощущения военно-политической изоляции» страны, возрождению «антизападных и милитаристских тенденций в общественном сознании»<sup>1</sup>. Такое эклектичное соединение реалистического понятия объективных национальных интересов с «политико-психологическими» объяснениями порождало замкнутый на себя и в своем роде неопровержимый аргумент: если расширение НАТО представляет угрозу, ему нужно противодействовать, но, поскольку само противодействие происходит не в вакууме, оно неизбежно усилит в обществе ощущение угрозы. Защита от угрозы, таким образом, только усиливала саму угрозу. С другой стороны, любые силы, противостоящие НАТО, воспринимались в России как союзники. Разрыв этого замкнутого круга, да и то, как оказалось, временный, стал возможен лишь в результате появления нового конституирующего иного в лице терроризма.

Разумеется, существуют и альтернативные практики артикуляции, в которых Запад уже не выступает в качестве конституирующего иного. Так, в начальный период существования России как самостоятельного государства Запад, наоборот, вошел в состав прочной цепочки означающих, другими элементами которой стали демократия, права человека, рыночная экономика и благосостояние: именно это давало возможность министру иностранных дел Андрею Козыреву и другим российским политикам приводить пример Запада в качестве образца для

<sup>1</sup> Россия и НАТО / Коорд. раб. группы С. А. Караганов. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 1995. П. 1.3.3. [http://www.svp.org.ru/live/materials.asp?m\\_id=7009](http://www.svp.org.ru/live/materials.asp?m_id=7009).

подражания<sup>1</sup>. Важно отметить, что разочарование в Западе не повлекло за собой разрыва этой цепочки: отношения эквивалентности в данном случае оказались столь прочными, что демократия и права человека были вытеснены вместе с Западом за пределы сообщества; рыночная экономика перестала считаться приемлемым для России путем достижения благосостояния и также оказалась по ту сторону границ. Однако эта новая гегемоническая артикуляция оказалась гораздо менее влиятельной, чем, например, советская. Поэтому даже в конце 1990-х годов российский дискурс был не готов к тотальному и окончательному отрицанию Запада: так, резкое заявление президента Ельцина в Бишкеке в августе 1999 года о том, что он «готов в бой, особенно с западниками», вызвало достаточно критическую реакцию российских СМИ, причем эта реакция воспроизводила артикуляцию десятилетней давности, описывая возможную конфронтацию с Западом как угрозу для демократии и экономического благополучия России<sup>2</sup>.

Сближение с Соединенными Штатами после 11 сентября 2001 года сделало возможными даже такие категоричные высказывания, как «место нашей страны на Западе»<sup>3</sup>, однако более внимательный анализ позиции его автора, бывшего первого заместителя министра иностранных дел Анатолия Адамишина, показывает, что США все-таки играют для него роль Другого, в противостоянии которому должно произойти сближение России и Европы. Еще один интересный вариант артикуляции предлагает уже в 2007 году Ярослав Романчук в статье с харак-

<sup>1</sup> Подробнее см.: *Matz J. Constructing a Post-Soviet International Political Reality. Russian Foreign Policy Towards Newly Independent States 1990—1995.* Uppsala: University of Uppsala, 2001. P. 120—121; *Ханаева Д.* Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002.

<sup>2</sup> См., например: *Юсин М.* Мы им покажем кузькину мать // Известия. 1999. 26 августа.

<sup>3</sup> *Адамишин А.Л.* Зачем нам нужна прозападная внешняя политика // Независимая газета. 2002. 16 марта.



терным названием «Запад против Запада». Автор вводит различие между Западом географическим и аксиологическим — в последнем случае имеется в виду совокупность «подлинно западных» ценностей, к которым автор относит прежде всего индивидуализм и рационализм эпохи Просвещения и с которыми открыто солидаризируется. По его мнению, эти ценности находятся под угрозой, исходящей от философии постмодернизма и политики интервенционизма, проводимой большинством государств на географическом Западе. В России, по его мнению, в период реформ 1990-х годов насаждались институты географического Запада, а принципы Запада аксиологического так и не были оценены по достоинству<sup>1</sup>. Установление различия между двумя западными идентичностями, одна из которых предстает как враждебная, а вторая — как дружественная, структурно совпадает с фигурой «истинной» и «ложной» Европы, которая обсуждается в § 2.7, однако применительно к Западу этот прием является скорее исключением, чем правилом. Более подробно вопросы трансформации российского политического дискурса после 2001 года рассматриваются в третьей и четвертой главах нашей работы.

Представление о Европе как о пассивной, лишенной субъектности общности также не является безальтернативным. Так, выступая в Бундестаге ФРГ 25 сентября 2001 года, Владимир Путин отметил, что «Европа твердо и надолго укрепит свою репутацию мощного и действительно самостоятельного центра мировой политики, если она сможет объединить собственные возможности с возможностями российскими»<sup>2</sup>. Отметим, однако, что, во-первых, существование Европы в качестве самостоятельного субъекта мировой политики редко постулируется безоговорочно: вышеприведенное высказыва-

<sup>1</sup> Романчук Я. Запад против Запада // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 6—22.

<sup>2</sup> Путин В.В. Выступление в Бундестаге ФРГ 25 сентября 2001 г. [http://kremlin.ru/appears/2001/09/25/0002\\_type63374type63377type82634\\_28641.shtml](http://kremlin.ru/appears/2001/09/25/0002_type63374type63377type82634_28641.shtml).

ние российского президента подразумевает, что «репутация» Европы как субъекта нуждается в подкреплении, обусловленном сотрудничеством с Россией. Во-вторых, еще более важен тот факт, что даже подобного рода высказывания воспроизводят все то же противопоставление между Европой и Западом — только Запад в данном контексте представлен почти исключительно Соединенными Штатами, и поэтому даже сам термин «Запад» часто исчезает. Наиболее радикальный вариант этого дискурса, представленный, например, в серии статей Владислава Иноземцева и Екатерины Кузнецовой, строится на резком противопоставлении Европы и США. Они приветствуют «культурное размежевание Соединенных Штатов и Европейского союза», «формирование европейской внешнеполитической идентичности, существенно отличающейся от американской»<sup>1</sup>. Примерно в тех же выражениях, хотя и более пессимистично, описывает ситуацию Наталия Нарочницкая:

Некогда великая «Европа Петра» стремительно утрачивает роль явления мировой культуры, растворяясь в «Новой Атлантиде»<sup>2</sup>.

Или:

Не случайно в начале 90-х годов в Европе всплывали идеи реанимации Западноевропейского союза (ЗЕС), отражавшие остатки самоощущения Западной Европы как отдельной от США геополитической и культурно-исторической величины, что <...> совершенно не вписывалось в философию «единого мира»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> *Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С.* Европейцы согласны уважать интересы Америки, но не жертвовать собственными ценностями // *Международная жизнь*. 2003. № 4. С. 68, 76. См. также: *Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С.* В поисках идентичности: европейская социокультурная парадигма // *Мировая экономика и международные отношения*. 2002. № 6. С. 3—14.

<sup>2</sup> *Нарочницкая Н.А.* Россия и русские в мировой истории. С. 13.

<sup>3</sup> *Нарочницкая Н.А.* Избежать нового передела мира // *Международная жизнь*. 1999. № 11. С. 27.

Итак, уже на данном этапе можно сделать вывод, что существует как минимум два конкурирующих между собой варианта артикуляции с участием означающих «Европа» и «Запад», причем оба непосредственно влияют на положение национальной идентичности в реляционной системе российского политического дискурса. В обоих вариантах Запад выступает как враждебная, антагонистическая сила, однако он может быть представлен либо как недифференцированная целостность, основной характеристикой которой является ее внешний характер по отношению к российскому национальному сообществу, либо наряду с гораздо более дружественной позитивностью, символизируемой понятием «Европа». В первом случае отчетливо преобладают отношения эквивалентности, и если Европа как таковая и присутствует в дискурсе наряду с Западом, ее роль остается пассивной, она выступает скорее для обозначения пространства, в котором — и за обладание которым — разворачивается борьба между Россией и Западом. Такое присутствие, в сущности, равнозначно отсутствию. Можно предположить, однако, что Европа оказывается слишком важной смысловой единицей для того, чтобы быть сведенной к чистой пространственности или растворенной в понятии «Запад»: для этого пришлось бы переформулировать огромное число важнейших реляционных связей. Реакцией на эту невозможность свести Европу к чистому отсутствию становится попытка установить отношения эквивалентности между Европой и Россией, включить Европу в круг «своих», во внутренние пределы сообщества.

Таким образом, в полном соответствии с выводами Юрия Лотмана, дуальность модели российской идентичности, выражающаяся в противостоянии России и Запада, несовершенна, поскольку имеет место неизбежное вторжение третьего означающего — Европы. Помимо того что Европа необходима для любого актуального описания России, она предстает в российском дискурсе как **неразложимое означающее**<sup>1</sup> — оно не

<sup>1</sup> Этот термин Жака Деррида приводится согласно переводу Наталии Автономовой (см.: *Деррида Ж. О грамматологии*. М.: Ad Marginem,

может быть ни до конца интегрировано во внутреннее политическое пространство, ни полностью вытеснено во внешний мир. С одной стороны, Россия нуждается в том, чтобы чувствовать себя частью Европы, и перспектива полного разрыва с последней вызывает в российском обществе страх оказаться «на задворках Европы»<sup>1</sup>. В то же самое время ни российское правительство, ни любые другие силы, выступающие от имени России, не способны контролировать содержание понятия «Европа»: у него есть другие институциональные воплощения, которые с гораздо большим успехом претендуют на право определять позитивное содержание «европейскости» и легитимность которых общепризнана даже в глазах российского наблюдателя — прежде всего речь идет о Совете Европы и Европейском союзе. Несмотря на то что правомерность отождествления Европы с Евросоюзом, ставшая уже практически нормой общеевропейской дискурсивной реальности, иногда ставится под вопрос и в России<sup>2</sup>, и в других европейских странах, в обыденной речи это отождествление признается по умолчанию<sup>3</sup>. Следовательно, отношение эквивалентности меж-

2000. С. 193). Отметим, однако, что французское «irreductible» имеет несколько иные коннотации, из которых важнейшими для нас являются «несокращаемый», «неустрашимый, невозстановимый», «несводимый к чему-либо», «непримиримый, упрямый, неумолимый».

<sup>1</sup> *Рогов С.М.* Наша страна может оказаться на задворках Европы // Независимая газета. 1999. 16 июня.

<sup>2</sup> См., например: *Грамыко А.А.* Указ. соч. С. 68.

<sup>3</sup> См., например: *Путин В.В.* Полвека европейской интеграции и Россия. Статья, опубликованная в ряде европейских СМИ 25 марта 2007 года. [http://kremlin.ru/appears/2007/03/25/1121\\_type63382\\_120736.shtml](http://kremlin.ru/appears/2007/03/25/1121_type63382_120736.shtml)

По наблюдениям автора, в последние годы эта тенденция в России особенно заметна. Вот лишь несколько примеров публикаций по итогам самарского саммита Россия — ЕС (май 2007 года): *Соколов М.* Европа есть, а счастья нет // Известия. 2007. 15 мая; *Краснов Н.* Европа оставила Россию без согласия // Комсомольская правда. 2007. 16 мая; *Кузьмин В., Сорокина Н., Имуков А.* Европа на Волге // Российская газета. 2007. 18 мая. Вступление в силу соглашения об упрощении визово-

ду Европой и ЕС является доминирующим, поскольку именно отсутствие этого отношения (и возможность включения в состав Европы других означающих, таких как Россия) нуждается как минимум в эксплицитном постулировании, если не в детальном доказательстве.

Именно в силу подобного распределения власти над содержанием «европейскости», попытки установить отношения эквивалентности между Россией и Европой сталкиваются с серьезным сопротивлением. Примеров такого сопротивления можно привести множество: это и наличие реальной и постоянно укрепляющейся границы между Россией и Европейским союзом в виде визовых барьеров, таможенных пошлин, антидемпинговой политики и т. д., и критика российской политики в Чечне, и ситуации с правами человека в целом, и проблема Калининграда, и неготовность Евросоюза допустить российские монополии на внутренний газовый рынок. Если понятие Европы нельзя редуцировать к чистой пространственности или к негативности Запада, его тем более невозможно свести к простым позитивным отношениям различия в пространстве «своего» сообщества, поскольку многие политические шаги, приписываемые Европе, в конечном итоге предстают как отрицание России, отказ признать ее в качестве равноправного партнера.

Результатом такой двойственности отношений между означающими «Россия» и «Европа», когда они, с одной стороны, неразрывно связаны друг с другом, а с другой, эта связь постоянно ставится под вопрос, становится критически важная для понимания российского политического процесса ситуация фатальной неразрешимости: Европа всегда остается на границе российского политического сообщества, не поддаваясь ни включению в его внутреннее пространство, ни вытеснению

го режима с ЕС едва ли не все российские газеты прокомментировали заголовками наподобие: *Березинцева О.* Европа стала ближе россиянам // Коммерсант. 2007. 2 июня.

вовне. Как пишет об этом в редакционной статье «Независимая газета», «то, что выбор России — не вполне европейский, уже очевидно. Но и то, что предпринимаются попытки трансформировать институты в обществе [на европейский манер], отрицать бессмысленно»<sup>1</sup>. Эта неразрешимость является одним из ключевых факторов, дислоцирующих идентичность России и препятствующих полному и окончательному конституированию ее как замкнутого политического сообщества.

С другой стороны, противопоставление Европы и Запада дифференцирует образ внешнего мира, поэтому такая артикуляционная практика особенно важна во времена, когда в обществе нарастает ощущение изоляции перед лицом «враждебного окружения». В сущности, мало кто из представителей российской внешнеполитической элиты даже в 1999 году готов был согласиться с мнением Иды Куклиной, что «в настоящее время Россия осталась один на один с миром, где у нее нет ни союзников, ни надежных партнеров»<sup>2</sup>. Не случайно обозреватель «Независимой газеты» Дмитрий Горностаев, пытаясь успокоить читателей в день голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу о нарушении прав человека в Чечне, выдвигает среди прочих доводов следующий: «Решение депутатов ПАСЕ, если оно будет не в нашу пользу, вовсе не будет означать, что *Европа отвернулась от России*»<sup>3</sup>. Прочное включение Запада в цепочки негативных означающих (враждебность, антироссийская политика, НАТО, экспансионизм и т. п.) оставляет Европу как означающее свободным, «на плаву», что делает возможной его фиксацию в других кон-

<sup>1</sup> Политико-экономический фьюжн // Независимая газета. 2007. 10 апреля.

<sup>2</sup> Куклина И. Н. Деформация глобальных структур безопасности и Россия // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 11. С. 40.

<sup>3</sup> Горностаев Д. Обидно, но не более // Дипкуррьер НГ. 2000. 6 апреля. — Выделено мной. См. также, например, статью с подзаголовком «Европа высказалась против отлучения России» в газете «Коммерсант»: Мифоненко В. ПАСЕ не идет на поправку // Коммерсантъ. 2000. 28 января.

текстах, в том числе имеющих позитивную эмоциональную нагрузку. Следствием этого являются непрекращающиеся попытки доказать, что у России есть надежные партнеры на Западе, и в первую очередь в Европе. Валерий Кудинов прямо сформулировал тезис, который имплицитно присутствует во многих — зачастую гораздо более изощренных — аналитических материалах по проблемам российской внешней политики: «...поддержку для себя против угрозы НАТО или экспансии США... России придется искать в мирной Европе», которая «политически и экономически — естественный географический и исторический партнер России»<sup>1</sup>. Подобные мнения высказываются в качестве очевидных истин и после 11 сентября 2001 года: «...в сложившейся ситуации союзников он [президент Путин] может найти только в Европе»<sup>2</sup>, — пишут «Ведомости». Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Rogozin констатирует: «Мы не способны к геосхватке с Соединенными Штатами — просто нам не хватает ресурсов... Поэтому Европа для нас тоже является местом притяжения», — как и Россия для Европы<sup>3</sup>. Поиск союзников в Европе принимает разнообразные формы, однако чаще всего он состоит в попытках определить «надежных партнеров» среди отдельных европейских государств. На роль союзников в разное время могли претендовать Франция, Германия<sup>4</sup>, Великобритания<sup>5</sup>, однако к 2007 году их список, види-

<sup>1</sup> Кудинов В. П. Указ. соч. С. 57.

<sup>2</sup> Портников В. Флирт с Европой // Ведомости. 2001. 24 октября.

<sup>3</sup> Арт Н. Дмитрий Rogozin: «Мы — молодая нация!» // Независимая газета. 2002. 10 апреля.

<sup>4</sup> Горностаев Д. Европа гораздо ближе // Дипкуррьер НГ. 2001. 5 апреля; Еgo же. В Москве ждут Ширика и Жоспена // Независимая газета. 2001. 14 апреля; Мешков А. Ю. Широты российско-германского партнерства // Независимая газета. 2002. 25 марта.

<sup>5</sup> Горностаев Д, Касаев А. Россия проводит ревизию внешнеполитических приоритетов // Независимая газета. 2000. 12 апреля; Катин В, Брилев С. Париж: пока прохладно. Лондон: гораздо теплее // Независимая газета. 2000. 22 июня.

мо, более или менее стабилизировался. По крайней мере, в «Обзоре внешней политики Российской Федерации», опубликованном МИД РФ в марте 2007 года, в список «ведущих государств Европы», отношения с которыми имеют «ключевое значение для строительства отвечающей нашим интересам европейской архитектуры», вошли Германия, Франция, Испания и Италия. Кроме того, среди государств Северной Европы особо была отмечена Финляндия, а вот Великобритания и государства Центральной и Восточной Европы, напротив, отнесены к числу «непростых партнеров»<sup>1</sup>. Как минимум до 2004 года Европейский союз, несмотря на периодические разногласия и конфликты, также воспринимался очень позитивно — как институциональное воплощение Европы и как образец разумной интеграционной политики, которую России следует воспроизвести на пространстве СНГ<sup>2</sup>.

Итак, для российского политического дискурса характерен постоянный поиск «дружественных сил» во внешнем мире, и прежде всего в Европе. Конкретное наполнение этой структурной формы меняется в зависимости от контекста: это может быть и «Европа» как целое, и отдельные государства, международные структуры, и отдельные политические деятели — главное, чтобы эти субъектные позиции можно было связать с ключевым атрибутом «европейскости». Стремление избежать дислокации, характерное для любой структуры, как раз и приводит к тому, что Вадим Цымбурский характеризует как иррациональное стремление к «похищению Европы», которое, по его мнению, отвлекало внимание и ресурсы от жизненно важной задачи интеграции внутреннего российского пространства, особенно на востоке страны<sup>3</sup>. Важно еще раз подчеркнуть,

<sup>1</sup> Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации.

<sup>2</sup> См., например: Как забежать вперед // Эксперт. 2003. 29 сентября. С. 14; Христенко В.Б. Нужна ли нам интеграция? // Россия в глобальной политике. Т. 2. 2004. № 1. С. 74—87; Хестанов Р.З. Геополитика крупных ансамблей // Апология. 2005. № 2. С. 24—32.

<sup>3</sup> Цымбурский В.Л. Указ. соч. С. 19—22.



однако, что в этой борьбе за Европу, даже когда она принимала крайнюю форму завоевания и установления основанного на силе господства над отдельными частями континента, Россия всегда представляла (по крайней мере, в своих собственных глазах) как европейская держава, отстаивающая подлинно европейские ценности.

## § 2.7. Европа «истинная» и «ложная»: борьба за определение цивилизации

В попытке каким-то образом интегрировать Европу в рамках национальной гегемонической артикуляции российский дискурс вырабатывает более сложную конструкцию, выходящую за рамки бинарных оппозиций по линии «Россия — Запад», «Россия — Европа». Так появляется противопоставление «истинной» и «ложной» Европы, впервые описанное Ивером - Нойманном<sup>1</sup>, — концептуальная антитеза, чрезвычайно продуктивная для «укрощения» столь непокорного означающего и, соответственно, для стабилизации гегемонической артикуляции. В этом конструкте «истинная» Европа представляет собой своего рода проекцию российских ценностей и приоритетов на весь континент, в то время как «ложная», враждебная России Европа описывается как утратившая истинно европейские ценности, живущая вопреки ей же самой декларируемым правилам, не вполне европейская. Эта сложная (по сравнению с упрощенными дуальными моделями) конструкция позволяет легко отделяться практически от любых политических позиций как представляющих «ложную» Европу и настаивать на том, что именно Российское государство является защитником подлинно европейских ценностей. Российские артикуляционные практики не в силах изменить общеевропейскую гегемоническую артикуляцию, неблагоприятным для России образом

<sup>1</sup> *Neumann I. B. Russia and the Idea of Europe.*

распределяющую контроль над позитивным содержанием «европейскости». В ответ на это артикуляции, доминирующие в российском политическом пространстве, устанавливают отношения эквивалентности между Россией и Европой, добиваясь признания России как неотъемлемой, определяющей части европейской цивилизации, путем исключения «ложной» (часто проамериканской) Европы, которая часто классифицируется как часть Запада. Можно даже сказать, что приписывание «ложной» Европе западной идентичности помогает в конструировании «истинной» европейской идентичности: «ложная» Европа, таким образом, играет роль конституирующего иного по отношению к «истинной».

Структурная позиция «ложной» Европы, создающая возможность самоопределения России как Европы «истинной», существует на протяжении многих столетий. Весьма вероятно, что уже отношение московского двора к объединению католической и православной церквей, провозглашенному на Феррарско-Флорентийском соборе 1438—1439 годов, было артикулировано в соответствии с этой антитезой. Однако первым не вызывающим сомнений примером здесь может служить доктрина «Третьего Рима». После падения Константинополя Москва предпринимает попытку занять его место как центра православного мира, а значит — «истинной» Европы. Доктрина «Третьего Рима» заключала в себе отчетливый элемент противостояния России Европе, православия — католичеству, третьего Рима — Риму первому, якобы оставленному Господом, т. е. «ложной» Европе. Благодаря этой дискурсивной практике Москве удавалось дистанцироваться от Западной Европы, сохранить особенности, воспринимавшиеся как существенные элементы формирующейся национальной идентичности (в первую очередь православную религию), в то же время избегая собственной маргинализации и даже, напротив, успешно самоутверждаясь на арене идеологической борьбы. Важно отметить, что доктрина «Третьего Рима» не была абсолютно изоляционистской, поскольку, отрицая западное христианство как

ложное, падшее, она в то же время утверждала роль Москвы как подлинного хранителя христианских ценностей, лидера истинно христианского мира, *унаследовавшего* эту роль после падения Рима и Византии. Конечно, доктрина «Третьего Рима» могла наполняться разным политическим содержанием, однако очевидно, что она вовсе не настаивала на сущностном противостоянии России и Запада как двух отдельных самостоятельных миров — напротив, речь шла о фундаментальной общности истоков и о верности Москвы «истинной» европейской традиции. (Интересно отметить, что идея «Третьего Рима» и в XXI веке продолжает пользоваться популярностью у некоторых видных политических деятелей: по крайней мере еще в 2002 году первый заместитель председателя Совета Федерации Валерий Горегляд заявлял, что эта доктрина и сегодня должна служить концептуальной основой российской политики<sup>1</sup>.)

Крупнейшая в истории попытка «вернуть Россию в Европу» была предпринята Петром I в начале XVIII века, однако трудно согласиться с распространенным мнением, что Петр видел Россию исключительно в качестве подмастерья в европейской мастерской. Его энергичная внешняя политика, и в первую очередь прорыв к Балтийскому морю и основание новой столицы, своего рода идеального европейского города, со всей ясностью показывает, что царь-реформатор таюже не чужд был идее утверждения России в качестве центра «истинной Европы». Еще один характернейший пример усилий Российского государства по конструированию «истинной Европы» вокруг России — это создание Священного союза, имевшего целью защитить «истинно европейские» монархические ценности от «ложной» революционной Европы.

Если консервативно-охранительный дискурс, ориентированный на позицию государства, интерпретировал «ложные» революционные идеи как угрозу истинно европейским монар-

<sup>1</sup> *Горегляд В.П.* Россия — римская провинция? // Независимая газета. 2002. 19 марта.

хическим ценностям, то оппозиция (как революционно-демократическая, так и почвенническая), напротив, разоблачала ложность *современной* ей Европы и видела истинно европейский идеал в будущем. Присутствие противопоставления «истинной» и «ложной» Европы очевидно в трудах славянофилов и их идейных наследников, особенно тех из них, кто воспринял идеи социал-дарвинизма в их применении к историческому развитию различных народов и их взаимодействию между собой. Классическим примером здесь может служить книга Николая Данилевского «Россия и Европа»<sup>1</sup>, в которой роль «истинной Европы» отведена братству славянских народов как более молодых и жизнеспособных, тогда как романо-германский культурно-исторический тип изображен как Европа «ложная», отжившая свой век.

Как отмечает И. Нойманн, образ «ложной Европы» был определяющим в дискуссиях между народниками и марксистами в конце XIX в.:

Народники хотели использовать... власть, чтобы увести Россию от упадочной Европы и ее извращенного пути развития. Большевики хотели спасти Россию из когтей ложной, буржуазной Европы и нырнуть прямо в завершающий этап исторического развития — той истинной Европы, частью которой была Россия, — в социализм<sup>2</sup>.

В советской идеологии противопоставление «истинной Европы», наивысшим воплощением которой стал СССР, и капиталистической «ложной Европы» сохраняло актуальность. При этом, однако, стремление преодолеть международную изоляцию неизменно обуславливало необходимость дискурсивного конструирования «истинной» Европы за пределами советских рубежей: не случайно «полоса признания» со стороны

<sup>1</sup> Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб.: Т-во «Общественная польза», 1871.

<sup>2</sup> Neumann I. B. Russia and the idea of Europe. P. 74.

«*настоящих западных стран*»<sup>1</sup>, как пишет Олег Кен, привела к заметному снижению интереса Москвы к восточноевропейским «государствам-лимитрофам», явно принадлежавшим в глазах советского руководства к «ложной» Европе. По мнению Нойманна, лишь в период сталинских репрессий 1930-х годов советский дискурс достиг такой степени бинаризации, что весь внешний мир описывался как «враждебное окружение», что сделало категорию «ложной» Европы избыточной<sup>2</sup>. При этом, однако, внешняя политика Советского Союза, при всех ее провалах, в значительной степени сохранила элементы диверсификации по сравнению с функционировавшим преимущественно внутри страны дискурсом «враждебного окружения»<sup>3</sup>. К концу 1940-х годов, не в последнюю очередь благодаря появлению «социалистического лагеря», тема «истинной» и «ложной» Европы вновь появляется в официальном дискурсе<sup>4</sup>.

Одним из наиболее характерных воплощений «ложной» Европы в описании советских пропагандистов и ученых-международников предстают Европейские сообщества. Эту тему следует рассмотреть подробнее, поскольку аргументация советских идеологов в значительной степени перекликается с современной российской дискуссией по внешнеполитическим проблемам<sup>187</sup>. Противопоставление «истинной» и «ложной» Европы очевидно, например, в следующей цитате из Заявления МИД о планах создания Евратома и «общего рынка» от 16 марта 1957 года:

Соответствуют ли эти планы интересам тех, кто стремится к укреплению мира и безопасности в Европе, к оздоровлению международной обстановки, к улучше-

<sup>1</sup> Кен О. Н. System Error? Москва и западные соседи в 1920—1930-е годы // Неприкосновенный запас. 2002. № 4. С. 32. — Курсив мой.

<sup>2</sup> Neumann I. B. Russia and the idea of Europe. P. 124—125.

<sup>3</sup> См.: Кен О. Н. Указ. соч.

<sup>4</sup> Neumann I. B. Russia and the idea of Europe. P. 127 и далее.

<sup>5</sup> См. также: Ibid. P. 133—141.

нию условий жизни трудящихся европейских стран? Ответ на этот вопрос может быть только один — эти планы призваны служить интересам тех кругов в западных странах, которые хотят вооружить германских реваншистов ядерным оружием, обострить отношения между странами Европы, создать новые препятствия на пути обеспечения мира и безопасности в Европе, еще больше затруднить восстановление национального единства германского народа, интересам тех, кто стремится лишить Францию и другие западноевропейские страны национального суверенитета, поставить их экономику в зависимость от западногерманских монополий и помешать налаживанию общеевропейского экономического сотрудничества<sup>1</sup>.

Если проанализировать с этой точки зрения тезисы ИМЭМО АН СССР, опубликованные в первом номере созданного в 1957 году журнала «Мировая экономика и международные отношения», мы обнаружим, что в описании ученых-международников «объединенная Европа» Сообществ ложна, в первую очередь, в идеологическом смысле, поскольку представляет собой, «по сути дела, с г о в о р м о н о п о л и й»<sup>2</sup>, направленный против интересов трудящихся. Во-вторых, «объединенная Европа» ложна в географическом смысле, так как на деле ее создание вовсе не является европейским проектом, будучи инспирировано США — несмотря на «беспочвенные» уверения европейских политиков, что создание «общего рынка» «будет способствовать ослаблению экономической зависимости этих стран от США»<sup>3</sup>. Кроме того, несправедливы претензии «малой Европы» на общеевропейский характер Сообществ: «в действи-

<sup>1</sup> Заявление Министерства иностранных дел СССР о планах создания Евратома и «общего рынка».

<sup>2</sup> О создании «общего рынка» и Евратома // Мировая экономика и международные отношения. 1957. № 1. С. 85. — Разрядка в оригинале.

<sup>3</sup> Там же.

тельности речь идет о соглашении группы капиталистических государств, *противопоставляющих себя* прежде всего государствам социалистическим, а *также остальным капиталистическим государствам Европы*. Речь идет о создании новой *замкнутой группировки* для осуществления целей монополий этих стран»<sup>1</sup>. Но и внутри общего рынка нет единства: суверенитет малых государств, вследствие наднациональной природы вновь создаваемых структур, будет неизбежно ущемлен в интересах больших стран, а точнее — «монополий Западной Германии и США».

Наконец, «объединенная Европа» ложна в прямом смысле, поскольку построена на лжи. Ее создатели «уверяют, что цель этих договоров — “устранить разделяющие Европу преграды”», «что их проекты не имеют ничего общего ни с какими военными планами»<sup>2</sup>. В реальности ими движут гораздо более приземленные классовые интересы, и потому проект создания Сообществ достоин порицания также с моральной точки зрения.

Интересно отметить, что одним из основных аргументов, доказывающих ущербность планов создания единой Европы по модели Сообществ, становится постулирование тесной связи между вновь создаваемыми структурами и Организацией Североатлантического договора. Особенно активно (и, конечно, далеко не бесосновательно) эта тема использовалась в советской пропаганде в период обсуждения планов создания Европейского оборонного сообщества (ЕОС)<sup>3</sup>. Однако, как уже было показано, и в 1957 году одним из аргументов советского МИДа против Европейского экономического сообщества и Евратома было констатирование подчиненного положения этих структур по отношению к НАТО. Установление отноше-

<sup>1</sup> Там же. С. 85. — Курсив мой.

<sup>2</sup> Там же. С. 84—85.

<sup>3</sup> См.: Ноты Советского Правительства Правительствам США, Англии и Франции о Мирном Договоре с Германией от 24 мая 1952 года // Правда. 1952. 25 мая.

ний эквивалентности между всеми этими структурами было неотъемлемой составной частью советской гегемонической артикуляции, которая опиралась на открыто декларируемый антагонизм с капиталистическим миром.

Разумеется, «ложной» Европе монополий противопоставляется «истинная» Европа, свободная от лжи, эксплуатации и включающая (хотя скорее в потенци, нежели в реальности) все европейские страны. Министр иностранных дел Вячеслав Молотов на Парижском совещании глав внешнеполитических ведомств СССР, Великобритании и Франции в 1947 году формулирует тезис о двух видах международного сотрудничества:

Один вид сотрудничества основан на развитии политических и экономических отношений между равноправными государствами, когда их национальный суверенитет не страдает от чужестранного вмешательства. Такова демократическая основа международного сотрудничества <...>. Есть другой вид международного сотрудничества, которое основано на господствующем положении одной или нескольких сильных держав в отношении других стран, попадающих в положение каких-то подчиненных, лишенных самостоятельности государств<sup>1</sup>.

После смерти Сталина в советских внешнеполитических декларациях все явственнее начинает звучать тема мирного сосуществования государства с различным общественным строем. Общеευропейское сотрудничество, основанное на этих принципах, предлагается в качестве альтернативы плану создания ЕОС в 1954 году<sup>2</sup> и Европейского экономического

<sup>1</sup> *Молотов В. М.* За демократические основы международного сотрудничества. Заявление на Парижском совещании трех министров. 2 июля 1947 г. // Молотов В. М. Вопросы внешней политики. Речи и заявления. Апрель 1945 г. — июнь 1948 г. М.: Госполитиздат, 1948. С. 475—476.

<sup>2</sup> См.: Правда. 1954. 10 сентября.



сообщества в 1957 году — в частности, речь идет о советских предложениях 1956 года о создании органа по использованию атомной энергии в мирных целях в рамках Европейской экономической комиссии ООН и о подписании Общеввропейского соглашения об экономическом сотрудничестве<sup>1</sup>.

Возможно, именно с постановки вопроса об «истинном» патриотизме начинается переход от класса как базового понятия политического анализа к более характерному для «буржуазной» науки понятию национальных интересов. Даже в пропагандистских по своему характеру материалах советской печати, посвященных вопросам «объединения Европы», пролетарский интернационализм играет едва ли не подчиненную роль по отношению к идеям государственного суверенитета и понятию *национальных* (а не классовых!) интересов. Марксистская риторика здесь — не более чем форма, в которую облечены рассуждения, исходная точка которых — вполне определенное, хотя иногда и достаточно своеобразное — представление о национально-государственных интересах СССР. Еще в 1947 году, оценивая перспективы плана Маршалла, Молотов провозглашал:

...Когда заявляют... что в деле восстановления экономической жизни стран Европы решающее место должно принадлежать Соединенным Штатам Америки, а не самим европейским странам, то такая установка противоречит интересам европейских стран, так как это может повести к отказу от экономической самостоятельности, что несовместимо с сохранением национального суверенитета<sup>2</sup>.

Сохранение национального суверенитета выступает здесь в качестве безусловного императива, окончательного аргумен-

<sup>1</sup> Заявление Министерства иностранных дел СССР о планах создания Евратома и «общего рынка». См. также: О создании «общего рынка» и Евратома. С. 95.

<sup>2</sup> *Молотов В. М.* Указ. соч. С. 475.

та, который не нуждается в доказательствах. «Правда» в марте 1951 г. не случайно цитирует именно следующее «саморазоблачительное» заявление Жана Монне: «договор по плану Шумана должен пробить брешь в системе национальных суверенитетов»<sup>1</sup>. «...Допустит ли Франция, — пишет орган ЦК КПСС накануне голосования по договору о ЕОС в Национальном собрании, — чтобы ей извне навязали в угоду другой державе такое решение, которое идет вразрез с национальными интересами Франции, с интересами мира?»<sup>2</sup> И позднее, уже после провала ратификации: «Если бы Франция ратифицировала этот договор, она лишилась бы на международной арене своего статуса великой державы...»<sup>3</sup> Столь явный приоритет «державно-национальных» ценностей (суверенитет, независимость, статус великой державы) над классовыми заставляет провести прямую параллель между советской идеологией послевоенного периода и современным «великодержавным» дискурсом.

Подводя итог этому краткому экскурсу в историю, отметим, что противопоставление «истинной» и «ложной» Европы, равно как и основанное на нем установление отношений эквивалентности между Россией (СССР) и Европой, составляющее важнейший элемент конструирования национальной идентичности, является артикуляционной практикой, характерной для отечественного политического дискурса на протяжении довольно значительного периода его эволюции. При этом характерно также, что набор позитивных сущностных характеристик «истинной» Европы советского времени в значительной степени совпадает с современным. Конечно, мало кто сегодня вспоминает о таких неотъемлемых элементах советской идеологии, как классовый подход и забота об интересах трудящихся, однако внимательное прочтение документов эпохи свидетельствует о том, что им зачастую отводилась второ-

<sup>1</sup> Правда. 1951. 20 марта.

<sup>2</sup> Там же. 1954. 28 августа.

<sup>3</sup> Там же. 10 сентября.

степенная роль в критике буржуазной «ложной» Европы. Главное, на что делали упор советские авторы, — это подрыв национального суверенитета, который, по их мнению, должен был стать неизменным результатом западноевропейской интеграции. Кроме того, очевидно конституирующее значение отрицания США и различных эпифеноменов их присутствия в Европе, в первую очередь НАТО. Отечественное политическое сообщество таким образом встраивалось в цепочку означающих «истинная» Европа: суверенитет — миролюбие — подлинная народность, которая ставилась в жесткую оппозицию цепочке «ложная» Европа: американизация — утрата суверенитета — агрессия (в том числе формирование агрессивных военных блоков) — антинародные режимы (эти списки означающих, разумеется, не являются исчерпывающими). В общем и целом эти смысловые структуры продолжают работать в современном российском дискурсе.

Однако выводы, которые, на наш взгляд, следует сделать из факта устойчивости этих реляционных структур, не ограничиваются признанием глубины их исторических корней. Факт исторической давности возникновения данной артикуляционной практики позволяет оценить степень седиментации лежащих в ее основе структур, однако он не должен служить основанием для их гипостазирования, для забывания изначально политической природы любых, даже самых устойчивых практик. В то же время давность дискурса оппозиции между «истинной» и «ложной» Европой подчеркивает, что само по себе это противопоставление нельзя интерпретировать как случайную, инструментальную конструкцию, «изобретенную» российскими политиками для собственного удобства. Напротив, «ложная» Европа — это отрицание, составляющее неотъемлемый элемент существующей структуры дискурсивного поля, неизбежное следствие того факта, что европейская идентичность России на протяжении столетий остается одновременно сомнительной и необходимой. Неопределенность европейской идентичности России означает, что существуют идентичнос-

ти и дискурсы, отрицающие принадлежность России к Европе. Постольку поскольку российские артикуляционные практики стремятся подтвердить европейскую судьбу страны, они обречены на своего рода контрнегацию таких идентичностей и дискурсов, как не только антироссийских, но и антиевропейских. Отношения эквивалентности между Россией и Европой могут быть установлены только путем «чистки» Европы от всех элементов, которые отрицают эту эквивалентность, что предполагает приписывание им внешней, неевропейской идентичности. Этот процесс можно проиллюстрировать следующим высказыванием Дмитрия Рогозина, в тот момент — заместителя председателя Государственной думы: «Россия — это и есть истинная Европа, без господства “голубых”, без браков педерастов, без лжекультуры панков, без лакейства перед Америкой. Мы и есть — истинные европейцы, ибо и сохранились, потому что мы всякий раз доказывали свою европейскость в войнах и с крестоносцами, и с монголами»<sup>1</sup>. Перед нами прекрасный пример того, как конструируется образ «ложной» Европы путем установления эквивалентности между всевозможными агрессорами, как «идущими к нам с мечом», так и посягающими на духовное здоровье нации: «педерастами», панками, Америкой, монголами и даже крестоносцами. Все, что не соответствует рогозинскому определению *России* (не *Европы!*), объявляется неевропейским (проамериканским, аморальным и т. д.), и тем самым *его Россия* обретает полноценную европейскую идентичность.

Оппозиция «истинной» и «ложной» Европы, таким образом, позволяет установить отношения эквивалентности между означаемыми «Россия» и «Европа» и тем самым подтвердить универсальную исходную посылку российского дискурса — принадлежность России к европейской цивилизации. Относительно маргинальный западнический дискурс постулирует сущност-

<sup>1</sup> Рогозин, Д. О. Мы и есть настоящая Европа // *Завтра*. 2004. 19 января. Автор признателен Сергею Прозорову и Пертти Йозенниemi за указание на эту цитату.

ное тождество России и Европы и снимает существующие различия через идею отставания, несинхронного развития западной и восточной ветвей единой европейской цивилизации, отводя тем самым России роль вечного подмастерья, или, говоря словами депутата Госдумы от КПРФ Владимира Никитина, «некачественного проекта» Европы<sup>1</sup>. Однако доминирующая артикуляция стремится подтвердить европейскую идентичность России, сохранив при этом контроль над позитивным содержанием понятия «Европа» — несовместимые с российской идентичностью элементы панъевропейского дискурса просто отсеиваются как представляющие «ложную» Европу. Вадим Цымбурский описывает это явление, прибегая к хорошо известной метафоре похищения Европы. По его мнению, именно в этом состоит главная стратегическая цель российской внешней политики со времен Петра I:

Неевропейцы, пожелавшие стать европейцами, утвердить свое достоинство на самой католическо-протестантской платформе, русские в той мере, в какой они не отрекались от своего государства и своей конфессии, облекли свой западнический порыв в поэтапное «похищение» преуспевшей раскольницы Европы. Мощь страны вкладывалась в «поглощение» подступавших к Европе «территорий-проливов», смещающее баланс сил на самом этом субконтиненте и в исторически с ним связанных областях Азии.

Демократические эксперты, полагающие сегодня первейший национальный интерес России в сохранении за нею любой ценой имиджа европейской нации, эпигонски топчут тропу русских императоров...<sup>2</sup>

<sup>1</sup> См.: Сергей Лавров не считает Россию «некачественным проектом» Запада // Агентство национальных новостей. 2007. 21 марта. <http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=86746>.

<sup>2</sup> Цымбурский В.Л. Остров Россия. Перспективы российской геополитики // Полис. 1993. № 5. С. 12.

Как считает Цымбурский, такое стремление к русификации Европы, иногда под видом европеизации России, представляет собой отклонение от предначертанного России пути развития, несет в себе «искус растворения “острова” [России] в Европе-континенте, игру на грани самоуничтожения России»<sup>1</sup>. Тем не менее если в XIX веке, как с сожалением отмечает Цымбурский, эта тенденция была характерна практически для всех идейных течений, от западников до славянофилов<sup>2</sup>, то и сегодня увлеченность Европой, стремление так или иначе проецировать на Европу российскую идентичность и связать с Европой российскую историческую миссию также является практически универсальной характеристикой российского политического дискурса.

Большинство вариантов артикуляции этого дискурса отводят России роль важнейшего оплота против натиска враждебных внешних сил, как бы последние ни определялись. Вопреки уже упоминавшимся идеям Бердяева и Соловьева о противопоставлении Запада и России как женского и мужского начал, конституирующие гегемонические практики скорее представляют и Запад, и Россию как противоборствующие мужские начала, тогда как «женская» роль отводится остальному человечеству или конкретизируется в образе нуждающейся в защите Европы. При этом, однако, если секьюритизация российской идентичности перед лицом единого и недифференцированного Запада является в чистом виде тотализирующей практикой, стремящейся создать абсолютно замкнутую дуальную структуру (Россия — Запад, многообразие — энтропия, мы — они), то распространение практик безопасности на Европу имеет более интересные и неоднозначные последствия. Во-первых, конструируемая таким образом идентичность России как «истинной» Европы предполагает гораздо большую по сравнению с первым вариантом открытость и

<sup>1</sup> Цымбурский В.Л. Остров Россия. С. 15.

<sup>2</sup> Там же. С. 14.

дифференцированность «внутреннего» пространства сообщества. Во-вторых, механизм «спасения Европы» оказывается не вполне ясным, и это открывает простор для интерпретаций и производства новых смыслов.

Обратимся к конкретным примерам. Заместитель министра иностранных дел Евгений Гусаров в своем выступлении в июле 2001 года, ссылаясь на «Идиллии» Мосха, приводит относительно малоизвестную деталь мифа о похищении Европы — историю о сне, который приснился Европе, дочери Агенора, в преддверии похищения:

Она увидела, как Азия и тот материк, что отделен от Азии морем, в виде двух женщин боролись за нее. Каждая женщина хотела обладать Европой. Побеждена была Азия, и ей пришлось уступить. В страхе Европа проснулась... Смирненно стала молить юная дочь Агенора, чтобы отвратили от нее боги несчастье...

Тогда мудрые боги Олимпа спасли Европу: сам Зевс, превратившись в золотого быка, увез и спрятал красавицу на Крите. Европа осталась Европой<sup>1</sup>.

Российский дипломат стремится подчеркнуть уязвимость Европы перед лицом американской экспансии, которая угрожает лишить Европу ее идентичности, превратить в нечто нетождественное самому себе и обосновать важность исторической миссии России, которая встает на защиту уникальной европейской культуры, стремится сделать так, чтобы «Европа осталась Европой». Если следовать интерпретации Цымбурского, это высказывание российского дипломата полностью соответствует российской внешнеполитической традиции: «Официальное западничество, разделяемое большинством им-

<sup>1</sup> Гусаров Е. П. Россия в Европе XXI века. Выступление заместителя министра иностранных дел России Е. П. Гусарова на конференции «Европа в глобальном мире — вызовы XXI века» (Греция, 11 июля 2001 года). <http://www.mid.ru/Ns-dos.nsf/arh/432569D800223F3443256A87004A7615?OpenDocument>.

ператоров, обязывало Россию неустанно присутствовать в Европе... ради баланса и спокойствия последней (!!!)»<sup>1</sup>.

Еще один важный аспект этой темы состоит в том, что метафора «похищения Европы» имеет определяющее значение не только для российского политического дискурса. Подобные намеки на сравнение России с Зевсом, похищающим Европу, имеют прямую аналогию в том, как в Латвии, Литве и Эстонии интерпретируют аннексию этих государств Советским Союзом в 1940 году<sup>2</sup>. Подобные же структуры можно выявить практически во всех странах бывшего советского блока, в конце XX века поставивших главной внешнеполитической целью «возвращение в Европу» путем вступления в НАТО и ЕС. Само по себе понятие Центральной Европы в современном смысле предполагает ее органическое единство с Западной Европой — единство, которое было насильственно, случайно разорвано вследствие вмешательства враждебной внешней силы.

Понятно, что в центральноевропейском контексте эта метафора призвана иметь исключительно негативные коннотации, тогда как российский замминистра использует ее как положительный образ. Эта позиция напрямую перекликается с высказываниями Наталии Нарочницкой — одного из наиболее ярких представителей романтической традиции в российской науке о международных отношениях:

...Произошло окончательное замещение идеи Священной Римской империи германской нации идеей Pax Americana. Эта подмена внутри самого Запада отражает капитуляцию романо-германской доминанты прошлой Европы, обладавшей бесспорной культурной инициативой, перед «атлантической» цивилизацией без культуры. Когда ради совладычества над миром Европа провозгла-

<sup>1</sup> *Цымбурский В.Л.* Указ. соч. С. 14.

<sup>2</sup> См. в особенности: *Варес П., Осипова О.* Похищение Европы, или Балтийский вопрос в международных отношениях XX века. Таллинн: Издательство Эстонской энциклопедии, 1992.



шает теперь устами своего атлантического пресвитера «единое постхристианское общество», Европа отрекается от себя самой и собственно великого прошлого<sup>1</sup>.

Романо-германская классическая культура и русская православная культура — вот квинтэссенция двух христианских опытов. Европейцы и русские дали примеры наивысших форм латинской и православной духовности... Будущее — в конструктивном соединении исторического наследия и творчества всех этнических, конфессиональных и культурных составляющих Европы — германской, романской и славянской, — Европы латинской и Европы православной<sup>2</sup>.

В марте 2002 года Анатолий Адамишин писал в уже цитированной статье: «Защита цивилизационного разнообразия и богатства, особенно в условиях американского засилья, предстает в современном мире как весьма актуальная миссия. Россия могла бы во многом взять ее на себя»<sup>3</sup>. Впрочем, согласно некоторым авторам, спасти Европу уже поздно, поскольку она уже колонизирована США, и сегодня основополагающие международные и европейские нормы, «где непременно поминаются суверенитет, территориальная целостность и неприменение силы в международных отношениях», имеют не больше значения, чем «чудом сохранившиеся наскальные рисунки былой цивилизации». «Полностью и окончательно обрушив правовую систему международных отношений в Европе, провоцируя ее долгосрочную нестабильность, новая империя силой создает Соединенные Штаты Европы, где европейской цивилизации отведено... самое заштатное место»<sup>4</sup> — таким мрачным

<sup>1</sup> Нарочницкая Н.А. Избежать нового передела мира. С. 27.

<sup>2</sup> Нарочницкая Н.А. «Русский вызов» — сенсация в политологии // Международная жизнь. 2001. № 5. С. 96. См. также: Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, 2005. С. 77—79.

<sup>3</sup> Адамишин А.Л. Указ. соч.

<sup>4</sup> Соединенные Штаты Европы // Независимая газета. 2002. 25 марта.

пророчеством заканчивается анонимная статья в «Независимой газете», также опубликованная в марте 2002 года.

Описанная нами модель отношений между ключевыми означающими, основанная на противостоянии России и Запада и на борьбе за право определять содержание понятия «Европа», является основной для современного российского политического дискурса. Ее функционирование будет подробно изучено на более конкретном материале в двух последующих главах. Уже сейчас, однако, необходимо отметить, что даже с позиций, которые принято характеризовать как «роевропейские» или даже «прозападные», эта модель не лишена определенных достоинств. Несмотря на то что она исходит из антагонизма между Россией и Западом и тем самым в каком-то смысле продлевает холодную войну, ее главное преимущество состоит в неизбежной дислокации, обусловленной наличием европейской альтернативы. Сколь бы остроумным ни был и как бы эффективно ни работал механизм противопоставления «истинной» и «ложной» Европы, он может лишь смягчить последствия этой дислокации, но никак не устранить ее полностью — как уже отмечалось, ни одна российская гегемоническая артикуляция не способна целиком контролировать содержание понятия «Европа». В рамках этой модели, следовательно, всегда находится место для тех или иных «роевропейских» позиций, т. е. для критики в адрес Российского государства за несоответствие некоторому, отличному от официального российского определению Европы. Присутствие таких альтернативных артикуляционных практик означает не что иное, как существование демократических антагонизмов, открывающих политические пространства, границы которых не совпадают с границами российского политического сообщества. Как отмечалось в § 1.3, такие антагонизмы способствуют дислокации и препятствуют тоталитарному замыканию структуры. Существуют, однако, и альтернативные варианты артикуляции, которые выстраивают другие отношения между ключевыми означающими и тем самым извне бросают вызов доминирующей модели.

## § 2.8. Несовершенные альтернативы: Россия в противостоянии советскому прошлому и терроризму

Обобщение материалов российской дискуссии на основании принятой нами теоретико-методологической стратегии позволяет заключить, что для России первых лет XXI века характерны две основные альтернативные артикуляции, претендующие на гегемоническое положение. Первая — это хорошо известный западнический (или атлантический) дискурс, который пытается установить отношения эквивалентности между Россией и Западом в рамках общего понятия «цивилизованный мир». Этот дискурс строится вокруг антагонизации авторитарного прошлого российского государства, которое и играет роль конституирующего иного. В недавней истории России примером наибольшего успеха этой артикуляционной практики могут служить последние годы Перестройки и начальный этап существования Российской Федерации как независимого государства. «Перестроечная» советская идентичность поначалу сформировалась на основе отрицания сталинизма и идеализации фигуры Ленина как подлинного демократа, антипода Сталина. Позднее, по мере роста критического отношения к коммунизму в целом, ведущую роль стал играть нарратив, уходящий корнями в рационализм эпохи Просвещения. Согласно ему из-за большевистского «переворота» Россия свернула с магистрального пути прогресса, по которому все цивилизованное человечество шло навстречу будущему процветанию. Советский период был, таким образом, истолкован как отклонение от единственно правильного пути развития — отклонение, которое можно было легко и быстро исправить путем копирования «западных» институтов и практик. Эта модель способствовала консолидации новых властных структур и сохраняла функциональную способность по крайней мере до 1996 года. Возможно, она утратила господствующее положение

в начале 1990-х годов и не могла более служить основой для возможного, но так и не сформировавшегося сообщества между Россией и Западом, но в кризисных ситуациях она все еще оказывала определяющее влияние на политический выбор россиян. Именно эта модель лежала в основе противопоставления демократов и коммунистов, которое было задействовано президентом Ельциным для легитимации своих действий в ходе политического кризиса 1993 года<sup>1</sup>; она также продемонстрировала поразительную эффективность в ходе предвыборной кампании 1996 года, когда Борис Ельцин, несмотря на катастрофические рейтинги осенью предшествующего года, все-таки сумел одержать верх над лидером коммунистов Геннадием Зюгановым.

Однако, как будет показано в главе 3, уже в середине 1990-х западническая модель была обречена на крах — главным образом потому, что российское общество не сумело выработать нового основополагающего исторического нарратива взамен советского, который представлял СССР как венец тысячелетней эволюции Российского государства — эпоху, когда оно достигло вершины внешнеполитического могущества и внутренней гармонии. Самоидентификация России как государства-продолжателя Советского Союза и Российской империи привела к воспроизводству соответствующих смысловых структур, определяющих место страны в мире и критерии внешнеполитического успеха. Вероятно, можно утверждать, что последняя возможность построения новой России на основе отрицания советского прошлого была утрачена с началом военной кампании НАТО против Югославии в марте 1999 года. Удары по Югославии были истолкованы в России как агрессия против Европы и принципа государственного суверенитета. В результате глубочайшего разочарования Запа-

<sup>1</sup> Риторика выступлений президента Ельцина была подробно проанализирована с этой точки зрения М. Лейном Брунером: *Bruner M. L. Strategies of Remembrance: The Rhetorical Dimensions of National Identity Construction*. Columbia: University of South Carolina Press, 2002. P. 33—67.

дом и роста опасений, что Россия может стать следующей жертвой «гуманитарных интервенций», старая модель, которая строила российскую национальную идентичность на отрицании Запада, снова стала безоговорочно доминировать, и это, в частности, сделало возможной вторую чеченскую кампанию и приход к власти Владимира Путина, популярность которого основана на его образе сильного лидера, борющегося с терроризмом вопреки ханжеской критике со стороны Запада.

Реструктурирование глобальной политической системы в результате террористических актов 11 сентября 2001 года привело к формированию новой модели отношений между ключевыми означающими. Потрясение, вызванное невиданными по масштабу и дерзости действиями террористов, создало момент исторической дискретности, когда возникла реальная возможность выйти за рамки существовавших структур и попытаться изменить реляционную систему в результате одномоментного волевого акта. Президент Путин и его команда воспользовались этой возможностью и предложили новое видение международной реальности, в котором существовали отношения эквивалентности между Россией и США как жертвами международного терроризма, так и государствами, имеющими желание и возможности бороться с этим злом. Новая модель, таким образом, объединяла Россию с Западом (и Европой) в противостоянии конституирующему иному терроризму. Новое (или обновленное) сообщество «цивилизованного мира» противостоит в этой модели внешнему миру нового варварства.

Степень секьюритизации угроз, исходящих от Запада, снизилась после террористических актов в США в сентябре 2001 года и формирования антитеррористической коалиции. Тон большинства высказываний стал более дружелюбным, и стало возможным говорить даже о перспективах превращения страны в «реального партнера Запада»<sup>1</sup>. Однако при более вни-

<sup>1</sup> Алексей Пушков: «Путин подал заявку на то, чтобы Россия стала реальным партнером Запада» // Страна.Ru. 2001. 26 сентября. <http://www.strana.ru>.

мательном изучении материалов периода 2001—2003 годов выясняется, что эти перемены отнюдь не являются однонаправленными: Россия не перенимала смысловые конструкции с Запада, а открывала новое политическое пространство, пытаясь добиться в нем центрального положения. При этом, однако, многие базовые смысловые структуры российского дискурса оставались без изменений. Если для наблюдателей извне могло показаться, что Россия изменила свою позицию по многим ключевым международным проблемам, то российский дискурс интерпретировал российскую позицию по стратегическим вопросам как неизменную, тогда как уступки и изменения носили тактический характер. Скорее, с точки зрения российского наблюдателя, изменилась позиция Запада, который теперь более благожелательно относился к России, и эта перемена подтверждает, что позиция России с самого начала была прагматически и морально оправданной. Фактически граница между «своими» и «чужими» переместилась в западном направлении: Запад стал более пророссийским, а не наоборот.

Первые высказывания, интерпретирующие новую международную ситуацию именно в таком ключе, появились уже в конце 2001 года. Главный редактор журнала «Международная жизнь» Борис Пядышев делится впечатлениями о выступлении президента Буша в Конгрессе 20 сентября: «Особенно по душе пришлись слова, что террористов надо остановить, пресечь и замочить повсюду»<sup>1</sup>. Российский сленговый глагол «замочить» не имеет прямого английского эквивалента, и уж во всяком случае американский президент не использовал никаких подобных слов и выражений<sup>2</sup>. Смысл такого «творческого» переложения слов Дж. Буша, конечно же, состоит в том, чтобы они выглядели как прямой аналог известного выступления Влади-

<sup>1</sup> Пядышев Б.Д. В Вашингтоне и Нью-Йорке после взрывов // Международная жизнь. 2001. № 9—10. С. 6.

<sup>2</sup> Bush G. W. Address to a Joint Session of Congress and the American People. United States Capitol, Washington, D.C., September 20, 2001. <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>.

мира Путина в сентябре 1999 года. Таким образом, создавалось впечатление, что после несчастья, постигшего его страну, американский президент если и не напрямую одобряет политику своего российского коллеги в Чечне, то уж во всяком случае сам реагирует на события точно так же. Так начинали выстраиваться принципиально новые отношения эквивалентности между Россией и Западом и новая граница сообщества, возникающего на основе нового конституирующего антагонизма.

Новая линия разделения между «своими» и «чужими» противопоставляет террористов всему остальному миру. На этом фоне Россия чувствует себя гораздо более уверенной в себе, определяет себя как центрального участника борьбы против общего врага, тогда как Западу фактически предлагается выбор, аналогичный формуле президента Буша: «каждый должен сделать выбор; вы либо с цивилизованным миром, либо с террористами»<sup>1</sup> — «кто не с нами, тот против нас». Именно таков по существу был аргумент министра обороны Сергея Иванова в его выступлении на римской конференции министров обороны стран НАТО в феврале 2002 года. По утверждению министра, Россия стала первой жертвой «современного терроризма», а российская кампания в Чечне — первой схваткой с этим злом, в которой Россия первоначально была в одиночестве. Поэтому если сегодня «кто-то все еще находит выгоду в том, чтобы оказывать “радушный прием” представителям чеченских террористических группировок... все разговоры о наших единстве и солидарности могут остаться “пустыми словами”»<sup>2</sup>. Основная идея ясна: или вы соглашаетесь с тем, что действия России в Чечне оправданны и отказываетесь иметь дело с се-

<sup>1</sup> *Bush G. W.* President to Send Secretary Powell to Middle East. The Rose Garden, April 4, 2002. <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020404-1.html>.

<sup>2</sup> *Ivanov S.* Role of the Military in Combating Terrorism. Introductory Word by the Defence Minister of the Russian Federation at the International Conference, Rome, NATO Defence College, 4 February 2002. <http://www.nato.int/docu/speech/2002/s020204b.htm>.

паратистами, или вы присоединяетесь к «ним», оказываетесь по ту сторону границы, отделяющей Добро от Зла.

Посол по особым поручениям Вадим Луков формулирует эту же мысль еще более откровенно: «Операция в Афганистане должна наконец открыть глаза западным политикам и на действительную подоплеку нынешних событий в Чечне. Теперь только закоренелые русофобы могут твердить о чеченских боевиках как о “национально-освободительном движении”»<sup>1</sup>. Это заявление не только утверждает, что Запад изменил свою позицию, но и предупреждает любые возражения, заранее объявляя всех несогласных «закоренелыми русофобами». Журналистка «Независимой газеты» Наталья Арт сравнивает подобного рода русофобию, характерную, по ее мнению, для европейцев, с антисемитизмом, имплицитно обращаясь к теме двойных стандартов в отношении к этим «неприличным болезням». В ответ председатель Комитета по международным делам Государственной думы Дмитрий Рогозин предлагает не драматизировать ситуацию, утверждая, что «в самой Европе между странами и народами существуют довольно сложные отношения» и что европейцы «сбиваются в кучу не потому, что любят друг друга, а потому, что сами по себе в отдельности мало что представляют в большом конкурсе за первенство в мире». Фактически в этом диалоге Рогозин пытается снять нагнетаемое журналисткой напряжение на семантической границе между Россией и Западом и перевести отношения эквивалентности в отношения различия: «не надо воспринимать нам Запад как единое целое и причитывать, что мы одни во всем белом свете, а они, европейцы, вот такие замечательные в своем единстве — да нет же!»<sup>2</sup> Такой смысловой переход разрушает антагонизм и позиционирует Россию как «нормальную» европейскую страну, ее идентичность становится различием в

<sup>1</sup> Луков В. Б. На Западе многие с удивлением открыли для себя незаменимую роль России // Международная жизнь. 2001. № 12. С. 21.

<sup>2</sup> Арт Н. Указ. соч.



системе различий. Валентин Федоров приветствует изменения в позиции Запада, характеризуя их как частичный отказ от политики двойного стандарта и, соответственно, от ханжеской критики России в ее борьбе с абсолютным Злом: «Запад долго отказывал России в признании контртеррористического характера ее действий в Чечне и мерил терроризм против себя и против России разными мерками... Террористическая атака на США отчасти помогла избавиться им и их союзникам от двойного стандарта при оценках терроризма за их национальными границами».<sup>1</sup> После 11 сентября, отмечают Владимир Лапкин и Владимир Пантин, «наметился переход США (и Запада в целом) к более реалистичной — и более соответствующей — российской политической жизни, далекой от последовательного осуществления идеалов и принципов свободы, демократии, прав человека, — политике, в которой торг и компромисс уместны по любому вопросу»<sup>2</sup>. Фактически речь идет об отказе Запада от либеральных иллюзий и о присоединении к борьбе против терроризма, которую Россия ведет уже давно и в которой противник является воплощением абсолютного зла, по выражению Владимира Лукина — «дьявольщиной в чистом виде»<sup>3</sup>.

Этот поворот к выстраиванию общей идентичности «цивилизованного мира» в противостоянии варварству терроризма, конечно, не является принципиально новым элементом российской внешнеполитической стратегии. Еще в январе 2000 года, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, Игорь Иванов доказывал, что «Россия, по существу, защищает сегодня общие границы Европы от варварского нашествия международного терроризма, который последовательно и настойчиво

<sup>1</sup> Федоров В. П. Россия в ансамбле Европы. М.: Институт Европы, 2002. С. 51—52.

<sup>2</sup> Лапкин В. В., Пантин В. И. Запад в российском общественном мнении: до и после 11 сентября 2001 г. // Полис. 2002. № 6. С. 104.

<sup>3</sup> Андрусенко Л. «Терроризм — это дьявольщина в чистом виде» [Интервью с В. П. Лукиным] // Независимая газета. 2001. 27 сентября.

выстраивает ось своего влияния: Афганистан — Центральная Азия — Кавказ — Балканы»<sup>1</sup>. Сходная позиция была сформулирована мэром Москвы Юрием Лужковым, который в разгар македонского конфликта в марте 2001 года призывал Европу последовать примеру России, Израиля и Югославии и начать бескомпромиссную борьбу с исламским экстремизмом, поскольку «речь... идет не о комфорте, а о выживании»<sup>2</sup>. Однако в тот период, по крайней мере во внутрироссийской дискуссии, более прочными были отношения эквивалентности по формуле «враждебного окружения», которая стремилась устранить различия между Западом и «чеченскими» или «исламскими» террористами, обвиняя западных политиков в циничной поддержке последних. Новая тенденция, наметившаяся в последние месяцы 2001 года, состояла в преобладании отношений эквивалентности между Россией и Европой и часто также Россией и Западом в их общем противостоянии террористической угрозе. Валентин Федоров предложил даже начать разработку новой доктрины под названием «Россия защищает Европу», «научно-исследовательская составляющая» которой, по его мнению, должна была стать «предметом разработок не только российских ученых, но и их иностранных коллег, международных конференций. Позиция России в этом вопросе настолько убедительна, что при должной его подготовке не приходится сомневаться в широкой поддержке со стороны мировой общественности...»<sup>3</sup>. Похожую картину мира рисует обозреватель «Эксперта» Искандер Хисамов:

После 11 сентября Россия заключила союз с Западом, вступив в антитеррористическую коалицию. Она вновь стала одной из ключевых фигур в мировой политике,

<sup>1</sup> *Иванов И. С.* Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы // Дипломатический вестник. 2000. № 2. С. 21.

<sup>2</sup> *Лужков Ю. М.* Воспоминания о будущем // Известия. 2001. 23 марта.

<sup>3</sup> *Федоров В. П.* Указ. соч. С. 57—58.

значительно улучшилась для нее и внешнеэкономическая конъюнктура. И Америка, и Европа, и Израиль, и арабские страны ищут ее поддержки и сочувствия.<sup>1</sup>

Такой оптимизм в условиях жесткого противостояния России и внешнего мира в 1999–2000 годах был просто невозможен.

Сообщество «цивилизованного мира», эксплицитно включающее Россию, в период после 11 сентября существовало отнюдь не только в российской дискурсивной реальности. Общеизвестно, что интенсивность официальной критики в адрес России по поводу нарушений прав человека в Чечне в это время заметно снизилась, особенно со стороны представителей Соединенных Штатов. Более того, во многих высказываниях высокопоставленных западных политиков можно обнаружить присутствие почти в точности такой же артикуляции: эквивалентности между Россией и Западом и, с другой стороны, между различными проявлениями терроризма и вообще «варварства». Так, в интервью «Независимой газете» в ноябре 2001 года генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон, в частности, отметил: «Впервые с тех пор, как была одержана победа над нацистами во Второй мировой войне, у России и НАТО появился общий враг»<sup>2</sup>. В другом интервью, опубликованном в день майского саммита Россия — НАТО 2002 года, Робертсон утверждал: «Глобальная террористическая сеть, проникшая в университеты Германии и летные училища США, которая вооружает повстанцев в Чечне и совершает налеты на небоскребы в Нью-Йорке, не может быть подавлена силами одной страны или даже 19 стран НАТО, действующих согласованно»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Хисамов И. Возвращение к честной жизни // Эксперт. 2002. 21 октября. С. 65.

<sup>2</sup> Серенко А. «У России и Запада впервые после разгрома нацизма появился общий враг» [Интервью с генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном] // Независимая газета. 2001. 23 ноября.

<sup>3</sup> Лорд Робертсон: создание Совета Россия — НАТО станет исторической вехой // Коммерсант. 2002. 28 мая.

Бывший помощник президента Клинтона по национальной безопасности Сэмьюэл Бергер уже в 2004 году так описывал наихудший вариант развития событий вокруг северокорейской ядерной программы: «нищая Северная Корея поставляет ядерное оружие “Аль-Каиде”, ХАМАС или чеченским радикалам, которые затем наносят удары по Вашингтону, Лондону или Москве»<sup>1</sup>. Очевидно не только то, что «чеченские повстанцы» или «радикалы» в данных высказываниях выступают такими же врагами Запада, как «Аль-Каида», но также и полная эквивалентность между США и Россией (а также Германией и Великобританией) как потенциальными целями террористов: существующие различия снимаются перед лицом столь масштабной угрозы, и процесс становления сообщества выглядит практически завершенным.

Однако картина такова лишь при разговоре об экстремальных угрозах — в контексте политической повседневности разногласия сохраняются. В этом свете должно быть понятно, почему реакцией на настойчивость западных, и особенно западноевропейских, политиков и общественности, требовавших найти мирное решение чеченского конфликта, было сначала удивление, а затем и разочарование. Январская сессия ПАСЕ 2002 года вызвала со стороны российских средств массовой информации большой интерес. Большинство репортажей интерпретировало слушания по чеченскому вопросу как докучливое препятствие, которое нужно преодолеть, но которое ни в коей мере не заставляет усомниться в правильности чеченской политики Кремля. «Коммерсантъ» неплохо уловил общее настроение в следующем заголовке: «Россия сдала сессию»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Бергер С.* Внешняя политика для президента-демократа // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 3. С. 69. Перевод исправлен в соответствии с англоязычным оригиналом: словосочетание «чеченские боевики» заменено на «чеченские радикалы» («radical Chechens»). См.: *Berger S.R.* Foreign Policy for a Democratic President // Foreign Affairs. 2004. Vol. 83. No. 3. P. 56.

<sup>2</sup> *Сысоев Г.* Россия сдала сессию // Коммерсант. 2002. 25 января.

Упорство Запада в критике России за нарушение прав человека было воспринято исключительно как свидетельство того, что короткий «медовый месяц» в отношениях с западными партнерами подходит к концу. «Очень скоро, по прошествии первого шока, тезис о необходимости и необратимости нового глобального подхода к терроризму начал тихо, но неуклонно выводиться в политическую риторику, все меньше связанную с практическими международными действиями», — писала «Независимая газета». И вновь руководители Российского государства во главе с президентом Путиным были вынуждены объяснять «непонятливым европейцам» связь между «чеченским терроризмом» и Аль-Каидой<sup>1</sup>.

В этой связи интересно проследить реакцию российской прессы на начало процесса над бывшим сербским президентом Слободаном Милошевичем в международном трибунале по бывшей Югославии в феврале 2002 года. Если накануне начала процесса комментарии были сдержанными и сбалансированными<sup>2</sup>, то после начала слушаний трибунал был немедленно и в весьма нервном тоне обвинен теми же газетами в предвзятости, политизированности и проамериканской позиции<sup>3</sup>. Этот неожиданный поворот, возможно, объясняется тем, что реартикулированный дискурс так и не создал сколько-ни-

<sup>1</sup> *Симонов И.* Россия и Израиль в борьбе с терроризмом // Независимая газета. 2002. 5 февраля. См. также: *Сожут С.* Партнеры перестают понимать друг друга // Независимое военное обозрение. 2002. 8 февраля; *России есть что предложить миру* // Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 5 февраля.

<sup>2</sup> *Петровская Ю., Вукелич И.* Открывается беспрецедентный процесс // Независимая газета. 2002. 12 февраля; *Киселева М.* Палата номер три // Известия. 2002. 12 февраля; *Сысоев Г.* Слободан Милошевич пошел под суд // Коммерсант. 2002. 12 февраля.

<sup>3</sup> *Петровская Ю.* Правосудием пока не пахнет // Независимая газета. 2002. 14 февраля; *Петровская Ю.* Сербь не начинали ни одну из войн // Независимая газета. 2002. 15 февраля; *Юсин М.* Международному трибуналу будет трудно доказать вину Милошевича // Известия. 2002. 18 февраля.

будь прочной структуры, которая позволила бы по-иному посмотреть на Косовский конфликт 1999 года. Оценка балканских событий оставалась прежней: «гуманитарные аспекты были лишь ширмой для реализации прагматических целей США и их союзников... Североатлантический альянс расширился на Восток и оставлять в “тылу” непокорный Белград вовсе не собирался»<sup>1</sup>. Поэтому журналисты при всем желании не могли интерпретировать обвинения против Милошевича и сербского государства иначе как обвинения против сербов как народа. За отсутствием какой-либо новой последовательности означающих, которая позволила бы по-иному описать ситуацию, в работу включилась старая конструкция, противопоставлявшая сербов и русских (россиян) Западу.

Война Соединенных Штатов против Ирака, начатая президентом Джорджем Бушем-младшим в 2003 году, потенциально могла интерпретироваться в рамках всех трех описанных нами моделей отношений между ключевыми означающими политического дискурса. При этом, как выяснилось, позиции двух военных конфликтов — Косовского и Иракского — в структуре российского политического дискурса оказались чрезвычайно близки, хотя для иракского случая был характерен несколько более высокий уровень сверхдетерминации. В частности, впервые с такой определенностью возникла ситуация раскола внутри обоих сообществ — как Европы, так и Запада. Это, в частности, лишило всяческих шансов на успех вторую артикуляционную модель, предполагающую солидарность с Западом как царством свободы против кровавого диктатора Саддама. Эта модель в посткосовской России уже была маргинальной, а теперь она к тому же столкнулась с необходимостью реконцептуализации своей главной точки отсчета, ранее практически не проблематизировавшейся, — понятий «Запад», «Европа», «цивилизованный мир».

<sup>1</sup> *Волин Е.* Без ключевых свидетелей // Независимая газета. 2002. 10 апреля.

Две другие модели продолжали более или менее успешно функционировать и, более того, продемонстрировали значительную степень совместимости друг с другом. Радикальные авторы продолжали придерживаться традиционной для российского политического дискурса модели антагонизации Запада как воплощения абсолютного Зла, стремящегося разрушить существующую систему международных отношений, подорвать ее основы в виде принципа суверенитета и установить мировое господство. Разумеется, эта модель исключает партнерские отношения с США и Западной Европой. Поэтому высказывания официальных лиц чаще тяготели к интерпретации и косовских, и иракских событий в соответствии с античной фигурой коррупции — как результата ошибки или недомыслия отдельных политических деятелей, в погоне за краткосрочными корыстными целями пожертвовавших общим благом, поставив под угрозу основополагающие принципы международной системы. Так, например, министр иностранных дел Сергей Лавров писал:

Недавние этнические чистки, ставшие результатом попустительства албанским экстремистам, грозят перечеркнуть многолетние усилия мирового сообщества по укреплению мира на Балканах. Есть реальная опасность превращения Косово в один из центров организованной преступности в Европе, что неминуемо отразится на безопасности всего континента.

События последнего времени показывают, какую цену приходится платить всему мировому сообществу за односторонние действия, не подкрепленные санкцией Совета Безопасности ООН<sup>1</sup>.

Виновники сложившейся ситуации здесь прямо не названы, но очевидно, что это США и НАТО, совершившие «односторонние действия» против Югославии, а также европейские

<sup>1</sup> Лавров С. В. Другая Россия // Коммерсант. 2004. 1 апреля.

лидеры, не способные оказать должного отпора экстремистам. Тем не менее Косово явно утратило свою позицию в центре конституирующего антагонизма между Россией и Западом — вместо этого лейтмотивом статьи является утверждение отношений эквивалентности между ними в рамках сообщества «цивилизованных стран», противостоящих глобальной террористической угрозе. Только что приведенную цитату продолжают следующие слова: «Вместе с тем тактические разногласия на этот счет гораздо менее важны для нас, чем общность стратегических интересов России и США». Далее Лавров с удовлетворением отмечает, что «Россия и США стали ближайшими союзниками в борьбе с международным терроризмом» и что «Россия, Соединенные Штаты и страны Европейского союза имеют... обширную совместную повестку дня» в области безопасности<sup>1</sup>.

Упадок этой модели начался в эпоху «цветных революций», особенно после поражения Леонида Кучмы на президентских выборах на Украине в 2004 году. Тем не менее, несмотря на возрастание напряженности в отношениях между Россией и ее западными партнерами в 2003—2007 годах, артикуляция сотрудничества России и Запада в борьбе с терроризмом не была полностью вытеснена за пределы дискурсивного пространства. Даже в очередной период обострения отношений между Россией и Западом в 2007 году, когда разговоры о начале новой холодной войны стали общим местом, Алексей Арбатов продолжал настаивать на том, что «в текущих международных конфликтах Россия и Запад стоят по одну сторону баррикад». Характерно, что при этом по необходимости воспроизводится и довод о том, что Россия была своего рода основателем антитеррористической коалиции: «Россия понесла самые большие потери в борьбе против исламского экстремизма за последние двадцать лет (война в Афганистане, войны и конфликты в Чечене, Дагестане и Таджикистане)».<sup>1</sup> Следует ли, однако, жалеть о том, что эта

<sup>1</sup> Лавров С. В. Другая Россия.

<sup>2</sup> Арбатов А. Г. Грядет ли холодная война? // Россия в глобальной политике. 2007. Т. 5. № 2. С. 40—41.



модель так и не стала безраздельно доминировать в российском политическом дискурсе, не превратилась в единственное прочное основание для российской национальной идентичности?

Преимущество данной артикуляционной модели, безусловно, состоит в том, что она создает основу для сотрудничества между Россией и Западом и тем самым дает шанс на преодоление наследия холодной войны. Она открывает новое политическое пространство, в котором разворачивается глобальный антагонизм между «цивилизованным миром» и террористами, который, по существу, имеет религиозную природу: два противоборствующих начала являют собой абсолютные отрицания друг друга. Российская версия войны против терроризма также отводит России центральное место в границах политического сообщества «цивилизованных стран», тем самым также демонстрируя универалистские притязания. С другой стороны, конфликты с Западом артикулируются уже не как проявления абсолютного антагонизма, а как технические разногласия, результат коррупции в лагере западных партнеров<sup>1</sup>.

Такое решение, однако, едва ли может быть признано оптимальным. Прежде всего антитеррористические практики безопасности тяготеют к установлению эквивалентности между терроризмом и исламом и другими близкими идентичностями, такими как Восток, арабский мир и т. д. Несмотря на сдерживающее влияние норм политической корректности, глобальный масштаб антагонизма между цивилизацией и варварством подминает под себя тонкие различия и нюансы. Особенно важно подчеркнуть, что различия по «эту» сторону границы также размываются, что приводит к повсеместному распространению лозунгов «консолидации» и «единства», то есть к доминированию популистской политики. В частности, как будет показано в главе 4, антагонизация терроризма способствует

<sup>1</sup> О соотношении фигуры коррупции и иудео-христианского представления о мире как противоборстве непримиримых начал добра и зла см. в § 3.1.

переопределению границ российской нации в этническом ключе, что приводит к вытеснению из сообщества значительной части российских граждан и способствует росту межэтнической напряженности. Однако проблемы подобного рода характерны для всех стран антитеррористической коалиции: практика навешивания ярлыков на политических оппонентов, обвинения в отсутствии патриотизма (и тем самым приписывание внешней идентичности любой позиции, отличной от официальной), расширение сферы секретности и тайного надзора, ограниченный доступ к правосудию лиц, подозреваемых в террористической деятельности, рост ксенофобии — все эти признаки показывают, что несогласие, различие везде оказываются под подозрением. «Абсолютный» масштаб проблем в разных странах отличается, но повсюду налицо относительное ухудшение ситуации.

Со специфически российской точки зрения еще одним серьезным недостатком является маргинализация Европы в артикуляции войны с террором. Как показано выше, Запад в российском дискурсе предстает главным образом как геополитический субъект, тогда как атрибутами Европы являются культура, качество, права человека, процветание. Игра на равных с Западом означает для России прежде всего претензию на свою долю в глобальном геополитическом раскладе, отстаивание своих интересов в той же манере, как, по мнению российских авторов, это делают другие великие державы. В отличие от построения сообщества с Европой, партнерство с Западом практически не подразумевает какого бы то ни было «обучения», введения новых практик и норм. Возможно, именно поэтому Владимиру Путину на протяжении его пребывания на посту президента России вплоть до 2006—2007 годов удавалось поддерживать относительно дружественные отношения с Западом, несмотря на очевидное отступление от либерально-универсалистских рецептов демократизации.

Однако Европа как различие все же упорно сопротивляется поглощению глобальной эквивалентностью, сводящей ми-

ровую политику к противостоянию Добра и Зла, цивилизации и варварства, демократии и терроризма. С точки зрения этого глобального антагонизма Европа предстает областью бесконечных противоречий: она симпатизирует палестинцам в их противостоянии Израилю, отказывается забыть о чеченской проблеме, несмотря на явную обеспокоенность ростом собственного мусульманского населения, раскалывается на старую и новую по поводу войны в Ираке, но затем вдруг снова выступает единым фронтом в вопросе о российском давлении на постсоветские государства. Европу намного труднее редуцировать к теме силовой политики и борьбы за власть, поэтому, например, даже авторы, склонные интерпретировать цели Европейского союза в отношении России с реалистических позиций, вынуждены признавать, что «не все в критике европейцев в наш адрес беспочвенно. В том, что они говорят, есть довольно много пусть и нелицеприятных, но весьма точных замечаний, которые нам полезно было бы принять к сведению»<sup>1</sup>. Все эти противоречия приводят к тому, что Европа продолжает существовать как неразложимое означающее и тем самым подрывает самоочевидные границы и препятствует тоталитарному замыканию сообщества.

\* \* \*

Во второй главе нашего исследования мы сформулировали его основные методологические принципы и попытались на их основе выявить наиболее общие структурные модели, вокруг которых складываются гегемонические артикуляции российской национальной идентичности в начале XXI века. Одна из важнейших теоретических посылок настоящей работы состоит в том, что конституирование сообщества необходимо имеет антагонистический характер и строится на исключении,

<sup>1</sup> *Власова О.* Почему нас разлюбила Европа // Эксперт. 2004. 23 февраля. С. 20.

на отношениях чистого отрицания. В то же время постструктуралистская онтология со всей очевидностью приводит к методологическому принципу, согласно которому для описания процессов артикуляции идентичности нет необходимости в поиске конституирующего иного, «подобного» исследуемому сообществу. Антагонистической смысловой единицей, на отрицании которой строится идентичность нации-государства, совершенно необязательно должно быть другое государство, или группа государств, или даже другая идентичность — это может быть означающее или группа означающих, между которыми установлены отношения эквивалентности, такие как «прошлое — война — тоталитаризм». Если мы принимаем такую онтологию и ее методологические следствия, описание различных вариантов артикуляции идентичности политических сообществ в полном соответствии с постструктуралистской теорией антагонизма становится вполне посильной задачей. Так, если первая, и наиболее устойчивая, модель российской гегемонической артикуляции построена на исключении Запада, то есть «цивилизационной» идентичности, подобной российской, то две другие модели не нуждаются в такого рода антагонистах. Западническая модель строится на отрицании авторитарного прошлого самой России, а модель «антитеррористической коалиции» противопоставляет цивилизацию (в единственном числе) варварству, хотя некоторые распространенные ее артикуляции, безусловно, тяготеют к установлению отношений эквивалентности между терроризмом и исламом.

Один из ключевых тезисов данной главы, как и всего исследования, состоит в утверждении несамодостаточности российской национальной идентичности: процесс ее формирования состоит в постоянной борьбе между тенденциями к структурной полноте и замкнутости, с одной стороны, и дислокацией, подрывающей структурную целостность, с другой. Эти противоречивые тенденции могут быть выражены соответственно через представление о фундаментальной дуальности русской культуры, предложенное Юрием Лотманом, и концепцию ди-

алогизма Михаила Бахтина: оба автора, впрочем, подчеркивают, что культура не может существовать в изоляции, нуждается в Другом для полноценного функционирования, и этот тезис полностью подтверждается материалами нашего исследования. Важнейшее отличие предлагаемых в данном исследовании моделей отечественного дискурсивного поля от более традиционных состоит именно в подчеркивании элементов дислокации (диалогичности) как ключевой характеристики описываемых структур. Европа как неразложимое означающее играет важнейшую роль в первой, наиболее стабильной модели, и вызванная ее присутствием дислокация как раз и составляет важнейшую и до сих пор недооцененную особенность российского политического дискурса. Тенденция к дуальности проявляется в том, что гегемоническая артикуляция пытается разложить Европу на «истинную» и «ложную» и свести тем самым диалогическое разнообразие к черно-белому монологу, однако содержание понятия «Европа» является полем игры еще и других артикуляционных практик, зачастую гораздо более мощных. Наличие институциональных барьеров и границ политического пространства, обусловленных действием совпадающих популистских антагонизмов, ограничивает влияние этих «внешних» артикуляционных практик на российский дискурс, однако целостное представление о Европе, не совпадающее с официальными трактовками, всегда присутствует во «внутреннем» поле — как минимум в виде следа<sup>1</sup>. Это неконтролируемое присутствие делает дислокацию национальной идентичности неизбежной и препятствует тоталитарному замыканию российского политического сообщества, открывая возможности для легитимной критики существующих практик на основе не совсем внутренней, но и не внешней для российского политического поля европейской идентичности.

<sup>1</sup> О концепции «следа» у Жака Деррида см.: *Derrida J. Différance // Derrida J. Margins of Philosophy. Chicago: University of Chicago Press, 1982. P. 3—27; Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 20—22.*

Как можно теоретически осмыслить необходимость Европы для любой артикуляции российской национальной идентичности? Имеем ли мы в данном случае дело с исторически обусловленной эквивалентностью, которая, даже будучи глубоко седиментированной, может тем не менее быть реактивирована и подвергнута деконструкции, или перед нами некоторая структурная необходимость? Иными словами, может ли Россия в конечном итоге избавиться от извечного стремления «похитить красавицу Европу»? Предварительный ответ на этот вопрос, который будет подтвержден материалом последующих глав, состоит в том, что российская одержимость Европой отражает евроцентризм монологического разума эпохи Просвещения, который устанавливает прочную эквивалентность между Европой и цивилизацией (в единственном числе). Постольку поскольку Россия стремится быть «цивилизованной страной», она обречена на бесконечные попытки идентифицировать себя с Европой — и в этом смысле ее несовершенная европейская идентичность, будучи глубоко седиментированной, все же представляет собой продукт исторически обусловленного развития общеевропейского логоса. Однако само стремление приобщиться к цивилизации, вероятно, имеет характер структурной необходимости: проецирование собственной идентичности вовне, установление эквивалентности между частными ценностями конкретного сообщества и универсальной идеей «общечеловечности» доводит процесс строительства сообщества до крайней степени политической остроты, поскольку тем самым антагонизм между внутренним и внешним обретает высшую форму противостояния между человеческим и античеловеческим, а само сообщество обретает предельную степень легитимности. В следующих главах читатель найдет немало примеров такого рода ультраполитического обострения повседневных политических оппозиций.

### Глава 3

## ГЕНЕАЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: КОСОВО, ФИГУРА «ЛОЖНОЙ» ЕВРОПЫ И СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ

**Т**ретья глава нашего исследования посвящена наиболее важным дискурсивным структурам, определяющим идентичность и границы современной России как политического сообщества. Это ни в коем случае не историческая реконструкция событий и процессов, приведших к появлению России, «как она есть», какой мы ее видим сегодня, на исходе первого десятилетия XXI века. Скорее речь идет о том, чтобы на примере нескольких совсем еще недавних событий, свидетелями которых стало нынешнее поколение граждан России, показать, как событие становится историей, как оно встраивается в седиментированные смысловые структуры, перерабатывается ими и становится их частью, теряя живую непосредственность и обретая место в телеологическом единстве фундаментальных исторических нарративов.

В этой связи необходимо напомнить читателю, что цель данного исследования — не составление «дискурсивной карты» современной России, а изучение механизмов работы дискурсивной гегемонии. Как было указано в § 2.2, в этой книге мы пытаемся максимально подробно исследовать дискурсивные структуры, обеспечивающие стабильность современной гегемонической артикуляции, стремящиеся зафиксировать смысловые цепочки и тем самым гарантировать сохранение существующего распределения властных ресурсов. Разного рода маргинальные и оппозиционные дискурсы в работе рассмат-

риваются фрагментарно — лишь постольку, поскольку обращение к ним помогает более отчетливо показать особенности гегемонии в ее конкретно-историческом существовании. Такое решение принято, как мы указывали, вовсе не из какого-то особого почтения к власти: причины состоят в том, что, во-первых, российское дискурсивное пространство сегодня сильно монополизировано (то есть, в терминологии Эрнесто Лаклау и Шанталь Муф, находится ближе к модели популистского политического пространства, см. § 1.6). Во-вторых, именно гегемоническая артикуляция по преимуществу вступает в дискурсивное взаимодействие с внешним миром и тем самым оказывается наиболее продуктивной в формировании всех аспектов национально-государственной идентичности, поскольку именно отношения с Другими играют центральную роль в формировании любой идентичности. Эти соображения обусловили и отбор текстов для анализа: в качестве отправной точки мы каждый раз принимаем официальные документы и выступления и анализируем по преимуществу те высказывания, в которых, несмотря на неизбежное рассеивание, воспроизводятся одни и те же смысловые структуры. Такой подход, на наш взгляд, ценен возможностью не только более детальной реконструкции гегемонической артикуляции, но и в конечном итоге ее деконструкции — выявления дислокации (смещения, сдвига) седиментированных структур смысла, их неструктурных элементов, зависимости внутренней гармонии от внешних идентичностей, от конституирующего иного. Такой подход позволяет наметить пути реактивации исходного смысла седиментированных структур, возвращения того, что стремится предстать как стабильная, самоочевидная данность, к исходному событию, к живой непосредственности истории.

По существу, нас будет интересовать лишь одно событие, у которого, однако, много имен, — окончание холодной войны, распад империи, восстановление независимости балтийских государств, возникновение «однополярного мира». Косовский конфликт, который, по нашему мнению, сыграл ключевую



роль в формировании гегемонических структур России при Путине, был наиболее ярким проявлением как раз последнего аспекта революционных событий конца прошлого столетия — глобальной гегемонии Запада во главе с США и НАТО, — и реакция российского общества на этот конфликт предопределила характер базового популистского антагонизма, лежащего в основе современных коммунитарных практик. Фигура «ложной» Европы — одновременно свидетельство дислокации национальной идентичности и инструмент борьбы с дислокацией, восстановления ощущения принадлежности к Европе и «цивилизованному миру» — наиболее отчетливо проявилась во взаимоотношениях России с Латвией, Литвой и Эстонией. Наконец, «нормализация» советского прошлого, отказ от «самобичевания», встраивание СССР в нарратив тысячелетней истории Российского государства в значительной степени обеспечили стабилизацию гегемонической артикуляции в первые годы текущего десятилетия, привели к изживанию революции рубежа 1980—1990-х, затуханию ее «событийности». Именно таков будет порядок анализа эмпирического материала в данной главе: от всплеска антагонизма (Косово) к его переработке в артикуляционной практике «ложной» Европы, а затем — к прояснению структурных причин неоимперской стабилизации.

### § 3.1. Косово как точка отсчета: Россия и Запад в дискурсе романтического реализма

Всякая периодизация относительна: любое событие, даже самое значительное, только тогда становится поворотным пунктом в истории, когда оно актуализирует уже накопившийся в обществе потенциал перемен. Дискурсивная напряженность вокруг самоидентификации новой России в качестве страны, находящейся в условиях «перехода» к демократии и рыночной экономике, к статусу «нормального цивилизованного государ-

ства», нарастала как минимум начиная с 1993 года. Однако именно 1999 год стал здесь моментом истины: военные действия НАТО против Союзной Республики Югославии, а затем резкая критика России по поводу нарушения прав человека в ходе антитеррористической операции в Чеченской Республике привели к масштабной реартикуляции всего дискурсивного пространства. В 1999 — начале 2000 года Россия оказалась в ситуации глубокого кризиса идентичности. Политическая элита все еще не была готова отбросить идею превращения России в «истинно европейскую» страну, а значит и отказаться от сотрудничества со странами Западной Европы и США. Однако военная акция НАТО против Югославии серьезно подорвала доверие к «западным партнерам», а жесткая критика действий российских сил в ходе второй чеченской кампании лишила Россию поддержки со стороны государств и институтов, которые традиционно выступали в российском внешнеполитическом дискурсе как воплощения «истинной» Европы, и серьезно затруднила легитимацию политики властей с позиций европейских ценностей.

Такое стечение обстоятельств вынудило российские правящие круги в первый раз занять открыто конфронтационную позицию по отношению к Западу: Москва пошла на драматический разрыв с Организацией Североатлантического договора, стала высказывать серьезные сомнения относительно целесообразности участия в Совете Европы, а временами даже ставила под вопрос партнерство с Европейским союзом и значимость Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Даже с учетом того, что разногласия с западными друзьями-соперниками всегда были не столь уж редки для российской внешней политики, интенсивность антизападной риторики в проправительственных средствах массовой информации в этот период была рекордной с момента возникновения Российской Федерации как независимого государства. Государство фактически заняло в публичном дискуссионном поле позицию, до этого представленную его критиками из нацио-

налистического лагеря, а политическое пространство сомкнулось вокруг единого популистского антагонизма, резко противопоставившего Россию внешнему миру. По этой причине косовский конфликт станет отправным пунктом для нашего анализа дискурсивных процессов в современном российском обществе, и в следующих трех параграфах мы попытаемся проанализировать природу дискурсивной трансформации, постигшей нашу страну в последние два года ушедшего столетия.

Важнейшим узловым пунктом в дискуссии, развернувшейся вокруг косовских и чеченских событий, был вопрос о природе прав человека, защита которых послужила основанием как для военного вмешательства НАТО в косовский конфликт, так и для политико-дипломатического давления на Россию со стороны международных структур, отдельных государств и неправительственных организаций в связи с действиями российских войск в Чечне. Это давление вызвало резкую негативную реакцию в России. Среди огромного числа публикаций по этому вопросу выделяются статьи журналистки Натальи Айрапетовой в «Независимой газете», опубликованные на протяжении 1999 года. Радикализм этих публикаций делает их идеальной отправной точкой для анализа российской дискуссии.

Последняя по времени статья, опубликованная 10 декабря — в годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека, — имеет очень характерный заголовок: «России нужна защита от правозащитников». Айрапетова выдвигает несколько обвинений в адрес российского правозащитного движения. Прежде всего реальным мотивом правозащитной работы, по утверждению журналистки, являются не идеалистические цели защиты прав и свобод, а корыстные интересы: правозащитники не заинтересованы ни в чем, кроме западных денег, и готовы критиковать свое собственное правительство сколько угодно в обмен на соответствующее материальное вознаграждение. Вскоре, однако, выясняется, что мотивы правозащитников не ограничиваются лишь корыстью — ими также движет «патологическая и откровенная русофобия и ненависть к своей соб-

ственной стране»<sup>1</sup>. В число целей защитников прав человека, таким образом, входит не только личное обогащение, но и «развал страны и дружеская оккупация ее “цивилизованными странами”»<sup>2</sup>.

Подобную критику сложно назвать сбалансированной, и не каждый автор даже в кризисном для российской внешней политики 1999 году согласился бы с такой нелицеприятной характеристикой правозащитного движения. Однако высказывания Айрапетовой представляют собой концентрированное выражение базовых умолчаний российского дискурса — особенно в том, что касается характеристики Запада и его враждебности по отношению к России. Тогда, да и теперь, многие согласились бы, что Запад, используя правозащитное движение как своего рода пятую колонну, цинично преследовал собственные геополитические цели с помощью «антироссийской пропаганды». «Война в Косово продемонстрировала двойные стандарты США и их союзников, — писал директор Института США и Канады Сергей Рогов. — Жесткое давление, оказываемое на Россию, имеет целью заставить ее принять западные правила игры, согласиться на второстепенную роль»<sup>3</sup>. Руководители российской дипломатии, включая министра иностранных дел, разделяли эту точку зрения. Согласно заявлению Игоря Иванова от 27 марта 1999 года, главными причинами конфликта вокруг Косово были деятельность албанских террористов и стремление НАТО «расширить свое присутствие на Балканах». Президент Сербии Слободан Милошевич виноват лишь в чрез-

<sup>1</sup> Айрапетова Н. России нужна защита от правозащитников // Независимая газета. 1999. 10 декабря.

<sup>2</sup> Айрапетова Н. Второй правозащитной революции в России не будет // Независимая газета. 1999. 10 ноября.

<sup>3</sup> Рогов С.М. Наша страна может оказаться на задворках Европы // Независимая газета. 1999. 16 июня. См. также: Рогов С.М. Новая геополитическая ситуация в Европе // Мир после Косово: Россия, СНГ, Латинская Америка. Материалы научно-практической конференции в ИЛА РАН. М.: ИЛА, 2000. С. 25.

мерном использовании силы в ходе борьбы с террором, которое привело к жертвам среди мирного населения. Обвинения в геноциде и «миф о гуманитарной катастрофе» были нужны только для подготовки интервенции, конечная цель которой состояла в колонизации региона, и в целом политика Запада представляет собой «новейшую форму неокOLONиализма» — «натоколониализм»<sup>1</sup>.

Косовская кампания 1999 года практически вернула российский дискурс в его отношении к НАТО к состоянию холодной войны: Североатлантический альянс вновь стал рассматриваться как заведомо враждебный блок, который действует вопреки демократическим нормам, ханжески провозглашаемым его членами, и угрожает России самим фактом своего существования<sup>2</sup>. Это непосредственно повлияло и на оценку отношений России с ее соседями: в докладе Совета по внешней и оборонной политике, опубликованном в 1999 году, например, утверждалось: «В нынешних, после югославских событий, условиях расширение НАТО будет трактоваться уже не просто как недружественный акт, но даже как подготовка к агрессии»<sup>3</sup>. Эта острая риторика исчезла из доклада на ту же тему, вышедшего годом позже<sup>4</sup>, но враждебное отношение к альянсу сохранилось и в этом документе.

Таким образом, озабоченность правами человека и защита мирного населения в Косово и Чечне интерпретировались в

<sup>1</sup> *Иванов И. С.* Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на заседании Государственной Думы. 27 марта 1999 г. // Дипломатический вестник. 1999. № 4. С. 26, 27.

<sup>2</sup> См., например: *Могилевкин И. М.* Борьба за российское пространство // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 3. С. 99—100.

<sup>3</sup> *Юргенс И. Ю., Караганов С. А.* и др. Россия и Прибалтика — II. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 1999. П. 5.12. [http://www.svor.ru/live/materials.asp?m\\_id=6883](http://www.svor.ru/live/materials.asp?m_id=6883).

<sup>4</sup> *Ознобищев С. К., Юргенс И. Ю., Воронов К. В., Мошес А. Л.* Балтия — трансевропейский коридор в XXI век. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 2000. [http://www.svor.ru/live/materials.asp?m\\_id=6884](http://www.svor.ru/live/materials.asp?m_id=6884).

российском внешнеполитическом дискурсе как прикрытие для «реальных» целей, преследовавшихся Западом. В то же время нельзя не заметить, что российские авторы не предлагали сколько-нибудь последовательного *реалистического* объяснения косовской войны. Немногочисленные рациональные объяснения за пределами абстрактных геополитических построений сводятся к предположениям, наиболее последовательно сформулированным директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным, что целью Соединенных Штатов в Косово было подорвать единую европейскую валюту и предотвратить «массовый возврат долларов в США», который «привел бы к их необратимой дестабилизации и деградации»<sup>1</sup>. Еще одну цель политики США называет сотрудник Четвертого европейского департамента МИД Владимир Кружков: «затормозить создание европейской оборонной структуры и консолидировать Европу на базе НАТО, где первую скрипку играют американцы»<sup>2</sup>. Он же предлагает едва ли не единственное объяснение факта поддержки действий США со стороны европейских государств — страх перед наплывом албанских беженцев<sup>3</sup>. Наталия Нарочницкая описывает конфликт в чисто геополитических терминах как мощный бросок Запада в восточном направлении<sup>4</sup>. По мнению председателя Комитета Государственной думы по международным делам Владимира Лукина, цель Запада состояла в создании «отделенного моноэтнического Косово», с тем чтобы приблизить крах Милошевича<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Делягин М. Г. Главная задача, которую решали США в Югославии, — в сфере глобальных финансов // *Международная жизнь*. 1999. № 9. С. 53. См. также: Кружков В. А. Югославский прецедент опасен для мира // *Международная жизнь*. 1999. № 10. С. 26; Айрапетова Н. Диктатура «Томагавка» // *Независимая газета*. 1999. 27 апреля.

<sup>2</sup> Кружков В. А. Указ. соч. С. 26.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Нарочницкая Н. А. Избежать нового передела мира // *Международная жизнь*. 1999. № 11. С. 24.

<sup>5</sup> Лукин В. П. Чечня, коррупция, Косово, НАТО и другие проблемы на предвыборном фоне // *Международная жизнь*. 1999. № 11. С. 15.

Реакция российской внешнеполитической элиты на вооруженный конфликт 2001 года в Македонии строилась вокруг тех же базовых представлений. По утверждению Игоря Иванова, целью албанских сепаратистов было «спровоцировать югославское и македонское руководство на применение силы против этнических албанцев», «добиться, чтобы на Западе опять заговорили об “этнических чистках”, “массовых расправах над мирным населением”, “непропорциональном применении силы”». В конечном итоге, по мнению российского министра, следовало опасаться «гуманитарной интервенции» по косовскому сценарию<sup>1</sup>. Еще более резкие комментарии раздавались из уст журналистов: так, по мнению аналитиков сетевого издания «КМ-новости», администрация Буша сознательно раздувала конфликт в Македонии, руководствуясь следующими соображениями:

Во-первых, продолжение войны на Балканах — это предлог для сохранения военного присутствия США в Европе. Во-вторых, это многомиллионные заказы для военно-промышленного комплекса. Наконец, в-третьих, это своеобразная подножка своим европейским союзникам: наличие очага напряженности на Европейском континенте автоматически ослабляет позиции евро, которое в перспективе может потеснить доллар в качестве мирового универсального платежного средства<sup>2</sup>.

Российские наблюдатели обвиняли Запад и НАТО в преступном бездействии и даже высказывали предположения, что, когда конфликт выйдет из-под контроля, ответом могут стать

<sup>1</sup> *Иванов И. С.* Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Министром иностранных дел Македонии С. Керимом в Скопье 21 марта 2001 года // Дипломатический вестник. 2001. № 4. С. 47.

<sup>2</sup> Судьба России решается на Балканах // КМ-Новости. 2001. 18 марта. <http://www.km.ru>.

очередные бомбежки: «Кого бомбить, неважно, главное бомбить. Это должно вызывать страх и уважение»<sup>1</sup>.

Во всех этих высказываниях, помимо пропагандистского нагнетания страстей, очевидны также притязания на выявление истинных движущих сил и мотивов, скрытых за «дымовой завесой» идеологической риторики. Эти амбиции вполне соответствуют духу политического реализма как направления в науке о международных отношениях<sup>2</sup>, но в работах российских авторов практически отсутствуют попытки рационализации действий США, исходя из ключевых понятий реалистической парадигмы, таких как сила (мощь) и безопасность. Анализ только что цитированных и множества других текстов позволяет предположить, что Косовская кампания позволила Соединенным Штатам увеличить собственное влияние относительно вероятных противников, но в них отсутствует сколько-нибудь последовательный анализ этого аспекта проблемы. Понятие «безопасность» присутствует лишь в тезисах негативного характера: согласно отечественным аналитикам, США своими односторонними действиями подрывали международную безопасность, но приводило ли это к укреплению относительной безопасности самих США, остается неясным. Непонятно также, какие соображения, помимо озабоченности сферами влияния, заставляют США пытаться «консолидировать Европу» вокруг НАТО и почему дорогостоящая военная кампания как

<sup>1</sup> Горностаев Д. Когда была последняя война? // Дипкурьер НГ. 2001. 22 марта.

<sup>2</sup> Классиками политического реализма принято считать Ганса Моргентау и Эдварда Кэрра, см.: *Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace / 2nd ed., revised and enlarged. New York: Alfred A. Knopf, 1955; Carr E.H. The Twenty Years' Crisis, 1919—1939: An Introduction to the Study of International Relations. London: Macmillan; New York: St. Martin's Press, 1946.* Еще дальше российские авторы отстают от неореалистической парадигмы, основателем которой считается Кеннет Уолтс: *Waltz K.N. Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley, 1979;* см также: *Коньшев В.Н. О неореализме Кеннета Уолтса // Полис. 2004. № 2. С. 146—155.*



средство предотвращения наплыва беженцев оказывается предпочтительной по сравнению с гораздо более дешевым закрытием границ. Намеки на экономические факторы (ослабление евро, интересы военно-промышленного комплекса) остаются голословными: никакого систематического анализа этих факторов отечественные авторы, по крайней мере в тот период, не предпринимали. С учетом всех этих факторов нельзя не согласиться с Валерием Соловьев, когда он пишет, что США в российской дискуссии приобретают «буквально метафизическое измерение. Для русских США — не реальная страна, но проекция их собственных фобий, надежд и представлений о Западе, квинтэссенция “духа Запада”»<sup>1</sup>.

Именно этот метафизический «дух Запада» и составляет главное объяснение действий США и их союзников в глазах российских наблюдателей. Так, Михаил Делягин объясняет неуважительное отношение США к своим союзникам качествами и устремлениями, имманентными американцам как нации:

Это принципиально важный для понимания США нюанс: для них первичны отношения не союзничества, а конкуренции. Как сверхдержава они рассматривают союзничество как инструмент, позволяющий им ущемлять своих младших партнеров, обеспечивая себе таким образом преимущество в международной конкуренции<sup>2</sup>.

Кружков также обращается к реификации «национального духа», утверждая, что «тоталитарное, “фундаменталистское” сознание» западных политиков заставляет их заниматься «фанатичным претворением в жизнь идеи справедливости» в духе «насильственности», который был выделен в качестве характерной черты романо-германского культурного типа еще Николаем Данилевским<sup>3</sup>. «...Североатлантическая коалиция ис-

<sup>1</sup> Соловей В.Д. Русские и Запад // Независимая газета. 1999. 30 ноября.

<sup>2</sup> Делягин М.Г. Указ. соч. С. 56.

<sup>3</sup> Кружков В.А. Указ. соч. С. 22—23.

пользует моральную риторику для прикрытия своих реальных эгоистических целей», — пишет российский дипломат. Цели эти, по его мнению, состоят в следующем: «во-первых, устранение политического руководства СРЮ, подавление сербского национального самосознания и установление марионеточного режима... Во-вторых, это экономическая экспансия за счет установления контроля над новым рынком дешевой рабочей силы и сбыта»<sup>1</sup>.

Очевидно, что в критике действий отечественных правозащитников и западных лидеров со стороны российской внешнеполитической элиты наблюдается одна и та же модель: оппонентов обвиняют в цинизме и эгоизме, однако это обвинение не доводится до конца, поскольку некоторая степень идеализма за идейными противниками все же признается. Идеализм российских и западных либералов — это аморальный идеализм. Он маскируется «правильными» лозунгами о необходимости защиты индивидуальных прав и свобод и укрепления демократии в Европе, но за этим скрывается другая, не менее идеалистическая цель — максимально расширить сферу влияния западного блока и в конечном итоге разрушить Россию и подчинить ее Западу. Смысл установления господства над Россией, видимо, состоит в последующем установлении мирового господства — проект, который едва ли можно в полной мере назвать рациональным и прагматическим, поскольку расчленение России и последующее господство над миром предстает здесь как самодостаточная цель, а не средство для достижения чего-то более «приземленного» (безопасности, богатства и т. п.).

Метафизические взгляды на природу политики не уникальны для России: как утверждает Джеф Хейсманс, для современной (после 11 сентября) эпохи вообще характерно распространение форм политического мышления, утверждающих органическое тотальное единство сообщества и в конечном итоге приводящих к «жажде преодоления всякой отчужденно-

<sup>1</sup> *Кружков В.А.* Указ. соч. С. 24—25.

сти... либо посредством устранения или радикальной маргинализации всех, кто отличается, либо путем превращения всех, кто отличается, в таких же, как мы»<sup>1</sup>. Хейсманс трактует различие между «нормальной» и ультраполитикой<sup>2</sup> как качественное, исключая возможность промежуточных состояний. По его мнению, ее мировоззренческие истоки лежат в философии жизни и экзистенциализме, постулирующих возможность подлинной идентичности, от которой субъект в обычных условиях отчужден социальными узами, но к которой он может вернуться в исключительных обстоятельствах<sup>3</sup>. Нам представляется, что в конечном итоге это различие — все же вопрос степени, а не качества и зависит оно от степени интенсивности конституирующего антагонизма. Отказ от черно-белого представления об ультраполитике позволяет увидеть и то, что ее философский источник находится гораздо ближе к фундаменту нововременной политической мысли, в романтической традиции XIX века.

Как показали Ронен Палан и Брук Блэр, реалистическая парадигма в международных отношениях сама по себе глубоко укоренена в немецкой идеалистической философии: реализм работает только в рамках разработанного немецкими философами-идеалистами учения о нации и государстве как о двух сторонах метафизического единства<sup>4</sup>. Консервативные тен-

<sup>1</sup> *Huysmans J.* International Politics of Insecurity: Normativity, Inwardness and the Exception // *Security Dialogue*. Vol. 37. 2006. No. 1. P. 21. Хейсманс ссылается на понятие антидипломатии, предложенное Джеймсом Дер Дерианом: если цель дипломатии состоит в посредничестве, то антидипломатия стремится преодолеть всякое отчуждение. См.: *Der Derian J.* On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement. Oxford: Basil Blackwell, 1987. P. 136; *Idem.* Antidiplomacy: Spies, Terror, Speed, and War. Oxford: Basil Blackwell, 1992.

<sup>2</sup> Этот термин он использует вслед за Славоем Жижекком, см. далее, с. 350.

<sup>3</sup> *Huysmans J.* Op. cit. P. 17—19.

<sup>4</sup> *Палан Р., Блэр Б.* Об идеалистических истоках реалистической теории международных отношений // *Неприкосновенный запас*. 2005. № 5. С. 4—15. Автор благодарит Стефано Гуццини за указание на этот аспект проблемы.

денции характерны для большинства авторов, работающих в реалистической парадигме<sup>1</sup>. Однако описываемое направление российского внешнеполитического дискурса отличается от классического реализма гораздо более последовательная антропоморфизация наций как исторических субъектов и рассмотрение отдельных государств как принципиально отличных друг от друга субъектов международных отношений, различия между которыми определяются фундаментальными, неотъемлемыми культурными особенностями каждой нации. Можно даже утверждать, что в паре «государство — нация» классический реализм уделяет основное внимание государству как «стандартному» субъекту международных отношений, тогда как российские реалисты делают упор на нацию как объект уникальный, неповторимый. Тенденция к интерпретации нации как органического единства характерна, например, для работ Моргентгау об американской политике, однако в собственно теоретических трудах этот основоположник реалистической традиции очевидно придерживается механистической концепции общества. По его мнению, конфликт интересов присущ любому обществу, и если во внутренней политике этот конфликт сдерживается благодаря присутствию суверена, то в международных отношениях неизбежность конфликта делает необходимыми такие механизмы, как равновесие сил и международные организации и союзы<sup>2</sup>. Другие приверженцы реалистической парадигмы еще менее склонны интерпретировать нацию как органическое, самоценное единство. В этом смысле российский дискурс гораздо ближе к романтическому национализму XIX века, нежели к классическому реализму в науке о международных отношениях второй половины XX века. По этой причине автор настоящего исследования счел возмож-

<sup>1</sup> *Isb-Sbalom P.* The Triptych of Realism, Elitism, and Conservatism // *International Studies Review*. Vol. 8. 2006. No. 3. P. 441—468.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 448—452.

ным предложить для этого интеллектуального течения особый термин — «романтический реализм»<sup>1</sup>.

Наиболее последовательно философия романтического реализма разработана в трудах видного консервативного политолога Александра Панарина. В его книгах сочетаются антирационализм и пропаганда «естественности», характерные для философии жизни, и толерантность, забота о сохранении разнообразия, которая напрямую отсылает к постмодернистским течениям в философии. Такое своеобразное сочетание дало основание финским ученым Хейки Патомяки и Кристеру Пурсийнену назвать учение Панарина «постмодернистской версией евразийства»<sup>1</sup>.

Ссылки на постмодерн как эпоху, в которую западная цивилизация дошла до пределов своего развития и начала осмысливать эти пределы, не являются чем-то из ряда вон выходящим для авторов, работающих в парадигме евразийства<sup>3</sup>. Однако при более внимательном рассмотрении нетрудно убедиться, что в современном евразийстве не так уж много нового — его основные положения были сформулированы одним из основателей евразийства Николаем Трубецким еще в начале XX века — и что сходство между современным евразийством и постмодернизмом является чисто формальным. В книге «Европа и человечество» Трубецкой, в частности, утверждает, что космополитизм представляет собой не более чем вариант шовинизма, выдвигающий глобальные притязания<sup>4</sup>. Более

<sup>1</sup> См.: *Morozov V. Resisting Entropy, Discarding Human Rights: Romantic Realism and Securitisation of Identity in Russia // Cooperation and Conflict.* 2002. Vol. 37. No. 4. P. 409—430.

<sup>2</sup> *Patomäki H., Pursiainen C. Western Models and the «Russian Idea»: Beyond «Inside/Outside» in Discourses on Civil Society // Millennium.* Vol. 28. 1999. No. 1. P. 72.

<sup>3</sup> См., например: *Малявин В. В. Россия между Востоком и Западом: третий путь? // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания / Ред. С. В. Чернышев. М.: Аргус, 1995. С. 285—314.*

<sup>4</sup> *Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1920. С. 1—6. О критике классическими ев-*

того, «постмодернистское» евразийство невозможно без телеологического понимания истории в духе Гегеля и без его концепции нации как органического сообщества, которое само реализуется посредством государства.

Так, в отличие от идеологов постмодерна и в полном соответствии с доктриной классического евразийства, современный российский философский консерватизм трактует многообразие как многообразие культур, наций, цивилизаций, но ни в коем случае не как индивидуальное многообразие «внутри» нации. Политика, согласно Панарину, «есть не только процедура утверждения тех или иных групповых интересов или процедура достижения их баланса; она есть, несомненно, и процедура открытия коллективных интересов нации как *единого организма*»<sup>1</sup>. Соответственно, российские консерваторы осуждают западный либерализм как «номиналистическую» парадигму, которая «не видит общего — общих целей, интересов, ценностей»<sup>2</sup>. Их вердикт в отношении Запада гласит: «Доминанта индивидуального интереса соответствует самой нормативно-логической структуре этой цивилизации, основанной на социальном номинализме, на представлении об обществе как сумме суверенных индивидов», преследующих свои узкие интересы и не желающих обращать внимания на задачи общества как целого. Из этого следует риторический вопрос: «Способно ли выжить общество, если его члены сохраняют способность сорганизовываться и преодолевать внутренние и внешние стихии лишь в духе прагматической целерациональности, но уже не способны организовываться вокруг опреде-

разийцами колониализма и других важных аспектах этой идеологии см.: Глебов С. В. Границы империи как границы модерна. Антиколониальная риторика и теория культурных типов в евразийстве // *Ab Imperio*. 2003. № 2. С. 267—291.

<sup>1</sup> Панарин А. С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. М.: Университет, 1999. С. 106—107. — Курсив в оригинале.

<sup>2</sup> Там же. С. 107.

ленных идеалов?»<sup>1</sup> Ответом на него, конечно, является столетней давности пророчество о неизбежной скорой деградации Запада.

Однако даже в состоянии загнивания Запад продолжает нести угрозу остальным цивилизациям. Эта угроза таится в проекте вестернизации, который определяется как «распространение западных ценностей, институтов и образа жизни во всем мире частично в результате товарного и информационно-культурного обмена, частично — в результате западной гегемонии, а также деятельности местных “западников”»<sup>2</sup>. Интересно отметить, что для Панарина точно так же, как и для Айрапетовой, «местные западники» выступают как пятая колонна, разрушающая здоровый общественный организм изнутри. Однако вестернизация опасна не только тем, что ведет к утрате самобытности, но и по причине глобальной энтропии, которая может стать ее результатом:

...Политически и экономически господствующая в мире западная цивилизация работает как редукционистская система, снижающая социокультурное и жизнестроительное разнообразие мира в ходе всепроникающей вестернизации. Само понятие вестернизации предполагает по сути наличие одного-единственного субъекта истории — Запада...

Эта теория не видит проблем, связанных с энтропией, с иссяканием источников человеческой энергии в мире<sup>3</sup>.

Энтропия чревата гибелью всего человечества:

Западный проект технического преобразования и покорения мира явно нуждается в том, чтобы быть скорректированным с позиций, завещанных другими культура-

<sup>1</sup> *Панарин А. С.* Реванш истории. Российская стратегическая инициатива в XXI веке. М.: Логос, 1998. С. 23—24.

<sup>2</sup> *Панарин А. С.* Политология. С. 8.

<sup>3</sup> *Панарин А. С.* Реванш истории. С. 50.

ми и цивилизациями. Следовательно, культурное многообразие — это жизненно необходимый резерв человечества, гарантия от опасной одномерности «прогресса», способного стать самоубийственным<sup>1</sup>.

С другой стороны, угроза энтропии, в сущности, представляет собой угрозу идентичности рассматриваемого сообщества, поскольку смысл истории, по Панарину, «состоит в том, чтобы сохранить идентичность данного субъекта — народа»<sup>2</sup>. Таким образом, перед нами очевидный пример процесса, который может быть описан в терминах «копенгагенской школы» как «секьюритизация идентичности». В рассуждениях об угрозе «вестернизации» идентичность выступает как предмет дискурса безопасности и, таким образом, угроза энтропии преподносится в качестве экзистенциальной угрозы обществу как таковому. Лейтмотив этой речевой практики таков: если Запад преуспее в своем универсальном проекте, общество перестанет существовать. С этой точки зрения неважно, что энтропия не несет в себе физической угрозы отдельным людям, поскольку в качестве угрозы воспринимается возможное исчезновение коллективного «мы»<sup>3</sup>.

Описание вестернизации как энтропии приводит к созданию манихейской картины мира как поля непрерывного «столкновения ценностей Добра и Зла»<sup>4</sup>, в ходе которой силы добра, воплощенные в народах, нациях, цивилизациях, отстаивают свою «историческую свободу», «право на историческое творчество»<sup>5</sup> перед лицом наступающих сил вестернизации, несущих с собой энтропию. В поисках способов защититься от разлагающего влияния вестернизации Панарин обращается к

<sup>1</sup> Панарин А. С. Политология. С. 173.

<sup>2</sup> Панарин А. С. Реванш истории. С. 48.

<sup>3</sup> Ср.: Buzan B., Wæver O., Wilde J. de. Security: a New Framework for Analysis. Boulder, London: Lynnie Rienner, 1998. P. 23.

<sup>4</sup> Панарин А. С. Реванш истории. С. 29.

<sup>5</sup> Там же. С. 30.



идее внутренней консолидации общества, выражая ее через концепцию соборности: «неатомарность, нерасчлененность, соборность»<sup>1</sup> становятся рецептами спасения.

Как видно из только что приведенных цитат, понимание свободы «скорее не как атрибута *индивида*, а как характеристики *политического сообщества*»<sup>2</sup>, которое, как указывает Сергей Прозоров, характерно для «левых консерваторов» начала XXI века<sup>3</sup>, уже в полной мере было сформулировано в постсоветском дискурсе их предшественниками из лагеря романтических реалистов. Сам образ России как органического («соборного») единства, в котором индивидуальное существование обретает полноту только через причастность к сообществу, конечно, намного старше: заимствование понятия соборности из православной религиозной философии и внедрение в политическую дискуссию — заслуга славянофилов XIX века, в особенности Алексея Хомякова<sup>4</sup>. Подобное истолкование отношения между индивидом и сообществом характерно для традиционного общества, для эпохи преמודерна, однако оно прекрасно сочетается с некоторыми вариантами национализма — основной когнитивной системы Нового времени. В частности, в трудах Панарина и других российских

<sup>1</sup> Там же. С. 37.

<sup>2</sup> *Prozorov S.* Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // *Journal of Political Ideologies*. Vol. 10. 2005. No. 2. P. 128.

<sup>3</sup> Прозоров ссылается на «Меморандум Серафимовского клуба», основанного группой интеллектуалов «для обсуждения ключевых вопросов жизни страны». К сожалению, в настоящее время в Интернете доступна лишь сокращенная версия документа: *Леонтьев М., Привалов А., Соколов М., Фадеев В.* Меморандум Серафимовского клуба // *ИА Regnum*. 2003. 14 января. <http://www.regnum.ru/allnews/80279.html>.

<sup>4</sup> *Бердяев Н.А.* Русская идея // Мыслители русского зарубежья: Бердяев, Федотов / Сост. и отв. ред. А. Ф. Замалеев. СПб.: Наука (Санкт-Петербургское отделение), 1992. С. 178—181; *Есаулов И.А.* Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1995.

авторов, работающих в той же традиции, именно нация выступает в качестве экзистенциальной основы индивидуального бытия, естественного и необходимого сообщества, определяющего первичную, наиболее фундаментальную идентичность каждого своего члена.

Один из выводов, к которым неизбежно приводит мышление в духе соборности, является идея коллективной ответственности группы за поступки своих членов и вытекающее отсюда право требовать от них подчинения групповым нормам и правилам, лояльности по отношению к группе. В вышеприведенных цитатах правозащитники и прочие «местные западники» рассматриваются как враждебная пятая колонна именно потому, что нарушают групповую солидарность, позволяют себе апеллировать к внешним силам, критикуя решения и действия, которые для большинства представителей нации являются выражением коллективной воли последней. Правозащитники позволяют себе претендовать на идентичность, отличную от национальной (в терминах Трубецкого ее можно было бы назвать космополитической идентичностью, поскольку она опирается на такой конструкт глобального дискурса, как общечеловеческие ценности), что с точки зрения традиции романтического реализма равнозначно циничной самоидентификации с силами абсолютного Зла, разрушающего национальные сообщества как снаружи, так и изнутри. Более того, они признают право внешних сил судить — и осуждать — решения, являющиеся коллективной волей нации, и тем самым дают силам Зла дополнительные козыри в борьбе с Добром. Поскольку национальная идентичность в этой модели мышления заведомо преобладает над остальными, осуждение действий представителей Российского государства в Чечне немедленно распространяется на всех россиян и дает Западу оправдание для его политики, в конечном итоге направленной на разрушение России именем «космополитической морали»: «А мы с вами, россияне, кем были в этой злощастной чеченской войне? По логике НАТО, нас нужно было

уничтожить вместе с Борисом Ельциным только за то, что мы его избрали»<sup>1</sup>.

В свете примата национальной идентичности *индивидуальная* свобода, многообразие *внутри* сообщества становятся угрозой, инструментом абсолютного Зла в его попытках морально подорвать и сокрушить абсолютное Добро<sup>2</sup>. Согласно большинству сторонников романтического реализма, ценностями либерального индивидуализма, включая демократию и права человека, можно и нужно пожертвовать во имя сохранения национальной идентичности. С одной стороны, эти нормы не существуют в реальности, будучи не более чем идеологическим прикрытием западного гегемонизма, и задача состоит лишь в том, чтобы вернуться из мира идеологии в мир реальной политики. С другой стороны, эта идеология все же реальна в том смысле, что она используется Западом для подрыва внутреннего единства незападных сообществ, позволяет Соединенным Штатам как единственной сверхдержаве «легализовать ее вмешательства в дела других государств и даже придать им форму гуманистической “заботы” о других»<sup>3</sup>. Поэтому мало отказаться от ложной идеологии прав человека — ей нужно оказывать сознательное сопротивление. Не возражая против проявлений «симпатии» к жертвам нарушений прав человека во всем мире, Панарин тем не менее настаивает на характеристике всех попыток Запада защитить этих людей как политики двойного стандарта<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> *Замятина Т.* Окститесь, какие права человека? // Независимая газета. 1999. 28 мая.

<sup>2</sup> По мнению Сергея Прозорова, в трудах «левых консерваторов» начала XXI века примат свободы на уровне сообщества не означает отрицания свободы индивидуальной: *Prozorov S.* Op. cit. P. 141. Это доказывает, что романтический реализм является более радикальной и последовательной дискурсивной позицией, тогда как более поздние консервативные артикуляции занимают промежуточное положение между романтическим реализмом и официальной позицией государства, в 2001—2004 годах гораздо более умеренной.

<sup>3</sup> *Панарин А. С.* Политология. С. 180.

<sup>4</sup> Там же. С. 181.

Не приходится сомневаться в том, что произведения Панарина представляют собой гораздо более фундаментальные философские труды, нежели прочие обсуждаемые в данной главе тексты, носящие преимущественно аналитический и публицистический характер. Можно было бы даже предположить, что единственной точкой соприкосновения консервативной философии Панарина с романтическим реализмом является их взгляд на природу субъектности в истории — гегельянские представления о том, что историю делают народы, нации, цивилизации, но не отдельные индивиды. «Постмодернистское евразийство» Панарина можно было бы в таком случае охарактеризовать как открыто идеалистическое, спиритуалистическое учение, которое интерпретирует политику как результат борьбы между абсолютным Добром и абсолютным Злом. Такой подход, в отличие от романтического реализма, оставлял бы место для искренней идеалистической мотивации даже со стороны представителей сил Зла: в самом деле, можно искренне верить во всеобщность либеральных ценностей и, действуя соответствующим образом, способствовать распространению в мире энтропии. Однако некоторые высказывания Панарина не оставляют сомнений в том, что разоблачение Запада остается для него одной из первоочередных задач. Неспособность западных либералов осознать важность общего блага, пишет Панарин,

...ни в коем случае не значит, что западные либералы не умеют защищать свои национальные государственные интересы. Здесь, как и во многих других случаях, действуют приемы двойного стандарта: себе разрешается то, что объявляется предосудительным и нетерпимым применительно к другим... Словом, западные «хозяева» теории, как и положено хозяевам, ведут себя по отношению к ней с большей творческой свободой и раскованностью. Наши же адепты чужих теорий испытывают комплекс неполноценности, постоянно боятся провиниться и получить плохой балл<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Панарин А. С. Политология. С. 108.

Можно было бы задаться вопросом, не является ли эта цитата чуждым, случайным элементом для философии Панарина, однако с позиций данного исследования такого рода оговорки никак нельзя признать случайными. Тот факт, что Панарин постоянно подчеркивает «двойные стандарты» в подходах Запада<sup>1</sup>, свидетельствует о его категорическом нежелании допустить, даже в виде гипотезы, что западные либеральные политики могут быть хоть сколько-нибудь искренними сторонниками демократии, прав человека и прочих либеральных ценностей. Как уже отмечалось, он также старательно воспроизводит образ «пятой колонны», изображая членов «либерального интернационала» в незападных странах в виде «все более беспринципных и беззастенчивых пропагандистов американской миссии, упрямо игнорирующих свидетельства имперских устремлений сверхдержавы, которой они взяли служить»<sup>2</sup>.

По всей видимости, Панарин даже готов пожертвовать логической последовательностью своей интерпретации мировой политики: в самом деле, если западные политики хорошо справляются с задачей защиты *своих* национальных интересов, это не может не означать, что, по крайней мере в этом аспекте, они действуют на стороне Добра, а не Зла, укрепляя собственную национальную культуру и тем самым сопротивляясь энтропии. Эта непоследовательность, в свою очередь, свидетельствует о том, что для Панарина, так же как и для романтических реалистов, порочность Запада является точкой отсчета в рассуждениях, аксиомой, которая не нуждается в доказательствах, тогда как описываемая в апокалипсических тонах энтропия означает не более чем «их» победу над «нами», которую Панарин — как и большинство радикальных националистов — изображает как победу абсолютного зла над абсолютным добром. Поэтому можно утверждать, что работы Па-

<sup>1</sup> Там же. С. 108, 177—181 и др.

<sup>2</sup> Там же. С. 181.

нарина являются не более и не менее чем частью все того же дискурса романтического реализма, с его презумпцией цинизма и стремлением представить нацию как единственную легитимную форму политического объединения. Если сформулировать ту же мысль иначе, мы видим, что дискурс романтического реализма, с его национальной ограниченностью, оказывается сильнее попыток Панарина выстроить подлинно универсальную философскую модель.

Понимание природы романтического реализма и причин его доминирования в российской науке о международных отношениях невозможно, если интерпретировать его лишь как идеологию, более или менее сознательно выбираемую конкретным исследователем. Романтический реализм следует также интерпретировать как артикуляционную практику, результатом функционирования которой является не только фиксация означающих в дискурсе вокруг узлового пункта нации, но и когнитивная модель, пытающаяся устранить дислокацию. Для гегемонической артикуляции, которая строится вокруг идеи суверенитета нации как естественного, априорного сообщества, которое политически реализует себя через государство, любое проявление нелояльности к нации, любой политический акт, который мотивирован интересами, отличными от национальных, несет в себе огромный подрывной потенциал. Даже одно только предположение о том, что Косовская кампания НАТО или критика российских действий в Чечне могли быть мотивированы чем угодно, кроме национальных интересов (выраженных в геополитических, экономических или каких угодно других терминах), само по себе уже предполагает наличие альтернативных по отношению к нации центров политической идентификации и тем самым ставит под сомнение возможность становления нации как замкнутой и самодостаточной структуры. Такое предположение подрывает четкое деление на внутреннюю политику различий (где возможны разногласия и даже конфликты) и внешнюю политику эквивалентности (внешний мир предстает как чистое отрицание

мира внутреннего, и перед лицом этого отрицания внутренние различия стираются: «политики могут спорить о чем угодно, но как только речь заходит о национальных интересах, все мгновенно сплачиваются, различаясь лишь в методах, но не в целях»<sup>1</sup>). Тем более опасной для подобного гегемонического проекта оказывается «пятая колонна» — агенты, которые по формальным признакам относятся к своим, к внутреннему миру, но позволяют себе проявлять солидарность с позицией, которая идентифицируется как внешняя. Структурная позиция, занимаемая правозащитниками в дискурсе романтического реализма, соответствует «партизану» у Шмитта или «призраку» у Деррида: «он “преследует” любую попытку четкого противопоставления, воплощая все, что в него не вписывается, вновь и вновь возрождаясь из той частицы иного, которую не удастся окончательно эвакуировать вовне, приписать внешнему врагу» — так обобщает ее значение Артемий Магун. «Партизан, с точки зрения Деррида, не только историческая, но логическая фигура — фигура внутренней границы, неустранимой негативности, которая смещает и “деконструирует” логические противоположности», и тем самым «фигура партизана имманентно заложена в самой “классической” оппозиции друг/враг»<sup>2</sup>. Логическая неизбежность фигуры партизана, однако, отнюдь не означает, что ее проявления не вызывают ответного насилия со стороны структуры: в самом деле, отношение к правозащитному движению в России является одним из характерных примеров такого дискурсивного (и не только) насилия.

Одним из инструментов «изгнания призраков», широко используемых в рамках господствующих артикуляционных

<sup>1</sup> *Нарочницкая Н.А.* Завоевательная похоть // Эксперт. 2002. 18 февраля. С. 56.

<sup>2</sup> *Магун А.В.* Новый строй Земли. Карл Шмитт как диагност современного кризиса в мировой политике // Полис. 2003. № 2. С. 115. См.: *Шмитт К.* Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического. М.: Праксис, 2007; *Derrida J.* Politics of Friendship. London; New York: Verso, 1997.

практик, становится сарказм. Аргумент, что главной целью вмешательства НАТО на Балканах была защита албанского населения от геноцида, подвергся почти единодушному осмеянию со стороны российских средств массовой информации, ученых и политиков. Один из немногих призывов к более взвешенной оценке событий со стороны Бориса Орлова, опубликованный в «Независимой газете», был снабжен едким редакционным комментарием и с явной неприязнью встречен другими представителями научного сообщества. Интересно отметить, что Орлов вовсе не оправдывал «беспардонных бомбардировок суверенной страны» — он всего-навсего советовал с пониманием отнестись к позиции западных лидеров, говоря, что и Запад, и Россия «оказались в одной ловушке», столкнувшись «с совокупностью проблем, на которые демократическое сообщество в мире не знает эффективного, убедительного и, что самое существенное, нравственного ответа»<sup>1</sup>. Орлова немедленно обвинили в наивной вере в добродетельность западных политиков: «Окститесь, кому нужны эти несчастные албанцы?.. Здесь решаются проблемы геополитики, сфер влияния, расширения НАТО, укрощения Европы и России. Как в здравом уме можно верить, что здесь кто-то защищает главную ценность либеральной демократии — права человека?» — восклицала корреспондент ИТАР-ТАСС в Югославии Тамара Замятина. Чтобы окончательно превратить торжественные декларации лидеров НАТО в посмешище, она вспоминает об интриге вокруг отношений президента Клинтона и Моника Левински: «...Билл захотел доказать Хиллари, что он способен не только на оральный секс с практиканткой... но и на инициирование событий мирового значения»<sup>2</sup>.

Важно обратить внимание на уничижительную форму, в которую облечены возражения Замятиной: очевидно, что язык

<sup>1</sup> Орлов Б. С. Почему «НГ» против НАТО? // НГ— Особая папка. 1999. 23 апреля.

<sup>2</sup> Замятина Т. Окститесь, какие права человека?



здесь призван подчеркнуть несерьезность любого разговора об искренности западных политиков. Эта дискурсивная практика «отбрасывания» моральных доводов западных политиков как пустого притворства оказалась удивительно эффективным инструментом вытеснения «прозападной» аргументации за пределы логики понятного. Даже авторы, склонные критически оценивать политику президента Милошевича и действия российского правительства в Чечне с позиций либеральных ценностей и общечеловеческой морали, принимают как данность преобладание скрытых корыстных мотивов в Косовской кампании НАТО. Например, Ида Куклина повторяет как самоочевидные вещи предлагаемые романтическими реалистами клише о войне в Косово, которая, по ее мнению, продемонстрировала, что «даже для самых сильных и, казалось бы, демократических государств защита прав человека вне своих границ может служить способом прямого достижения чисто политических целей, экспансии своего влияния», что «реализация военно-политических задач лишь прикрывается принципами Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека»<sup>1</sup>.

Было бы неверно, однако, интерпретировать артикуляционную практику романтического реализма всего лишь как продукт сознательного конструирования, сутобо рационального поиска слабых мест в либеральной идеологии и соответствующего подбора аргументации. Разумеется, рациональное построение аргументации имеет место в любой политической и научной дискуссии, но при этом любая аргументация, как правило, опирается на умолчания, укорененные в глубинных слоях дискурсивной структуры данного сообщества. Безусловно, саркастическое неприятие доводов либералов во многом является наследием советского вульгарного марксизма, который требовал от исследователей разоблачения «реальных»,

<sup>1</sup> Куклина И. Н. Права человека: политическое и гуманитарное изменение // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 11. С. 23.

«материальных» (т. е. экономических) интересов, определяющих любой политический шаг. Преодоление этого редуционистского наследия оказалось весьма сложной задачей: большинство российских ученых склонны настаивать на том, что объяснить политическое явление означает сорвать с него покров идеологии и выявить его «реальные» причины. Однако смысл понятия «реального» оказался несколько размыт после крушения вульгарно-марксистской монополии: геополитические объяснения, которые и в советское время были де-факто весьма популярными, несмотря на официальное осуждение геополитики как «лженауки», сегодня оказались самодостаточными, поскольку отпала необходимость редуцировать их к экономическим, классовым интересам.

Однако можно показать, что на некотором более абстрактном уровне основные тенденции и противоречия романтического реализма являются отражением глубинных структур мышления Нового времени, в котором противоречиво сочетаются рационалистическое наследие Просвещения, античная философская традиция и средневековые религиозно-этические конструкты. Более прагматически настроенные авторы склонны в своих интерпретациях действительности ограничиваться пределами рационализма, который исходит из предпосылки единства реальности, истолковывает все наблюдаемые явления как посюсторонние (в данном случае неважно даже, предстают ли они как сугубо материальные или как проявление единства материи и духа в гегелевском варианте — «все действительное разумно»)<sup>1</sup>. Мало кто из российских авторов легко согласился бы со словами Пьера Бурдьё о том, что «чистая модель рационального действия может рассматриваться лишь как *антропологическое описание* практики»<sup>2</sup>, причем

<sup>1</sup> *Laclau E.* New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990. P. 75.

<sup>2</sup> *Бурдьё П.* Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. С. 123. См. также: *Weber M.* Economy and Society. Vol. 1. Berkeley: University of California Press, 1978. P. 5—7.

описание, как правило, неадекватное. Представление о рациональном агенте господствует как в политическом, так и в научном дискурсе, и его единственной альтернативой остается вульгарно-марксистский экономический детерминизм. В рамках такого «дуалистического видения, признающего либо только прозрачные для самосознания акты, либо только вещи, детерминированные извне»<sup>1</sup>, чаще всего экономически, любые явления и события, не вписывающиеся в рационалистическую парадигму (и тем самым порождающие дислокацию базовых структур модерна), могут быть «укрощены» либо путем реификации культурных особенностей, либо благодаря классификации «отклонений» как проявлений коррупции, т. е. случайных отступлений от общей закономерности, свидетельствующих о «дефектах» системы<sup>2</sup>. В первом случае в качестве объяснения политических событий появляются, например, ссылки на культурно обусловленные различия в понимании прав человека на Западе и в России. Во втором случае мы имеем дело с попытками рационализации действий администрации президента Клинтона посредством ссылок на его личные мотивы (желание замять скандал вокруг истории с Моникой Левински, повлекшее за собой сначала воздушные удары по Ираку, а затем Косовскую кампанию)<sup>3</sup>. Сюда же можно отнести и указания на «двойные стандарты» при интерпретации прав человека запад-

<sup>1</sup> Бурдые П. Указ. соч. С. 110.

<sup>2</sup> Как отмечает Э. Лаклау, представление о внутренне присущей всем политическим формам коррупции, внутреннем разложении, ведущем к их неизбежному упадку и исчезновению в циклическом движении истории, было характерным именно для античности способом концептуализации дислокации: *Laclau E.* Op. cit. P. 72. В силу общей значимости античного наследия для современной политической мысли присутствие этой формы в современном дискурсе вполне закономерно.

<sup>3</sup> Кроме уже указанной статьи Тамары Замятиной, см., например: *Головков А.* Мадам «Бульдозер» // Независимая газета. 1999. 3 апреля; *Максимишин С.* Мировая война. Эпицентры // Известия. 2001. 20 октября; *Черных А.* Цена вопроса // Коммерсант. 2004. 16 февраля.

ными политиками<sup>1</sup>, и объяснения иракской войны 2003 года либо как результата деятельности военно-промышленного лобби, либо как следствия попытки администрации Буша ускорить темпы роста путем увеличения оборонных расходов<sup>2</sup>.

И указания на культурную специфику, и фигура коррупции, по существу, уже представляют собой отступление с позиций рационализма Нового времени, так как допускают, что значимые события и явления имеют непознаваемую, случайную природу. Так, разногласия между Россией и странами НАТО в оценке конфликта вокруг Косово объясняются либо как следствие метафизических культурных различий, которые доступны нам лишь в своих внешних, не поддающихся систематизации проявлениях, либо через указания на случайную, иррациональную природу решения о начале бомбардировок. Однако по мере того как возрастает степень дислокации, смыслового смещения в структуре, вызываемого необходимостью рационализировать все более широкие сферы реальности ссылками на действие случайных отклонений, неадекватность модели рационального действия становится все более очевидной. Единственным выходом из этого тупика становится концептуализация источника дислокации как чистого отрицания, которая осуществляется в рамках средневековой иудео-христианской

<sup>1</sup> Понятие «двойных стандартов» подразумевает не просто разночтения в интерпретации правозащитной доктрины, а те или иные корыстные мотивы действий западных политиков, которые они прикрывают ссылками на права человека и другие демократические нормы. См., например: *Матвеева Т.Д.* О двойном стандарте в международном праве // *Международная жизнь.* 1999. № 12. С. 80—86.

<sup>2</sup> Последний случай также следует интерпретировать как пример коррупции, поскольку война здесь является результатом неспособности администрации обеспечить экономический подъем «мирными» средствами. Различные точки зрения по этому вопросу см., например, в следующих публикациях: *Павлович Г.* Удар по антитеррористической коалиции // *Независимая газета.* 2003. 12 февраля; *Никонов А.* В Ираке воюют за интересы россиян // *Новая газета.* 2003. 7 апреля; *Бовин А.* Ирак: бить или не бить? // *Независимая газета.* 2003. 27 февраля.

модели. В результате смены парадигмы вместо коррупции как проявления случайного в необходимом мы наблюдаем результаты вмешательства враждебных сил, проявление абсолютно-го зла<sup>1</sup> — таковы ссылки на «дух насилия», характерный для романо-германского типа, на природный экспансионизм Запада и т. п. В рамках этой дискурсивной формы происходит вытеснение порождающих дислокацию идентичностей и практик за пределы политического сообщества. Случайные культурные различия реинтерпретируются как необходимые границы сообщества, отражающие бинарную логику противостояния абсолютной позитивности и абсолютного же отрицания. Любой альтернативный вариант артикуляции, угрожающий подорвать гегемонию национального дискурса, немедленно классифицируется как проявление антагонистических сил и тем самым выводится за рамки обсуждения в сферу чистой негации: так возникает образ враждебной «пятой колонны», стремящейся разрушить сообщество изнутри. Эта артикуляционная практика оказывается чрезвычайно эффективным средством борьбы против дислокации, однако она способна функционировать лишь в условиях крайнего популистского антагонизма: любое размывание границ, любое проявление различий перед лицом чистого отрицания становится для нее губительным, ибо между абсолютным добром и абсолютным злом не может быть компромиссов. Неудивительно поэтому, что в полной мере этот дискурс проявляется в маргинальных политических программах и в академических текстах, авторы которых, подобно Александру Панарину, стремятся достичь максимальной логической последовательности. Но даже и они, как мы видели, последовательны не во всем, а в политических текстах, испытывающих мощное влияние других артикуляционных практик, непоследовательность и двусмысленность становится скорее нормой, чем исключением. Их авторы не рискуют полностью отказаться от ориентации на такие узловые

<sup>1</sup> *Laclau E.* Op. cit. P. 73.

пункты, как демократия и мировое сообщество, они не готовы расстаться с рационализмом Нового времени и принять религиозную модель борьбы добра со злом. Структурная дислокация, невозможность полного замыкания сообщества и изгнания несогласных идентичностей во внешний мир остается не только теоретически неизбежным, но и эмпирически очевидным фактором российской дискурсивной реальности.

### § 3.2. Романтический реализм и секьюритизация идентичности

Нетрудно заметить, что социальная продуктивность романтического реализма как дискурса в огромной степени зависит от монопольного положения нации в качестве единственно возможного, подлинного и естественного политического сообщества. До тех пор пока эта монополия не подвергается сомнению, и идентичность субъекта любого высказывания оценивается с точки его национальной принадлежности, работает логика эквивалентности (особенно конструкт «пятой колонны») и государство в рамках нации как структуры остается центром, избегающим структурирования. Характерно, что альтернативные артикуляционные практики часто состояли именно в попытках разрушить логику эквивалентности, дифференцировать означаемые и таким образом предложить иные основания для идентичности, подорвать монополию нации в качестве первичной основы идентификации субъектов высказывания и аудитории. В частности, депутат Государственной думы Сергей Юшенков воспроизводит образ внутреннего Иного, хорошо знакомый по политическим дебатам конца 1980-х — первой половины 1990-х годов. «Левопатриотическое думское большинство», «ястребы» и коррупционеры, говорит Юшенков, преследуя эфемерные цели великодержавности, «...пытаются убедить [нас], что и сегодня Россию окружают враги, что НАТО вынашивает захватнические планы», с тем чтобы добиться по-

вышения военных расходов<sup>1</sup>. Попытку реструктуризации общества на основе альтернативной идентичности путем введения новых различий предпринимает и журналист Дмитрий Бабич, когда он пишет по поводу приостановки права голоса российской делегации в ПАСЕ: «Из Европы исключили Жириновского и Рогозина, а не нас. И, по-моему, исключили справедливо»<sup>2</sup>. Популистскому антагонизму, таким образом, приходится сталкиваться с постоянно наличным вызовом со стороны демократической политики. Одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения гегемонии популистской артикуляции оказывается секьюритизация идентичности.

Чтобы противостоять подобным попыткам деконструкции нации как безальтернативной замкнутой структуры, необходимы более эффективные практики, нежели простое воспроизводство границ сообщества. Такой практикой в господствующем российском внешнеполитическом дискурсе является секьюритизация национальной идентичности.

Секьюритизация идентичности уже была отмечена нами на примере работ Панарина, когда он пишет об энтропии как угрозе существованию наций и предлагает искать средство против этой угрозы в соборном единении. Работы отечественных ученых-международников изобилуют подобного рода рекомендациями: «...Стратегическое условие устойчивости страны — **выявление и сохранение общественной идентичности**, важнейшей составляющей которой является самоидентификация общества как некоторого целого, отделенного от остального мира», — утверждает Михаил Делягин<sup>3</sup>. И. К. Харичкин следующим образом интерпретирует понятие национальной безопасности: «Активное насаждение ценностей западной ци-

<sup>1</sup> Юшенков С. «Денег у армии достаточно» // Московские новости. 1999. 6 апреля.

<sup>2</sup> Бабич Д. Кто представляет нас в Европе? // Московские новости. 2000. 11 апреля.

<sup>3</sup> Делягин М. Г. Указ. соч. С. 59. — Выделено в оригинале.

визации... способно серьезно затормозить развитие национального самосознания российских граждан и представляет собой угрозу национальной безопасности России как самодостаточно[го] государств[а], отдельной высочайшей цивилизации»<sup>1</sup>. В классической науке о международных отношениях термин «национальная безопасность» относится к государству и предполагает его защищенность перед лицом внешних угроз. Однако в интерпретации Харичкина референтом понятия безопасности становится именно национальная идентичность, самоопределение России как «самодостаточной», «отдельной» цивилизации, и границы, отделяющие ее от остального мира, приобретают критическое значение.

Практика секьюритизации, основанная на противопоставлении между Россией и враждебным внешним миром, очевидна и в дискуссиях о многих других проблемах, так или иначе затрагивающих принципы современной либеральной демократии. Так, согласно авторам открытого письма президенту Путину, опубликованного в марте 2002 года, в результате моратория на смертную казнь, введенного «вопреки воле народа и в угоду политическим требованиям Запада», «преступность достигла сегодня такого размаха, что она реально угрожает выживанию и самому существованию России»<sup>2</sup>. Николай Козин в статье, опубликованной уже в 2007 году, отождествляет Запад с глобализмом: по его мнению, западный «либеральный разум» «выражается в стремлении... устранить все коллективные сущности, способные поднять людей из социально атомизированного существования к ценностям социально солидарного существования»<sup>3</sup>. Как считает автор, в глобальном конфликте между западной и исламской цивилизациями инициатива ис-

<sup>1</sup> Харичкин И. К. Политическая элита и ее роль в обеспечении национальной безопасности России. М.: МВИ, 1999. С. 86.

<sup>2</sup> Цит. по: Феофанов Ю. Приглашение на казнь // Известия. 2002. 21 марта.

<sup>3</sup> Козин Н. Г. Вызов или ответ исламу? // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 28.



ходит именно от Запада, стремящегося «под завесой либеральных лозунгов демократии и свободы осуществить если не слом, то далеко идущую эрозию исламского духовного и культурного идентитета»<sup>1</sup>. Симпатии Козина оказываются на стороне ислама, поскольку «свобода и креативные формы исторической активности на основе ценностей национальной идентичности — это одно, а на основе их слома — это нечто совершенно другое»<sup>2</sup>. Во всех приведенных высказываниях присутствуют важнейшие атрибуты секьюритизации: указание на угрозу, точку невозвращения и — в явной или подразумеваемой форме — чрезвычайные меры противодействия. Столь же очевидна здесь и работа логики эквивалентности, приписывающей все внутренние различия подрывной деятельности враждебного Иного.

Безопасность имеет ключевое значение в рамках этого дискурса как понятие, структурирующее «крайне аморфное мироздание» эпохи после окончания холодной войны в полном соответствии с формулировкой Оле Вэвера: «Мы еще ничего не знаем ни о проблемах, ни об угрозах, — их еще предстоит определить с помощью дискурса безопасности; мы знаем лишь форму — безопасность»<sup>3</sup>. Природа сообщества, конституирующегося в противостоянии Западу, предопределяет характер проблем и угроз. Антропоморфизация коллективных субъектов как единственных творцов мировой истории, приписывание им сознания и целеполагания делают неизбежным понимание мира в духе социал-дарвинизма как арены игры с нулевой суммой, в которой нации борются друг с другом за мировое господство. В современном мире, который все больше становится «постнациональным» в том смысле, что в нем начинают преобладать новые формы персональной самоидентификации, альтернативные национальной идентичности, последняя неизбежно становится референтом дискурса безопасности.

<sup>1</sup> Там же. С. 30.

<sup>2</sup> Там же. С. 33.

<sup>3</sup> *Wæver O. Securitization and Desecuritization // On Security / Ed. by R. D. Lipschutz. New York: Columbia University Press, 1995. P. 75.*

С определенной точки зрения практика секьюритизации идентичности представляет собой одну из форм явления, которое Славой Жижек называет «дезаурированием политического» и которое осуществляется в соответствии с логикой «ультраполитики», характерной для Карла Шмитта. Это «попытка деполитизировать конфликт путем доведения его до крайности, путем прямой милитаризации политики»<sup>1</sup>. Постулирование наличия экзистенциальной внешней угрозы приводит к выводу о необходимости внутренней консолидации сообщества. Консолидация как артикуляционная практика — это аналог «соборности», уже обсуждавшейся нами в связи с трудами Панарина, но без очевидных религиозных коннотаций. Само понятие консолидации является неотъемлемым элементом процедуры секьюритизации, так как она подается в качестве средства защиты от угроз идентичности сообщества. Как нельзя более подходящей иллюстрацией этого тезиса является попытка разработать научное определение термина, предпринятая политологом Михаилом Руткевичем, который — если читать его работу буквально — использует системный подход и определяет консолидацию как противоположность деградации системы. Характерно, однако, что одновременно он воспроизводит дискурс безопасности, описывая как угрозы «открытые границы» и демографический спад в рядах «государствообразующей русской нации»<sup>2</sup>, т. е. среди этнических русских. Перед нами очевидный пример секьюритизации идентичности, на этот раз с сильным уклоном в сторону этнического национализма, при котором физическая открытость границ интерпретируется как угроза биологической чистоте

<sup>1</sup> *Žižek S. Carl Schmitt in the Age of Post-Politics // The Challenge of Carl Schmitt / Ed. by C. Mouffe. London: Verso, 1999. P. 29.*

<sup>2</sup> *Руткевич М. Н. Консолидация общества и социальные противоречия // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 25, 27. По поводу угроз существованию «русской нации» см. также: Руткевич М. Н. О судьбах русского этноса // Свободная мысль — XXI. 2004. № 1. С. 56—63.*

группы. Кроме того, угроза усиливается вследствие наличия «социальных противоречий» и неэффективности государственных институтов. Консолидация, в свою очередь, фактически означает для Руткевича, так же как и для других близких ему по духу авторов, преодоление внутренних противоречий и усиление государства. Когда «наша» идентичность находится под угрозой, «мы» должны забыть о разногласиях внутри «нашего» сообщества и, возможно, даже пожертвовать индивидуальными интересами каждого из «нас» ради высокой цели — сохранения в неприкосновенности идентичности этого «мы».

Если вновь использовать терминологию Жижека, консолидация представляет собой вариант «археполитики» — «коммунитаристскую» попытку определить традиционное, закрытое, органически структурированное гомогенное социальное пространство, не допускающее пустоты, в которой могло бы появиться политическое событие-момент<sup>1</sup>, — или, в терминах Лаклау и Муф, популистское политическое пространство, не допускающее проникновения демократической политики. При этом архе- и ультраполитика составляют «два лица традиционалистской позиции»<sup>2</sup>: они взаимно обуславливают и дополняют друг друга, поскольку интенсификация антагонизма по отношению к внешнему миру предполагает распространение отношений эквивалентности внутри сообщества, и наоборот. В результате антагонизм, имеющий конституирующее значение для политического, вытесняется вовне, сводится к популистскому противопоставлению между «своими» и «чужими», что в конечном итоге приводит к исчезновению пространства неразрешимости и дезавуированию политического<sup>3</sup>.

Харичкин настаивает на том, что консолидация общества необходима для выживания России. Это, как ни парадоксально, приводит его к положительной оценке событий в Югосла-

<sup>1</sup> Žižek S. Op. cit. P. 28.

<sup>2</sup> Ibid. P. 29.

<sup>3</sup> Ibid. P. 27.

вии — не потому, конечно, что он сколько-нибудь склонен соглашаться с целями НАТО, а по той причине, что военные действия на Балканах «создали предпосылки объединения [российского общества] вокруг идеи осуждения США и их союзников»<sup>1</sup>. Этот пример особенно показателен для прояснения причин, по которым геополитика в России была столь популярна уже в 1990-е годы: в самом деле, тогда (а при трезвом размышлении и сейчас) трудно было бы не согласиться с утверждением Дмитрия Тренина, что «традиционная геополитика представляет собой поле, на котором России сейчас играть крайне трудно, а выигрывать — тем более»<sup>2</sup>. Однако артикуляционная практика, нацеленная на секьюритизацию идентичности, не нуждается в победах на геополитическом поле — наоборот, чем более интенсивной представляется угроза, тем легче постулировать необходимость «консолидации общества».

Владимир Кружков намекает на возможные средства достижения такой консолидации, фактически предлагая апологию авторитаризма:

Будучи внедренными в государственный организм, элементы либерализма способны привести к серьезным социальным и политическим катаклизмам. Злоупотребить свободой могут как криминальные группы, так и зарубежные агрессивные силы... Поэтому инстинкт самосохранения может потребовать от государственного руководства отойти от предлагаемых более сильной стороной «правил игры» и ограничить на определенное время отдельные права и свободы<sup>3</sup>.

В 2002 году первый заместитель председателя Совета Федерации Валерий Горегляд следующим образом формулирует

<sup>1</sup> Харичкин И.К. Указ. соч. С. 207.

<sup>2</sup> Тренин Д.В. Балтийский шанс. Страны Балтии, Россия и Запад в складывающейся Большой Европе. М.: Московский центр Карнеги, 1997. С. 36.

<sup>3</sup> Кружков В.А. Югославский прецедент опасен для мира // Международная жизнь. 1999. № 10. С. 27.

свое видение обязанностей государства по защите национальной идентичности: «Когда под угрозу попадают те или иные отрасли народного хозяйства — наступает время таможенного протекционизма. Когда под угрозой национальное самосознание — приходит время протекционизма культурного»<sup>1</sup>. Причем под «культурным протекционизмом» в данном случае подразумевается защита населения России от западного религиозного влияния и забота о сохранении доминирующего положения Русской православной церкви.

Интересно отметить, что идеологи «консолидации» фактически описывают российскую нацию как меньшинство в некоем глобальном социуме и, исходя из императива сохранения культурной идентичности этого меньшинства, настаивают на его праве ограничивать внутренние права и свободы для своих членов. Существует практически полная структурная аналогия между аргументами Кружкова, Харичкина, Горегляда и описываемой признанным теоретиком мультикультурализма Уилом Кимликой эксплуатацией принципов толерантности со стороны антилиберальных идеологов групповых прав<sup>2</sup>. Кимлика убедительно показывает, что подобного рода требования диаметрально противоположны основным принципам либерализма и основанной на них теории прав человека «третьего поколения». По свидетельству Сергея Прозорова, «левые консерваторы», пыгавшиеся в 2003—2004 годах сформулировать радикальный вызов идеологии стабилизации, также настаивали на «нередуцируемом плюрализме всех культур и форм знания, *за исключением* тех, которые претендуют на универсальность, независимость от контекста или мультикультурность»<sup>3</sup>.

Довольно неожиданный вывод из приведенных здесь наблюдений состоит в том, что российский романтический ре-

<sup>1</sup> Горегляд В. П. Россия — римская провинция? // Независимая газета. 2002. 19 марта.

<sup>2</sup> *Kymlicka W.* Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995. См. в особенности гл. 8, с. 152—172.

<sup>3</sup> *Prozorov S.* Op. cit. P. 131.

ализм находится гораздо ближе к гегельянским истокам реалистической парадигмы, нежели реализм в англо-американской науке о международных отношениях. Палан и Блэр подчеркивают:

[Органическая теория государства] ...не только приписывает государству неотъемлемо присущую ему волю, но и обуславливает подчинение внутренних политических разногласий этой воле... Предполагается, что государство способно умирять узкие интересы и таким образом поддерживать гомеостаз, поскольку отдельные граждане способны видеть в нем высший идеал.<sup>1</sup>

Несомненно, Александр Панарин призывает именно к этому, и именно таково идеальное соотношение частных и коллективных интересов в свете противопоставления внутренней и внешней политики для Наталии Нарочницкой, когда она утверждает, что любое «нормальное» общество автоматически консолидируется вокруг национальных интересов. Последнее понятие вновь предстает здесь как узловой пункт дискурса, структурирующий его вокруг позиции государства как трансцендентального означаемого и вытесняющий любое различие за пределы сообщества.

Это стремление сконструировать однородное и замкнутое политическое сообщество с четкой границей, отделяющей порядок внутри от анархии вовне, безусловно, позволяет считать российский романтический реализм частью европейской политической традиции Нового времени и прямым наследником таких мыслителей, как Томас Гоббс и Карл Шмитт. Сравнение романтического реализма с философией Шмитта оказывается наиболее плодотворным, так как позволяет подчеркнуть уникальные особенности российского политического дискурса. Сходство между Шмиттом и российскими авторами состоит в первую очередь в том, что они отдают приоритет идентичностям определенного рода — в первую очередь нации и

<sup>1</sup> Палан Р., Блэр Б. Указ. соч. С. 13.

государству, — тогда как другие варианты идентификации оказываются для них случайными. Здесь, как отмечает Шанталь Муф, кроется противоречие:

Согласно Шмитту, единство государства должно быть конкретным единством, заранее данным и потому устойчивым. То же относится и к его пониманию идентичности народа: она также должна существовать как данность. Поэтому его различие между «нами» и «ними» на самом деле не является политически сконструированным; оно представляет собой простое признание уже существующих границ. Отрицая плюралистическую концепцию, Шмитту все же не удастся покинуть эту область, так как он по-прежнему считает политические и социальные идентичности эмпирическими данностями. В сущности, его позиция крайне противоречива. С одной стороны, он, по-видимому, всерьез рассматривает возможность разрушения единства государства вследствие плюрализма. Но если этот распад представляет собой особую политическую возможность, то из этого также следует, что существование такого единства само по себе случайно и нуждается в политическом конструировании. Но, с другой стороны, единство преподносится как *factum*, очевидность которого позволяет не придавать значения политическим условиям его возникновения. Только благодаря этой уловке альтернатива может стать столь неизбежной, как того желает Шмитт<sup>1</sup>.

Шмитт, конечно, признает, что любой конкретный народ может проявить слабость и отказаться от политического существования; тогда он неизбежно будет поглощен другим, здоровым государственным организмом:

<sup>1</sup> *Муфф Ш.* Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии // Логос. 2004. № 6. С. 151—152.

Если некий народ страшится трудов и опасностей политической экзистенции, то найдется именно некий иной народ, который примет на себя эти труды, взяв на себя его «защиту против внешних врагов» и тем самым — политическое господство; покровитель (*Schutzherr*) определяет затем врага в силу извечной взаимосвязи *защиты* (*Schutz*) и *повиновения*<sup>1</sup>.

Однако государство как необходимая форма политического существования и нация как естественное, органичное политическое сообщество остаются для Шмитта неизменной данностью. Это противоречие еще в большей мере характерно для отечественных романтических реалистов. Они также воспринимают идентичность государства как метафизическую данность, но в то же время допускают возможность ее гибели под воздействием внешних сил. Более того, они, в отличие от Шмитта, ведут речь о конкретном государстве — России, поэтому в своих нормативных следствиях романтический реализм идет гораздо дальше Шмитта. Учение Шмитта, конечно, тоже рассчитано на применение в конкретной политической практике конкретных государств (в частности, германского), однако в ценностном смысле философия Шмитта гораздо более нейтральна: он настаивает на том, что разделение между другом и врагом в сфере политического не имеет ничего общего с разделением между добром и злом в сфере морального<sup>2</sup>. Картина мира в романтическом реализме, напротив, имеет отчетливую моральную поляризацию, при этом именно Российское государство занимает в ней полюс универсального Добра. Такое сочетание априорной данности не только институционализированных форм, но и моральных оценок с признанием возможности распада политического организма под разлагающим влиянием сил Зла открывает широкий простор

<sup>1</sup> *Шмитт К.* Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 53. — Курсив в оригинале.

<sup>2</sup> Там же. С. 40—41.



для секьюритизирующих практик. Национальная идентичность в интерпретации Шмитта тоже открыта для секьюритизации, но в романтическом реализме референтом дискурса безопасности становятся не только нация и государство, но и человечество в целом.

Кроме того, различаются и исходные нормативные послышки романтических реалистов и Карла Шмитта. Для Шмитта политическое в конечном итоге является мерой человеческого: готовность провести различие между другом и врагом, которая в конечном итоге подразумевает требование пожертвовать жизнью ради сохранения идентичности сообщества, является единственной мерой готовности человека взять на себя ответственность за свою собственную жизнь — и в экзистенциальном, и в содержательном смысле<sup>1</sup>. Он видит межгосударственный плюрализм необходимым условием существования политического и, следовательно, человеческого. У романтических реалистов плюрализм приобретает скорее утилитарную ценность, как источник энергии для существования человечества. Главное отличие, однако, состоит в том, что в романтическом реализме присутствует эсхатологическое измерение: враг (в лице Запада) представляет собой не необходимость, как у Шмитта, а случайный элемент, чужеродное образование, грозящее поглотить человечество в его многообразии. Если для Шмитта противостояние с врагом необходимо и неизбежно как таковое, у романтических реалистов борьба с противником ведется ради окончательной победы над Злом и установления плюралистического миропорядка, в котором суверенные нации смогут реализовать свою «историческую свободу». Таким образом, романтический реализм представляет собой одно из проявлений универсализма, против которого столь убежденно выступал Шмитт. Для него в неменьшей

<sup>1</sup> *Strong T. B.* Foreword: Dimensions of the New Debate Around Carl Schmitt // *Schmitt C.* The Concept of the Political. Chicago; London: University of Chicago Press, 1996. P. xv—xvi.

степени характерна тенденция к дегуманизации противника, чем для идеологии неолиберальной глобализации, которая насаждает либеральные ценности с помощью «военного гуманизма».

### § 3.3. Граница между внутренним и внешним: учреждение политического сообщества

Итак, романтический реализм как артикуляционная практика направлен на устранение дислокации и конституирование политического сообщества как замкнутой, непротиворечивой структуры. Один из важнейших аспектов этого процесса состоит в определении границы между «своими» и «чужими», между «мы» и «они», которое подавляет индивидуальные различия между идентичностями, устанавливая между ними отношения эквивалентности. Полное устранение различий между означающими оказывается невозможным: субъект и его «дружественное окружение» не тождественны друг другу, поскольку очевидна различная степень идентификации с разными составными частями этого коллективного «мы»: эквивалентность не тождественна идентичности<sup>1</sup>. Тем не менее логика эквивалентности играет огромную роль в установлении отношений гегемонии, отвергая различия внутри сообщества перед лицом враждебного окружения и тем самым вытесняя оппозиционные дискурсивные позиции за пределы пространства сообщества. Будучи в своей основе модернистским, этот дискурс конструирует сообщество как нацию, при этом коллективное «мы» концентрируется вокруг Российского государства. Центр, структурируя структуру, сам избегает процесса структурирования: позиция государства, задавая критерии принадлежности

<sup>1</sup> *Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 1985. P. 128; Torfing J. New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Žižek. Oxford: Blackwell, 1999. P. 96—97.*

сообществу, в то же время оказывается для дискурса экзогенной, принимается как данность, не подлежащая критическому анализу, как трансцендентальное означаемое. Метафизическая роль государства в российском дискурсе хорошо видна в следующем высказывании Камалудина Гаджиева, известного политолога, автора нескольких учебников и монографий по геополитике:

В самой идее государственности заложен глубокий философский, я бы сказал, онтологический смысл. ...В... великих империях воплощен сам дух народов, их создавших, и вне их и без них они для нас бесследно потерялись бы в густом тумане истории. То же самое можно сказать и о российской государственности, в течение многих веков ставшей воплощением русской идеи и одновременно ее несущей конструкцией и двигателем<sup>1</sup>.

На наш взгляд, эта формулировка отражает подход большинства российских авторов к идее государственности.

В статьях Натальи Айрапетовой деление на «своих» и «чужих» последовательно осуществляется по национальному принципу (исходя в общем и целом из принципов политического национализма, т. е. в первую очередь лояльности к государству, а не из этнических критериев). Деньги, которые служат одним из основных стимулов правозащитного движения, имеют «чуждое» происхождение: «поголовно все российское [правозащитное] “движение” содержится Западом»<sup>2</sup>. И. К. Харичкин огульно обвиняет в «проамериканских» симпатиях не только бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева и лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, но и бывше-

<sup>1</sup> Гаджиев К. С. Геополитика. М.: Международные отношения, 1997. С. 343.

<sup>2</sup> Айрапетова Н. России нужна защита от правозащитников. См. также: Лебедев В. Правозащитники осуждают // Независимая газета. 1999. 15 апреля.

го премьер-министра Виктора Черномырдина, выступавшего посредником на переговорах между сербским руководством и НАТО. Целью этих проамериканских деятелей, согласно Харичкину, является развал своей собственной страны во имя ее демократизации (которая равнозначна утрате самобытности): «...Следуя западным советам... ряд наших политиков либерального толка не видит ничего страшного, если в обозримом будущем возобладает тенденция распада России, на ее месте образуется несколько десятков относительно небольших самостоятельных государств. Главное в этом процессе, по их мнению, чтобы это были государства демократические»<sup>1</sup>. По мнению Айрапетовой, отстаивая интересы «чужих» (косовских албанцев, чеченцев и т. д.), либералы полностью пренебрегают интересами «своих» (сербов и, в первую очередь, русских — или, если быть до конца точным, лояльных Российскому государству россиян). «Поразительно, но до сих пор не было ни одного заявления правозащитников и правозащитных организаций после терактов в Москве, Волгодонске и Буйнакске»<sup>2</sup>, — восклицает журналист.

Последнее высказывание исходит из весьма своеобразной интерпретации миссии правозащитного движения, которая сама по себе довольно много говорит об аксиомах и умолчаниях господствующего российского дискурса. Разумеется, идея прав человека должна применяться ко всем людям вне зависимости от их национальной, расовой или религиозной принадлежности, и Айрапетова, как кажется, эксплуатирует этот принцип, с тем чтобы подчеркнуть чуждый характер правозащитного движения. Существует, однако, еще один принципиальный момент, который редко удостоивается разъяснения — потому ли, что выглядит самоочевидным или, напротив, не вписывается в ту или иную конкретную идеоло-

<sup>1</sup> Харичкин И. К. Указ. соч. С. 207—208.

<sup>2</sup> Айрапетова Н. Второй правозащитной революции в России не будет.

гическую рамку. Речь идет о том, что главным институтом защиты прав граждан является государство, тогда как вмешательство институтов гражданского общества необходимо только в тех ситуациях, когда эти права нарушаются *государством* посредством его действия или бездействия. «...Права, затрагивающие интересы большинства населения, защищаются самим механизмом политической демократии, а именно — процедурой выборов органов государственной власти, — пишет Сергей Ковалев. — ...Поэтому-то правозащитники и сосредоточены на защите прав меньшинств и в особенности отдельных людей. И, защищая эти права, они вынуждены иногда жестко критиковать некоторые действия власти»<sup>1</sup>. Некоторый элемент противостояния государству поэтому является неизбежной особенностью правозащитного движения, вытекающей из его роли противовеса государству в демократической системе, доказывают лидеры общероссийского движения «За права человека» Евгений Ихлов и Лев Пономарев:

Сама идея правозащиты отвергает культ всемогущего и безгрешного государства. Истинные правозащитники всегда в конфликте со стремлениями бюрократии к бесконтрольности и вседозволенности. Осаживать правительство и органы — это измена только для тех, кто привычно путает слова «отечество» и «ваше превосходительство». Правозащитник наибольшее внимание уделяет проблемам в своей стране, а не в чужой<sup>2</sup>.

Разумеется, с точки зрения этой либеральной модели вмешательство правозащитного движения менее всего необходимо в тех сферах, где в силу исторических причин государственные институты защиты индивидуальных прав лучше

<sup>1</sup> Ковалев С.А. Прагматика политического идеализма. М.: Институт прав человека, 1999. С. 176—177.

<sup>2</sup> Ихлов Е.В., Пономарев Л.А. На чью мельницу льют воду правозащитники? // Независимая газета. 1999. 26 ноября. См. также: *Альтшуллер В.* Пожалейте детей // Независимая газета. 1999. 14 мая.

всего развиты, — таких как вопросы уголовного права, в том числе борьбы с терроризмом, — если только государство не нарушит права отдельных граждан или их групп своим действием или бездействием.

Это различие, весьма характерное для глобального либерального дискурса, не вполне чуждо и представителям либерального крыла внешнеполитической элиты, таким как Ида Куклина:

...На месте старой дихотомии, которая делила мир на «нас» и «их», возникает новая, предстающая как противостояние Власти и Человека, естественно вытекающее из закономерностей глобализации.

...В глобализированном мире государственное вооруженное насилие все больше теряет свою функцию защиты от внешней агрессии, от «чужака» и превращается в средство утверждения интересов глобальной элиты за счет уничтожения части человечества<sup>1</sup>.

Последнее высказывание можно классифицировать даже как выходящее за пределы глобального либерального мейнстрима и принадлежащее довольно радикальному либертарианскому дискурсу. В то же время даже такой автор оказывается не способен противостоять влиянию господствующего российского дискурса, который устанавливает отношения эквивалентности между «Западом» и «правозащитниками». «Многие из них продолжают апеллировать к Западу как высшему и справедливому судие», — пишет Куклина о правозащитниках и в итоге приходит к риторическому вопросу: должно ли правозащитное движение противостоять государству или «в вакханалии нарушений прав человека на мировой арене... следуя зову либеральных ценностей... раз и навсегда выбрать сторону сильного и защищать все, что идет в мир со стороны Запада — Севера?»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Куклина И. Н. Указ. соч. С. 24, 26.

<sup>2</sup> Там же. С. 24, 27.

Обеспокоенность автора — во многом, как нам представляется, правомерная, — чрезмерной ориентацией правозащитников на мнение Запада постепенно приводит к утрате нюансов, вследствие чего в ее тексте также воспроизводится образ правозащитного движения как неотъемлемой части гомогенного и замкнутого на себя, неготового к диалогу Запада. Между тем известно, что наиболее влиятельные российские правозащитные организации никогда не высказывали безоговорочной поддержки кампании НАТО против Югославии. Некоторые из них даже выступили против бомбардировок, но практически все были едины, во-первых, в осуждении режима Милошевича и, во-вторых, националистической истерии, которую война спровоцировала в России<sup>1</sup>.

Степень, до которой граница между внутренним и внешним миром седиментирована как дискурсивная структура, может также быть проиллюстрирована весьма распространенной среди российских ученых практикой оценивать работы своих коллег исходя из национальной принадлежности последних, что иногда приводит к полному смещению парадигм. Например, Сергей Земляной, также достаточно либеральный автор, говоря о сторонниках либеральной глобализации, приводит следующий список авторов: Хантингтон, Фукуяма, Томас Фридмен, Гидденс, Розенау, Пол Кеннеди, Роланд Робертсон, Зигмунт Бауман... Даже поверхностного знакомства с современной научной литературой достаточно для того, чтобы понять, что единственное, что объединяет всех этих авторов — их британское или американское гражданство, но, с точки зрения Земляного, этого уже достаточно, чтобы приписать им некую общую позицию, просто потому, что США и Великобритания являются «патронами глобализации»<sup>2</sup>. Если такова отправная точка для рассуждений о современной мировой политике, ста-

<sup>1</sup> См., например: Правление Международного общества «Мемориал». О событиях в Югославии. 8 апреля 1999 года. <http://www.memo.ru/daytoday/Kosowo2.htm>.

<sup>2</sup> *Земляной С.Н.* Новый космополитизм и знаменья времени // Независимая газета. 2002. 16 января.

новится понятным, почему глобальная демократия вместе с Интернетом, высокими технологиями, транснациональными корпорациями и наднациональными организациями скопом классифицируются как «домены США», тогда как права человека прямо противопоставляются национальному государству и классифицируются как одно из проявлений глобализации<sup>1</sup>.

Существует огромный массив источников, позволяющий детально реконструировать состав обеих групп — «мы» и «они» — в том виде, как они формируются господствующим дискурсом<sup>2</sup>. Наиболее детально такая реконструкция возможна в кризисные моменты, такие как 1999—2000 годы — период войны вокруг Косово и начала второй чеченской кампании. Центральным участником группы «мы» является Российское государство, которое, «избавляя российское общество от скверны терроризма», выполняет «свои обязательства перед международным сообществом... в области защиты прав человека»<sup>3</sup>,

<sup>1</sup> Справедливости ради следует отметить, что некоторые российские ученые берут на себя труд прямо высказываться против подобных упрощенных классификаций — см., например, описание Григорием Мирским роли, которая отводится Фрэнсису Фукуяме в западной дискуссии о глобализации: *Мирский Г. И.* С ударением на букву «Я» // Независимая газета. 2002. 6 марта. К сожалению, это пока еще нельзя назвать общепринятой практикой.

<sup>2</sup> Похожая задача ставится авторами коллективной монографии, написанной сотрудниками Института Фонда «Общественное мнение»: Мир глазами Россиян. Идентичность и внешняя политика / Под ред. В. А. Колосова. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. Они, однако, занимаются в основном «низкой» геополитикой, т. е. образами различных внешних идентичностей в общественном мнении (одна из глав, кроме того, посвящена геополитическим образам в средствах массовой информации). Кроме того, в указанной работе представлен статический «срез» на начало текущего десятилетия без сколько-нибудь последовательных попыток проследить исследуемые представления в динамике.

<sup>3</sup> *Путин В. В.* Заявление в связи с нарушением прав человека в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации. 13 апреля 2000 г. [http://www.kremlin.ru/appears/2000/04/13/0000\\_type63374\\_119217.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2000/04/13/0000_type63374_119217.shtml).



стремясь, в том числе и в ходе антитеррористической операции в Чечне, обеспечить «восстановление конституционной законности, правопорядка, прав человека, нормализацию социально-экономической жизни в республике»<sup>1</sup>. Безусловно, мирное население Чеченской Республики также включается официальным дискурсом в число «своих», которых нужно срочно защищать от «бандитов», которые «развернули настоящую войну против всего населения Чечни»<sup>2</sup>. Приблизительно так же классифицируется сербское население Югославии, и особенно Косово<sup>3</sup>. В периоды, когда конфронтация между Россией и Западом достигла апогея, к «своим» ненадолго были причислены такие государства, как Иран и Китай, которые с готовностью объявили проблему Чечни внутренним делом России<sup>4</sup>. Как будет показано далее, некоторые международные организации время от времени также входят в круг «своих», однако их пребывание в этом кругу чаще всего оказывается непродолжительным.

«Чужие» — это в первую очередь террористы, сначала албанские, затем чеченские, а сегодня просто исламские. При этом официальный дискурс сознательно дегуманизирует образ террориста, обвиняя его в нечеловеческих преступлениях,

<sup>1</sup> Заявление МИД России. 7 апреля 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 5. С. 35.

<sup>2</sup> Путин В. В. Заявление в связи с нарушением прав человека...

<sup>3</sup> Одним из наиболее характерных примеров чувства «славянской солидарности» могут служить воспоминания собкора ИТАР-ТАСС в Югославии Тамары Замятиной о вводе российских десантников в Косово в июне 1999 г.: Замятина Т. «Будут ли нас снова бомбить?» // Независимая газета. 2000. 24 марта. О позиции иерархов Русской православной церкви см.: Evans A. Forced Miracles: The Russian Orthodox Church and Postsoviet International Relations // Religion, State and Society. Vol. 30. 2002. P. 39—41.

<sup>4</sup> См., например: Горностаев Д., Реутов А. Запад угрожает России экономическими санкциями // Независимая газета. 1999. 8 декабря; Иванов А. Чечня — дело тонкое и сугубо внутрироссийское // Коммерсант. 1999. 18 ноября.

таких как «захват заложников, рабство и работоторговля, убийства, изнасилования, публичные смертные казни»<sup>1</sup>. Важно отметить, что первые лица Российского государства, как правило, старательно воздерживаются от употребления со словом «террористы» прилагательных, означающих национальную или религиозную принадлежность: так, в цитированном выше заявлении Владимир Путин утверждает, что бандиты на территории Чечни осквернили «основополагающие принципы ислама» и ведут войну против собственного народа, «прикрываясь нормами шариата»<sup>2</sup>. Однако, несмотря на осторожную позицию руководства страны, ассоциация прилагательного «албанский» с такими ярлыками, как «террорист», «боевик», «экстремист», в российском политическом языке 1999—2001 годов была столь прочной, что даже посол Албании в Москве счел необходимым публично заявить свой протест<sup>3</sup>. Реакция албанского дипломата покажется вполне естественной, если принять во внимание, что даже столь высокопоставленный политик, как мэр Москвы Юрий Лужков, позволял себе изображать албанцев в следующих выражениях: «люди со средневековыми или вовсе первобытными этическими мерками», готовые сформировать сеть «отчаянных, наглых, беспринципных торговцев оружием, наркотиками»<sup>4</sup>. При этом, если Лужков все же настаивал на том, чтобы не смешивать экстремизм и исламский фундаментализм и не обвинять огульно всех мусульман в склонности к терроризму, авторы наподобие известного обозревателя Максима Соколова без стеснения изображали ислам как враждебное Иное, антипод цивилизации и прогресса<sup>5</sup>.

Второй, менее враждебный, но более коварный представитель «чужих» — это Запад, США и их европейские союзники,

<sup>1</sup> Путин В. В. Заявление в связи с нарушением прав человека...

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> См.: Вужай Ш. Хочется выключить телевизор // Московские новости. 2001. 21 августа.

<sup>4</sup> Лужков Ю. М. Воспоминания о будущем // Известия. 2001. 23 марта.

<sup>5</sup> Соколов М. Вызов V века // Известия. 2001. 22 марта.

которые виноваты, во-первых, в прямой или косвенной поддержке террористов, во-вторых, в нарушении международных норм во время конфликта в Косово и в других ситуациях и, наконец, в-третьих, в том, что они одновременно позволяют себе критиковать Россию за те меры, которые она принимает в порядке самозащиты от терроризма. Эта логика в своем предельном варианте позволяет устанавливать отношения эквивалентности между «Западом» и «террористами». Объявив России «джихад» в связи с Чечней, писал «Коммерсант» в ноябре 1999 года, «лидеры Запада оказываются в одной компании с международным террористом № 1 Осамой бен Ладеном и радикальными исламскими группировками»<sup>1</sup>. «...Давать уроки демократии и прав человека можно лишь в том случае, если самим следовать им на практике», — заявляло Министерство иностранных дел в ответ на доклад Государственного департамента США о положении с правами человека в мире в 1999 году. По мнению российского МИД, Соединенные Штаты, где продолжают «применение смертной казни, расовая дискриминация и антисемитизм», не имели права критиковать российскую политику в Чечне<sup>2</sup>. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) также, по утверждениям российских представителей, доминируют парламентарии, которые «продолжают жить и мыслить стереотипами “холодной войны” и двойных стандартов»; «свою информацию они продолжают черпать из лживой пропаганды, распространяемой чеченскими террористами и их покровителями»<sup>3</sup>. Важной составной частью враждебного Иного оказываются страны Центральной и Восточной Европы, которые пытаются «отыграться» на России «за все прошлые обиды времен СССР»<sup>4</sup>. Особенно выделяются своей ханжеской

<sup>1</sup> Михайлов В. ОБСЕ объявит России Джихад // Коммерсант. 1999. 18 ноября.

<sup>2</sup> Заявление официального представителя МИД России. № 102. 1 марта 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 4. С. 40.

<sup>3</sup> Заявление МИД России. 7 апреля 2000 г.

<sup>4</sup> Чубченко Ю. Стамбульский счет // Коммерсант. 1999. 18 ноября.

позицией и антироссийскими устремлениями балтийские государства, а среди них — Латвия и Эстония, которые совершают «систематические и массовые нарушения прав десятков тысяч жителей»<sup>1</sup> (имеются в виду, естественно, русскоязычные неграждане Латвии и Эстонии). Наконец, как уже показано, в число «чужих» также входит пятая колонна в лице российских защитников прав человека — именно в 1999 году появился обычай использовать слово «правозащитники» в кавычках и придавать ему уничижительный смысл.

Небезынтересно наблюдать, как различные международные организации попеременно оказывались то по одну, то по другую сторону границы российского политического сообщества в зависимости от текущей конъюнктуры. Более или менее стабильной была лишь негативная роль НАТО, о которой уже немало было сказано в главе 2. Даже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая вплоть до 2002—2003 годов обычно считалась в России краеугольным камнем системы европейской безопасности, в течение некоторого времени была на подозрении у российских политиков и журналистов. Накануне Стамбульского саммита 18—19 ноября 1999 года российская пресса предупреждала, что «США хотят сделать ОБСЕ инструментом давления на Россию»<sup>2</sup>. Это высказывание может быть транслировано в терминологию романтического реализма следующим образом: Запад пытается взять под свой контроль одно из институциональных воплощений многообразия в мировой политике; это может стать победой энтропии и, таким образом, является прямой угрозой идентичности России. Если продолжить эти рассуждения, напрашивается вывод, что, если Россия не сможет предотвратить «поглощение» ОБСЕ Западом, она должна отказаться от любого активного участия в этой организации, чтобы защитить себя от вестернизирую-

<sup>1</sup> Заявление официального представителя МИД России. 1 марта 2000 г.

<sup>2</sup> Горностаев Д. США хотят сделать ОБСЕ инструментом давления на Россию // Независимая газета. 1999. 13 ноября.

щего влияния. В самом деле, накануне саммита ходили слухи о том, что российская делегация была готова провалить подписание «Хартии европейской безопасности» — документа, который был стратегической целью российской дипломатии на протяжении нескольких предшествовавших лет<sup>1</sup>.

Положение было спасено благодаря решительному вмешательству президента Ельцина, выступление которого на саммите может быть охарактеризовано как мощная и весьма успешная попытка артикуляции, устанавливавшую отношения эквивалентности между «чеченскими повстанцами» и «террористами» и, с другой стороны, имплицитно также между Россией и «цивилизованным миром». «...Долгосрочный мир в Чеченской Республике и так называемые “мирные переговоры” с бандитами — не одно и то же. И прошу на этот счет никого не заблуждаться. Никаких переговоров с бандитами и убийцами не будет»<sup>2</sup>, — эти жесткие слова, весьма вероятно, изменили атмосферу на конференции. Хотя российская делегация не смогла добиться осуждения, говоря словами Ельцина, «агрессии НАТО во главе с США против Югославии»<sup>3</sup> (вытеснить НАТО из поля «цивилизации» было явно непосильной задачей), заключительный документ саммита в том, что касалось ситуации в Чечне, был гораздо мягче, чем первоначально ожидалось. «Превентивное» осуждение ОБСЕ в российской дискуссии немедленно прекратилось, и на время репутация этой организации в качестве «своей» для России была спасена (впрочем, это не мешало газетам с осуждением писать о переговорах между председателем ОБСЕ Кнутом Воллебэком и Асланом Масхадовым<sup>4</sup>).

<sup>1</sup> *Трегубова Е.* Хартия — наш рулевой // *Коммерсантъ.* 1999. 18 ноября.

<sup>2</sup> *Ельцин Б.Н.* Выступление Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 18 ноября 1999 г. // *Дипломатический вестник* 1999. № 12. С. 11.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> См., в частности: *Горностаев Д.* Грозный и ОБСЕ ведут переписку за спиной Москвы // *Независимая газета.* 1999. 27 ноября.

Когда оказалось, что итоги Стамбульского саммита можно было интерпретировать как успех<sup>1</sup>, российские дипломаты и аналитики вернулись к старой тактике выдвигания на первый план своих приоритетов и отбрасывания обвинений против России как клеветнических домыслов. Однако потенциальная опасность превращения ОБСЕ в институт вестернизации продолжала восприниматься российскими дипломатами всерьез. Так, по заявлению заместителя министра иностранных дел Евгения Гусарова,

...налицо попытки превратить ОБСЕ в механизм вмешательства во внутренние дела некоторых государств-участников, в своего рода «демократизатора» европейской периферии, а также в инструмент экспансии западного влияния, в том числе используя внедрение стереотипов поведения и ценностей западноевропейской цивилизации на все пространство ОБСЕ<sup>2</sup>.

В этом заявлении национальная идентичность России вновь выступает как референтный объект дискурса безопасности. Оно исходит из предпосылки наличия агрессивного и экспансионистского Другого (Запад), который стремится навязать собственные культурные практики другим цивилизациям. Если не сопротивляться этим попыткам, все прочие цивилизации в пространстве ОБСЕ будут поглощены западной. В сущности, это означает, что ОБСЕ потенциально может угрожать идентичности России. Тенденция к антагонизации ОБСЕ стала особенно очевидной после провала в 2003 году «плана Козака» по мирному урегулированию в Приднестровье, после чего нормой для российского дискурса стала резкая критика в

<sup>1</sup> Ср. ранее процитированный тревожный заголовок статьи Дмитрия Горностаева с названием другой статьи, опубликованной неделей позже: *Горностаев Д.* Россия выиграла у Запада стамбульскую партию // Независимая газета. 1999. 20 ноября.

<sup>2</sup> *Гусаров Е. П.* Хельсинкский процесс во внешней политике России // Дипломатический вестник. 2000. № 7. С. 93.

адрес Организации<sup>1</sup> — это, в частности, привело к сокращению российского взноса в ее бюджет и к резкому конфликту по вопросу электорального мониторинга в период избирательной кампании 2007—2008 годов<sup>2</sup>.

Позиция Европейского союза и Совета Европы в российском политическом дискурсе также постоянно меняется в зависимости от политической конъюнктуры, причем эти две организации часто противопоставляются друг другу, оказываясь попеременно воплощениями «истинной» и «ложной» Европы. До начала второй войны в Чечне эти две организации, в значительной степени по контрасту с НАТО, изображались как надежные партнеры России. В январе 1999 года министр иностранных дел Игорь Иванов писал, например, что ЕС и Россию связывает «стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях и интересах», и противопоставлял «общеевропейский» подход к проблеме европейской безопасности, опирающийся на ОБСЕ, «натоцентристскому»<sup>3</sup>. На пресс-конференции по итогам 1998 года глава внешнеполитического ведомства не забыл упомянуть, что в соответствии с Указом Президента России предшествовавший год был объявлен Годом прав человека и что важнейшие конвенции Совета Европы вступили в силу в России именно в 1998 году<sup>4</sup>. В мае 1999 года, отмечая юбилей

<sup>1</sup> См., например: *Лавров С. В.* Демократия, международное управление и будущее мироустройство // Россия в глобальной политике. 2004. № 6. С. 12—13; Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации. [http://www.mid.ru/brp\\_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4D](http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4D).

<sup>2</sup> Об истории разногласий между Россией и ОБСЕ см., например: *Morozov V.* Russia's Changing Attitude toward the OSCE: Contradictions and Continuity // *Sicherheit und Frieden*. Vol. 23. 2005. Nr. 2. S. 69—73; *Соловьев В.* Дорогое неудовольствие // Коммерсант. 2008. 15 февраля.

<sup>3</sup> *Иванов И. С.* Европа в преддверии XXI века // Международная жизнь. 1999. № 1. С. 8, 12.

<sup>4</sup> *Иванов И. С.* Пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова по итогам внешнеполитического 1998 года. 22 января 1999 г. // Дипломатический вестник. 1999. № 2. С. 5.

Совета Европы, российский министр подчеркивал: «Растет понимание того, что от присоединения к СЕ Россия только выиграла. Это вполне закономерно, так как направленность продиктованных самой жизнью изменений внутри нашего государства и в его внешней политике совпадает в “освященными” Советом Европы принципами демократического развития и соответствует европейской модели»<sup>1</sup>. Более того, Иванов призывал даже «усилить контроль за выполнением государствами обязательств, вытекающих из их членства в СЕ», имея в виду прежде всего права русскоязычных меньшинств в прибалтийских государствах, и выражал надежду, что неспособность Совета «дать принципиальную оценку агрессии Североатлантического альянса» против Югославии «останется в истории Совета Европы лишь досадным исключением»<sup>2</sup>. Во всех этих высказываниях Совет Европы предстает как один из наиболее важных форумов для заявления Россией своих внешнеполитических приоритетов, как часть «истинной» Европы и как партнер в деле наставления на европейский путь балтийских республик. Логика различия явно доминирует: перед нами многоцветный мир более или менее дружественных партнеров, оппонентов, но не врагов, с каждым из них существует своя повестка дня и т. д.

Война в Чечне и жесткая критика действий российских сил со стороны мирового сообщества привели к резкому расширению сферы действия логики эквивалентности. Заседание Европейского совета в Хельсинки (10—11 декабря), на котором были введены некоторые ограничения на сотрудничество с Россией, породило волну публикаций об «угрозах» со стороны Запада<sup>3</sup> — причем термин «Запад» использовался гораздо более активно, чем термин «Европа» или даже «Западная Европа», несмотря на то, что позиция США по чеченскому вопросу была

<sup>1</sup> *Иванов И. С.* За большую Европу без разделительных линий (к 50-летию Совета Европы) // *Международная жизнь*. 1999. № 5. С. 4.

<sup>2</sup> Там же. С. 5.

<sup>3</sup> См., например: *Горностаев Д., Реутов А.* Указ. соч.



гораздо более мягкой, чем позиция многих европейских государств. В связи с принятым в Хельсинки решением о создании собственных миротворческих сил появились даже сравнения ЕС с НАТО<sup>1</sup>, хотя традиционно в России эти две организации принято противопоставлять друг другу как институциональные воплощения «мирной Европы» и «агрессивного Запада».

После голосования ПАСЕ по чеченскому вопросу в апреле 2000 года маятник качнулся в другую сторону. Министерство иностранных дел, в частности, заявило, что «своим решением Парламентская ассамблея нанесла серьезный удар по усилиям Совета Европы, направленным на создание единого европейского пространства»<sup>2</sup>, а в прессе появились даже высказывания такого рода: «...Россия... является основным вкладчиком в казну Совета Европы, внося в нее ежегодно 25 миллионов долларов! И что мы с этого имеем? Оплеухи в виде нападок и предвзятой критики. Теперь и откровенную дискриминацию, фактическое отстранение от работы в этой финансируемой нами организации»<sup>3</sup>. В то же время «Независимая газета» дает целую серию материалов о важности и продуктивности сотрудничества с ЕС, всячески подчеркивая успешность третьего заседания Совета сотрудничества, состоявшегося 10—11 апреля в Люксембурге<sup>4</sup>.

В реакции на решение ПАСЕ вновь воспроизводятся основные особенности дискурса романтического реализма. Необходимость соблюдения прав человека, которая была главным мотивом решения Парламентской ассамблеи, не отрицается в

<sup>1</sup> *Михеев В.* Евросоюз создает свой спецназ // Известия. 1999. 16 ноября; *Черняков П.* ЕС расширяется и критикует Россию // Независимая газета. 1999. 16 декабря.

<sup>2</sup> Заявление МИД России. 7 апреля 2000 г.

<sup>3</sup> *Горностаев Д., Катин В.* Россию не могли наказать, поэтому попытались оскорбить // Независимая газета. 2000. 8 апреля.

<sup>4</sup> См. «Независимую газету» от 11 апреля 2000 г. и в особенности «Дипкурьер НГ» № 5 и 6 от 23 марта и 6 апреля 2000 г. Ср.: *Арбатова Н.К.* Отношения России и Запада после косовского кризиса // *Мировая экономика и международные отношения.* 2000. № 6. С. 20—22.

принципе, но значение этой идеологии для международной политики всячески преуменьшается. Вместо «мифической» заботы о правах человека на первый план выдвигаются другие, более «реальные» цели, такие как более благоприятные условия для российского экспорта на европейских рынках или сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, которые как раз и обсуждались на вышеупомянутом заседании Совета сотрудничества Россия — ЕС<sup>1</sup> и которые интенсивно пропагандировались российской прессой под такими, например, заголовками: «ЕС настроен дружелюбнее, чем ПАСЕ»<sup>2</sup>.

Однако, несмотря на декларируемый прагматизм, отрицая наличие у ПАСЕ добрых идеалистических намерений, российские комментаторы не давали себе труда рационализировать это решение в реалистическом ключе. В конечном итоге все сводится к упрощенным эмоциональным заявлениям наподобие следующего: «Россию в последние полгода пытались обидеть все кому не лень»<sup>3</sup>. Решение ПАСЕ описывалось как результат деятельности антироссийских сил, представленных «целой группой заранее враждебно запрограммированных делегатов, особенно из стран Балтии, Голландии, Великобритании, Венгрии», а также Сергеем Ковалевым, единственным диссидентом в российской делегации, который выступал и голосовал против официальной позиции Кремля<sup>4</sup>. Во всех этих высказываниях антироссийская предвзятость Запада принимается как вещь самоочевидная и не нуждающаяся в объяснениях. Образ недифференцированного, враждебного Запада предполагает

<sup>1</sup> *Иванов И. С.* Текст выступления министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на встрече с российской прессой по итогам заседания Совета сотрудничества Россия — ЕС. 11 апреля 2000 г. <http://www.mid.ru/ns-dos.nsf/162979df2beeb9880432569e70041fd1e/432569d800223f344325699c003b5d24?OpenDocument>.

<sup>2</sup> *Катин В., Соколов В., Здитовецкий А.* ЕС настроен дружелюбнее, чем ПАСЕ // Независимая газета. 2000. 11 апреля.

<sup>3</sup> *Горностаев Д.* Обидно, но не более // Дипкуррьер НГ. 2000. № 6. 6 апреля.

<sup>4</sup> *Горностаев Д., Катин В.* Указ. соч.

секьюритизацию разногласий внутри сообщества, гегемонистскую тенденцию к стиранию внутренних различий и вытеснению альтернативных идентичностей во внешнее пространство. Даже Европа как таковая практически исчезает из российского дискурса кризисного периода — остается только Европа «ложная», американизированная, которая практически полностью сливается с образом Запада: так, по мнению Натальи Айрапетовой, «ОБСЕ и ПАСЕ... контролируются, по сути, США, несмотря на редкие протесты европейцев»<sup>1</sup>. Этот вариант ретартикуляции дискурса не был преходящим явлением, возникшим в кризисных условиях 1999 года и затем благополучно исчезнувшим: как показано в главе 2, образ «ложной» Европы, представляющей собой своего рода эпифеномен американской воли, присутствовал уже в советском дискурсе 1950-х годов. Антиамериканская мотивация европейской политики России продолжала проявлять себя в политическом дискурсе на протяжении большей части 2001 года, вплоть до сентябрьских терактов в США. В этом тоне были выдержаны и реакция на македонский кризис<sup>2</sup>, и комментарии по поводу обращения президента к Федеральному собранию<sup>3</sup>, и обсуждение перспектив создания национальной системы противоракетной обороны США<sup>4</sup>.

Можно также привести примеры высказываний по другим проблемам, в которых работает та же логика, — например, по

<sup>1</sup> *Айрапетова Н.* Аты-баты, все — под Штаты! // Независимая газета. 2002. 11 марта.

<sup>2</sup> См., например: Судьба России решается на Балканах; *Фокина К.* НАТО не пойдет против сепаратистов // Независимая газета. 2001. 21 марта; *Чугунов К.* Пауэлл в поход собрался // Российская газета. 2001. 10 апреля.

<sup>3</sup> *Горностаев Д.* Европа гораздо ближе // Дипкуррьер НГ. 2001. № 6 (26). 5 апреля.

<sup>4</sup> Особенно интересны в этом отношении надежды российских наблюдателей на союз с европейскими государствами в противодействии планам создания НПРО. См., например: *Иванов П.Л., Халюша Б.М.* Россия — НАТО: европейская безопасность на рубеже столетий // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 4. С. 11.

поводу выборов в Белоруссии в сентябре 2001 года: «На самом деле Западу выгодно, чтобы в республике продолжал сохраняться статус-кво. В этом случае можно продолжать привычную политику “борьбы за свободу, демократию и права человека”. Это много легче и не так накладно, как поддержка победивших оппозиционеров»<sup>1</sup>. Другая статья, посвященная дискуссиям в Австрии по вопросу о возможности участия ее вооруженных сил в миротворческих операциях, предлагает читателю образ циничных австрийских политиков, которые используют лозунги защиты прав человека и предотвращения гуманитарных катастроф в целях «милитаризации сознания австрийского общества», его психологической подготовки «к применению вооруженной силы за пределами страны» — при том, что, «как показывает... недавний опыт агрессии НАТО против Югославии, гуманитарные катастрофы... начинаются как раз после военных усилий “миротворцев”»<sup>2</sup>. Наконец, логика романтического реализма в сочетании с господствующими представлениями о странах Центральной Европы как «не вполне Европе», «ложной» Европе позволяет российским исследователям проводить спорные исторические параллели: так, Михаил Мельтюхов характеризует советскую агрессию против Польши в 1939 году как «миротворческую операцию»<sup>3</sup>. Этот сознательный анахронизм не только призван оправдать тогдашнюю политику Советского Союза — фактически перед нами высказывание на тему современной мировой политики, которое, в полном соответствии с принципами реализма, постулирует неизменность ее фундаментальных особенностей и

<sup>1</sup> Полевой А, Ткачук Т, Ханбабян А. Белоруссия не пожелала перемен // Независимая газета. 2001. 11 сентября.

<sup>2</sup> Петров Е. Новый аншлюс Австрии? // Независимая газета. 2001. 26 мая.

<sup>3</sup> Мельтюхов М. И. Советско-польские войны: военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. М.: Вече, 2001. С. 408. Ср.: Кен О. Н. System Error? Москва и западные соседи в 1920—1930-е годы // Неприкосновенный запас. 2002. № 4. С. 30.

таким образом отрицает различия между захватнической политикой европейских диктаторов в 1930-е годы и современными гуманитарными интервенциями.

Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом Путиным в июне 2000 года, отражает итоги дискуссий кризисного периода и сложившиеся в результате представления о партнерах и противниках. В разделе «Региональные приоритеты» отношения с европейскими государствами названы на втором месте после отношений с государствами СНГ. При этом на первом месте в списке важнейших европейских организаций-партнеров названа ОБСЕ, а отношения с Европейским союзом охарактеризованы как имеющие «ключевое значение». Совету Европы уделена одна короткая фраза о том, что Россия «намерена продолжать участвовать» в деятельности этой организации<sup>1</sup>. В статье заместителя директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Александра Алексеева, опубликованной годом позже, расстановка приоритетов примерно такая же, хотя можно отметить более критический подход к ОБСЕ и более высокую оценку преимуществ участия России в Совете Европы<sup>2</sup>.

Самый важный вопрос, однако, состоит даже не в том, какие идентичности (государства, международные организации, отдельные политики и т. д.) оказывались по ту или другую сторону сообщества: наиболее важным показателем следует считать степень поляризации, остроту противопоставления между «своими» и «чужими». По мере нарастания интенсивности популистского антагонизма различия внутри двух враждебных лагерей стираются и, соответственно, происходит все более активная секьюритизация угроз — как внешних, так и внутренних (или, точнее, представляющих «внешнее» во внутреннем

<sup>1</sup> Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 28 июня 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 8.

<sup>2</sup> Алексеев А. Н. Россия в европейском политическом поле // Международная жизнь. 2001. № 4. С. 22—29.

мире сообщества). Степень поляризации, которой достиг российский политический дискурс в 1999 году, очевидна, например, в том, что, по мнению большинства авторов, если бы у России не было ядерного оружия, ее могла бы постигнуть судьба Югославии<sup>1</sup>. Важно отметить при этом, что подобного рода высказывания показывают безальтернативность национальной идентичности в российском дискурсе: предполагается, что граждане России не могут не проявлять большую степень солидарности с позицией собственного правительства, чем с любой другой точкой зрения, особенно перед лицом критики извне. Попытки построить альтернативную идентичность на базе идеологических платформ (например, защиты прав человека) интерпретируются как предательство собственной нации и желание идентифицировать себя с «чужим» сообществом — именно так рассуждает И. К. Харичкин, обвиняя всех сколько-нибудь либеральных российских политиков в проамериканской позиции и попытках развалить собственную страну. Для этого варианта артикуляции не существует третьей позиции: кто не с нами, тот против нас, поляризация в данном случае почти абсолютна. Все альтернативные антагонизмы снимаются перед лицом одного, главного популистского антагонизма, противопоставляющего нацию внешнему миру. Нация, конструируемая как замкнутая на себя, закрытая структура, посредством установления отношений эквивалентности стремится «вобрать в себя и исчерпать поле идентичности, не оставляя места для внешнего конституирующего начала»<sup>2</sup>.

Конструирование сообщества как замкнутой централизованной структуры вокруг Российского государства сделало

<sup>1</sup> О значении этих страхов в общеполитическом контексте см., например: *Kolossou V, Turovsky R. Russian Geopolitics at the Fin-de-siecle // Geopolitics. Vol. 6. 2001. No. 1. P. 157; Vining L. Expansion of the North Atlantic Treaty Organization and Russian National Security Strategy: Compatible Concepts? // Baltic Defence Review. Vol. 7. 2002. No. 1. P. 82; Ispa-Landa S. Russian Preferred Self-Image and the Two Chechen Wars // Demokratizatsiya. Vol. 11. 2003. No. 2. P. 312.*

<sup>2</sup> *Torfing J. Op. cit. P. 85.*

возможным использование военных действий в Союзной Республике Югославии в качестве дополнительного оправдания действий Российского государства в Чечне после начала контртеррористической операции. Например, статья в «Независимой газете», посвященная угрозе введения экономических санкций против России в декабре 1999 года, была снабжена фотографией разрушенных зданий со следующей подписью: «Это не Чечня и не Грозный. Это Приштина после бомбардировок авиацией НАТО». Заключительная фраза этой статьи была не менее выразительной: пока Европа «громче всех кричит о соблюдении прав человека за тысячи километров от границ ЕС», европейские политики «забывают, как эти же самые права сербского населения нарушаются у них под боком в Косово»<sup>1</sup>. Этим же приемом пользуется директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Владимир Чижов, когда он осуждает некоторых участников ОБСЕ за попытку подменить «косовскую тему — действительный источник озабоченности для ОБСЕ — критикой в адрес России в связи с Чечней»<sup>2</sup>. Как ни парадоксально, подобного рода аргументация, по существу, может служить признанием аморальности действий российских сил в Чечне с точки зрения общечеловеческих стандартов: ведь если действия Российского государства абсолютно справедливы, нет необходимости для их оправдания проводить параллель с косовской кампанией и указывать на *не меньшую* аморальность действий НАТО. Однако, как было показано ранее, дискурс романтического реализма строится на отрицании универсальной морали и апеллирует к фундаментальному противопоставлению «мы — они»: Российское государство имело право бомбить чеченцев, потому что они «чужие», тогда как НАТО не имел права бомбить сербов, потому что они «наши».

<sup>1</sup> Горностаев Д., Реутов А. Указ. соч.

<sup>2</sup> Чижов В.А. Стамбульский саммит // Международная жизнь. 1999. № 12. С. 40.

Подобного рода сравнения имели место также в отношении европейских государств, вынужденных так или иначе бороться с террористической угрозой. Не случайно, например, статья, посвященная успехам революции в Северной Ирландии, была снабжена следующим подзаголовком: «Критикуя Москву за войну в Чечне, Лондон, похоже, лишает ее шанса на встречный упрек»<sup>1</sup>. Согласно автору статьи, с точки зрения российских властей, не существует принципиальных отличий между британской политикой в Ольстере, с одной стороны, и действиями российских сил в Чечне или сербских — в Косово, с другой стороны. Этот дискурсивный прием кардинально меняет позицию России по отношению к окружающему миру: если с точки зрения критиков российского правительства, она была государством, ведущим жестокую войну против части собственного народа, то с точки зрения российского наблюдателя, она превращается в обычную страну, в которой есть кое-какие проблемы с терроризмом — так же как и во многих других.

В полном соответствии с Гоббсовой логикой этот дискурс настаивает на том, что моральные соображения имеют силу только «внутри» сообщества. Любая внешняя критика редуцируется к простой дуальной структуре на базе национальной идентичности как основы бытия, а содержательная сторона критики отмечается как иррелевантная ввиду ее изначальной антироссийской мотивации. «Россия сама разбирается с теми, кто нарушал в рядах ее армии законы войны, — заявляет Дмитрий Горностаев. — Россия сделала свое дело и знает лучше других, какие ошибки она при этом допустила»<sup>2</sup>. Следующим шагом в рамках этой артикуляционной практики является использование уже описанного конструкта пятой колонны для вытеснения критики «изнутри» во внешнеполитическое поле и, таким образом, ее нейтрализация.

<sup>1</sup> Фокина К. Ольстеру дали немного самостоятельности // Независимая газета. 1999. 2 декабря

<sup>2</sup> Горностаев Д. Обидно, но не более.



Итак, в кризисный период 1999—2000 годов российский внешнеполитический дискурс довольно эффективно воспроизводил структуру социального поля, основанную на идее нации как замкнутого, самодостаточного и, в семантическом смысле, самоотносимого сообщества, организованного вокруг структурного центра — позиции Российского государства. Граница между «своими» и «чужими» конституировалась как граница естественного политического и духовного сообщества, индивидуальные различия внутри сообщества и во внешнем мире подавлялись путем установления отношений эквивалентности между отдельными идентичностями. При этом центр достаточно успешно избегал вовлечения в процесс структурирования благодаря своему экзогенному положению по отношению к дискурсу: позиция государства в важнейших, критических для национальной самоидентификации вопросах воспринималась как отправная точка для определения границы сообщества, и любая критика мгновенно нейтрализовалась путем идентификации ее с «внешним» миром, с «чуждыми», враждебными России силами. Одна из фундаментальных теоретических посылок романтического реализма — отрицание взаимосвязи между политикой и моралью, классификация любых моральных аргументов как идеологической мишуры, не имеющей реального политического значения, — также играла важную роль в этом процессе структурирования. Особенно важную роль это отрицание играло в успешной практике замыкания дискуссии по вопросам морали границами сообщества: в полном соответствии с модернистской логикой, мораль описывалась как существующая «внутри», но не «вовне», не «между» сообществами. Критическим голосам внутри России в соответствии с логикой эквивалентности немедленно приписывалась западная идентичность; в результате, будучи частью враждебного Иного, они, с точки зрения дискурса романтического реализма, теряли право на производство высказываний, которые имели бы смысл во внутрirosсийской дискуссии.

Если в кризисный период 1999—2000 годов дискурс романтического реализма был близок к положению гегемонической артикуляции в пределах политического сообщества России, позднее он все же отошел на второй план: гегемония вернулась к более двусмысленному и открытому артикулированию российской идентичности как одновременно противостоящей Западу и сущностно единой с ним. Вместе с тем романтический реализм и поныне продолжает оставаться одной из важных дискурсивных позиций, формирующих дискурсивное пространство современной России. Особенности современной гегемонической артикуляции будут рассмотрены в четвертой главе; сейчас же нам следует обратиться к другим факторам, обусловившим характер гегемонической артикуляции в России времен президента Путина.

### § 3.4. Границы политического сообщества Балтийские государства как «ложная Европа»

Анализ кризиса национальной идентичности России на рубеже веков подтверждает фундаментальное теоретическое положение о том, что, в то время как антагонистический характер политики и наличие границ между внутренним и внешним необходимы, конкретное расположение этих границ в политическом пространстве случайно и может изменяться в относительно короткие промежутки времени. В то же время флуктуации политических границ не могут быть абсолютно случайными и конъюнктурными — наиболее существенные антагонистические элементы дискурса, связанные с его узловыми пунктами и тем самым определяющие позитивное наполнение национальной идентичности, подчиняются определенным закономерностям. Чтобы приступить к выявлению этих закономерностей, в этом параграфе мы проанализируем позицию, которая в современном российском политическом дискурсе отведена балтийским государствам (Латвии, Литве и

Эстонии). Этот материал интересен во многих отношениях. Во-первых, роль балтийских государств в российском дискурсе представляет собой наиболее характерный пример «ложной Европы» — позиции в структуре дискурсивного поля, которая играет чрезвычайно важную роль в определении семантических отношений между российской и европейской идентичностями. Во-вторых, наследие советского периода в данном случае с особой остротой ставит вопрос о корпоральных границах российского политического сообщества и о темпоральном измерении национальной идентичности Российской Федерации. Понимание этих аспектов российской дискурсивной реальности, в свою очередь, позволяет по-иному взглянуть на проблему противоречий между Россией и Западом по вопросу об основных принципах миропорядка в XXI веке.

После краткого периода дружественных отношений между российским руководством и лидерами прибалтийских республик, которые воспринимались командой президента Ельцина как союзники в борьбе за демократические реформы против консерваторов-коммунистов и союзного центра, наступило время охлаждения. Взаимное разочарование было вызвано разногласиями по таким вопросам, как вывод российских войск, права меньшинств, территориальные претензии и контрабанда. Уже к 1993 году, если не ранее, критика политики балтийских правительств — более сдержанная со стороны «демократов» и доходящая до открытой враждебности в лагере «патриотов» — стала в России общепринятой практикой<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Обзор истории развития отношений между Россией и балтийскими государствами до середины 1990-х гг. см., например, в: *Malachov V.* Russia's Identity and Foreign Policy: Perceptions of the Baltic Region // *Neo-Nationalism or Regionality. The Restructuring of Political Space Around the Baltic Rim* / Ed. by P. Joenniemi. Stockholm: NordREFO, 1997. P. 139—80; *Sergounin A.* The Russia Dimension // *Bordering Russia: Theory and Practice for Europe's Baltic Rim* / Ed. by H. Mouritzen. Aldershot: Ashgate, 1998. P. 27—50; *Matz J.* Constructing a Post-Soviet International Political Reality. Russian Foreign Policy Towards Newly Independent States 1990—1995. Uppsala: University of Uppsala, 2001. P. 130—136, 166—198.

Одним из наиболее характерных способов структурирования этой критики стала оппозиция «истинной» и «ложной» Европы. В числе наиболее ранних примеров можно назвать принятое уже в марте 1993 года Советом государств Балтийского моря (СГБМ) по настоянию России решение учредить пост уполномоченного по демократическим институтам и правам человека, включая права представителей меньшинств (именно таково было полное название этого института). Очевидно, что в регионе Балтийского моря уполномоченный должен был заниматься преимущественно правами неграждан в Латвии и Эстонии и что в данном случае Россия стремилась утвердиться в роли представителя «истинной» Европы, ссылаясь на европейские ценности (права человека и т. п.), используя европейские механизмы (институт омбудсмана и сам по себе СГБМ) и противопоставляя себя «ложной» Европе в лице балтийских государств. Однако только в 1998—1999 годах эта артикуляционная практика выходит на первый план в российской дискуссии по вопросам внешней политики и проявляет значительную социальную продуктивность, сумев объединить почти все общество вокруг идеи осуждения балтийских государств как «ложной» Европы. Позднее те же дискурсивные механизмы привели к консолидации общества вокруг внутренней и внешней политики Москвы в связи с событиями в Косово и Чечне, тогда как любая критика властей, в том числе попытки призвать к менее конфронтационным отношениям с США и Западной Европой, поневоле оказывалась запертой в рамках «западнического» дискурса, ставшего к тому времени маргинальным.

Всплеск негативного интереса к балтийским государствам последовал после разгона полицией в Риге 3 марта 1998 года демонстрации преимущественно русскоязычных пенсионеров. Негативный эффект был многократно усилен тем фактом, что в ежегодных мероприятиях в честь латвийского легиона Ваффен-СС 16 марта приняли участие официальные представители властей. Гневная реакция российских властей полностью соответствовала модели противопоставления «истинной»

и «ложной» Европы: российские представители взывали к нормам новой Европы, воплощенным в таких документах и институтах, как Парижская хартия 1990 года, ОБСЕ и Совет Европы. Выражая озабоченность по поводу молчания других европейских правительств, пресс-секретарь президента Ельцина Сергей Ястржембский задавался вопросом, означает ли это, что приговор Нюрнбергского трибунала больше не считается частью международного права. В игру немедленно включились и другие политики: мэр Москвы Юрий Лужков призвал сократить поток российских грузов через латвийские порты и не остановился даже перед тем, чтобы обвинить латвийские власти в проведении «сознательной политики геноцида» по отношению к русскоговорящему населению и сравнить правительство Латвии с режимом Пол Пота в Камбодже<sup>1</sup>.

Кризис в российско-латвийских отношениях, продолжавшийся несколько месяцев, привел к некоторым уступкам со стороны Риги. Изменения в законе о гражданстве, введенные под давлением международных организаций и вступившие в силу 10 ноября 1998 года, привели лишь к незначительным улучшениям в положении этой категории населения. Была отменена вызывавшая резкие нарекания система «окон» для желающих подать заявление о натурализации; было разрешено предоставление гражданства детям неграждан, родившимся после восстановления независимости, по запросу их родителей; наконец, были введены упрощенные экзамены по языку для пожилых людей. Однако даже эти изменения привели к почти троекратному увеличению количества заявлений о натурализации (15 183 в 1999 году по сравнению с 5608 в 1998-м) и числа людей, получивших гражданство (12 427 в 1999-м против 4439 в 1998-м)<sup>2</sup>. Некоторые российские комментаторы

<sup>1</sup> British Helsinki Human Rights Group. Nationalism and Citizenship in Latvia. Report of BHHRG's 1998 Visit. <http://www.bhhr.org/CountryReport.asp?ReportID=11&CountryID=14>.

<sup>2</sup> Naturalization Board of the Republic of Latvia. Information on naturalization process, on recognition of stateless persons' or non-citizens'

интерпретировали эти изменения как крупную победу российской дипломатии, подчеркивая при этом «солидарность с Москвой мировой общественности» в оценке ситуации в Латвии как неприемлемой для «цивилизованной Европы»<sup>1</sup>. В то же время либерализация законодательства о гражданстве в значительной степени уравновешивалась ужесточением закона о языке, осуществленным в 1999 году, и этот факт был по большей части проигнорирован российскими наблюдателями, хотя Министерство иностранных дел выступило по этому поводу с резкой критикой в адрес Латвии<sup>2</sup>. Отчасти это, впрочем, можно объяснить тем, что августовский кризис 1998 года отвлек внимание российской общественности от проблем «соотечественников» в балтийских государствах.

Возможны разные гипотезы о причинах конфликта, причем одной из наиболее вероятных представляется «нефтяная теория». Некоторые латвийские политики заявляли, что кризис был сознательно инициирован российским нефтяным лобби с целью снижения платы за перевалку российской нефти в порту

children, who were born in Latvia after August 21, 1991 to be citizens of Latvia and on registration the status of the citizenship of Latvia. [http://www.np.gov.lv/en/fakti/files/stat\\_angl.xls](http://www.np.gov.lv/en/fakti/files/stat_angl.xls).

<sup>1</sup> Юргенс И. Ю., Караганов С. А. и др. Указ. соч. П. 3.5. См. также: *Moshes A. Overcoming Unfriendly Stability. Russian-Latvian Relations at the End of the 1990s.* Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti; Bonn: Institut für Europäische Politik, 1999. P. 45—46.

<sup>2</sup> См.: Заявление представителя МИД России. 1999. 15 июля // Дипломатический вестник. 1999. № 8. С. 26; *Резцов А.* РФ против нового латвийского закона о языке // Независимая газета. 1999. 12 декабря. Закон о языке, подписанный президентом Латвии 20 декабря 1999 года, предписывает использование латвийского языка в государственном секторе и в тех областях частного сектора, которые касаются здравоохранения, безопасности и т. д. В частности, он требует использовать государственный язык при проведении всех публичных мероприятий, а также устанавливает максимальную долю теле- и радиовещания на иностранных языках. Одно из самых спорных положений закона — требование определенного уровня знания языка, подтвержденного государственным сертификатом, при приеме на работу.

Вентспилса<sup>1</sup>. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и такой фактор, как вероятное стремление российских предпринимателей установить контроль над вентспилеским нефтяным терминалом, который как раз в это время готовили к приватизации<sup>2</sup>. Наконец, ясно, что нефтяное лобби воспользовалось кризисом также в целях «проталкивания» проекта строительства Балтийской трубопроводной системы<sup>3</sup>, который в то время еще не пользовался единодушной поддержкой, а зависимость проекта от государственного финансирования и гарантий делала его уязвимым перед лицом изменений текущей политической ситуации.

Признавая, что за кризисом стояли мощные экономические интересы, не следует, однако, забывать и другой фактор, сделавший возможным именно такое развитие событий. Феноменальный успех Юрия Лужкова, главного «защитника соотечественников», популярность которого за пределами Москвы стала быстро расти именно в 1998 году, показывает, что общество было готово одобрить именно такую политическую риторику. Конечно, нельзя приписывать возросшую популярность Лужкова исключительно его антилатвийской кампании, но очевидно, что его выступления резонировали с логикой ожидаемого, уже к тому времени сформировавшейся на общероссийском уровне, — более того, московский мэр с помощью грамотной политической риторики воспроизводил и модифицировал эту логику, чтобы максимизировать собственный политический капитал. Другие политики вынуждены были следовать его примеру. Восхождение Владимира Путина на вершину российского политического олимпа было бы невозможным без его демонстративно жесткой позиции перед лицом западной критики в начальный период второй чеченской кампании.

<sup>1</sup> *Perry C. M., Sweeney M. J., Winner A. C.* Strategic Dynamics in the Nordic-Baltic Region: Implications for U.S. Policy. Dulles: Brassey's, 2000. P. 71.

<sup>2</sup> *Jansons A.* Latvian-Russian Relations in Trouble. For How Long? // *The Baltic Review*. 1998. No. 15. P. 5; *Mosbes A.* Op. cit. P. 63.

<sup>3</sup> *Radio Free Europe / Radio Liberty.* Newline. 1998. Vol. 2. Part I. 9 April.

В этой непростой ситуации Кремлю удалось не только добиться маргинализации крайних националистов наподобие Геннадия Зюганова, призывавших к открытой конфронтации с Западом, но и не позволить Лужкову воспользоваться плодами его политического успеха, основа которого была заложена в 1998 году. Не случайно Лужков оказался в итоге в одном лагере с Евгением Примаковым, который действовал в рамках примерно той же дискурсивной практики, критикуя действия НАТО в Косово как свидетельство «двойных стандартов», т. е. нарушения демократических норм во имя демократии и прав человека. Тот факт, что главная борьба в ходе избирательной кампании осени 1999 года развернулась между силами, поддерживавшими Владимира Путина, и блоком «Отечество — Вся Россия», свидетельствует о ведущей роли умеренно националистического дискурса в формировании предпосылок политического действия на данном этапе.

Было бы упрощением объяснять кризис в российско-латвийских отношениях всего лишь как попытку «отвлечь внимание общественности от серьезных проблем, с которыми столкнулась страна»<sup>1</sup>. То, что для стороннего наблюдателя выглядело как согласие между ведущими политическими силами в осуждении «дискриминационной политики латвийских властей», на самом деле было ожесточенной конкуренцией в борьбе за гегемонию, которая, в свою очередь, требовала от участников политического процесса конформности с существующими смысловыми структурами, умения строить свои высказывания в соответствии с логикой ожидаемого, господствующей в обществе на данном этапе. Соответственно, можно утверждать, что в данном случае перед нами первая крупномасштабная попытка российской политической элиты изобразить балтийские государства как воплощение «ложной» Европы, обратившись тем самым к прочно сдентированным смыслам, составляющим исторически сфор-

<sup>1</sup> Perry C. M., Sweeney M. J., Winner A. C. Op. cit. P. 59.



мировавшийся фундамент социально-когнитивной структуры. Эта попытка, безусловно, оказалась успешной: провозглашая собственную приверженность европейским ценностям, таким как права человека и антифашистское наследие, российские политики не без успеха конструировали образ Латвии как «неполноценного» европейца, нарушителя внутренних норм европейского дома, и тем самым утверждали свое право говорить от имени «истинной» Европы.

Важно подчеркнуть, что крайне негативное отношение к балтийским странам характерно отнюдь не только для крайних изоляционистов. Важнейшим элементом российского внешнеполитического дискурса является стремление сохранить за Россией позицию в центре «истинной» Европы независимо от степени ее изоляции на международной арене в связи с чеченским конфликтом. Таким образом, противопоставление России Западу строилось не по дуальной «черно-белой» модели: напротив, возможность для диалога всегда оставалась открытой, поскольку во внешнеполитическом дискурсе продолжали играть ключевую роль европейские ценности. Балтийские государства, и прежде всего Латвия и Эстония, были удобной мишенью для критики в рамках этой дискурсивной практики вследствие положения русскоязычных меньшинств в этих странах. Например, этот вопрос стал центральным для политики России в рамках ОБСЕ накануне и после встречи на высшем уровне в Стамбуле (ноябрь 1999 года). Это позволяло сосредоточивать внимание на «реальных» проблемах «соотечественников» в Латвии и Эстонии, тогда как обвинения по поводу действий российских сил в Чечне отвергались как «надуманные». Директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Владимир Чижов в статье, посвященной итогам Стамбульского саммита, подчеркивал, что «с точки зрения России, вопросы соблюдения прав человека являются важнейшим аспектом деятельности Организации», и одобрительно отзывался о «деятельности организации по вопросу соблюдения прав русскоязычного населения в

странах Балтии»<sup>1</sup>. Эта проблема представлена российским дипломатом как гораздо более значимая, чем якобы имеющие место нарушения прав человека в Чечне.

Это, в свою очередь, подразумевает, что Россия — гораздо более «правильный» европеец, чем балтийские государства, и, более того, что может быть поставлено под вопрос право Латвии, Литвы и Эстонии на присоединение к европейским институтам, на их принадлежность к «цивилизованному миру»<sup>2</sup>. В ожидании жесткой критики по чеченскому вопросу со стороны Европейского совета в Хельсинки в декабре 1999 года российский МИД сделал упреждающий ход, предложив лидерам Евросоюза не принимать решения о начале переговоров о вступлении с Латвией. Эта просьба, разумеется, была проигнорирована Европейским советом, что дало российской прессе возможность выступить с уничижительными комментариями в адрес европейских международных организаций:

Справедливости ради следует сказать, что международные организации (например, ОБСЕ) периодически указывают на антидемократическую политику латвийских властей. Однако делается это от случая к случаю и без той особенной настойчивости, которую западные защитники прав человека проявляют, апеллируя по тем или иным вопросам к России<sup>3</sup>.

Позднее Министерство иностранных дел выступило с подобными намеками также в отношении будущего вступления в ЕС Эстонии<sup>4</sup>. Поддержка лозунга чеченской независимости, столь бескомпромиссно высказывавшаяся некоторыми политическими силами в балтийских государствах, интерпрети-

<sup>1</sup> Чижов В.А. Указ. соч. С. 39—40.

<sup>2</sup> Чернявский Ю. Министр договорился... // Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 10 января.

<sup>3</sup> Реутов А. Указ. соч.

<sup>4</sup> Сообщение МИД России. 14 февраля 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 3. С. 37.

ровалась российской прессой одновременно как доказательство преобладания антироссийских настроений в Прибалтике и как лишнее свидетельство против чеченского сепаратизма — оба довода, таким образом, взаимно подкрепляли друг друга. Установление отношений эквивалентности между прибалтийскими политиками и чеченскими сепаратистами, в свою очередь, давало дополнительные основания для жесткой позиции России в отношении балтийских государств<sup>1</sup>. Примерно то же самое можно сказать и о перспективах вступления балтийских государств в НАТО. Стремление Латвии, Литвы и Эстонии к вступлению в альянс истолковывалось как еще одно доказательство их антироссийских намерений, и наоборот, каждое заявление государств-членов НАТО о готовности принять балтийские республики принималось в качестве нового свидетельства «натовского экспансионизма», чреватого «дестабилизацией обстановки в Балтийском регионе»<sup>2</sup>. При этом если «сочувствие Ичкерии» и стремление «поскорее втолкнуть страну в НАТО» представлялись как вещи взаимообусловленные и взаимодополняющие, то сотрудничество с Россией, по мнению отечественных авторов, неизбежно должно было сворачиваться по мере сближения с США<sup>3</sup>. Российские авторы постоянно упоминали расширение НАТО в числе главных препятствий на пути развития сотрудничества в регионе Балтийского моря<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> См., например: *Долгинский В.* Балтия на стороне Чечни // Независимая газета. 1999. 9 октября; *Лашкевич Н.* Чеченская карта балтийских депутатов // Известия. 1999. 14 октября. С. 4; Сообщение МИД России. 18 января 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 2. С. 39.

<sup>2</sup> *Соколов В.* Москва и Рига никак не помирятся // Независимая газета. 2000. 31 марта. См. также: *Георгиев В., Баранов Н.* Военная интеграция: от Балтики до Памира // Независимая газета. 2001. 23 августа.

<sup>3</sup> *Пайп Р.* Ландсбергис сочувствует Ичкерии // Независимая газета. 1999. 13 ноября.

<sup>4</sup> См., например: *Дерябин Ю. С.* «Северное измерение» политики Европейского Союза и интересы России / Доклады Института Европы. № 68. М.: Экслибрис Пресс, 2000. С. 40; *Суслов Д.* Регион Балтийского моря как фактор европейской безопасности // Балтийские исследования. 2000. № 1. С. 3.

Напротив, «возможный отказ или хотя бы отсрочка в принятии этих стран в НАТО» могли, по мнению петербургских аналитиков, «способствовать улучшению отношений России с Эстонией, Латвией и Литвой»<sup>1</sup>. Представление о балтийских государствах как о будущем плацдарме НАТО подкреплялось смещением акцентов — возможно, не всегда намеренным. Для этого достаточно было анализировать российские интересы в регионе Балтийского моря как лежащие в основном в сфере торговли и транзита, а приоритеты Запада — как исключительно военно-стратегические<sup>2</sup>. Вступление в НАТО характеризовалось как «сомнительная “политическая сверхзадача”», выполнение которой «нанесет весьма серьезный ущерб усилиям по созданию многосторонней системы безопасности в Балтийском регионе, да и европейской безопасности в целом»<sup>3</sup>. Последняя цитата особенно ясно показывает, что в российском дискурсе безопасность была ведущей артикуляционной практикой, притом что угрозы безопасности Российского государства в первую очередь ассоциировались с НАТО. Одной из главных тем практик безопасности на рубеже веков было российское предложение о многосторонних гарантиях безопасности балтийских государств в обмен на их отказ от вступления в НАТО, высказанное президентом Ельциным в 1997 году<sup>4</sup>. Даже Совет по внешней и оборонной политике, с его в целом промосковской позицией, уже в 1999 году охарактеризовал эти предложения как находя-

<sup>1</sup> *Бельтюков С., Пихтов С.* Вступление стран Балтии в НАТО: последствия и упущенные возможности. СПб.: Балтийский исследовательский центр региональных проблем, 2001. С. 1.

<sup>2</sup> *Воронов К.В.* Балтийская политика России: поиск стратегии // *Мировая экономика и международные отношения.* 1998. № 12. С. 19—20.

<sup>3</sup> *Елин В.* Литва спешит в НАТО // *Независимая газета.* 2002. 28 февраля. — Курсив мой. См. также: *Мошес А.* Военно-политическая переориентация стран Центральной и Восточной Европы и Балтии // *Европа. Вчера, сегодня, завтра* / Отв. ред. Н. П. Шмелев. М.: Экономика, 2002. С. 674—688.

<sup>4</sup> См.: *Воронов К.В.* Балтийская политика России. С. 29; *Perry C. M., Sweeney M. J., Winner A. C.* Op. cit. P. 62.

щиеся «в старом русле»<sup>1</sup>. Однако столь заметные авторы, как Константин Воронов (помимо прочего, член упомянутого Совета) и советник МИД Вячеслав Елагин, продолжали ссылаться на эти предложения как на свидетельство наличия доброй воли со стороны России как минимум до 2001 года<sup>2</sup>. Камнем преткновения в отношениях оставалось также предложение России о предоставлении Балтийскому морю безъядерного статуса и о гарантиях неразмещения ядерного оружия на территории балтийских государств после их вступления в НАТО<sup>3</sup>.

Если прибалтийские государства представляли, с точки зрения российских политиков и экспертов, угрозу военной безопасности России по причине их намерения вступить в НАТО, то еще более важен тот факт, что само существование этих государств было вызовом российской национальной идентичности в том виде, как она была артикулирована к концу 1990-х. Она свидетельствовала о слабости России по сравнению с империями, наследницей которых она себя считала, к тому же представители Латвии, Литвы и Эстонии фактически отрицали принадлежность России к европейской цивилизации, критикуя ее за политику в Чечне, за нежелание признать преступную сущность политики сталинского режима и по другим вопросам. Безнадежное отставание России от Прибалтики на пути интеграции в европейские структуры в сочетании с российской интерпретацией положения русскоязычного населения в Латвии и Эстонии порождало ощущение, что Россия подвергалась со стороны Запада намеренной изоляции, и пример балтийских государств интерпретировался как одно из наиболее ярких проявлений политики двойных стандартов<sup>4</sup>. Латвия,

<sup>1</sup> Юргенс И. Ю., Караганов С. А. и др. Указ. соч. П. 5.1.

<sup>2</sup> См.: Воронов К. В. Кому же не хватает диалога? // Дипкурьер НГ. 2000. № 10. 1 июня; Елагин В. И. От Таллина до Москвы непростой путь // Международная жизнь. 2001. № 4. С. 55.

<sup>3</sup> Елагин В. И. Указ. соч. С. 55.

<sup>4</sup> См., например: Баринов Л. А. Забытые соотечественники // Независимая газета. 2002. 17 января.

Литва и Эстония были одним из самых серьезных препятствий на пути утверждения европейской идентичности для России, и именно поэтому они были главной целью артикуляционной практики, конструировавшей «ложную» Европу. Это препятствие на пути к утверждению полноценной европейской идентичности России преодолевалось путем постоянного воспроизводства логики эквивалентности между главными антагонистами России — терроризмом, агрессивным Западом (в лице НАТО) и Прибалтикой — что, в свою очередь, подкрепляло процессы внутривнутриполитической консолидации.

Когда речь шла о будущем членстве стран Балтии в Европейском союзе, оценки были гораздо менее определенными. Как можно предположить, исходя из материалов предшествующих глав, это вызвано тем, что Европейский союз в современной России встроен главным образом в цепочки означающих, имеющих положительную эмоциональную окраску, является одним из институциональных воплощений «истинной» Европы, поэтому его готовность принять в свой состав «ложную» Европу не может не вызывать противоречий. С одной стороны, официальная Россия надеялась на то, что вступление в ЕС сделает прибалтийские государства более «цивилизованными» и это приведет как к улучшению двусторонних отношений с этими странами, так и к появлению новых возможностей в диалоге между Россией и Евросоюзом<sup>1</sup>. С другой стороны, в Москве явно ощущалось беспокойство по поводу присоединения к ЕС «блока государств, приверженных остаточной антироссийской риторике»<sup>2</sup>, на которые к тому же будет труднее оказывать давление после того, как они станут членами

<sup>1</sup> *Trenin D.* Security Cooperation in North-Eastern Europe: A Russian Perspective // *Trenin D., Van Ham P.* Russia and the United States in Northern European Security. Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti; Bonn: Institut für Europäische Politik, 2000. P. 38—39.

<sup>2</sup> *Иванов И.Д.* Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, последствия // *Мировая экономика и международные отношения.* 1998. № 9. С. 32. См. также: *Trenin D.* Op. cit. P. 35—36.

Союза. В докладе Совета по внешней и оборонной политике будущее вступление балтийских государств в ЕС на протяжении нескольких страниц сначала приравнивается к вступлению в НАТО (т. е. фактически описывается как проявление западного экспансионизма), затем приветствуется как могущее привести к появлению новых возможностей в их экономическом сотрудничестве с Россией. После этого, как ни странно, следует тезис о том, что причины нестабильного экономического развития Латвии, Литвы и Эстонии следует искать в их политике всемерного укрепления экономических связей с ЕС вопреки тому факту, что они «практически неразрывно связаны с Россией»<sup>1</sup>. Таким образом, идентичность ЕС в том виде, как она была определена в российском дискурсе, подвергалась заметной дислокации вследствие перспективы присоединения «ложной Европы» уже в период 1999—2001 годов.

Крайне негативный, за немногими исключениями, образ балтийских государств привел к тому, что на протяжении конца прошлого и первых лет текущего десятилетия порицание Латвии, Литвы и Эстонии за разного рода «недружественные акты» стало рутинной практикой российского МИДа. Наиболее острыми были высказывания, апеллирующие к исторической памяти о борьбе с нацизмом: так, в заявлениях по поводу процесса над бывшим партизаном Василием Кононовым Москва вплотную подошла к обвинению Риги в профашистской позиции, утверждая, что Латвия близка к прямой пропаганде нацизма<sup>2</sup>. Обвинения в «пронацистских симпатиях» выдвигались и в отношении эстонских властей<sup>3</sup>. С другой стороны, эффект от каждого отдельного выступления в значительной мере сни-

<sup>1</sup> *Ознобищев С. К., Юргенс И. Ю., Воронов К. В., Мошес А. Л.* Указ. соч.

<sup>2</sup> Сообщение МИД России. 17 марта 2000 г. // *Дипломатический вестник* 2000. № 4. С. 47—48. См. также: Сообщение МИД России. 24 января 2000 г. // *Дипломатический вестник* 2000. № 2. С. 41; Сообщение МИД России. 1 марта 2000 г. // *Дипломатический вестник* 2000. № 4. С. 39; *Соколов В.* Москва и Рига никак не помирятся.

<sup>3</sup> Сообщение МИД России. 14 февраля 2000 г.

жался от того, что критика балтийских государств при каждой удобной возможности почти превратилась для российской дипломатии в ритуал: российские дипломаты поднимали вопрос о нарушениях прав человека в Латвии и Эстонии во время встреч с министром иностранных дел Финляндии и Верховным комиссаром ООН по правам человека<sup>1</sup>, с Генеральным секретарем Совета Европы<sup>2</sup>, на сессиях Совета государств Балтийского моря<sup>3</sup> и едва ли не каждый раз, когда речь так или иначе заходила об ОБСЕ<sup>4</sup>. При этом подчеркивалось, что власти балтийских государств (особенно Латвии) нарушают именно *европейские* стандарты: об этом говорят хотя бы такие газетные заголовки, как «Рига против европейских стандартов»<sup>5</sup> или «Латвийские националисты хотят обмануть Европу»<sup>6</sup>.

Таким образом, балтийские государства занимают в российском дискурсе позицию «ложной» Европы, которая служит конституирующим Иным для формирования идентичности Европы «истинной», в центре которой находится Россия. Тем самым обеспечивается постоянное подтверждение европейской идентичности России в ответ на обвинения в нарушении ею европейских норм. Еще одним примером работы данного дискурсивного механизма может служить ответ Владимира Путина в марте 2000 года на послание двухсот американских конгрессменов, настаивавших на необходимости борьбы с антисемитизмом в

<sup>1</sup> Рабочий визит Э. Туомиоя в Россию // Дипломатический вестник. 2000. № 5. С. 12; Хроника. 4 апреля 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 5. С. 53.

<sup>2</sup> *Radio Free Europe / Radio Liberty*. Newslines. 2000. Vol. 4. Part I. 11 May.

<sup>3</sup> Сообщение МИД России. 31 марта 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 4. С. 57; *Иванов И. С.* Выступление И. С. Иванова на IX сессии Совета государств Балтийского моря // Дипломатический вестник. 2000. № 7. С. 28.

<sup>4</sup> *Чижев В. А.* Указ. соч. С. 39—40; *Гусаров Е. П.* Указ. соч.

<sup>5</sup> *Соколов В.* Рига против европейских стандартов // Независимая газета. 2000. 18 мая.

<sup>6</sup> *Долгинский В.* Латвийские националисты хотят обмануть Европу // Независимая газета. 1999. 31 августа.



России. Российский президент призвал американских парламентариев «решительно осудить руководство тех стран, где ветераны-антифашисты подвергаются преследованиям, тогда как бывшие нацисты остаются незамеченными»<sup>1</sup>. Действительно, такие авторитетные международные организации, как Центр Симона Визенталя, обращали внимание на нежелание властей прибалтийских государств вплоть до недавнего времени активно заняться поиском и наказанием пособников нацистов, в том числе и тех, кто был напрямую замешан в преследованиях евреев<sup>2</sup>. Этот факт позволял исследователям говорить о предвзятости правоохранительных органов прибалтийских государств, однако при этом также отмечалось, что нежелание Москвы даже ставить вопрос о преступлениях сталинского режима в Прибалтике также свидетельствует о предвзятом подходе<sup>3</sup>. По позднему признанию представителей российского журналистского сообщества, «лексика периода Второй мировой войны» была едва ли не обязательным элементом любых публикаций о положении дел в Латвии, Литве и Эстонии в 1998—2000 годах<sup>4</sup>.

При этом эффективность дискурсивных механизмов и прочность лежащих в их основе седиментированных структур мало зависит от того, насколько искренне произносятся те или иные

<sup>1</sup> Цит. в переводе с английского по: RFE/RL, *Newsline*, vol. 4, part I, 23 March 2000.

<sup>2</sup> *The Failure to Prosecute Nazi War Criminals in Lithuania, Latvia, and Estonia, 1991—2002*. Los Angeles: Simon Wiesenthal Center, 2002. Отчет 2006 года отмечает значительное улучшение ситуации в Латвии и Литве на фоне полного провала в Эстонии: *Wiesenthal Center Annual Report on Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals Reveals Dramatic Rise of 320% in Convictions...* April 23, 2006. <http://www.wiesenthal.com/site/apps/nl/content2.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=245494&ct=2230591>.

<sup>3</sup> *Kramer M.* NATO, the Baltic States and Russia: A Framework for Sustainable Enlargement // *International Affairs*. Vol. 78. 2002. No. 4. P. 737.

<sup>4</sup> *Калашиникова М., Калашиников В.* Проект «Эстония» // *Независимая газета*. 2001. 7 июня.

слова автором высказывания. Так, в середине ноября 1999 года Государственная дума приняла Закон о поддержке российских граждан в Латвии, резолюцию, осуждающую проект латвийского закона о языке, и проголосовала во втором чтении за введение санкций против Латвии. Как сообщали информационные агентства, после голосования председатель Комитета по иностранным делам Госдумы Владимир Лукин сказал латвийскому премьер-министру Андрису Шкеле: «Не принимайте эти вещи близко к сердцу, у нас предвыборные времена!»<sup>1</sup> И действительно, немедленно по завершении сезона выборов, в начале апреля 2000 года, Дума отвергла законопроект о санкциях — при этом, насколько можно судить, все вздохнули с облегчением<sup>2</sup>. Это, однако, не отрицает того факта, что в ситуации предвыборной неопределенности интенсификация популистского антагонизма между Россией и «ложной», враждебной Европой была необходима для максимально возможного распространения цепочек эквивалентности внутри сообщества, «консолидации» российского общества вокруг позиции Кремля. Это, в свою очередь, вело к маргинализации любой оппозиции, вынужденной либо воспроизводить гегемоническую артикуляцию и тем самым укреплять позиции «партии власти», либо рисковать быть вытесненной за пределы политического поля во «внешний» мир в качестве «пятой колонны». Как показали результаты выборов, популистский антагонизм работал на уровне дискурсивной реальности, вне зависимости от мнения отдельных людей, вовлеченных в политический процесс.

Правильность этого заключения подтверждает и тот факт, что в период потепления отношений между Россией и Западом в 2002—2003 годах фигура «ложной» Европы стала менее заметной в российском политическом дискурсе. Разумеется, это немедленно сказалось и на отношениях с балтийскими государствами. Еще в начале 2002 года в российской прессе мож-

<sup>1</sup> Цит. в переводе с английского по: *Radio Free Europe / Radio Liberty*. Newline. Vol. 3. 1999. Part II. 22 November.

<sup>2</sup> *Radio Free Europe / Radio Liberty*. Newline. Vol. 4. 2000. Part I, 6 April.

но было обнаружить выстроенные в полном соответствии с логикой противопоставления «истинной» и «ложной» Европы, утверждавшие, например: «пока в странах Балтии будут притеснять русское население, Россия не перестанет напоминать европейским организациям и блокам, кого они собираются привлечь в свои ряды»<sup>1</sup>. Типичным для этого дискурса является также сравнение положения русского языка в Эстонии («ложной» Европе) и шведского в Финляндии (одного из самых бесспорных воплощений «истинной» Европы)<sup>2</sup>. Вместе с тем уже в 2001 году наблюдались признаки того, что позиция прибалтийских государств в российской системе сигнификации стала меняться. О снижении напряженности антагонизма между Россией и Прибалтикой свидетельствовало, в частности, появление взвешенных материалов в изданиях, всегда строго придерживавшихся официальных, государственных позиций. Так, в апрельском выпуске журнала «Международная жизнь» была опубликована статья главного советника Второго европейского департамента МИД РФ Вячеслава Елагина, которая, на первый взгляд, всего лишь повторяла стандартный перечень обвинений против Эстонии как «ложной» Европы: нарушение прав русскоязычного населения, стремление вступить в НАТО, попытки «обелить прислужников нацизма», поддержка чеченского сепаратизма, отказ зарегистрировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата и др. В то же время некоторые высказывания Елагина предлагают новый вариант фиксации ключевых означающих:

<sup>1</sup> *Виноградов М.* Без прав и обязанностей // Известия. 2002. 23 января. См. также: *Чернявский Ю.* В Страсбурге удивляются // Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 18 апреля.

<sup>2</sup> См.: *Шестернина Е.* Нация хочет выжить // Известия. 2002. 5 марта. Финляндия, в отличие от всех прочих бывших западных окраин Российской империи, пользуется почти всеобщей симпатией в России: даже Наталия Нарочницкая отмечает, что «финны в отличие от поляков отнюдь не проявляют враждебности к бывшей “метрополии”»: *Нарочницкая Н.А.* Европа «старая» и Европа «новая» // Международная жизнь. 2003. № 4. С. 58.

Неуместно сравнение современной России, которая дала свободу народам Прибалтики, с бывшим СССР. Русский народ от сталинизма пострадал не меньше. Сегодня Россия хотела бы строить свои непростые отношения с прибалтийскими республиками не на основе психологических комплексов советского периода<sup>1</sup>.

Налицо, во-первых, дифференциация между современной Россией и СССР — позиция, по которой в России преимущественно имеет место или двусмысленность, или стремление оправдать политику сталинского руководства<sup>2</sup>. Во-вторых, не менее четкое различие проводится между советским государством и русским народом. В-третьих, фактически признается наличие у России «психологических комплексов советского периода», но также и стремления их преодолеть.

Серьезная попытка рефлексии по поводу базовых посылок российской дискуссии об Эстонии была предпринята Мариной и Виктором Калашниковыми в их июньской статье в «Независимой газете»<sup>3</sup>. С этих пор Эстония на некоторое время занимает особое место в российском дискурсе, превращаясь скорее в часть «истинной» Европы. Это происходит на фоне общей десекуритизации отношений между Россией и Западом и соответственно Россией и балтийскими государствами. В сущности, радикальная трансформация российского и глобального дискурсов после 11 сентября наконец выполнила сформулированную Дмитрием Трениным еще в 1997 году задачу «постепенно снять взаимные страхи и озабоченности, коренящиеся в историческом опыте, и, таким образом, сделать неактуальным военное измерение безопасности в российско-балтийских отношениях» — задачу, которая характеризовалась им как необходимая предпосылка для более амбициозного плана

<sup>1</sup> *Елагин В. И.* Указ. соч. С. 58.

<sup>2</sup> *Smith K. E.* Whither Anti-Stalinism? // *Ab Imperio*. 2004. № 4. С. 433—448.

<sup>3</sup> *Калашникова М., Калашников В.* Указ. соч.

«превращения Балтийских государств в надежную сцепку между Россией и Западом и формирования модели всестороннего сотрудничества между государствами Балтийского моря»<sup>1</sup>.

Интересно, что немедленно после терактов 11 сентября, когда трансформация позиции Запада по отношению к России явно преувеличивалась отечественными комментаторами, главный редактор журнала «Международная жизнь» Борис Пядышев пытался даже утверждать, что Вашингтон был готов занять более критичную позицию по вопросу о нарушении прав русскоязычного населения в прибалтийских государствах<sup>2</sup>. Вскоре, однако, подобного рода аргументы стали избыточными. Необходимость в фигуре «ложной» Европы для подтверждения европейской идентичности России на время отпала. Появление общего с Западом врага в лице международного терроризма сделало возможным перемещение фокуса практик секьюритизации с национальной идентичности на другие объекты, в результате чего исчезла потребность в антагонистических отношениях с балтийскими соседями, а также в артикулировании вопросов регионального сотрудничества с помощью понятия безопасности. Это привело, в частности, к фактическому прекращению кампании против расширения НАТО. Итоги Пражского саммита Организации Североатлантического договора (ноябрь 2002 года), на котором было принято решение о вступлении в альянс семи государств Центральной и Восточной Европы, а затем и сам факт их присоединения к НАТО и ЕС (март—май 2004 года) не вызвали сколько-нибудь отчетливо выраженной негативной реакции даже со стороны «государственных» изданий наподобие «Независимой газеты». Более того, в этот период можно было отметить некоторые признаки того, что балтийские государства постепенно начинали рассматриваться как часть «истинной» Европы. В этой

<sup>1</sup> Тренин Д. Указ. соч. С. 37.

<sup>2</sup> Пядышев Б. Д. Госсекретарь США пишет письмо в Ригу // Международная жизнь. 2001. № 11. С. 27.

связи чрезвычайно важен не только спокойный и деловой тон рассуждений о подготовке балтийских государств к вступлению в альянс, в том числе о строительстве радаров для наблюдения над воздушным пространством в восточной части Балтийского региона, включая российское, в рамках системы «Балтнет», но и то, что параллельно с этим мог ставиться вопрос о состоянии и перспективах военного сотрудничества государств Прибалтики с Россией<sup>1</sup>. Когда в связи с закрытием сайта «Кавказ-центр» на сервере одной из эстонских компаний, последовавшим вслед за отказом Литвы от продолжения размещения этого сайта на ее территории, представители Ичкерии охарактеризовали действия эстонских властей как «бандитские», российская печать писала об этом так, что сомнений не оставалось: с точки зрения российских журналистов, Эстония и Литва — это часть цивилизованного мира, а бандиты находятся по другую сторону конфликта<sup>2</sup>. Еще более интересно появление — по крайней мере, в Санкт-Петербурге — тенденции к интерпретации опыта балтийских соседей, в особенности Эстонии, в качестве образца для подражания. Журнал «Эксперт Северо-Запад» в восторженных тонах пишет об эстонской реформе жилищно-коммунального хозяйства<sup>3</sup>, а статья в «Известиях» на ту же тему имеет очень характерный заголовок: «От Москвы до Таллина уже далеко»<sup>4</sup>. Ренальд Симонян приходит к выводу о том, что приватизация в Латвии, Литве и Эстонии прошла гораздо более успешно, чем в России<sup>5</sup>. Нако-

<sup>1</sup> См.: *Юрьев И.* Рига не исключает развертывания объектов НАТО // Независимое военное обозрение. 2002. 6 декабря.

<sup>2</sup> См., например: *Валхонский Б., Водо В.* Чеченские сепаратисты обвинили Эстонию в бандитизме // Коммерсант. 2003. 5 мая.

<sup>3</sup> *Иванов В.* Обретение смысла // Эксперт Северо-Запад 2003. 27 января. С. 10—12.

<sup>4</sup> *Сагдиев Р.* От Москвы до Таллина уже далеко // Известия. 2002. 1 марта.

<sup>5</sup> *Симонян Р. Х.* Приватизация по-прибалтийски и по-российски // Свободная мысль — XXI. 2004. № 5. С. 23—42.

нец, в петербургском метро появляется реклама краски, произведенной «по эстонской технологии»<sup>1</sup>: эта информация, по всей видимости, говорит об уверенности рекламодателя в том, что упоминание Эстонии вызовет у адресата позитивные эмоции, заставит его поверить в действительно высокое качество рекламируемого продукта. Налицо вхождение Эстонии в тот же круг означающих, что окружают и понятие «Европа» (качество, высокий уровень жизни и т. п.).

В мае 2003 года наконец-то был ратифицирован договор о границе с Литвой, подписанный еще в 1997 году<sup>2</sup>. В июне того же года Россия согласилась ликвидировать институт уполномоченного СГБМ по демократическому развитию — так к тому времени стал называться этот пост, изначально созданный по инициативе России как уполномоченный по демократическим институтам и правам человека. Насколько можно судить, российская пресса полностью проигнорировала это решение — даже Министерство иностранных дел сообщило о нем лишь мимоходом в краткой «Справочной информации» об СГБМ на своем сайте<sup>3</sup>. Разумеется, институт уполномоченного никогда не работал так, как хотелось бы Москве, и его упразднение отнюдь не означало, что Россия отказалась от защиты прав русскоязычных меньшинств в государствах Прибалтики. Тем не менее сам факт, что российское общественное мнение оказалось столь равнодушным к судьбе этого института, все же имеет значение.

Интересно также отметить, что в выступлении Анатолия Чубайса по поводу его проекта «либеральной империи», выд-

<sup>1</sup> Реклама краски «Korall» в Санкт-Петербургском метрополитене. — Наблюдения автора, май—июнь 2003 г.

<sup>2</sup> *Oldberg I. Foreign Policy Priorities under Putin: A tour d'horizon // Russia as a Great Power: Dimensions of Security under Putin / Ed. by Jakob Hedenskog et al. London: Routledge, 2005. P. 34—35.*

<sup>3</sup> Министерство иностранных дел Российской Федерации. Совет государств Балтийского моря (справочная информация). 2003. 30 сентября. <http://www.mid.ru/ns-dos.nsf/45682f63b9f5b253432569e7004278c8/8940ee4394d6cff043256db10054332f?OpenDocument>.

винутого в разгар кампании по выборам в Думу в 2003 году, балтийские государства не упоминаются вовсе. Внешняя граница «либеральной империи» совпадает у Чубайса с границами СНГ, тогда как принадлежность Латвии, Литвы и Эстонии к сфере влияния ЕС и НАТО принимается как само собой разумеющаяся<sup>1</sup>. Никто из политических противников Чубайса не счел необходимым возразить против этого допущения, что само по себе составляет яркий контраст с дебатами о расширении НАТО и его возможных негативных последствиях, продолжавшимися вплоть до 2002 года.

Эта тенденция позволяет говорить о том, что на протяжении некоторого времени в период наиболее интенсивного сотрудничества России и США в рамках антитеррористической коалиции Эстония, Литва и Латвия (вероятно, именно в таком порядке) воспринимались как часть «истинной» Европы, у которой России не грех и поучиться и с которой во всяком случае нужно дружить. Даже раскол Европы на «старую» и «новую» в связи с войной в Ираке не смог на первых порах помешать этой трансформации: скорее желание политических кругов стран Центральной и Восточной Европы во что бы то ни стало поддержать США в конфликте вокруг Ирака было воспринято добродушно, как проявление незрелости «новой» Европы, а не ее враждебности. Это отношение прекрасно выражает иллюстрация к статье в журнале «Эксперт Северо-Запад», посвященной развитию фондовых рынков прибалтийских стран: на ней были изображены трое мальчиков, запускающих в луже на улице старого европейского города кораблик с символом евро на парусе<sup>2</sup>. Хотя материал как таковой не имел никакого отношения к иракскому конфликту и был опубликован до раскола Европы по вопросу об отношении к политике

<sup>1</sup> Чубайс А. Б. Миссия России в XXI веке // Независимая газета. 2003. 1 октября.

<sup>2</sup> Марина Красильникова. Иллюстрация к статье: *Иванов В, Крючкова Е.* Перспективная модель // Эксперт Северо-Запад. 2003. 17 февраля. С. 20.



Буша-младшего, иллюстрация предвосхитила интерпретацию темы «новой» Европы в российском политическом дискурсе как Европы в становлении, Европы молодой — а молодости, как известно, свойственно ошибаться<sup>1</sup>. Это ироническое отношение очевидно и в таком, например, заголовке статьи в «Коммерсанте»: «Поляки выбрали в европейчики»<sup>2</sup>. В данном случае эксплуатируются различия между двумя славянскими языками: польское слово, означающее «европеец», в русском приобретает забавное уменьшительное звучание.

В большинстве публикаций того периода тема инфантилизма звучит таким образом, что не предполагает эквивалентности между «новой» Европой и структурной позицией «ложной» Европы. Напротив, отсутствие согласия между старыми и новыми членами ЕС интерпретируется как внутриевропейская проблема, одним из источников которой являются империалистические тенденции в политике самого ЕС<sup>3</sup>. Главный редактор влиятельного журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, к примеру, отказывается принять факт открытой поддержки иракской кампании такими странами, как Чехия, Венгрия и Польша, в качестве свидетельства их «стремления выслужиться перед большим американским братом, перед которым Восточная Европа всегда благоговела больше, чем перед соседями-европейцами». По его мнению, здесь скорее следует видеть «попытку “новой Европы” добиться обещанного ей равноправия в рамках большого интеграционного проекта». Вме-

<sup>1</sup> Ирина Хакамада, напротив, объясняет поддержку США со стороны стран Центральной и Восточной Европы холодным расчетом, но в ее интерпретации на первое место выдвигается готовность «новой» Европы играть роль *младших* партнеров США: Хакамада И. Возлюбил ближнего своего // Независимая газета. 2003. 26 мая.

<sup>2</sup> Водо В. Поляки выбрали в европейчики // Коммерсант. 2003. 10 июня. См. также: Грачев А. Маленькая «восьмерка» // Новое время. 2003. 9 февраля.

<sup>3</sup> По мнению журнала «Итоги», Жак Ширак и Герхард Шредер «увлеченно восстанавливают империю Карла Великого»: Сухова С. Одинокое НАТО желает познакомиться // Итоги. 2003. 20 мая.

сто противопоставления зрелой Европы ЕС и инфантильных государств-претендентов Лукьянов распространяет тему инфантилизма на всю Европу, которой в его интерпретации еще предстоит достичь полноценной субъектности:

Иракский кризис продемонстрировал, насколько Европа далека от того, чтобы добиться поставленной цели — стать мощным самостоятельным игроком на мировой арене... Пока же потолком военно-политической самостоятельности Старого Света остается командование миротворческой операцией в Македонии — после того, как основные балканские проблемы уже решены при помощи американского кулака<sup>1</sup>.

Представление о том, что весь общеевропейский дом находится в беспорядке, помимо прочего, позволяет России дистанцироваться от Европы и претендовать на роль «равного партнера» Соединенных Штатов в глобальной геополитической игре, тогда как европейцам отводится статус «младших партнеров» Вашингтона<sup>2</sup>.

Чтобы оценить масштаб перемен, которые произошли в самоопределении российского общества на протяжении всего лишь нескольких лет, достаточно сравнить снисходительное отношение к «новой» Европе в момент начала иракской кампании с крайней степенью антагонизации «ложной» Европы в период косовского конфликта. Как война НАТО против Югославии, так и нападение США на Ирак были, с российской точки зрения, акциями, предпринятыми «вопреки принципам и нормам международного права и Устава ООН» и свидетельствовавшими о стремлении насаждать на международной арене «кулачное право»<sup>3</sup>. В обоих случаях речь могла идти о дей-

<sup>1</sup> Лукьянов Ф. Единство и борьба // Время новостей. 2003. 12 февраля.

<sup>2</sup> Сухова С. Указ. соч.

<sup>3</sup> Путин В. В. Заявление на совещании с руководителями Правительства, Администрации Президента и силовых ведомств по ситуации в Ираке. 2003. 20 марта. <http://www.kremlin.ru/appears/2003/03/20/>

ствиях, противоречащих геополитическим интересам России, и о подрыве международно-правовой системы, но никак не о непосредственной угрозе военной безопасности. Тем более очевиден контраст между тотальным расширением цепочек эквивалентности в ситуации крайней секьюритизации, имевшей место в 1999 году, и относительным балансом между логикой эквивалентности и различия, характерным для 2003 года. Разумеется, причины этих различий лежали за пределами двусторонних отношений между Россией и государствами Прибалтики, и этот факт сам по себе демонстрирует значение смысловых связей в дискурсе как целостной реляционной системе.

Ироничное отношение к «новой» Европе — это, безусловно, проявление глубокого сдвига в гегемоническом дискурсе, который открывает пространство для отношений различия. В условиях тотального антагонизма возможен сарказм (который как раз был более чем характерен для дискуссии по поводу Косово и Прибалтики в 1999 году), но никак не ирония. Учреждение замкнутого сообщества, во всей своей целостности противостоящего внешнему миру, предполагает, что отрицание конституирующего иного воспринимается всерьез как абсолютная оппозиция Добра и Зла, поскольку от этого отрицания зависит само существование сообщества, граница между его внутренним миром и внешними сферами угрозы и войны. Сарказм направлен против качеств врага, полностью противоположных нашим, в то время как ирония обращена на слабости, свойственные всем людям, и тем самым подчеркивает общность, а не различие — любая ирония, в сущности, является самоиронией. В каком-то смысле можно даже утверждать, что ирония высмеивает границу между «Я» и Другим, которую пытаются укрепить «серьезная» политика.

0001\_type63374type63378type82634\_40898.shtml. Ср. эти высказывания президента по поводу начала войны в Ираке с ранее цитировавшимися оценками косовской кампании.

Несмотря на отчетливый контраст между отношением к балтийским государствам в 1998—2000 и 2002—2004 годах, не следует, конечно, преувеличивать необратимость исчезновения фигуры «ложной» Европы из отечественного политического дискурса. В 1999—2000 годах позиция наиболее радикального критика прибалтийских республик была занята российским государством, которое вытеснило с этого дискурсивного поля потенциальных конкурентов (таких как Юрий Лужков). В 2003 году государство как единый игрок, представленный в России в первую очередь президентской администрацией, с этого поля ушло, не нуждаясь более в антагонистическом противостоянии с балтийскими соседями для стабилизации гегемонического дискурса. Окончание антагонистической фазы в отношениях между Россией и прибалтийскими государствами, однако, не означает, что антагонизм как явление утрачивает свое конституирующее значение или приобретает иную, более демократическую форму. Более того, безопасность как форма артикуляции и радикализации антагонизма продолжает доминировать в российском дискурсивном пространстве. После 11 сентября несколько изменилась артикуляция референтов дискурса безопасности и угроз — в частности, помимо национального сообщества, в качестве угрожаемого референта теперь чаще выступают Европа и цивилизованный мир, но референтом практик безопасности по-прежнему выступает идентичность сообщества, как бы ни артикулировались его границы. Перед нами по-прежнему популистский антагонизм — или, выражаясь точнее, группа антагонизмов, которые распространяют отношения эквивалентности на все идентичности внутри конституируемых ими сообществ, сужая круг возможностей для плюралистических демократических артикуляций.

В таких условиях локальные десекуритизации не могут быть надежными и долговременными, что подтвердила, в частности, избирательная кампания 2003 года. Вновь, как и четырьмя годами ранее, политические игроки вступили в соревнование за статус лучшего защитника национальных интересов, что

неизбежно привело к нагнетанию страстей и выразилось, в частности, в использовании образа балтийских государств как Иного внутри Европы. В ходе кампании председатель думского Комитета по международным делам Дмитрий Rogozin охарактеризовал Латвию как страну «хулиганов», которой управляют нацисты<sup>1</sup>, после чего Дума приняла резолюцию, осуждающую Латвию за нарушение прав русскоязычного меньшинства, и в очередной раз пригрозила ей экономическими санкциями<sup>2</sup>.

Более того, по мере нарастания негативных тенденций в отношениях между Россией и Западом в 2004—2007 годах положение прибалтийских стран в российском дискурсе вновь сместилось и сблизилось со структурной позицией «ложной» Европы. В частности, затяжной кризис в отношениях между Россией и Европейским союзом нередко объясняют тем, что, говоря словами помощника президента Сергея Ястржембского, новые члены ЕС «привнесли в Евросоюз дух примитивной русофобии»<sup>3</sup>. По мнению российского посла в Риге Виктора Калужного, «закономерным итогом» нежелания Латвии наладить нормальные отношения с Россией стал тот факт, что наряду с Польшей она «по уровню социально-экономического развития оказалась на одном из последних мест в Евросоюзе»<sup>4</sup>. В «Обзоре внешней политики Российской Федерации», подготовленном МИД России в марте 2007 года, также отмечаются «попытки ряда стран, присоединившихся к Евросоюзу в 2004 году, “воспользоваться” преимуществами членства для реализации своих политических задач на российском направлении, пре-

<sup>1</sup> Radio Free Europe / Radio Liberty. Baltic States Report. Vol. 4. 2003. No. 33. 13 October.

<sup>2</sup> *Родин И.* Дума пригрозила Латвии санкциями // Независимая газета. 2003. 15 октября.

<sup>3</sup> *Меликова Н.* «Эти люди привнесли в Евросоюз дух примитивной русофобии» [Интервью с Сергеем Ястржембским] // Независимая газета. 2004. 17 ноября.

<sup>4</sup> *Калужный В.* Виден ли свет в конце тоннеля? // Парламентская газета. 2006. 2 ноября.

вращая отношения Россия—ЕС в “заложника” собственных узконациональных интересов»<sup>1</sup>. Значительную роль в восстановлении антагонистических отношений между российской и прибалтийской идентичностями сыграли отказ президентов Литвы и Эстонии от участия в праздновании 60-летия победы в Великой Отечественной войне<sup>2</sup>, установка в местечке Лихула в 2004 году памятника эстонским частям, сражавшимся на стороне нацистской Германии (снесенного через месяц по требованию премьер-министра Юхана Пяртса)<sup>3</sup> и в Таллине в 2005 году<sup>4</sup>, провал ратификации российско-эстонского пограничного договора и перенос памятника советским солдатам в Таллине<sup>5</sup>.

Споры вокруг «бронзового солдата», впервые после распада СССР приведшие к массовым беспорядкам в эстонской столице, вновь привели к появлению в официальных документах обвинений в «проявлениях неонацизма... включая попытки героизации бывших эсэсовцев»<sup>6</sup>. Немедленно возродилась и тема

<sup>1</sup> Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации. [http://www.mid.ru/bpr\\_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD](http://www.mid.ru/bpr_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD).

<sup>2</sup> См.: *Onken E.-C.* The Baltic States and Moscow's 9 May Commemoration: Analysing Memory Politics in Europe // *Europe-Asia Studies*. Vol. 59. 2007. No. 1. P. 23—46.

<sup>3</sup> *Сорокина Н.* Ваффен-СС рвутся в историю // *Российская газета*. 2004. 18 августа; *Ее же.* Битва за место на кладбище // *Российская газета*. 2004. 7 сентября. См. также: *Onken E.-C.* Op. cit. P. 36.

<sup>4</sup> *Шестаков Е.* Эстония отомстила за границу // *Российская газета*. 2005. 5 сентября; *Сорокина Н.* Игры патриотов // *Российская газета*. 2005. 17 октября.

<sup>5</sup> Проблема «бронзового солдата» как симптом проблем, существующих в эстонском обществе, подробно анализируется в книге Александра Астрова: *Астров А.* Самочинное сообщество: политика меньшинств или малая политика? Таллинн: Издательство Таллиннского университета, 2008.

<sup>6</sup> Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации. Информационное агентство «Регнум» завело даже специальное досье на тему «Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве», см.: <http://www.regnum.ru/dossier/273.html>.

введения экономических санкций против Эстонии — разговор об этом начал в апреле 2007 года, еще до переноса памятника, первый вице-премьер Сергей Иванов<sup>1</sup>. Официальные санкции так и не были введены, однако в результате действий российских транспортных и торговых компаний (в первую очередь ОАО «Российские железные дороги») российский транзит через Эстонию сократился на 40%, а общие потери эстонской экономики за год после «бронзовой ночи» составили 3% валового внутреннего продукта<sup>2</sup>. Столь значительные последствия кризиса для Эстонии объясняются, помимо прочего, улучшением российско-латвийских отношений: балтийские порты продолжают играть важную роль в российской внешней торговле<sup>3</sup>, однако грузопотоки удалось перенаправить через латвийские порты.

Как справедливо отмечает Константин Воронов, попытки укрепления национальных идентичностей через их обоюдное противопоставление имеют место с обеих сторон:

Правящие балтийские элиты воспринимают Россию как потенциальную угрозу национально-государственной безопасности. Размежевание с бывшей «империей» в русле радикального национализма укрепляет их идентичность и партнерство в евroatлантических структурах...

Внутриполитический маятник в России движется в сходном с балтийским направлении, из месяца в месяц все больше добавляется державных оттенков, национал-патриотических обертонов<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Россия и Эстония: снос памятника в обмен «на кисломолочные продукты» // Независимая газета. Новости. 2007. 3 апреля. <http://news.ng.ru/2007/04/03/1175598968.html>.

<sup>2</sup> Ленский М., Фильченко Н. Война-освободителя возвращают в строй // Коммерсант. 2008. 25 апреля.

<sup>3</sup> Примаков Е. М. Будут ли действительны экономические санкции против Эстонии? // Московские новости. 2007. 11 мая.

<sup>4</sup> Воронов К. Разблокировать балтийское направление // Дипкурьер НГ. 2006. 24 апреля.

В то же время круг «претендентов» на роль «ложной» Европы существенно расширился: так, главным оппонентом Москвы внутри ЕС сегодня выступает Варшава, особенно после того, как Польша заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового договора взамен Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994 года. Столь различные по характеру и последствиям, но одинаково символические акции российского правительства, как учреждение праздника 4 ноября в память о капитуляции польского гарнизона в Москве в 1612 году и введение запрета на импорт польского мяса, свидетельствуют о том, что именно Польше сегодня отводится роль главного антагониста среди государств — членов ЕС. Отношения эквивалентности между Прибалтикой и Польшей, например, очевидны в книге Наталии Нарочницкой, посвященной отстаиванию права современной России на эксплуатацию героического нарратива Великой Отечественной войны<sup>1</sup>. Что касается собственно позиции «незаконных претендентов» на звание подлинно европейских государств и членство в европейских структурах, то есть стран, не входящих пока в ЕС, но уже обласканных вниманием Западной Европы и США, то ее сегодня с успехом занимают Грузия и Украина.

Логика эквивалентности сегодня тоже успешно работает: так, например, Вагиф Гусейнов воспроизводит образ враждебного окружения, утверждая, что «антироссийская» позиция Эстонии инспирирована странами Западной Европы:

Самостоятельно сформулировать, а тем более практически взяться за столь серьезную «антидуховную» задачу маленькая Эстония не могла. Она лишь воспользовалась ситуацией, чтобы привлечь к себе внимание, стать неким форпостом антироссийских, а затем профашистских настроений. При этом отнюдь не бескорыстно. Факты показывают: беспринципный политический «биз-

<sup>1</sup> *Нарочницкая Н.А.* За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, 2005. С. 20—21, 36—41, 48—52.



нес по-эстонски» приносит хорошие дивиденды. С мая 2004 года (как раз в тот период, когда эстонская политика начала особенно явный разворот к профашистской направленности) для Эстонии стала доступна помощь из всех пяти структурных фондов ЕС.

...За проявления национализма и профашистскую политику Европейский союз не только гладит Эстонию по голове, но и субсидирует ее гораздо щедрее, чем других новичков ЕС<sup>1</sup>.

Более того, буквально вслед за постулированием эквивалентности между Эстонией и Евросоюзом в целом (Эстония против России, ЕС поддерживает Эстонию, следовательно, ЕС против России) автор проводит еще одну параллель — между Советским Союзом и современными США, Францией и Великобританией:

А между тем возникает вполне законный вопрос: если советские солдаты, освобождавшие Эстонию, были бандитами, то, очевидно, бандитами были и их союзники по антигитлеровской коалиции — американцы, французы, англичане? Очевидно, по эстонской логике, их теперь надо величать не союзниками, а поделщиками<sup>2</sup>.

В данном случае отношения эквивалентности призваны подчеркнуть тот факт, что во Второй мировой войне СССР сражался на «правильной» стороне, и, следовательно, попытки осудить Россию как его наследницу за преступления сталинского режима аморальны.

Александр Привалов, в свою очередь, проводит параллель между принятием на Украине закона, признавшего голодомор 1932—33 годов геноцидом украинского народа, и эстонский законопроект, запрещающий символику «оккупационных ре-

<sup>1</sup> Гусейнов В. Духовный терроризм — новая угроза // Независимая газета. 2007. 13 марта.

<sup>2</sup> Там же.

жимов». При этом Эстония выступает своего рода стандартом аморальности:

Снос памятников павшим победителям Гитлера, уничтожение или цензурирование их могил... угроза тюрьмой старику-победителю, посмевавшему надеть боевые награды, — всё это не оставляет порядочному человеку выбора: настойчивое стремление реваншироваться в войне с беззащитными стариками и с мертвыми омерзительно<sup>1</sup>.

Однако меньшая интенсивность антагонистических отношений в современной ситуации оставляет возможность сопоставить отношения эквивалентности между недоброжелателями России и отношения различия, в которых часть вины за напряженность в российско-украинских отношениях ложится на «своих», источник проблемы локализуется во внутривнутриполитическом пространстве, а не вытесняется вовне:

...По поводу Сталина и сталинизма в медийном пространстве сосуществуют полярные, а в истеблишменте прижились уклончивые точки зрения: мол, ни восхвалять особо не стоит, ни поносить — история еще разберется... Морить миллионы своих граждан, одновременно наращивая экспорт зерна по демпинговым ценам, — преступление в какой угодно системе человеческих координат. И об этом нужно сказать громко и внятно. До тех пор пока на Украине против русофобского подтекста закона о голодоморе протестуют большей частью люди, обличающие в нем «антироссийскую и антикоммунистическую» направленность, добра не будет...<sup>2</sup>

Автор, таким образом, далеко не готов солидаризироваться с любой пророссийской позицией, для него политический мир

<sup>1</sup> Привалов А. О голодоморе и советской символике // Эксперт. 2006. 4 декабря.

<sup>2</sup> Там же.

не делится исключительно на сторонников и противников России — то есть демократическая логика различий преобладает в данном случае над популистской логикой эквивалентности. Да и положение прибалтийских стран в российском дискурсе, несмотря на господствующее негативное к ним отношение, все же не находится сегодня лишь в сфере чистого отрицания — это, в частности, можно подтвердить фактом подписания в марте 2007 года российско-латвийского соглашения о границе, которое положило конец многолетнему вялотекущему спору между двумя странами по поводу территорий и значения Рижского мирного договора 1920 года<sup>1</sup>. Более того, после подписания пограничного договора стороны заявили, что в ближайшее время будет готово к подписанию соглашение о статусе советских воинских захоронений<sup>2</sup>. «Труд», осуждая позицию эстонских властей по поводу таллинского мемориала, обращает внимание на бедственное состояние памятников советским солдатам в российской глубинке<sup>3</sup>: здесь отношения эквивалентности пересекают границы сообщества и потому способствуют не замыканию, а, напротив, дислокации политических структур. Даже кризис вокруг памятника советским солдатам в Таллине был на какое-то время смягчен тем фактом, что президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес в феврале 2007 года отказался подписать принятый парламентом закон о запрещенных сооружениях, который предполагал перенос памятника<sup>4</sup>. Заметное улучшение отношений между Россией и Латвией стало возможным в том числе благодаря осторожной политике латвийских властей в отношении маршей ветеранов Ваффен-

<sup>1</sup> *Симиндей В.* Российско-латвийская безграничность // Московские новости. 2007. 19 января.

<sup>2</sup> *Лапкина Е.* Точка на бумаге // Российская газета. 2007. 28 марта.

<sup>3</sup> *Ухов Е.* Неча на Таллин кивать // Труд. 2007. 4 апреля.

<sup>4</sup> Президент Эстонии: «Мы ведем себя как европейцы» // BBCRussian.com. 2007. 19 февраля. [http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid\\_6376000/6376915.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6376000/6376915.stm); *Никифоров И.* Предвыборные баталии вокруг бронзового солдата // Независимая газета. 2007. 1 марта.

СС: так, после международного скандала по поводу дня памяти легионеров в 1998 году представители властей воздерживались от участия в этих мероприятиях 16 марта; в 2001 году по инициативе президента Вайры Вики-Фрейберги этот день был исключен из списка официально отмечаемых дат, а в 2006 году марш был даже запрещен Рижской думой. В 2007 году запрета не было, но марш прошел, по сообщениям СМИ, практически незамеченным<sup>1</sup>. Вообще, как отмечает Эва-Кларита Онкен, латвийскому обществу удалось за последнее десятилетие выработать критическое отношение к национальному нарративу, преодолев многочисленные стереотипы<sup>2</sup>.

Иными словами, можно утверждать, что, несмотря на общее нарастание напряженности в отношениях России с Западом, логика эквивалентности, которая на рубеже веков практически однозначно записывала балтийские государства в категорию «ложной» Европы, в 2004—2007 годах все же не получила столь несомненного преобладания. Различия и нюансы продолжают играть важную роль в том, как строятся отношения России с этими странами, и, насколько можно судить, позволяют в определенные моменты добиваться серьезных внешнеполитических успехов. Это, в свою очередь, означает, что для продолжения нашего исследования нам необходимо вернуться к рассмотрению более широкого политического контекста, в котором происходит формирование и воспроизводство российской национальной идентичности.

<sup>1</sup> *Сорокина Н.* Рига запретила шествие легионеров // Российская газета. 2006. 15 марта; *Александров Д.* Латвия отшибла легиону память // Газета.Ru. 2006. 16 марта; *Гуральник Ю.* Утренний марш легионеров в Риге остался почти незамеченным // РИА Новости. 2007. 16 марта. Реакция российского МИД на этот раз также была сдержанной: Комментарий официального представителя МИД России М. Л. Камынина на вопрос РИА «Новости» о праздновании в Латвии 16 марта Дня легионеров СС. 2007. 19 марта. <http://www.mid.ru/ns-reuonsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec32572a30063c842?OpenDocument>.

244 *Onken E.-C.* Op. cit. P. 34.

### § 3.5. Советское прошлое и генеалогия современной России

Как ясно из материала предыдущего параграфа, один из важных моментов, определяющих отношения между Россией и балтийскими государствами, состоит в почти диаметрально противоположных оценках советского прошлого, которые дают обе стороны. Статус неграждан в Латвии и Эстонии, конфликт по поводу памятников советской эпохи, отношение к ветеранам советских вооруженных сил и силовых структур и к бывшим legionерам Ваффен-СС, наконец, требования о компенсации ущерба, причиненного народам Прибалтики за время советского правления<sup>1</sup>, — все эти проблемы в конечном итоге определяются тем, что важнейшие узловые пункты их основополагающих исторических нарративов не просто не совпадают, а прямо конфликтуют друг с другом. Прежде всего речь идет, конечно, о признании факта советской оккупации прибалтийских государств в 1940 году — если Латвия, Литва и Эстония настаивают именно на термине «оккупация», то рос-

<sup>1</sup> Вот лишь несколько примеров публикаций, в которых содержится российская оценка ситуации в Прибалтике: *Соколов В.* В Литве судят невиновных // *Независимая газета*. 2000. 25 апреля; *Константинов С.* Силовой вариант не был единственным // *Независимая газета*. 2000. 3 августа; *Соколов В., Литвинов А.* Москве пора потребовать от Вильнюса компенсации // *Независимая газета*. 2000. 28 июня; Заявление МИД России. 9 июня 2000 г. // *Дипломатический вестник*. 2000. № 7. С. 62; Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом российских СМИ относительно интервью Президента Литвы В. Адамкуса «Независимой газете» от 18 августа 2004 года. 2004. 20 августа. <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec3256ef600501492?OpenDocument>; Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом СМИ относительно резолюции Сейма Литвы «О возмещении ущерба, нанесенного оккупацией Советским Союзом». 2007. 18 января. <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec325726700514e15?OpenDocument>; *Скрипов В.* Обогатиться за счет россиян // *Время новостей*. 2007. 18 января.

сийская сторона, иногда соглашаясь с тем, что имела место принудительная аннексия<sup>1</sup>, а не добровольное присоединение, факт оккупации все же признать отказывается, подчеркивая, что вступление балтийских государств в СССР состоялось «в рамках действующего в тот период международного права»<sup>2</sup>. Однако вопрос об оккупации имеет значение только в том случае, если мы признаем современную Россию в качестве преемника Советского Союза и, соответственно, страны, которая имеет право гордиться советскими достижениями и в то же время обязана нести ответственность за акты, совершенные от имени СССР. Как уже отмечалось, в российской дискуссии по этому вопросу отмечается неопределенность: с одной стороны, неоднократно, в том числе в официальных заявлениях, повторяется тезис о том, что все народы СССР пострадали от сталинского режима, и поэтому нельзя обвинять в этих преступлениях современную Россию; с другой стороны, полностью отказаться от героических советских нарративов не получается, и идентификация России и СССР постоянно имеет место.

Очевидный довод о том, что русский народ пострадал от сталинских репрессий не меньше, чем эстонский или украинский, и что репрессии и депортации на местах осуществлялись представителями советских властей, в большинстве случаев принадлежавших к той же этнической группе, что и репрес-

<sup>1</sup> Черниченко С. В. События в Прибалтике 1940 года как предлог для дискриминации русскоязычного населения // *Международная жизнь*. 1998. № 3. С. 64—65.

<sup>2</sup> Заявление МИД России. 9 июня 2000 г. О значении тезиса об оккупации и последующем восстановлении государственности на примере Эстонии см.: *Smith D. The Restorationist Principle in Post-Communist Estonia // Ethnicity and Nationalism in Russia, the CIS and the Baltic States / Ed. by C. Williams, T. D. Sfikas. Aldershot: Ashgate, 1999. P. 287—323.* Наиболее полное изложение аргументации российской стороны содержится в: *Черниченко С. В.* Указ. соч. См. также: *Фреден Л.* Тени прошлого над Россией и Балтией // *Россия в глобальной политике*. Т. 3. 2005. № 3. С. 122—130; *Демуриш М.* Россия и Балтия: дело не в истории // *Россия в глобальной политике*. Т. 3. 2005. № 3. С. 131—138.

сируемые, сам по себе не снимает моральной и юридической ответственности с России как правопреемницы СССР. Российская Федерация, как известно, не является государством этнических русских, и, следовательно, вопрос об ответственности вообще не может ставиться в этнической плоскости (сам факт использования этого аргумента, однако, уже говорит о проблематичном понимании нации в современной России — см. об этом в § 4.2). Постольку поскольку мы согласны говорить о преступлениях советского режима, речь должна идти о противоправных актах, совершавшихся на всей территории СССР представителями Советского государства (а не русскими, эстонцами или латышами). Этническое измерение возникает лишь в вопросе о жертвах этих преступлений, и здесь уже можно спорить о том, насколько депортации были направлены собственно против этнических латышей, литовцев и эстонцев (а не, например, зажиточных крестьян) и насколько голодомор можно считать геноцидом украинского народа (а не опять-таки уничтожением крестьянства в целом)<sup>1</sup>. Все это, однако, никак не влияет на решение вопроса об ответственности. Оно целиком и полностью зависит от того, до какой степени современная Россия идентифицирует себя с Советским Союзом: говорим ли мы лишь о юридическом факте наследования прав и обязательств СССР после его распада в 1991 году или о политической идентификации со всеми аспектами советского прошлого.

Такая постановка вопроса выводит нас далеко за пределы темы об отношениях между Россией и Прибалтикой, поскольку значение советского прошлого в качестве основополагающего исторического нарратива играет решающую роль в фиксации смысла в российском политическом дискурсе в целом и потому в огромной степени определяет характер политического режима современной России, а также ее отношения с Европой и Западом. Можно даже утверждать, что генеалогия России времен Владимира Путина как особой социально-культурной реальности, как сообщества (в терминах, определенных в главе 1)

<sup>1</sup> Ср.: Привалов А. О голодоморе и советской символике.

в значительной степени состоит в попытках переработки и присвоения советского наследия. Знаменитая фраза президента о том, что «крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века»<sup>1</sup>, одновременно является итогом масштабной дискурсивной трансформации и политическим актом, фиксирующим цепочки означающих вокруг понятия «Россия» и тем самым предопределяющим характер эволюции дискурса в будущем.

Неопределенность в вопросе об отношении к советскому прошлому, несомненно, внесла свой вклад в политическую нестабильность 1990-х годов. В первые годы существования России как независимого государства россиянам предстояло решить, продолжают ли они после распада СССР жить в прежнем государстве, которому придется приспособливаться к огромным территориальным потерям и новому геополитическому окружению, или новая российская государственность родилась только что, в ходе революционных преобразований рубежа 1980—1990-х. В последнем случае идентичность новой России должна была бы строиться с нуля и опираться на новое конституирующее решение. Эта ситуация переживалась как острейший кризис политической самоидентификации. Едва ли не единственным возможным основанием для политического решения, учреждающего радикально новое политическое сообщество, могли служить тотальное отрицание советского прошлого и идентификация с Западом, характерные для либеральной идеологии поздней Перестройки. Однако, как отмечает Дина Хапаева, для большинства россиян не существовало общего прошлого, отличного от официальной версии истории СССР, и поэтому отсутствовал какой бы то ни было альтернативный нарратив, в котором могла бы быть укоренена их личная и семейная история<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 25 апреля 2005 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223\\_type63372type63374type82634\\_87049.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml).

<sup>2</sup> Хапаева Д. Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002. С. 21—28.



В своей блестящей, хотя, к сожалению, малоизвестной работе «Конструируя постсоветскую международно-политическую реальность»<sup>1</sup>, которая была защищена в 2001 году в Упсале как докторская диссертация, Юхан Матс показал, как после распада Советского Союза, когда кризис идентичности обострился до предела, российские политики сделали выбор в пользу определения России как «государства-продолжателя» СССР в качестве великой державы и как это немедленно сделало их уязвимыми перед лицом националистической риторики. Материал, собранный и проанализированный Матсом, важен и интересен во многих отношениях. Прежде всего он убедительно свидетельствует против теоретических представлений о том, что формирование идентичности предшествует возникновению интересов: говоря словами Эрика Рингмара, «мы можем хотеть *чего-то*, лишь будучи *кем-то*, и, только зная, кто мы *есть*, мы можем знать, чего мы хотим»<sup>2</sup>. Матс, не соглашаясь с Рингмаром, поддерживает точку зрения Ивера Нойманна о взаимообусловленности идентичности и интересов: «Мы не только можем хотеть чего-то, лишь будучи кем-то, но мы также есть кто-то *постольку, поскольку* мы хотим чего-то»<sup>3</sup>. Он приводит документальные свидетельства того, что российские политики после распада СССР оказались в беспрецедентной исторической ситуации, в которой ни природа их государства, ни характер окружающего мира, ни язык для описания того и другого не были изначально заданы: «они были вынуждены “давать имена вещам”. ...Они были даже вынуждены изобретать слова для того, чтобы наделять “вещи” смыслом»<sup>4</sup>. Так, перед лицом внезапно образовавшейся пустоты появляется

<sup>1</sup> *Matz J.* Op. cit.

<sup>2</sup> *Ringmar E.* Identity, Interest and Action: A Cultural Explanation of Sweden's Intervention in the Thirty Years War. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 13.

<sup>3</sup> *Neumann I.* Ringmar on Identity and War // Cooperation and Conflict. Vol. 32. 1997. No. 3. P. 324. См.: *Matz J.* Op. cit. P. 78—82.

<sup>4</sup> *Matz J.* Op. cit. P. 80.

термин «ближнее зарубежье», который, несмотря на безусловное признание суверенитета партнеров по СНГ, выделял их из числа других государств, устанавливая между ними отношения эквивалентности. Следующим шагом стало развитие концепции «государства-продолжателя» в тезис об особой ответственности России на пространстве СНГ, что, в свою очередь, привело к представлению о том, что «бывшие союзные республики СССР составляют первую, ближайшую к нам сферу интересов» России<sup>1</sup>. Так в российском смысловом пространстве формируется представление о некоем естественном, органичном, исторически обусловленном новом сообществе, основанном на общем опыте и общих интересах. Идентичность новой России, таким образом, прочно увязывается с советским историческим нарративом уже в первые месяцы ее существования.

Дополнительным фактором, способствовавшим эволюции российской национальной идентичности именно в этом направлении, стала приверженность многих представителей «партии власти» великодержавно-националистическим идеям: уже в 1992 году в своей знаменитой статье «Держава в поисках себя»<sup>2</sup> советник президента Ельцина Сергей Станкевич настаивал на праве и обязанности Российского государства защищать права русских за рубежом в столь сильных и характерных выражениях, что Николай Руденский счел возможным сравнить его высказывания с гитлеровской риторикой времен аншлюса Австрии и Мюнхенских соглашений<sup>3</sup>. В период дискуссии о новой конституции в 1993 году президент Ельцин еще интерпретировал советский период как отклонение от «нормально-

<sup>1</sup> Это высказывание Андрея Козырева цит. по: *Matz J.* Op. cit. P. 125. В целом по поводу эволюции российского дискурса см.: *Ibid.* P. 116—130.

<sup>2</sup> *Станкевич С.* Держава в поисках себя // Независимая газета. 1992. 28 марта.

<sup>3</sup> *Rudensky N.* Russian Minorities in the Newly Independent States. An International Problem in the Domestic Context of Russia Today // *National Identity and Ethnicity in Russia and the New States of Eurasia* / Ed. by R. Szporluk. Armonk, London: M.E. Sharpe, 1994. P. 72.

го» исторического пути, по которому идут все «цивилизованные» страны<sup>1</sup>. Соответственно, процесс строительства новой, демократической России был для него возвращением к норме. Позднее, однако, Кремль оказался под нажимом как со стороны националистов, обвинявших власти в слишком далеко идущих уступках Западу, так и со стороны региональных лидеров, выдвигавших лозунги суверенитета для своих территорий. Ответом Бориса Ельцина на эти проблемы стало заимствование националистической риторики у своих оппонентов в попытке представить Россию как наследника Российской империи и Советского Союза. Нужно отметить, что идентификация России с СССР поощрялась также западными лидерами, которые опасались, что в случае возникновения споров о «советском наследстве» события могут начать развиваться по югославскому сценарию<sup>2</sup>. Кроме того, не следует забывать, что так называемые «западники» в российских внешнеполитических кругах во главе с тогдашним министром иностранных дел Андреем Козыревым вовсе не были сторонниками умеренности во внешней политике. Главное отличие «западников» от националистов-державников состояло в том, что, считая Россию естественной частью «цивилизованного мира», они надеялись достичь статуса великой державы в составе западного лагеря, а не в конфронтации с ним. Когда это оказалось невозможным, в первую очередь потому, что западные элиты не готовы были признать Россию «своей», МИД — еще под руководством Козырева — взял на вооружение неоимпериалистическую риторику, особенно в отношении прибалтийских государств и в целом постсоветского пространства<sup>3</sup>. Выйдя в отставку и заняв критическую позицию в отношении российского внешнепо-

<sup>1</sup> Bruner M. L. *Strategies of Remembrance: The Rhetorical Dimensions of National Identity Construction*. Columbia: University of South Carolina Press, 2002. P. 53—55.

<sup>2</sup> Kolsto P. *Political Construction Sites. Nation-Building in Russia and the Post-Soviet States*. Boulder: Westview Press, 2000. P. 201.

<sup>3</sup> Matz J. Op. cit. P. 166—198; Sergounin A. Op. cit. P. 59—61.

литического курса, Козырев продолжал воспроизводить идеальный образ «сильной России», определяющим качеством которой было бы геополитическое влияние, а союз с Западом — средством его достижения<sup>1</sup>. В 2003 году он даже высказывал сожаление по поводу того, что Россия не поддержала США в преддверии иракской кампании<sup>2</sup>, и в целом, по его мнению, изоляционистская политика России вела к ее сползанию к «полюсу международных изгоев»<sup>3</sup>. В этих высказываниях геополитическое влияние выступает ценностью равно в той же мере, как и в ностальгическом дискурсе, представляющем советский период в качестве золотого века российской истории<sup>4</sup>.

Разговор о факторах, способствовавших столь быстрой трансформации позиции российского руководства, на наш взгляд, нельзя сводить только к вопросу о прочности демократических убеждений Бориса Ельцина или любого из членов его команды. В структурном отношении существовало и продолжает существовать одно важнейшее отличие позиции России по отношению к дискурсу либерального универсализма и его важнейшим узловым пунктам, таким как демократия и права человека, от всех остальных государств бывшего социалистического блока. Это отличие заключается не в количественном соотношении сторонников и противников советского режима: если в государствах, ныне входящих в ЕС и НАТО, «антисоветская» позиция явно преобладает, то в остальных бывших советских республиках, от Белоруссии до Таджикистана, ностальгия по советской эпохе остается весьма распростра-

<sup>1</sup> Козырев А. В. Бессмыслица «многополюсного мира» // Московские новости. 2000. 22 февраля.

<sup>2</sup> Козырев А. В. Союз, достойный России // Московские новости. 2003. 29 апреля.

<sup>3</sup> Козырев А. В. Полюс изгоев // Московские новости. 2000. 8 февраля.

<sup>4</sup> По поводу позиции российских западников и ее эволюции в постсоветский период см. также: *Tsygankov A. P. Russia's Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity.* Lanham: Rowman & Littlefield, 2006. P. 55—87, 98—99, 132—137.

ненным явлением<sup>1</sup>, а принадлежность к постсоветскому пространству является не просто географическим представлением, а важнейшим фактором политики идентичности<sup>2</sup>. Более существенное, качественное различие состоит в отсутствии в российской дискурсивной реальности даже формальной точки отсчета для создания альтернативного исторического нарратива. Далеко не все постсоветские государства могут опереться при создании своей национальной истории на факт существования независимой государственности в досоветский период, по крайней мере если речь идет о государственности современного (нововременного) типа. Однако все республики бывшего СССР были признаны в качестве самостоятельных наций в составе Союза и обладали такими атрибутами суверенной государственности, как национальная территория, флаг и гимн; наконец, что важнее всего, их национальная история и культура входили в школьную и университетскую программу. Не случайно историки империй давно перестали считать Советский Союз «разрушителем наций»<sup>3</sup>, подчеркивая вместо этого его уникальный характер как «империи позитивного действия»<sup>4</sup>, которая способствовала «не столько разрушению наций, сколько их формированию, часто весьма непростым способом»<sup>5</sup>. Ро-

<sup>1</sup> *Mironowicz E.* The Attitudes of Belarusians and Poles Toward the Independence of Their Countries // *International Journal of Sociology*. Vol. 31. 2001. No. 4. P. 79—89; *Nadkarni M., Shevchenko O.* The Politics of Nostalgia: A Case for Comparative Analysis of Post-socialist Practices // *Ab Imperio*. 2004. № 2. С. 487—519; *Петухов В. В.* Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан: есть ли точки соприкосновения? // *Свободная мысль — XXI*. 2006. № 4. С. 94—100.

<sup>2</sup> *Suny R. G.* Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia // *International Security*. Vol. 24. 1999. No. 3. P. 167—168.

<sup>3</sup> См.: *Conquest R.* Stalin: Breaker of Nations. London; New York: Penguin, 1991.

<sup>4</sup> *Мартин Т.* Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма? // *Ab Imperio*. 2002. № 2. С. 55—87.

<sup>5</sup> *Суни Р.* Диалектика империи: Россия и Советский Союз // *Новая имперская история постсоветского пространства*. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 193.

нальд Суни совершенно справедливо отмечает, что большинству постсоветских государств пришлось столкнуться с «серьезными вопросами включения и исключения при учреждении наций», а некоторые из них оказались втянуты в «разрушительные кровопролитные кризисы, которые раскололи новые республики». Вместе с тем во всех этих случаях была возможность интерпретировать момент распада Союза как «освобождение единой и сознающей себя нации от длившегося десятилетиями, если не столетиями, гнета, чтобы воспользоваться предложенной Горбачевым возможностью заявить о своем естественном, долгожданном стремлении к независимости и суверенности»<sup>1</sup>.

В такой ситуации обретение независимой государственности можно было представить как заключительный акт национального освобождения, венчающий многовековую историю становления суверенного политического сообщества. Единственный случай, в котором национальный нарратив существовал, но не сработал в процессе формирования национальной идентичности, — это Белоруссия, самоопределение которой подверглось радикальной трансформации в послевоенные годы: героические нарративы партизанской войны, сопротивления и самопожертвования прочно вписали белорусскую идентичность в фундаментальный нарратив советской истории<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Suny R. G.* Op. cit. P. 153—154.

<sup>2</sup> Героическая версия этого нарратива была тщательно выстроена советскими идеологами и старательно оберегалась от любых ревизий. Она позволила преодолеть разрушительные последствия Второй мировой войны для Белоруссии, которая понесла тяжелые потери в результате действий всех участвовавших в войне сторон, включая партизан: *Silitski V.* A Partisan Reality Show // Transitions Online. 2005. 11 May. URL: [www.tol.cz/look/TOL/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=115&NrSection=4&NrArticle=14025](http://www.tol.cz/look/TOL/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=115&NrSection=4&NrArticle=14025). См. также: *Ioffe G.* Understanding Belarus: Belarusian Identity // Europe-Asia Studies. Vol. 55. 2003. No. 8. P. 1241—1272; *Idem.* Understanding Belarus: Economy and Political Landscape // Europe-Asia Studies. Vol. 56. 2004. No. 1. P. 85—118; *Tereshkovich P.* The Belarusian Road to Modernity // International Journal of Sociology. Vol. 31. 2001. No. 3. P. 78—93.

В России, однако, национальная альтернатива отсутствовала как таковая: официальная российская история была историей империи, советские курсы отечественной истории не отделяли (да и не могли бы отделить) историю Российской Федерации от истории Российской империи и Советского Союза в целом. Этот факт остро осознается представителями интеллектуальной элиты: эксперт «Горбачев-фонда» Валерий Соловей писал еще в 2000 году, что Россия после распада Советского Союза должна была строить новое национальное государство и формировать национальную идентичность, т. е. завершить процесс модернизации, одновременно осуществляя интеграцию в постсовременный глобализирующийся мир<sup>1</sup>. Пятью с лишним годами позже Сергей Маркедонов сетовал на то, что в России нет сил, способных сознательно участвовать в процессе формирования гражданской политической нации<sup>2</sup>. Образ СССР как органического этапа в тысячелетней истории Российского государства и как естественного предшественника Российской Федерации был поставлен под вопрос в результате попыток переписать национальную историю в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но заменить его по большому счету оказалось нечем. Соответственно, концепция государства-продолжателя оставалась единственной возможной основой для национальной идентичности, и имперский исторический нарратив, очищенный от бросающихся в глаза советских идеологических клише, продолжал играть центральную роль в дискурсивных механизмах конструирования сообщества.

Принцип преемственности между Советским Союзом и Российской Федерацией углубил еще одно качественное различие между Россией и ее соседями. Для всех новых членов ЕС и НАТО присоединение к западным институтам было символическим шагом, подтверждающим их принадлежность к Ев-

<sup>1</sup> *Соловей В.* Модерн и постмодерн в российской политике // Независимая газета. 2000. 22 ноября.

<sup>2</sup> *Маркедонов С.* Апология российской идеи, или Как нам сохранить Россию // Общая тетрадь. 2006. № 1. С. 29.

ропе, к западной цивилизации и окончательное освобождение от российского господства. Россия была и остается для них противоположностью Европы, демократии и цивилизации, тем самым врагом, наличие которого, согласно Шмитту, необходимо для конституирования политического сообщества, или, в постструктуралистских терминах, конституирующим иным, частицей внешнего во внутреннем мире сообщества. Бездарные попытки окончательно избавиться от присутствия России на дискурсивном горизонте поддерживают и укрепляют как национальную идентичность, так и отношения эквивалентности между локальным сообществом и «цивилизованным миром» в лице Евро-Атлантического сообщества. Эта артикуляция, кроме того, легла в основу системы стимулов, которые обеспечили успех дисциплинирующих практик, примененных Евросоюзом и НАТО к своим будущим членам с целью обеспечения их соответствия внутренним стандартам этих организаций<sup>1</sup>. Как выяснилось в эпоху «цветных революций», эти артикуляционные практики с успехом работают даже в отношении стран, в которых ни Советский Союз, ни новая Россия изначально не антагонизировались — в Грузии, на Украине, в Молдавии и даже в Белоруссии<sup>2</sup>. В системе сигнификации, характерной для российского дискурса, отсутствовала

<sup>1</sup> Различные точки зрения на механизм функционирования этих дисциплинирующих практик представлены, в частности, в следующих работах: *Kelley J.* International Actors on the Domestic Scene: Membership Conditionality and Socialization by International Institutions // International Organization. Vol. 58. 2004. No. 3. P. 425—457; *Vachudová M. A.* Europe Undivided: Democracy, Leverage, and Integration after Communism. Oxford, New York: Oxford University Press, 2005; *Gbeciu A.* Security Institutions as Agents of Socialization: NATO and the «New Europe» // International Organization. Vol. 59. 2005. No. 4. P. 973—1012; *Ambrosio T.* The Political Success of Russia-Belarus Relations: Insulating Minsk from a «Color» Revolution // Demokratizatsiya. Vol. 14. 2006. No. 3. P. 407—434.

<sup>2</sup> О роли России как антагониста, способствующего укреплению национальной идентичности белорусов, см. в: *Иоффе Г.* Будущее Белоруссии: оптимистический взгляд // Pro et contra. Т. 11. 2007. № 2. С. 94—104.



негативная составляющая этой оппозиции: для того чтобы пойти по пути своих западных соседей, России пришлось бы не просто выйти из состава СССР вместе с другими республиками, но отделиться от себя самой, выработать новую идентичность, основанную на отрицании советского прошлого. В то время как другие постсоветские государства, предпринявшие подобный шаг, сохранили свои основополагающие нарративы и немедленно занялись их переработкой и укреплением, Россия провалилась бы в пустоту, вынуждена была бы начинать свою историю с чистого листа. Как показывает опыт послевоенной Германии, такой шаг не является абсолютно невозможным, но тот же опыт демонстрирует глубину социальных потрясений, через которые должно пройти общество для того, чтобы такой переворот оказался успешным<sup>1</sup>. Кроме того, как известно, по окончании холодной войны не появилось ничего похожего на «План Маршалла» — помощь, предоставленная постсоветским государствам, была несопоставима с программой восстановления Европы, осуществленной Соединенными Штатами после Второй мировой войны.

Именно идентичность России как государства-продолжателя СССР, с таким ее ключевым элементом, как антагонизация НАТО и Запада в целом, подверглась крайней степени секьюритизации в 1999 году в результате косовской кампании и начала новой войны в Чечне. Это, в свою очередь, привело к ее дальнейшему закреплению, так как практики безопасности, как правило, способствуют замыканию политического сообщества и вытеснению идентичностей, противостоящих господствующей артикуляции, за его пределы. И именно в этой ситуации, в условиях крайне ограниченных возможностей для маневра, российской политической элите пришлось решать задачу передачи президентских полномочий. Помимо крайней степени

<sup>1</sup> Cp.: *Kramer M.* Why Soviet History Matters in Russia. PONARS Policy Memo 183. January 2001. [http://www.csis.org/media/csis/pubs/pm\\_0183.pdf](http://www.csis.org/media/csis/pubs/pm_0183.pdf). P. 1—3.

поляризации оппозиций между «своим» и «чужим», проблема заключалась также в отсутствии согласия по поводу фундаментальных принципов политического порядка на протяжении всего первого десятилетия российских реформ: в то время как элиты пытались оправдать негативные последствия преобразований тем, что они были необходимы для установления в России демократии и развития рыночной экономики, население воспринимало эти ценности как западные и все больше сомневалось в их применимости к России. Поиск «национальной идеи», официально провозглашенный Борисом Ельциным после его переизбрания в 1996 году<sup>1</sup>, при всей интеллектуальной несостоятельности данного предприятия, свидетельствует о том, что элиты были глубоко озабочены поиском средств национальной консолидации. Политические технологии, позволившие Ельцину выиграть выборы 1996 года, несмотря на катастрофические рейтинги перед началом предвыборной кампании, не могли преодолеть отчуждения между властью и обществом.

Можно предположить, что в конечном итоге узкий круг соратников президента Ельцина (возможно, те, кого в тот период принято было называть «семьей») был вынужден признать, что стандарты величия, принятые в российском обществе, а значит, и источники чувства национальной гордости или унижения мало изменились со времен Брежнева и Андропова. Не исключено, что был принят во внимание и успех политиков-националистов, таких как московский мэр Юрий Лужков, — как отмечалось ранее, Лужкову удалось стать политиком общенационального масштаба благодаря умелому использованию националистической риторики, построенной на советских клише. Не случайно идея преемственности между имперской Россией, СССР и Российской Федерацией впервые

<sup>1</sup> *Breslauer G., Dale C. Boris Yeltsin and the Invention of the Russian Nation State // Post-Soviet Affairs. Vol. 13. 1997. No. 4. P. 303—332; Urban M. Remythologising the Russian State // Europe-Asia Studies. 1998. Vol. 50. No. 6. P. 969—992.*

была со всей ясностью сформулирована во время празднования 850-летия Москвы в 1997 году, когда, как пишет Борис Кагарлицкий, «вся отечественная история предстала перед изумленной публикой в виде череды бесконфликтно сменявших друг друга начальников»<sup>1</sup>. Даже если некоторым из более либеральных представителей элиты это, возможно, далось нелегко, они тем не менее были вынуждены принять новую стратегическую линию, призванную обеспечить их политическое выживание в ходе предстоявших выборов. Эта стратегия тоже была основана на использовании политических технологий — в частности, она эксплуатировала образ Владимира Путина как сильного лидера, бывшего сотрудника КГБ, готового к проведению жесткой политики в отношении чеченских сепаратистов, невзирая на давление со стороны Запада. Но прежде чем такая манипуляция могла иметь место, необходимо было осознать ее дискурсивные пределы, а также настроить пропагандистские инструменты в унисон с седиментированными элементами логики понятного и ожидаемого, которая определяла политические ориентиры для большинства россиян.

Победа Владимира Путина на выборах 2000 года вполне закономерно привела к тому, что по мере консолидации нового политического режима эксплуатация советской символики и эстетики становилась все более открытой. Символический акт принятия накануне третьего тысячелетия нового государственного гимна Российской Федерации на старую музыку Александра Александрова фактически представляет собой открытое заявление об отказе от попыток начать историю новой России «с чистого листа». Здесь важна даже такая деталь, как то, что новые слова гимна были написаны одним из соавторов первоначальной, сталинской версии Сергеем Михалковым, у которого уже был опыт редактирования старого текста в соответствии с новой реальностью. К подобного же рода шагам

<sup>1</sup> Кагарлицкий Б. Ю. Выборы прошли, политическая борьба начинается // Свободная мысль — XXI. 2004. № 1. С. 14.

относятся и восстановление красного знамени для Вооруженных сил, замена названия «Волгоград» на «Сталинград» у могилы Неизвестного солдата, а также периодически возобновляющаяся дискуссия о восстановлении памятника Дзержинскому. Празднование 55-летия победы в Великой Отечественной войне в 2000 году было отмечено несколькими мероприятиями, направленными на увековечение памяти Сталина<sup>1</sup>. Разумеется, в этом контексте не могло быть и речи о поиске общего языка с теми народами бывших союзных республик и государств советского блока, которые считают себя жертвами сталинской политики. И наоборот, вполне закономерным становится описание аннексии балтийских государств как «правовосстановительного акта», который устранял историческую несправедливость, вызванную «нелегитимным» отделением «Прибалтики в 1920 году в условиях германской оккупации этой части российской империи, подписанное большевиками, никем в мире тогда не признанными, и прибалтийскими полуфашистскими режимами, поставленными кайзеровскими штыками»<sup>2</sup>. Кроме того, наличие независимых постсоветских государств на территории «исторической России»<sup>3</sup> в этом дискурсе часто концептуализируется с применением метафоры «геополитического вакуума», образовавшегося после распада Советского Союза: если его не способна заполнить Россия, то образовавшиеся малые государства окажутся в сфере влияния Запада<sup>4</sup>. Это стрем-

<sup>1</sup> *Kramer M.* Why Soviet History Matters in Russia. P. 3—4.

<sup>2</sup> *Нарочницкая Н.А.* Политика России на пороге третьего тысячелетия // Внешняя политика и безопасность современной России (1991—1998). Хрестоматия в двух томах / Ред. Т. А. Шаклеина. Т. 1. Исследования. М.: Московский общественный научный фонд, 1999. С. 266.

<sup>3</sup> *Нарочницкая Н.А.* Политика России... С. 256.

<sup>4</sup> См., например: Россия и НАТО / Коорд. раб. группы С. А. Караганов. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 1995. П. 1.2.2. [http://www.svor.ru/live/materials.asp?m\\_id=7009](http://www.svor.ru/live/materials.asp?m_id=7009); *Нарочницкая Н.А.* Европа «старая» и Европа «новая». С. 57; *Караганов С.* Центральная Азия: возвращение России // Российская газета. 2005. 12 декабря; *Третьяков В.* Русская Азия: чем заполнить центразийский вакуум // Московские новости. 2006. 3 марта.

ление оправдать советскую политику, вытекающее из отождествления сегодняшней России и СССР как одного исторического субъекта, характерно и для отношений с другими странами Центральной и Восточной Европы<sup>1</sup>, тогда как попытки установить отношения различия между Российской Федерацией и Советским Союзом оказываются не слишком последовательными<sup>2</sup>.

Точка зрения, согласно которой реставрируемые символы советской эпохи являются не более чем «муляжами», задуманными главным кремлевским политтехнологом Глебом Павловским для того, чтобы замаскировать движение России по пути неолиберальной глобализации<sup>3</sup>, безусловно имеет под собой определенные основания. Однако дело здесь не в степени непосредственного влияния этих «муляжей» на «реальную» политику: скорее их повсеместное распространение свидетельствует о все более прочной седиментации идентичности России как государства-продолжателя Советского Союза и Российской империи. В борьбе за создание непроблематичного имперского нарратива, в который можно было бы уложить весь школьный учебник истории от Киевской Руси до Брежнева, в первые годы нынешнего десятилетия участвовали едва ли не все политические силы. Так, Коммунистическая партия Российской

<sup>1</sup> В качестве примера можно вновь сослаться на уже упоминавшуюся характеристику агрессии против Польши в 1939 г. как «миротворческой операции»: *Мельтюхов М. И.* Указ. соч. С. 408.

<sup>2</sup> См., например, статью Владимира Гиренко, в которой этот аргумент приводится в самом конце и не получает должного развития: *Гиренко В.* 100 тысяч квадратных километров и другая арифметика // Дипкурьер НГ. 2000. 28 сентября. Кроме того, в качестве примеров можно привести уже цитированные работы Вячеслава Елагина и Александра Привалова: *Елагин В. И.* Указ. соч.; *Привалов А.* Указ. соч. Тезис о якобы имеющей место деидеологизации внешней политики России после окончания холодной войны по причинам, которые раскрываются в четвертой главе, также едва ли можно рассматривать как свидетельство стремимости порвать с советским прошлым.

<sup>3</sup> *Архангельский А.* Выборы и выбор // Общая тетрадь. 2004. № 1. С. 68.

Федерации еще в 2000 году пыталась доказать, что красный флаг впервые был введен как символ российской государственности еще при Святом Владимире — киевском князе, крестившем Русь в конце X века<sup>1</sup>. Наибольшего успеха, судя по результатам выборов 2003 года, добился в этом блок «Родина», совместивший советскую ностальгию с элементами ксенофобского этнонационалистического дискурса. Российские либералы тоже отметились на этом поле: в известном выступлении о «либеральной империи» Анатолий Чубайс подчеркивает: «Вершина... лидерства нашей страны — два пика — это 1945 и 1961 гг.». Еще более характерен тот момент, что пространство СНГ в глазах Чубайса предстает как совершенно естественное, органичное единство. Его аргумент о том, что «Россия — единственный и уникальный лидер на всем пространстве СНГ», целиком и полностью зависит от определения границ политического сообщества: предлагая оглянуться «по сторонам, за пределы наших границ», Чубайс немедленно очерчивает пределы своего анализа «братскими республиками». Сравнение темпов экономического роста, уровня доходов населения, миграционных потоков происходит в рамках СНГ, которое предстает как само собой разумеющийся референт. Никакие альтернативные комбинации — например, вариант экономического тяготения Украины и Молдовы к ЕС, а Азербайджана и центральноазиатских государств к Турции — даже не рассматриваются<sup>2</sup>. Отношения эквивалентности между бывшими советскими республиками воспринимаются как данность, что еще раз подчеркивает устойчивость неоимперской идентичности России.

Именно в первые годы нового века советское ретро стало преобладать в некоторых важных сегментах массовой культуры, в особенности на телевидении. Искреннее сожаление о

<sup>1</sup> Садчиков А. Владимир Красное Солнышко II // Известия. 2000. 23 ноября.

<sup>2</sup> Чубайс А. Б. Указ. соч.

распаде Советского Союза неоднократно звучало в выступлениях президента Путина — так, в обращении к нации после теракта в Беслане он отметил: «Сегодня мы живем в условиях, сложившихся после распада огромного великого государства. Государства, которое оказалось, *к сожалению*, нежизнеспособным в условиях быстро меняющегося мира». Следующая фраза президента подчеркивала преемственность между СССР и современной Россией: «Но, несмотря на все трудности, нам удалось сохранить ядро этого гиганта — Советского Союза. И мы назвали новую страну Российской Федерацией»<sup>1</sup>.

Комментируя известное заявление президента, который в 2005 году в своем послании Федеральному собранию охарактеризовал распад Советского Союза как «крупнейшую геополитическую катастрофу века»<sup>2</sup>, Виталий Третьяков вполне справедливо отмечает, что с точки зрения политической философии Владимира Путина «советский период не “черная дыра” в истории России, а Советский Союз не был “империей зла”, скорее наоборот», уже хотя бы потому, что именно СССР избавил Европу и мир от нацизма<sup>3</sup>. Вообще, значение героического нарратива Великой Отечественной войны для формирования национально-государственной идентичности современной России трудно переоценить<sup>4</sup> — достаточно указать на масштаб празднования 60-летия Победы над нацистской Германией в 2005 году. Эти события вызвали смешанную реакцию международного сообщества не в последнюю очередь именно в силу советского стиля, в котором были выдержаны парад на Крас-

<sup>1</sup> Путин В. В. Обращение Президента России Владимира Путина. 4 сентября 2004 г. URL: [http://president.kremlin.ru/appears/2004/09/04/1752\\_тype63374\\_76320.shtml](http://president.kremlin.ru/appears/2004/09/04/1752_тype63374_76320.shtml).

<sup>2</sup> Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 25 апреля 2005 г.

<sup>3</sup> Третьяков В. Суверенная демократия. О политической философии Владимира Путина // Российская газета. 2005. 28 апреля.

<sup>4</sup> Гудков Л. Д. Память о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. 2005. № 2—3. С. 46—57.

ной площади и другие элементы празднества<sup>1</sup>. Едва ли не более важным свидетельством в пользу решающего значения памяти о войне стал размах празднования последующих, не юбилейных годовщин победы — так, в 2008 году впервые за 18 лет в параде на Красной площади приняла участие тяжелая военная техника и даже авиация. Героический нарратив Великой Отечественной связывает нашу страну с Европой, а значит, если следовать логике российского дискурса, с цивилизацией. Эта связь очевидна, например, в том, какие доводы приводит Владимир Путин в своей статье в газете «Фигаро», опубликованной 7 мая 2005 года: «демократический и европейский выбор народа России вполне закономерен, — пишет президент. — Это суверенный выбор европейской нации, победившей нацизм и знающей цену свободе»<sup>2</sup>. Если по большинству других критериев Российское государство представит в лучшем случае как периферийная европейская страна, то историю Второй мировой войны можно рассказать таким образом, что Советский Союз окажется в центре борьбы за подлинно европейские ценности против варварства, вышедшего из самого сердца европейского континента. Сакрализация истории Великой Отечественной войны приводит к тому, что память о ней становится «непримиримой»<sup>3</sup>: из публичного пространства последовательно вытесняются те страницы истории 1930—1940-х годов, которые позволяют проводить

<sup>1</sup> *Barnsten J.* Russia: Did Putin Come Out Shining, Or With Moscow's Prestige Weakened? // Radio Free Europe/Radio Liberty. Archive. 2005. 12 May. <http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/05/fa906f90-8105-4b88-9ee1-0f7fe9a7edee.html>.

<sup>2</sup> *Путин В.В.* Уроки победы над нацизмом. Через осмысление прошлого — к совместному строительству безопасного гуманного будущего. Газета «Фигаро» (Франция). 7 мая 2005 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2005/05/07/0657\\_type63374type63382\\_87599.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/05/07/0657_type63374type63382_87599.shtml).

<sup>3</sup> *Ферретти М.* Непримиримая память. Россия и война. Заметки на полях спора на жгучую тему // Неприкосновенный запас. 2005. № 2—3. С. 76—82. См. на эту тему также другие материалы указанного номера «НЗ».



параллели между Сталиным и Гитлером, СССР и нацистской Германией<sup>1</sup>. Пакт Молотова—Риббентропа, нападение Советского Союза на Польшу в 1939 году (фактически в союзе с Германией), Зимняя война с Финляндией, оккупация балтийских государств и, наконец, массовые репрессии, которые, помимо прочего, ослабили Красную армию накануне германского нападения, — все эти факты не игнорируются полностью, но и не обсуждаются в массовых СМИ или официальных выступлениях, оставаясь предметом дискуссии профессиональных историков и идеологов<sup>2</sup>. Оценку сталинского периода в более широком публичном пространстве хорошо резюмирует фраза из статьи Анатолия Чубайса о том, что на пиках влияния, в 1945 и 1961 годах, Советский Союз имел «высокий (я бы даже сказал — высочайший) авторитет в мире (*несмотря ни на что*)»<sup>3</sup>. Фраза «несмотря ни на что» выносит за скобки все, о чем неудобно говорить в нынешней России применительно к советскому прошлому.

Подчеркнем, что и в данном случае, безусловно, имеет место значительный элемент манипулирования историческими нарративами: опираясь только на структурные факторы, невозможно объяснить столь откровенные шаги, как удаление учебников, рассказывающих о массовых репрессиях, из школьных библиотек<sup>4</sup>, а позднее — официальную поддержку скандально известного учебника под редакцией Александра Филиппова,

<sup>1</sup> *Adler N. The Future of the Soviet Past Remains Unpredictable: The Resurrection of the Soviet Symbols Amidst the Exhumation of Mass Graves // Europe-Asia Studies. Vol. 57. 2005. No. 8. P. 1093—1119; Хапаева Д. Готическое общество. Сталинское прошлое в российском настоящем // Критическая масса. 2006. № 1. С. 87—97.*

<sup>2</sup> К числу последних, безусловно, относится Наталия Нарочницкая, которая к юбилею победы над нацизмом издала небольшую книгу — отповедь всем, кто пытается критически переосмыслить историю Второй мировой: *Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали.*

<sup>3</sup> *Чубайс А.Б. Указ. соч. — Выделено мной.*

<sup>4</sup> *Mendelson S.E., Herber T.P. Failing the Stalin Test // Foreign Affairs. Vol. 85. 2006. No. 1. P. 2—8.*

Анатолия Уткина и Александра Данилова<sup>1</sup>. Безусловно, Владимир Путин несет персональную ответственность за многие из вышеперечисленных шагов, равно как и за публичный отказ осудить оккупацию Прибалтики и пакт Молотова—Риббентропа<sup>2</sup>. В то же время нельзя не признать, что мифотворчество, отрицание истории или вытеснение «неприятных» ее элементов на периферию общественного сознания необходимо понимать как часть единой дискурсивной реальности, «реляционной целостности последовательностей означающих»<sup>3</sup>, в которой ни один элемент не может быть изменен без соответствующей перегруппировки многих других<sup>4</sup>. Учитывая основополагающее значение героического нарратива Великой Отечественной, любое признание отрицательной роли СССР в ее истории означает необходимость реартикуляции всего структурного основания российской национальной идентичности. Российский случай в этом смысле отнюдь не является уникальным — как показала Майя Цефусс, в Германии нацистское прошлое также одновременно признается и отрицается как часть истории Федеральной Республики, тогда как история ГДР практически полностью исключена из основополагающих нарративов<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> История России, 1945—2007 гг.: 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. А. А. Данилова, А. И. Уткина, А. В. Филиппова. Москва: Просвещение, 2008. О дискуссии вокруг этого издания см.: *Таратута Ю.* Суверенную демократию будут изучать в школе // Коммерсант. 2007. 27 декабря.

<sup>2</sup> *Mendelson S. E., Herber T. P.* Op. cit.

<sup>3</sup> *Torfin J.* Op. cit. P. 300.

<sup>4</sup> О механизмах и последствиях воспроизводства этой реальности см., например: *Зоркая Н. А.* «Ностальгия по прошлому», или Какие уроки могла усвоить и усвоила молодежь // Вестник общественного мнения. 2007. № 3. С. 35—46.

<sup>5</sup> *Zehfuss M.* Constructivism in International Relations: The Politics of Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Разумеется, нужно отметить, что сходство российской и германской ситуации наблюдается на структурном, а не на содержательном уровне, поэтому его признание отнюдь не подразумевает того, что оба случая должны оцениваться одинаково с нормативной точки зрения.

Еще одна причина нетерпимости к критическим интерпретациям советской истории в современной России состоит в прочной эквивалентности, которая установилась между такой критикой и периодом Перестройки и либеральных рыночных преобразований. Революция конца 1980-х — начала 1990-х годов занимает сегодня позицию исторического Иного, которая в советский период отводилась царской России, а затем на коротком пике демократического энтузиазма — самому советскому режиму<sup>1</sup>. Критика в отношении «всех тех, кто в конце прошлого века привел Россию к массовой бедности, к повальному взяточничеству<sup>2</sup>, настолько бросалась в глаза в предвыборной кампании 2007—2008 годов, что даже стала предметом анализа экспертного сообщества<sup>3</sup>. С одной стороны, представляется, что этот узловой пункт задан структурно, поскольку один из способов фиксации означающих состоит в отрицании предыдущей эпохи как «темных времен», с тем чтобы продемонстрировать прогрессивный характер существующей гегемонической констелляции. С другой стороны, это конкретное прочтение недавней истории страны связано с тягой к «стабильности» — одним из наиболее характерных элементов политического дискурса постперестроечных времен, особенно после насильственного разрешения конституционного кризиса 1993 года. Упрощенная, или даже примитивная, хронологическая схема, в которой брежневский застой предстает как золотой век стабильности и процветания, горбачевская Перестройка и ельцинские реформы — как «развал», эпоха разрухи

<sup>1</sup> О роли исторического Иного в конструировании идентичности российского общества в 1999 году см.: *Hopf T. Social Origins of International Politics. Identities and the Construction of Foreign Policies at Home.* Ithaca: Cornell University Press, 2002. P. 159—169.

<sup>2</sup> *Путин В. В.* Наша общая цель — победа «Единой России» на выборах в Госдуму. Выступление на форуме сторонников Владимира Путина. Москва, 21 ноября 2007 г. <http://www.edinros.ru/news.html?id=125609>.

<sup>3</sup> *Хамраев В.* Происки прошлого // Коммерсант. 2007. 23 ноября.

и предательства и, наконец, путинская реставрация как возвращение к новому золотому веку оказалась столь мощным фактором структурирования семантического пространства, что все противоречащие ей исторические нарративы сегодня просто отменяются как интриги маргинальной прозападной оппозиции. Ностальгические тона, в которые было окрашено для большинства россиян столетие со дня рождения Леонида Брежнева, лишний раз подтверждают правоту Сергея Караганова, утверждающего: «мы переживаем период контрреволюции»<sup>1</sup>.

Современное состояние дискуссий о советском прошлом, и особенно о Второй мировой войне, показывает, что если «идеология советского коммунизма... в строгом смысле слова *непроблематична*»<sup>2</sup> для прокремлевского либерально-консервативного дискурса, то есть не является вопросом самоопределения современной России и (или) правящего режима, этот тезис ни в коем случае не работает в отношении советского прошлого в целом. Образ Советского Союза как великой индустриальной державы и победителя в войне с нацизмом оказывается центральным элементом современной политики идентичности, причем, вероятнее всего, в данном случае перед нами одна из наиболее характерных тенденций путинской эпохи, проявившаяся уже в 2000 году с изменением государственной символики и характерная для всего последующего периода. В последние годы этот вопрос достиг крайне высокой степени политизации и даже стал предметом практик безопасности: так, Дмитрий Нерсесов утверждает, что пересмотр итогов Второй мировой войны может привести к утрате Россией своего статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН (экзистенциальная угроза статусу России как глобальной державы с указанием на точку невозвращения), и предлагает чрезвычайные меры противодействия в виде закона, «согласно ко-

<sup>1</sup> *Липский А.* Как России попасть в Европу [Интервью с Сергеем Карагановым] // Новая газета. 2007. 5 апреля.

<sup>2</sup> *Prozorov S.* Op. cit. P. 129. — Слово «идеология» выделено мной, второй курсив — в оригинале.

тому публичное опровержение или принижение роли России, ее народа в деле разгрома нацистской Германии, милитаристской Японии в годы Второй мировой войны было бы объявлено уголовно наказуемым преступлением (подобно отрицанию Холокоста)»<sup>1</sup>.

Подчеркнем, что отказ от признания ответственности Советского Союза за нарушения европейских норм и принципов в рамках российского дискурса вовсе не означает отказа от претензий на роль европейской державы. Вместо этого российский дискурс реартикулирует понятие Европы как таковое: означающее «Европа» в российском контексте встроено в несколько иные смысловые последовательности по сравнению с гегемонической артикуляцией, которую можно охарактеризовать как панъевропейский дискурс и которая опирается на институциональную мощь западноевропейских государств и наднациональных структур, таких как Европейский союз и Совет Европы. В этом контексте интересно наблюдение Романа Шпорлюка, который сравнивает отношение к Европе Петра I и советского руководства: «если Петр и его преемники видели присоединение к Европе как преобразование России по образу Европы, которая представляла как “Другой”, их советские наследники делают Россию Европейской путем создания Европы по образу и подобию Советской России»<sup>2</sup>, т. е. путем создания в Европе блока социалистических государств. Оставляя в стороне спорный вопрос о том, только ли ученичество и заимствование у соседей было содержанием европейской политики Петра I, отметим, что советское руководство не было первооткрывателем практики создания «истинной» Европы по образу и подобию России, хотя только оно, пожалуй, действи-

<sup>1</sup> *Нерсесов Д.* Против ревизионизма // Русский журнал. 2007. 8 мая. [http://www.russ.ru/stat\\_i/protiv\\_revizionizma](http://www.russ.ru/stat_i/protiv_revizionizma). См. также: *Нарочницкая Н.А.* За что и с кем мы воевали.

<sup>2</sup> *Szporluk R.* Introduction. Statehood and Nation Building in Post-Soviet Space // National Identity and Ethnicity in Russia and the New States of Eurasia / Ed. by R. Szporluk. Armonk, London: M.E. Sharpe, 1994. P. 10.

тельно попыталось создать «истинную» Европу, которая состояла бы из суверенных государств, — «истинную» Европу, которая в то же время столь радикально была бы не-Россией. Как отмечалось в главе 2, дискурсивный конструкт «истинной» Европы является неотъемлемым элементом гегемонических артикуляций российского дискурса на протяжении нескольких столетий, и в общем даже трудно сказать, было ли воплощение этого конструкта в форме суверенных европейских партнеров действительно удачным шагом. Признание за частью «истинной» Европы суверенных прав не могло быть полным и окончательным, и необходимость периодических интервенций для поддержания «истинности» социалистической Европы, несмотря на их легитимацию через доктрину Брежнева, вызывала к жизни новые противоречия и дислокации.

Советский опыт, как и опыт современной России, как нельзя лучше показывает, что российская «истинная» Европа не является совершенно произвольным конструктом. Несмотря на то что в дискурсе центрально- и восточноевропейских государств Россия часто предстает как абсолютное отрицание Европы, российский дискурс, безусловно, функционирует как часть общеевропейского, строится вокруг тех же узловых пунктов, но артикулирует их по-своему. Так, если в современном панъевропейском дискурсе центральное место занимают такие узловые пункты, как права человека, толерантность и мультикультурализм, то в российском на первый план выступают суверенитет и идентичность в ее метафизическом понимании, как набор имманентно присущих культуре качеств. Эти последние узловые пункты, однако, характерны и для некоторых вариантов артикуляции панъевропейского дискурса, особенно для дискурса крайне правых, и не случайно, как будет показано в главе 4, российские авторы часто выказывают симпатию к фигурам наподобие Ле Пена и Хайдера. Более того, можно утверждать, что именно государства Центральной и Восточной Европы в этом отношении ближе всего к России, поскольку для них интеграция в западноевропейские и атлантические струк-

туры является в первую очередь подтверждением их суверенного статуса и принадлежности к европейской культурной общности, тогда как тенденция к формированию общеевропейского политического сообщества воспринимается скорее как негативный фактор, на который до поры до времени закрывали глаза. После долгожданного вступления в НАТО и особенно в ЕС новые члены Евро-Атлантического сообщества начали «показывать зубы», демонстрируя незыблемость своего суверенного статуса, — в этом смысле особенно характерны заявления польских лидеров по поводу необходимости возврата смертной казни, попытки объявить вне закона «сексуальные отклонения» и т. п.<sup>1</sup> Именно благодаря тому, что ощущается как необходимость зафиксировать пока еще нестабильные национальные идентичности, «у многих сил в странах Балтии и России... традиционно сильно историческое сознание»<sup>2</sup> — это наблюдение Дмитрия Тренина, вероятно, можно распространить и на многие другие страны бывшего советского блока. Интенсивный, консолидированный антагонизм по отношению к России делает гегемонические артикуляции в этих странах гораздо более гибкими по отношению к противоречиям, возникающим в результате необходимости совместить дискурсивные приоритеты суверенности и наднациональности. По сравнению с этими артикуляциями российский дискурс, если можно так выразиться, более плюралистичен, поскольку весьма характерный для него антагонизм с Западом достигает максимальной интенсивности лишь в кризисные периоды, тогда как в обычных условиях оказываются возможны различные противоречащие друг другу варианты артикуляции.

Выбор России в пользу контрреволюции, сделанный на рубеже веков, разумеется, не был абсолютно predetermined, и те, кто принимал решения, обусловившие этот выбор, несут

<sup>1</sup> В качестве примера того, как эти тенденции интерпретируют леволиберальные круги Западной Европы, см.: *Рамоне И.* Польская параноя // *Le monde diplomatique.* 2007. № 4. С. 1.

<sup>2</sup> *Тренин Д.* Указ. соч. С. 20.

персональную ответственность за его последствия. В то же время генеалогический взгляд на характер гегемонии, сформировавшейся в России в начале XXI века, показывает, что диапазон возможных вариантов не был безграничным и что поэтому фактическое развитие событий нельзя изображать как совершенно случайное и зависящее от воли отдельных индивидов. Более того, вариант, который предпочитают большинство либеральных критиков путинской России, — «образ России как молодого демократического государства, возникшего в результате августовской буржуазной революции 1991 года»<sup>1</sup>, — почти неизбежно должен бы был основываться на отрицании советского прошлого и требовал бы конструирования идентичности новой России с чистого листа. Ответ на вопрос о возможности такого радикального разрыва с прошлым, помимо уже обсуждавшихся структурных факторов, зависит также от наличия субъекта, способного совершить столь драматичный акт. Здесь, однако, мы сталкиваемся с парадоксом, с институциональной точки зрения подробно описанным Марсией Вейгле: для проведения демократических рыночных реформ (и, добавим, для формирования идентичности России, которая гарантировала бы устойчивость, необратимость преобразований) было необходимо сильное и автономное государство, но процесс демократизации как таковой вел к ограничению автономии государства и, следовательно, к замедлению процесса реформ<sup>2</sup>. Когда же президент Путин, мобилизовав все имевшиеся в его распоряжении дискурсивные ресурсы, сумел восстановить автономию Российского государства, сам характер этой мобилизации предопределил более чем проблематичное отношение между идентичностью возрожденного политического субъекта и идеей демократических преобразований.

<sup>1</sup> *Маркедонов С.* Указ. соч. С. 28.

<sup>2</sup> *Weigle M. A.* Russia's Liberal Project: State-Society Relations in the Transition from Communism. University Park: Pennsylvania State University Press, 2000. P. 199—273.



В заключительной главе монографии мы попытаемся более подробно исследовать соотношение понятий суверенной субъектности и либеральной демократии в современном российском дискурсе.

\* \* \*

В нашем исследовании генеалогии современной России мы выделили три элемента российской дискурсивной реальности, которые, на наш взгляд, играют решающую роль в определении идентичности и границ российского политического сообщества: дискурс романтического реализма, фигуру «ложной» Европы и связь с советским прошлым. Романтический реализм как артикуляционная практика опирается на несколько основных предпосылок, которые сами редко оказываются предметом обсуждения. Прежде всего это тезис о том, что демократия, права человека и прочие либеральные ценности представляют собой не более чем идеологическое (в Марксовом смысле) прикрытие реальных международно-политических процессов: навязывая массам ложное представление о борьбе за достойные цели, политики на самом деле сознательно преследуют совершенно другие интересы. Романтическая составляющая этого дискурса, его тесная связь с идеалистической философией и с идущей от Трубецкого отечественной евразийской традицией ведет к антропоморфизации коллективных субъектов, к приписыванию им воли и целеполагания и в конечном итоге порождает картину мира, в котором народы, нации, цивилизации ведут борьбу с силами энтропии за собственное выживание и за сохранение многообразия культурных форм существования человечества. Таким образом, понятие интересов в романтическом реализме имеет не прагматическую, а историософскую природу. Представление об органическом характере национальной общности (иногда под именем соборности) является неотъемлемым элементом этого мировоззрения: оно обретает нормативный характер как призыв —

или даже требование — к *внутренней* консолидации сил Добра перед лицом *внешней* угрозы. Тем самым сообщество конституируется в виде замкнутой и стабильной структуры, тогда как различные альтернативные артикуляционные практики, порождающие дислокацию, смещение структур, на которые опирается шаткое здание национальной идентичности, вытесняются во внешнее пространство. Граница политического сообщества, которое конституирует эта артикуляционная практика, всегда помещает Российское государство в центр мира абсолютного Добра, а критика в адрес России по наиболее чувствительным вопросам приводит к немедленному перемещению границы, вследствие чего оппонент немедленно становится частью Иного, отличительной чертой которого является его антироссийский характер. При этом наибольшая угроза стабильности сообщества исходит от «внутренней» критики, субъект которой сам идентифицирует себя с Россией, поэтому наиболее часто в этой артикуляционной практике используется фигура пятой колонны, позволяющая приписывать оппонентам внешнюю идентичность. В то же время романтический реализм выступает как полноценный универсалистский проект, предлагая (и даже навязывая) России историческую миссию спасения человечества от тотальной вестернизации и порождаемой ею энтропии.

Противопоставление «истинной» и «ложной» Европы оказывается неотъемлемым элементом этих артикуляционных практик, который играет важнейшую роль как в интенсификации популистского антагонизма, так и в сохранении эквивалентности между Россией и «цивилизованным миром» в лице Запада. Критикуя Эстонию, Латвию, Литву и, позднее, Польшу за нарушение европейских норм, Россия тем самым получает шанс подтвердить свою собственную европейскую идентичность. К тому же с аналитической точки зрения фигура «ложной» Европы служит индикатором интенсивности антагонизма, и с этой точки зрения чрезвычайно полезно обращать внимание на состояние отношений между Россией и прибалтийски-

ми странами и Польшей при изучении вопросов взаимодействия между нашей страной и государствами западного «ядра».

Популистский антагонизм, порождаемый дискурсом романтического реализма, достиг пика интенсивности в 1999—2000 годах, после начала военной операции НАТО против Югославии. Это привело к консолидации российского общества перед лицом внешней угрозы, которая в этот момент в силу действия логики эквивалентности предстает как обобщенный образ западного экспансионизма и исламского экстремизма, выступающих как союзники. Владимир Путин оказался лидером, идеально подходящим для того, чтобы возглавить этот процесс консолидации. Однако после преодоления системного кризиса, связанного с косовской кампанией, наиболее острой фазой второй чеченской войны и моментом передачи верховной власти, интенсивность конституирующего антагонизма пошла на спад. Этому в значительной степени способствовало появление нового варианта артикуляции глобального политического дискурса после 11 сентября 2001 года, в которой Россия могла занять место одного из наиболее важных союзников США по антитеррористической коалиции и даже в определенном смысле возглавить мировую войну с террором. Одним из факторов, способствовавших десекьюритизации идентичности и границ российского политического сообщества, стала выработка нового основополагающего исторического нарратива, который позиционировал современную Россию как наследницу одновременно Российской империи и Советского Союза и тем самым восстановил связь времен за счет отрицания 1990-х годов как периода хаоса и упадка. Даже если в течение второго президентского срока Владимира Путина, особенно в 2006—2008 годах, вновь наблюдается переход к популистской политике, более стабильная национальная идентичность способствует менее интенсивной секьюритизации.

Как и всякая постреволюционная стабилизация, современное политическое развитие России несет в себе элементы контрреволюции, выражающиеся в частичной реставрации симво-

лов и практик советской эпохи. Эта реставрация в значительной степени структурно детерминирована: в логике мыслимого, характерной для постсоветского российского общества, присутствует лишь ограниченное число возможных оснований для конструирования идентичности новой России. Фактически их перечень исчерпывается тремя моделями, описанными в главе 2, причем одна из этих моделей, основанная на противопоставлении «цивилизации» и терроризма, стала политически возможной лишь после терактов 11 сентября. Поэтому неравная борьба развернулась между двумя артикуляциями — прочно седиментированным противопоставлением России Западу и возможностью начать историю страны с чистого листа, заново создав основополагающий исторический нарратив на основе отрицания советского прошлого. Учитывая инерционность дискурсивных структур, совершенно не удивительно, что идея России как великой державы, противостоящей Западу, в конечном итоге легла в основу новой гегемонической артикуляции в ее различных вариантах — от консервативно-националистических (представленных дискурсом романтического реализма) до умеренно-государственнических (официальный дискурс).

## Глава 4

# РЕАКЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ? СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

Один из наиболее существенных выводов, которые можно сделать из проведенного в прошлой главе анализа консервативно-националистического дискурса, — применительно к России речь идет и о романтическом реализме как более радикальной версии, и о более умеренной государственнической позиции — состоит в том, что национализм вовсе не обязательно предполагает партикуляристскую позицию, замыкание нации в себе, отказ от глобальных амбиций. Напротив, как мы видели, гегемоническая артикуляция современной России проявляет тенденцию к объединению мессианизма радикальных консерваторов и западнического стремления к позиционированию России как части цивилизации в единственном числе, проявляющегося в попытках разместить российскую идентичность в самом центре «истинной» Европы. Диалектика партикуляризма и универсализма составляет главную тему данной главы. Мы начнем с поставленной в заключительной части третьей главы проблемы субъектности, рассмотрев значение понятия суверенитета в политическом языке современной России. Суверенитет, как мы увидим, является одним из означающих, связывающих Россию с Европой, — разумеется, с Европой, как она представлена в той же гегемонической артикуляции, с Европой «большого концерта». Восстановление суверенной субъектности Российского государства — политическая сверхзадача всей

эпохи Владимира Путина, и вновь учреждаемый суверенный субъект, конечно, должен изучаться в его исторической конкретности, с учетом критериев субъектности, существующих в данном социально-историческом контексте. Эти критерии заимствуются из советской эпохи, что немедленно приводит к ряду противоречий и дислокаций — в частности, в том, что касается территориальных и особенно корпоральных границ российской нации-государства. Различные варианты артикуляции нации, существующие в современной России, рассматриваются нами в связи с проблематикой внутреннего и внешнего, в особенности с проблемой «соотечественников». Как можно было ожидать, эти артикуляции подвергаются существенной трансформации под воздействием практик безопасности, работающих в контексте «войны с террором» — одного из фундаментальных антагонизмов современности, в котором Россия в полной мере реализует свои универалистские амбиции, пытаясь занять место в центре сообщества «цивилизированных стран». Идентичность этого сообщества в глобальном дискурсивном пространстве, однако, определяется гегемонией либерального универсализма, который задает в этом пространстве систему координат с опорой на понятие демократии как узловой пункт дискурса. В этой шкале координат модернизационные усилия президента Путина и его команды, направленные на восстановление суверенной субъектности Российского государства, выглядят как реакционные попытки повернуть историю вспять, вернуться из постсовременного глобализированного мира в мир суверенных государств. Противостояние двух универалистских проектов, содержание которых все в большей мере составляет борьба за определение пустого означающего «демократия», находится в центре внимания заключительного параграфа данной главы.

## § 4.1. Модернизация как возврат в прошлое: суверенитет и автономия государства в современной России

В уже неоднократно цитированном обращении к Федеральному собранию в 2005 году — том самом, где распад Советского Союза был охарактеризован как геополитическая катастрофа, — Владимир Путин рисует ситуацию в России в 1990-е годы довольно мрачными красками: «эпидемия распада», которая, погубив СССР, перекинулась на Россию; «хасавюртовская капитуляция», «массовая бедность», «тяжелейший экономический спад», «паралич социальной системы» — таковы, по мнению президента, были внутрисполитические последствия распада Советского государства<sup>1</sup>. В то же время, по мнению Путина, выбор в пользу демократии не был ни безрассудным, ни напрасным: во время ежегодного прямого эфира в октябре 2006 года президент заявил: «Россия сыграла исключительно важную роль в падении Берлинской стены и в преодолении раскола в Европе. Эта заслуга принадлежит прежде всего Советскому Союзу и нашей с вами родной России, родной стране»<sup>2</sup>. В выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года президент подчеркнул, что падение Берлинской стены «стало возможным и благодаря историческому выбору, в том числе нашего народа — народа России, выбору в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего партнерства со всеми членами большой европейской семьи»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 25 апреля 2005 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223\\_type63372type63374type82634\\_87049.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml).

<sup>2</sup> Путин В. В. Стенограмма прямого теле- и радиозэфира («Прямая линия с Президентом России»). 25 октября 2006 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2006/10/25/1303\\_type82634type146434\\_112959.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/10/25/1303_type82634type146434_112959.shtml).

<sup>3</sup> Путин В. В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Мюнхен, 10 февраля 2007 года. URL: [http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737\\_type63374type63376\\_type63377type63381type82634\\_118097.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376_type63377type63381type82634_118097.shtml).

Того же мнения придерживается и министр иностранных дел Сергей Лавров: по его словам, «Россия, решительно выйдя из холодной войны, перестала быть идеологизированным, имперским государством»<sup>1</sup>. Иными словами, согласно президенту и его соратникам, Советский Союз в каком-то смысле принес себя в жертву ради мира и стабильности в Большой Европе. Кроме того, кризис 1990-х был необходим для поиска «нового вектора» в «тысячелетней истории» Российского государства: именно в течение этого десятилетия народу России предстояло «сохранить собственные ценности, не растерять безусловных достижений и подтвердить жизнеспособность российской демократии», а также «найти собственную дорогу к строительству демократического, свободного и справедливого общества и государства»<sup>2</sup>. Поэтому катастрофы и лишения периода реформ не были напрасны: к концу XX века Россия завершила очередную историческую миссию, восстановила силы и обрела энергию для новых глобальных задач.

Необходимость восстановления или, точнее, учреждения нововременного политического субъекта составляет один из центральных моментов путинской «контрреволюции» и позволяет говорить о ней как о проекте, направленном не только на реставрацию (эти его аспекты уже исследованы нами в предыдущей главе), но и на модернизацию. В этой артикуляции автономия государства противостоит тотальному коллапсу предыдущего десятилетия, для которого был характерен распад государства, его присвоение олигархами, утрата им способности к автономному политическому действию. Идея субъектности, дееспособности государства составляет, наравне с понятием порядка, один из ключевых моментов официальной российской идеологии. Она так или иначе лежит в ос-

<sup>1</sup> *Lavrov S.* 60 Years of Fulton: Lessons of the Cold War and Our Time // International Affairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relations. Vol. 52. 2006. No. 2. P. 12.

<sup>2</sup> *Путин В. В.* Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 25 апреля 2005 года.



нове едва ли не каждого значимого решения, принятого Владимиром Путиным на президентском посту: начав с принципа «равноудаленности», который по сути дела означал освобождение государства от контроля со стороны олигархов, администрация вполне закономерно перешла к сосредоточению в своих руках «стратегических» экономических ресурсов. Можно, наверное, согласиться с Сергеем Чернышевым в том, что Путин видит в государстве прежде всего корпорацию, чья главная цель состоит в достижении максимальной эффективности<sup>1</sup>; в этой модели контроль над ключевыми отраслями позволяет федеральному правительству выступать в качестве верховного арбитра во всех экономических вопросах. Попытки продолжить либеральные реформы социальной политики оказались безуспешны — вместо этого реализуются патерналистские решения (такие как меры по повышению рождаемости), демонстрирующие заботу сильного государства о гражданах.

При этом угроза возврата к ситуации неуправляемости, повторения хаоса 1990-х, постоянно присутствует на горизонте и актуализируется в каждом новом витке секьюритизации, наполняя содержанием практики безопасности. Общеизвестно, что одним из главных шагов, предпринятых Кремлем после бесланской трагедии, было упразднение губернаторских выборов. Аргументация в пользу этого решения основывалась на предположении, что недостаток внутренней управляемости усиливает

<sup>1</sup> Чернышев С. Россия-2008: оправдана ли ставка на корпорацию? // Русский журнал. 2006. 21 сентября. [http://russ.ru/stat\\_i/rossiya\\_2008\\_opravdana\\_li\\_stavka\\_na\\_korporaciju](http://russ.ru/stat_i/rossiya_2008_opravdana_li_stavka_na_korporaciju). Андрей Фурсов считает формирование «корпорации-государства» универсальной тенденцией постиндустриальной эпохи, выражением которой стала неолиберальная идеология: Фурсов А. Корпорация-государство. Доклад на заседании клуба «Красная площадь», 25 апреля 2006 г. [http://www.intelros.ru/2007/02/13/andrejj\\_fursov\\_gosudarstvokorporacija\\_doklad\\_na\\_zasedanii\\_kluba\\_krasnaja\\_ploshhad\\_25\\_aprelja\\_2006\\_g.html](http://www.intelros.ru/2007/02/13/andrejj_fursov_gosudarstvokorporacija_doklad_na_zasedanii_kluba_krasnaja_ploshhad_25_aprelja_2006_g.html). Вне зависимости от нашего согласия с этой макросоциологической констатацией, она отнюдь не умаляет значимости анализа политических процессов, стоящих за каждой такой трансформацией в отдельности.

террористическую угрозу. Вот как сказал об этом сам Владимир Путин в своем выступлении 13 сентября 2004 года:

Считаю, что в сложившихся условиях система исполнительной власти в стране должна быть не просто адаптирована к работе в кризисных ситуациях, а кардинально перестроена — перестроена с целью укрепления единства страны и недопущения возникновения кризисов. Мы не вправе забывать, что в своих далеко идущих планах вдохновители, организаторы и исполнители терактов стремятся к тому, чтобы дезинтегрировать страну, стремятся к распаду государства, к развалу России. Убежден, единство страны — это главное условие победы над террором, и без такого единства достичь этой цели невозможно<sup>1</sup>.

Владислав Сурков, разъясняя позицию президента, прямо сослался на угрозу возвращения хаоса и на ее связь с терроризмом:

...Вирус терроризма поразил государство как раз в то время, когда замкнутые в своих опереточных суверенитетах регионы и дохлые одноразовые партии были не в состоянии противостоять царившему в стране хаосу. А зачастую сами провоцировали его из мелкокорыстных побуждений. Этот период нефеодалной раздробленности, который мы пережили в 90-х годах, привел к возникновению бандитской Ичкерии и стал прологом террористической интервенции. Это не должно повториться<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Путин В.В.* Вступительное слово на расширенном заседании Правительства с участием глав субъектов Российской Федерации. Москва, Дом Правительства России, 13 сентября 2004 года. [www.kremlin.ru/appears/2004/09/13/1514\\_type63374type63378type82634\\_76651.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2004/09/13/1514_type63374type63378type82634_76651.shtml).

<sup>2</sup> *Овчаренко Е.* Заместитель главы администрации Президента РФ Владислав Сурков: Путин укрепляет государство, а не себя // Комсомольская правда. 2004. 29 сентября.

Необходимость консолидации, укрепления способности государства к действию, таким образом, вытекает из экстремального характера угрозы и из ее непосредственно данного присутствия: «Все мы должны осознать — враг у ворот»<sup>1</sup>.

Негативная реакция на «цветные революции» также в значительной степени обусловлена боязнью Москвы утратить контроль над внутривнутриполитическим пространством, что, в свою очередь, может привести к утрате Российским государством исторической субъектности. Даже пресловутые поправки к Закону «Об общественных объединениях»<sup>2</sup>, принятые в самом конце 2005 года и серьезно увеличившие для негосударственных организаций (НГО) бремя финансового и административного контроля, могут в этом свете быть истолкованы не как меры, непосредственно направленные на подавление гражданского общества<sup>3</sup>, а скорее как попытки обеспечить автономию внутривнутриполитического пространства, защитить его от внешних воздействий. Побудительным мотивом принятия закона, таким образом, стала не абстрактная ненависть к любым элементам демократии, а уже неоднократно обсуждавшееся нами представление об активистах НГО как пятой колонне — во-первых, потому что их деятельность действительно часто финансируется из-за рубежа и, во-вторых, потому, что они пытаются

<sup>1</sup> Там же. См. также: *Lynch D.* «The enemy is at the gate» // *International Affairs*. Vol. 81. 2005. No. 1. P. 141—161.

<sup>2</sup> Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2006 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Принят Государственной Думой 23 декабря 2005 года. Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2005 года // *Российская газета*. 2006. 17 января.

<sup>3</sup> Именно так его интерпретировали большинство критиков как в России, так и за рубежом. См., например: Заявление российских некоммерческих неправительственных организаций. Опубликовано 6 декабря 2005 года. <http://www.hro.org/ngo/about/2005/11/text.php>; United States Department of State. Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record 2006. Department of State Publication 11411. <http://www.state.gov/documents/organization/80699.pdf>. P. 110—111, 134—135.

«навязать» России ценности, которые принято классифицировать как западные<sup>1</sup>. Так, заявление Госдепартамента США в его ежегодном докладе о финансировании из бюджета США программ, направленных на обеспечение свободных и справедливых выборов в России в 2007—2008 годах<sup>2</sup>, вызвало гневную реакцию со стороны российских парламентариев. По мнению председателя Государственной думы Бориса Грызлова, «в докладе объявляется фактическое наступление на развитие демократии в нашей стране», а глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Юрий Шارانдин заявил: «Речь идет о том, согласна ли Россия получить американских ставленников за американские деньги»<sup>3</sup>. Глава думского комитета по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что если Российское государство не примет ответных мер, то «рано или поздно в России может случиться очередная цветная революция». По итогам межпартийного совещания в Думе его участники отметили, что доклад Госдепартамента свидетельствует о «стремлении нарушить суверенитет России» и дает «достаточно политических и юридических оснований для принятия действенных мер по защите суверенитета и национальной безопасности России от внешнего посягательства»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Важно отметить, что попытки критически сформулировать вопрос об идентичности НГО, особенно правозащитных, точнее обозначить их позицию в современном российском обществе, предостеречь как от безоглядной ориентации на мнение Запада, так и от сервильности перед лицом государства, предпринимались некоторыми авторами уже непосредственно после косовского кризиса и начала второй чеченской кампании. См., например, уже цитированную нами в предыдущей главе работу Иды Куклиной: *Куклина И. Н. Права человека: политическое и гуманитарное измерение // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 11. С. 21—30.* К сожалению, ни государство, ни общество, ни сами правозащитники не вняли этим предостережениям.

<sup>2</sup> United States Department of State. Supporting Human Rights and Democracy. P. 110.

<sup>3</sup> *Гордеева Е.* Ушли на фактологическую базу // *Время новостей.* 2007. 12 апреля.

<sup>4</sup> Цит. по: *Родин И.* Депутаты пригрозили Америке // *Независимая газета.* 2007. 13 апреля.

Когда в июне 2007 года Евразийский союз молодежи обвинил директора Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова и НГО «Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов» (EAWARN), работающую на базе института, в шпионской деятельности в пользу США, главным доказательством послужил факт финансирования организации Фондом Макартуров, а сущностью обвинения — разжигание межэтнических конфликтов. В частности, EAWARN вменялись в вину рост межэтнической напряженности в Ставропольском крае и столкновения в Кондопоге<sup>1</sup>: события, которые, с точки зрения евразийцев, были «неестественными» для России с ее органическим многообразием, тем самым получали внешнее объяснение, а заодно и критикам евразийства приписывалась внешняя идентичность. Автономия внутривосточного пространства и суверенитет, таким образом, оказываются теснейшим образом связаны в российском дискурсе. С одной стороны, это свидетельствует о довольно высокой степени замкнутости российской идентичности: любое внешнее вмешательство во внутреннее пространство воспринимается как угроза. С другой стороны, учитывая степень взаимозависимости государств в современном мире, эта замкнутость постоянно дислоцируется в ходе повседневного взаимодействия с внешним миром, что создает многочисленные основания для секьюритизирующих практик.

Президент Путин обобщил позицию в отношении НГО в своем выступлении в Мюнхене в феврале 2007 года: «когда эти неправительственные организации финансируются, по сути, иностранными правительствами, то мы рассматриваем это как инструмент иностранных государств в проведении политики в отношении нашей страны... Это скрытое финансирование. Скрытое от общества. Чего же здесь демократического?»<sup>2</sup> Анти-

<sup>1</sup> «Евразийский союз молодежи» нашел в России нового ученого-шпиона // NEWSru.com. Новости России. 2007. 19 июня. <http://newsru.com/russia/19jun2007/esm.html>.

<sup>2</sup> Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции..

либеральные меры, как это ни парадоксально, призваны обеспечить свободу, но не индивидуальную, а свободу общей воли, национальной самореализации через великое государство. Политика как таковая — как способ выработки представления об общем благе и национальных интересах на основе признания нередуцируемого плюрализма частных воли и интересов<sup>1</sup> — в современной России исчезает. Остаются лишь, с одной стороны, высшая сфера суверенной свободы (сущность которой, как известно со времен Карла Шмитта, состоит в принятии чрезвычайных решений, не связанных формальными нормами<sup>2</sup>) и, с другой стороны, будничная, деполитизированная деятельность исполнительных структур, к которым при Путине со всей очевидностью стали относиться также органы законодательной и судебной власти<sup>3</sup>. Роль и место представительных органов, во всяком случае, довольно точно определены печально известной фразой Бориса Грызлова о том, что парламент — «не место для политических дискуссий», произнесенной вскоре после его избрания на пост председателя Государственной думы<sup>4</sup>.

Во внешней политике доминантой стало утверждение России в качестве мощного и независимого игрока на международной арене, причем поиск основ для такого самоутверждения бесполезно описывать в терминах традиционной оппозиции между западниками («атлантистами») и антизападниками («евразийцами»). До тех пор пока Россия могла успешно позици-

<sup>1</sup> *Капустин Б. Г.* «Национальный интерес» как консервативная утопия // Свободная мысль — XXI. 1996. № 3. С. 13—29; *Edkins J.* Poststructuralism and International Relations. Bringing the Political Back In. Boulder, London: Lynne Rienner, 1999.

<sup>2</sup> *Шмитт К.* Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

<sup>3</sup> Ср.: *Макарычев А., Реут О.* О деполитизации и десуверенизации // Центр интернет-политики МГИМО(У) МИД России. Статьи членов экспертного совета. [http://www.netpolitics.ru/public.php?doc\\_id=166](http://www.netpolitics.ru/public.php?doc_id=166).

<sup>4</sup> *Островский В.* Он еще и историк... // Невское время. 2004. 24 декабря.

онироваться в качестве «ключевого звена» антитеррористической коалиции, на равных с США ведущего борьбу с новым мировым злом, ее внешняя политика была умеренно прозападной. Как только эта схема перестала работать, начался поиск новых оснований для внешнеполитического самоутверждения — как на традиционной арене (постсоветское пространство), так и в тех сферах, которые ранее не подвергались нарочитой политизации. Дмитрий Тренин точно подметил, что в попытках России обеспечить себе статус великой энергетической державы (в частности, определение энергетической безопасности в качестве одного из приоритетов ее председательства в Большой восьмерке в 2006 году<sup>1</sup>) ключевым для Кремля элементом является сам статус великой державы, а не конкретная сфера, в которой его предполагается достичь<sup>2</sup>. С ним согласен и прокремлевский аналитик Михаил Леонтьев: «Если Россия сама не будет субъектом мировой игры, остальные субъекты ее порвут... Россия возвращается в мировую “высшую лигу”, используя те инструменты, которые у нее есть»<sup>3</sup>. Этот тезис, в сущности, был сформулирован Владимиром Путиным еще в 2003 году, когда он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию: «такая страна, как Россия, может жить и развиваться в существующих границах, только если она является сильной державой. Во все периоды ослабления страны — по-

<sup>1</sup> Путин В. В. Вступительное слово на заседании Совета Безопасности по вопросу о роли России в обеспечении международной энергетической безопасности. Москва, Кремль, 22 декабря 2005 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2005/12/22/1654\\_type63374type63378type82634\\_99294.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/12/22/1654_type63374type63378type82634_99294.shtml); *Его же*. «Группа восьми» на пути к саммиту в Санкт-Петербурге: вызовы, возможности, ответственность. Статья, опубликованная в ведущих мировых СМИ 1 марта 2006 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2006/03/01/1140\\_type63382\\_102504.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/03/01/1140_type63382_102504.shtml).

<sup>2</sup> Тренин Д. В. Постимперский проект // Независимая газета. 2006. 30 января.

<sup>3</sup> Леонтьев М. Концепт «Россия как энергетическая сверхдержава» // Русский журнал. 2006. 27 октября. [http://russ.ru/stat\\_i/koncept\\_rossiya\\_kak\\_energeticheskaya\\_sverhderzhava](http://russ.ru/stat_i/koncept_rossiya_kak_energeticheskaya_sverhderzhava).

литического или экономического — перед Россией всегда и неотвратно вставала угроза распада»<sup>1</sup>. Этот тезис почти дословно воспроизводится и в «Обзоре внешней политики» 2007 года: «Россия может существовать в своих нынешних границах только как активная мировая держава», но здесь он сочетается с победной констатацией: «Главное достижение последних лет — вновь обретенная внешнеполитическая самостоятельность России»<sup>2</sup>. Сергей Лавров озаглавил свою статью, подводящую итоги 2006 года, «Внешнеполитическая самостоятельность России — безусловный императив»<sup>3</sup>.

Идеи стабильности, порядка и автономии государства как актора на внутри- и внешнеполитической арене, в полном соответствии с логикой классического модерна, организованы вокруг одного из важнейших узловых пунктов российского политического дискурса — понятия о суверенитете. Нетрудно убедиться, что суверенитет в отечественном дискурсе не является нейтральным понятием — он наделен ценностным приоритетом в противостоянии таким означающим, как «однополярность», «интервенционизм», «американизация», в более консервативных вариантах — «вестернизация» или «энтропия» и в ряде случаев — «глобализация». Как писал еще в 2000 году Андрей Макарычев, «такие концепции... как “исчезающие границы”, “мир без границ”, “фрагментированный суверенитет”» и т. д., которые занимают центральное место в дискурсе (нео) либеральной глобализации, «не встречаются особой благосклонности в российском политическом дискурсе». Глобализация часто воспринимается в России как угроза, главным образом

<sup>1</sup> Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 16 мая 2003 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2003/05/16/1259\\_type63372type63374type82634\\_44623.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2003/05/16/1259_type63372type63374type82634_44623.shtml).

<sup>2</sup> Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации. [http://www.mid.ru/bgr\\_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD](http://www.mid.ru/bgr_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD).

<sup>3</sup> Лавров С. Внешнеполитическая самостоятельность России — безусловный императив // Московские новости. 2006. 19 января.



потому, что «мало кто в Кремле был бы готов поставить под вопрос допущение, что суверенное государство является основным средством всесторонней организации современной политической жизни»<sup>1</sup>. В самом деле, по мнению известного ученого-международника Павла Цыганкова, «концепции типа “ворот в глобальный мир” или же логика “взаимодействующих единых пространств”» предполагают «отказ России от части своего суверенитета и территориальности», пролагая тем самым «путь к реальному распаду российской государственности»<sup>2</sup>. Алексей Салмин указывает, что попытки встроиться в глобализацию станут «испытанием на разрыв» для «российской государственности и России как страны и как исторически сложившегося культурного синтеза»<sup>3</sup>. Действительно, неолиберальная глобализация как артикуляционная практика так или иначе ставит под вопрос незыблемость национальных и прочих идентичностей, раскрывает их исторически обусловленный характер, устанавливает новые отношения различия и тем самым формирует новые идентичности, которые зачастую подрывают логику эквивалентности, на которой основывается любой современный национализм<sup>4</sup>. В ситуации, когда национальная идентичность является референтом практик безопасности, эти процессы воспринимаются как угроза, как внешнее противодействие процессу национальной консоли-

<sup>1</sup> *Makarychev A. S. Islands of Globalization: Regional Russia and the Outside World // Working paper No. 2. Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule, 2000. P. 25—26.*

<sup>2</sup> *Цыганков П. А. Либерализм в российской теории международных отношений // Космополис. 2003. № 6.*

<sup>3</sup> *Салмин А. М. Россия в новом европейском и мировом порядке // Мир и Россия на пороге XXI века. Вторые Горчаковские чтения. МГИМО МИД России (23—24 мая 2000 г.). М.: РОССПЭН, 2001. С. 59.*

<sup>4</sup> Э. Лаклау и Ш. Муф подчеркивают, что со времен Великой французской революции демократическая логика эквивалентности, выражающаяся прежде всего в принципе равенства граждан, становится главной движущей силой политики: *Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 1985. P. 155.*

дации, и в результате значение процессов идентификации гипертрофируется: вопросы границ между сообществом и внешним миром становятся неотъемлемым элементом любого политического решения. Эссенциализация культурных особенностей, интерпретация идентичности как качества, имманентного априорной данности сообщества, практически неизбежно приводят к принятию картины мира, в которой Россия не только отделена от внешнего мира (или, по крайней мере, от Запада) непреодолимым барьером, но и сам этот барьер обретает ценность в качестве гарантии существования сообщества. Именно обеспокоенность за будущее идентичности России заставляет таких авторов, как молодой аналитик и журналист Дмитрий Суслов (ныне — заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике), рассуждать о «нормах, принципах и целях» развития России, которые

кардинальным образом отличны от западноевропейских и североамериканских, просто в силу объективных различий в историческом развитии. Например... понижение значимости понятий суверенитет и территориальность, автономность субрегиональных акторов, размывание государственных границ и проч., уходящие своими корнями в логику отношений между европейскими государствами после второй мировой войны, ни в коей мере не приемлемы для современной России и, более того, представля[ют] для нее опасность. Те теории и модели, которые были разработаны западноевропейскими учеными на примере Западной Европы и с использованием западноевропейского понятийного аппарата... крайне опасны в случае их механического перенесения в чужую среду, объективно не готовую к их восприятию<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Суслов Д. Регион Балтийского моря как фактор европейской безопасности // Балтийские исследования. 2000. № 1. С. 26—27.

В наиболее эксплицитной форме секьюритизация идентичности и внешних границ сообщества проявляется в ультраконсервативном дискурсе романтического реализма, который настаивает на самоценности государственного суверенитета как заслона на пути вестернизации и энтропии. Предназначение суверенитета состоит в том, чтобы сохранить национальную идентичность — то, что делает Россию самобытной «цивилизацией», — и в конечном итоге защитить общемировое многообразие культур и цивилизаций. Так, Александр Панарин, рассуждая об угрозе вестернизации, выделяет суверенитет в качестве одной из опор для сил абсолютного Добра. По его мнению, для политики американской сверхдержавы характерно стремление к «демонтажу чужого суверенитета, который раздражает ее как таковой — как несовместимый и с ее самозванной ролью вершителя судеб всего мира»<sup>1</sup>, поэтому США стремятся к суверенитету как институту, используя для этого идеологию универсальных прав человека. Согласно Наталии Нарочницкой, операция НАТО в Косово была попыткой разрушить существующий мировой порядок, установленный по итогам Второй мировой войны и закрепленный хельсинкским Заключительным актом:

Идеологически он основывался на признании многообразия мира и цивилизаций со своими критериями добра и зла и сосуществования двух универсалистских идей коммунизма и либерализма... В правовом смысле миропорядок второй половины XX века основывался на фундаментальном понятии суверенности государства-нации...

После крушения коммунизма как одной из взаимно уравновешивающих идеологий исчезли препятствия на пути тотальной вестернизации, которая неизбежно приведет к тоталитарному однообразию:

<sup>1</sup> *Панарин А. С.* Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. М.: Университет, 1999. С. 180.

...США на пороге третьего тысячелетия нуждаются в универсалистской идее и провозглашают «мировое правительство» через некое подобие доктрины Брежнева: защита демократии и прав человека — общее дело мирового сообщества. Трудно не заметить, что философия либерализма при этом парадоксально извращается в самую тоталитарную систему взглядов, не терпящую рядом с собой существования иных ценностей<sup>1</sup>.

По мнению Максима Соколова, уничтожение суверенных государств является сознательной политикой Запада, направленной на насаждение «общечеловеческих ценностей»: «ныне установлено, что суверенитет государства — не более чем фикция. Он действует лишь постольку, поскольку он не противоречит некоторым произвольно устанавливаемым гуманитарным соображениям». Интересно, что Соколов включает в «обобщенный ряд государственноубийств, наблюдаемый нами за последнюю пятилетку», критику в адрес Израиля в связи с его силовыми операциями на палестинских территориях, с которой выступали весной 2002 года многие либеральные политики и общественные деятели:

Сербия, разбомбленная за попытку противостоять террору косовских жертв геноцида (они же — боевики ОАК), Македония, которую все те же миротворцы принудили капитулировать перед теми же боевиками. Попытка принудить Россию капитулировать перед ичкерийскими борцами за свободу... на той же линии. И уж точно на той же линии оказывается теперь Израиль. Все те же боевики — несчастные жертвы свирепого геноцида, все тот же надсадно изображаемый в западных СМИ новый Гитлер, он же Шарон Милошевич, все то же властное требование немедленно сдаться под заведомо

<sup>1</sup> Нарочницкая Н.А. Избежать нового передела мира // Международная жизнь. 1999. № 11. С. 19—20.

ничего не гарантирующие гарантии. Неясно лишь, сколько еще государств должно быть уничтожено, чтобы общественное мнение Запада не то чтобы поинтересовалось, какая надобность была в таком уничтожении, но хотя бы осознало, что перед ним — некоторая единообразная тенденция<sup>1</sup>.

Все эти высказывания, безусловно, принадлежат к консервативному полюсу дискурса; с точки зрения стиля и лексики они едва ли соответствуют нормам, принятым в официальных выступлениях. Однако если повнимательнее посмотреть на отношения между ключевыми означающими в официальных текстах, мы увидим, что они как минимум не противоречат основным смысловым структурам, воспроизводимым в работах консервативных авторов. Так, в выступлении Владимира Путина перед российскими миротворцами в Приштине в 2001 году именно суверенитет и территориальная целостность Югославии, равно как и других балканских государств, были дважды названы в качестве основных принципов будущего балканского урегулирования, тогда как соблюдение прав человека, например, не было упомянуто вовсе<sup>2</sup>. Возможно, ближе всего к романтической традиции оказалась интерпретация суверенитета президентом в его послании Федеральному собранию 2007 года, в котором он заявил, что «отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование зарубежным штампам неизбежно ведет к потере нацией своего лица», и процитировал слова Дмитрия Лихачева: «Государственный суверенитет определяется в том числе и культурными критериями»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Соколов М. Союзнические чувства // Известия. 2002. 17 апреля.

<sup>2</sup> Путин В. В. Выступление в расположении российского воинского контингента в составе Международных миротворческих сил в Косово. Приштина, 17 июня 2001 г. <http://www.kremlin.ru/text/appears/2001/06/28567.shtml>.

<sup>3</sup> Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 26 апреля 2007 года. [http://kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156\\_type63372type63374type82634\\_125339.shtml](http://kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml).

Идея взаимосвязи между принципом национального суверенитета и существующим мировым порядком присутствует и в основополагающих государственных документах в области внешней политики. При этом они также строятся в соответствии с логикой секьюритизации, в которой суверенитет предстает одновременно как угрожаемая ценность и как средство защиты от угрозы. «Концепция национальной безопасности Российской Федерации» констатирует, что одной из главных внешних угроз национальной безопасности России являются

попытки создания структуры международных отношений, основанной на доминировании в международном сообществе развитых западных стран при лидерстве США и рассчитанной на односторонние, прежде всего военно-силовые, решения ключевых проблем мировой политики в обход основополагающих норм международного права<sup>1</sup>.

«Концепция внешней политики» конкретизирует этот тезис, утверждая, что национальной безопасности России угрожают «тенденция к созданию однополярной структуры мира при экономическом и силовом доминировании США», ставка на «западные институты и форумы ограниченного состава» в ущерб роли Совета Безопасности ООН, а также «применение силовых методов в обход действующих международно-правовых механизмов»<sup>2</sup>. Несмотря на значительные изменения, которые произошли в концептуальном аппарате российской внешней политики за время, прошедшее с момента опубликования двух только что цитированных «Концепций», тезис об угрозе подрыва основных принципов международного права

<sup>1</sup> Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации № 24 от 10 января 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 2. С. 3.

<sup>2</sup> Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 28 июня 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 4.

в результате односторонних действий США или Запада остается в силе. Он был воспроизведен в мюнхенской речи Владимира Путина и оказался одним из тех моментов, которые были интерпретированы на Западе как конфронтационные:

Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности... Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов... В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно... Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной<sup>1</sup>.

Наконец, та же мысль в несколько менее эмоциональной форме присутствует и в «Обзоре внешней политики»:

Под флагом борьбы с новыми вызовами и угрозами продолжают попытки создания «однополярного мира», навязывания другим странам своих политических систем и моделей развития при игнорировании исторических, культурных, религиозных и других особенностей развития остального мира, произвольного применения и толкования норм и принципов международного права<sup>2</sup>.

Разумеется, роль суверенитета как узлового пункта и его противопоставление распаду и дезинтеграции отнюдь не уникальны для российского дискурса. Напротив, как отмечают

<sup>1</sup> Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции...

<sup>2</sup> Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации.

Владислав Иноземцев и Сергей Караганов, в период холодной войны суверенитет использовался «в качестве оружия в противоборстве сверхдержав», что привело к его утверждению в качестве подлинно глобального принципа организации политического пространства. «Парад суверенитетов» остается явлением, характерным и для современной эпохи: начиная с распада СССР и до современных дискуссий по поводу независимости Косово, создание новых суверенных государств рассматривается в качестве одного из способов решения межнациональных проблем. В то же время в период после окончания холодной войны отношение к суверенитету в глобальном дискурсе стало гораздо более критическим: воспроизводя одну из ключевых оппозиций либерального универсалистского дискурса, Иноземцев и Караганов утверждают: «на рубеже XX и XXI столетий становится очевидным: суверенитет отдельных государств не совместим с международной демократией»<sup>1</sup>.

Это противопоставление подчеркивает одно из центральных отличий преобладающей российской артикуляции от универсалистского либерального дискурса, которое будет более подробно проанализировано в § 4.4. Здесь же необходимо остановиться на кажущемся противоречии между пониманием суверенитета как конституирующего принципа и его инструментальным, «циничным» использованием в политической практике — противоречии, которое слишком часто служит поводом для обвинений в использовании «двойных стандартов». На первый взгляд, это противоречие можно снять путем отнесения, вслед за Александром Филипповым, суверенитета к регулятивным правилам: «суверенитет — принцип не конститутивный, а регулятивный. Апелляция к суверенитету означает не описание того, что есть, но некий необходимый модус совершения действий в определенных областях политики»<sup>1</sup>. Поэтому, по

<sup>1</sup> *Иноземцев В.Л., Караганов С.А.* О мировом порядке XXI века // Россия в глобальной политике. 2005. № 1. С. 8—9.

<sup>2</sup> *Филиппов А.Ф.* Суверенитет // Апология. 2005. № 3. С. 76. Различение конститутивных и регулятивных правил восходит к Иммануилу



мнению Филиппова, нарушение принципа суверенной независимости государств, постоянно имеющее место в международной практике, не подрывает устоев международно-политической системы Нового времени. Нельзя, однако, не признать, что суверенитет является основным атрибутом государства современного типа, то есть именно этот принцип учреждает не только правила игры, но и саму игру, игровое поле (анархическую международную среду<sup>1</sup>) и игроков. Вмешательство одного государства во внутренние дела другого, с одной стороны, нарушает конституирующий принцип суверенитета, а с другой стороны, является, в терминах Джона Сирла, институциональным фактом<sup>2</sup>: факт вмешательства во внутренние дела столь же невозможен без всеобщего признания принципа суверенности государств, как нельзя знать, что был забит гол в спортивной игре, без обращения к правилам, эту игру учреждающим<sup>3</sup>.

Некоторые известные авторы вообще отказываются от разделения правил на конститутивные и регулятивные. Например, Никлас Онуф решительно заявляет: «Все социальные правила...

Канту: *Kant I.* Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 248—252. Как указывает Никлас Онуф, начало современной дискуссии по этому вопросу было положено статьей Джона Ролза: *Rawls J.* Two Concepts of Rules // *Philosophical Review*. Vol. 64. 1955. No. 1. P. 3—32; см.: *Onuf N.* World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia: University of South Carolina Press, 1989. P. 51—52. Ролз, впрочем, избегает употребления кантовских терминов.

<sup>1</sup> Как известно, Кеннет Уолтц выводит анархический характер международной системы из свойств ее элементов — независимых суверенных государств. См.: *Waltz K.N.* Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley, 1979. P. 88—97.

<sup>2</sup> См.: *Searle J.R.* Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1969, в особенности p. 50—53; *Searle J.R.* The Construction of Social Reality. New York: Free Press, 1995.

<sup>3</sup> Cp.: *Werner W. G., Wilde J. H. de.* The Endurance of Sovereignty // *European Journal of International Relations*. Vol. 7. 2001. No. 3. P. 283—313. Вернер и де Вильде относят суверенитет как таковой к институциональным фактам, что, на наш взгляд, также неверно.

необходимо являются одновременно конститутивными и регулятивными», — и объясняет свою позицию ссылкой на динамику седиментации правил:

Когда любое... правило становится конвенцией, конституирование правила посредством речевых актов, принимающих его статус в качестве правила, начинает замещать его конституирование посредством речевых актов с дополнительным пропозициональным содержанием... Изменение состояния выражается изменением номенклатуры: конституирование становится институцией<sup>1</sup>.

Если Колин Уайт отказывается принять аргументацию Онуфа, настаивая на онтологическом характере различия между конститутивными и регулятивными правилами<sup>2</sup>, то с точки зрения постструктуралистской теории следовало бы, вероятно, обратить внимание на одно сделанное мимоходом замечание Онуфа, согласно которому это различие в конечном итоге «зависит от точки зрения, от отношения к практике, а не от практики как таковой»<sup>3</sup>. Необходимо, вероятно, различать анализ процесса институционализации правил от изучения их функционирования уже в качестве седиментированного института — это соответствовало бы, в частности, определению Джоном Сирлом регулятивных правил как регламентирующих уже существующие формы поведения, в отличие от конститутивных, которые *создают* соответствующие практики<sup>4</sup>. Исторически практики суверенитета действительно возникли до того, как были кодифицированы в международном праве, однако это не означает, что эти практики в любой данный момент времени могли существовать отдельно от учреждающих их, пусть поначалу и неписаных, правил.

<sup>1</sup> Onuf N. Op. cit. P. 86.

<sup>2</sup> Wight C. Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology. New York: Cambridge University Press, 2006. P. 148—149.

<sup>3</sup> Onuf N. Op. cit. P. 51.

<sup>4</sup> Searle J. R. Speech Acts. P. 33—42.

Соответственно, если мы исследуем функционирование принципа суверенитета на современном этапе, понимая под этим некий статический срез одновременных практик, то вместо отрицания конституирующего характера суверенитета или различий между конститутивными и регулятивными правилами следует обратить внимание на неизбежную дислокацию любой социальной структуры, в том числе и международной системы, состоящей из суверенных государств. Как показывает пример языковых игр, исследованный Людвигом Витгенштейном<sup>1</sup>, радикальная неопределенность свойственна любому набору правил, и потому безоговорочное соблюдение правил просто невозможно. Одни и те же действия в зависимости от контекста часто могут рассматриваться и как безукоризненное следование принятым нормам, и как очевидное их нарушение. Поэтому логика суверенитета, как и любая другая, подвержена дислокации под воздействием различных факторов, и эта дислокация порождает различные артикуляционные практики: некоторые из них стремятся использовать дислокацию для дальнейшего подрыва логики суверенитета, тогда как другие, напротив, направлены на ее воспроизводство. Интересно в этой связи отметить, что, по свидетельству Алана Чонга, в классических трудах Макиавелли, Бодена и Гоббса, заложивших основы современного понимания суверенитета, это понятие изначально конструировалось в тандеме с понятием интервенции, что делает логику целесообразности (*expediency*) необходимым элементом представления о суверенитете, а вовсе не свидетельством «коррупции» этого понятия под воздействием реалий «глобального мира»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 75—319.

<sup>2</sup> См.: *Chong A.* Classical Realism and the Tension between Sovereignty and Intervention: Constructions of Expediency from Machiavelli, Hobbes and Bodin // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 8. 2005. No. 3. P. 257—286.

Поэтому тот факт, что «полнота внутреннего контроля и внешней независимости» в современном мире немыслима, равно как и «невозможность суверенного контроля над всеми областями индивидуальной и социальной жизни не означает тотального невмешательства государства»<sup>1</sup> и устаревания суверенитета как организующего принципа, — в этом Александр Филиппов, безусловно, прав. Как убедительно показал Джастин Розенберг в статье, оказавшей заметное влияние на дискуссию о сущности глобализации, сторонники идеи «отмирания суверенитета» и исчезновения национального государства не учли фундаментальной связи между суверенным государством и логикой капиталистического развития и в результате явно поторопились с диагнозом<sup>2</sup>. Вместе с тем Розенберг явно упускает из виду, что «как признание суверенитета, так и отрицание его являются не просто риторическими фигурами»<sup>3</sup> или, в случае с критикуемой им теорией глобализации, результатом «систематически неверного истолкования событий в реальном мире»<sup>4</sup>. В сущности, утверждение устаревания суверенной государственности является политической практикой, направленной на изменение характера политических границ и их положения в пространстве глобальной политики: как пишут Дженни Эдкинс и Вероник Пин-Фат, «переосмысление суверенности и субъектности... — это не только академическое упражнение... Это этико-политический проект»<sup>5</sup>. Эта практика эксплуатирует дислокацию, которой *всегда* в большей или

<sup>1</sup> Филиппов А. Ф. Указ. соч. С. 76.

<sup>2</sup> Rosenberg J. Globalization Theory: A Post Mortem // International Politics. Vol. 42. 2005. No. 1. P. 2—74. Тезис о связи между государственным суверенитетом и капитализмом разработан Розенбергом в его известной книге: Rosenberg J. The Empire of Civil Society: A Critique of the Realist Theory of International Relations. London; New York: Verso, 1994.

<sup>3</sup> Филиппов А. Ф. Указ. соч. С. 77.

<sup>4</sup> Rosenberg J. Globalization Theory. P. 10.

<sup>5</sup> Edkins J., Pin-Fat V. The Subject of the Political // Sovereignty and Subjectivity / Ed. by J. Edkins, N. Persram, V. Pin-Fat. Boulder: Lynne Rienner, 1999. P. 16.

меньшей степени подвергался принцип суверенитета «в реальном мире», что выражалось в расхождении между организационными принципами и конкретными практиками международной политики, и, выдавая желаемое за действительное, тем самым пытается превратить утопию «постсуверенного мира» в реальность. С учетом того, что любой институт работает лишь в силу «забывания происхождения», попытки реактивации седиментированной реальности мира суверенных государств совсем необязательно обречены на провал.

Как бы то ни было, необходимо констатировать, что субъектность, принимающая форму суверенной государственности, остается ключевым понятием для современных международных отношений и для сферы политического в целом. Это становится особенно очевидным, если учесть, что демократическая политика в современном мире основана на понятии нации как автономного самоуправляющегося сообщества — несмотря на наличие довольно влиятельной космополитической традиции в теории международных отношений<sup>1</sup>, она пока не смогла выработать убедительной альтернативы национализму как принципу организации политического процесса, составляющему условие возможности подлинно демократического самоуправления. Неудивительно поэтому, что, когда российское общество оказалось в ситуации кризиса идентичности и одновременно столкнулось с вызовом «поствестфальского» этико-политического проекта, реакцией на это стало появление в российском контексте противоположной группы практик, которые стремятся ликвидировать последствия дислокации логики суверенитета. Апология суверенитета, однако, не лишена собственных парадоксов: уже сами по себе ссылки на между-

<sup>1</sup> В числе наиболее репрезентативных в данном контексте можно, например, назвать работы Дэвида Хелда и Эндрю Линклейтера: *Held D. Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford: Stanford University Press, 1995*; *Linklater A. The Transformation of Political Community: Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era. Columbia: University of South Carolina Press, 1998*.

народное право, необходимо присутствующие в самых разнообразных текстах, от историсофских сочинений до официальных документов, говорят о невозможности построить абсолютно закрытую и недифференцированную структуру на основе идеального разделения на «внутреннее» и «внешнее». Структура не может служить своим собственным основанием; пара «нация — государство» оказывается несамодостаточной в качестве фундамента для всего многообразия идентичностей. Любое взаимодействие с внешним миром нуждается в основаниях, необходим некий «общечеловеческий» язык, который позволил бы проецировать «внутренние» ценности во внешний мир. Таким языком в данном случае оказывается международное право как набор общепринятых норм, определяющих механизмы взаимодействия государств.

Однако как только принципиальная незамкнутость структуры становится очевидной, логика эквивалентности начинает сдавать позиции в пользу логики различия. В дискурсивном поле немедленно появляются другие означающие, конкурирующие с нацией или национальными интересами в качестве узлового пункта дискурса. Наиболее серьезные последствия имеет вторжение в это поле Европы как неразложимого означающего, одновременно внешнего по отношению к нации как структуре и необходимого для определения национальной идентичности.

Разумеется, это вторжение не приводит к тотальной реартикуляции на основе заимствования базовых элементов панъевропейского дискурса — если такое заимствование и имеет место, оно осуществляется лишь в рамках альтернативных, тяготеющих к либерализму артикуляционных практик. В панъевропейском дискурсе, структурированном вокруг документов и институтов Совета Европы и Европейского союза, роль узловых пунктов играют либерально-демократические и социальные ценности (права и свободы человека, социально ориентированная рыночная экономика, запрет на смертную казнь). В российском дискурсе Европа увязывается с другими

значениями, и суверенитет оказывается не менее, а зачастую более важным, чем демократия и рыночная экономика, что приводит к иной модели фиксации означаящих. Как уже отмечалось, Европа в России интерпретируется с позиций модернистской националистической утопии XIX века, а вовсе не в терминах специфически европейской утопии второй половины века двадцатого, призывающей к строительству наднационального единства на основе общих ценностей. Российская Европа — это Европа равновесия сил и четко определенных национальных границ, в которой суверенные государства борются за максимизацию собственного влияния и национальный интерес играет роль меры добра и зла.

При всем многообразии позиций, высказываемых российскими авторами по поводу настоящего и будущего Европы, суверенитет и самобытность населяющих континент народов остаются центральными, сущностными характеристиками, определяющими уникальность европейской цивилизации и задающими систему координат для оценки происходящего. Все, что ведет к «размыванию» национальных идентичностей, оценивается как угроза, и наоборот, их укрепление преподносится как благо. Важно отметить, что, как и в случае с Россией, речь здесь идет именно о суверенитете существующих государств и о национальной идентичности «коренных» европейских наций. Культурное многообразие приветствуется лишь постольку, поскольку оно является выражением «истинно европейской» культуры, а не проявлением новых, чуждых Европе тенденций.

Одна из таких чуждых тенденций — американизация, осуществляемая как путем культурной экспансии, так и посредством подрыва таких «защитных» институтов, как суверенитет и основанные на нем нормы международного права. Согласно «Независимой газете», важнейшие европейские нормы, нарушаемые сегодня США и их союзниками, включают принцип невмешательства во внутренние дела и территориальной целостности государств, закрепленные в основополагающих доку-

ментах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, таких как Заключительный акт Хельсинкского совещания и декларация Венской встречи 1989 года<sup>1</sup>. В зависимости от идеологической ориентации авторов, они могут связывать угрозу для принципа суверенитета с «глобалистской» фритредерской политикой президента Клинтона<sup>2</sup> или с «крестовым походом за демократию» президента Буша-младшего<sup>3</sup>, однако эти различия оказываются вторичными по отношению к базовому противопоставлению американизации и суверенитета. Интересно, что, даже когда ценности и практики, «навязываемые» восточноевропейским государствам, эксплицитно определяются как европейские (например, когда речь идет о принятии *acquis communautaire* как условия вступления в ЕС), это не мешает российским авторам истолковывать их как проявление колониализма, за которым в конечном итоге стоят США и который несовместим с представлением о «величии»<sup>4</sup> — т. е. опять-таки о суверенной способности вершить мировую политику. Осуждение американизации Европы исходит также из представления о превосходстве «высокой» европейской культуры над «массовой» американской. В отечественной научной литературе имели место даже попытки эмпирически обосновать подобные допущения, что неизбежно ведет к малодостоверным обобщениям, распространению отношений эквивалентности на все многообразие повседневных практик, существующих по обе стороны Атлантики. В конечном итоге

<sup>1</sup> Соединенные Штаты Европы // Независимая газета. 2002. 25 марта. См. также: *Воронов К. В.* Европа и Россия после балканской войны 1999 г.: драматичные уроки // *Мировая экономика и международные отношения*. 2000. № 4. С. 27.

<sup>2</sup> *Фоменко А. В.* Новый мир не за горами // Независимая газета. 2002. 13 февраля.

<sup>3</sup> *Косачев К.* За будущую демократию // Российская газета. 2006. 3 ноября.

<sup>4</sup> *Айрапетова Н.* Аты-баты, все — под Штаты! // Независимая газета. 2002. 11 марта.



все сводится к утверждениям, что малокультурные американцы едят слишком много гамбургеров, тогда как просвещенные европейцы ориентированы преимущественно на «престижное потребление уникальных, единичных товаров и продуктов»<sup>1</sup>.

Фактически здесь перед нами еще один вариант истории о похищении Европы, встроенный все в тот же секьюритизирующий дискурс, который описывает вестернизацию как угрозу для всего мира. В этом контексте, правда, термин «вестернизация» чаще всего заменяется другим — «американизация», но структура дискурса остается прежней, а различие между двумя терминами отражает противоречивое положение Европы на границе российского политического сообщества. С одной стороны, Россия предстает как отдельная уникальная цивилизация, которой угрожает единый, недифференцированный Запад: означающие «Америка» и «Европа» сливаются в общем понятии «Запад» и теряют всякое позитивное содержание. Сущность этой угрозы описывает термин «вестернизация». В качестве одного из относительно недавних примеров подобной артикуляции приведем комментарий депутата Госдумы, директора Института стран СНГ Константина Затулина по итогам «оранжевой» революции на Украине:

Украина, веками связанная с Россией, в эпоху перестройки стала последним и решающим фактором распада общего государства. Ее независимость — самое трудное испытание для России, ужавшейся на наиболее перспективном, европейском, направлении до размеров Российской Федерации. Если Украина, даже независимая, не состоит в особых, союзных, отношениях с Россией, то под ее новоприобретенную государственность подводится антироссийский фундамент и она превращается во вторую Польшу. То есть в чуждый России культурно-

<sup>1</sup> *Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С.* В поисках идентичности: европейская социокультурная парадигма // *Мировая экономика и международные отношения.* 2002. № 6. С. 11.

исторический проект, культуртрегера, с которым мы обречены иметь дело. Иначе он сам «займется» нами<sup>1</sup>.

Очевидно, что в данном случае не существует третьей, промежуточной позиции между Россией и Западом: «европейский» выбор Украины превращает ее в агента Запада, культурно и цивилизационно враждебную России силу.

С другой стороны, Европа, которая *включает* Россию, должна опасаться американизации, поскольку последняя угрожает ее уникальной многонациональной культуре. Здесь референтным объектом секьюритизации выступает уже идентичность Европы в целом — «истинной» Европы, неотъемлемой частью которой является Россия, — а источником угрозы выступает Америка как воплощение враждебного «духа Запада». Важно отметить, что большинство авторов легко переключаются между этими двумя артикуляциями, что лишний раз доказывает их принадлежность к одному дискурсу. Противоречивость и изменчивость являются неотъемлемыми характеристиками любого политического дискурса в силу действия сверхдетерминации и неразрешимости, ключевых атрибутов политики как сферы человеческой деятельности. Выбор того или другого варианта артикуляции определяется характером политических решений, принимаемых в каждый данный момент: так, когда речь идет об оценке конфликтов наподобие иракской кампании президента Буша-младшего, большинство высказываний проводят различие между США и Европой и даже отрицают существование «Запада» как единого целого. Напротив, возражения на критику ситуации с правами человека в России или дискуссия о вторжении «чуждых» религиозных течений чаще структурируются в соответствии с логикой вестернизации.

Не все авторы согласны с тем, что американизация представляет собой реальную угрозу европейскому многообразию:

<sup>1</sup> *Затулин К. Ф.* Борьба за Украину: что дальше? // Россия в глобальной политике. Т. 3. 2005. № 1. С. 79.

секьюритизация в данном случае сталкивается с отчетливо выраженным противодействием. Десекуритизация «американской угрозы» исходит из оптимистического видения новых возможностей, которые открывает как перед Россией, так и перед остальной Европой процесс глобализации. Эта артикуляционная практика, однако, также опирается на представление о *национальном* многообразии как ключевом атрибуте европейской цивилизации, ее важнейшей отличительной черте. Например, проректор Дипломатической академии МИД РФ Евгений Бажанов считает, что процессы глобализации и интеграции совместимы с сохранением и даже укреплением национальной идентичности:

Участники процесса, поступаясь частью суверенитета, сливаются в общее экономическое, социальное, культурное пространство. Но в Европе не наступило ни полного единообразия, ни тем более американизации. Свои ценности, традиции, привязанности у французов и англичан, итальянцев и финнов, греков и австрийцев... Эта самая глобализированная часть планеты далека от превращения в стандартную и пресную американскую деревню. Как раз наоборот. Чем значительнее успехи европейцев в совместном развитии, тем сильнее их тяга к независимости и самобытности. И все человечество сейчас более многоцветно и полицивилизационно, чем когда бы то ни было в прошлом<sup>1</sup>.

Вообще говоря, реартикуляция российского дискурса после избрания Владимира Путина президентом, завершения наиболее острой фазы антитеррористической операции в Чечне и трансформации мировой политики в результате терактов 11 сентября привела к десекуритизации отношений России с ее западными соседями, от Эстонии до США. Команде прези-

<sup>1</sup> Бажанов Е. П. Глобализация как объективный процесс // Независимая газета. 2002. 13 февраля.

дента Путина удалось сформировать в сознании россиян позитивный образ новой России, который, при всей его двусмысленности и противоречивости, все же снимает экзистенциальную обеспокоенность по поводу будущего страны, устраняет острую неопределенность в вопросах идентичности. Если один из лидеров Союза правых сил Анатолий Чубайс высмеивает эклектичность символики современной России как «борщ с компотом в одном ведре»<sup>1</sup>, то президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский утверждает, что в «единовременности геральдики» (т. е. сочетании советского гимна и имперских герба и флага) проявился факт превращения России из постсоветского аморфного образования в полноценное государство: если «Беловежские соглашения не создавали России, а ограничивали ее», то благодаря Путину «Россия бесповоротно вылупилась из СССР», чтобы занять достойное место на международной арене<sup>2</sup>. Эта новая Россия способна на спокойный диалог и даже на урегулирование конфликтных ситуаций со своими партнерами — как более сильными, так и более слабыми. Подтверждением этому может служить урегулирование визовой проблемы вокруг Калининграда в ходе непростых переговоров с Европейским союзом и Литвой в 2002 году, а также отнюдь не катастрофические последствия иракского кризиса для отношений как с США, так и с «новой» Европой. Начиная особенно с Римских соглашений Россия — НАТО и по крайней мере до начала эпохи «цветных революций» определение России в качестве части «цивилизованного мира», европейского государства с собственной уникальной культурой было гораздо менее проблематичным, чем в последние годы прошлого столетия, и это создавало возможности для поиска компромиссных решений. Десекуритизация идентичности означала снижение интенсивности антагонизма между Росси-

<sup>1</sup> Чубайс А. Б. Миссия России в XXI веке // Независимая газета. 2003. 1 октября.

<sup>2</sup> Павловский Г. О. Прощай, Беловежье! // Независимая газета. 2000. 9 декабря.

ей и Западом, а значит, и возможность установления отношений различия, без которых невозможна игра с ненулевой суммой. Если в условиях абсолютного антагонизма, когда противник превращается в чистое отрицание, любая уступка неизбежно воспринимается как поражение, то в условиях преобладания отношений различия возможна интерпретация компромисса как взаимовыгодного решения, в котором потери в одной сфере компенсируются приобретениями в другой.

Отметим, однако, попытки десекьюритизации исходящих от Запада угроз, отвергающие лозунг многополярного мира как «нереалистичную и старомодную»<sup>1</sup> точку зрения, как правило, также неизменно настаивают на необходимости восстановления автономной субъектности Российского государства. По мнению Анатолия Чубайса, законное место России как либеральной империи — в «кольце великих демократий Северного полушария»<sup>2</sup>. Владислав Иноземцев и Сергей Караганов выступают в поддержку идеи «коллективного управления, осуществляемого группой ведущих демократических государств», и в этом проекте России также отводится место в мировом «центре», которому и предстоит управлять миром<sup>3</sup>.

Суверенная автономия государства остается, таким образом, одним из важнейших узловых пунктов российского дискурса, причем его структурирующее воздействие ощутимо на всем протяжении политического спектра: различные, противоречащие друг другу дискурсивные практики сходятся в этой точке и взаимно усиливают друг друга. Еще раз подчеркнем, что политический субъект, становление которого происходит на наших глазах, вовсе не выглядит каким-то внеисторическим монстром, чья суверенная воля не связана никакими ограничениями. Напротив, его черты весьма узнаваемы, поскольку современный истеблишмент заимствует критерии субъектно-

<sup>1</sup> *Иноземцев В.Л., Караганов С.А.* Указ. соч. С. 18.

<sup>2</sup> *Чубайс А.Б.* Указ. соч.

<sup>3</sup> *Иноземцев В.Л., Караганов С.А.* Указ. соч. С. 22, 23.

сти из советской эпохи. Иначе и быть не может, поскольку, как уже было указано, фундаментом нынешнего кремлевского проекта является исторический нарратив о советском золотом веке. Этот проект ориентирован на классическую традицию Нового времени, в которой основной формой политической организации предстает суверенная нация-государство, основанное на непроблематичной идее общего блага, на представлении о национальном интересе как объективной данности, не требующей критического осмысления. Однако конкретное содержание понятий общего блага и национального интереса определяется на основе сопоставления современной реальности и идеализированного образа советского модерна. Иногда это принимает гротескные формы — например, когда хабаровский губернатор Виктор Ишаев рапортует президенту: «В лучшие застойные времена не было столько построено, как мы сделали за последнее время»<sup>1</sup>. Однако из такой привычной ориентации на стандарты брежневского времени вырастает образ идеальной России — глобальной державы с мощной высокотехнологичной экономикой, настроенной не на удовлетворение потребительского спроса, а на поддержание «мобилизационного потенциала». Государственная собственность с точки зрения этих стандартов оказывается куда надежнее частной, политический плюрализм воспринимается как угроза национальной безопасности, а Запад предстает главным геополитическим противником, состязание с которым придает смысл внешней политике. Реставрация советских символов и практик в России Владимира Путина, таким образом, оказывается формой, которую принимает процесс модернизации.

<sup>1</sup> Колесников А. Владимир Путин пришел в Хабаровский край трубой // Коммерсант. 2006. 26 сентября.

## § 4.2. Размытые границы, «соотечественники» за рубежом и «национализм идеальной родины»

Мы уже обсуждали некоторые проблемы, с которыми сталкивается реставрационная модернизация как политический проект и как идеология, когда она пытается выстроить проблематичную национальную идентичность России. Такие узловые пункты, как суверенитет и Европа, оказываются сверхдетерминированы как в глобальном, так и в российском дискурсе. Степень дислокации еще усиливается при столкновении основополагающего нарратива о советском золотом веке как органической части тысячелетней истории Российского государства с геополитической реальностью начала XXI века. Сегодняшняя Россия отличается от Советского Союза и Российской империи как в количественном, так и в качественном отношении, и проблематичный характер этого отличия фиксируется в прокремлевской пропаганде. «Территория и границы» «русского мира» включены в число важнейших «русских вопросов», поставленных в рамках так называемого «Русского проекта» «Единой России», официально открытого в феврале 2007 года<sup>1</sup>.

Количественные, территориальные потери, понесенные бывшей «одной шестой частью суши», могут быть встроены в существующий нарратив как жертва, принесенная матушкой-Россией на алтарь общеевропейского единства. Кроме того, восстановление влияния на бывших окраинах империи можно представить — и это, как мы знаем, уже делается — в качестве одной из главных внешнеполитических задач возрожденной России, существенного элемента ее очередной цивилизаторской миссии. Вот, например, как по этому поводу выразился Павел Зарифуллин, лидер Евразийского союза молодежи: «Рос-

<sup>1</sup> «Единая Россия» открывает «русский проект» // Единая Россия. Официальный сайт партии. 2007. 5 февраля. <http://www.edinros.ru/news.html?id=118052>.

сия — это сердце, она то сжимается, то разжимается. Когда она разожмется, то никому мало не покажется. Россия в тех границах, в которых она существует сегодня, — это убожище и пошмище. По другую сторону границ живет один и тот же великий многонациональный русский народ!»<sup>1</sup>

Гораздо сложнее разобраться с качественными отличиями между Российской Федерацией и ее предшественниками, которые вызывают трагическую неопределенность по части границ политического сообщества<sup>2</sup>. Для наполнения абстрактной идеи общего блага конкретным содержанием мало задать систему координат через ссылку на советское прошлое: необходимо, как выясняется, ответить на вопрос «кто мы?», задать, говоря словами Александра Вендта, корпоральные границы политического сообщества. Как уже отмечалось в главе 1, положение постсоветской России является очень серьезным эмпирическим свидетельством против утверждения Вендта, что корпоральная идентичность государства может с полным основанием быть принята как данность<sup>3</sup>. Чем глубже мы исследуем эмпирический материал, тем прочнее связь между этими двумя аспектами национального самоопределения, и в конце концов неизбежно приходится усомниться в самой возможности аналитического разделения социальной и корпоральной идентичности.

Отметим, что в качестве точки отсчета при разговоре о границах российских нации и государства в первую очередь выступает именно советское, а не дореволюционное имперское

<sup>1</sup> Активисты Евразийского союза молодежи — за Российскую империю // Межгосударственная телерадиокомпания «Мир». 2007. 8 апреля. <http://www.mirtv.ru/show.php?id=11534&templ=news>.

<sup>2</sup> См.: *Tolz V. Conflicting «Homeland Myths» and Nation-State Building in Postcommunist Russia // Slavic Review. Vol. 57. 1998. No. 2 P. 267—294; Suny R. G. Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia // International Security. Vol. 24. 1999. No. 3. P. 147—152.*

<sup>3</sup> *Wendt A. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 224—230.*



прошлое. С одной стороны, это объясняется тем простым фактом, что нынешнее поколение россиян сформировалось преимущественно в советское время (а значительная часть молодежи усвоила представление о советском золотом веке через обычные механизмы социального воспроизводства — из школьных учебников, от родителей и учителей). С другой стороны, это связано с особой телеологией советского исторического дискурса в сочетании с той ролью, которую историческая наука играла в политических практиках советской эпохи. Проецируя в прошлое представление о советском народе как «исторической общности нового типа», советские историки вольно или невольно приходили к представлению о естественном характере советских границ, об их органическом соответствии границам новой исторической общности — советского народа. Учебники по истории СССР не просто включали в национальный нарратив историю государства Урарту, Великого княжества Литовского и Бухарского ханства, но и излагали ее в телеологическом ключе, таким образом, что национальные истории всех народов СССР представляли как естественное движение к воссоединению на пространстве Российской империи, а позднее — Советского Союза. Конечно, в основе классической российской исторической школы XIX века, представленной трудами Карамзина, Соловьева, Ключевского, Платонова, лежит немецкая романтическая традиция, которая, собственно, и сформировала историческую телеологию, базирующуюся на представлении о нации как органическом единстве. Осознание того, что культурное многообразие имперского пространства не вполне вписывается в национальный нарратив, приходит уже в эпоху заката империи — в частности, в трудах Александра Преснякова<sup>1</sup>. Однако как государство Российская империя была гораздо более традиционна и потому более полиморфична, чем Советский

<sup>1</sup> *Пресняков А.* Место «Киевского периода» в общей системе «Русской Истории» // *Ab Imperio*. 2003. № 3. С. 21—34.

Союз; задача гомогенизации исторического нарратива в ней не ставилась, а потому отсутствовал и соответствующий идеологический аппарат. Все это появляется уже в советскую эпоху, когда модернизация становится главной государственной задачей<sup>1</sup>. При этом как в официальной историографии (школа Покровского), так и у евразийцев многообразие осознается и воспринимается как вызов, как препятствие на пути формирования гомогенного культурного пространства. Именно советский нарратив, гегемоническое положение которого было обеспечено мощными ресурсами советской пропагандистской и образовательной системы, врезается в историческую память жителей постсоветской России<sup>2</sup>.

Однако именно в силу своей изначальной противоречивости реставрационная модель национальной идентичности не дает надежных ориентиров для ответа на вопрос о критериях принадлежности к российскому политическому сообществу. Политическое сообщество в современной России определяет себя одновременно в трех плохо сочетающихся друг с другом вариантах — то как гражданская нация (Россия как сообщество всех россиян), то как этническая («Россия для русских»), то, наконец, как надэтническое имперское единство («многонациональный русский народ»), которое, с учетом общего исторического опыта, оставляет открытой возможность включения в сообщество всех жителей бывших советских республик. Если имперская модель потенциально совместима (хотя и не без трений) как с гражданской, так и с этнической нацией, после-

<sup>1</sup> *Brandenberger D.* National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931—1956. Cambridge: Harvard University Press, 2002; *Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda* / Ed. by K. M. F. Platt, D. Brandenberger. Madison: University of Wisconsin Press, 2006.

<sup>2</sup> Ср.: *Семенов А.М.* От редакции. Дилеммы написания истории империи и нации: украинская перспектива // *Ab Imperio*. 2003. № 2. С. 377—386. Автор благодарит Александра Семенова за помощь при формулировании данного тезиса.

дние два типа национализма довольно радикально противостоят друг другу.

Понимая возможный разрушительный эффект этнического национализма для единства страны, администрация Владимира Путина в течение первых лет его пребывания у власти сознательно и более-менее последовательно проводила курс на строительство в России гражданской нации<sup>2</sup>. Так, закон о гражданстве был модифицирован в соответствии с «европейскими стандартами», всячески подчеркивался мультикультурный характер российского общества (в 2005 году Россия получила статус наблюдателя в Организации Исламская конференция), борьба с правым экстремизмом декларировалась в качестве общенационального приоритета (хотя его конкретная реализация остается предметом ожесточенных споров). Принцип гражданского национализма открыто декларируется главным идеологом Кремля, заместителем главы Администрации президента Владиславом Сурковым в статье об основных принципах «суверенной демократии», озаглавленной «Национализация будущего». Примечание, в котором Сурков объясняет свое понимание нации, заслуживает того, чтобы быть процитированным полностью, так как, помимо собственной позиции, автор удачно иллюстрирует терминологическую неопределенность современного русского языка в этой важнейшей сфере:

Здесь нация понимается как сверхэтническая совокупность всех граждан страны. Применительно к России:

<sup>1</sup> Алексей Миллер пытается наметить пути гармоничного совмещения гражданской и культурной идентификации: *Миллер А. И.* Нация как рамка политической жизни // Pro et contra. Т. 11. 2007. № 3. С. 6—20. Его модель российского национализма с русской культурной спецификой, однако, имеет ярко выраженный нормативный характер, поэтому она ни в коем случае не отменяет значимости противопоставления гражданского и культурного национализма при описании наличной социальной реальности.

<sup>2</sup> *Tolz V.* A Search for a National Identity in Yeltsin's and Putin's Russia // Restructuring Post-Communist Russia, ed. by Y. Brudny, S. Hoffman, J. Frankel, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 160—178.

«нация» в данном тексте ~ «многонациональный народ» в тексте Конституции. Т. е. российская нация (народ) объединяет все народы (национальности?) России в общих границах, государстве, культуре, прошлом и будущем<sup>1</sup>.

Вера Тольц отмечает, что уже в своей программной статье «Россия на рубеже тысячелетий», опубликованной в канун нового, 2000 года<sup>2</sup>, Владимир Путин использует термин «российская идея» вместо стандартного словосочетания «русская идея» и что возвращение некоторых атрибутов советской государственности может быть позитивно воспринято многими представителями этнических меньшинств, для национальной истории которых советский период ознаменовался явным прогрессом по сравнению с царскими временами<sup>3</sup>. «Независимая газета» противопоставляет ностальгию по советской эпохе, характерную для многих россиян, и распространенную в российском обществе ксенофобию, видя в этом противоречие: «Люди так часто абстрактно ностальгируют по бывшему Союзу, по братству и дружбе народов и так открыто презирают конкретных таджиков, молдаван, киргизов или украинцев, работающих на улицах и стройках, рынках и магазинах наших городов»<sup>4</sup>.

Однако противоречие здесь имеет место только в том случае, если мы фокусируемся на идентичности Советского Союза как интернационального по идеологии и устройству государства, не обращая внимания на другие следствия ностальгии по советскому прошлому. Роль советского прошлого как основополагающего нарратива и как стандарта субъектности ведет к возникновению вопроса о сферах влияния и о статусе всевозможных «серых зон», в том числе и в вопросе о корпораль-

<sup>1</sup> Сурков В. Национализация будущего. <http://www.edinros.ru/news.html?id=116746>.

<sup>2</sup> Путин В. В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. 1999. 30 декабря.

<sup>3</sup> Tolz V. A Search for a National Identity... P. 170—171.

<sup>4</sup> Иммигранты и миграция // Независимая газета. 2007. 27 февраля.

ных границах сообщества. Характеризуя ельцинскую эпоху в послании 2005 года, Владимир Путин, в частности, говорит о «десятках миллионов наших сограждан и соотечественников», оказавшихся «за пределами российской территории»<sup>1</sup>. Столь двусмысленная характеристика граждан соседних государств как «наших сограждан и соотечественников» не только служит основой для имперской экспансии (наиболее характерный пример такого рода — массовая раздача российских паспортов жителям Абхазии и Южной Осетии<sup>2</sup>), но и заставляет задать вопрос о том, какие конкретно группы подпадают под это описание. Очевидно, что латыши или эстонцы, например, едва ли имеют шанс оказаться в числе «соотечественников» — разве только в том случае, если живут где-нибудь в Казахстане. Не менее очевидно, что первоочередными претендентами на этот статус являются представители славянских народов, особенно если их родной язык — русский, а не белорусский или украинский. Неоимперская идентичность, таким образом, является проводником для этнонационалистического дискурса, который исподволь «вползает» в язык официальной политики. Причем дело здесь опять-таки не в злой воле президента, но и не в случайной оговорке: эта фраза из выступления Путина отражает смысловые структуры, на которых в значительной степени базируется самоопределение России. Роджерс Брубейкер называет этот вариант артикуляции идентичности национализмом идеальной родины (*homeland nationalism*). Его наиболее типичным воплощением был немецкий национализм Веймарского периода: несмотря на некоторые существенные различия, параллели между межвоенной Германией и постсоветской Россией действительно бросаются в глаза<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> *Путин В. В.* Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 25 апреля 2005 года.

<sup>2</sup> *Тренин Д. В.* Казус Косово // *Pro et Contra*. Т. 10. 2006. № 5—6. С. 10, 14.

<sup>3</sup> *Brubaker R.* *Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe.* Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 107—147.

Попытаемся последовательно и детально проанализировать эти структуры, начав с двусмысленного положения «соотечественников» в российском политическом дискурсе. Очевидно, что перед нами тот самый пограничный случай, который, по мнению Энн Нортон, как раз и определяет идентичность сообщества:

Дифференциация между субъектом и объектом, Я и Иным требует присутствия как объекта различия, так и объекта подобия. Маргиналы (*liminars*)<sup>1</sup> представляют собой объект, который подобен субъекту, хотя и наглядно отличается от него. Они, таким образом, представляют собой объект, с которым субъект может идентифицировать себя даже при одновременной дифференциации. Эта триадическая дифференциация имеет решающий и долговременный характер, потому что она абстрактна, увязана с установлением абстрактных критериев дифференциации и идентификации. Она приводит к отделению должных качеств политики от качеств, чуждых ей<sup>2</sup>.

Такая постановка вопроса, однако, нуждается в уточнении. Любая группа людей может обладать теми или иными качествами лишь в рамках дискурсивно структурированной системы различий. Поэтому, когда мы говорим о значении маргиналов для определения границ сообщества, для оценки отношений эквивалентности (или подобия, в терминах Нортон) и различия, необходимо оставаться в рамках системы сигнификации,

<sup>1</sup> Перевод используемого Нортон термина «*liminar*» как «маргинал», со всеми коннотациями последнего, оправдан, поскольку Нортон рассматривает маргинальность (предельность) не только в пространственном смысле (жители пограничных территорий, лояльность которых не гарантирована), но в первую очередь в социальном, включая в свой анализ проблемы психической нормы, социальной маргинализации и т. п.

<sup>2</sup> *Norton A. Reflections on Political Identity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988. P. 53.*

принятой в рамках данного сообщества. Более того, в этой связи следует подчеркнуть, что процесс идентификации сообщества нельзя описывать как выбор подходящих качеств из набора объективных характеристик некоторых маргинальных групп, которые как таковые присутствуют во внешней реальности. Процесс идентификации состоит в одновременных и взаимозависимых актах классификации тех или иных групп как маргиналов, приписывания им определенных свойств и классификации этих свойств как внутренних или внешних по отношению к границам сообщества. Например, в образе России как «истинной» Европы, который рисует Дмитрий Rogozin, люди нетрадиционной сексуальной ориентации выступают как маргиналы, и их вытеснение на периферию этико-политического пространства подчеркивает конструируемую таким образом идентичность России<sup>1</sup>. Особенность потенциально маргинальных групп, как правило, состоит в том, что их идентичность сверхдетерминирована в гораздо большей степени, чем идентичность «большого» сообщества, и в силу этого факта она способна «пересекать границы», артикулироваться как внутренняя или внешняя в зависимости от особенностей конкретной артикуляционной практики. Однако любая гегемоническая артикуляция маргинализирует лишь некоторые группы из числа потенциально возможных: границы сообщества, таким образом, принадлежат к сфере политической неопределенности, и выбор маргинальных групп и маргинальных качеств, конституирующих эти границы, должен рассматриваться как политическое решение, составляющее неотъемлемый элемент процесса идентификации.

В связи с вопросом о соотечественниках за рубежом важен поэтому не сам факт их принятия или непринятия в российское политическое сообщество, но скорее вопрос о том, в каче-

<sup>1</sup> «Россия — это и есть истинная Европа, без господства “голубых”, без браков педерастов...»: Rogozin, D. Мы и есть настоящая Европа // Завтра. 2004. 19 января. См. анализ этого высказывания в § 2.7.

стве кого они включаются или исключаются. Иными словами, если государство в той или иной форме берет на себя заботу о «соотечественниках», определяются ли они как этнические русские, как представители славянских народов, как носители русского языка или как лица, лояльные Российскому государству? Ответ на этот вопрос является продуктом политического решения, которое одновременно фиксирует характер сообщества, конституируемого гегемоническими практиками: он направляет процесс национальной идентификации в новой России на строительство этнической нации, *Kulturnation* немецкого образца или гражданской нации по французской или английской модели, со всеми тонкостями и нюансами, которые могут возникнуть в уникальном постсоветском историческом контексте.

Этническое измерение, с преимущественной (хотя и не исключительной) ориентацией на язык как критерий этнической принадлежности, безусловно, актуально для определения статуса «соотечественников» в бывших советских республиках. Разграничение между «соотечественниками» и «местными» в каждом случае осуществляется на основе различных формальных критериев, но ни один из них в конечном итоге не оказывается решающим: русскоязычные *граждане* Литвы или Казахстана считаются «соотечественниками», и если этнические украинцы — жители Украины составляют категорию «титульной нации» (и, следовательно, воспринимаются как потенциальные нарушители прав русскоязычных жителей страны), то в Латвии или в Узбекистане украинцы попадают в число «соотечественников». Политическая лояльность Российскому государству играет здесь важнейшую роль<sup>1</sup>, и это лишний раз подчеркивается тем фактом, что само слово «соотечественник» происходит от слова «отечество», которое, в отличие от слова «родина», имеет выраженное политическое звучание<sup>2</sup>. Этни-

<sup>1</sup> *Melvin N.J.* Russians Beyond Russia. The Politics of National Identity. London: Royal Institute of International Affairs, 1995. P. 22.

<sup>2</sup> *Medvedev S.* A General Theory of Russian Space: A Gay Science and a Rigorous Science // Alternatives. Vol. 22. 1997. No. 4. P. 527.



ческое измерение также нельзя сбрасывать со счетов, однако границы сообщества соотечественников определяются принадлежностью не только к русскому этносу и даже не только к этническим группам современной Российской Федерации<sup>1</sup> — скорее, в это сообщество потенциально включаются представители всех народов бывшего СССР. Можно предположить, что даже латыш, живущий где-нибудь в Средней Азии, будет при определенных условиях считаться соотечественником. При этом тот факт, что сегодня он гражданин одного из среднеазиатских государств, не имеет значения, главное — это наличие у него в прошлом гражданства СССР и политическая самоидентификация с Россией, а не с Латвией. Как подчеркнул в своем выступлении на Конгрессе соотечественников в 2001 году Владимир Путин, «понятие “русский мир” испокон века выходило далеко за географические границы России и даже *далеко за границы русского этноса*»<sup>2</sup>.

Именно такова, во всяком случае, суть трактовки этого термина в Законе «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»<sup>3</sup>. Статья 1 дает следующее определение: «Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии». К более конкретной категории «соотечественников за рубежом» относятся российские граждане, постоянно проживающие за границей, а также «лица, состоявшие в гражданстве

<sup>1</sup> Ср.: *Brubaker R.* Op. cit. P. 143.

<sup>2</sup> *Путин В. В.* Выступление на открытии Конгресса соотечественников. Москва, 11 октября 2001 г. [http://www.kremlin.ru/appears/2001/10/11/0001\\_type63374type63376type82634\\_28660.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2001/10/11/0001_type63374type63376type82634_28660.shtml). — Курсив мой.

<sup>3</sup> Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Принят Государственной Думой 5 марта 1999 года. Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года // Дипломатический вестник. 1999. № 9. С. 24—32.

СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства». Статья 3 устанавливает, что «признание своей принадлежности к соотечественникам» бывшими гражданами СССР «должно быть актом свободного выбора», однако этот выбор имеет столь важное значение, что он может быть подтвержден особым документом, выдаваемым российскими дипломатическими учреждениями за рубежом. Таким образом, соотечественниками, помимо граждан России, могут быть признаны бывшие граждане СССР, проживающие в государствах бывшего Советского Союза, вне зависимости от их этнической принадлежности или даже степени владения русским языком — наиболее важным критерием здесь является политическая самоидентификация с Россией, которая и подтверждается соответствующим документом.

В 1990-е годы политика по отношению к соотечественникам явно имела тенденцию к их включению в российское политическое сообщество. Согласно Закону о гражданстве Российской Федерации, принятому в 1991 году, все граждане бывшего СССР, проживавшие за пределами России в одной из бывших республик СССР, имели право получить российское гражданство<sup>1</sup>. Хотя эта мера изначально рассматривалась законодателем как временная, рассчитанная лишь на переходный период, срок ее действия, первоначально определенный до 1 февраля 1995 года, неоднократно продлевался<sup>2</sup>. Государству вменялась в обязанность защита прав соотечественников на территории государств, где те проживали, при этом «Основные направления государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», утвержденные постановлением правительства в августе 1994 года, провозглашали, что «решение вопросов финансового, эконо-

<sup>1</sup> Закон о гражданстве Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1. Ст. 18 (г).

<sup>2</sup> *Kolstø P.* Political Construction Sites. Nation-Building in Russia and the Post-Soviet States. Boulder: Westview Press, 2000. P. 90.

мического, социального, военно-политического сотрудничества России с конкретными государствами будет ставиться в зависимости от реальной позиции их руководства в области соблюдения прав и интересов россиян на их территории»<sup>1</sup>. Главная цель политики по отношению к зарубежным соотечественникам состояла в том, чтобы предотвратить их массовое возвращение в Россию, что, по мнению тогдашнего руководства страны, могло породить массу социальных и политических проблем<sup>2</sup>. По мере возможности такая политика действительно проводилась, особенно в отношении соотечественников в балтийских государствах, где защита их прав одновременно позволяла России выступать с позиций «истинной» Европы. В свою очередь, от соотечественников — российских граждан ожидали участия в российских выборах<sup>3</sup>, и предполагалось, что для каждого из них политическая идентификация с Россией должна преобладать над лояльностью к государству, в котором они проживают. В частности, нежелание русскоязычного населения Эстонии выступить единым фронтом на местных выборах 1999 года было воспринято в России как политический провал<sup>4</sup>. «Соотечественники» отвечали взаимностью: чувствуя себя дома в Казахстане или Эстонии, они в некоторых аспектах все же видели себя частью российского политического пространства, говоря, например, о президенте России: «наш президент Владимир Путин»<sup>5</sup>. Таким образом, после распада СССР постсоветское пространство осталось не просто географическим

<sup>1</sup> Основные направления государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 1994 г. № 1064. [http://www.mosds.ru/Dokum/dokum\\_ros1064-1994.shtml](http://www.mosds.ru/Dokum/dokum_ros1064-1994.shtml).

<sup>2</sup> Kolsto P. Op. cit. P. 93.

<sup>3</sup> См.: Лебедев В. Соотечественникам не до России // Независимая газета. 1999. 21 декабря.

<sup>4</sup> Лашкевич Н. Русские спорят и теряют очки // Известия. 1999. 20 октября.

<sup>5</sup> Соколова В. Миграционный резерв // Известия. 2000. 22 ноября.

понятием: понятие государства-продолжателя, эксплицитно присутствующее в правовых документах<sup>1</sup> и публичной дискуссии<sup>2</sup>, способствовало включению «соотечественников» в российское политическое сообщество, тем самым модифицируя не только их идентичность, но и идентичность самой России.

За период пребывания на президентском посту Владимира Путина в государственной политике по отношению к соотечественникам за рубежом произошли существенные изменения. Сегодня главная цель этой политики, насколько можно судить по официальным документам, состоит не в использовании внешнеполитических инструментов для защиты прав соотечественников в государствах их постоянного проживания (хотя эта задача остается актуальной), а в поощрении русскоязычных граждан бывшего СССР к переселению в Россию, в первую очередь для смягчения последствий демографического кризиса. Первым серьезным свидетельством этой перемены стало выступление президента Путина на Конгрессе соотечественников в октябре 2001 года, в котором он, в частности, заявил: «Россия заинтересована в возвращении соотечественников из-за рубежа. Это, очевидно, диктуется и экономическими, и моральными соображениями, и всем комплексом проблем, с которыми сталкивается Россия сегодня»<sup>3</sup>. Даже если этот шаг мотивирован сугубо прагматическими соображениями, он тем не менее знаменует собой фундаментальный сдвиг в государственной идеологии, переход от имперской модели национализма к гражданской: членов российской нации отныне приглашают переселяться на современной национальной территории, тогда как обещание государства защищать их интересы за пределами этой территории полностью не снимает-

<sup>1</sup> Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». С. 24.

<sup>2</sup> См., например: *Шушаников А.* Защитит ли Россия своих? // Независимая газета. 2001. 12 октября; *Демурин М.* Пора внести ясность // Российские вести. 2006. 20 декабря.

<sup>3</sup> *Путин В.В.* Выступление на открытии Конгресса соотечественников.

ся, но приобретает второстепенное значение. В только что цитированном выступлении президент на втором месте после поощрения переселения соотечественников в Россию назвал возможность участия соотечественников в продвижении российских экономических интересов за рубежом и лишь на третьем — защиту прав соотечественников в государствах, где они проживают.

Новый, более жесткий закон о гражданстве, принятый в 2002 году<sup>1</sup>, также строится в соответствии с принципами гражданского национализма. Одна из главных причин его принятия, согласно разработчику закона, председателю Комиссии по вопросам гражданства при президенте Олегу Кутафину, состояла в том, чтобы прекратить «механически считать гражданами России всех бывших граждан СССР»<sup>2</sup>. Здесь, однако, идеальная модель гражданской нации столкнулась с дислокацией, вызванной реальностью постсоветского наследия: закон, построенный по «европейским» образцам, не учитывал специфики судеб людей, которые всю жизнь прожили в пространстве с прозрачными границами и вдруг обнаружили, что не являются гражданами государства, которое привыкли считать своим. В результате оживленной дискуссии президент Путин вынужден был вынести на рассмотрение парламента поправки, облегчающие получение гражданства России бывшими гражданами СССР<sup>3</sup>. Новый закон, распространивший упрощенный порядок приема в гражданство на всех бывших граждан СССР, на законных основаниях проживавших в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года, вступил в силу в ноябре

<sup>1</sup> Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Принят Государственной Думой 19 апреля 2002 года. Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года // Российская газета. 2002. 5 июня.

<sup>2</sup> *Айратова Н.* Гражданство России должно защищать и человека, и государство. [Интервью с О. Е. Кутафиным] // Независимая газета. 2001. 20 ноября.

<sup>3</sup> *Семенова И.* Граждане пошли на поправку // Российская газета. 2003. 14 ноября.

2003 года<sup>1</sup>. Поправка, внесенная в закон в конце 2005 года — также по инициативе президента<sup>2</sup>, — продлевает срок применения этой нормы до конца 2007 года и распространяет ее на легальных резидентов, прибывших в Россию после 1 июля 2002 года. С одной стороны, этот шаг может рассматриваться как рецидив имперского национализма, но, с другой стороны, очевидно, что в данном случае обстоятельства, вызвавшие необходимость принятия закона, неподконтрольны российскому правительству.

Вместе с политикой по вопросам гражданства и возвращения соотечественников эволюционировала и позиция российских властей по отношению к интеграции русскоязычного населения Латвии и Эстонии соответственно в латвийское и эстонское общества. По сути, интеграция предполагает выход русскоязычных жителей этих стран из рядов соотечественников и превращение в лояльных граждан государств, на территории которых они проживают. Приблизительно до 2001 года, критикуя Ригу и Таллин за непредоставление гражданства русскоязычному населению, Москва все же предпочитала обходить вопрос об интеграции молчанием. Переход к гражданскому пониманию нации привел к тому, что российский МИД стал призывать Латвию и Эстонию способствовать интеграции русскоязычных жителей этих стран, «их скорейшему превращению в своих лояльных граждан»<sup>3</sup>. Наиболее отчетливо эта позиция была сформулирована Олегом Кутафиним в уже цитированном интервью: разработчик нового закона о гражданстве заявил, что соотечественниками, «строго говоря», можно

<sup>1</sup> Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О гражданстве Российской Федерации”». Принят Государственной Думой 17 октября 2003 года. Одобрен Советом Федерации 29 октября 2003 года // Российская газета. 2003. 14 ноября.

<sup>2</sup> Шкель Т. Льгота на гражданство // Российская газета. 2005. 9 декабря.

<sup>3</sup> Елагин В. И. От Таллина до Москвы непростой путь // Международная жизнь. 2001. № 4. С. 56.

считать только российских граждан<sup>1</sup>. Член Совета по внешней и оборонной политике, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс сетовал на то, что «пока Рига и Таллин мало делают для того, чтобы неграждане видели в них силу, способную защищать, а не ущемлять их интересы, то есть начали бы мыслить в категориях патриотизма»<sup>2</sup> — патриотизма, заметим, латвийского и эстонского. Леонид Карабешкин также придерживался мнения, что «российским интересам отвечает интеграция русскоязычных меньшинств в политическую, экономическую и культурную жизнь стран их проживания»<sup>3</sup>. Начало формирования дискурсивной границы между россиянами и соотечественниками за рубежом привело, в частности, к тому, что поражение партий, которые делали ставку на представительство интересов этнических русских, на парламентских выборах в Эстонии в марте 2003 года не вызвало сколько-нибудь отчетливо выраженной негативной реакции в России<sup>4</sup>, в отличие от такого же поражения на местных выборах за три года до этого.

Как уже отмечалось, еще в выступлении на Конгрессе соотечественников в 2001 году Владимир Путин поставил на первое место задачу поощрения соотечественников к возвращению в Россию. Однако решительный поворот в этом направлении наметился лишь к 2005 году<sup>5</sup>, а особенно мощный стимул появился у российских чиновников после выступления президента с посланием Федеральному собранию в мае 2006 года,

<sup>1</sup> *Айрапетова Н.* Гражданство России должно защищать...

<sup>2</sup> *Юргенс И. Ю.* Балтийская «лаборатория» Большой Европы // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 3. С. 183.

<sup>3</sup> *Карабешкин Л.* Россия и Прибалтика. Трудный путь от «любви» к дружбе // Международные процессы. Т. 2. 2004. № 1. С. 90.

<sup>4</sup> См., например: *Иванов В.* Русские русских прокатили // Эксперт Северо-Запад. 2003. 10 марта. С. 6; *Суслов Д.* Эстония раскололась дважды // Независимая газета. 2003. 4 марта.

<sup>5</sup> *Караганов С.* Демографическая петля затягивается // Российская газета. 2005. 28 апреля.

когда Путин охарактеризовал демографическую ситуацию как «самую острую проблему современной России»<sup>1</sup>. Почти немедленно — в июне того же года — была принята «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»<sup>2</sup>, и в течение нескольких месяцев премьер-министром Михаилом Фрадковым было подписано восемь постановлений и пятнадцать нормативно-правовых актов, направленных на реализацию программы<sup>3</sup>. По решению Всемирного конгресса соотечественников, состоявшегося в октябре 2006 года, был создан Координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом; его первое заседание состоялось в марте 2007 года<sup>4</sup>.

Такое смещение фокуса привело к тому, что тема интеграции русскоязычного населения бывших советских республик практически исчезла из официальных документов. Тенденция же к тому, чтобы определять принадлежность к категории соотечественников по этническому признаку, напротив, усиливается. Так, в «Обзоре российской внешней политики», опубликованном МИД в марте 2007 года, раздел, посвященный

<sup>1</sup> Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 10 мая 2006 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/10/1357\\_type63372type63374type82634\\_105546.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/10/1357_type63372type63374type82634_105546.shtml).

<sup>2</sup> Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637. <http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=034305>.

<sup>3</sup> Емельянова К. Еще раз о государственной программе добровольного переселения соотечественников // Информационно-аналитический Центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. 2007. 27 марта. [http://www.ia-centr.ru/public\\_details.php?id=470](http://www.ia-centr.ru/public_details.php?id=470).

<sup>4</sup> О первом заседании Координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Сообщение для СМИ. 22 марта 2007 года. [http://www.mid.ru/brp\\_4.nsf/sps/1D92CB5E0B D67063C32572A6004F9DD1](http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/1D92CB5E0B D67063C32572A6004F9DD1).



соотечественникам, содержит многочисленные ссылки на необходимость «формирования “русского мира” как уникального элемента общечеловеческой цивилизации», «сохранения русскоязычного пространства в зарубежных странах», «поддержки русских театров и российских или славянских университетов»<sup>1</sup>. Раздел не содержит ни единого слова о возможности причисления к соотечественникам представителей других, не славянских, народов Российской Федерации. В послании Федеральному собранию 2007 года Владимир Путин упоминает о «многомиллионном русском мире» в контексте укрепления «культурного суверенитета»<sup>2</sup>. С одной стороны, в данном случае речь идет не о русском этносе в узком смысле слова, а о русском языке, который, с другой стороны, является центральным критерием принадлежности к русским как этнической группе. Вообще, тезис о необходимости поощрения «соотечественников» к переселению в Россию неизбежно артикулирует границы российской нации в этническом ключе и, соответственно, так же переопределяет и понятие «соотечественники», несмотря на то что формально их статус по-прежнему устанавливается через гражданство. В самом деле, у России нет проблем с привлечением дешевой рабочей силы из-за рубежа, но, как и во многих других странах, существует обеспокоенность по поводу «наплыва» мигрантов, отличающихся от «государствообразующей нации» в этническом и культурном отношении. При этом и для ксенофобски настроенных обывателей и, тем более, для активистов радикальных расистских движений гражданство мигрантов в конечном итоге теряет значение по сравнению с их этнической принадлежностью: бьют, как давно известно, по лицу, а не по паспорту. Кажущееся очевидным решение этой проблемы путем привлечения «этнически

<sup>1</sup> Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации.

<sup>2</sup> Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 26 апреля 2007 года.

чистых» русскоязычных мигрантов (предположительно, близких к русским по антропологическому типу) на самом деле проблемы не решает, а, напротив, усугубляет ее, санкционируя проявления расизма и ксенофобии, поскольку подчеркивает этническое измерение национальной идентичности России. При этом, по оценкам экспертов, миграционный потенциал русской диаспоры в странах СНГ не превышает 4 млн человек, что намного ниже потребностей России<sup>1</sup>.

Главная проблема, однако, состоит в том, что понятие «соотечественники», несмотря на политкорректные официальные определения, имеет тенденцию к этнической интерпретации и тем самым способствует установлению границ российского политического сообщества по этническому критерию и подрывает наметившуюся было тенденцию к формированию гражданской нации. Владимир Малахов справедливо отмечает, что понятие «соотечественники», а уж тем более такие словосочетания, как «этнические соотечественники» или «этнические россияне», относится преимущественно к этническим русским, проживающим в бывших советских республиках, и «представляет собой закамуфлированный вариант теории “разделенного народа”»<sup>2</sup>. Даже если мы ведем речь всего лишь о поддержке соотечественников за рубежом, это все равно подчеркивает этническое измерение «национализма идеальной родины», поскольку русскоязычные соотечественники, где бы они ни находились, противопоставляются «титulyной нации», причем граница в реальности проводится по этническим, а не политическим критериям. Переход к политике поощрения «возвращения» соотечественников, который на первый взгляд представляет собой менее конфронтационный подход к проблеме, на деле фактически означает государственное

<sup>1</sup> *Зайончковская Ж.* Перед лицом иммиграции // Pro et Contra. Т. 9. 2005. № 3(30). С. 76.

<sup>2</sup> *Малахов В. С.* Настоящее и будущее «национальной политики» в России // Прогнозис. 2006. № 3. С. 150—151.

санкционирование ксенофобских настроений в обществе и опять-таки, даже еще в большей мере, способствует переопределению российской нации как этнического сообщества. К сожалению, политика в отношении «соотечественников» — всего лишь один из ряда факторов, способствующих такому развитию ситуации.

### § 4.3. Переопределение границ сообщества в эпоху «войны с террором»: Россия, Запад, ислам

На протяжении второй половины 1990-х — начала 2000-х годов для российской дискуссии о соотношении гражданского и этнического национализма была характерна оптимистическая интонация. Отмечалось, что попытки этнической мобилизации, предпринимавшиеся различными националистическими группами, по большей части провалились, и в целом можно согласиться с теми, кто считает, что для россиян государственная, политическая самоидентификация всегда была важнее этнической<sup>1</sup>. Российское государство пыталось опираться на открытое в культурном отношении сообщество граждан, нежели на закрытую, биологически обусловленную группу этнических русских, и способствовать формированию российской нации именно как такого открытого политического сообщества, постоянно подчеркивая специфику России как многонационального государства<sup>2</sup>. Несмотря на популярность темы о русском народе как о «государствообразующем» и на близость православной церкви к власти, в официальном дискурсе рос-

<sup>1</sup> *Melvin N.* Op. cit. P. 4—24; *Семенов А.* Россия вспомнила о «своих» // Независимая газета. 2000. 22 октября. С. 8.

<sup>2</sup> *Миграция А.* и др. «Русский фактор» в российской политике // НГ-сценарии. 2000. № 6. 14 июня. См. также: *Tolz V.* A Search for a National Identity...

сийская нация артикулируется как нация политическая, как сообщество всех граждан (россиян), а не только этнических русских. Попытки ввести дискриминационные практики в отношении «чуждых» религиозных групп, безусловно, представляли собой отступление от принципов политического сообщества, но даже печально известный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях», признавая «особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее истории и культуры», говорит также об уважении к «христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям, составляющим неотъемлемую часть исторического наследия народов России»<sup>1</sup>. Тем самым, хотя и не отказываясь от возведения культурных границ между внутренним и внешним миром, закон все же признает культурное многообразие внутри сообщества<sup>2</sup>.

В последние годы, однако, дискурс этнического национализма оказывает все большее влияние на артикуляционные практики, определяющие границы политического сообщества. Владимир Малахов, анализируя состояние российской дискуссии, приходит к неутешительному выводу:

То обстоятельство, что «этнос» функционирует в российском политическом мышлении в качестве когнитивной рамки, влечет за собой далеко идущее эпистемологическое следствие. Разноуровневые социальные проблемы осмысляются как одноуровневые этнические («национальные») проблемы, а социальные отношения — как отношения между этносами. В результате наблюдателям везде мерещится «национальный вопрос»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года. Одобрен Советом Федерации 24 сентября 1997 года. Преамбула.

<sup>2</sup> Обзор дискуссий по поводу закона см., например, в: *Basil J. D. Church-State Relations in Russia: Orthodoxy and Federation Law, 1990—2004 // Religion, State and Society. Vol. 33. 2005. No. 2. P. 151—163.*

<sup>3</sup> *Малахов В. С. Указ. соч. С. 148.*

Сергей Маркедонов также с огорчением отмечает, что для всех «творцов мифов» в современной России «категорически неприемлема новая историческая общность, складывающаяся в массовом сознании наших сограждан. Эта общность — российская гражданская политическая нация»<sup>1</sup>. Причину этого он видит, в частности, в том, что, вместо «выработки общих для всех россиян надэтнических принципов»,

...акцент в российской национальной политике был сделан на поддержке (политической, финансовой, социальной, гуманитарной) так называемых национально-культурных автономий, а фактически элит, представляющих различные этнические группы, начиная от русских и заканчивая малыми народами Севера. Национальная политика, таким образом, была заменена фольклорно-этнографической<sup>2</sup>.

Это наблюдение, конечно, упускает из виду значимость имперского наследия вообще и советского опыта национальной политики в частности — опыта, который не просто привел к закреплению этнических идентичностей в политическом пространстве бывшего СССР в качестве локальных культурных сообществ, но создал основания для их претензий на универсальную значимость как вносящих свой вклад в этническое многообразие России. Иначе говоря, проблема с национальной политикой состоит не только и не столько в недалёковидности сегодняшних чиновников, сколько в институциональном наследии советской эпохи, которое, в частности, предоставляет значительные дискурсивные ресурсы в распоряжение местных элит.

Как бы то ни было, наследие советской национальной политики и ее воспроизводство в современной России тоже, безусловно, вносят свой вклад в закрепление этнических крите-

<sup>1</sup> Маркедонов С. Апология российской идеи, или Как нам сохранить Россию // Общая тетрадь. 2006. № 1(36). С. 28.

<sup>2</sup> Там же. С. 31.

риев национальных границ. Даже само различие между «русскими» и «россиянами» в политическом языке, столь часто преподносимое едва ли не как образец политической корректности, на самом деле, конечно, свидетельствует о повышенной чувствительности к этническому фактору в политике. Как известно, грамматические и лексические категории не только создают возможности для выражения различных смыслов, но и обязывают говорящего сделать выбор, точнее обозначить объект или его характеристики. Так, грамматический род в русском языке принуждает нас определять гендерную принадлежность действующего лица при использовании не только личных местоимений третьего лица, но и, например, глаголов в прошедшем времени — особенность, нехарактерная для большинства других современных индоевропейских языков. Точно так же, говоря по-русски о сообществе соотечественников, мы всякий раз должны делать выбор между этнической и государственной идентичностью, что лишний раз подчеркивает присутствующее политическому дискурсу расхождение между ними<sup>1</sup>.

Помимо основополагающего значения советского наследия и связанного с ним понятия о сообществе «соотечественников», этническому артикулированию российского национализма в значительной степени способствует современный глобальный контекст — так называемая «война с террором». В результате возникновения новой модели структурирования политического пространства идентичность России как европейской стра-

<sup>1</sup> По наблюдениям автора, это семантическое различие начинает постепенно сдавать позиции: прилагательное «русский» все шире употребляется в значении «российский», и это отнюдь не всегда свидетельствует об этноцентричном сознании говорящего. В политическом языке эта тенденция тоже заметна. Выше (с. 484) уже цитировалось высказывание Павла Зарифуллина о «великом многонациональном русском народе»; ср. также лозунг «Россия для русских!», выдвигаемый «Единой Россией» как лозунг гражданского национализма. Алексей Миллер, впрочем, выдвигает убедительные аргументы в пользу сохранения различия между этими означающими: *Миллер А.И.* Указ. соч. С. 13.

ны и части мировой цивилизации все чаще конституируется на основе отрицания комбинации нескольких означающих, между которыми устанавливается отношение эквивалентности, но которые в то же время не вполне взаимозаменяемы. Наиболее важные и общеупотребительные из них — это «терроризм», «иммиграция», «ислам». Все они в дискурсивной реальности стран, относящих себя к Европе, имеют общую сему — «неевропейский», «нецивилизованный», «отсталый» или даже «варварский». Это очевидно, например, в следующем высказывании Алексея Арбатова, пытающегося доказать, что «в текущих международных конфликтах Россия и Запад стоят по одну сторону баррикад»: «Истинный идейный разлом пролегает теперь между либерально-демократическими ценностями и исламским радикализмом, между Севером и Югом, между глобализмом и антиглобализмом»<sup>1</sup>. В сущности, эта дискурсивная практика воспроизводит хорошо изученный дискурс ориентализма<sup>2</sup>, устанавливающий отношения гегемонии путем стирания различий и установления общей идентичности для «незападного» мира как противоположности «цивилизации». При этом цивилизация в данном случае, в соответствии с традицией Просвещения, определяется в единственном числе, как не имеющий альтернатив магистральный путь прогресса для всего человечества.

В качестве примера конструирования сообщества «цивилизованных стран» путем радикальной антагонизации «исламского фундаментализма» можно привести статьи публициста и политолога Леонида Радзиховского, опубликованные в августе — сентябре 2004 года, сразу после гибели двух российских пассажирских самолетов и накануне захвата заложников в Беслане. В одной из статей Радзиховский пишет:

<sup>1</sup> *Арбатов А.* Грядет ли холодная война? // Россия в глобальной политике. Т. 5. 2007. № 2. С. 40.

<sup>2</sup> *Саид Э.* Ориентализм: западные концепции Востока. СПб.: Русский Миръ, 2006.

...Идет эскалация мировой войны исламских фундаменталистов против Запада, а одним из самых уязвимых звеньев Запада они считают Россию. Хотим мы того или нет, но поражение США = гибель России (как в 1941-м, поражение СССР = гибель западной культуры)...

Если так, то любой «американский Саакашвили» — наш потенциальный союзник. Если так, то нельзя поставлять ядерные технологии Ираку или в любую другую мусульманскую страну. Если так, то глупо строить армию против потенциальной угрозы НАТО или США, а надо строить общие (хотя бы скоординированные) с США и НАТО силы быстрого реагирования против террористов. Если так, то надо бороться с антиамериканизмом...<sup>1</sup>

В данном случае перед нами почти идеальный пример строительства сообщества по Карлу Шмитту, путем принятия решения об общем враге, который представляет экзистенциальную угрозу (цель террористов, по мнению Радзиховского, — «уничтожить западный, христианский мир в целом»<sup>2</sup>) и присутствие которого заставляет нас забыть о наших внутренних разногласиях и объединиться перед лицом грандиозного конституирующего антагонизма. Необходимо, конечно, отметить и упоминание об «американском Саакашвили» — здесь также присутствует стремление снять «внутренние» противоречия перед лицом «внешней» угрозы.

Не удивительно, что в дискурсивной ситуации, позволяющей столь абсолютное противопоставление идентичностей России и ислама, пусть даже и радикального, российский дискурс начал воспроизводить основные постулаты идеологии европейского правого экстремизма. Более того, успехи Народной партии Кристофа Блохера в Швейцарии, альянса «Вперед, Италия» во главе с Сильвио Берлускони, Партии свободы Йорга

<sup>1</sup> Радзиховский Л. Две стратегии // Независимая газета. 2004. 1 сентября.

<sup>2</sup> Радзиховский Л. Непопулярные шаги // Независимая газета. 2004. 31 августа.



Хайдера в Австрии или Национального фронта Жана-Мари Ле Пена во Франции интерпретировались как свидетельство того, что «Европа... надеется поставить на место слишком вольно себя держащих многочисленных иммигрантов из гордых своей независимостью, но довольно голодных бывших колоний»<sup>1</sup>, и оценивались одобрительно или, по крайней мере, с пониманием. Образ «пятой колонны», уже знакомый нам в контексте отношения к российскому правозащитному движению, воспроизводится применительно к мусульманским общинам на Западе. По мнению обозревателя «Эксперта», нападение США на Ирак должно было спровоцировать тотальную террористическую войну, в которой американские и европейские мусульмане встанут на сторону врагов цивилизации:

В такой перспективе Западу рациональнее было бы думать о том, куда девать многие миллионы живущих там выходцев с Востока и как обходиться без них, как расставить блокпосты на центральных улицах своих городов, как защитить действующие транзиты и коммуникации и как организовать военную цензуру и дружины гражданской обороны<sup>2</sup>.

Осенью 2005 года, во время столкновений между молодежью предместий и полицией во Франции, Виталий Третьяков писал:

...Отказавшись от упоминания христианства как цивилизационной основы Евросоюза, более того — вообще от упоминания христианства в европейской конституции, европейские политики и эксперты не просто отказались от своей истории и своих предков, но и совершили несусветную глупость, собственными руками продемонстрировав всему миру, что Европа может и не быть

<sup>1</sup> Фаменко А. В. Указ. соч. См. также: Власова О. Францию довели // Эксперт. 2002. 29 апреля. С. 12—15.

<sup>2</sup> Хисамов И. Возвращение к честной жизни // Эксперт. 2002. 21 октября. С. 65.

христианской. Конечно, может. Но только это будет уже не Европа<sup>1</sup>.

Комментарии по поводу ближневосточного конфликта также строились вокруг противопоставления «Европы» и «не-Европы», «цивилизации» и «варварства». Так, критическое отношение Европейского союза к израильским военным акциям на западном берегу реки Иордан весной 2002 года было истолковано многими российскими комментаторами как попытка со стороны западных «государствоубийц»<sup>2</sup> «навязать Израилю капитуляцию перед палестинскими террористами» и в итоге, возможно, даже добиться «уничтожения Израиля». Любые идеалистические мотивы в действиях европейских политиков сразу же отменялись в соответствии с логикой романтического реализма: вопреки провозглашаемой озабоченности страданиями палестинского народа, ЕС, по мнению российских наблюдателей, в реальности заинтересован в том, чтобы, «взяв себе в союзники исламских экстремистов» и опираясь на нефтяные и газовые ресурсы Ближнего Востока, «стать мировым центром силы, сопоставимым с США»<sup>3</sup>. Более того, приведенные высказывания могут также быть интерпретированы с точки зрения противопоставления «истинной» и «ложной» Европы: близорукость европейских политиков, надеющихся использовать экстремистов для достижения своих целей и сохранить при этом над ними контроль, доказывает, что они не способны позаботиться о реальных интересах европейцев. Позиция «истинной Европы», способной защитить цивилизацию от натиска варварства, остается вакантной, но, как будет показано далее, Россия после событий 11 сентября 2001 года претендовала именно на эту роль.

<sup>1</sup> *Третьяков В.* Тлеющая «Европа» // Российская газета. 2005. 10 ноября.

<sup>1</sup> *Соколов М.* Указ. соч.

<sup>2</sup> *Чернов М.* Самоубийство // Эксперт. 2002. 15 апреля. С. 91—92.

Важную роль в формировании образа ислама и чеченцев как враждебного Иного сыграли, как можно было ожидать, террористические акты с захватом заложников в Москве в октябре 2002 года и в Беслане в сентябре 2004 года. Весьма характерны в этом отношении попытки российского правительства не допустить проведения в Копенгагене Всемирного чеченского конгресса, состоявшегося, несмотря на протесты Москвы, 28—29 октября 2002 года. В заявлении МИД конгресс был охарактеризован как «сходка», которая «организуется и финансируется чеченскими террористами, их пособниками и покровителями из «Аль-Каиды»»<sup>1</sup>, причем не было даже необходимости доказывать, что в работе конгресса принимал участие кто-то из известных радикалов-сепаратистов: сам факт того, что мероприятие проводилось от имени чеченцев, уже позволял настаивать на его протеррористическом характере. Отметим, что и датское правительство не оспаривало этой точки зрения: вместо того, чтобы заявить о недопустимости огульно подозревать всех чеченцев в террористических замыслах, оно ссылалось на общие принципы свободы слова и собраний.

В контексте войны в Чечне и борьбы с терроризмом дискриминация по отношению к представителям различных этнических групп, в особенности выходцев с Северного Кавказа, стала в России повседневным явлением<sup>2</sup>. Сам президент Путин неоднократно выступал с заявлениями, в которых радикаль-

<sup>1</sup> Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с позицией датских властей относительно проведения в Копенгагене «Всемирного чеченского конгресса». 28 октября 2002 года. <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e43256c61002b8348?OpenDocument>. См. также: Заявление МИД России в связи с проведением в Копенгагене «Всемирного чеченского конгресса». 26 октября 2002 года. URL: [www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e43256c6000325984?OpenDocument](http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e43256c6000325984?OpenDocument).

<sup>2</sup> См., например: Правозащитный центр «Мемориал». Этническая дискриминация в Российской Федерации. Информационно-аналитическая программа. <http://www.memo.ru/hr/discrim/ver1/index.htm>.

ный ислам представлял как экзистенциальная угроза для России и всего мира, причем иногда эти заявления балансировали на грани политкорректности. Например, на пресс-конференции в Брюсселе в ноябре 2002 года Путин нарисовал угрозу образования «всемирного халифата» и предложил журналисту, задавшему вопрос о войне в Чечне, приехать в Россию и сделать обрезание<sup>1</sup>. То, что противник, идентифицируемый по этническим и религиозным признакам, а не только по своей готовности совершать террористические акты, в начале нынешнего века занял место Запада в антагонизме, который играет конституирующую роль для российской нации, очевидно, например, из сопоставления двух «культовых» отечественных кинофильмов недавних лет, снятых режиссером Алексеем Балабановым. Структурно сюжеты фильмов «Брат-2» и «Война»<sup>2</sup> практически не отличаются: оба фильма рассказывают историю бескорыстного главного героя, который направляется на враждебную территорию, чтобы выручить из беды почти чужого человека; в обеих историях фигурируют не слишком надежный напарник и женщина, которая в силу своей страдальческой судьбы оказывается способной оценить высоту души настоящих русских мужчин. Различия между фильмами также как нельзя более характерны. В «Брате-2», вышедшем на экраны в начале 2000 года, враждебной территорией является Запад (точнее — США), тогда как в «Войне» (2002 год) это Чечня. Степень дегуманизации противника достигает во втором фильме предельного уровня. Показательно также, что во втором фильме роль ненадежного, корыстного напарника отведена представителю Запада — британцу. Оба фильма, вне всякого сомнения, призваны подчеркнуть высокие душевные качества

<sup>1</sup> Путин В.В. Выдержки из стенографического отчета о пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне Россия — Европейский союз. Брюссель, 11 ноября 2002 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2002/11/11/0001\\_type63377type63380type82634\\_29553.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2002/11/11/0001_type63377type63380type82634_29553.shtml).

<sup>2</sup> Балабанов А. Брат-2. СТВ; Warner Brothers, 2000; *Его же*. Война. СТВ, 2002.

русского человека в противостоянии злу и в силу этого представляют собой модели антагонистической артикуляции национального сообщества. В первом случае сообщество артикулируется в великодержавных, имперских терминах, что соответствовало модели российской нации, доминировавшей на протяжении 1990-х годов. Во втором случае перед нами очевидный случай конструирования нации как этнического сообщества — этнические и религиозные особенности противника в фильме постоянно подчеркиваются — и в этом смысле «Война» отражает именно тенденцию к определению российской нации через этнические критерии.

Кроме того, пример «Войны» показывает, что антагонизация ислама совершенно необязательно должна приводить к сближению с Западом: фактически фильм Балабанова устанавливает отношения эквивалентности между представителями чеченского народа и западной цивилизации, подчеркивая моральное превосходство «простого русского парня» и над теми, и над другими. Эта структура, как мы уже показали ранее, была особенно характерна для кризисного периода 1999—2000 годов, однако и в период сближения с Западом она не исчезла полностью. Так, например, Максим Соколов, выступая с критикой западных «государствоубийц» и в защиту силовых действий Израиля на палестинских территориях весной 2002 года (и проводя параллель с российской антитеррористической операцией в Чечне), задается вопросом, «сколь великие и богатые милости ожидают нашу страну от сердечного согласия со столь своеобразным союзником, который так обходится с другими государствами, значительно более лояльными к нему, чем Россия»<sup>1</sup>.

Это подозрительное отношение к Западу вернулось в официальный дискурс после событий в Беслане, вопреки попыткам авторов наподобие Леонида Радзиховского выстроить сообщество России и Запада как жертв исламского терроризма.

<sup>1</sup> Соколов М. Указ. соч.

Президент Путин в своем Обращении к нации 4 сентября 2004 года следующим образом обрисовал характер угроз, с которыми сталкивается Россия: «Одни хотят оторвать от нас кусок “пожирнее”, другие им помогают. Помогают, полагая, что Россия — как одна из крупнейших ядерных держав мира — еще представляет для кого-то угрозу»<sup>1</sup>. Указание на ядерный потенциал России практически не оставляет сомнений в том, что во фразе содержится намек на союз между террористами и сепаратистами, с одной стороны, и некими неназванными силами на Западе, для которых этот потенциал представляет угрозу. Впрочем, несколько недель спустя этот образ был конкретизирован заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым. В интервью «Комсомольской правде» Сурков высказал мнение, что «в Америке, Европе и на Востоке» у России есть как друзья, так и враги и что вражеский лагерь

...состоит из деятелей, продолжающих жить фобиями «холодной войны», рассматривающих нашу страну как потенциального противника, препятствующих осуществлению полной финансовой блокады террористов и их политической изоляции. Они считают своей заслугой почти бескровный коллапс Советского Союза и пытаются развить успех. Их цель — разрушение России и заполнение ее огромного пространства многочисленными недееспособными квазигосударственными образованиями<sup>2</sup>.

Характер описываемых угроз не оставляет сомнения, что в первую очередь речь идет о противниках России на Западе, а не на Востоке. Геополитическое противостояние с Западом оказывается решающим антагонизмом, тогда как террористы,

<sup>1</sup> Путин В. В. Обращение Президента России Владимира Путина. Москва, Кремль, 4 сентября 2004 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2004/09/04/1752\\_type63374type82634\\_76320.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2004/09/04/1752_type63374type82634_76320.shtml).

<sup>2</sup> Овчаренко Е. Указ. соч.

несмотря на непосредственно исходящую от них угрозу, остаются на вторых ролях.

Одной из причин возвращения образа осажденной крепости, вероятно, были разногласия по поводу оценки источников терроризма в России: если в российском дискурсе главным врагом выступал международный терроризм, то западные критики видели в террористических атаках свидетельство провала российской политики в Чечне<sup>1</sup>. Такая критика подрывала ключевой момент самоопределения России как важнейшего участника антитеррористической коалиции и поэтому никак не могла восприниматься в России как безобидные разногласия среди «своих». Если это так, приходится предположить, что модель антитеррористической солидарности не может служить прочным основанием для идентификации России с западным миром.

В то же время нельзя не признать, что антагонизация Запада или исламского мира не становится в России абсолютной: напротив, отношения эквивалентности постоянно уступают место отношениям различия, что приводит к формированию пересекающихся сообществ, ни одно из которых при этом не достигает полноты конституирования, которая позволила бы ему претендовать на монополию в структурировании политического пространства. В этом контексте особого внимания заслуживают попытки подчеркнуть исламские элементы в российской национальной идентичности, предпринятые администрацией президента Путина, насколько можно судить, начиная с середины 2003 года<sup>2</sup>. В августе, в ходе встречи с вице-премье-

<sup>1</sup> См., например: *Цунский А.* Битва проиграна, война не кончилась // Эксперт. 2004. 13 сентября. С. 25.

<sup>2</sup> Сама по себе идея вступления в Организацию неоднократно предлагалась Евгением Примаковым и другими российскими политиками еще в 1990-е годы, однако именно в 2003 году эта задача была поставлена на уровне президента и начала реализовываться на практике. См.: *Малашенко А. В.* Фактор ислама в российской внешней политике // Россия в глобальной политике. Т. 5. 2007. № 2. С. 136—140.

ром Малайзии, Путин заявил о стремлении России присоединиться к Организации «Исламская конференция» — «на первом этапе — хотя бы на уровне наблюдателя»<sup>1</sup>. В 2005 году это предложение было реализовано — Россия получила статус наблюдателя в ОИК. В 2004 году в Государственной думе было создано парламентское объединение «Россия и исламский мир: стратегический диалог»<sup>2</sup>. Другим серьезным внешнеполитическим шагом стало приглашение в Москву представителей движения Хамас после его победы на выборах в Палестинской автономии в начале 2006 года, а также заявление президента Путина, что Россия никогда не признавала Хамас террористической организацией<sup>3</sup>. В октябре 2003 года, в ходе визита в Малайзию, президент дал первое интервью телеканалу «Аль-Джазира», в котором, указав, что «в России проживает 20 миллионов мусульман», заявил: «в этом смысле Россия, конечно, часть мусульманского мира». Более того, президент подчеркнул, что силы, которые, по сути, оккупировали Чечню после Хасавюртовских соглашений, «прикрываясь исламом, на самом деле пропагандировали совсем другие идеи, чуждые самому исламу»<sup>4</sup>. Определение России как *в том числе* исламской страны, безусловно, представляет собой весьма серьезную дислокацию в хантингтонианской артикуляции столкновения цивилизаций, определяющей христианскую и исламскую

<sup>1</sup> Путин В. В. Вступительное слово на встрече с вице-премьером Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави. Куала-Лумпур, 5 августа 2003 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2003/08/05/2300\\_type63377\\_50030.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2003/08/05/2300_type63377_50030.shtml).

<sup>2</sup> Малащенко А. В. Фактор ислама в российской внешней политике. С. 136.

<sup>3</sup> Путин В. В. Стенограмма пресс-конференции для российских и иностранных журналистов. Москва, Кремль, 31 января 2006 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2006/01/31/1310\\_type63380type63381type82634\\_100848.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/01/31/1310_type63380type63381type82634_100848.shtml).

<sup>4</sup> Путин В. В. Интервью телеканалу «Аль-Джазира». Куала-Лумпур, 16 октября 2003 г. [http://www.kremlin.ru/appears/2003/10/16/2206\\_type63379\\_54204.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2003/10/16/2206_type63379_54204.shtml).



идентичности как взаимоисключающие. Сергей Лавров, призывая к объединению усилий всех «цивилизованных стран» в борьбе за обеспечение безопасности, подчеркивает, что Россия, Соединенные Штаты и страны Европейского союза несут «общую ответственность за безопасность и стабильность в мире» и что «эффективно решать эту задачу можно только сообща, привлекая к партнерству другие страны, в том числе мусульманские»<sup>1</sup>. Здесь также заметно стремление политкорректно разделить понятия «ислам» и «терроризм», но в то же время сохраняется некоторая двусмысленность: неясно, относит ли автор «мусульманские страны» к «цивилизованному миру» или же в лучшем случае лишь к его потенциальным «партнерам». Эссенциалистское понимание идентичности ислама, радикально противопоставляющее его Западу, еще более характерно для некоторых неофициальных публикаций. В предельной форме эту точку зрения формулирует Николай Козин, утверждая, что ислам — «это особая духовная субстанция, особым образом сплывающая мир людей... Один раз войдя в душу человека, ислам закрепляется в ней настолько, что не оставляет места для других проявлений человеческой духовности»<sup>2</sup>. Несмотря на то что в глазах Козина скорее Запад, а не ислам представляет главную угрозу глобальной безопасности, столь безоговорочное обособление исламской идентичности от всех остальных тем не менее создает почву для ее антагонизации.

В то же время в официальных выступлениях постоянно прослеживается стремление подчеркнуть подлинность исламской идентичности России: в интервью «Аль-Джазире» в феврале 2007 года президент Путин развил мысль, которая неизменно присутствовала в его выступлениях по данному вопросу на протяжении четырех предшествующих лет:

<sup>1</sup> Лавров С. В. Другая Россия // Коммерсант. 2004. 1 апреля.

<sup>2</sup> Козин Н. Г. Вызов или ответ ислама? // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 27.

В странах Европы мусульманское население, даже если люди приобрели гражданство во втором поколении, считает себя поколением мигрантов. В России мусульмане — это неотъемлемая часть многонационального и многоконфессионального российского народа. У этих людей нет никакой другой родины, кроме их республики, края, кроме России в целом. Россия — это их родина, они — полноправные члены нашего общества, они — полноправные граждане нашей страны<sup>1</sup>.

Интересно отметить, что данное высказывание не только настаивает на подлинности исламской составляющей российской идентичности, но и воспроизводит оппозицию «истинной» и «ложной» Европы: в то время как Европа оказывается неспособной справиться с интеграцией ее мусульманских меньшинств в духе провозглашаемых ею самой ценностей индивидуальной свободы и мультикультурализма, в России эта задача решается как бы сама собой благодаря тысячелетней истории органического мультикультурного развития. Постулируемая органичность связи между христианством и исламом в российской национальной идентичности указывает, помимо прочего, на сохраняющуюся релевантность романтических мотивов политического дискурса.

Неразрешимость гегемонической артикуляции, которая приводит к постоянному балансированию таких ключевых идентичностей, как «Европа», «Запад» и «ислам», на границе политического сообщества, часто вызывает беспокойство со стороны западнически настроенных интеллектуалов. Чаще всего эта обеспокоенность вербализируется как необходимость выбора между прозападной и исламской идентичностями. Помимо уже цитированных статей Леонида Радзиховского, можно привести в качестве примера следующее заявление известного исламоведа Алексея Малашенко:

<sup>1</sup> Путин В. В. Интервью межарабскому спутниковому телеканалу «Аль-Джазира». 10 февраля 2007 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/2042\\_type63379\\_118108.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/2042_type63379_118108.shtml).

Россия занимает срединно-бессмысленное положение между цивилизациями. Гордиться тут вопреки нашему аляпистому евразийству нечем. Надо плакать. Отсутствие цивилизационного выбора, что в данном случае тождественно ценностному выбору, сопровождает ее от Ивана Грозного до Владимира Путина<sup>1</sup>.

По мнению автора, в условиях неизбежно обостряющегося конфликта цивилизаций России необходимо сделать выбор в пользу прозападной ориентации. Здесь, как и во многих других случаях, перед нами пример того, как дислокация структуры порождает практики безопасности, направленные на устранение этой дислокации, на конституирование непроблематичного, внутренне однородного сообщества. Разумеется, это предприятие оказывается безнадежным: органическое присутствие исламского элемента в российской идентичности — вовсе не выдумка властей с целью расширения возможностей внешнеполитического маневра, и дислокация идентичности, прямолинейно выстроенной в духе пропагандистских клише «войны с террором», оказывается неизбежной. К сожалению, никто из российских интеллектуалов не прислушался к предложению, высказанному еще в 2001 году Дмитрием Трениным: в книге «Конец Евразии» он рисовал перспективу присоединения российских мусульман к другим «исламским элементам Большой Европы», что помогло бы реализовать подлинно европейскую идею разнообразия<sup>2</sup>. Такой шаг — даже признанный в качестве политической цели вне зависимости от ее достижимости — способствовал бы установлению отношений эквивалентности между означаемыми «ислам» и «Европа», которые позволили бы не рассматривать их как взаимоисключающие. К сожалению,

<sup>1</sup> Малащенко А. Танго с исламом // Независимая газета. 2007. 13 апреля.

<sup>2</sup> *Trenin D.* End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. Washington, D.C., Moscow: Carnegie Endowment for International Peace, 2002. P. 293.

нию, российская дискурсивная реальность на протяжении последних лет эволюционировала скорее в противоположном направлении.

Напряжение, накапливавшееся в российском политическом дискурсе между гражданским и политическим пониманием нации, в конце концов, в 2005—2006 годах, в буквальном смысле слова вылилось на улицы. Перенос праздничного дня с 7 на 4 ноября — «День народного единства», — вероятнее всего, имел целью дальнейшую маргинализацию коммунистической оппозиции и создание дополнительной опорной точки для консолидации общества в умеренной оппозиции Западу. В особенности, конечно, этот праздник, учрежденный в память о капитуляции польского гарнизона в Москве в 1612 году, был направлен против бывших советских сателлитов, ныне проводящих антироссийскую линию внутри НАТО и ЕС<sup>1</sup>. Первое же празднование в 2005 году, однако, стало поводом для радикально-националистического «Русского марша», собравшего тысячи человек под ксенофобскими антисемитскими и антииммигрантскими лозунгами. Судя по мерам, которые были приняты властями в последующие годы с тем, чтобы не допустить повторения марша, Кремль был изрядно напуган размахом националистических акций — в 2007 году эти меры включали даже «превентивное» задержание лидеров националистов и «образовательные» собеседования сотрудников спецслужб с активистами<sup>2</sup>. Однако уже к ноябрю 2006 года атмосфера в стране изменилась: столкновения на этнической почве в Кондопоге вызвали взлет этнонационалистических настроений по всей стране, а государство само занялось откровенным нарушением принципов гражданского национализма, пытаясь отомстить Грузии за «антироссийскую» политику и, в частности, за арест и высылку российских офицеров, обвиненных в шпио-

<sup>1</sup> *Zorin A.* A New Holiday for Old Reasons: Taking A Day Off to Remodel the Past // *Russia Profile*. 2005. 20 January.

<sup>2</sup> *Савина Е.* Кровные друзья // *Коммерсант*. 2007. 1 ноября.

наже. Даже при том, что в основном репрессивные меры были направлены против грузинских граждан, которых в массовом порядке выдворяли из страны как нелегальных иммигрантов, этническая направленность этих действий остается вне всякого сомнения, особенно с учетом того, что разного рода злоупотребления имели место также в отношении многих этнических грузин — граждан России. Кроме того, усилению этнической дискриминации способствовала и кампания по защите интересов «коренного населения» на продовольственных рынках, также спровоцированная кризисом в российско-грузинских отношениях: по многочисленным свидетельствам, предприниматели обходили запрет на наем иностранных работников, заменяя выходцев с Кавказа и из Центральной Азии иммигрантами «славянской» внешности<sup>1</sup>.

Отчасти рост влияния этнонационализма можно объяснить изменившейся расстановкой сил на политической арене: устранение со сцены либеральной оппозиции, с учетом всеобщего разочарования в «демократии», наступившего в 1990-е годы, оказалось задачей нетрудной, тогда как националисты оказались для власти куда более серьезными противниками. Не исключено, что крайне правая оппозиция пользуется серьезной поддержкой со стороны индустриального капитала и в особенности руководителей оборонных предприятий, которых не устраивает курс на сырьевую экономику и которые сознательно секьюритизируют и внутри- и внешнеполитическое окружение, чтобы подчеркнуть необходимость сохранения промышленного потенциала, сильной армии и самодостаточной экономики<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее о нарастании межэтнической напряженности в обществе см.: *Кожевникова Г.* Осень-2006: под флагом Кондопоги / Под ред. А. Верховского. Москва: Информационно-аналитический центр «СОВА», 2007. URL: <http://xeno.sova-center.ru/29481C8/883BB9D>; *Ее же.* Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2006 году / Под ред. А. Верховского. Москва: Информационно-аналитический центр «СОВА», 2007. <http://xeno.sova-center.ru/29481C8/8F76150>.

<sup>2</sup> *Муртазаев Э.* Зубы дракона // Коммерсант. 2006. 12 октября.

Как бы то ни было, получается, что монополизация политической сферы, достигнутая за счет вытеснения из нее либеральных критиков режима, оказалась неполной: используя мощные ксенофобские настроения в обществе как политический ресурс, радикальные националисты оказались способны консолидироваться в качестве вполне жизнеспособной альтернативы Кремлю с его умеренной риторикой, а кажущееся усиление вертикали власти на деле обернулось ее ослаблением. Очевидно, что события 2005—2006 годов заставили кремлевских идеологов по достоинству оценить масштаб этнонационалистического вызова. «Единая Россия», например, пытается вторгнуться на поле националистов и переопределить лозунг «Россия для русских» в духе гражданского патриотизма: по мнению участников «Русского проекта», инициированного партией власти в начале 2007 года, «понятие “русскости” должно нести в себе не этнический, а общегосударственный патриотический смысл, необходимый для укрепления единой “политической нации”»<sup>1</sup>.

Однако даже если кремлевским идеологам удастся задействовать всю мощь политических технологий для обеспечения строительства в России гражданской нации и борьбы с радикально-националистической оппозицией, в данном случае им придется столкнуться с мощными структурными факторами, которые противодействуют этому проекту. При этом, в отличие от политики «консолидации», направленной на вытеснение либеральной оппозиции, в случае с этнонационализмом источник структурной дислокации находится в дискурсивном ядре самого путинского проекта с его укорененностью в советском прошлом. Советский Союз, «империя позитивного действия»<sup>2</sup>, был обществом, в котором этничность была закреплена как на институциональном, так и на дискурсивном уровне в системе «национальных» автономий и в органической идее

<sup>1</sup> «Единая Россия» открывает «русский проект».

<sup>2</sup> Мартин Т. Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма? // *Ab Imperio*. 2002. № 2. С. 55—87.

этничности как единственной подлинной основы для формирования наций. Как пишет Рональд Суни, «нация, в значении фиксированной, примордиально укорененной, ограниченной группы, за которой закреплена определенная территория, была реальна и первична в советском дискурсе. И эта идея национальности как почти биологического атрибута любого лица вездесуща в постсоветском образе мышления»<sup>1</sup>. Это наследие, помимо прочего, отражено и в манифесте Владислава Суркова «Национализация будущего»: в нем соединяются определение нации как политического сообщества и разговор о русских как «неутомимых вершителях... высокой судьбы» российской нации, тогда как другие этнические группы, говоря словами Оксаны Карпенко, «образуют мозаичный фон, на котором величие главного персонажа становится особенно очевидно»<sup>2</sup>. И использование советского прошлого в качестве основополагающего исторического нарратива, и антагонизация терроризма в качестве конституирующего иного приводят к смещению политических границ российской нации одновременно в направлении их расширения — с включением «соотечественников» — и сужения с исключением «этнически чуждых» элементов.

#### § 4.4. Глобальная демократия в эпоху «цветных» революций: диалектика всеобщего и особенного

Итак, как видно из материалов предыдущих параграфов, становление суверенного субъекта в современной России сталкивается с проблемой неопределенности границ сообщества. Это столкновение, с одной стороны, дает начало государ-

<sup>1</sup> *Suny R. G. Op. cit. P. 154.*

<sup>2</sup> *Карпенко О. «Суверенная демократия» для внутреннего и наружного применения // Неприкосновенный запас. 2007. № 1. С. 137.*

ственной политике и пропаганде, эксплицитно направленной на создание в России гражданской нации. С другой стороны, многочисленные неразрешимости, связанные как с советским наследием, так и с глобальными политическими процессами, приводят к дислокации этой структуры, к смысловым сдвигам, вследствие которых вся конструкция национальной идентичности теряет устойчивость. Дислокация, в свою очередь, часто воспринимается как угроза, что порождает разнообразные практики безопасности вокруг национальной идентичности как референтного объекта. К сожалению, секьюритизация идентичности, как это практически всегда случается, способствует ее замыканию, что в российском случае выражается в росте влияния этнонационализма.

Не менее серьезные проблемы возникают у проекта реставрационной модернизации и на международной арене. Многие авторы — например, Павел Цыганков — приводят убедительные аргументы в пользу описания внешнеполитического курса России после 11 сентября как «великодержавного прагматизма»<sup>1</sup>. Самоописание внешней политики времен президента Путина как прагматической и деидеологизированной, направленной исключительно на реализацию российских национальных интересов, является одной из важнейших официальных формул российской дипломатии на современном этапе. Еще в 2001 году тогдашний министр иностранных дел Игорь Иванов подчеркивал, что, «провозглашая свой правовой статус

<sup>1</sup> *Tsygankov A. P. Russia's Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman & Littlefield, 2006. P. 127—166.* Иван Тимофеев в своем исследовании политической идентичности России также всячески подчеркивает, что в постсоветский период, и особенно после 2000 года, «национальные и патриотические компоненты» доминируют над любыми «идеологическими составляющими»: *Тимофеев И. Н. Политическая идентичность России в постсоветский период: альтернативы и тенденции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.: МГИМО (Университет) МИД России, 2006. С. 26—27.*



государства-преемника СССР, Российская Федерация решительно отказалась от идеологического наследия Советского Союза»<sup>1</sup>. Как видно из предшествующего анализа, отношение современной России к советскому прошлому далеко не ограничивается сугубо правовыми вопросами, однако тема «деидеологизации», безусловно, является одним из лейтмотивов российского дипломатического дискурса в современную эпоху. Подводя итоги 2006 года, Сергей Лавров противопоставляет «синдром “победы” Запада в холодной войне, который лежит в основе черно-белого видения мира, стремления к реидеологизации и ремилитаризации международных отношений», способности России «осмыслить уроки холодной войны», отказаться «от идеологии в пользу здравого смысла»<sup>2</sup>. Однако, как подчеркивается в «Обзоре внешней политики РФ», выбор западных стран «в пользу реидеологизации и милитаризации международных отношений создает угрозу нового раскола мира, теперь уже по цивилизационному признаку»<sup>3</sup>. Обвинения в идеологизации мировой политики Западом в данном случае, конечно, имеют в виду Марксово понятие идеологии как ложного сознания<sup>4</sup>, неверной интерпретации основных

<sup>1</sup> *Ivanov I.* The New Russian Identity: Innovation and Continuity in Russian Foreign Policy // *The Washington Quarterly*. Vol. 24. 2001. No. 3. P. 7.

<sup>2</sup> *Лавров С.* Внешнеполитическая самостоятельность России... Фраза «идеология здравого смысла», видимо, становится одной из ключевых для выступлений министра, см. также: *Лавров С.В.* Глобальной политике нужны открытость и демократия // *Известия*. 2007. 24 апреля; *Lavrov S.* Op. cit. P. 12; *Лавров С.В.* Настоящее и будущее глобальной политики. Взгляд из Москвы // *Россия в глобальной политике*. Т. 5. 2007. № 2. С. 20.

<sup>3</sup> Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации.

<sup>4</sup> Сама формулировка определения идеологии как ложного сознания принадлежит Энгельсу, и некоторые авторы возражают против приписывания такого понимания идеологии Марксу: *McCarney J.* The Real World of Ideology. Brighton: Harvester Press; Atlantic Highlands: Humanities Press, 1980. Однако Кристофер Пайнс, например, настаива-

тенденций современного мирового развития. В то время как Россия работает над восстановлением своей суверенной автономии — задача, легитимность которой с точки зрения принципов политической системы Нового времени выглядит абсолютно неоспоримой, — Запад постоянно норовит вмешаться в ее внутривнутриполитический процесс и ограничить внешнеполитическое влияние.

Проблема, однако, состоит в том, что западные критики России готовы отплатить ей той же монетой. Суверенитет в современном мире определенно выходит из моды. Подчеркнем, что в данном случае мы не пытаемся воспроизвести тезис сторонников теории глобализации о том, что суверенитет уходит в прошлое как конституирующий принцип международной системы, что национальное территориальное государство перестает быть главной формой организации политической жизни, растет значимость новых акторов, и сама по себе парадигма международных отношений устаревает, уступая место мировой политике как более широкому полю, способному вобрать в себя все многообразие транснациональных процессов<sup>1</sup>. Здесь вообще не идет речи об оценке российского прагматизма с точки зрения ложности или истинности его исходных посылок и, соответственно, идеологизированности российской внешней политики. Скорее мы имеем в виду позицию, отводи-

ет на том, что Маркс критиковал идеологию именно как комплекс ложных восприятий и интерпретаций действительности социальными акторами: *Pines C. L. Ideology and False Consciousness: Marx and His Historical Progenitors. Albany: State University of New York Press, 1993.*

<sup>1</sup> Отметим, что сама по себе парадигма мировой политики, в отличие от идеологизированных теорий глобализации, не требует постулирования отмирания национального государства. См., например, весьма плодотворную дискуссию в журнале «Полис»: *Лебедева М. М. Проблемы развития мировой политики // Полис. 2004. № 5. С. 106—113; Мельвиль А. Ю. Еще раз о сравнительной политологии и мировой политике // Полис. 2004. № 5. С. 114—119; Ильин М. В. Слуга двух господ. О пересечении компетенций политической науки и международных исследований // Полис. 2004. № 5. С. 120—130.*

мую суверенитету в гегемоническом дискурсе либерального универсализма в его различных вариантах, от неоконсервативного до космополитического. Дэвид Чандлер — автор, весьма озабоченный доминированием универсалистских концепций мировой политики в ущерб коммунитарной перспективе, — следующим образом характеризует современную ситуацию:

Пропаганда новых международных норм и «космополитического» права идет рука об руку с созданием нового субъекта международного права, узурпирующего приоритет суверенного государства. Провозглашается, что в качестве этого нового субъекта выступает субъект внутригосударственного права — частное лицо, — но в качестве субъекта прав человека, а не гражданских или демократических прав<sup>1</sup>.

Постольку поскольку либеральный универсализм является в современном мире гегемонической артикуляцией, он задает свою систему отсчета времени, отличную от российской. Суверенитет, который российские дипломаты пытаются преподнести как нейтральный принцип, учреждающий международное сообщество, превратился в арену наиболее ожесточенных противоборств современной глобальной политики<sup>2</sup>. При всей противоречивости философских и идеологических традиций, лежащих в основе либерально-универсалистского проекта, едва ли не все они настаивают на ограничении суверенитета во имя распространения демократии и защиты прав человека. На фоне утраты суверенным государством своей легитимности в качестве главного субъекта международной политики

<sup>1</sup> *Chandler D.* Back to the Future? The Limits of Neo-Wilsonian Ideals of Exporting Democracy // *Review of International Studies* Vol. 32. 2006. No. 3. P. 489. Ср.: *Куклина И.Н.* Указ. соч.

<sup>2</sup> *Scheipers S.* Civilization vs Toleration: The New UN Human Rights Council and the Normative Foundations of the International Order // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 10. 2007. No. 3. P. 223—224.

путинский проект, нацеленный на учреждение (или восстановление) нововременного политического субъекта, начинает выглядеть реакционным, пытающимся повернуть вспять историческое время. С этой точки зрения он сам становится идеологией в Марксовом смысле слова, манифестацией «ложного сознания», утратившего связь с реальностью.

И Борис Капустин, и Дэвид Чандлер, размышляя о сущности противопоставления модерна и постмодерна в глобальном дискурсе, ссылаются на, может быть, наиболее эксплицитную попытку установить новую временную шкалу, предпринятую Робертом Купером, политическим советником британского премьера Тони Блэра и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Хавьера Соланы<sup>1</sup>. В своей книге, название которой можно перевести и как «Явление наций», и как «Распад наций», Купер подразделяет государства на досовременные, современные и постсовременные (*pre-modern, modern and post-modern*), относя к последним страны Евросоюза и с оговорками Соединенные Штаты. По его мнению, постсовременные государства в своей внешней политике преследуют главным образом цели демократии и справедливости, оставив традиционные внешнеполитические интересы в прошлом. Однако когда постсовременный мир сталкивается с современными и досовременными государствами, он не может обращаться с ними на равных:

...Имея дело с государствами устаревшего типа за пределами постсовременности, европейцам приходится прибегать к более грубым методам прошедшей эпохи — применению силы, упреждающим ударам, обману, любым необходимым средствам... В джунглях следует жить по закону джунглей<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Kapustin B. Modernity's Failure/Post-modernity's Predicament: The Case of Russia // Critical Horizons. Vol. 4. 2003. No. 1. P. 141; Chandler D. Op. cit. P. 487—488.*

<sup>2</sup> *Cooper R. The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century. New York: Atlantic Monthly Press, 2003. P. 62.*

Фактически повторяя аргумент российских авторов, обвиняющих Запад в применении двойных стандартов к России в области прав человека<sup>1</sup>, Купер доказывает, что постсовременные государства «должны привыкнуть к идее двойных стандартов»<sup>2</sup>. Следуя отчасти за Джоном Ролзом<sup>3</sup>, Купер пропагандирует интервенционизм: наиболее продвинутые государства, по его мнению, не должны мириться с существованием современности и досовременности как отдельных миров, но должны преобразовывать их путем установления «универсальных» норм и институтов. Конечно, в данном случае перед нами довольно примитивная версия Ролзовой теории демократического мира, в которой отсутствует важнейшая категория «добропорядочных нелиберальных народов», которым дозволяется «преобразовывать себя по своему усмотрению»<sup>4</sup>. Авторы, идейно близкие к Куперу, видят основное содержание современной глобальной политики в борьбе между либерализмом и авторитарией — именно так, например, определяет сущность современного момента известный идеолог американского неоконсерватизма Роберт Кейган<sup>5</sup>. В их глазах попытки современных государств защитить свой суверенитет представляют угрозу постсовременному миру — угрозу, которую необходимо «пре-

<sup>1</sup> Ср., например, у Наталии Нарочницкой: «Новый миропорядок строится на новых идеологических основах, которые имеют две очевидные стороны — акцент на примате якобы универсальных наднациональных стандартов и ценностей... и на парадоксальном возврате к идеологии “сверхгосударства” для избранных»: *Нарочницкая Н.А.* Россия и русские в мировой истории. М.: Международные отношения, 2003. С. 507.

<sup>2</sup> *Cooper R.* Op. cit. P. 62.

<sup>3</sup> *Rawls J.* The Law of Peoples. London, Cambridge: Harvard University Press, 1999. См. сокращенный русский перевод одной из глав этой книги: *Ролз Дж.* Закон народов: неидеальная теория // Неприкосновенный запас. 2002. № 4. С. 6—21.

<sup>4</sup> *Rawls J.* The Law of Peoples. P. 61.

<sup>5</sup> *Кейган Р.* Конец иллюзиям: история возвращается // Pro et contra. Т. 11. 2007. № 6. С. 20—40.

дупреждать», опираясь при этом на «прочное стратегическое превосходство»<sup>1</sup>. Нетрудно убедиться, что эта программа уже реализуется на практике в политике США и их союзников.

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что гегемония западного либерального универсализма ни в коем случае не должна пониматься в исключительно географических терминах. С точки зрения постструктуралистской теории гегемония — это ситуация антагонистического господства, но гегемоническое господство всегда исторически конкретно и случайно, а границы, которые разделяют антагонистические силы, всегда нестабильны<sup>184</sup>. Гегемония — это власть, которую одновременно принимают посредством частичной и нерешительной идентификации с ее источником и которой бросают вызов, проводя границу между «угнетателями» и «угнетенными». Гегемония также представляет собой систему социальных институтов и практик (и лежащую в ее основе дискурсивную артикуляцию), основанную на решении, чья политическая сущность все еще жива и может быть реактивирована. Тот факт, что демократия сегодня близка ко всеобщему признанию в качестве точки отсчета, сам по себе является результатом гегемонической позиции конкретного исторического субъекта — Запада. Нет сомнений в том, что Запад как локус, как географическое понятие чрезвычайно разнообразен, — более того, именно в западном политическом пространстве позиционная война вокруг понятия «демократии» ведется с наибольшей ожесточенностью, а легитимность Запада как идентичности и как субъекта часто ставится под вопрос. Тем не менее присутствие Запада как Другого в политическом пространстве сообществ, определяющих себя как незападные, подчиняется совсем другим закономерностям. Прежде всего само установление границы между Западом и коллективным «Мы» очень часто играет для таких сообществ роль конститутивного акта. В полном соответствии с

<sup>1</sup> *Cooper R.* Op. cit. P. 65.

<sup>2</sup> *Laclau E, Mouffe C.* Op. cit. P. 136.

логикой гегемонии граница между Западом и любым из «не-Западов» редко бывает абсолютной: даже отказываясь признавать легитимность западного доминирования, политические лидеры во всем мире, за очень немногими исключениями, заявляют о своей приверженности идее демократии как единственно справедливой форме политического устройства и ссылаются на Запад как на идеально-типическое демократическое сообщество. Вместе с тем, однако, по мере консолидации западной гегемонии сообщества, не желающие стать частью Запада или не признанные в качестве таковых, ощущают все более острую необходимость самоопределения через противопоставление господствующему западному Другому. Это, в свою очередь, делает Запад еще более реальным в качестве субъекта мировой политики.

Кроме того, западные дебаты о сущности демократии с трудом транслируются в другие дискурсивные пространства и не оказывают существенного влияния на политическую практику. В то время как граждане США и Европейского союза спорят друг с другом о значении демократии и суверенитета, о будущем национального государства, о соответствии демократическому идеалу их собственных правительств, воздействие, которое ощущают на себе люди на периферии и полупериферии мировой системы, создает в их реальности образ Запада как единой, гомогенной силы. Это происходит и в случае американского «крестового похода за демократию», и в «политике соседства» Европейского союза, который стремится переделать все близлежащие государства по своему образу и подобию.

Последствия этой политики вызывают серьезную обеспокоенность у таких авторов, как Чандлер: он подчеркивает, что западный интервенционизм «делегитимирует политический процесс в государстве, подвергшемся интервенции» и тем самым лишает доверия любые незападные стандарты демократии: будучи навязанной извне, «демократия часто предлагается как решение проблем политической сферы, а не как процесс определения и установления содержания понятию

“достойной жизни”»<sup>1</sup>. Александр Астров также указывает, что идея народного самоуправления в государствах, недавно вступивших в Европейский союз, была в процессе расширения ЕС в значительной степени вытеснена практиками наместничества — правлением от имени внешней инстанции, которое приводит к замене политики управлением и к непропорциональному расширению полномочий исполнительной власти<sup>2</sup>. Такая ситуация время от времени вызывает фрустрацию даже у самих идеологов евроатлантической солидарности: так, известный неолиберальный аналитик Пол Гобл раздраженно писал в 2005 году, что участие в ЕС и НАТО «не освобождает Эстонию и эстонцев от обязанности думать и действовать своими силами, даже если оно делает эту задачу менее очевидной и иногда более трудной»<sup>3</sup>.

Одним из наиболее характерных примеров недоверия к локальной политике стали последствия выборов 2006 года в Палестинской автономии. С одной стороны, «распространение демократии» было главным приоритетом американской политики на Ближнем Востоке после 11 сентября<sup>4</sup>, но, с другой стороны, и Вашингтон, и Брюссель отказались признать результат демократического процесса — победу движения «Хамас». Вместо этого они воспользовались своим излюбленным интервенционистским подходом, пытаясь навязать смену режима, что, как доказывают некоторые авторы, практически привело политические институты Автономии к коллапсу<sup>5</sup>. Сер-

<sup>1</sup> *Chandler D.* Op. cit. P. 485, 483.

<sup>2</sup> *Астров А.* Самочинное сообщество: политика меньшинств или малая политика? Таллинн: Издательство Таллиннского университета, 2008.

<sup>3</sup> *Goble P.A.* Redefining Estonia's National Security // *The Estonian Foreign Policy Yearbook 2005* / Ed. by A. Kasekamp. Tallinn: The Estonian Foreign Policy Institute, 2005. P. 11.

<sup>4</sup> *Dalacoura K.* US Democracy Promotion in the Arab Middle East Since 11 September 2001: A Critique // *International Affairs*. Vol. 81. 2005. No. 5. P. 963—979.

<sup>5</sup> *Sayigh Y.* Inducing a Failed State in Palestine // *Survival*. Vol. 49. 2007. No. 3. P. 7—39.



гей Прозоров показал, что важнейшим источником конфликта между Россией и Европейским союзом на современном этапе является отказ Брюсселя от признания легитимности различий между сторонами, который является следствием противоречий, присущих космополитическому интеграционистскому дискурсу<sup>1</sup>. Хелле Мальмвиг утверждает, что в подходе ЕС к своим соседям по Средиземноморскому региону «либеральный реформаторский дискурс» проводит резкую границу между «демократической» Европой и «неспокойным и нестабильным пространством» Южного Средиземноморья. Это, в свою очередь, подрывает собственные усилия ЕС по созданию в регионе сообщества безопасности, которые исходят из логики «дискурса кооперативной безопасности», обостряет и укрепляет уже имеющиеся «недоверие и подозрительность в отношении действительных намерений ЕС» и тем самым «способствует распространению образов западного Другого»<sup>2</sup>. Оливер Рой с огорчением констатирует, что политика создания «гражданского общества» на Ближнем Востоке и в Центральной Азии часто сводится к «импортированию готовых образцов» и часто выглядит оскорбительной даже в глазах активистов — получателей западной помощи. Рой приходит к заключению, что «установление прочной демократии невозможно без обращения к вопросам политической легитимности и национализма»<sup>3</sup>. С последним выводом, впрочем, согласен даже такой сторонник транзитологической парадигмы, как Майкл МакФол, который по итогам своего анализа хода «оранжевой революции» на Украине признал, что «драма демократических преобразований совершается местными акторами.

<sup>1</sup> *Prozorov S. Understanding Conflict Between Russia and the EU: The Limits of Integration. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2006.*

<sup>2</sup> *Malmvig H. Caught between cooperation and democratization: the Barcelona Process and the EU's double-discursive approach // Journal of International Relations and Development. Vol. 9. 2006. No. 4. P. 358, 365.*

<sup>3</sup> *Roy O. The Predicament of «Civil Society» in Central Asia and the «Greater Middle East» // International Affairs. Vol. 81. 2005. No. 5. P. 1008, 1010.*

Попытки сфабриковать демократию без сильных локальных партнеров скорее всего обречены на провал»<sup>1</sup>.

Все эти примеры доказывают, что, хотя идея либеральной демократии действительно имеет бесчисленное множество воплощений, равнодействующая постоянно идущей позиционной войны внутри западного мира состоит в настойчивом стремлении ограничить суверенитет незападных сообществ во имя распространения демократии и защиты прав человека. Споря друг с другом, американцы и западноевропейцы, возможно, видят своим идеалом федерацию суверенных республик, но в своих действиях на глобальной арене они чаще всего насаждают однообразные институты и практики: Запад мыслит по Канту, но действует по Бушу.

Можно, конечно, возразить, что этот «бушианский» образ Запада создается его российскими и другими партнерами в рамках их собственных традиций конструирования Запада как Другого. Это, безусловно, верно в том смысле, что идентичность Запада как глобального субъекта, как и все другие идентичности, несамодостаточна: она формируется как внутри, так и вне границ западного политического сообщества, и в ходе дебатов о сущности Запада в Северной Америке и Евросоюзе<sup>2</sup>, и в процессе воображения Запада как Другого в России<sup>3</sup> и других странах и регионах. В самом деле, как показала Пегги Хеллер, процесс конструирования российской идентичности на-

<sup>1</sup> *McFaul M.* Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution // *International Security*. Vol. 32. 2007. No. 2. P. 82.

<sup>2</sup> *O'Hagan J.* Conceptions of the West in International Relations Thought: From Oswald Spengler to Edward Said. Basingstoke: Macmillan, 2002; *Bonnett A.* The Idea of the West: Culture, Politics and History, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004; *Jackson P. T.* Civilizing the Enemy: German Reconstruction and the Invention of the West. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006.

<sup>3</sup> *Neumann I. B.* Russia and the Idea of Europe. A Study in Identity and International Relations. London; New York: Routledge, 1996; *Нойманн И.* Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004. С. 214—238.

чина с XIX века играл ключевую роль в установлении Запада как точки отсчета в глобальном дискурсе<sup>1</sup>. Однако признание ключевой роли внешнего измерения формирования идентичности не умаляет значения того факта, что современная западная гегемония опирается на *одну* глобальную реляционную систему смысла, в которой Запад определяется как единая «демократизирующая» сила; более того, в этой дискурсивной артикуляции современность как таковая отождествляется с конкретно-исторической реальностью Запада<sup>2</sup>. Альтернативные артикуляции, бросающие вызов западной гегемонии, могут определять и Запад, и современность иначе, но именно то, что они не слышны за пределами западного сообщества и не резонируют с незападными конструкциями идентичности, показывает их относительно маргинальную позицию с глобальной точки зрения.

Риск потенциальной конфронтации с глобальным сувереном, объявившим об «устаревании», тщетности и даже опасности всех других суверенитетов, был в полной мере признан в России с началом военной операции НАТО в Косово<sup>3</sup> и остается на повестке дня до сих пор: как уже отмечалось, тенденция к однополярному миру и доминирование США определены как угроза в Концепции внешней политики и Концепции безопасности Российской Федерации, в «Обзоре внешней политики» и в высказываниях высших военных чинов<sup>4</sup>. Эта обеспокоенность была вполне отчетливо выражена Владимиром Путиным в его выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам

<sup>1</sup> *Heller K.M.* The Dawning of the West: On the Genesis of a Concept. Project Demonstrating Excellence (Dissertation). Cincinnati: Union Institute & University, 2006. P. 149–237.

<sup>2</sup> *Kapustin B.* Op. cit.

<sup>3</sup> См. материалы главы 3 и в особенности: *Арбатова Н.К.* Указ. соч.

<sup>4</sup> См., например, мнение начальника Генерального штаба Юрия Балуюевского по поводу интерпретации угроз в будущей новой редакции Военной доктрины: *Саловьев В.* Врагов стало больше, враги стали агрессивнее // Независимая газета. 2007. 22 января.

политики безопасности в феврале 2007 года. Охарактеризовав «однополярный мир» как «мир одного хозяина, одного суверена», президент предостерег, что «это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри». В современном мире, по мнению Путина, не только имеет место «пренебрежение основополагающими принципами международного права», но и навязывание определенных правовых норм: «по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере — и навязывается другим государствам». «Односторонние, нелегитимные... действия» Соединенных Штатов и их союзников угрожают глобальной безопасности, потому что порождают новые конфликты и войны, интенсифицируют гонку вооружений и ведут к ситуации, когда «никто уже не чувствует себя в безопасности... Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной»<sup>1</sup>.

Мюнхенская речь Владимира Путина, пожалуй, впервые столь отчетливо сформулировала универсальную проекцию Россией своей озабоченности состоянием международной безопасности. Универсализм эпохи «великодержавного прагматизма», конечно, не нуждается — по крайней мере, открыто — в метафизических концепциях наподобие «энтропии», характерных для дискурса романтического реализма, хотя в обоих случаях суверенитет предстает как универсальная, общечеловеческая ценность, необходимая для обеспечения права народов на самостоятельное политическое существование. Еще одно существенное различие между романтическим реализмом и великодержавным прагматизмом состоит в том, что, с точки зрения президента Путина и его команды, суверенитет

<sup>1</sup> Путин В. В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции...

необходим для нормального функционирования демократии. В этом смысле точка зрения нынешнего российского руководства гораздо ближе к классическому реализму или современному неореализму с их апологией равновесия сил.

В этом, безусловно, проявляется одна из существенных особенностей политики идентичности в путинской России: в отличие от «ястребов» в военной среде и среди депутатов парламента, Владимир Путин и окружение не готовы к окончательному разрыву с Западом, причем, как можно предположить, не только и не столько из-за неизбежных катастрофических последствий, но и потому, что они сами в значительной степени идентифицируют себя с западными ценностями и образом жизни. Попытки доказать, что Советскому Союзу не в последнюю очередь принадлежит заслуга окончания холодной войны, неизменные упоминания о принадлежности России к Европе, к числу цивилизованных стран не являются в современных российских условиях политически нейтральными высказываниями<sup>1</sup>. Обоснование лозунга «суверенной демократии» Владиславом Сурковым<sup>2</sup>, или заверения Дмитрия Медведева, что «в России существует реальная демократия», хотя стране «еще есть куда двигаться»<sup>3</sup>, или, наконец, заявление президента Путина о том, что после смерти Махатмы Ганди он остался единственным «абсолютным и чистым демократом»<sup>4</sup>, свидетель-

<sup>1</sup> O'Loughlin J, Ó Tuathail G, Kolossov V. A «Risky Westward Turn»? Putin's 9—11 Script and Ordinary Russians // *Europe-Asia Studies*. Vol. 56. 2004. No. 1. P. 3—34.

<sup>2</sup> Подробнее см.: Morozov V. Sovereignty and Democracy in Contemporary Russia: A Modern Subject Faces the Post-Modern World // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 11. 2008. No. 2. P. 152—180.

<sup>3</sup> Медведев: В России существует демократия, но ей есть куда двигаться // РИА Новости. 2007. 27 января. [http://www.rian.ru/world/foreign\\_russia/20070127/59781269.html](http://www.rian.ru/world/foreign_russia/20070127/59781269.html).

<sup>4</sup> Путин В.В. Интервью журналистам печатных средств массовой информации из стран — членов «Группы восьми». 4 июня 2007 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2007/06/04/0727\\_type63379\\_132615.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/06/04/0727_type63379_132615.shtml).

ствуют о том, что, как пишет Дмитрий Фурман, российское общество «чувствует потребность и даже необходимость имитировать соблюдение... норм», установленных современной глобальной культурой и не имеющих альтернатив, даже если «реально следовать» этим нормам оно не в состоянии<sup>1</sup>. Одно из важнейших положительных последствий такой имитации и одновременно доказательство ее действенности в «реальной» политике, по мнению Фурмана, — отказ президента Путина от попытки продлить срок своего пребывания на президентском посту.

Однако дело здесь не только в имитации языка демократии в силу отсутствия идейных альтернатив<sup>2</sup> и даже не в неспособности полностью исключить Европу и Запад из внутреннего пространства сообщества, построить идентичность России на отрицании этих важнейших Других. С одной стороны, мы имеем здесь дело с неразложимым остатком понятия «демократии», которое, вне зависимости от любого эмпирически существующего дискурсивного контекста, «является конститутивным для политического поля именно благодаря своей неопределенности и “свободе”, “свободной игре”, существующей внутри этого понятия»<sup>3</sup>. С другой стороны, мы приходим к диалектике общего и особенного, которая проявляет себя в российском дискурсе с наибольшей наглядностью. В своей мюнхенской речи президент Путин совсем не случайно подчеркнул, что система одного суверена губительна для всех, в том числе и для самого этого суверена. Он отметил также, что такая структура «ничего общего не имеет, конечно, с демократией» и что те, кто учит Россию демократии, «сами почему-то

<sup>1</sup> *Фурман Д.* Апология имитации // Независимая газета. 2007. 6 апреля.

<sup>2</sup> См.: *Фурман Д.* Общее и особенное в политическом развитии постсоветской России и других стран СНГ // Прогнозис. 2006. № 3. С. 93—94.

<sup>3</sup> *Деррида Ж.* Разбойники // Новое литературное обозрение. 2005. № 72. Речь здесь идет, конечно, не о неизменной метафизической сущности понятия демократии, а о его исторически конкретном, многообразном, но не совершенно свободном существовании в мировой дискурсивной реальности.

учиться не очень хотят»<sup>1</sup>. В уже цитированном выступлении в Давосе, которое, если верить официальному органу российского правительства, принесло ему репутацию «нового Горбачева»<sup>2</sup>, Дмитрий Медведев доказывал, что демократия «как общественное явление, как юридическая конструкция не требует специальных пояснительных слов и является вполне универсальным термином... Человечество знает, что это такое, и способно отличить реальную политическую демократию от употребления этого слова всуе»<sup>3</sup>. Эта последняя цитата особенно ясно показывает, что нынешнее российское руководство фактически пытается преодолеть «логику собственных имен» применительно к одному из ключевых понятий современности. Основное содержание выдвигаемого аргумента состоит в том, что демократия существует как абстрактный принцип (нечто такое, что люди, по мнению Медведева, знают почти интуитивно, поскольку «свобода — лучше несвободы»<sup>4</sup>), тогда как практическая реализация этого принципа может принимать разнообразные формы. Проблема с этой точки зрения состоит в том, что в практике западной гегемонии наличие демократии устанавливается путем сравнения с Соединенными Штатами и Европейским союзом как демократиями *par excellence*. Если принять точку зрения Жан-Клода Пассерона, такая ориентация на имена собственные представляет собой типичный случай неполноты абстрактного термина, который для определения своего содержания постоянно нуждается в прототипе, в скрытой или явной ссылке на конкретные пространственно-временные моменты (в данном случае — на конкретно-историческую реальность современных США и Западной Европы)<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Путин В. В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции.

<sup>2</sup> Арсюхин Е. Давос взят // Российская газета. 2007. 30 января.

<sup>3</sup> Медведев: в России существует демократия.

<sup>4</sup> Арсюхин Е. Указ. соч.

<sup>5</sup> Passeron J.-C. Le raisonnement sociologique: L'espace non-poppérien du raisonnement naturel. Paris: Nathan, 1991. P. 60—61. См. также: Косонов Н. Е. Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 93—121.

В качестве иллюстрации здесь как нельзя более подходит известное — и во многих отношениях репрезентативное — выступление вице-президента США Ричарда Чейни в Вильнюсе в 2006 году, в котором «возврат к политике демократических реформ в России» фактически синонимичен «присоединению» России к Западу<sup>1</sup>. Интересно отметить, что выражение «aligning with the West», использованное Чейни, можно перевести и как «равнение на Запад». Неолиберальная телеология, в которой телос отождествлялся с эмпирической реальностью Запада, а незападным обществам предписывалось реализовывать «императивы модернизации», в 1990-е годы привела к радикальной деполитизации, которая охватила весь мир, но особенно остро ощущалась на постсоветском пространстве<sup>2</sup>. Джастин Розенберг удачно использует для описания ситуации, сложившейся в мире в последнем десятилетии прошлого века, метафору вакуума: распад Советского Союза и исчезновение социалистической альтернативы создали в мире идеологическую пустоту, которая была немедленно заполнена господствовавшим в тот момент в западном мире неолиберализмом. В условиях краха советской системы неолиберальной идеологии удалось предстать в качестве самоочевидного, неидеологического обобщения универсального общечеловеческого опыта<sup>3</sup>. Важна здесь была и содержательная сторона, поскольку неолиберальная модель капитализма гораздо меньше, чем ее исторические предшественники, нуждается в опоре на демократию и, следовательно, может легко ограничиться имитацией последней. В результате под демократическими лозунгами в России,

<sup>1</sup> *Cheney R. B.* Vice President's Remarks at the 2006 Vilnius Conference. Reval Hotel Lietuva, Vilnius, Lithuania, 4 May 2006. <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060504-1.html>.

<sup>2</sup> *Kapustin B.* Op. cit. P. 103.

<sup>3</sup> *Rosenberg J.* Globalization Theory. P. 48—59. Интересно, что к метафоре вакуума приходит, говоря об этих событиях, и Артемий Магун: *Магун А. В.* Империализация. Понятие империи и современный мир // Полис. 2007. № 2. С. 73—74.



как и во всем мире, торжествовала технократическая деполи- тизация. В этом свете уже приводившийся тезис Андрея Фур- сова о формировании государств-корпораций как общей тен- денции постиндустриальной эпохи<sup>1</sup> может быть прочитан как констатация движения в направлении от демократического к технократическому обществу, от политики к управлению. Ве- роятно, мы действительно вынуждены констатировать, вслед за Борисом Капустиним, факт «истощения и исчерпания нор- мативного содержания современности, т. е. ее приверженнос- ти автономии, рефлексивности, критичности, свободе как чему-то, чего всегда еще только предстоит достичь, нежели чем чему-то уже приобретенному благодаря тому или иному ин- ституциональному устройству»<sup>2</sup>.

В то же время нельзя не признать, что идея демократизации как «равнения на Запад» имеет прочные основания и в россий- ской дискурсивной реальности. Устойчивые отношения экви- валентности между рыночной экономикой и либеральной де- мократией, с одной стороны, и Западом, с другой стороны, установились еще на начальном этапе реформ, в период Пере- стройки, в связи с идеализацией западной модели обществен- ного развития. В этот период, как пишет Дина Хапаева,

Все, приближающее Россию к Западу, будь то основание древнерусского государства норманнами или петровские реформы, стало казаться привлекательными эпизо- дами отечественной истории...

Семантическое противостояние советского социализма западному капитализму легко подменялось созданием причинно-следственной связи: все недостатки советско- го социализма нашли свое объяснение в отклонении России после прихода к власти большевиков от западно- го пути развития. Эта установка сознания наделяла за- падничество силой нового социального проекта... Она

<sup>1</sup> Фурсов А. Указ. соч.

<sup>2</sup> Капустин В. Op. cit. P. 133.

требовала забвения советского прошлого ради возвращения на «магистральный путь развития человечества», ради создания в России «нормального общества» по западному образцу<sup>1</sup>.

Мы уже отмечали, что обвал советского исторического нарратива привел к острейшему кризису идентичности, из которого и рождается этот «идеальный образ Запада». Присутствие идеализированного Запада как узлового пункта в дискурсе создавало иллюзию, что кризис можно было преодолеть «за счет резкого изменения точки зрения на мир»<sup>2</sup>, которая состояла бы в принятии «западных» моделей и ценностей в качестве абсолютной истины, как наивысших достижений человечества.

«Новая старая» великодержавная идентичность, зафиксированная в дискурсивной структуре уже в 1992—1993 годах и с особенной очевидностью проявившаяся на рубеже веков, привела к разочарованию и в Западе, и в демократии. Структура гегемонической артикуляции при этом не изменилась, за исключением одного ключевого элемента — отношения между идентичностью России и парой «демократия — Запад». Если в позднеперестроечные годы между Россией, демократией и Западом существовали отношения эквивалентности, то в течение последнего десятилетия XX века Запад и демократия переместились по другую сторону границ сообщества, идентичность которого снова начала определяться в противостоянии Западу (как геополитическому противнику) и демократии («у России свой путь»), обусловила уникальную позицию России по сравнению с другими бывшими социалистическими странами. Если в странах, не входивших в Советский Союз, и даже в некоторых бывших советских республиках (в особенности в прибалтийских) разрыв с авторитарным прошлым означал также отрицание внешнего господства, то в России авторитар-

<sup>1</sup> *Ханаева Д.* Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002. С. 30—31.

<sup>2</sup> Там же. С. 29.

ное прошлое было концептуализировано как часть истории страны и, соответственно, как часть национальной идентичности. Попытки установить историческую дистанцию между современной Россией и ее имперскими предшественниками стали интерпретироваться как циничное стремление унижить прошлое для того, чтобы примирить население с тяготами постсоветского существования. Вот как этот тезис воспроизводится в тексте Павла Цыганкова:

Подобные рассуждения [о необходимости сближения с Западом] нередко сопровождались разного рода саморазоблачениями, публичными покаяниями за подлинные и мнимые преступления советской и досоветской империй перед народами России, СССР, ближними и дальними соседями. Обществу навязывались комплекс неполноценности, пренебрежительное отношение к исторической памяти. Постсоветский период в развитии российского общества (с его очевидными тяготами для большинства населения), трактуемый как «светлое настоящее», противопоставлялся «империи зла», в духе которой одномерно характеризовалось историческое прошлое страны<sup>1</sup>.

Отметим, что Цыганков явно видит некую взаимосвязь между политикой сближения с Западом и «пренебрежительным отношением к исторической памяти», однако природа этой связи остается неясна. Впрочем, ее легко реконструировать, исходя из того, что в рамках описываемой артикуляции историческая преемственность между СССР и Российской Федерацией принимается как данность. В самом деле, если Российская Федерация — это сегодняшний СССР, ее идентичность можно определить только в противостоянии Западу, его институтам (таким как НАТО) и ценностям. Однако если Россия и может претендовать на статус наследника советской империи, то справляется с этой ролью гораздо хуже: наследник «отодви-

<sup>1</sup> Цыганков П.А. Указ. соч.

нут» в геополитическом отношении на восток и на север, утратил стратегически наиболее важные территории, сохранил лишь небольшую часть бывшей военной мощи и цепляется за свой стареющий ядерный арсенал как последнее основание для претензий на статус мировой державы. Иными словами, Россия — это побежденный Советский Союз, империя, потерпевшая поражение в холодной войне. Попытки установить дистанцию между Россией и СССР в такой интерпретации воспринимаются как результат давления со стороны Запада, как окончательная капитуляция — именно так можно интерпретировать вышеприведенную цитату.

Альтернативой капитуляции может быть только возрождение бывшей мощи (определяемой опять-таки преимущественно в терминах холодной войны). Однако поскольку на данном этапе Россия как наследница СССР значительно слабее своего противника — Запада, последний воспринимается как источник постоянной опасности. Следовательно, определение России как государства-продолжателя СССР неизбежно порождает широкий спектр практик секьюритизации, большинство которых противопоставляют Россию Западу как источнику экзистенциальных угроз.

Это ощущение угрозы в сочетании с экономическими трудностями начала 1990-х годов, которые обычно интерпретировались как следствие рыночных реформ (за пределами академических кругов никто всерьез не говорил о том, что трудности также могли быть вызваны долгосрочными последствиями краха неэффективной советской экономики<sup>1</sup>), привело российское общество к отрицанию либеральных ценнос-

<sup>1</sup> Даже для многих профессиональных экономистов, как пишет Йоахим Цвайнерт, «шоковая терапия оказалась шоком»: *Zweynert J. Conflicting Patterns of Thought in the Russian Debate on Transition: 1992—2002 // Europe-Asia Studies. Vol. 59. 2007. No. 1. P. 53.* В этой работе Цвайнерта показано, как последствия шоковой терапии повлияли на возрождение популярности националистических и этатистских идей в среде российских экономистов.

тей как «навязываемых» Западом. В России 1990-х практически никто не оспаривал тезиса, что ее экономическая модель была целиком и полностью заимствована у Запада. Критика рыночных реформ, которая раздавалась и продолжает раздаваться со стороны как националистически настроенных российских политиков, так и западных либеральных экономистов и социологов, в значительной степени относится к «чрезмерному» вмешательству иностранных консультантов и международных финансовых институтов (Международного валютного фонда, Всемирного банка и т. п.), а также к навязыванию обществу западных практик без учета его специфических культурных, институциональных и других особенностей<sup>1</sup>.

Вопрос о справедливости вышеприведенных аргументов выходит за рамки данного исследования, и, конечно, мало кто возьмется утверждать, что российские реформы проводились наилучшим возможным образом. Важно, однако, подчеркнуть, что представление о «прозападной» сути рыночных реформ крайне редко подвергается проблематизации в российском дискурсе. Более того, в эпоху Ельцина российское руководство в поисках легитимности сознательно эксплуатировало недифференцированный и идеализированный образ Запада, чтобы убедить население в безальтернативности избранного курса. Кремлевские идеологи старались представить связь между демократией и рыночной экономикой как прямолинейную и не подлежащую сомнению: рынок представлялся не только как необходимое, но и как достаточное условие демократии<sup>2</sup>. Не удивительно, что в постсоветском дискурсивном поле, где идея о единственности «магистрального пути прогресса» для всего человечества практически не подвергалась сомнению, да еще

<sup>1</sup> См.: *May B.* Российские экономические реформы глазами их западных критиков // Вопросы экономики. 1999. № 11. С. 16—18.

<sup>2</sup> *Bruner M. L.* Strategies of Remembrance: The Rhetorical Dimensions of National Identity Construction. Columbia: University of South Carolina Press, 2002. P. 53—55; *Idem.* Taming «Wild» Capitalism // Discourse & Society. Vol. 13. 2002. No. 2. P. 167—184.

на фоне глобального идеологического вакуума, обеспечившего господство неолиберализма, эти усилия оказались успешными. За политическим режимом, установившимся в России на протяжении 1990-х годов, точно таким же образом закрепилось название «демократия», а за правящей элитой, противопоставлявшей себя коммунистам, — ярлык «демократы». При этом трудно отрицать правоту Глеба Павловского (в основном, если не в деталях), когда тот заявляет:

...Слово «демократы» принадлежит нынешней, так само-названной группе политиков, как имя «большевиков» — сталинской группе, оставшейся в руководстве партии после уничтожения конкурентов. Демократией стали называть то, что московской группе лидеров благоугодно было сохранить от разгромленного ими демократического движения 1989—1991 гг.<sup>1</sup>

Однако, как уже неоднократно отмечалось, реляционные отношения между означаемыми в политическом дискурсе нельзя оценивать на основании критериев, внешних по отношению к данной дискурсивной артикуляции. Поэтому, даже если российские демократы 1990-х годов были в этом качестве самозванцами, принятие обществом самоописания ельцинского режима как демократического имело далеко идущие последствия.

По мере того как экономическая ситуация с течением времени не выказывала признаков серьезного улучшения, становилось все труднее преподносить экономические лишения как необходимые краткосрочные издержки на пути к скорому процветанию, и в конце концов вся эта непрочная дискурсивная конструкция рухнула. Наступила эпоха разочарования в реформах и их — по большей части горьких — плодах. Однако фундаментальные основы рассуждений о природе реформ остались в неприкосновенности: вместо того, чтобы подвергнуть сомнению посылку о неизбежно «прозападном» и харак-

<sup>1</sup> Павловский Г. О. Указ. соч.

тере реформ и их соответствии идеалу либеральной демократии, российская общественность разочаровалась и в демократии, и в Западе. «В массовом сознании, — пишет Владимир Кантор, — идеи вестернизации прочно связались с торжеством коррупции, мафиозных игр разнообразных нынешних властей, с развалом экономики и заметным снижением уровня жизни»<sup>1</sup>. Поэтому, как отмечает эксперт «Горбачев-фонда» Валерий Соловей,

мы чувствуем себя обманутыми Западом, который помынил нас сладкой конфеткой «общества благоденствия», завел в тупик и бросил. Русские ориентируются на западные потребительские стандарты, но не верят, что его опыт, политические и экономические образцы применимы в России, видят в Западе модель для подражания, но не доверяют ему и боятся его<sup>2</sup>.

В довершение ко всему, одним из последствий первоначальной идеализации Запады в конце 1980-х — начале 1990-х годов было создание негативного образа российского бизнесмена, который — почти по определению — в моральном отношении стоит заведомо ниже своих западных коллег<sup>3</sup>. Сочетание этих двух смысловых цепочек часто ведет к полному отрицанию демократических рыночных преобразований как осуществляемых по наущению западных колонизаторов коррумпированными политиками и корыстолюбивыми бизнесменами — от олигархов до мелких «торгашей». То, как отношения эквивалентности, установившиеся между всеми значимыми элементами постсоветской трансформации, ведут к их огульному отрицанию, иллюстрирует, например, такая фраза Константина Арест-Якубовича: «Демократия (либеральные ценности, Запад,

<sup>1</sup> Кантор В. К. «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историсофские очерки. М.: Росспэн, 1997. С. 79.

<sup>2</sup> Соловей В. Русские и Запад // Независимая газета. 1999. 30 ноября.

<sup>3</sup> См.: Хатаева Д. Время космополитизма. С. 36—56.

рынок — как ни называй, все это синонимы, слова одного ряда), внедренная в Россию мировой цивилизацией, — есть тотальное подавление индивидуальности и тотальное господство ничтожной посредственности»<sup>1</sup>. Эмоциональный протест Леонида Дондурей против самоочевидностей российского дискурса лишней раз подтверждает, что в языке повседневности установилась именно такая оценка реформ и их субъектов: «Меня, к примеру, очень интересует, кто заказывает ту версию реальности, которую АВТОРЫ транслируют нации? Что все предприниматели — аморальны, что реформы не удались, что бизнес — это всегда преступность, что мы не умеем ничего делать, все хотим получать на халяву»<sup>2</sup>. Однако попытка рационализировать происходящее через фигуру «заказчика», разумеется, в большинстве случаев малопродуктивна.

Борьба за интерпретацию гражданской войны в Боснии, первой чеченской войны, косовского конфликта и, наконец, второй кампании в Чечне, в которой сталкивались различные политические позиции как внутри России, так и на международной арене, привела к окончательному разочарованию в Западе. Конечно, политика российского правительства постоянно подвергалась критике со стороны различных политических сил внутри страны, но только что описанное структурирование дискурса привело к тому, что правительство в основном критиковали за предательски прозападную политику, тогда как аргумент о неадекватном воплощении основных принципов либеральной демократии и рыночной экономики был вытеснен «на обочину» публичного пространства. Устойчивые отношения эквивалентности между Западом и демократическими рыночными преобразованиями, а также между Российской Федерацией и Советским Союзом, закрепившиеся в российс-

<sup>1</sup> *Арест-Якубович К.А.* О кризисе российской интеллигенции // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 63.

<sup>2</sup> *Дондурей Л.Б.* Интерпретируя реальность // Независимая газета. 2003. 30 октября. Выделено в оригинале.



ком политическом дискурсе, породили ситуацию, когда вместо поиска путей коррекции реформ и исправления недостатков общество погрузилось в тотальное отрицание этих идей как таковых, вместе с отрицанием доброй воли Запада. Так называемая демократическая оппозиция, в свою очередь, не нашла интеллектуальных ресурсов для того, чтобы вырваться из этой дискурсивной ловушки, и продолжала настаивать на возможности и необходимости заимствования западных моделей.

Поэтому лозунг «суверенной демократии», выдвинутый Владиславом Сурковым, и вообще дискуссия об универсальной значимости демократических ценностей, которую пытается начать нынешнее руководство, представляют собой весьма интересный поворот в эволюции российской дискурсивной реальности. Эта артикуляция идет вразрез не только с фундаментальными посылками гегемонического дискурса либерального универсализма, в котором принимается как данность, что США и ЕС должны выступать стандартом демократии, но и с отношениями эквивалентности, установившимися между Западом и демократией в российском дискурсе. Возможно, побудительным мотивом к этому шагу послужил конфликт вокруг «оранжевой» революции на Украине, в котором Россия проиграла в значительной степени из-за того, что выбор Украины между прозападной и пророссийской ориентацией был представлен как выбор между демократией и авторитаризмом. Россия, таким образом, не просто утратила всякое право голоса в отношении содержательного наполнения понятия демократии — она вплотную подошла к тому, чтобы стать именем собственным для тоталитаризма, подверглась интерпелляции, устанавливающей отношения эквивалентности между означающими «Россия» и «авторитаризм». Приведем лишь один пример: «Файненшл таймс» писала в редакционной статье в период, когда провал второго тура президентских выборов стал очевидным и формальная победа Виктора Януковича обернулась моральной победой Виктора Ющенко, что украинцы «бесспорно продемонстрировали, что, если дать им шанс, их страна

сможет стать подлинной европейской демократией. Она не обречена ни историей, ни географией на авторитаризм в российском стиле»<sup>1</sup>. Разумеется, дальнейшее развитие событий по этому сценарию неизбежно привело бы к изоляции России, к тому, что страна оказалась бы «на задворках Европы».

Эта перспектива, вероятно, заставила российских идеологов попытаться разрушить отношения эквивалентности между Россией и авторитаризмом путем создания для демократии еще одного имени собственного — «Россия». Этот выбор отнюдь не был самоочевидным — напротив, консервативная часть российского истеблишмента предпочла бы вариант, в котором Россия попыталась бы оспорить универсальную значимость понятия «демократия». Хорошим примером здесь может служить статья политолога Владимира Пастухова, который в своих размышлениях также отталкивается от украинских событий. Он критикует российские власти за стремление усидеть на двух стульях, признавая либеральную демократию в качестве идеала и в то же время отстаивая «право России на собственный путь исторического развития». При этом автор исходит из того, что попытки насадить демократию в России противоестественны: «Россия “божится” демократией по поводу и без повода на словах и строит отнюдь не демократическое государство на деле, следуя логике исторического процесса». Поэтому, как утверждает автор, России следует отвергнуть фальшивый универсализм Запада, предлагающего свои идеалы и ценности в качестве общечеловеческих:

В практическом плане остановить Запад в его «экспорте демократии», оппонируя ему по частным вопросам (здравый смысл, двойные стандарты, политический

<sup>1</sup> The Real Victor // Financial Times. 2004. 23 November. Подробнее о проблеме «выбора» см.: Morozov V. New Borderlines in a United Europe: Democracy, Imperialism and the Copenhagen Criteria // Russia's North West and the European Union: a Playground for Innovations. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University Press, 2005. P. 74—84.

компромисс), но не затрагивая общий и главный вопрос о праве представлять свои ценности как универсальные и возводить их в единый и обязательный для всех стандарт, в принципе невозможно. Нельзя сидеть на двух стульях одновременно: признавать, что либеральная демократия — наш идеал, и отстаивать право на собственный путь исторического развития.

Для России гораздо эффективнее было бы честно определиться с реально достижимыми, культурно обусловленными идеалами общественного развития и дать Западу бой по основному пункту повестки дня — о праве народов на культурное и политическое... самоопределение, обеспечив и себе, и другим возможность существовать по своим собственным стандартам<sup>1</sup>.

В обоих случаях, однако, перед нами критика западного империализма — навязывания западных ценностей, норм и институтов в качестве общечеловеческих. Разоблачение либерального универсализма как идеологии, укорененной в определенной культуре, а потому в основе своей партикуляристской, характерно для всех дискурсивных течений в современной России, от представителей радикально-консервативного дискурса романтического реализма до президентской команды, ориентированной на модернизацию страны и ее включение в «цивилизацию» — но на своих собственных условиях. Исключение здесь составляют только наиболее проатлантически настроенные либералы, которые фактически воспроизводят артикуляционные практики либерального универсализма.

Нетрудно заметить параллели между критикой либерального универсализма в российском политическом дискурсе и учением Карла Шмитта, который также разоблачал любые претензии на представительство общечеловеческих интересов как империалистические:

<sup>1</sup> *Пастухов В.Б.* Украина — не с Россией. Причины и последствия стратегических просчетов российской политики по отношению к Украине // *Полис.* 2005. № 1. С. 32. — Курсив мой.

Если государство во имя человечества борется со своим политическим врагом, то это не война человечества, но война, для которой определенное государство пытается в противоположность своему военному противнику оккупировать универсальное понятие... Отвлекаясь от этой весьма политической применимости неполитического имени «человечество», никаких войн человечества как такового нет<sup>1</sup>.

В свою очередь, политическое, которое для Шмитта является нормативной ценностью, возможно только в условиях плюрализма, понимаемого как множественность политических единств. Отвергая плюрализм во внутренней политике, Шмитт настаивает на его необходимости в политике внешней, на том, что «политический мир — это не универсум, а плюриверсум»<sup>2</sup>. Параллель с идеей «многополярности» очевидна, причем президент Путин, обращая внимание на значимость суверенитета как автономного права каждого сообщества принимать основополагающие этико-политические решения, смещает понятие многополярности от Уолтца к Шмитту. В этой трактовке многополярность — уже не просто характеристика международной системы, которая, возможно, делает ее более стабильной, а фундаментальная этическая необходимость.

Российская позиция, однако, также претендует на право выражать общечеловеческие интересы. Это особенно заметно в откровенно мессианском дискурсе романтического реализма, который настаивает на необходимости срочно спасти человечество от «энтропии». Однако и более умеренный проект «суверенной демократии» также критикует Запад за идеологизацию внешней политики, тем самым декларируя свое право определять ценностно нейтральную, общечеловеческую систе-

<sup>1</sup> Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 54—55.

<sup>2</sup> Там же. С. 54.

му координат, основанную на «объективном» положении дел в мире: как пишет Сергей Лавров, «международное сообщество — это живой, самодостаточный и самоорганизующийся механизм, которому противопоказано кукловодство. А если что и показано, так это демократия, предполагающая аргументированные дебаты и поиски согласия»<sup>1</sup>. Вообще говоря, противоречие между партикуляристским основанием и универсалистскими амбициями существует только с точки зрения картезианского понимания универсальности, которое предполагает существование *cogito* как нейтральной мыслящей субстанции, общей для всех людей. Это мировоззрение лежит в основании дискурса глобализации с его постулированием общечеловеческих ценностей, которые понятны и желанны каждому человеку и могут отвергаться только в результате недопонимания или по злой воле. Критика глобализма в российском дискурсе построена на несколько отличном понимании универсального, которое характерно для классического марксизма<sup>2</sup> и в значительной степени также для Карла Шмитта: оно отвергает любую всеобщность как идеологическое искажение партикуляристской идентичности, но предлагает взамен другой партикуляристский проект, который претендует на «истинное» выражение всеобщих ценностей. Однако если рассмотреть обе эти позиции с позиций третьего подхода, предлагаемого Эрнесто Лаклау, мы увидим отсутствие принципиальных различий между ними. Славой Жижек следующим образом резюмирует сущность подхода Лаклау:

...Всеобщее лишено содержания, но именно как таковое всегда уже наполнено, то есть гегемонизировано неко-

<sup>1</sup> Лавров С. В. Глобальной политике нужны открытость и демократия.

<sup>2</sup> Ср. характеристику Лаклау роли пролетариата в марксизме: *Laclau E. Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics // Butler J., Laclau E., Žižek S. Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. London; New York: Verso, 2000. P. 44—59.*

торым случайным, частным содержанием, которое становится действенным по мере того, как оно замещает Всеобщее — коротко говоря, каждое Всеобщее есть поле боя, на котором множество частных наполнений борются за гегемонию... Различие между этой третьей версией и первой [универсальным разумом Просвещения] состоит в том, что третья версия не допускает никакого содержания Всеобщего, которое на деле было бы нейтральным и, как таковое, общим для всех своих разновидностей (мы никогда не сможем определить каких-либо черт, общих для всех людей в абсолютно одной и той же модальности): все позитивное содержание Всеобщего есть случайный результат гегемонической борьбы — само по себе, Всеобщее абсолютно пусто<sup>1</sup>.

Универсализм как политический проект не может не опираться на партикуляристские основания, поскольку

...Общество состоит только из частных (particularities), и в этом смысле любая всеобщность должна быть воплощена в нечто с нею крайне несоизмеримое. ...Нет никакого логического перехода от неизбежного этического момента, в котором полнота общества обнаруживается как пустой символ, к любому специфическому (particular) нормативному порядку<sup>2</sup>.

Соответственно, любой нормативный порядок должен быть основан на этико-политическом решении, которое неизбежно принимает форму гегемонической артикуляции, основанной на акте радикального исключения. Партикуляристская позиция может претендовать на выражение общего блага только в том случае, если она исключает конституирующее иное, которое фигурирует как воплощение антисоциального или

<sup>1</sup> Žižek S. *The Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology*. London, New York: Verso, 1999. P. 100—101.

<sup>2</sup> Laclau E. *Identity and Hegemony*. P. 80—81.

даже античеловеческого. Это возможно в результате работы логики эквивалентности: «ни одна всеобщность не может действовать как чистая всеобщность; возможна только относительная универсализация, создаваемая путем расширения цепочки эквивалентностей вокруг центрального партикуляристского ядра»<sup>1</sup>. Как отмечает Пертти Йозенниemi, вооруженный конфликт вокруг Косово со всей ясностью показал, что глобальный либеральный дискурс пытается закрепить за собой право выражать универсальную этику и, в частности, что в его рамках возможна только одна Европа, где национальные интересы подчинены наднациональным обязательствам. Расширение цепочек эквивалентности вокруг партикуляристского ядра (страны НАТО) сначала приводит к устранению других возможных определений европейскости, а затем перебрасывает мостик от идеи Европы к понятию цивилизации в единственном числе — то есть НАТО требует для себя права говорить от имени человечества в целом. С точки зрения натовской гегемонии Сербия представляла собой аномалию, пережиток старой Европы, в которой суверен чувствовал себя полным хозяином на своей территории и по отношению к своему народу, и в силу этого факта подлежала насильственной «коррекции»<sup>2</sup>. Этот пример, особенно если дополнить его современной «войной с террором», является эмпирической иллюстрацией тезиса от зависимости всеобщего от частного.

С другой стороны, не менее очевидным становится и обратное: любой партикуляризм имеет тенденцию представлять свои требования как часть борьбы за общее благо. «Чем более специфическим (*particularized*) является требование, тем легче удовлетворить его и интегрировать в систему; тогда как,

<sup>1</sup> *Laclau E. Structure, History and the Political // Butler J., Laclau E., Žižek S. Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. London; New York: Verso, 2000. P. 208.*

<sup>2</sup> *Joenniemi P. Kosovo and the End of War // Mapping European Security After Kosovo / Ed. by P. van Ham and S. Medvedev. Manchester: Manchester University Press, 2002. P. 57—59.*

если требование эквивалентно множеству других требований, любая частичная победа будет рассматриваться лишь как эпизод в протяженной позиционной войне»<sup>1</sup>, — в этом, собственно, и состоит сущность политики как попытки изменить существующую гегемоническую артикуляцию, в отличие от бюрократического по своей сути процесса достижения целей посредством использования существующих институциональных механизмов. Поэтому «превращение некоторого требования, субъектной позиции, идентичности и так далее в политические означает, что оно становится *отличным от себя самого*, переживая свой собственный партикуляризм как момент или звено в цепочке эквивалентностей, которая переступает его пределы и, таким образом, универсализирует его»<sup>2</sup>. Можно сказать, что, выдвигая универсалистские притязания, российский дискурс преодолевает дезавуирование политического, характерное, согласно Жижеку, для «ультраполитики» Шмитта. В самом деле, можно согласиться с Жижекком в том, что

политика в собственном смысле слова всегда предполагает своего рода короткое замыкание между Всеобщим и Частным: она предполагает парадокс единичного, которое играет роль Всеобщего, дестабилизируя «естественный» функциональный порядок социального организма. Политическая борьба в собственном смысле слова поэтому никогда не сводится просто к рациональным дебатам между многообразными интересами, но одновременно является борьбой за то, чтобы твой голос был услышан и признан как голос легитимного партнера...<sup>3</sup>

В этой связи становится понятной необходимость несколько модифицировать утверждение Ивера Нойманна, что после

<sup>1</sup> *Laclau E.* Structure, History and the Political. P. 209.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 209—210.

<sup>3</sup> *Žižek S.* Carl Schmitt in the Age of Post-Politics // The Challenge of Carl Schmitt / Ed. by C. Mouffe. London: Verso, 1999. P. 28.



окончания холодной войны и крушения коммунизма «либеральная глобализация остается единственной политической программой, притягательной для людей во всем мире. Она порождает противостояние, но это противостояние принимает локальные формы и до сих пор существовало только в виде отрицания глобализации»<sup>1</sup>. Учитывая опыт 11 сентября и последующих событий, вряд ли можно утверждать, что глобализация обладает монополией на универсальную легитимность и что все формы противостояния ей заведомо «провинциальны». Если противостояние либеральной глобализации во имя «многополярности» в системе координат либерального универсализма выглядит идеологией в Марксовом смысле слова, то, с точки зрения Эрнесто Лаклау, и многополярность, и либеральный универсализм равно идеологичны, поскольку для обоих характерно «непризнание непрочного характера любой позитивности, невозможности любого окончательного замыкания»<sup>2</sup>. Оба этих проекта участвуют в борьбе за определение границ политических сообществ («человечество», «Европа», «российское государство»), и оба критикуют «недостаток структурирования, присущий господствующему порядку»<sup>3</sup>, стремятся зафиксировать смысл, добиться полной определенности, устранить двусмысленность и размытость. Разумеется, уже тот факт, что они неизбежно вторгаются на «территорию» друг друга, делает замыкание конструируемых ими структур невозможным, поскольку само существование одного проекта ведет к дислокации смысловых структур, возводимых другим.

Очевидно, что выбор одного из проектов в качестве «правильного», так же как и их критика с позиций любого альтернативного варианта универсализма, может основываться толь-

<sup>1</sup> *Neumann I.* Kosovo and the End of the Legitimate Warring State // Mapping European Security After Kosovo / Ed. by P. van Ham and S. Medvedev. Manchester: Manchester University Press, 2002. P. 73.

<sup>2</sup> *Laclau E.* New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990. P. 92.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 62.

ко на конституирующем этико-политическом решении. В этом смысле и неолиберальная глобализация, и многополярность, и романтический реализм, и джихад являются явлениями одного порядка: универсализмом, который необходимо основывается на партикуляристской позиции в качестве исходной. Человечество как таковое не может выступать в качестве своего собственного представителя, поэтому неизбежно, что миссию по защите общечеловеческих ценностей берут на себя частные институциональные субъекты, выражающие партикуляристские интересы, — в данном случае НАТО или США. Российский мессианизм или «исламское сопротивление» бен Ладена в этом смысле ничем не отличаются от американской войны против террора, поскольку в рамках каждой из этих артикуляций существует своя универсальная категория, пустое означающее, вбирающее в себя все подлинно человеческое — суверенитет и национальную идентичность в случае российских артикуляций, ислам в случае джихада. Оба проекта осуществляют акт исключения глобализма как античеловеческой идеологии, поскольку человеческое определяется в первом случае как национальное, во втором — как исламское.

Впрочем, как уже неоднократно отмечалось, в российском дискурсе противостояние Западу не достигает такой степени интенсивности, как в случае с радикальным исламизмом. Предвыборный политический эксперимент, осуществленный Анатолием Чубайсом еще в 2003 году, показал, что между отдельными элементами российского дискурса и либеральным универсализмом возможен вполне продуктивный синтез. С одной стороны, его идея «либеральной империи» со всей очевидностью опирается на традицию мессианизма: империя для Чубайса — это «миссия России в XXI веке», продолжение великих достижений советской эпохи: «Весь XX век вращался вокруг России. Россия была очевидным и признанным лидером для почти половины мира. Россия сумела то, чего никто никогда в истории не достигал». Поэтому построение либеральной империи — «это именно то, к чему мы естественно пришли всей

новейшей историей, это то бесценное, что мы можем и должны извлечь из истории XX века». Далее, эта миссия опирается на некие внутренне присущие России качества: «это именно то, что свойственно, естественно и органично для России — и исторически, и геополитически, и нравственно». Фактически перед нами очередной вариант обращения к духу нации как метафизической данности, к духу, которому предстоит реализовать себя в какой-то особой, предпочтительной форме государственного устройства. Присутствует у Чубайса и идея консолидации, внутреннего сплочения — правда, без свойственных другим артикуляциям секьюритизирующих элементов: «Это, наконец, задача такого масштаба, которая поможет нашему народу окончательно преодолеть духовный кризис и по-настоящему сплотит и мобилизует его»<sup>1</sup>.

С другой стороны, как и любой имперский проект, либеральная империя Чубайса имеет универсалистские притязания. Майкл Хардт и Антонио Негри в своей модной, хотя и часто критикуемой работе настаивают на интерпретации империи «не как территории, не как образования, существующего в ясно очерченных, определенных масштабах времени и места, где есть народ и его история, а скорее как ткани онтологического измерения человека, тяготеющего к тому, чтобы стать универсальным»<sup>2</sup>. В этом смысле любой политический проект несет в себе зерно империи, постольку поскольку политика состоит в установлении отношений эквивалентности между частными политическими позициями и идеей всеобщности. Если это так, то либеральный универсализм является имперским проектом *par excellence*, так как он эксплицитно претендует на представительство общечеловеческих идеалов. Чубайс по достоинству оценивает это качество либеральной идеологии: по его мнению, XXI веку предстоит быть веком империализма, и возглавляют эту тенденцию США:

<sup>1</sup> Чубайс А. Б. Указ. соч.

<sup>2</sup> См.: Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004. С. 355.

...Может быть, и я бы не стал выдвигать такой радикальной цели, такого радикального тезиса, если бы не было того, что в реальном мире сегодня происходит, то, что делает наш бывший противник номер 1 — США. Если это так и если мир таков, если он уже стал таким в XXI веке, то мы с вами просто не можем не реагировать<sup>1</sup>.

Таким образом, становясь на путь создания либеральной империи, Россия следует общемировой тенденции. По мнению Чубайса, либерализм и его «базовые ценности: свобода, частная собственность и — обязательно! — государство, которое их гарантирует и защищает», — это универсальная истина, общее достижение человечества, которыми «нам мешали пользоваться весь XX век» и которые теперь нужно просто «вернуть России». Наконец, Россия представляет собой недостающее звено в универсальном, глобальном либеральном проекте:

...Надо увидеть стратегически прорисовывающееся кольцо великих демократий Северного полушария XXI века — США, объединенная Европа, Япония и будущая Российская либеральная империя. У нас появляется органичное и естественное место и уникальная роль — замкнуть кольцо. И обеспечить себе целую систему экономических, военных и политических соглашений, защищающих наши интересы внутри кольца и во всем мире. И тогда Россия встанет на равных с достойными нас партнерами, чтобы вместе, сообща отстаивать порядок и свободу на земле<sup>2</sup>.

Перед нами — проект строительства всемирной либеральной империи, в котором России отводится ключевая роль и в котором она получает возможность вновь идентифицировать себя в качестве великой державы, имеющей равный статус с

<sup>1</sup> Цит. по: Времена // Первый канал. 2003. 28 сентября. 18:00. [http://www.1tv.ru/owa/win/ort6\\_main.main?p\\_news\\_title\\_id=59505](http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_main.main?p_news_title_id=59505).

<sup>2</sup> Чубайс А.Б. Указ. соч.

США<sup>1</sup>. В каком-то смысле идеи Чубайса отражают стремление российской элиты встроиться в мировую гегемоническую артикуляцию, о котором презрительно говорит Вадим Цымбурский: «Поскольку элиты не мыслят свою элитарность иначе, чем как принадлежность “универсальной цивилизации”, “настоящему человечеству”, “единому миру”, где действует единая иерархия, — для них совершенно естественно стремление вписаться в ее систему, прорваться хотя бы в переднюю мировой верхушки»<sup>2</sup>. Однако, в отличие от крайних версий неолиберализма, который действительно готов включить Россию в цивилизацию «в качестве расколотого общества, внутри которого лежит пропасть отчуждения между “народом” и “элитой”»<sup>3</sup>, проект Чубайса направлен как раз на консолидацию российского сообщества в его неоимперском варианте, на вхождение России в «кольцо демократий» в качестве единого целого, замкнутого и суверенного сообщества, которое к тому же контролирует свою имперскую периферию и согласно участвовать в глобальном имперском проекте на условии взаимного невмешательства в «сферы влияния».

Нетрудно заметить, что это глобальное сообщество строится на исключении отсталости, которая ассоциируется одновременно с всемирным Югом и с коммунизмом. Именно поэтому из пределов сообщества исключается Китай — страна коммунистическая и все еще принадлежащая к Югу<sup>4</sup>. Выступ-

<sup>1</sup> В выступлении в программе «Времена» Чубайс подчеркнул, что задача России состоит в том, чтобы замкнуть «кольцо четырех великих демократий, или, если хотите, империй мира, замкнуть *на равных*»: Времена // Первый канал. — Выделено мной.

<sup>2</sup> Цымбурский В.Л. «Остров Россия» vs «остов Россия». Интервью Вадима Цымбурского Михаилу Ремизову. [http://www.archipelag.ru/ru\\_mir/ostrov-rus/cymbur/island\\_skeleton/](http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/cymbur/island_skeleton/).

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> На вопрос ведущего программы «Времена» о Китае Чубайс ответил: «Я говорю о Северном полушарии». Эта оговорка выглядит абсурдом лишь с формально-географической точки зрения.

ление Чубайса построено главным образом на антагонизации коммунизма как тупиковой идеологии — но не советского прошлого, которое, напротив, интерпретируется как одно из наивысших проявлений национального духа. В целом этот проект можно охарактеризовать скорее как прагматический, нежели как религиозный: либеральные ценности в нем представлены не как воплощение абсолютного добра в средневековой христианской модели, а как абсолютная истина, которую любой человек способен познать, если освободится от иллюзий и предрассудков, — т. е. в полном соответствии с рационалистическим духом Нового времени. В этом отличие идей Чубайса от манихейских концепций как российских романтических реалистов, так и американских неоконсерваторов. Можно даже утверждать, что идеи Чубайса представляют собой результат своеобразного переформулирования западной артикуляционной модели в современных условиях: поскольку эта модель предполагает использование Запада как метафизического ориентира, стандарта «цивилизованности» и поскольку Запад, как можно утверждать, встал на путь империализма, то России следует, как обычно, последовать его примеру.

В то же время очевидно, что идея «кольца великих демократий» прекрасно вписывается в картину мира, предлагаемую американскими неоконсерваторами. Замена прагматического рационализма Чубайса на религиозное стремление к абсолютной победе над Злом не потребует структурной трансформации этой модели. Концепция либеральной империи строится на популистском антагонизме, поэтому она неизбежно создаст основу для тотализирующих практик, которые будут пытаться замкнуть сообщество путем секьюритизации его идентичности и вытеснения альтернатив в сферу внешнего.

В сущности, именно такой акт секьюритизации и осуществляется в дискурсивной практике Российского государства: если в 1999 году дискурсивное поле предлагало лишь одну возможность для тотализирующей практики — тот или иной вариант романтического реализма, — то события 2001—2003 годов

предоставили российской политической элите возможность артикулировать российскую нацию в качестве закрытой структуры без абсолютного отрицания Запада как конституирующего иного. И без того проблематичное отношение эквивалентности между Западом и терроризмом было еще более подорвано событиями 11 сентября, и реструктурированное сообщество объединило Россию и Запад в противостоянии новому абсолютному Злу. Религиозная в своей основе артикуляционная практика «войны с террором» позволила вывести общность «цивилизованного мира» из сферы действия конституирующего антагонизма и использовать античную фигуру коррупции для объяснения сохраняющихся разногласий с западными партнерами и постоянного подтверждения центральной роли России в рамках этого партнерства<sup>1</sup>.

Вместе с тем утверждать, что данная артикуляция окончательно утвердила свою гегемонию в российском дискурсивном пространстве, было бы серьезным преувеличением. Как показывает анализ широкого спектра высказываний, противостояние Западу остается одним из наиболее важных способов утверждения российской национальной идентичности. Это противостояние нельзя списывать со счетов как проявление провинциального партикуляризма и отсталости. Романтический реализм остается полноценным универсалистским проектом, который, на своих собственных основаниях, составляет вполне адекватную и работоспособную альтернативу либеральной глобализации, идеологии прав человека и «ограниченного суверенитета». Уточнение «на своих собственных основаниях», как ясно из вышесказанного, в равной мере относится к обоим альтернативам: и романтический реализм, и глобализация, и джихад опираются на конституирующие этико-политические решения, каждое из которых самообосно-

<sup>1</sup> О соотношении фигуры коррупции и иудео-христианского представления о мире как противоборстве непримиримых начал добра и зла см. § 3.1.

вано, не имеет других оснований, кроме самого этого решения. При этом каждый из проектов ссылается на некие метафизические, внешние основания, претендуя тем самым на статус универсальной, общечеловеческой истины. Однако сама по себе способность заполнять пустое пространство универсальности всегда ограничена во временном и пространственном отношении: во всей предшествующей истории человечества всегда существовало более одной гегемонической артикуляции, и хотя масштабы гегемонии в каждом случае были различны, ни один из проектов не получал тотального превосходства в глобальном масштабе. Вместе с тем необходимость универсального измерения в любом политическом проекте означает неизбежность стремления к глобальной гегемонии — то есть, если использовать терминологический аппарат, описанный в первой главе, к тому, чтобы структурировать целый мир на основе одного тотального популистского антагонизма. Эта амбиция декларируется в проектах либеральной глобализации и джихада, однако она заложена и в романтическом реализме как альтернативном универсальном проекте, существующем в рамках российского дискурсивного пространства.

Идея многополярности в ее современном варианте заимствует у романтического реализма апологию многообразия, а у либеральной империи — возможность смещения конституирующего антагонизма с оси Россия — Запад на ось цивилизованный мир — террористы. В то время как Чубайс пользуется этой возможностью решительно и в полной мере, выстраивая идентичность России вокруг понятия цивилизации, Путин, Медведев и Сурков актуализируют ее лишь время от времени, в зависимости от обстоятельств и, конечно, личных политических пристрастий. Такая двусмысленность в значительной степени отражает фундаментальные смысловые структуры, определяющие положение современной России в политическом пространстве и в историческом времени. Ключевое значение нарратива советского золотого века для российской идентичности предполагает определение величия (и суверенности)



страны через противостояние Западу, но в то же время советский нарратив, особенно модифицированный с учетом современных реалий, позволяет России выступать в качестве главного защитника цивилизации, центра «истинной» Европы. Особенно велико в данном отношении значение Великой Отечественной войны. С точки зрения географии демографии и, если можно так выразиться, культурной картографии Россия находится сегодня в довольно шатком положении между Западом и исламским миром в условиях, когда и с одной и с другой стороны набирают силу политические движения, выступающие под лозунгами столкновения цивилизаций. Несмотря на то что Россия не чувствует себя в безопасности на обоих флангах<sup>1</sup>, ее идентичность, как уже было показано, включает неразложимые элементы, объединяющие ее как с европейской (западной) цивилизацией, так и с исламом. Более того, в западном гегемоническом дискурсе Россия тоже, вероятно, занимает положение неразложимого означающего. С одной стороны, она упорно не желает поддаваться западным дисциплинарным практикам и превращаться в очередное государство-кандидат на вступление в евроатлантические структуры. С другой же стороны, Россию продолжают не менее упорно критиковать за то, что она плохо выучила уроки демократии — то есть в рамках либеральной гегемонической артикуляции ей все-таки отводится место страны, находящейся на пороге сообщества демократических наций, а не безнадежного случая наподобие «государств-изгоев».

Шаткость этого положения, как и любая структурная дислокация, может создавать мощный освободительный потенциал. В сущности, этот потенциал реализуется уже тогда, когда команда президента Путина критикует Запад за создание одно-

<sup>1</sup> Как считает Михаил Делягин, в силу своего промежуточного геополитического положения России придется «решать глобальные проблемы как свои внутренние». *Делягин М. Г. Миссия России в эпоху второго «кризиса Гутенберга» // Россия в глобальной политике. Т. 2. 2004. № 1. С. 109—112.*

полярного мира, за то, что он «не проводит различия между универсальными ценностями, которые Запад защищает, и конкретными социальными агентами, воплощающими эти ценности», подходя вплотную к тому, что Эрнесто Лаклау называет «систематическим децентрализацией Запада»<sup>1</sup>. Критика евроцентричной сущности либерально-универсалистского дискурса теоретически способна положить начало новому повороту современного глобального развития, поскольку Россия, с ее неразложимой позицией на стыке цивилизаций и с растущими внешнеполитическими амбициями, опирающимися на значительные материальные и политические ресурсы, могла бы попытаться расширить горизонт всеобщего и если не разорвать связь между универсальными ценностями и их конкретным представительством, то по крайней мере перевести ее на новый уровень. Выступления Владимира Путина и Дмитрия Медведева в начале 2007 года могут, в самом деле, быть интерпретированы как свидетельство того, что Россия действительно стремится разъединить демократию как универсальную ценность и ее частное, случайное воплощение, представленное в большинстве дискурсивных контекстов по всему миру именем собственным «Запад». Разумеется, речь здесь не идет о создании некоей политически действенной реальности, непосредственно воплощающей универсальные ценности демократии, — как уже было показано, такая постановка задачи теоретически несостоятельна. Однако речь могла бы идти о радикальной политизации цепочек означающих, которые в современном мире принимаются как данность и потому деполитизируются — в том числе и с применением практик безопасности. Именно это, вероятно, имел в виду Сергей Лавров, говоря о «зажиме инакомыслия» на международной арене и настаивая на необходимости «свободы слова» на глобальном уровне<sup>2</sup>. Если бы Россия преуспела в своем подростковом желании сбить спесь

<sup>1</sup> *Laclau E.* Emancipation(s). London: Verso, 1996. P. 34.

<sup>2</sup> *Лавров С. В.* Настоящее и будущее глобальной политики. С. 12.

с самоуверенного, почивающего на демократических лаврах Запада, это, безусловно, приблизило бы нас всех к идеалу глобальной демократии как сообщества нередуцируемого плюрализма. Тогда, наверное, и впрямь можно было бы согласиться с Сергеем Лавровым в том, что мюнхенская речь Владимира Путина «обозначила “территорию свободы” — свободы мысли и свободы слова в международных отношениях»<sup>1</sup>.

К сожалению, эта утопия пока имеет мало шансов на осуществление. Как точно подметил один из участников Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, задававший вопрос Владимиру Путину, кремлевские идеологи, критикуя однополярный мир, навязываемый Западом, в то же время строят однополярный мир внутри России<sup>2</sup>. Пытаясь проблематизировать связь между демократией и Западом и тем самым политизировать процессы на глобальном уровне, внутри российского политического сообщества они «дезаурируют политическое», заменяя политику как таковую ультраполитикой практик безопасности («враг у ворот») и археполитикой органического единства нации<sup>3</sup>. Даже при том, что стремление Кремля защитить и консолидировать суверенитет Российского государства строится на противостоянии Западу, политика президента Путина и его команды в действительности зеркально отображает действия Запада на международной арене, по крайней мере в одном важном аспекте. Верховная исполнительная власть в современной России претендует на роль уникального политического центра, который одновременно выступает в качестве единственного локуса политики, и деполитизированного, не имеющего частных интересов субъекта, который заботится исключительно об общем благе. Дэвид Чан-

<sup>1</sup> Там же. С. 13.

<sup>2</sup> См.: *Путин В. В.* Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

<sup>3</sup> *Žižek S.* Carl Schmitt in the Age of Post-Politics. P. 28—29. О функционировании ультра- и археполитики в дискурсе романтического реализма см. в § 3.2.

длер доказывает, что западные проекты «экспорта демократии», неизменно придавая первостепенное значение «добропорядочному управлению» (good governance), тем самым отвергают «внутриполитическую сферу как жизненно важное конституирующее поле, в котором учреждаются и укрепляются социальные и политические связи»<sup>1</sup>, и пытаются представить эту сферу как имманентно конфликтную, продуцирующую разного рода угрозы. Внешнее вмешательство со стороны глобального гегемона, в свою очередь, предстает в этом дискурсивном контексте как стоящее «выше политики»<sup>2</sup>, нацеленное исключительно на администрирование и поддержание порядка в интересах непроблематичного общего блага, а не на принятие политических решений в ситуации неопределенности. Эта позиция зеркально повторяется во внутрироссийском контексте, где «партия власти», согласно ее собственной пропаганде, занимается исключительно «реальными делами», заботясь о депроблематизированном национальном интересе, тогда как оппозицию обвиняют в том, что она пытается расколоть общество и заработать политический капитал на социальных проблемах вместо того, чтобы их решать. Обе стратегии имеют своим истоком врожденное недоверие к локальной политике и тем самым к демократии на самом фундаментальном уровне — уровне локальных сообществ, и обе состоят в монополизации права принятия решений и одновременном преподнесении этих решений как в существе своем неполитических. Такая коммунитаристская археополитика по необходимости дополняется ультраполитикой, в которой угрозы со стороны террористов, сепаратистов, «сторонников насилия» и т. п. помогают вытеснить альтернативные точки зрения за пределы сообщества.

Образ «пятой колонны» является необходимым элементом подобного рода стратегий, когда всякая внутренняя оппозиция

<sup>1</sup> *Chandler D.* Op. cit. P. 486.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 485.

переквалифицируется во внешнюю, становясь тем самым частью внешней сферы угроз и теряя право голоса во внутренних делах сообщества. В российском контексте, однако, эта практика приобретает дополнительное измерение, которое помогает понять, почему все-таки вытеснение оппозиции не вызывает протеста со стороны тех, кого оно непосредственно не касается. Перефразируя Эрнесто Лаклау, можно сказать, что, подвергая остракизму активистов НГО, грузин, чеченцев, либеральных политиков и пр., российские власти фактически осуществляют репрезентационную инверсию отношений угнетения. В российском дискурсе доминирование Запада в международных делах часто воспринимается как несправедливое, подрывающее суверенное право российской нации быть хозяином собственной судьбы. Это создает возможность — и даже искушение — определения идентичности сообщества через противопоставление его Западу — возможность, которая, как мы видели, полностью актуализируется в кризисные моменты, а в остальное время балансирует на грани сказанного и подразумеваемого. Если бы Россия могла победить в этом противостоянии и инвертировать отношение угнетения (то есть если бы, условно говоря, она начала новую холодную войну и выиграла ее), угнетение как форма никуда бы не исчезло — просто угнетатель и угнетенный поменялись бы местами<sup>1</sup>. Критика со стороны России в адрес Запада с позиции универсального, абстрактного понятия демократии потенциально открывает возможность подрыва отношений угнетения как таковых и тем самым расширения горизонта глобальной демократии. Однако внутренняя логика гегемонии толкает власти к тому, что, не будучи способными победить во фронтальном противостоянии с Западом, они подвергают преследованиям всех, кого считают агентами, клиентами или пособниками Запада, — все идентичности, представляющие Запад во внутривнутриполитическом пространстве в реляционной логике российского дискур-

<sup>1</sup> *Laclau E. Emancipation(s). P. 31.*

са. Как уже было указано, неприемлемые условия для деятельности оппозиционных НГО создаются не столько напрямую из авторитарных побуждений, сколько ради сохранения контроля над внутривнутриполитическим пространством и предотвращения влияния извне. К этому теперь можно добавить, что это решение призвано наказать представителей Запада за то, что в координатах российского дискурса выглядит как несправедливое навязывание России западных норм. Постольку поскольку сами россияне склонны воспринимать позицию Запада как несправедливую, у них отсутствуют стимулы для протеста в ситуациях, когда российские власти «ущучивают» западных наймитов.

В результате такой репрезентационной инверсии отношения угнетения не только сохраняются, но удваиваются: западная гегемония сохраняется и по-прежнему воспринимается как деспотизм, но гегемония внутри российского общества также строится на деспотическом подавлении разного рода «прозападных» идентичностей. Важно также отметить, что приписывание тех или иных идентичностей мало зависит от воли самих объектов подавления: точно так же, как Россия интерпеллируется либеральным универсалистским дискурсом в позицию авторитарного центра на постсоветском пространстве, Российское государство вторгается в частную жизнь этнических грузин или в профессиональную деятельность активистов, и посредством интерпелляции их идентичности как прозападной вся полнота их жизненного мира неожиданно для них сжимается в одну точку — например, когда человека подвергают насильственной депортации, не позволяя даже собрать личные вещи, не говоря уже об остальном имуществе.

В конечном итоге получается, что артикуляционная практика, которая в других условиях могла бы стать новаторской и способствовать расширению сферы демократической политики на глобальном уровне, сводится к банальному популистскому антагонизму, к противостоянию «своих» и «чужих». Внутренняя политика российских властей становится отрицанием

их внешнеполитической риторики: если на международном уровне они настаивают на необходимости различать абстрактное понятие демократии и его конкретное воплощение в США и ЕС, во внутренних делах они воспроизводят все те же отношения эквивалентности между либеральными ценностями и Западом, и, отрицая западную гегемонию, они отрицают и ценности демократии как таковые. Перед нами еще один пример того, что Жак Деррида называет «автоиммунной логикой демократии»: «демократия защищается и поддерживает саму себя, ограничивая себя и угрожая себе самой»<sup>1</sup>. В отличие от «автоиммунной реакции», описываемой Жаком Деррида на примере отмены второго тура выборов в Алжире в 1992 году, в случае с Россией эпохи Путина первичной является фигура внешних, а не внутренних врагов демократии: в нашем случае отсылки к демократической логике направлены на конституирование демократического политического субъекта, на отделение его от внешнего мира, на упрочение границ, и лишь вторичным порождением этого являются практики исключения в отношении репрезентаций внешнего мира во внутреннем.

Еще одно парадоксальное заключение при сопоставлении российской ситуации с размышлениями Деррида состоит в том, что в России демократия действительно работает — но работает только как *референция* к демократии<sup>2</sup>, немедленно порождающая автоиммунную реакцию. Возникающая (здесь подошел бы английский термин «emergent») демократия немедленно гибнет, совершает самоубийство, сталкиваясь с сущностно необходимой, но в данных исторических условиях непосильной для нее задачей учреждения автономного политического субъекта.

Таким образом, мы приходим к выводу, что политические практики путинской эпохи коренятся в самой сущности понятия демократии, в том «фатальном автоиммунитете, вписан-

<sup>1</sup> Деррида Ж. Указ. соч.

<sup>2</sup> Ср.: Там же.

ном в *саму* демократию, в *само* понятие демократии», которая «никогда не является собственно тем, чем она является, никогда не является *самой собой*»<sup>1</sup>. Едва ли эта проблема в ближайшем будущем будет осознана «партией власти» — напротив, есть все основания полагать, что в практиках репрезентативной инверсии отсутствует дистанция между потенциальным субъектом и дискурсом, вследствие чего преследование «прозападных» идентичностей воспринимается как наиболее правильная тактика в свете нынешней глобальной ситуации. Однако в случае, если перед нами все-таки откроется «окно субъектности», мы (кто бы в данном случае ни выступал в качестве такого исторического субъекта) должны по достоинству оценить две вещи. Во-первых, дискурсивные структуры обладают стабильностью и не могут быть «отменены» волевым решением: вне зависимости от того, согласны ли мы с характеристикой современной западной гегемонии как несправедливой (и даже как гегемонии), мы должны считаться с существованием именно такой ее интерпретации в современном российском обществе. Во-вторых, однако, критика западной гегемонии со стороны современного российского руководства должна интерпретироваться не только как ограничивающая нашу способность действовать, но и как открывающая перед нами новые перспективы. В конце концов, эта критика свидетельствует о назревающем кризисе репрезентации в современном мире, и этот кризис вполне может разрешиться в пользу расширения горизонта глобальной демократической политики.

\* \* \*

Подводя итог анализу современного состояния российской дискурсивной реальности, сопоставим его результаты с выводами предыдущей главы. В ней мы, в частности, отмечали, что интенсивность популистского антагонизма, противопоставля-

<sup>1</sup> Деррида Ж. Указ. соч. — Курсив в оригинале.



ющего Россию Западу, в большой мере зависит от продуктивности практик безопасности, функционирование которых, в свою очередь, зависит от внешних по отношению к данному дискурсу факторов, таких как электоральный цикл и крупномасштабные глобальные события наподобие косовского конфликта или терактов 11 сентября. Новый этап интенсификации популистского антагонизма, вновь противопоставившего Россию как единое политическое сообщество внешнему миру, приходится на второй президентский срок Владимира Путина, особенно на период 2006—2007 годов. Война в Ираке, «цветные» революции в ряде бывших советских республик, нарастающая критика российской внутривнутриполитической ситуации со стороны США и стран Западной Европы, а также необходимость в очередной раз обеспечить преемственность режима при смене лидера способствовали активизации секьюритизирующих практик. Именно антагонизация внешнего мира обеспечивает ситуацию, в которой российский политический класс продолжает существовать, говоря словами Михаила Ремизова, в состоянии аморфности и, следовательно, субстанциального единства<sup>1</sup>. При этом, однако, антагонизм не достиг такой степени интенсивности, как в предыдущий кризисный период. Можно предположить, что это в значительной степени объясняется тем, что в современный период гегемоническая артикуляция достигла значительно большей степени седиментации и, следовательно, оказалась более стабильной. Характерно, что «левый консерватизм», который, по мнению Сергея Прозорова,

<sup>1</sup> Ремизов М. День общенациональной скуки // Русский журнал. 2000. 8 ноября. [http://old.russ.ru/politics/events/20001108\\_remizov.html](http://old.russ.ru/politics/events/20001108_remizov.html). См.: Prozorov S. Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // Journal of Political Ideologies. Vol. 10. 2005. No. 2. P. 136. Интересно, что статья Ремизова написана как комментарий к празднованию Дня примирения и согласия в 2000 году. Пятью годами позже этот праздник был удален из календаря и заменен Днем национального единства, эксплицитно конструирующим внутреннее единство в противостоянии внешнему противнику.

имел в 2003—2004 годах шанс бросить вызов единоличной гегемонии кремлевских идеологов и учредить новый конституирующий антагонизм *в пределах* политического сообщества<sup>1</sup>, был в конечном итоге успешно нейтрализован «партией власти». Важно отметить, что это произошло не только путем институциональных манипуляций (раскол партии «Родина» и маргинализация ее идейных вдохновителей), но и путем превращения некоторых ключевых лозунгов радикальных консерваторов в элементы гегемонической артикуляции. Так возникла идеология суверенной демократии и многополярности, которая, несмотря на заимствование многих структурных элементов из дискурса романтического реализма (вероятно, через посредничество «левых консерваторов»), оказалась способной одновременно поддерживать стабильность господствующей артикуляции и баланс между практиками внутривнутриполитической консолидации и сохранением идеи «партнерства» с Западом.

По мере приближения выборов 2007—2008 годов баланс этот все больше смещался в сторону укрепления внутривнутриполитического единства за счет усиления конфронтации с глобальным гегемоном, однако в конечном итоге все разговоры о начале новой холодной войны оказываются преувеличением. Во-первых, понятие Европы по-прежнему играет ключевую роль в любом варианте российской гегемонической артикуляции, причем его значение двойко. С одной стороны, вследствие тесной взаимосвязи между означаемыми «Россия» и «Европа», любая политически актуальная артикуляция стремится предотвратить исключение России из Европы. Именно поэтому критика в адрес России по таким вопросам, как демократия и права человека, воспринимается особенно остро: именно эти ценности чаще всего составляют позитивное содержание понятия «Европа». Поэтому большинство российских артикуляционных практик стремятся наполнить это означаемое своим содержанием — чаще всего представление об «ис-

<sup>1</sup> Prozorov S. Russian Conservatism in the Putin Presidency.

тинно европейских» ценностях увязывается как раз с идеей суверенитета.

С другой стороны, за размещением означющего «Европа» в некоторой системе реляционных связей следует акт секьюритизации: постулируется наличие экзистенциальной угрозы для европейской цивилизации *именно в том виде*, как она определяется в рамках данного дискурса. Говоря конкретно, чаще всего подчеркивается угроза суверенитету как основополагающему принципу европейской международной системы со стороны вестернизаторского проекта. Секьюритизация определенным образом постулируемой европейской идентичности позволяет далее обосновать центральную роль России в борьбе за сохранение «подлинно европейского» наследия, тогда как все альтернативные точки зрения опять-таки вытесняются за пределы политического сообщества как представляющие «ложную», прозападную, проамериканскую Европу, отказавшуюся от своей подлинной сущности.

Во-вторых, российское политическое руководство все активнее включается в спор с Западом по поводу содержания понятия «демократии». Это, разумеется, свидетельствует об отказе России от роли объекта западных дисциплинирующих практик, которую она считает несовместимой со статусом суверенного субъекта глобальной политики. В то же время само по себе признание центральной роли демократии как узлового пункта глобальной гегемонии означает готовность играть на одном поле с западными партнерами, несмотря на всю глубину тактических разногласий. Однако главным результатом этой борьбы, вероятно, все же является дислокация структур глобальной гегемонии, которая открывает возможность нового поворота в дискуссии о глобальной демократии. Даже с учетом того, что эта дислокация не является результатом только действий Кремля (разумеется, критика западного либерального универсализма сегодня осуществляется с самых различных позиций) и что путинская Россия уже полностью дискредитировала себя в качестве представителя новой демократической

идеи, образовавшийся сдвиг тем не менее может послужить основой для появления нового исторического субъекта национального (в лице, например, принципиально нового оппозиционного движения) или даже глобального масштаба.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**В** «Курсе общей лингвистики» Фердинанд де Соссюр несколько раз использует пример игры в шахматы, чтобы проиллюстрировать характерные особенности своего понимания языка как целостной реляционной системы. В одном случае, рассуждая о различиях между синхроническим и диахроническим подходами к изучению языка, он подчеркивает, что значение положения каждой фигуры в конкретной игровой ситуации зависит от положения всех фигур друг относительно друга и что любое перемещение даже одной фигуры «сказывается на всей системе... Один ход может перевернуть всю партию в целом и повлечь последствия для таких даже фигур, которые первоначально им не затронуты»<sup>1</sup>. То же самое, говорит Соссюр, происходит в языке: изменение одного его элемента переводит всю систему различий в новое состояние, поэтому мы можем изучать либо изменения одних и тех же элементов с течением времени, либо всю систему в целом в какой-либо данный момент ее существования, но нет смысла сопоставлять значения разных элементов, если эти значения принадлежат к различным фазам эволюции языка.

Приводимый Соссюром пример прекрасно иллюстрирует тезис о реляционной целостности дискурса, в которой все значимые идентичности так или иначе зависят друг от друга. «Со-

<sup>1</sup> Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: КомКнига, 2006. С. 95.

держание» любой идентичности определяется не ее метафизической сущностью, а ее положением по отношению к другим означаящим в некоторой совокупности артикуляционных практик, которые, конкурируя друг с другом, продуцируют дискурсивную гегемонию. Соответственно, идентичность не может измениться сама по себе: поскольку идентичности не обладают «самостью», они меняются только тогда, когда меняются отношения эквивалентности и различия, связывающие их с другими идентичностями. Поэтому реартикуляция идентичности всегда подразумевает разрушение старых границ и установление новых: идентичность и границы политического сообщества, по существу, составляют единое целое. Эта целостность, однако, несамодостаточна и уникальна: она имеет смысл только в исторически конкретном универсуме языковых различий и не может быть воспроизведена в другом контексте, не может быть «той же» в другой дифференциальной системе.

Эта теоретическая посылка находит полное подтверждение в нашем эмпирическом исследовании национальной идентичности современной России. Любые попытки (ре)артикуляции российской идентичности фактически состоят в установлении новых границ политического сообщества, и наоборот, изменение границ неизбежно меняет идентичность России, ее положение по отношению к другим идентичностям. Важно при этом иметь в виду, что эти изменения происходят отнюдь не произвольно: дискурс как реляционная система обладает мощной инерцией, интересубъективно зафиксированные логики понятного, ожидаемого и мыслимого не позволяют волюнтаристски «выдернуть» несколько означаящих из гегемонической артикуляции, чтобы произвольно переопределить отношения между ними. Рассуждая абстрактно, можно предложить самые разнообразные варианты артикуляций, в которых самоидентификация России, например, в качестве великой державы может иметь какие угодно внешнеполитические последствия, от агрессивной империалистической экспансии в конфронтации с Западом до стремления «замкнуть кольцо ве-

ликих демократий» и присоединиться к «полюсу цивилизации». С точки зрения стороннего наблюдателя, все эти варианты могут быть вполне логичными, а некоторые даже, вероятно, менее противоречивыми, чем реально существующие артикуляции. Однако об идентичности нельзя рассуждать абстрактно: великодержавность «сама по себе» имеет не больше смысла, чем «русская идея», «цивилизация» или другие пустые означающие, которые наполняются смыслом лишь в конкретной исторической ситуации. Если, однако, содержание понятия «великая держава» определяется через сравнение современной России с Советским Союзом, — а именно таково, как мы установили, положение дел в современной дискурсивной реальности, — это уже задает некоторые достаточно узкие пределы политического действия. В частности, неоимперская идентичность создает целый комплекс проблем, связанных с определением границ политического сообщества: не имеющее исторических прецедентов геополитическое положение Российской Федерации в сочетании с двусмысленным наследием официального советского национализма одновременно актуализирует и гражданское, и этническое понимание нации, пытаясь объединить их в некоем новом имперском синтезе. Это, в свою очередь, делает частью не только логики мыслимого, но и логики ожидаемого внутри- и внешнеполитические проблемы, которые отнюдь не являются самоочевидными на уровне абстрактных рассуждений о новой России. Все они так или иначе связаны с установлением новых границ политического сообщества: это и проблема мигрантов (как иностранцев, так и российских граждан), и вопрос о «соотечественниках» за рубежом, и беспокойность по поводу вторжения Запада в «законные» сферы российских геополитических интересов (особенно обострившаяся в эпоху «цветных» революций).

Фактически великодержавная неоимперская идентичность современной России была зафиксирована в момент, когда в начале девяностых, после распада Советского Союза, Российская Федерация определила себя в качестве «государства-про-

должателя» СССР. Этот выбор лег в основу основополагающего этико-политического решения, которое в значительной степени предопределило характер постсоветской трансформации и социального строя, сформировавшегося в России на исходе первого десятилетия нового века. Последствия этого решения были многообразны. Во-первых, оно в конечном итоге противопоставило Россию Западу и ценностям либеральной демократии и рыночной экономики, которые в современном мире практически неизбежно ассоциируются с западной цивилизацией. Кроме того, оно породило стремление во что бы то ни стало восстановить суверенную автономию российского государства, его геополитическое влияние. Все это, вместе взятое, в сочетании с тяготами «шоковой терапии», привело к тому, что западные дисциплинарные практики оказались менее действенными в России по сравнению с большинством других государств бывшего социалистического лагеря. Попытавшись построить у себя демократию по западному образцу и тем самым примкнуть к цивилизации в единственном числе, россияне очень скоро разочаровались в своем выборе и предпочли вернуться к идее многополярности, множественности цивилизаций и, соответственно, путей прогресса.

Еще раз подчеркнем, что, по нашему мнению, выбор в пользу неоимперской реставрации был в значительной степени детерминирован структурно. Прежде всего в новой России, в отличие от большинства других постсоветских стран, полностью отсутствовал альтернативный имперскому исторический нарратив, который мог бы послужить основой для самоидентификации России как нового национального государства. История страны, которую знает современный россиянин, — это история из советского учебника. Даже если этот нарратив несколько модифицирован в духе более позитивной оценки имперского периода и более критического отношения к коммунистической идеологии, он все равно сохраняет имперскую телеологию, интерпретирует «собрание земель» вокруг Москвы как органический процесс развития государства к своим



естественным границам и подобающей ему роли мировой сверхдержавы. Альтернативную версию национальной истории, наверное, можно было бы создать, если бы в этом возникла политическая необходимость. Здесь, однако, решающую роль сыграло второе фундаментальное отличие России от ее соседей в «новой» Европе: если их евроатлантическая идентичность строилась и строится на отрицании России как конституирующего иного, то у самой России такого враждебного соседа не нашлось. В конце 1980-х — начале 1990-х казалось, что новая Россия будет построена на отрицании советского авторитаризма, однако опыт переоценки прошлого оказался слишком травматичным и был вскоре отброшен как унижительный для страны, победившей нацизм и построившей первый космический корабль.

Неудача в строительстве новой российской идентичности, помимо прочего, служит эмпирическим доказательством необходимости конституирующего антагонизма для учреждения политического сообщества. В послевоенной Германии ужас перед собственным недавним прошлым оказался настолько силен, что смог послужить основой для формирования, по существу, новой германской нации — хотя даже в этом случае процесс складывания политического сообщества на основании нового исторического нарратива проходил негладко и нуждался в значительной поддержке извне. Государства бывшего социалистического лагеря имели в своем распоряжении давно и твердо выученную историю имперского угнетения со стороны авторитарной России, которая позволила им сделать «европейский» выбор и пройти курс дисциплинирующего воздействия со стороны западных соседей в процессе расширения ЕС и НАТО. Россия появилась в результате распада брежневского СССР, существование в котором было довольно сносным и не оставило у подавляющего большинства граждан памяти об угнетении или тотальном бесправии. Скорее такие понятия, как «бесправие», «насилие», «разруха», связаны в отечественном политическом дискурсе с шоковой терапией девя-

ностей годов, а значит, с попыткой «вернуть» Россию в лоно (западной) цивилизации.

В конечном итоге наложение постсоветской ностальгии на более глубоко седиментированные дискурсивные структуры привело к тому, что практики строительства политического сообщества новой России вернулись к антагонизации Запада, со всеми вытекающими отсюда последствиями для внутренней и внешней политики. Наиболее ярко эта артикуляция проявила себя в период косовской кампании НАТО, которая переживалась российским обществом как крайне драматичный момент мировой истории. Именно в этот период напряженность популистского антагонизма между Россией и Западом впервые достигает такого уровня, что внутренние идентичности, не укладывающиеся в черно-белое противопоставление между внутренним и внешним, начинают вытесняться вовне, занимают дискурсивную позицию «пятой колонны». Единственной более-менее жизнеспособной альтернативой возрождению геополитического противостояния между Западом и Востоком оказалась модель «антитеррористической коалиции», в которой цивилизованный мир противопоставляется варварству в лице терроризма. Как мы видим, все актуальные варианты артикуляции идентичности и границ российского политического сообщества предполагают структурную позицию конституирующего иного, которое способно порождать достаточно мощный антагонизм и тем самым создавать возможность популистской политики.

Таким образом, все работающие модели российского политического сообщества опираются на отчетливо выраженные антагонистические отношения: они не просто проводят границу между внутренним и внешним миром, но по необходимости устанавливают единство внутреннего мира сообщества через чистое отрицание, которое в практической политике реализуется посредством практик безопасности, когда внешний мир предстает как полный угрозы. Помимо подтверждения нашей исходной теоретической посылки об антагонисти-

ческом характере политики, это наблюдение также заставляет сделать пессимистический вывод о довольно высокой степени структурной детерминации, характерной для современного российского политического процесса. Число сколько-нибудь актуальных моделей российской национальной идентичности крайне ограничено: по существу, их основные элементы уже были артикулированы в XIX веке в ходе полемики между славянофилами и западниками. Модель, противопоставляющая Россию Западу, явно доминирует на протяжении последних полутора-двух столетий российской истории. Две других модели из обсуждавшихся нами представляют собой инкарнации западнической артикуляции либо в более либеральном варианте (противостояние авторитаризму), либо с добавлением элементов ксенофобии (противостояние варварству). При этом первая альтернатива в 1990-е годы в очередной раз продемонстрировала свою политическую несостоятельность, а вторая потенциально ведет к доминированию этнической модели нации, что чревато весьма разрушительными последствиями для полиэтничного Российского государства.

Более того, наш анализ процессов артикуляции границ политического сообщества в эпоху после «цветных» революций приводит к еще одному печальному выводу. Реставрационная модернизация, предпринятая Владимиром Путиным и состоящая в восстановлении суверенной субъектности Российского государства по образцу СССР, со всей очевидностью приводит к мощной структурной дислокации: это выражается и в уже упоминавшейся двусмысленности территориальных и корпоральных границ, и в обострении противоречий с Западом, не желающим признавать Россию в качестве равноправного участника глобальных политических процессов, и в неопределенном положении ислама одновременно в качестве элемента внутреннего мира и угрожающего Другого. Дислокация, как правило, приветствуется в постструктуралистской философии, поскольку она противодействует тоталитарному замыканию структуры, установлению отношений эквивалентности между

всеми внутренними элементами и вытеснению «неудобных» идентичностей во внешний мир. Именно дислокация в конечном итоге делает возможной появление субъекта, а значит, и изменение социального мира. Эмпирический материал, однако, свидетельствует о том, что такая точка зрения недооценивает политической действенности процессов структурирования: любая идентичность, любая структура возникает как результат насильственного отчуждения, проведения границы между «Я» и «Другим», и это насилие остается неотъемлемым атрибутом структуры на всем протяжении ее существования. Вместо того чтобы просто механически деформироваться, структура сопротивляется дислокации, что находит свое выражение в практиках безопасности. Секьюритизация идентичности и границ сообщества является мощным фактором популистской политики: она трансформирует энергию дислокации в усиление конституирующего антагонизма. Отсутствие признания со стороны Запада порождает все большую подозрительность по отношению к западным «партнерам» и их агентам, что выражается в репрессиях против идентичностей, воспринимаемых как прозападные, и в конфронтационном курсе на международной арене. Неопределенность границ политического сообщества ведет к активизации наиболее радикальных националистических сил, не без успеха толкающих Россию на путь этнического национализма, исключения «неславянских» элементов политического сообщества. Экстраполяция этой динамики в будущее приводит к самым что ни на есть пессимистическим прогнозам.

Сказанное, однако, вовсе не означает отрицания освободительного потенциала дислокации. Тоталитарного замыкания политического сообщества в современной России пока еще не произошло: несмотря на конфликт с Западом и на восстановление лидирующей роли государства в экономике, рынок и демократия остаются практически общепризнанными принципами социального устройства; более того, современное российское руководство считает возможным экспериментировать

с идеей универсальной демократии, которая по своему содержанию радикально отличается от классового подхода, составившего ядро советской идеологии. Европа продолжает играть в российском дискурсе роль неразложимого означающего, находящегося на границе сообщества, одновременно внутри и вовне — причем такое положение дел, сохраняется, несмотря на отнюдь не тщетные усилия по «приручению» Европы путем деления ее на «истинную» и «ложную». Кроме того, возможно, такую же роль все более явно предстоит играть исламу — идентичности, также находящейся одновременно и внутри и вовне политического сообщества современной России. Самый важный оптимистический вывод, однако, состоит в том, что тенденции эволюции российского дискурса обнажают неразрешимые противоречия современной либерально-универсалистской гегемонии: в мире, где демократия все чаще измеряется через лояльность глобальному гегемону, открывается возможность *демократической* критики универсалистского демократизаторского проекта. Это, в свою очередь, означает возможность появления нового исторического субъекта и на российской политической сцене — субъекта, который, эксплицитно отстранившись от Запада и подвергая его самой суровой критике, будет не менее критичен по отношению к популистской гегемонии, стремящейся замкнуть российское политическое сообщество на основе противостояния внешним угрозам. Результатом такого развития событий стало бы возникновение нового демократического политического пространства, освободительный потенциал которого трудно переоценить. Сформулированная нами в данном исследовании теоретическая модель не позволяет предсказать появление такого нового политического субъекта — мы можем лишь обозначить *возможность* его появления. Скорее всего, такое предсказание в принципе неосуществимо: если структурное сопротивление дислокации, принимающее форму практик безопасности, представляет собой необходимое явление, то реализация создаваемого дислокацией «окна субъектности»

все-таки остается событием случайным. Это, в свою очередь, означает появление неотъемлемого этического измерения разговора об идентичности и ее дислокации — констатация возможности политического действия подразумевает осознание ответственности, сопряженной как с действием, так и с бездействием.

# БИБЛИОГРАФИЯ

## Официальные документы

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637. <http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=034305>.

*Гусаров Е. П.* Россия в Европе XXI века. Выступление заместителя министра иностранных дел России Е. П. Гусарова на конференции «Европа в глобальном мире — вызовы XXI века» (Греция, 11 июля 2001 года). <http://www.mid.ru/Ns-dos.nsf/arh/432569D800223F3443256A87004A7615?OpenDocument>.

*Гусаров Е. П.* Хельсинкский процесс во внешней политике России // Дипломатический вестник. 2000. № 7. С. 92—94.

«Единая Россия» открывает «русский проект» // Единая Россия. Официальный сайт партии. 2007. 5 февраля. <http://www.edinros.ru/news.html?id=118052>.

*Ельцин Б. Н.* Выступление Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. 18 ноября 1999 г. // Дипломатический вестник. 1999. № 12. С. 11—12.

Закон о гражданстве Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1. Ст. 18 (г).

Заявление МИД России. 7 апреля 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 5. С. 35.

Заявление МИД России. 9 июня 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 7. С. 62.

Заявление МИД России в связи с проведением в Копенгагене «Всемирного чеченского конгресса». 26 октября 2002 года. <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e43256c6000325984?OpenDocument>.

Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с позицией датских властей относительно проведения в Копенгагене «Всемирного чеченского конгресса». 28 октября 2002 года. URL: [www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e43256c61002b8348?OpenDocument](http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e43256c61002b8348?OpenDocument).

Заявление Министерства иностранных дел СССР о планах создания Евратома и «общего рынка» // Правда. 1957. 17 марта.

Заявление официального представителя МИД России. 1 марта 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 4. С. 40.

Заявление представителя МИД России. 15 июля 1999 г. // Дипломатический вестник. 1999. № 8. С. 26.

Заявление российских некоммерческих неправительственных организаций. Опубликовано 6 декабря 2005 года. <http://www.hro.org/ngo/about/2005/11/text.php>.

*Иванов И. С.* Выступление И. С. Иванова на IX сессии Совета государств Балтийского моря // Дипломатический вестник. 2000. № 7. С. 27—28.

*Иванов И. С.* Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на заседании Государственной Думы. 27 марта 1999 г. // Дипломатический вестник. 1999. № 4. С. 25—28.

*Иванов И. С.* Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы // Дипломатический вестник. 2000. № 2. С. 21—23.

*Иванов И. С.* Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на совместной пресс-конфе-



ренции по итогам встречи с Министром иностранных дел Македонии С. Керимом в Скопье 21 марта 2001 года // Дипломатический вестник. 2001. № 4. С. 47—48.

*Иванов И. С.* Пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова по итогам внешнеполитического 1998 года. 22 января 1999 г. // Дипломатический вестник. 1999. № 2. С. 3—5.

*Иванов И. С.* Текст выступления министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на встрече с российской прессой по итогам заседания Совета сотрудничества Россия — ЕС. 11 апреля 2000 г. <http://www.mid.ru/ns-dos.nsf/162979df2beb9880432569e70041fd1e/432569d800223f344325699c003b5d24?OpenDocument>.

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом российских СМИ относительно интервью Президента Литвы В. Адамкуса «Независимой газете» от 18 августа 2004 года. 2004. 20 августа. <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec3256ef600501492?OpenDocument>.

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом СМИ относительно резолюции Сейма Литвы «О возмещении ущерба, нанесенного оккупацией Советским Союзом». 2007. 18 января. <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec325726700514e15?OpenDocument>.

Комментарий официального представителя МИД России М. Л. Камынина на вопрос РИА «Новости» о праздновании в Латвии 16 марта Дня легионеров СС. 2007. 19 марта. <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec32572a30063c842?OpenDocument>.

Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 28 июня 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 3—11.

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации

№ 24 от 10 января 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 2. С. 3—13.

*Лавров С. В.* Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на 3 саммите Совета Европы, Варшава, 16 мая 2005 года. [http://www.mid.ru/brp\\_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/2c6bcac11ca161d50c3257003004328f8?OpenDocument](http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/2c6bcac11ca161d50c3257003004328f8?OpenDocument).

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обзор внешней политики Российской Федерации. [http://www.mid.ru/brp\\_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD](http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD).

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Совет государств Балтийского моря (справочная информация). 2003. 30 сентября. <http://www.mid.ru/ns-dos.nsf/45682f63b9f5b253432569e7004278c8/8940ee4394d6cff043256db10054332f?OpenDocument>.

*Молотов В. М.* За демократические основы международного сотрудничества. Заявление на Парижском совещании трех министров. 2 июля 1947 г. // Молотов В. М. Вопросы внешней политики. Речи и заявления. Апрель 1945 г. — июнь 1948 г. М.: Госполитиздат, 1948. С. 473—478.

Ноты Советского Правительства Правительствам США, Англии и Франции о Мирном Договоре с Германией от 24 мая 1952 года // Правда. 1952. 25 мая.

О первом заседании Координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Сообщение для СМИ. 22 марта 2007 года. [http://www.mid.ru/brp\\_4.nsf/sps/1D92CB5E0BD67063C32572A6004F9DD1](http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/1D92CB5E0BD67063C32572A6004F9DD1).

Правозащитный центр «Мемориал». Этническая дискриминация в Российской Федерации. Информационно-аналитическая программа. <http://www.memo.ru/hr/discrim/ver1/index.htm>.

Правление Международного общества «Мемориал». О событиях в Югославии. 8 апреля 1999 года. <http://www.memo.ru/daytoday/Kosowo2.htm>.

*Путин В. В.* Вступительное слово на встрече с вице-премьером Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави. Куала-Лумпур, 5 ав-

густа 2003 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2003/08/05/2300\\_type63377\\_50030.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2003/08/05/2300_type63377_50030.shtml).

*Путин В. В.* Вступительное слово на заседании Совета Безопасности по вопросу о роли России в обеспечении международной энергетической безопасности. Москва, Кремль, 22 декабря 2005 года. URL: [http://www.kremlin.ru/appears/2005/12/22/1654\\_type63374type63378type82634\\_99294.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/12/22/1654_type63374type63378type82634_99294.shtml).

*Путин В. В.* Вступительное слово на расширенном заседании Правительства с участием глав субъектов Российской Федерации. [http://www.kremlin.ru/appears/2004/09/13/1514\\_type63374type63378type82634\\_76651.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2004/09/13/1514_type63374type63378type82634_76651.shtml).

*Путин В. В.* Выдержки из стенографического отчета о пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне Россия — Европейский союз. Брюссель, 11 ноября 2002 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2002/11/11/0001\\_type63377type63380type82634\\_29553.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2002/11/11/0001_type63377type63380type82634_29553.shtml).

*Путин В. В.* Выступление в Бундестаге ФРГ. 25 сентября 2001 г. [http://kremlin.ru/appears/2001/09/25/0002\\_type63374type63377type82634\\_28641.shtml](http://kremlin.ru/appears/2001/09/25/0002_type63374type63377type82634_28641.shtml).

*Путин В. В.* Выступление в расположении российского воинского контингента в составе Международных миротворческих сил в Косово. Приштина, 17 июня 2001 г. <http://www.kremlin.ru/text/appears/2001/06/28567.shtml>.

*Путин В. В.* Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Мюнхен, 10 февраля 2007 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737\\_type63374type63376type63377type63381type82634\\_118097.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml).

*Путин В. В.* Выступление на открытии Конгресса соотечественников. Москва, 11 октября 2001 г. [http://www.kremlin.ru/appears/2001/10/11/0001\\_type63374type63376type82634\\_28660.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2001/10/11/0001_type63374type63376type82634_28660.shtml).

*Путин В. В.* Выступление при посещении руководителями государств с супругами Екатерининского дворца. Пушкин, 31 мая 2003 г. <http://president.kremlin.ru/text/appears/2003/05/46459.shtml>.

*Путин В.В.* «Группа восьми» на пути к саммиту в Санкт-Петербурге: вызовы, возможности, ответственность. Статья, опубликованная в ведущих мировых СМИ 1 марта 2006 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2006/03/01/1140\\_type63382\\_102504.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/03/01/1140_type63382_102504.shtml).

*Путин В.В.* Заявление в связи с нарушением прав человека в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации. 13 апреля 2000 г. [http://www.kremlin.ru/appears/2000/04/13/0000\\_type63374\\_119217.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2000/04/13/0000_type63374_119217.shtml).

*Путин В.В.* Интервью журналистам печатных средств массовой информации из стран — членов «Группы восьми». 4 июня 2007 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2007/06/04/0727\\_type63379\\_132615.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/06/04/0727_type63379_132615.shtml).

*Путин В.В.* Интервью межарабскому спутниковому телеканалу «Аль-Джазира». 10 февраля 2007 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/2042\\_type63379\\_118108.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/2042_type63379_118108.shtml).

*Путин В.В.* Интервью телеканалу «Аль-Джазира». Куала-Лумпур, 16 октября 2003 г. [http://www.kremlin.ru/appears/2003/10/16/2206\\_type63379\\_54204.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2003/10/16/2206_type63379_54204.shtml).

*Путин В.В.* Наша общая цель — победа «Единой России» на выборах в Госдуму. Выступление на форуме сторонников Владимира Путина. Москва, 21 ноября 2007 г. <http://www.edinros.ru/news.html?id=125609>.

*Путин В.В.* Обращение Президента России Владимира Путина. Москва, Кремль, 4 сентября 2004 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2004/09/04/1752\\_type63374\\_type82634\\_76320.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2004/09/04/1752_type63374_type82634_76320.shtml).

*Путин В.В.* Полвека европейской интеграции и Россия. Статья, опубликованная в ряде европейских СМИ 25 марта 2007 года. [http://kremlin.ru/appears/2007/03/25/1121\\_type63382\\_120736.shtml](http://kremlin.ru/appears/2007/03/25/1121_type63382_120736.shtml).

*Путин В.В.* Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 16 мая 2003 года. URL: [http://www.kremlin.ru/appears/2003/05/16/1259\\_type63372\\_type63374\\_type82634\\_44623.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2003/05/16/1259_type63372_type63374_type82634_44623.shtml).

*Путин В. В.* Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 25 апреля 2005 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223\\_type63372type63374type82634\\_87049.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml).

*Путин В. В.* Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 10 мая 2006 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/10/1357\\_type63372type63374type82634\\_105546.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/10/1357_type63372type63374type82634_105546.shtml).

*Путин В. В.* Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль, 26 апреля 2007 года. [http://kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156\\_type63372type63374type82634\\_125339.shtml](http://kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml).

*Путин В. В.* Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. 1999. 30 декабря.

*Путин В. В.* Стенограмма пресс-конференции для российских и иностранных журналистов. Москва, Кремль, 31 января 2006 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2006/01/31/1310\\_type63380type63381type82634\\_100848.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/01/31/1310_type63380type63381type82634_100848.shtml).

*Путин В. В.* Стенограмма прямого теле- и радиоэфира («Прямая линия с Президентом России»). 25 октября 2006 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2006/10/25/1303\\_type82634type146434\\_112959.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/10/25/1303_type82634type146434_112959.shtml).

*Путин В. В.* Уроки победы над нацизмом. Через осмысление прошлого — к совместному строительству безопасного гуманного будущего. Газета «Фигаро» (Франция). 7 мая 2005 года. [http://www.kremlin.ru/appears/2005/05/07/0657\\_type63374type63382\\_87599.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/05/07/0657_type63374type63382_87599.shtml).

Рабочий визит Э. Туомиоя в Россию // Дипломатический вестник. 2000. № 5. С. 11—12.

Сообщение МИД России. 18 января 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 2. С. 39.

Сообщение МИД России. 24 января 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 2. С. 41.

Сообщение МИД России. 14 февраля 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 3. С. 37.

Сообщение МИД России. 1 марта 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 4. С. 39.

Сообщение МИД России. 17 марта 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 4. С. 47—48.

Сообщение МИД России. 31 марта 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 4. С. 57.

*Сурков В.* Национализация будущего. <http://www.edinros.ru/news.html?id=116746>.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О гражданстве Российской Федерации”». Принят Государственной Думой 17 октября 2003 года. Одобрен Советом Федерации 29 октября 2003 года // Российская газета. 2003. 14 ноября.

Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Принят Государственной Думой 5 марта 1999 года. Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года // Дипломатический вестник. 1999. № 9. С. 24—32.

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Принят Государственной Думой 19 апреля 2002 года. Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года // Российская газета. 2002. 5 июня.

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года. Одобрен Советом Федерации 24 сентября 1997 года.

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2006 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Принят Государственной Думой 23 декабря 2005 года. Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2005 года // Российская газета. 2006. 17 января.

Хроника. 4 апреля 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 5. С. 52—53.

British Helsinki Human Rights Group. Nationalism and Citizenship in Latvia. Report of BHHRG's 1998 Visit. <http://www.bhhrg.org/CountryReport.asp?ReportID=11&CountryID=14>.

*Bush G. W.* Address to a Joint Session of Congress and the American People. United States Capitol, Washington, D.C., September 20, 2001. <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>.

*Bush G. W.* President to Send Secretary Powell to Middle East. The Rose Garden, April 4, 2002. <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020404-1.html>.

*Bush G. W.* The President's State of the Union Address. The United States Capitol, Washington, D. C., January 29, 2002. URL: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>.

*Cheney R. B.* Vice President's Remarks at the 2006 Vilnius Conference. Reval Hotel Lietuva, Vilnius, Lithuania, 4 May 2006. <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060504-1.html>.

*Ivanov I.* The New Russian Identity: Innovation and Continuity in Russian Foreign Policy // The Washington Quarterly. Vol. 24. 2001. No. 3. P. 7—13.

*Ivanov S.* Role of the Military in Combating Terrorism. Introductory Word by the Defence Minister of the Russian Federation at the International Conference, Rome, NATO Defence College, 4 February 2002. <http://www.nato.int/docu/speech/2002/s020204b.htm>.

Naturalization Board of the Republic of Latvia. Information on naturalization process, on recognition of stateless persons' or non-citizens' children, who were born in Latvia after August 21, 1991 to be citizens of Latvia and on registration the status of the citizenship of Latvia. [http://www.np.gov.lv/en/fakti/files/stat\\_angl.xls](http://www.np.gov.lv/en/fakti/files/stat_angl.xls).

United States Department of State. Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record 2006. Department of State Publication 11411. <http://www.state.gov/documents/organization/80699.pdf>.

## Монографии

*Аристотель*. Метафизика. М.; Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1934.

*Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999.

*Астров А.* Самочинное сообщество: политика меньшинств или малая политика? Таллинн: Издательство Таллиннского университета, 2008.

*Барт Р.* Мифологии. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2000.

*Барт Р.* Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 114—163.

*Барт Р.* Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.

*Барт Р.* Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 462—518.

*Барт Р.* S/Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

*Бахтин М. М.* Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 7—180.

*Бахтин М. М.* Проблемы творчества Достоевского // Собр. соч. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 5—175.

*Бахтин М. М.* Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975. С. 72—233.

*Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.

*Бердяев Н. А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.

*Бердяев Н. А.* Русская идея // Мыслители русского зарубежья: Бердяев, Федотов / Сост. и отв. ред. А. Ф. Замалева. СПб.: Наука (Санкт-Петербургское отделение), 1992. С. 37—258.



*Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.

*Бурдые П.* Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.

*Варес П., Осипова О.* Похищение Европы, или Балтийский вопрос в международных отношениях XX века. Таллинн: Издательство Эстонской энциклопедии, 1992.

*Витгенштейн Л.* Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 75—319.

*Вулф Л.* Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

*Гаджиев К. С.* Геополитика. М.: Международные отношения, 1997.

*Гаврилова М. В.* Критический дискурс-анализ в современной зарубежной лингвистике. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003.

*Гидденс Э.* Устроение общества: Очерк теории структуризации. М.: Академический проект, 2003.

*Горбачев М. С.* Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М.: Политиздат, 1987.

*Гумилев Л. Н.* Древняя Русь и Великая Степь. М.: Мысль, 1989.

*Гуссерль Э.* Начало геометрии. М.: Ad Marginem, 1996.

*Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. СПб.: Т-во «Общественная польза», 1871.

*Дейк Т. А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989.

*Деррида Ж.* Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб.: Алетейя, 1999.

*Деррида Ж.* Письмо и различие. СПб.: Академический проект, 2000.

*Деррида Ж.* Позиции: беседы с Анри Ронсом, Юлией Кристевой, Жаном-Луи Удбином, Ги Скарпетта. М.: Академический проект, 2007.

*Деррида Ж.* О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.

*Дерябин Ю. С.* «Северное Измерение» политики Европейского Союза и интересы России / Доклады Института Европы. № 68. М.: Экслибрис Пресс, 2000.

*Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка. М.: УРСС; КомКнига, 2005.

*Есаулов И. А.* Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1995.

*Жижек С.* Возвышенный объект идеологии. М.: ХЖ, 1999.

*Ильин И. А.* О грядущей России. М.: Воениздат, 1993.

*Кант И.* Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: В 6 тт. М.: Мысль, Т. 3. 1964.

*Кантор В. К.* «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. М.: Росспэн, 1997.

*Ковалев С. А.* Прагматика политического идеализма. М.: Институт прав человека, 1999.

*Копосов Н. Е.* Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

*Кудинов В. П.* Внешняя политика РФ (1991—1999 гг.). Учебное пособие. М.: МА МВД России, 1999.

*Лакан Ж.* Семинары. Книга 5. Образования бессознательно-го (1957/1958). М.: Гнозис; Логос, 2002.

*Леви-Строс К.* Мифологии. М.: ЦГНИИ ИНИОН РАН; СПб.: Культурная инициатива: Университетская книга, 2000.

*Леви-Строс К.* Первобытное мышление. М.: Республика, 1994.

*Леви-Строс К.* Структурная антропология. М.: Наука, 1983.

*Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской культуры, 1996.

*Малявин В. В.* Восток, Запад и Россия: избранные статьи. М.: Журнал Эксперт, 2005.

*Мельтюхов М. И.* Советско-польские войны: военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. М.: Вече, 2001.

*Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия. СПб.: Ювента: Наука, 1999.

Мир глазами россиян. Идентичность и внешняя политика / Под ред. В. А. Колосова. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003.

*Нарочницкая Н. А.* За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, 2005.

*Нарочницкая Н. А.* Россия и русские в мировой истории. М.: Международные отношения, 2003.

*Нойманн И.* Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004.

*Остин Д.* Как производить действия при помощи слов. Смысл и сенсibiliи. М.: Идея-пресс, 1999.

От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М.: Вагриус, 2000.

*Панарин А. С.* Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. М.: Университет, 1999.

*Панарин А. С.* Реванш истории. Российская стратегическая инициатива в XXI веке. М.: Логос, 1998.

Политический дискурс в России, 1996—2006: хрестоматия. М.: Государственный институт русского языка, 2007.

*Рорти Р.* Философия и зеркало природы. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1997.

Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А. П. Цыганкова, П. А. Цыганкова. М.: Персэ, 2005.

*Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре: Трактаты. М.: ТЕРРА — Книжный клуб; КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 195—322.

*Савицкий П. Н.* Континент Евразия. М.: Аграф, 1997.

*Саид Э.* Ориентализм: западные концепции Востока. СПб.: Русский Мир, 2006.

- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М.: КомКнига, 2006.
- Тикнер Дж. Э.* Мировая политика с гендерных позиций. М.: Культурная революция, 2006.
- Тренин Д. В.* Балтийский шанс. Страны Балтии, Россия и Запад в складывающейся Большой Европе. М.: Московский центр Карнеги, 1997.
- Трубецкой Н. С.* Европа и человечество. София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1920.
- Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002.
- Фаулз Дж.* Кротовые норы. М.: Махаон, 2002.
- Федоров В. П.* Россия в ансамбле Европы. М.: Институт Европы, 2002.
- Фуко М.* Археология знания. М.: Гуманитарная академия, 2004.
- Фуко М.* Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистерум; Касталь, 1996. С. 97—268.
- Фуко М.* Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистерум; Касталь, 1996.
- Фуко М.* Использование удовольствий. СПб.: Академический проект, 2004.
- Фуко М.* История сексуальности-III. Забота о себе. Киев: Дух и литера; М.: Рефл-бук, 1998.
- Фуко М.* Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
- Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М.: АСТ; СПб.: Terra fantastica, 2003.
- Хатаева Д.* Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002.
- Хардт М., Негри А.* Империя. М.: Праксис, 2004.

*Харичкин И. К.* Политическая элита и ее роль в обеспечении национальной безопасности России. М.: МВИ, 1999.

*Хейне П.* Экономический образ мышления. М.: Дело, 1992.

*Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998.

*Чудинов А. П.* Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры. Екатеринбург: Б. и., 2001.

*Чугров С. В.* Россия и Запад: метаморфозы взаимовосприятия. М.: Наука, 1993.

*Шейгал Е. И.* Семиотика политического дискурса. М.; Волгоград: Перемена, 2000.

*Шмитт К.* Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

*Шмитт К.* Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 37—67.

*Шмитт К.* Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического. М.: Праксис, 2007.

*Åkerstrøm Andersen N.* Discursive Analytical Strategies. Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhman. Bristol: Policy Press, 2003.

*Bakhtin in Contexts: Across the Disciplines / Ed. by A. Mandelker.* Evanston: Northwestern University Press, 1995.

*Bartelson J.* A Genealogy of Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

*Baudrillard J.* Simulacres et simulations. Paris: Galilée, 1981.

*Bhabha H.* The Location of Culture. London: Routledge, 1994.

*Bloom W.* Personal Identity, National Identity and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

*Bourdieu P.* Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

*Bonnett A.* The Idea of the West: Culture, Politics and History, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

*Brandenberger D.* National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931—1956. Cambridge: Harvard University Press, 2002.

*Brubaker R.* Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

*Bruner M. L.* Strategies of Remembrance: The Rhetorical Dimensions of National Identity Construction. Columbia: University of South Carolina Press, 2002.

*Butler J.* Bodies that Matter: On the Discursive Limits of «Sex». New York; London: Routledge, 1993.

*Butler J.* Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York; London: Routledge, 1990.

*Buzan B., Wæver O., Wilde J. de.* Security: a New Framework for Analysis. Boulder, London: Lynnie Rienner, 1998.

*Buzan B., Wæver O.* Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

*Campbell D.* Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity / Revised edition. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.

*Carr E. H.* The Twenty Years' Crisis, 1919—1939: An Introduction to the Study of International Relations. London: Macmillan; New York: St. Martin's Press, 1946.

*Carr E. H.* What is History? New York: Knopf, 1961.

*Chouliaraki L.* Media Discourse and the Public Sphere // Discourse Theory in European Politics / Ed. by D. Howarth, J. Torfing. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 275—296.

*Chouliaraki L.* The Spectatorship of Suffering. London: Sage, 2006.

*Chouliaraki L., Fairclough N.* Discourses in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

*Clark E.A.* History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn. Cambridge; London: Harvard University Press, 2004.

*Conquest R.* Stalin: Breaker of Nations. London; New York: Penguin, 1991.

*Cooper R.* The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century. New York: Atlantic Monthly Press, 2003.

*Coward R., Ellis J.* Language and Materialism. Developments in Semiology and the Theory of the Subject. London: Routledge and Keagan Paul, 1977.

*Cox R.W.* Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press, 1987.

Critical Security Studies: Concepts and Cases / Ed. by K. Krause, M. C. Williams. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

*Culler J.* On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1982.

*DeGrood D.H.* Philosophies of Essence. An Examination of the Category of Essence. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1970.

*Deleuze G.* Foucault. London: Athlone Press, 1988.

*Der Derian J.* Antidiplomacy: Spies, Terror, Speed, and War. Oxford: Basil Blackwell, 1992.

*Der Derian J.* On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

*Derrida J.* Archive Fever: A Freudian Impression. Chicago, London: University of Chicago Press, 1996.

*Derrida J.* Limited Inc. Evanston: Northwestern University Press, 1988.

*Derrida J.* Mal d'Archive: une impression freudienne. Paris: Galilée, 1995.

*Derrida J.* The Other Heading: Reflections on Today's Europe. Bloomington: Indiana University Press, 1992.

*Derrida J.* Politics of Friendship. London; New York: Verso, 1997.

*Derrida J.* Positions. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

*Derrida J.* Positions. Paris: Éditions de Minuit, 1972.

Discourse and Methods of Critical Discourse Analysis / Ed. by R. Wodak, M. Meyer. London: Sage, 2001.

*Doty R.* Imperial Encounters. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

*Dreifus H.L., Rabinow P.* Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics / 2<sup>nd</sup> ed. Chicago: University of Chicago Press, 1983.

*Ducrot O., Todorov T.* Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979.

*Edkins J.* Poststructuralism and International Relations. Bringing the Political Back In. Boulder, London: Lynne Rienner, 1999.

*Enloe C.H.* Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley: University of California Press, 1989.

Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda / Ed. by K. M. F. Platt, D. Brandenberger. Madison: University of Wisconsin Press, 2006.

*Epstein M.N.* After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995.

*Fairclough N.* Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London; New York: Longman, 1995.

*Fairclough N.* Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992.

*Fairclough N.* Language and Globalization. London; New York: Routledge, 2006.

*Fairclough N.* Media Discourse. London: Edward Arnold, 1995.

*Fanon F.* Black Skin White Masks. London: Pluto, 1991.

*Foucault M.* Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972—1977 / Ed. by C. Gordon. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1980.



*Fuss D.* Essentially Speaking. Feminism, Nature and Difference. London; New York: Routledge, 1989.

*Gadet F.* Saussure and Contemporary Culture. London: Hutchinson Radius, 1989.

*Gasché R.* The Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Gendered states. Feminist (re)visions of international relations theory / Ed. by V. S. Peterson. Boulder, London: Lynne Rienner, 1992.

*Giddens A.* Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991.

*Gramsci A.* Selections from Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart, 1971.

*Greenfeld L.* Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

*Hansen L.* Security as Practice. Discourse Analysis and the Bosnian War. London; New York: Routledge, 2006.

*Held D.* Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford: Stanford University Press, 1995.

*Heller K. M.* The Dawning of the West: On the Genesis of a Concept. Project Demonstrating Excellence (Dissertation). Cincinnati: Union Institute & University, 2006.

*Hodge R., Kress G.* Language as Ideology. London; Boston: Routledge and Keagan Paul, 1979.

*Hodge R., Kress G.* Social Semiotics. Ithaca: Cornell University Press, 1988.

*Hollis M., Smith S.* Explaining and understanding international relations. Oxford: Clarendon Press, 1990.

*Hopft T.* Social Origins of International Politics. Identities and the Construction of Foreign Policies at Home. Ithaca: Cornell University Press, 2002.

*Howarth D.* Discourse. Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 2000.

Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory / Ed. by Albert M., Jacobson D., Lapid Y. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2001.

International/intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics / Ed. by J. Der Derian, M. J. Shapiro. Lexington: Lexington Books, 1989.

*Jackson P. T.* Civilizing the Enemy: German Reconstruction and the Invention of the West. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006.

*Jørgensen M., Phillips L.* Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage, 2002.

*Kagarlitsky B.* Russia Under Yeltsin and Putin. Neo-liberal Autocracy. London, Sterling: Pluto Press, 2002.

*Kolstø P.* Political Construction Sites. Nation-Building in Russia and the Post-Soviet States. Boulder: Westview Press, 2000.

*Kristeva J.* Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, New York: Columbia University Press, 1980.

*Kymlicka W.* Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995.

*Lacan J.* Écrits. Paris: Éditions du Seuil, 1966.

*Lacan J.* Écrits: A Selection. New York: W. W. Norton & Co., 1977.

*Laclau E.* Emancipation(s). London: Verso, 1996.

*Laclau E.* New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990.

*Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 1985.

*Linklater A.* The Transformation of Political Community: Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era. Columbia: University of South Carolina Press, 1998.

*Matz J.* Constructing a Post-Soviet International Political Reality. Russian Foreign Policy Towards Newly Independent States 1990—1995. Uppsala: University of Uppsala, 2001.

*McCarney J.* The Real World of Ideology. Brighton: Harvester Press; Atlantic Highlands: Humanities Press, 1980.

*McSweeney B.* Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

*Melvin N.J.* Russians Beyond Russia. The Politics of National Identity. London: Royal Institute of International Affairs, 1995.

*Mills S.* Discourse / 2<sup>nd</sup> ed. London: Routledge, 2004.

*Morgenthau H.J.* Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace / 2<sup>nd</sup> ed, revised and enlarged. New York: Alfred A. Knopf, 1955.

*Moshes A.* Overcoming Unfriendly Stability. Russian-Latvian Relations at the End of the 1990s. Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti; Bonn: Institut für Europäische Politik, 1999.

*Neumann I.B.* Russia and the Idea of Europe. A Study in Identity and International Relations. London; New York: Routledge, 1996.

A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology, and Interdisciplinarity / Ed. by R. Wodak, P. Chilton. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins, 2005.

*Norton A.* Reflections on Political Identity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988.

*O'Hagan J.* Conceptions of the West in International Relations Thought: From Oswald Spengler to Edward Said. Basingstoke: Macmillan, 2002.

*Omuf N.* World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia: University of South Carolina Press, 1989.

*Passeron J.-C.* Le raisonnement sociologique: L'espace non-poppérien du raisonnement naturel. Paris: Nathan, 1991.

*Perry C.M., Sweeney M.J., Winner A.C.* Strategic Dynamics in the Nordic-Baltic Region: Implications for U.S. Policy. Dulles: Brassey's, 2000.

*Pines C.L.* Ideology and False Consciousness: Marx and His Historical Progenitors. Albany: State University of New York Press, 1993.

*Prozorov S.* Understanding Conflict Between Russia and the EU: The Limits of Integration. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2006.

*Rawls J.* The Law of Peoples. London; Cambridge: Harvard University Press, 1999.

*Reisigl M., Wodak R.* Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism. London; New York: Routledge, 2001.

*Ringmar E.* Identity, Interest and Action: A Cultural Explanation of Sweden's Intervention in the Thirty Years War. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

*Rosenberg J.* The Empire of Civil Society: A Critique of the Realist Theory of International Relations. London; New York: Verso, 1994.

*Searle J.R.* The Construction of Social Reality. New York: Free Press, 1995.

*Searle J.R.* Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

*Shapiro M.J.* Reading «Adam Smith»: Desire, History, and Value. London: Sage, 1993.

*Sheridan A.* Michel Foucault: The Will to Truth. London; New York: Tavistock, 1980.

*Staten H.* Wittgenstein and Derrida. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 1984.

*Terriff T., Croft S., James L., Morgan P.M.* Security Studies Today. Cambridge, Malden: Polity Press, 1999.

*Tickner J. A.* Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. New York: Columbia University Press, 1992.

*Tibanov G.* The Master and the Slave. Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time. Oxford: Clarendon, 2000.

*Todorov T.* Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

*Torfinn J.* New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Žižek Oxford: Blackwell, 1999.

*Trenin D.* End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. Washington, D.C., Moscow: Carnegie Endowment for International Peace, 2002.

*Tsygankov A. P.* Russia's Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman & Littlefield, 2006.

*Vachudová M. A.* Europe Undivided: Democracy, Leverage, and Integration after Communism. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.

*Wagnsson C.* Russian Political Language and Public Opinion on the West, NATO and Chechnya. Securitisation Theory Reconsidered. Stockholm: University of Stockholm. Department of Political Science, 2000.

*Walker R. B. J.* Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

*Wallerstein I.* The Modern World-System; Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1974.

*Waltz K. N.* Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley, 1979.

*Weber M.* Economy and Society. Vol. 1. Berkeley: University of California Press, 1978.

*Weigle M. A.* Russia's Liberal Project: State-Society Relations in the Transition from Communism. University Park: Pennsylvania State University Press, 2000.

*Weldes J.* Constructing National Interests: The United States and the Cuban Missile Crisis. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

*Wendt A.* Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

*Wight C.* Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology. New York: Cambridge University Press, 2006.

*Williams R.* Politics and Letters. London: NLB, 1979.

*Wilson A.* Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven: Yale University Press, 2005.

*Wolin S. S.* Politics and Vision. Boston; Toronto: Little, Brown & Co., 1960.

*Zehfuss M.* Constructivism in International Relations: The Politics of Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

*Žižek S.* For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor. 2<sup>nd</sup> ed. London, Verso: 2002.

*Žižek S.* The Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology. London, New York: Verso, 1999.

## Аналитические доклады, учебники, авторефераты

*Бельтюков С., Пихтов С.* Вступление стран Балтии в НАТО: последствия и упущенные возможности. СПб.: Балтийский исследовательский центр региональных проблем, 2001.

*Емельянова К.* Еще раз о государственной программе добровольного переселения соотечественников // Информационно-аналитический Центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. 2007. 27 марта. [http://www.ia-centr.ru/public\\_details.php?id=470](http://www.ia-centr.ru/public_details.php?id=470).

История России, 1945—2007 гг.: 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. А. А. Данилова, А. И. Уткина, А. В. Филиппова. Москва: Просвещение, 2008.

*Кожевникова Г.* Осень-2006: под флагом Кондологи / Под ред. А. Верховского. Москва: Информационно-аналитический центр «СОВА», 2007. <http://xeno.sova-center.ru/29481C8/883BB9D>.

*Кожевникова Г.* Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2006 году / Под ред. А. Верховского. Москва: Информационно-аналитический центр «СОВА», 2007. <http://xeno.sova-center.ru/29481C8/8F76150>.

*Макарычев А. С., Реут О. Ч.* О деполитизации и десуверенизации // Центр интернет-политики МГИМО(У) МИД России. Статьи членов экспертного совета. [http://www.netpolitics.ru/public.php?doc\\_id=166](http://www.netpolitics.ru/public.php?doc_id=166).

*Ознобищев С. К., Юргенс И. Ю., Воронов К. В., Мошес А. Л.* Балтия — трансъевропейский коридор в XXI век. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 2001. [http://www.svop.ru/live/materials.asp?m\\_id=6884](http://www.svop.ru/live/materials.asp?m_id=6884).

Россия и НАТО / Коорд. раб. группы С. А. Караганов. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 1995. [http://www.svop.ru/live/materials.asp?m\\_id=7009](http://www.svop.ru/live/materials.asp?m_id=7009).

*Тимофеев И. Н.* Политическая идентичность России в постсоветский период: альтернативы и тенденции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.: МГИМО (Университет) МИД России, 2006.

*Фурсов А.* Корпорация-государство. Доклад на заседании клуба «Красная площадь» 25 апреля 2006 г. [http://www.intelros.ru/2007/02/13/andrejj\\_fursov\\_gosudarstvokorporacija\\_doklad\\_na\\_zasedanii\\_kluba\\_krasnaja\\_ploshhad\\_25\\_aprelja\\_2006\\_g.html](http://www.intelros.ru/2007/02/13/andrejj_fursov_gosudarstvokorporacija_doklad_na_zasedanii_kluba_krasnaja_ploshhad_25_aprelja_2006_g.html).

*Юргенс И. Ю., Караганов С. А.* и др. Россия и Прибалтика — II. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 1999. [http://www.svop.ru/live/materials.asp?m\\_id=6883](http://www.svop.ru/live/materials.asp?m_id=6883).

The Failure to Prosecute Nazi War Criminals in Lithuania, Latvia, and Estonia, 1991—2002. Los Angeles: Simon Wiesenthal Center, 2002.

*Makarychev A. S.* Islands of Globalization: Regional Russia and the Outside World // Working paper No. 2. Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule, 2000.

*Kramer M.* Why Soviet History Matters in Russia. PONARS Policy Memo 183. January 2001. [http://www.csis.org/media/csis/pubs/pm\\_0183.pdf](http://www.csis.org/media/csis/pubs/pm_0183.pdf).

*Mouffe C.* Democracy — Radical and Plural // CSD Bulletin. Vol. 9. 2002. No. 1. P. 10—13. URL: [www.wmin.ac.uk/ssh1/PDF/CSDB91.pdf](http://www.wmin.ac.uk/ssh1/PDF/CSDB91.pdf).

*Wæver O.* Aberystwyth, Paris, Copenhagen. New «Schools» in Security Theory and their Origins between Core and Periphery. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Montreal, March 17—20, 2004. <http://www.isanet.org/archive.html>.

Wiesenthal Center Annual Report on Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals Reveals Dramatic Rise of 320% in Convictions... April 23, 2006. <http://www.wiesenthal.com/site/apps/nl/content2.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=245494&ct=2230591>.

Статьи в научных, общественно-политических журналах и сборниках

*Автономова Н.* Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 7—107.

*Алексеев А. Н.* Россия в европейском политическом поле // Международная жизнь. 2001. № 4. С. 22—29.

*Альтюссер Л.* Противоречие и сверхдетерминация // Альтюссер Л. За Маркса. М.: Практика, 2006. С. 127—186.

*Андреев А. Л.* Образ Европы в современном российском обществе // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 5. С. 35—43.

*Арбатов А. Г.* Грядет ли холодная война? // Россия в глобальной политике. Т. 5. 2007. № 2. С. 38—50.

*Арбатова Н. К.* Отношения России и Запада после косовского кризиса // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 6. С. 14—23.

*Арест-Якубович К. А.* О кризисе российской интеллигенции // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 57—72.

*Архангельский А.* Выборы и выбор // Общая тетрадь. 2004. № 1. С. 65—70.

*Барт Ф.* Введение // Этнические группы и социальные границы / Под ред. Ф. Барта. М.: Новое издательство, 2006. С. 9—48.

*Бахтин М. М.* Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 328—335.

*Беленький В. Х.* Социальные иллюзии: опыт анализа // Социологические исследования. 2001. № 5. С. 110—116.



*Бергер С.* Внешняя политика для президента-демократа // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 3. С. 59—78.

*Вайнштейн Г.* Россия глазами Запада: стереотипы восприятия и реальности интерпретации // Неприкосновенный запас. 2007. № 1. С. 13—23.

*Воронов К. В.* Балтийская политика России: поиск стратегии // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 12. С. 18—32.

*Воронов К. В.* Европа и Россия после балканской войны 1999 г.: драматичные уроки // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 4. С. 27—35.

*Воруба Г.* Границы «проекта “Европа”»: от динамики расширения к ступенчатой интеграции // Неприкосновенный запас. 2004. № 2. С. 38—46.

*Гаврилова М. В.* Политический дискурс как объект лингвистического анализа // Полис. 2004. № 3. С. 127—139.

*Глебов С. В.* Границы империи как границы модерна. Антиколониальная риторика и теория культурных типов в евразийстве // *Ab Imperio*. 2003. № 2. С. 267—291.

*Голубев А. В.* Мифологизированное сознание и внешний мир // Бахтинские чтения. Философские и методологические проблемы гуманитарного познания. Орел: Издательство ОГТРК, 1994. С. 106—118.

*Голубев А. В.* Мифологическое сознание в политической истории XX века // Человек и его время. М.: Институт истории СССР, 1991. С. 48—56.

*Громыко А. А.* Цивилизационные ориентиры во взаимоотношениях России, СССР и США // Свободная мысль — XXI. 2007. № 8. С. 68—76.

*Гудков Л. Д.* Память о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. 2005. № 2—3. С. 46—57.

*Гурко Е.* «Введение к “Происхождению геометрии” Гуссерля» (*Introduction de L'origine de la geometrie de Husserl*) // Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретации. Деррида Ж. Оставь

это имя (постскрипtum). Как избежать разговора: денегации. Минск: Экономпресс, 2001. С. 10—22.

*Дебеляк А.* Неуловимые общие мечты. Опасности и ожидания европейской идентичности // Неприкосновенный запас. 2004. № 2. С. 47—59.

*Делягин М. Г.* Главная задача, которую решали США в Юго-славии — в сфере глобальных финансов // Международная жизнь. 1999. № 9. С. 52—60.

*Делягин М. Г.* Миссия России в эпоху второго «кризиса Гутенберга» // Россия в глобальной политике. Т. 2. 2004. № 1. С. 99—112.

*Демуриш М.* Россия и Балтия: дело не в истории // Россия в глобальной политике. Т. 3. 2005. № 3. С. 131—138.

*Деррида Ж.* Введение // Гуссерль Э. Начало геометрии. М.: Ad Marginem, 1996. С. 9—209.

*Деррида Ж.* Национальность и философский национализм // Деррида Ж. Позиции. М.: Академический проект, 2007. С. 126—151.

*Деррида Ж.* Письмо японскому другу // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 53—57.

*Дилигенский Г. Г.* «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. 2000. № 5. С. 5—19.

*Дмитриева Т. Б.* Русский характер и политика // Международная жизнь. 2001. № 9—10. С. 35—42.

*Егоров Б. Ф.* Бахтин и Лотман // Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 243—258.

*Елагин В. И.* От Таллина до Москвы непростой путь // Международная жизнь. 2001. № 4. С. 51—59.

*Зайончковская Ж.* Перед лицом иммиграции // Pro et Contra. Т. 9. 2005. № 3(30). С. 72—87.

*Затулин К. Ф.* Борьба за Украину: что дальше? // Россия в глобальной политике. Т. 3. 2005. № 1. С. 76—86.

*Зиммель Г.* Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное. М.: Юрист, 1996. Т. 2. С. 509—526.

*Зинченко Ж. Ф.* Что было и что будет. Итоги и перспективы экономического развития России // Свободная мысль — XXI. 2004. № 5. С. 12—22.

*Зоркая Н. А.* «Ностальгия по прошлому», или Какие уроки могла усвоить и усвоила молодежь // Вестник общественного мнения. 2007. № 3. С. 35—46.

*Иванов И. Д.* Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, последствия // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 9. С. 22—33.

*Иванов И. С.* Европа в преддверии XXI века // Международная жизнь. 1999. № 1. С. 8—13.

*Иванов И. С.* За большую Европу без разделительных линий (к 50-летию Совета Европы) // Международная жизнь. 1999. № 5. С. 3—7.

*Иванов П. Л., Халоша Б. М.* Россия — НАТО: европейская безопасность на рубеже столетий // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 4. С. 3—13.

*Ильин М. В.* Слуга двух господ. О пересечении компетенций политической науки и международных исследований // Полис. 2004. № 5. С. 120—130.

*Иноземцев В. Л.* Бессмысленность вопрошания // Свободная мысль — XXI. 2004. № 1. С. 4—12.

*Иноземцев В. Л., Караганов С. А.* О мировом порядке XXI века // Россия в глобальной политике. 2005. № 1. С. 8—26.

*Иноземцев В. Л., Кузнецова Е. С.* В поисках идентичности: европейская социокультурная парадигма // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 6. С. 3—14.

*Иноземцев В. Л., Кузнецова Е. С.* Европейцы согласны уважать интересы Америки, но не жертвовать собственными ценностями // Международная жизнь. 2003. № 4. С. 64—79.

*Иоффе Г.* Будущее Белоруссии: оптимистический взгляд // Pro et contra. Т. 11. 2007. № 2. С. 94—104.

*Кагарлицкий Б. Ю.* Выборы прошли, политическая борьба начинается // Свободная мысль — XXI. 2004. № 1. С. 13—19.

*Капустин Б. Г.* «Национальный интерес» как консервативная утопия // Свободная мысль — XXI. 1996. № 3. С. 13—29.

*Карабешкин Л.* Россия и Прибалтика. Трудный путь от «любви» к дружбе // Международные процессы. Т. 2. 2004. № 1. С. 85—91.

*Карпенко О.* «Суверенная демократия» для внутреннего и наружного применения // Неприкосновенный запас. 2007. № 1. С. 134—152.

*Кейган Р.* Конец иллюзиям: история возвращается // Pro et contra. Т. 11. 2007. № 6. С. 20—40.

*Кен О. Н.* System Error? Москва и западные соседи в 1920—1930-е годы // Неприкосновенный запас. 2002. № 4. С. 29—35.

*Кива А. В.* Несистемный режим // Свободная мысль — XXI. 2004. № 9. С. 87—103.

*Козин Н. Г.* Вызов или ответ исламу? // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 23—37.

*Коньшев В. Н.* О неореализме Кеннета Уолтса // Полис. 2004. № 2. С. 146—155.

*Кружков В. А.* Югославский прецедент опасен для мира // Международная жизнь. 1999. № 10. С. 19—28.

*Куклина И. Н.* Деформация глобальных структур безопасности и Россия // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 11. С. 35—46.

*Куклина И. Н.* Права человека: политическое и гуманитарное измерение // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 11. С. 21—30.

*Лавров С. В.* Демократия, международное управление и будущее мироустройство // Россия в глобальной политике. 2004. № 6. С. 8—16.

*Лавров С. В.* Настоящее и будущее глобальной политики. Взгляд из Москвы // Россия в глобальной политике. Т. 5. 2007. № 2. С. 8—20.

*Лапкин В. В., Пантин В. И.* Запад в российском общественном мнении: до и после 11 сентября 2001 г. // Полис. 2002. № 6. С. 104—115.

*Лапкин В. В., Пантин В. И.* Образы Запада в сознании постсоветского человека // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 7. С. 68—83.

*Лебедева М. М.* Проблемы развития мировой политики // Полис. 2004. № 5. С. 106—113.

*Леонтьев М.* Концепт «Россия как энергетическая сверхдержава» // Русский журнал. 2006. 27 октября. [http://russ.ru/stat\\_i/koncept\\_rossiya\\_kak\\_energeticheskaya\\_sverhderzhava](http://russ.ru/stat_i/koncept_rossiya_kak_energeticheskaya_sverhderzhava).

*Лотман Ю. М.* К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 110—120.

*Лотман Ю. М.* Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб., 2002. С. 147—156.

*Лотман Ю. М.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб, 2002. С. 88—116.

*Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода. («Свое» и «чужое» в истории русской культуры) // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб, 2002. С. 222—232.

*Лукин В. П.* Чечня, коррупция, Косово, НАТО и другие проблемы на предвыборном фоне // Международная жизнь. 1999. № 11. С. 12—18.

*Луков В. Б.* На Западе многие с удивлением открыли для себя незаменимую роль России // Международная жизнь. 2001. № 12. С. 19—24.

*Магун А. В.* Империализация. Понятие империи и современный мир // Полис. 2007. № 2. С. 63—80.

*Магун А. В.* Новый строй Земли. Карл Шмитт как диагност современного кризиса в мировой политике // Полис. 2003. № 2. С. 112—123.

*Магун А. В.* Опыт и понятие революции // Новое литературное обозрение. 2003. № 64. С. 54—79.

*Макарычев А. С.* Постструктуралистский поворот в регионалистике: новые (предна)значения концептов // Без темы. 2006. № 1. С. 56—60.

*Малахов В. С.* Настоящее и будущее «национальной политики» в России // Прогнозис. 2006. № 3. С. 144—159.

*Малашенко А. В.* Фактор ислама в российской внешней политике // Россия в глобальной политике. Т. 5. 2007. № 2. С. 128—141.

*Малявин В. В.* Россия между Востоком и Западом: третий путь? // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания / Ред. С. В. Чернышев. М.: Аргус, 1995. С. 285—314.

*Маркедонов С.* Апология российской идеи, или Как нам сохранить Россию // Общая тетрадь. 2006. № 1. С. 27—32.

*Мартин Т.* Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма? // Ab Imperio. 2002. № 2. С. 55—87.

*Мартыанов В.* Политика в пределах здравого смысла // Свободная мысль — XXI. 2007. № 10. С. 185—198.

*Матвеева Т. Д.* О двойном стандарте в международном праве // Международная жизнь. 1999. № 12. С. 80—86.

*Мау В.* Российские экономические реформы глазами их западных критиков // Вопросы экономики. 1999. № 11. С. 4—23; № 12. С. 34—47.

*Мельвиль А. Ю.* Еще раз о сравнительной политологии и мировой политике // Полис. 2004. № 5. С. 114—119.

*Миллер А. И.* Нация как рамка политической жизни // Pro et contra. Т. 11. 2007. № 3. С. 6—20.

*Могилевкин И. М.* Борьба за российское пространство // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 3. С. 96—106.

*Мошес А.* Военно-политическая переориентация стран Центральной и Восточной Европы и Балтии // Европа. Вчера, сегодня, завтра / Отв. ред. Н. П. Шмелев. М.: Экономика, 2002. С. 674—688.

*Муфф Ш.* Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии // Логос. 2004. № 6. С. 140—153.

*Нарочницкая Н. А.* Европа «старая» и Европа «новая» // Международная жизнь. 2003. № 4. С. 45—63.

*Нарочницкая Н. А.* Избежать нового передела мира // Международная жизнь. 1999. № 11. С. 19—28.

*Нарочницкая Н. А.* Политика России на пороге третьего тысячелетия // Внешняя политика и безопасность современной России (1991—1998). Хрестоматия: В 2 т. / Ред. Т. А. Шаклеина. Исследования. М.: Московский общественный научный фонд, 1999. Т. 1. С. 248—268.

*Нарочницкая Н. А.* «Русский вызов» — сенсация в политологии // Международная жизнь. 2001. № 5. С. 87—96.

Нация // Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1975. Т. 17. С. 375—376.

*Нерсесов Д.* Против ревизионизма // Русский журнал. 2007. 8 мая. [http://www.russ.ru/stat\\_i/protiv\\_revizionizma](http://www.russ.ru/stat_i/protiv_revizionizma).

О создании «общего рынка» и Евратома // Мировая экономика и международные отношения. 1957. № 1. С. 83—96.

*Палан Р., Блэр Б.* Об идеалистических истоках реалистической теории международных отношений // Неприкосновенный запас. 2005. № 5. С. 4—15.

*Пантин И. К.* В чем же заключается выбор россиян? // Полис. 2003. № 6. С. 155—162.

*Пастухов В. Б.* Украина — не с Россией. Причины и последствия стратегических просчетов российской политики по отношению к Украине // Полис. 2005. № 1. С. 25—35.

*Петухов В. В.* Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан: есть ли точки соприкосновения? // Свободная мысль — XXI. 2006. № 4. С. 85—100.

*Погорельский А.* Конструктивный консерватизм // Прогнозис. 2006. № 2. С. 3—7.

*Пресняков А.* Место «Киевского периода» в общей системе «Русской Истории» // Ab Imperio. 2003. № 3. С. 21—34.

*Пядышев Б.Д.* В Вашингтоне и Нью-Йорке после взрывов // Международная жизнь. 2001. № 9—10. С. 3—16.

*Пядышев Б.Д.* Госсекретарь США пишет письмо в Ригу // Международная жизнь. 2001. № 11. С. 27—28.

*Рамоне И.* Польская паранойя // Le monde diplomatique. 2007. № 4. С. 1.

*Ремизов М.* День общенациональной скуки // Русский журнал. 2000. 8 ноября. [http://old.russ.ru/politics/events/20001108\\_remizov.html](http://old.russ.ru/politics/events/20001108_remizov.html).

*Реут О. Ч.* Прилагательные суверенитета. Суверенитет как прилагательное // Полис. 2007. № 3. С. 115—124.

*Рогов С.М.* Новая геополитическая ситуация в Европе // Мир после Косово: Россия, СНГ, Латинская Америка. Материалы научно-практической конференции в ИЛА РАН. М.: ИЛА, 2000. С. 23—36.

*Ролз Дж.* Закон народов: неидеальная теория // Неприкосновенный запас. 2002. № 4. С. 6—21.

*Романчук Я.* Запад против Запада // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 6—22.

*Русакова О. Ф., Максимов Д. А.* Политическая дискурсология: предметное поле, теоретические подходы и структурная модель политического дискурса // Полис. 2006. № 4. С. 26—43.

*Руткевич М.Н.* Консолидация общества и социальные противоречия // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 24—34.

*Руткевич М.Н.* О судьбах русского этноса // Свободная мысль — XXI. 2004. № 1. С. 56—63.

*Рябов О.В.* Идея женственности России в сочинениях В. С. Соловьева и поиски национальной идентичности в отече-



ственной историософии // Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. Иваново: ИГЭУ, 2001. Вып. 2. С. 216—229.

*Салмин А. М.* Россия в новом европейском и мировом порядке // Мир и Россия на пороге XXI века. Вторые Горчаковские чтения. МГИМО МИД России (23—24 мая 2000г.). М.: РОССПЭН, 2001. С. 50—70.

*Семененко И. С., Лапкин В. В., Пантин В. И.* Образ России на Западе: диалектика представлений в контексте мирового развития. К постановке проблемы // Полис. 2006. № 6. С. 110—124.

*Семенов А. М.* От редакции. Дилеммы написания истории империи и нации: украинская перспектива // Ab Imperio. 2003. № 2. С. 377—386.

*Сергунин А. А.* Международная безопасность: новые политические подходы и концепты // Полис. 2005. № 6. С. 126—137.

*Симония Н.* Энергобезопасность Запада и роль России // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 2. С. 77—91.

*Симомян Р. Х.* Приватизация по-прибалтийски и по-российски // Свободная мысль — XXI. 2004. № 5. С. 23—42.

*Соловей В. Д.* Контурсы нового мира // Свободная мысль — XXI. 2007. № 1. С. 7—18.

*Соловей В. Д.* Не Запад. Не Восток. Не Евразия. О цивилизационной идентичности России // Свободная мысль — XXI. 2005. № 11. С. 108—128.

*Суни Р.* Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 163—196.

*Сулов Д.* Регион Балтийского моря как фактор европейской безопасности // Балтийские исследования. 2000. № 1. С. 7—27.

*Торкунов А. В.* Международные отношения после косовского кризиса // Международная жизнь. 1999. № 12. С. 45—52.

*Тренин Д. В.* Казус Косово // Pro et Contra. Т. 10. 2006. № 5—6. С. 6—21.

*Ферретти М.* Непримируемая память. Россия и война. Заметки на полях спора на жгучую тему // Неприкосновенный запас. 2005. № 2—3. С. 76—82.

*Филитов А. Ф.* Суверенитет // Апология. 2005. № 3. С. 58—77.

*Филитов А. М.* «Образ врага»: роль мисперцепции в формировании менталитета и политики «холодной войны» // XX век: основные проблемы и тенденции международных отношений. М.: ИВИ РАН, 1992. С. 125—141.

*Фреден Л.* Тени прошлого над Россией и Балтией // Россия в глобальной политике. Т. 3. 2005. № 3. С. 122—130.

*Фуко М.* Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистерум; Касталь, 1996. С. 7—46.

*Фурман Д.* Общее и особенное в политическом развитии постсоветской России и других стран СНГ // Прогнозис. 2006. № 3. С. 91—114.

*Хапаева Д.* Готическое общество. Сталинское прошлое в российском настоящем // Критическая масса. 2006. № 1. С. 87—97 [http://www.artpragmatica.ru/km\\_content/?auid=25](http://www.artpragmatica.ru/km_content/?auid=25).

*Хестанов Р. З.* Геополитика крупных ансамблей // Апология. 2005. № 2. С. 24—32.

*Христенко В. Б.* Нужна ли нам интеграция? // Россия в глобальной политике. Т. 2. 2004. № 1. С. 74—87.

*Цыганков П. А.* Либерализм в российской теории международных отношений // Космополис. 2003. № 6.

*Цымбурский В. Л.* Остров Россия. Перспективы российской геополитики // Полис. 1993. № 5. С. 6—23.

*Цымбурский В. Л.* «Остров Россия» vs «остов Россия». Интервью Вадима Цымбурского Михаилу Ремизову. [http://www.archipelag.ru/ru\\_mir/ostrov-rus/cymbur/island\\_skeleton/](http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/cymbur/island_skeleton/).

*Черниченко С. В.* События в Прибалтике 1940 года как предлог для дискриминации русскоязычного населения // Международная жизнь. 1998. № 3. С. 62—67.

*Чернышев С.* Россия-2008: оправдана ли ставка на корпорацию? // Русский журнал. 2006. 21 сентября. [http://russ.ru/stat\\_i/rossiya\\_2008\\_opravdana\\_li\\_stavka\\_na\\_korporaciyu](http://russ.ru/stat_i/rossiya_2008_opravdana_li_stavka_na_korporaciyu).

*Чижов В.А.* Стамбульский саммит // Международная жизнь. 1999. № 12. С. 39—44.

*Чугров С.В.* К вопросу о правах человека в российской внешней политике // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 6. С. 3—13.

*Шейнис В.Л.* Национальные интересы и внешняя политика России // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 4. С. 33—46.

*Шмелев Н.П.* Предисловие. Россия и Европа на пороге XXI в. // Европа: вчера, сегодня, завтра / Отв. ред. Н. П. Шмелев. М.: Экономика, 2002. С.

*Юргенс И.Ю.* Балтийская «лаборатория» Большой Европы // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 3. С. 178—185.

*Янов А.* Идейная война // Свободная мысль — XXI. 2005. № 3. С. 40—58.

*Янов А.* Россия и Европа. 1462—1921 // Неприкосновенный запас. 2007. № 1(51). С. 84—106.

*Adler E.* Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics // European Journal of International Relations. Vol. 3. 1997. No. 3. P. 319—363.

*Adler N.* The Future of the Soviet Past Remains Unpredictable: The Resurrection of the Soviet Symbols Amidst the Exhumation of Mass Graves // Europe-Asia Studies. Vol. 57. 2005. No. 8. P. 1093—1119.

*Alker H.* On Securitization Politics as Contexted Texts and Talk // Journal of International Relations and Development. Vol. 9. 2006. No. 1. P. 70—80.

*Alker H.R.* On Learning from Wendt // Review of International Studies. Vol. 26. 2000. No. 1. P. 141—150.

*Althusser L.* Ideology and Ideological State Apparatuses // Althusser L. Lenin and Philosophy and Other Essays. London: NLB, 1971. P. 127—186.

*Ambrosio T.* The Political Success of Russia-Belarus Relations: Insulating Minsk from a «Color» Revolution // Demokratizatsiya. Vol. 14. 2006. No. 3. P. 407—434.

*Aradau C.* Limits of Security, Limits of Politics? A Response // Journal of International Relations and Development. Vol. 9. 2006. No. 1. P. 81—90.

*Aradau C.* Security and the Democratic Scene: Desecuritization and Emancipation // Journal of International Relations and Development. Vol. 7. 2004. No. 4. P. 388—413.

*Ashley R.* The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International Politics // Alternatives. Vol. 14. 1990. No. 4. P. 403—434.

*Ashley R. K., Walker R. B. J.* Conclusion. Reading Dissidence/ Writing the Discipline: Crisis and the Question of Sovereignty in International Studies // International Studies Quarterly. Vol. 34. 1990. No. 3. P. 367—416.

*Balzacq T.* The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context // European Journal of International Relations. Vol. 11. 2005. No. 2. P. 171—201.

*Barth F.* Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity // The Anthropology of Ethnicity: Beyond «Ethnic Groups and Boundaries» / Ed. by H. Vermeulen, C. Govers. Amsterdam: Spinhuis, 1994. P. 11—32.

*Basil J. D.* Church-State Relations in Russia: Orthodoxy and Federation Law, 1990—2004 // Religion, State and Society. Vol. 33. 2005. No. 2. P. 151—163.

*Behnke A.* No Way Out: Desecuritization, Emancipation and the Eternal Return of the Political — a Reply to Aradau // Journal of International Relations and Development. Vol. 9. 2006. No. 1. P. 62—69.

*Berger S. R.* Foreign Policy for a Democratic President // Foreign Affairs. Vol. 83. 2004. No. 3. P. 47—63.

*Bieler A., Morton A. D.* The Gordian Knot of Agency — Structure in International Relations: A Neo-Gramscian Perspective // *European Journal of International Relations*. Vol. 7. 1997. No. 1. P. 5—35.

*Breslauer G., Dale C.* Boris Yeltsin and the Invention of the Russian Nation State // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 13. 1997. No. 4. P. 303—332.

*Browning C. S.* The Internal/External Security Paradox and the Reconstruction of Boundaries in the Baltic: The Case of Kaliningrad // *Alternatives*. Vol. 28. 2003. No. 5. P. 545—581.

*Browning C. S.* Westphalian, Imperial, Neomedieval: The Geopolitics of Europe and the Role of the North // *Remaking Europe in the Margins: Northern Europe after the Enlargements* / Ed. by C. S. Browning. Aldershot: Ashgate, 2005. P. 85—101.

*Bruner M. L.* Taming «Wild» Capitalism // *Discourse & Society*. Vol. 13. 2002. No. 2. P. 167—184.

*Buzan B.* Rethinking Security After the Cold War // *Cooperation and conflict*. Vol. 32. 1997. No. 1. P. 5—28.

*Buzan B., Wæver O.* Slippery? Contradictory? Sociologically Untenable? The Copenhagen School Replies // *Review of International Studies*. Vol. 23. 1997. No. 2. P. 241—250.

*Carlsnaes W.* The Agency — Structure Problem in Foreign Policy Analysis // *International Studies Quarterly*. Vol. 36. 1992. No. 3. P. 245—270.

*Cederman L.-E., Daase C.* Endogenizing Corporate Identities: The Next Step in Constructivist IR Theory // *European Journal of International Relations*. 2003. Vol. 9. No. 1. P. 5—35.

*Chandler D.* Back to the Future? The Limits of Neo-Wilsonian Ideals of Exporting Democracy // *Review of International Studies*. Vol. 32. 2006. No. 3. P. 475—494.

*Checkel J. T.* Social Constructivisms in Global and European Politics: A Review Essay // *Review of International Studies*. Vol. 30. 2004. No. 2. P. 229—244.

*Chong A.* Classical Realism and the Tension between Sovereignty and Intervention: Constructions of Expediency from Machiavelli, Hobbes and Bodin // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 8. 2005. No. 3. P. 257—286.

*Cox R. W.* Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations // *Millennium*. Vol. 10. 1981. No. 2. P. 126—155.

*Dalacoura K.* US Democracy Promotion in the Arab Middle East Since 11 September 2001: A Critique // *International Affairs*. Vol. 81. 2005. No. 5. P. 963—979.

*Dawe A.* Theories of Social Action // *A History of Sociological Analysis* / Ed. by T. Bottomore, R. Nisbet. New York: Basic Books, 1978. P. 362—417.

*Derrida J.* Différance // *Derrida J. Margins of Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press, 1982. P. 3—27.

*Derrida J.* Force of Law: The «Mystical Foundation of Authority» // *Deconstruction and the Possibility of Justice* / Ed. by D. G. Carlson, D. Cornell, M. Rosenfeld. New York: Routledge, 1992. P. 3—67.

*Dessler D.* What's at Stake in the Agent-Structure Debate? // *International Organization*. Vol. 43. 1989. No. 3. P. 441—473.

*Deudney D.* The Case Against Linking Environmental Degradation and National Security // *Millennium*. Vol. 19. 1990. No. 3. P. 461—476.

*Dietz M. G.* Current Controversies in Feminist Theory // *American Review of Political Science*. Vol. 6. 2003. P. 399—431.

*Diez T.* Europe's Others and the Return of Geopolitics // *Cambridge Review of International Affairs*. Vol. 17. 2004. No. 2. P. 319—335.

*Dijk T. A. van.* Critical Discourse Analysis // *The handbook of discourse analysis* / Ed. by D. Schiffrin, D. Tannen, H. E. Hamilton. Maiden: Blackwell, 2001. P. 352—371.

*Dijk T. A. van.* Political Discourse and Political Cognition // *Politics as Text and Talk: Analytic Approaches to Political Discourse* / Ed. by P. Chilton, C. Schiffrin. Philadelphia: John Benjamin, 2002. P. 203—237.

*Doty R. L.* Aporia: A Critical Exploration of the Agent — Structure Problematique in International Relations Theory // *European Journal of International Relations*. Vol. 3. 1997. No. 3. P. 365—392.

*Doty R. L.* Desire All the Way Down // *Review of International Studies*. Vol. 26. 2000. No. 1. P. 137.

*Doty R. L.* Maladies of Our Souls: Identity and Voice in the Writing of Academic International Relations // *Cambridge Review of International Affairs*. 2004. Vol. 17. No. 2. P. 377—392.

*Edkins J., Pin-Fat V.* The Subject of the Political // *Sovereignty and Subjectivity* / Ed. by J. Edkins, N. Persram, V. Pin-Fat. Boulder: Lynne Rienner, 1999. P. 1—18.

*Eriksson J.* Debating the Politics of Security Studies. Response to Goldmann, Wæver and Williams // *Cooperation and Conflict*. 1999. Vol. 34. No. 3. P. 345—352.

*Eriksson J.* Observers or Advocates? On the Political Role of Security Analysis // *Cooperation and Conflict*. 1999. Vol. 34. No. 3. P. 311—330.

*Evans A.* Forced Miracles: The Russian Orthodox Church and Postsoviet International Relations // *Religion, State and Society*. Vol. 30. 2002. P. 33—43.

Forum on *Social Theory of International Politics* // *Review of International Studies*. Vol. 26. 2000. No. 1. P. 123—163.

*Foucault M.* Politics and the Study of Discourse // *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* / Ed. by G. Burchell, C. Gordon, P. Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 53—72.

*Foucault M.* Truth and Power // *Foucault M. Power/Knowledge. Selected Interviews and other Writings 1972—1977* / Ed. by C. Gordon. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1980. P. 109—133.

*Fuss D.* «Essentially Speaking»: Luce Irigaray's Language of Essence // *Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency, and Culture* / Ed. by N. Fraser, S. Lee Bartky. Bloomington: Indiana University Press, 1992. P. 94—112.

*Gheciu A.* Security Institutions as Agents of Socialization: NATO and the «New Europe» // *International Organization*. Vol. 59. 2005. No. 4. P. 973—1012.

*Giddens A.* Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991.

*Goble P.A.* Redefining Estonia's National Security // The Estonian Foreign Policy Yearbook 2005 / Ed. by A. Kasekamp. Tallinn: The Estonian Foreign Policy Institute, 2005. P. 9—20.

*Hall S.* The Question of Cultural Identity // Modernity and Its Futures / Ed. by S. Hall, D. Held, T. McGrew. London: Polity Press, 1992. P. 273—316.

*Hansen L.* Gender, Nation, Rape: Bosnia and the Construction of Security // International Feminist Journal of Politics. Vol. 3. 2001. No. 1. P. 55—75.

*Hanson S.E.* Ideology, Uncertainty, and the Rise of Anti-System Parties in Post-Communist Russia // Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 14. 1998. No. 1—2. P. 98—127.

*Hanson S.E.* Postimperial Democracies: Ideology and Party Formation in Third Republic France, Weimar Germany, and Post-Soviet Russia // East European Politics and Societies. Vol. 20. 2006. No. 2. P. 343—372.

*Harvie J, Khowles R.P.* Dialogic Monologue: a Dialogue // Theatre Research in Canada / Recherches Théâtrales du Canada. 1994. Vol. 15. No. 2. P. 136—163.

*Hollis M., Smith S.* Beware of Gurus: Structure and Action in International Relations // Review of International Studies. Vol. 17. 1991. No. 4. P. 393—410.

*Hollis M., Smith S.* Two Stories about Structure and Agency // Review of International Studies. Vol. 20. 1994. No. 3. P. 241—251.

*Huysmans J.* Defining Social Constructivism in Security Studies: The Normative Dilemma of Writing Security // Alternatives. Vol. 27. 2002. Special Issue. P. 41—62.

*Huysmans J.* A Foucaultian View on Spill-Over: Freedom and Security in the EU // Journal of International Relations and Development. Vol. 7. 2004. No. 3. P. 294—318.

*Huysmans J.* International Politics of Insecurity: Normativity, Inwardness and the Exception // Security Dialogue. Vol. 37. 2006. No. 1. P. 11—29.



*Ioffe G.* Understanding Belarus: Belarusian Identity // Europe-Asia Studies. Vol. 55. 2003. No. 8. P. 1241—1272.

*Ioffe G.* Understanding Belarus: Economy and Political Landscape // Europe-Asia Studies. Vol. 56. 2004. No. 1. P. 85—118.

*Isb-Shalom P.* The Triptych of Realism, Elitism, and Conservatism // International Studies Review. Vol. 8. 2006. No. 3. P. 441—468.

*Ispa-Landa S.* Russian Preferred Self-Image and the Two Chechen Wars // Demokratizatsiya. Vol. 11. 2003. No. 2. P. 305—319.

*Jackson P. T., Nexon D. H.* Globalization, the Comparative Method, and Comparing Constructions // Constructivism and Comparative Politics / Ed. by D. M. Green. Armonk: M. E. Sharpe, 2002. P. 88—120.

*Jansons A.* Latvian-Russian Relations in Trouble. For How Long? // The Baltic Review. 1998. No. 15. P. 4—5.

*Joenniemi P.* Kosovo and the End of War // Mapping European Security After Kosovo / Ed. by P. van Ham and S. Medvedev. Manchester: Manchester University Press, 2002. P. 48—65.

*Joenniemi P.* Towards a European Union of Post-Security? // Cooperation and Conflict. Vol. 42. 2007. No. 1. P. 127—148.

*Johnson B.* Translator's Introduction // Derrida J. Dissemination. London: Athlone Press, 1981. P. vii—xxxiii.

*Kapustin B.* Modernity's Failure/Post-modernity's Predicament: The Case of Russia // Critical Horizons. Vol. 4. 2003. No. 1. P. 99—145.

*Kelley J.* International Actors on the Domestic Scene: Membership Conditionality and Socialization by International Institutions // International Organization. Vol. 58. 2004. No. 3. P. 425—457.

*Knudsen O. F.* Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization // Security Dialogue. Vol. 32. 2001. No. 3. P. 355—368.

*Kolossov V., Turousky R.* Russian Geopolitics at the Fin-de-siecle // Geopolitics. Vol. 6. 2001. No. 1. P. 141—164.

*Kramer M.* NATO, the Baltic States and Russia: A Framework for Sustainable Enlargement // International Affairs. Vol. 78. 2002. No. 4. P. 731—756.

*Kratochwil F.* Constructing a New Orthodoxy? Wendt's 'Social Theory of International Politics' and the Constructivist Challenge // *Millennium*. Vol. 29. 2000. No. 1. P. 73—101.

*Kristeva J.* Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // *Critique*. T. XXIII. 1967. No. 239. P. 438—465.

*Kundera M.* The Tragedy of Central Europe // *New York Review of Books*. 1984. 26 April.

*Kvale S.* Postmodern Psychology: A Contradiction in Terms? // *Psychology and Postmodernism* / Ed. by S. Kvale. London: Sage, 1992. P. 31—57.

*Laclau E.* Discourse // *A Companion to Contemporary Political Philosophy* / Ed. by R. E. Goodin and P. Pettit. Oxford: Blackwell, 1991. P. 431—437.

*Laclau E.* Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics // Butler J., Laclau E., Žižek S. *Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left*. London; New York: Verso, 2000. P. 44—89.

*Laclau E.* Power and Representation // *Politics, Theory, and Contemporary Culture* / Ed. by M. Poster. New York: Columbia University Press, 1993. P. 277—296.

*Laclau E.* Structure, History and the Political // Butler J., Laclau E., Žižek S. *Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left*. London; New York: Verso, 2000. P. 182—212.

*Laclau E.* The Death and Resurrection of the Theory of Ideology // *Journal of Political Ideologies*. Vol. 1. 1996. No. 3. P. 201—220.

*Lavrov S.* 60 Years of Fulton: Lessons of the Cold War and Our Time // *International Affairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relations*. Vol. 52. 2006. No. 2. P. 8—12.

*Lodge J.* EU Homeland Security: Citizens or Suspects? // *European Integration*. Vol. 26. 2004. No. 3. P. 253—279.

*Lomas P.* Anthropomorphism and Ethics: A Reply to Alexander Wendt // *Review of International Studies*. Vol. 31. 2005. No. 2. P. 349—355.

*Lynch D.* «The enemy is at the gate» // *International Affairs*. Vol. 81. 2005. No. 1. P. 141—161.

*Malachov V.* Russia's Identity and Foreign Policy: Perceptions of the Baltic Region // Neo-Nationalism or Regionality. The Restructuring of Political Space Around the Baltic Rim / Ed. by P. Joenniemi. Stockholm: NordREFO, 1997. P. 139—1880.

*Malmvig H.* Caught between cooperation and democratization: the Barcelona Process and the EU's double-discursive approach // Journal of International Relations and Development. Vol. 9. 2006. No. 4. P. 343—370.

*McFaul M.* Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution // International Security. Vol. 32. 2007. No. 2. P. 45—83.

*McSweeney B.* Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School // Review of International Studies. Vol. 22. 1996. No. 1. P. 81—93.

*Medvedev S.* A General Theory of Russian Space: A Gay Science and a Rigorous Science // Alternatives. 1997. Vol. 22. No. 4. P. 523—553.

*Mendelson S. E., Herber T. P.* Failing the Stalin Test // Foreign Affairs. Vol. 85. 2006. No. 1. P. 2—8.

*Milliken J.* The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods // European Journal of International Relations. Vol. 5. 1999. No. 2. P. 225—254.

*Mironowicz E.* The Attitudes of Belarusians and Poles Toward the Independence of Their Countries // International Journal of Sociology. Vol. 31. 2001. No. 4. P. 79—89.

*Morozov V.* New Borderlines in a United Europe: Democracy, Imperialism and the Copenhagen Criteria // Russia's North West and the European Union: a Playground for Innovations. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University Press, 2005. P. 74—84.

*Morozov V.* Resisting Entropy, Discarding Human Rights: Romantic Realism and Securitisation of Identity in Russia // Cooperation and Conflict. Vol. 37. 2002. No. 4. P. 409—430.

*Morozov V.* Russia's Changing Attitude toward the OSCE: Contradictions and Continuity // Sicherheit und Frieden. Vol. 23. 2005. Nr. 2. S. 69—73.

*Morozov V.* Sovereignty and Democracy in Contemporary Russia: A Modern Subject Faces the Post-Modern World // Journal of International Relations and Development. Vol. 11. 2008. No. 2. P. 152—180.

*Mouffe C.* Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy // The Challenge of Carl Schmitt / Ed. by C. Mouffe. London: Verso, 1999. P. 38—53.

*Mouffe C.* Introduction // The Challenge of Carl Schmitt / Ed. by C. Mouffe. London: Verso, 1999. P. 1—6.

*Nadkarni M., Shevchenko O.* The Politics of Nostalgia: A Case for Comparative Analysis of Post-socialist Practices // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 487—519.

*Neumann I. B.* The Geopolitics of Delineating «Russia» and «Europe»: The Creation of 'the Other' in European and Russian Tradition // Is Russia a European Power? The Position of Russia in a New Europe / Ed. T. Casier, K. Malfliet. Leuven: Leuven University Press, 1998. P. 17—44.

*Neumann I. B.* Kosovo and the End of the Legitimate Warring State // Mapping European Security After Kosovo / Ed. by P. van Ham and S. Medvedev. Manchester: Manchester University Press, 2002. P. 66—81.

*Neumann I. B.* Ringmar on Identity and War // Cooperation and Conflict. Vol. 32. 1997. No. 3. P. 309—330.

*Neumann I. B.* Russia as a Great Power, 1815—2007 // Journal of International Relations and Development. Vol. 11. 2008. No. 2. P. 128—151.

*O'Loughlin J., Ó Tuathail G., Kolossov V.* A «Risky Westward Turn»? Putin's 9-11 Script and Ordinary Russians // Europe-Asia Studies. Vol. 56. 2004. No. 1. P. 3—34.

*Oldberg I.* Foreign Policy Priorities under Putin: A *tour d'horizon* // Russia as a Great Power: Dimensions of Security under Putin / Ed. by Jakob Hedenskog et al. London: Routledge, 2005. P. 29—56.

*Onken E.-C.* The Baltic States and Moscow's 9 May Commemoration: Analysing Memory Politics in Europe // Europe-Asia Studies. Vol. 59. 2007. No. 1. P. 23—46.

*Parland T.* Russia in the 1990s: Manifestations of a Conservative Backlash Philosophy // The Fall of an Empire, the Birth of a Nation. National Identities in Russia / Ed. by C. J. Chulos, T. Piirainen. Aldershot: Ashgate, 2000. P. 116—140.

*Patomäki H., Pursiainen C.* Western Models and the «Russian Idea»: Beyond «Inside/Outside» in Discourses on Civil Society' // Millennium. Vol. 28. 1999. No. 1. P. 53—77.

*Pettiford L.* When Is a Realist Not a Realist? Stories Knudsen Doesn't Tell // Security Dialogue. Vol. 32. 2001. No. 3. P. 369—374.

*Prozorov S.* Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // Journal of Political Ideologies. Vol. 10. 2005. No. 2. P. 121—143.

*Rawls J.* Two Concepts of Rules // Philosophical Review. Vol. 64. 1955. No. 1. P. 3—32.

*Roe P.* Securitization and Minority Rights: Conditions of Desecuritization // Security Dialogue. Vol. 35. 2004. No. 3. P. 279—294.

*Roy O.* The Predicament of «Civil Society» in Central Asia and the «Greater Middle East» // International Affairs. Vol. 81. 2005. No. 5. P. 1001—1012.

*Rosenberg J.* Globalization Theory: A Post Mortem // International Politics. Vol. 42. 2005. No. 1. P. 2—74.

*Rudensky N.* Russian Minorities in the Newly Independent States. An International Problem in the Domestic Context of Russia Today // National Identity and Ethnicity in Russia and the New States of Eurasia/Ed. by R. Szporluk. Armonk, London: M.E. Sharpe, 1994. P. 58—77.

*Rumelil B.* Constructing Identity and Relating to Difference: Understanding the EU's mode of Differentiation // Review of International Studies. Vol. 30. 2004. No. 1. P. 27—47.

*Sayigh Y.* Inducing a Failed State in Palestine // Survival. Vol. 49. 2007. No. 3. P. 7—39.

*Scheipers S.* Civilization *vs* Toleration: The New UN Human Rights Council and the Normative Foundations of the International Order // Journal of International Relations and Development. Vol. 10. 2007. No. 3. P. 219—242.

*Schmitt C.* The Legal World Revolution // *Telos*. 1987. No. 72. P. 73—89.

*Searle J.R.* Indirect Speech Acts // *Syntax and Semantics* / Ed. by P. Cole, J. L. Morgan. Vol. 3. Speech Acts. New York: Academic Press, 1975. P. 59—82.

*Seitz B.* Democracy, Representation, and Sovereignty in the 21<sup>st</sup> Century // *Market Democracy in Post-Communist Russia* / Ed. by M. L. Bruner, V. Morozov. Leeds: Wisdom House, 2005. P. 282—306.

*Sergounin A.* The Russia Dimension // *Bordering Russia: Theory and Practice for Europe's Baltic Rim* / Ed. by H. Mouritzen. Aldershot: Ashgate, 1998. P. 15—71.

*Shapiro M.J.* Every Move You Make: Bodies, Surveillance, and Media // *Social Text*. Vol. 23. 2005. No. 2. P. 21—34.

*Smith D.* The Restorationist Principle in Post-Communist Estonia // *Ethnicity and Nationalism in Russia, the CIS and the Baltic States* / Ed. by C. Williams, T. D. Sfikas. Aldershot: Ashgate, 1999. P. 287—323.

*Smith K. E.* Whither Anti-Stalinism? // *Ab Imperio*. 2004. № 4. C. 433—448.

*Smith S.* The Increasing Insecurity of Security Studies: Conceptualizing Security in the Last 20 Years // *Critical Reflections on Security and Change* / Ed. by S. Croft, T. Terriff. L, Portland: Frank Cass, 2000. P. 72—101.

*Stent A.* Reluctant Europeans: Three Centuries of Russian Ambivalence Toward the West // *Russian Foreign Policy in the Twenty-First Century and the Shadow of the Past* / Ed. by R. Legvold. New York: Columbia University Press, 2007. P. 393—441.

*Straus I.* Western Common Homes and Russian National Identities: How Far East Can the EU and NATO Go, and Where Does That Leave Russia? // *European Security*. Vol. 8. 2001. No. 4. P. 1—44.

*Strauss L.* Notes on Carl Schmitt, The Concept of the Political // *Schmitt C.* The Concept of the Political. Chicago; London: University of Chicago Press, 1996. P. 81—107.

*Strong T.B.* Foreword: Dimensions of the New Debate Around Carl Schmitt // *Schmitt C.* The Concept of the Political. Chicago; London: University of Chicago Press, 1996. P. ix—xxvii.

*Surry R. G.* Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia // *International Security*. Vol. 24. 1999. No. 3. P. 139—178.

*Szporluk R.* Introduction. Statehood and Nation Building in Post-Soviet Space // *National Identity and Ethnicity in Russia and the New States of Eurasia* / Ed. by R. Szporluk. Armonk, London: M.E. Sharpe, 1994. P. 3—17.

*Taureck R.* Securitization Theory and Securitization Studies // *Journal of International Relations and Development*. Vol. 9. 2006. No. 1. P. 53—61.

*Teresbkovich P.* The Belarusian Road to Modernity // *International Journal of Sociology*. Vol. 31. 2001. No. 3. P. 78—93.

*Toews J. E.* Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreducibility of Experience // *The American Historical Review*. Vol. 92. 1987. No. 4. P. 879—907.

*Tolz V.* A Search for a National Identity in Yeltsin's and Putin's Russia // *Restructuring Post-Communist Russia* / Ed. by Y. Brudny, S. Hoffman and J. Frankel. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 160—178.

*Tolz V.* Conflicting «Homeland Myths» and Nation-State Building in Postcommunist Russia // *Slavic Review*. Vol. 57. 1998. No. 2. P. 267—294.

*Torfin J.* Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges // *Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance* / Ed. by D. Howarth, J. Torfin. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 1—32.

*Trenin D.* Security Cooperation in North-Eastern Europe: A Russian Perspective // *Trenin D., Van Ham P.* Russia and the United States in Northern European Security. Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti; Bonn: Institut für Europäische Politik, 2000. P. 15—54.

*Urban M.* Remythologising the Russian State // *Europe-Asia Studies*. 1998. Vol. 50. No. 6. P. 969—992.

*Vaughan-Williams N.* The Generalised Border: Re-Conceptualising the Limits of Sovereign Power // *Review of International Studies*. Vol. 34. 2008 (forthcoming).

*Vining L.* Expansion of the North Atlantic Treaty Organization and Russian National Security Strategy: Compatible Concepts? // *Baltic Defence Review*. Vol. 7. 2002. No. 1. P. 71—100.

*Wæver O.* European Security Identities // *Journal of Common Market Studies*. Vol. 34. 1996. No. 1. P. 103—132.

*Wæver O.* Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory // *European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States* / Ed. by L. Hansen, O. Wæver. London; New York: Routledge, 2002. P. 20—49.

*Wæver O.* Securitization and Desecuritization // *On Security* / Ed. by R. D. Lipschutz. New York: Columbia University Press, 1995. P. 46—86.

*Wæver O.* Securitizing Sectors? Reply to Eriksson // *Cooperation and Conflict*. Vol. 34. 1999. No. 3. P. 334—340.

*Wæver O.* The Baltic Sea: A Region after Post-Modernity? // *Neo-Nationalism or Regionality. The Restructuring of Political Space Around the Baltic Rim* / Ed. by P. Joenniemi. Stockholm: NordREFO, 1997. P. 293—342.

*Walker R. B. J.* Security, Sovereignty, and the Challenge of World Politics // *Alternatives*. Vol. 15. 1990. No. 1. P. 3—27.

*Walters W.* Borders/Control // *European Journal of Social Theory*. Vol. 9. 2006. No. 2. P. 187—203.

*Weber C.* Securitising the Unconscious: The Bush Doctrine of Preemption and Minority Report // *Geopolitics*. Vol. 10. 2005. No. 3. P. 482—499.

*Weldes J.* Constructing National Interests // *European Journal of International Relations*. Vol. 2. 1996. No. 3. P. 275—318.

*Wendt A.* The Agent — Structure Problem in International Relations // *International Organization*. Vol. 41. 1987. No. 2. P. 335—370.

*Wendt A.* Collective Identity Formation and the International State // *American Journal of Sociology*. Vol. 88. 1994. No. 2. P. 384—396.

*Wendt A.* How Not to Argue Against State Personhood: A Reply to Lomas // *Review of International Studies*. Vol. 31. 2005. No. 2. P. 357—360.



*Wendt A.* On the Via Media: A Response to the Critics // Review of International Studies. Vol. 26. 2000. No. 1. P. 165—180.

*Wendt A.* *Social Theory as Cartesian Science: An Auto-Critique from a Quantum Perspective* // Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics / Ed. by S. Guzzini, A. Leander. London; New York: Routledge, 2006. P. 181—219.

*Wendt A.* The State as Person in International Theory // Review of International Studies. Vol. 30. 2004. No. 2. P. 289—316.

*Wendt A.* Why a World State is Inevitable // European Journal of International Relations. Vol. 9. 2003. No. 4. P. 491—542.

*Werner W. G., Wilde J. H. de.* The Endurance of Sovereignty // European Journal of International Relations. Vol. 7. 2001. No. 3. P. 283—313.

*White M. J.* New Scholarship on the Cuban Missile Crisis // Diplomatic History. Vol. 26. 2002. No. 1. P. 147—153.

*White S., Light M., McAlister I.* Russia and the West: Is There a Values Gap? // International Politics. Vol. 42. 2005. No. 3. P. 314—333.

*Williams M. C.* Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics // International Studies Quarterly. Vol. 47. 2003. No. 4. P. 511—531.

*Zappen J. P.* Mikhail Bakhtin (1895—1975) // Twentieth-Century Rhetoric and Rhetoricians: Critical Studies and Sources / Ed. by M. G. Moran and M. Ballif. Westport: Greenwood Press, 2000. P. 7—22.

*Zehfuss M.* Constructivisms in International Relations: Wendt, Onuf and Kratochwil // Constructing International Relations: The Next Generation / Ed. by K. E. Jørgensen, K. M. Fierke. Armonk: M. E. Sharpe, 2001. P. 54—75.

*Zehfuss M.* Constructivism and Identity: A Dangerous Liaison // European Journal of International Relations. Vol. 7. 2001. No. 3. P. 315—348.

*Žižek S.* Beyond Discourse Analysis // *Laclau E.* New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990. P. 249—260.

*Žižek S.* Carl Schmitt in the Age of Post-Politics // The Challenge of Carl Schmitt / Ed. by C. Mouffe. London: Verso, 1999. P. 18—37.

*Zweynert J.* Conflicting Patterns of Thought in the Russian Debate on Transition: 1992—2002 // Europe-Asia Studies. Vol. 59. 2007. No. 1. P. 47—69.

## Материалы периодической печати и иных средств массовой информации

*Адамишин А.Л.* Зачем нам нужна прозападная внешняя политика // Независимая газета. 2002. 16 марта.

*Айранетова Н.* Аты-баты, все — под Штаты! // Независимая газета. 2002. 11 марта.

*Айранетова Н.* Второй правозащитной революции в России не будет // Независимая газета. 1999. 10 ноября.

*Айранетова Н.* Гражданство России должно защищать и человека, и государство. [Интервью с О. Е. Кутафиним] // Независимая газета. 2001. 20 ноября.

*Айранетова Н.* Диктатура «Томагавка» // Независимая газета. 1999. 27 апреля.

*Айранетова Н.* России нужна защита от правозащитников // Независимая газета. 1999. 10 декабря.

Активисты Евразийского союза молодежи — за Российскую империю // Межгосударственная телерадиокомпания «Мир». 2007. 8 апреля. <http://www.mirtv.ru/show.php?id=11534&templ=news>.

*Александров Д.* Латвия отшибла легиону память // Газета.Ru. 2006. 16 марта.

Алексей Пушков: «Путин подал заявку на то, чтобы Россия стала реальным партнером Запада» // Страна.Ru. 2001. 26 сентября.

*Альтшуллер В.* Пожалейте детей // Независимая газета. 1999. 14 мая.

*Андрусенко Л.* «Терроризм — это дьявольщина в чистом виде» [Интервью с В. П. Лукиным] // Независимая газета. 2001. 27 сентября.

*Арсюхин Е.* Давос взят // Российская газета. 2007. 30 января.

*Арт Н.* Дмитрий Рогозин: «Мы — молодая нация!» // Независимая газета. 2002. 10 апреля.

*Бабич Д.* Кто представляет нас в Европе? // Московские новости. 2000. 11 апреля.

*Бажанов Е. П.* Глобализация как объективный процесс // Независимая газета. 2002. 13 февраля.

*Баринов Л. А.* Забытые соотечественники // Независимая газета. 2002. 17 января.

*Березинцева О.* Европа стала ближе россиянам // Коммерсант. 2007. 2 июня.

*Бовин А.* Ирак: бить или не бить? // Независимая газета. 2003. 27 февраля.

*Виноградов М.* Без прав и обязанностей // Известия. 2002. 23 января.

*Власова О.* Почему нас разлюбила Европа // Эксперт. 2004. 23 февраля.

*Власова О.* Францию довели // Эксперт. 2002. 29 апреля. С. 12—15.

*Водо В.* Поляки выбились в европейчики // Коммерсант. 2003. 10 июня.

*Волхонский Б., Водо В.* Чеченские сепаратисты обвинили Эстонию в бандитизме // Коммерсант. 2003. 5 мая.

*Волин Е.* Без ключевых свидетелей // Независимая газета. 2002. 10 апреля.

*Воронов К. В.* Кому же не хватает диалога? // Дипкурьер НГ. 2000. № 10. 1 июня.

*Воронов К. В.* Разблокировать балтийское направление // Дипкурьер НГ. 2006. 24 апреля.

Времена // Первый канал. 2003. 28 сентября. 18:00. [http://www.1tv.ru/owa/win/ortb\\_main.main?p\\_news\\_title\\_id=59505](http://www.1tv.ru/owa/win/ortb_main.main?p_news_title_id=59505).

*Вукай Ш.* Хочется выключить телевизор // Московские новости. 2001. 21 августа.

*Гавел В.* Существует ли европейское самосознание, существует ли Европа? // Дипкурьер НГ. 2000. 13 июля.

*Георгиев В., Баранов Н.* Военная интеграция: от Балтики до Памира // Независимая газета. 2001. 23 августа.

*Гиренко В.* 100 тысяч квадратных километров и другая арифметика // Дипкурьер НГ. 2000. 28 сентября.

*Головков А.* Мадам «Бульдозер» // Независимая газета. 1999. 3 апреля.

*Гордеева Е.* Ушли на фактологическую базу // Время новостей. 2007. 12 апреля.

*Горегляд В. П.* Россия — римская провинция? // Независимая газета. 2002. 19 марта.

*Горностаев Д.* В Москве ждут Ширака и Жоспена // Независимая газета. 2001. 14 апреля.

*Горностаев Д.* Грозный и ОБСЕ ведут переписку за спиной Москвы // Независимая газета. 1999. 27 ноября.

*Горностаев Д.* Европа гораздо ближе // Дипкурьер НГ. 2001. 5 апреля.

*Горностаев Д.* Когда была последняя война? // Дипкурьер НГ. 2001. 22 марта.

*Горностаев Д.* Обидно, но не более // Дипкурьер НГ. 2000. 6 апреля.

*Горностаев Д.* Россия выиграла у Запада стамбульскую партию // Независимая газета. 1999. 20 ноября.

*Горностаев Д.* США хотят сделать ОБСЕ инструментом давления на Россию // Независимая газета. 1999. 13 ноября.

*Горностаев Д., Касаев А.* Россия проводит ревизию внешнеполитических приоритетов // Независимая газета. 2000. 12 апреля.

*Горностаев Д., Катин В.* Россию не могли наказать, поэтому постарались оскорбить // Независимая газета. 2000. 8 апреля.

*Горностаев Д., Реутов А.* Запад угрожает России экономическими санкциями // Независимая газета. 1999. 8 декабря.

*Грачев А.* Маленькая «восьмерка» // Новое время. 2003. 9 февраля.

*Гуральник Ю.* Утренний марш легионеров в Риге остался почти незамеченным // РИА Новости. 2007. 16 марта.

*Гурвич В.* России требуется рекламная кампания // Российская газета. 2001. 5 июня.

*Гусейнов В.* Духовный терроризм — новая угроза // Независимая газета. 2007. 13 марта.

*Дашичев В.* Билл Клинтон против Иммануила Канта // Независимая газета. 1999. 7 декабря.

*Демурин М.* Пора внести ясность // Российские вести. 2006. 20 декабря.

*Долинский В.* Балтия на стороне Чечни // Независимая газета. 1999. 9 октября.

*Долинский В.* Латвийские националисты хотят обмануть Европу // Независимая газета. 1999. 31 августа.

*Дондурей Л. Б.* Интерпретируя реальность // Независимая газета. 2003. 30 октября.

*Дугин А.* Франко-германская империя: здесь и сейчас // Известия. 2003. 6 февраля.

«Евразийский союз молодежи» нашел в России нового ученого-шпиона // NEWSru.com. Новости России. 2007. 19 июня. <http://newsru.com/russia/19jun2007/esm.html>.

Егор Гайдар об отношениях России с Западом // Телеканал «РТР». Перед зеркалом. 1999. 12 декабря. [http://www.pravdelo.ru/sps5\\_30.htm](http://www.pravdelo.ru/sps5_30.htm).

*Елин В.* Литва спешит в НАТО // Независимая газета. 2002. 28 февраля.

*Ефимов И.* США толкают Европу к новому военному противостоянию // Московские новости. 2007. 1 июня.

*Замятина Т.* «Будут ли нас снова бомбить?» // Независимая газета. 2000. 24 марта.

*Замятина Т.* Окститесь, какие права человека? // Независимая газета. 1999. 28 мая.

*Земляной С.Н.* Новый космополитизм и знамена времени // Независимая газета. 2002. 16 января.

*Золотарев П. С.* Холодный душ в звездную полосочку // Независимая газета. 2002. 22 марта.

*Иванов А.* Чечня — дело тонкое и сугубо внутрироссийское // Коммерсант. 1999. 18 ноября.

*Иванов В.* Русские русских прокатили // Эксперт Северо-Запад. 2003. № 9. 10 марта. С. 6.

*Иванов В.* Обретение смысла // Эксперт Северо-Запад. 2003. 27 января. С. 10—12.

*Иванов И. С.* Косовский кризис: год спустя // Дипкурьер НГ. 2000. № 5. 23 марта.

Иммигранты и миграция // Независимая газета. 2007. 27 февраля.

*Иноземцев В.Л.* Бремя белого человека // Независимая газета. 2003. 25 ноября.

*Ихлов Е.В., Пономарев Л.А.* На чью мельницу льют воду правозащитники? // Независимая газета. 1999. 26 ноября.

Как забежать вперед // Эксперт. 2003. 29 сентября. С. 14.

*Калашиникова М., Калашиников В.* Проект «Эстония» // Независимая газета. 2001. 7 июня.

*Калюжный В.* Виден ли свет в конце тоннеля? // Парламентская газета. 2006. 2 ноября.

*Караганов С.* Демографическая петля затягивается // Российская газета. 2005. 28 апреля.

*Караганов С.* Центральная Азия: возвращение России // Российская газета. 2005. 12 декабря.

*Катин В, Брилев С.* Париж: пока прохладно. Лондон: гораздо теплее // Независимая газета. 2000. 22 июня.

*Катин В, Соколов В, Здитовецкий А.* ЕС настроен дружелюбнее, чем ПАСЕ // Независимая газета. 2000. 11 апреля.

*Капитанов А.* В России все права, а богатых нет [Интервью с министром природных ресурсов Борисом Яцкевичем] // Российская газета. 1999. 24 сентября.

*Киселева М.* Палата номер три // Известия. 2002. 12 февраля.

*Козырев А. В.* Полюс изгоев // Московские новости. 2000. 8 февраля.

*Козырев А. В.* Союз, достойный России // Московские новости. 2003. 29 апреля.

*Козырев А. В.* Бессмыслица «многополюсного мира» // Московские новости. 2000. 22 февраля.

*Колесников А.* Владимир Путин пришел в Хабаровский край трубой // Коммерсантъ. 2006. 26 сентября.

*Константинов С.* Силовой вариант не был единственным // Независимая газета. 2000. 3 августа.

*Косачев К.* За будущую демократию // Российская газета. 2006. 3 ноября.

*Краснов Н.* Европа оставила Россию без согласия // Комсомольская правда. 2007. 16 мая.

*Кузьмин В., Сорокина Н., Имуков А.* Европа на Волге // Российская газета. 2007. 18 мая.

*Лавров С. В.* Внешнеполитическая самостоятельность России — безусловный императив // Московские новости. 2006. 19 января.

*Лавров С. В.* Глобальной политике нужны открытость и демократия // Известия. 2007. 24 апреля.

*Лавров С. В.* Другая Россия // Коммерсантъ. 2004. 1 апреля.

Лорд Робертсон: создание Совета Россия — НАТО станет исторической вехой // Коммерсантъ. 2004. 28 мая.

*Лашкевич Н.* Русские спорят и теряют очки // Известия. 1999. 20 октября.

*Лашкевич Н.* Чеченская карта балтийских депутатов // Известия. 1999. 14 октября.

*Лашкина Е.* Точка на бумаге // Российская газета. 2007. 28 марта.

*Лебедев В.* Правозащитники осуждают // Независимая газета. 1999. 15 апреля.

*Лебедев В.* Соотечественникам не до России // Независимая газета. 1999. 21 декабря.

*Ленский М, Фильченко Н.* Воина-освободителя возвращают в строй // Коммерсантъ. 2008. 25 апреля.

*Леонтьев М, Привалов А, Соколов М, Фадеев В.* Меморандум Серафимовского клуба // ИА Regnum. 2003. 14 января. <http://www.regnum.ru/allnews/80279.html>.

*Литский А.* Как России попасть в Европу [Интервью с Сергеем Карагановым] // Новая газета. 2007. 5 апреля.

*Литовкин Д.* В Европе снова возводят «Берлинскую стену» // Известия. 2007. 14 мая.

Лорд Робертсон: создание Совета Россия — НАТО станет исторической вехой [Интервью] // Коммерсантъ. 2002. 28 мая.

*Лужков Ю. М.* Воспоминания о будущем // Известия. 2001. 23 марта.

*Лукьянов Ф.* Единство и борьба // Время новостей. 2003. 12 февраля.

*Максимшин С.* Мировая война. Эпицентры // Известия. 2001. 20 октября.

*Малашенко А. В.* Танго с исламом // Независимая газета. 2007. 13 апреля.

Медведев: В России существует демократия, но ей есть куда двигаться // РИА Новости. 2007. 27 января. [http://www.rian.ru/world/foreign\\_russia/20070127/59781269.html](http://www.rian.ru/world/foreign_russia/20070127/59781269.html).



*Меликова Н.* «Эти люди привнесли в Евросоюз дух примитивной русофобии» [Интервью с Сергеем Ястржембским] // Независимая газета. 2004. 17 ноября.

*Мешков А.Ю.* Широты российско-германского партнерства // Независимая газета. 2002. 25 марта.

*Мигранян А.* и др. «Русский фактор» в российской политике // НГ-сценарии. 2000. № 6. 14 июня.

*Мироненко В.* ПАСЕ не идет на поправку // Коммерсантъ. 2000. 28 января.

*Мирский Г.И.* С ударением на букву «Я» // Независимая газета. 2002. 6 марта.

*Михайлов В.* ОБСЕ объявит России Джихад // Коммерсантъ. 1999. 18 ноября.

*Михеев В.* Евросоюз создает свой спецназ // Известия. 1999. 16 ноября.

*Муртазаев Э.* Зубы дракона // Коммерсантъ. 2006. 12 октября.

*Нарочницкая Н.А.* Завоевательная похоть // Эксперт. 2002. 18 февраля. С. 54—57.

*Никифоров И.* Предвыборные баталии вокруг бронзового солдата // Независимая газета. 2007. 1 марта.

*Никонов А.* В Ираке воюют за интересы россиян // Новая газета. 2003. 7 апреля.

*Овчаренко Е.* Заместитель главы администрации Президента РФ Владислав Сурков: Путин укрепляет государство, а не себя // Комсомольская правда. 2004. 29 сентября.

*Орлов Б.С.* Почему «НГ» против НАТО? // НГ— Особая папка. 1999. 23 апреля.

*Островский В.* Он еще и историк... // Невское время. 2004. 24 декабря.

От редакции: Единственный суверенитет // Ведомости. 2002. 29 апреля.

*Павлович Г.* Удар по антитеррористической коалиции // Независимая газета. 2003. 12 февраля.

*Павловский Г. О.* Прощай, Беловежье! // Независимая газета. 2000. 9 декабря.

*Пайт Р.* Ландсбергис сочувствует Ичкерии // Независимая газета. 1999. 13 ноября.

*Петров Е.* Новый аншлюс Австрии? // Независимая газета. 2001. 26 мая.

*Петровская Ю.* Правосудием пока не пахнет // Независимая газета. 2002. 14 февраля.

*Петровская Ю.* Сербь не начинали ни одну из войн // Независимая газета. 2002. 15 февраля.

*Петровская Ю., Вукелич И.* Открывается беспрецедентный процесс // Независимая газета. 2002. 12 февраля.

*Полевой А., Ткачук Т., Ханбабян А.* Белоруссия не пожелала перемен // Независимая газета. 2001. 11 сентября.

Политико-экономический фьюжн // Независимая газета. 2007. 10 апреля.

*Портников В.* Флирт с Европой // Ведомости. 2001. 24 октября.

*Портников В.* Шанхайский шанс // Ведомости. 2001. 17 октября.

Президент Эстонии: «Мы ведем себя как европейцы» // BBCRussian.com. 2007. 19 февраля. [http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid\\_6376000/6376915.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6376000/6376915.stm).

*Привалов А.* О голодоморе и советской символике // Эксперт. 2006. 4 декабря.

*Примаков Е. М.* Будут ли действительны экономические санкции против Эстонии? // Московские новости. 2007. 11 мая.

Против центра // Ведомости. 2003. 13 мая.

*Радзиховский Л.* Две стратегии // Независимая газета. 2004. 1 сентября.

*Радзиховский Л.* Непопулярные шаги // Независимая газета. 2004. 31 августа.

*Реутов А.* РФ против нового латвийского закона о языке // Независимая газета. 1999. 11 декабря.

*Рогов С. М.* Наша страна может оказаться на задворках Европы // Независимая газета. 1999. 16 июня.

*Рогозин Д. О.* Мы и есть настоящая Европа // Завтра. 2004. 19 января.

*Родин И.* Депутаты пригрозили Америке // Независимая газета. 2007. 13 апреля.

*Родин И.* Дума пригрозила Латвии санкциями // Независимая газета. 2003. 15 октября.

России есть что предложить миру // Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 5 февраля.

*Савина Е.* Кровные друзья // Коммерсантъ. 2007. 1 ноября.

*Сагдиев Р.* От Москвы до Таллина уже далеко // Известия. 2002. 1 марта.

*Садчиков А.* Владимир Красное Солнышко II // Известия. 2000. 23 ноября.

*Семенов А.* Россия вспомнила о «своих» // Независимая газета. 2000. 22 октября.

*Семенова И.* Граждане пошли на поправку // Российская газета. 2003. 14 ноября.

*Сергеев С.* Не наступить на «грабли» истории // Красная звезда. 2001. 5 июня.

Сергей Лавров не считает Россию «некачественным проектом» Запада // Агентство национальных новостей. 2007. 21 марта. <http://www.annnews.ru/news/detail.php?ID=86746>.

*Серенко А.* «У России и Запада впервые после разгрома нацизма появился общий враг» [Интервью с генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном] // Независимая газета. 2001. 23 ноября.

*Симиндей В.* Российско-латвийская безграничность // Московские новости. 2007. 19 января.

*Симонов И.* Россия и Израиль в борьбе с терроризмом // Независимая газета. 2002. 5 февраля.

*Скрипов В.* Обогащаться за счет россиян // Время новостей. 2007. 18 января.

Соединенные Штаты Европы // Независимая газета. 2002. 25 марта.

*Соколов В.* В Литве судят невиновных // Независимая газета. 2000. 25 апреля.

*Соколов В.* Москва и Рига никак не помирятся // Независимая газета. 2000. 31 марта.

*Соколов В.* Рига против европейских стандартов // Независимая газета. 2000. 18 мая.

*Соколов В., Литвинов А.* Москве пора потребовать от Вильнюса компенсации // Независимая газета. 2000. 28 июня.

*Соколов М.* Вызов V века // Известия. 2001. 22 марта.

*Соколов М.* Европа есть, а счастья нет // Известия. 2007. 15 мая.

*Соколов М.* Союзнические чувства // Известия. 2002. 17 апреля.

*Соколова В.* Миграционный резерв // Известия. 2000. 22 ноября.

*Сокут С.* Партнеры перестают понимать друг друга // Независимое военное обозрение. 2002. 8 февраля.

*Соловей В.Д.* Модерн и постмодерн в российской политике // Независимая газета. 2000. 22 ноября.

*Соловей В.Д.* Русские и Запад // Независимая газета. 1999. 30 ноября.

*Соловьев В.* Врагов стало больше, враги стали агрессивнее // Независимая газета. 2007. 22 января.

*Соловьев В.* Дорогое неудовольствие // Коммерсантъ. 2008. 15 февраля.

*Сорокина Н.* Битва за место на кладбище // Российская газета. 2004. 7 сентября.

*Сорокина Н.* Ваффен-СС рвутся в историю // Российская газета. 2004. 18 августа.

*Сорокина Н.* Игры патриотов // Российская газета. 2005. 17 октября.

*Сорокина Н.* Рига запретила шествие легионеров // Российская газета. 2006. 15 марта.

*Станкевич С.* Держава в поисках себя // Независимая газета. 1992. 28 марта.

Судьба России решается на Балканах // КМ-Новости. 2001. 18 марта. <http://www.km.ru>.

*Суслов Д.* Эстония раскололась дважды // Независимая газета. 2003. 4 марта.

*Сухова С.* Одинокое НАТО желает познакомиться // Итоги. 2003. 20 мая.

*Сысоев Г.* Россия сдала сессию // Коммерсантъ. 2002. 25 января.

*Сысоев Г.* Слободан Милошевич пошел под суд // Коммерсантъ. 2002. 12 февраля.

*Таратута Ю.* Суверенную демократию будут изучать в школе // Коммерсантъ. 2007. 27 декабря.

*Трегубова Е.* Хартия — наш рулевой // Коммерсантъ. 1999. 18 ноября.

*Тренин Д. В.* Постимперский проект // Независимая газета. 2006. 30 января.

*Третьяков В.* Русская Азия: чем заполнить центразийский вакуум // Московские новости. 2006. 3 марта.

*Третьяков В.* Суверенная демократия. О политической философии Владимира Путина // Российская газета. 2005. 28 апреля.

*Третьяков В.* Тлеющая «Европа» // Российская газета. 2005. 10 ноября.

*Уткин А. И.* Может ли Россия снова войти в Европу? // Независимая газета. 1999. 17 декабря.

*Ухов Е.* Неча на Таллин кивать // Труд. 2007. 4 апреля.

*Феофанов Ю.* Приглашение на казнь // Известия. 2002. 21 марта.

*Фокина К.* НАТО не пойдет против сепаратистов // Независимая газета. 2001. 21 марта.

*Фокина К.* Ольстеру дали немного самостоятельности // Независимая газета. 1999. 2 декабря.

*Фоменко А. В.* Новый мир не за горами // Независимая газета. 2002. 13 февраля.

*Фурман Д.* Апология имитации // Независимая газета. 2007. 6 апреля.

*Хакамада И.* Возлюби ближнего своего // Независимая газета. 2003. 26 мая.

*Хамраев В.* Происки прошлого // Коммерсантъ. 2007. 23 ноября.

*Хисамов И.* Возвращение к честной жизни // Эксперт. 2002. 21 октября. С. 65.

*Цунский А.* Битва проиграна, война не кончилась // Эксперт. 2004. № 34. 13 сентября. С. 25.

*Чернов М.* Самоубийство // Эксперт. 2002. № 15 (322). 15 апреля. С. 91—92.

*Черных А.* Цена вопроса // Коммерсантъ. 2004. 16 февраля.

*Чернявский Ю.* В Страсбурге удивляются // Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 18 апреля.

*Чернявский Ю.* Министр договорился... // Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 10 января.

*Черняков П.* ЕС расширяется и критикует Россию // Независимая газета. 1999. 16 декабря.

*Чубайс А. Б.* Миссия России в XXI веке // Независимая газета. 2003. 1 октября.

*Чубченко Ю.* Стамбульский счет // Коммерсантъ. 1999. 18 ноября.

*Чугунов К.* Пауэлл в поход собрался // Российская газета. 2001. 10 апреля.

*Шестаков Е.* Эстония отомстила за границу // Российская газета. 2005. 5 сентября.

*Шестернина Е.* Нация хочет выжить // Известия. 2002. 5 марта.

*Шкель Т.* Льгота на гражданство // Российская газета. 2005. 9 декабря.

*Шушаников А.* Защитит ли Россия своих? // Независимая газета. 2001. 12 октября.

*Юрьев И.* Рига не исключает развертывания объектов НАТО // Независимое военное обозрение. 2002. 6 декабря.

*Юсин М.* Мы им покажем кузькину мать // Известия. 1999. 26 августа.

*Юсин М.* Международному трибуналу будет трудно доказать вину Милошевича // Известия. 2002. 18 февраля.

*Юшенков С.* «Денег у армии достаточно» // Московские новости. 1999. 6 апреля.

*Яновский Р.* и др. Манифест панамериканизма // Независимое военное обозрение. 1999. 11 июня.

*Barnsten J.* Russia: Did Putin Come Out Shining, Or With Moscow's Prestige Weakened? // Radio Free Europe/Radio Liberty. Archive. 2005. 12 May. <http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/05/fa906f90-8105-4b88-9ee1-0f7fe9a7edee.html>.

*Chivers C.J.* Threat of Civil War Is Turning the Abkhaz Into Russians // The New York Times. 2004. 15 August.

*Myers S.L.* Violence Flares Again in 2 Separatist Regions of Georgia // The New York Times. 2004. 5 August.

*Silitski V.* A Partisan Reality Show // Transitions Online. 2005. 11 May. URL: [www.tol.cz/look/TOL/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=115&NrSection=4&NrArticle=14025](http://www.tol.cz/look/TOL/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=115&NrSection=4&NrArticle=14025).

The Real Victor // Financial Times. 2004. 23 November.

*Weir F.* Russia's uneasy place in Europe // Christian Science Monitor. 1999. Vol. 91. No. 115. 11 May. P. 6.

*Zorin A.* A New Holiday for Old Reasons: Taking A Day Off to Remodel the Past // Russia Profile. 2005. 20 January.

## Аудиовизуальные материалы

*Балабанов А.* Брат-2. СТВ; Warner Brothers, 2000.

*Балабанов А.* Война. СТВ, 2002.

*Красильникова М.* Иллюстрация к статье: *Иванов В, Крючкова Е.* Перспективная модель // Эксперт Северо-Запад. 2003. 17 февраля. С. 20.

*Greenwald R.* Uncovered: The War on Iraq. Cinema Libre, 2004.



*Вячеслав Морозов*  
**Россия и Другие**

Дизайнер обложки

*О. Смирнов*

Редактор

*И. Калинин*

Корректор

*Э. Корчагина*

Компьютерная верстка

*М. Терещенко*

Налоговая льгота —  
общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:

129626, Москва, И-626, а/я 55

Тел.: (495) 976-47-88

факс: (495) 977-08-28

e-mail: [real@nlo.magazine.ru](mailto:real@nlo.magazine.ru)

<http://www.nlobooks.ru>

Формат 60x90/16

Бумага офсетная № 1

Усл. печ. л. 41. Тираж 1000. Зак. № 7775

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс  
“Ульяновский Дом печати”»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

## НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

### Дебаты о политике и культуре

Периодичность: 6 раз в год

«НЗ» — журнал о культуре политики и политике культуры, своего рода интеллектуальный дайджест, форум разнообразных идей и мнений. Среди вопросов и тем, обсуждаемых на страницах журнала:

- идеология и власть;
- институции гуманитарной мысли;
- интеллигенция и другие сословия;
- кульговые фигуры, властители дум;
- новые исторические мифологемы;
- метрополия и диаспора, парадоксы национального сознания за границей;
- циркуляция сходных идеологем в «правой» и «левой» прессе;
- религиозные и этнические проблемы;
- проблемы образования;
- столица — провинция и др.



*Подписка по России:*

«Сегодня-пресс»  
(в объединенном каталоге  
«Почта России»):  
подписной индекс 42756

«Роспечать»:  
подписной индекс 45683

**\* память. история.  
идентичность  
\* советская власть  
конфессии  
и верующие**



Издания

**«Нового литературного обозрения»**

(журналы и книги)

можно приобрести в следующих магазинах:

**в Москве:**

«Политкнига» — ул. Малая Дмитровка, 3/10. Тел.: (495)200-36-94

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7. Тел.: (495)951-93-60

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6. Тел.: (495)924-46-80

«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21. Тел.: (495)332-47-28

«Гнозис» — Зубовский проезд, 2, стр. 1. Тел.: (495)247-17-57

«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий Мост, 18.

Тел.: (495)924-46-45

«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8. Тел.: (495)238-50-01

«Москва ТД» — ул. Тверская, 8. Тел.: (495)797-87-17

Московский Дом книги — Новый Арбат, 8  
(а также во всех остальных магазинах сети).

Тел.: (495)203-82-42.

«Старый свет» (книжная лавка при Литинституте) —  
Тверской бульвар, 25 Тел.: (495)202-86-08.

«Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27.

Тел.: (495)749-57-21

«У Кентавра» — Миусская пл., 6. Тел.: (495)250-65-46

«Букбери» — Никитский б-р, 17. Тел.: (495)291-83-03

«Русское зарубежье» — ул. Нижняя Радищевская, 8  
(м. Таганская-кольцевая) Тел.: (495)915-11-45

Primus Versus — ул. Покровка, 27, стр. 1. Тел.: (495)951-93-60

Магазины сети «Книжный клуб 366». Тел.: (495)223-58-20

«Топ-книга». Тел.: (495)166-06-02

**в Санкт-Петербурге:**

Академкнига — Литейный пр., 57. Тел.: (812)230-13-28

«Александрйская Библиотека» — Наб. реки Фонтанки, 15.

Тел.: (812) 310-50-36

«Вита Нова» — Менделеевская линия, 5. Тел.: (812)328-96-91

Книжная лавка писателей — Невский пр., 66. Тел.: (812)314-47-59

Книжные салоны при Российской национальной библиотеке

Садовая ул., 20; Московский пр., 165 . Тел.: (812)310-44-87

Книжный салон — Университетская наб., 11

(магазин в фойе филологического факультета СПбГУ).

Тел.: (812)328-95-11

Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13.

Тел.: (812)232-33-07

«Культпросвет» — Пушкинская ул., 10 или Лиговский пр., 53.

Тел.: (812)572-11-30

«Перемещенные ценности» — ул. Колокольная, 1.

Тел.: (812)713-21-74

Подписные издания. Литейный пр., 57. Тел.: (812)273-50-53

ОАО «Санкт-Петербургский Дом Книги» — Невский пр., 62.

Тел.: (812)570-65-46, 314-58-88

ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера)

Невский пр., 28. Тел.:(812) 448-23-57

Фонотека Ул. Марата, 28. Тел.:(812)712-30-13

#### **в Екатеринбурге:**

Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00

#### **в Нижнем Новгороде:**

«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71

#### **в Ярославле:**

ул.Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (0852)22-25-42

#### **в Интернете:**

[www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

[www.bolero.ru](http://www.bolero.ru)